БОРИС ЗАЙЦЕВ
СВЯТАЯ
РУСЬ

БОРИС ЗАЙЦЕВ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

СВЯТАЯ
РУСЬ

ИЗБРАННАЯ
ДУХОВНАЯ
ПРОЗА

Москва
<< РУССКАЯ КНИГА >>
2000

УДК 82
ББК 84Р
З-17

Составитель, автор примечаний
и Словаря церковных терминов
Т. Ф. Прокопов

Издание осуществляется при участии дочери писателя
Н. Б. Зайцевой-Соллогуб

Разработка оформления
Ю. Ф. Алексеевой

Шрифтовое оформление
В. К. Серебрякова

Зайцев Б. К.
З-17 Собрание сочинений: В. 5 т. Т. 7 (доп.). Святая Русь: Избранная духовная проза. Книги странствий. Повести и рассказы. Дневник писателя.— М.: Русская книга, 2000.— 528 с., 1 л. портр.

В седьмой том собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881—1972) вошли житийное повествование «Преподобный Сергий Радонежский» (1925), лирические книги его паломнических странствий «Афон» (1928) и «Валаам» (1936), религиозные повести и рассказы, а также очерки из «Дневника писателя», посвященные истории, развитию и традициям русской святости. Монахи, оптинские старцы, странники и блаженные, выдающиеся деятели церкви и просто русские православные люди, волею судьбы оторванные от России, но не утратившие духовных связей с нею,— герои этой книги. И в центре — образ любимейшего святого русского народа — преподобного Сергия Радонежского, явившего, по словам Зайцева, в себе сочетание «в одном рассеянных черт русских», пример «ясности, света прозрачного и ровного».

ISBN5-268-00478-6 УДК 82
ISBN5-268-00402-6 ББК 84Р

СВЯТАЯ РУСЬ БОРИСА ЗАЙЦЕВА

> Вот он. Божий мир...
> Да, пред нами. А над ним
> и над нами Бог... И с нами.
> И в нас. Всегда... Доверяй-
> тесь, доверяйтесь Ему. И лю-
> бите. Все придет. Знайте,
> плохо Он устроить не может.
> Ни мира, ни вашей жизни.
>
> *Б. К. Зайцев. Тишина*

«В очень черной ночи церковь видна далеко; слишком светлы окна» — такой образ-символ нарисовал Зайцев в одном из ранних рассказов («Священник Кронид»). Художник был устремлен к этому *свету* уже в начале творческого пути. Кровавый ужас революции, захлестнувший Россию, окончательно привел Зайцева в Православную Церковь, верным чадом которой он оставался всю жизнь. Он увидел и принял сердцем Христову Истину, к которой его душа тянулась с юных лет. «Кровь, сколько крови! Но и лазурь чище. Если мы *до* всего этого смутно лишь тосковали и *наверно* не знали, где она, лазурь эта, то теперь, потрясенные и какие бы грешные ни были, ясней, без унылой этой мглы видим, что всего выше: не только малых наших дел, но вообще жизни, самого мира...»[1] С этого момента и до последнего дня в его творчестве, по собственным словам писателя, «хаосу, крови и безобразию» будет противостоять «гармония и свет Евангелия, Церкви»[2].

Здесь важно каждое из названных писателем слов. *Евангелие* (понимаемое часто лишь как свод моральных наставлений или социальных доктрин) в той или иной мере принималось многими деятелями русской культуры XIX—XX веков. Но это отнюдь не делало их христианами

---

[1] Зайцев Б. К. Молодость — Россия // Зайцев Б. К. Голубая звезда: Повести и рассказы. Из воспоминаний. М., 1989. С. 43.

[2] Зайцев Б. К. О себе // Зайцев Б. К. Сочинения: В 3 т. М., 1993. Т. 1. С. 51.

в полном и точном смысле слова. Именно приобщение к *Церкви* было камнем преткновения для русской интеллигенции Нового времени. Б. Зайцев, войдя в Церковь в бурную эпоху революции, всю жизнь оставался православным христианином и явил редкий в художественной литературе феномен: мало к кому из русских писателей XX века можно без оговорок применить определение *православный*.

Оказавшись в 1922 году в эмиграции, Зайцев открывает «Россию Святой Руси, которую без страданий революции, может быть, не увидел бы и никогда»[1]. Отныне свою миссию русского писателя-изгнанника он осознает как приобщение и соотечественников, и западного мира к тому величайшему сокровищу, которое хранила Святая Русь,— православию; как «просачивание в Европу и в мир, своеобразная прививка Западу чудодейственного «глазка» с древа России...»[2].

«Россия Святой Руси» воссоздана Зайцевым в книгах «Афон», «Валаам»; в очерках о святых Серафиме Саровском, Иоанне Кронштадтском, Патриархе Тихоне, в заметках о церковных деятелях русской эмиграции, о Сергиевом Подворье и парижском Богословском институте, о православных русских обителях во Франции и многих других. Он запечатлел образы архиереев и священников, монахов и простых мирян, которые на своем многотрудном земном пути обретали веру и сами светили миру своим примером и обликом.

Для Бориса Зайцева характерна плавность внутреннего духовного развития. В автобиографической заметке «О себе» (1943) он писал: «Владимир Соловьев... пробивал пантеистическое одеянье моей юности и давал толчок к вере <...> Вместо раннего пантеизма начинают проступать мотивы религиозные... в христианском духе», но полные еще «молодой восторженности, некоторого прекраснодушия и наивности»[3].

Определяющий мотив дореволюционных произведений художника — «смиренное принятие жизни». Критика тех лет отмечала, что лирической прозе Зайцева присущи «доверие к жизни и оправдание ее», «душевное равновесие», «просветленный оптимизм». Исследователь наших дней, опираясь уже на весь 70-летний опыт творчества писателя, справедливо отмечает, что его проза не утрачивала «ничего из того, что было ей свойственно в самом начале...— лиризма, сердечности, преклонения перед Творцом, создавшим Жизнь»[4]. Конечно, в лирических переживаниях и бесцельных скитаниях героев — «путников» и «странников» — по жизни, в меланхолических раздумьях автора, в

---

[1] Зайцев Б. К. Молодость — Россия. С. 44.

[2] Зайцев Б. К. Ответ Мюллеру // Зайцев Б. К. Странник. СПб., 1994. С. 85.

[3] Зайцев Б. К. О себе. С. 49—50.

[4] Романенко А. Земные странствия Бориса Зайцева // Зайцев Б. К. Голубая звезда. М., 1989. С. 21.

волнах света, пронизывающих мир и ссрдца гсросв, представлсния о смысле и назначении человеческой жизни оставались еще смутными и расплывчатыми.

Сам стиль зайцсвской прозы оказался адскватси для выражсния православного мировоззрения. Стиль Зайцева лишен напористой активности, художник не ищет выражения своей личности, самости. Он никогда нс подчиняст объсктивный мир творчсской субъсктивной волс, не пытается пересоздать или сконструировать его. Состояние художника иное: созерцание, слушание, запечатление в своей душе — и затем в словс — тсх звуков, красок, ощущсний, которыми наполнсно бытис. Но важно сщс, что и как «слушаст» художник. Все творчество Зайцева пронизано устремленностью к иному, горнему миру. Образы неба, звсзд, всчности, отзвуки мировой гармонии, столь характсрныс для раннсго творчсства, впослсдствии конкрстизируются в понятиях мира Божьего, Небесного Царства. Земная суета, биение человеческих страстсй, быт знакомы, но малоинтсрсены писатслю. Не случайно критики отмсчали в сго прозс нскую облсгчснность от вещсственной плоти, особую «прозрачность» бытия.

На фоне обличительной и дскадентской литературы взгляд Зайцева на иереев («Свящснник Кронид», 1905; «Цсрковь», 1910) отличастся непредвзятостью и доброжелательностью. Отсц Нил и отец Кронид симпатичны писателю своей чистой душой, честной работой, причастностью к тайнс бытия. Они близки художнику своей убсждснностью, что народу нужны не только «хлеб, знания, грамотность», но и нечто высшее, надмирное. В этих простых людях Зайцева привлекает гармоничность, цсльность тслссного и духовного сстсства, в сустс зсмных дсл они нс утрачивают сознания главного, божсствснного смысла своего служения. Сам этот смысл пока еще неясен для Зайцева: Крон «*куда-то* ведст за собой приход», но спустя дссятилстис писатсль познаст и примст цсль этого движсния.

Но не одно только это стремление к «иному» делает Зайцева своеобразным «иноком» в литературс. От своих собратьев по Сересбряному вску его отличаст особая умиротворенность и смиренис. Смирение — главнейшая добродетель христианина, противоположная главному и страшному греху — гордости. Смирение, проявляющееся как принятис, оправдание жизни на ранних этапах творчсства, позжс, в христианском периоде (обнимающем полстолетия эмигрантской жизни), выступает как всеохватное мировоззрение. Это полное предание себя в волю Божию и твсрдос упованис, что Господь Ему всдомыми путями всдет и спасает человека: «...верю, что все происходит не напрасно, планы и чертежи жизней наших вычерчены не зря и для нашего же блага. А самим нам — нс судить о них, а принимать бссирскословно»[1].

[1] Зайцсв Б. К. О ссбс. С. 52.

Неповторимо-смиренный художественный мир Зайцева населен столь же своеобразными персонажами, людьми «не от мира сего». В миниатюрах «Люди Божии» (1916—1919) на фоне крестьян, полностью погруженных в житейские заботы, Зайцев рисует деревенских дурачков, «блаженных». Они привлекают автора своей выключенностью из общего приземленно-расчетливого хода жизни (пусть и бессознательно, в отличие от подлинных юродивых). Зайцев убежден, что их личности имеют свою ценность, которая обнаружится вполне уже в мире ином: перед судом Божиим «гражданин Кимка окажется лучше, чем пред нашим. Быть может <...> будет и вправду допущен в ограду и сделан гражданином иной, не нашей республики».

«Люди Божии» будут привлекать внимание писателя на протяжении всего последующего творчества. Но это будут уже граждане не «иной республики», а Царства Небесного; и не просто «люди», но угодники Божии — православные святые.

* * *

Первая книга, написанная Зайцевым в эмиграции в Париже,— «Преподобный Сергий Радонежский». Сергий особенно почитался русскими православными эмигрантами 1920-х годов. Имя этого святого получило основанное в июле 1924 года в Париже русское церковное Подворье (Зайцев присутствовал на его освящении)[1]. Перелагая известный труд епископа Никона[2], рисуя труды и подвиги «игумена земли Русской», Зайцев ободрял своих соотечественников, изгнанных из России, часто впадавших в отчаяние, бедствовавших. Он показывал, как великий святой переносил скорби, голод, нестроения среди братии, и, главное, то точное и истинно христианское отношение к ордынскому игу (большевиков в той же книге Зайцев называет «новой ордой»), которое сформулировано в напутствии Сергия Димитрию Донскому перед выступлением на битву с Мамаем. Терпением, полаганием во всем на волю Божию была исполнена жизнь подвижника, его смирением и молитвой духовно укреплялась Русь. Зайцев избежал политизации образа Сергия, обычной для сочинений иных писателей, историков, публицистов: в его книге отчетливо выражена мысль о том, что Сергий

---

[1] «Были мы на освящении Сергиева Подворья. Это было поразительно»,— сообщает В. А. Зайцева в письме к В. Н. Буниной от 10 апреля 1925 года. Цит. по: Зайцев Б. К. Другая Вера. Повесть временных лет // Зайцев Б. К. Золотой узор: Роман, повести. М., 1991. С. 359.

[2] Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца / Сост. иеромонахом Никоном. М., 1885 и др. издания. Подробнее о творческой истории см: Любомудров А. М. Книга Бориса Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский» // Русская литература. 1991. № 3. С. 112—121.

уходил в пустынь и основывал монастырь ради единственного, самого главного дела — спасения души, но Промыслом Божиим был призван к участию и в национально-государственном устроении Руси. «Сергий не особенно ценил печальные дела земли. <...> Но не его стихия — крайность. <...> Он не *за* войну, но раз она случилась, *за* народ, и *за* Россию, православных. Как наставник и утешитель <...> он не может оставаться безучастным». Другой важный момент книги о Сергии: Зайцев подчеркивал, что русская православная духовность — уравновешенная, лишенная экзальтации, свойственной католическим «святым». Устоявшемуся представлению, что все русское — «гримаса, истерия и юродство, «достоевщина», Зайцев противополагает духовную трезвенность Сергия — примера «ясности, света прозрачного и ровного», любимейшего самим русским народом.

Практически одновременно с созданием этой книги Зайцев пишет новеллы «Алексей Божий человек» и «Богородица Умиление сердец» (впоследствии название изменено на «Сердце Авраамия»), посвященные византийскому святому IV века Алексию и русскому подвижнику XIV века преподобному Авраамию Чухломскому[1]. Зайцева не интересуют здесь реальные факты их жизни, он излагает их жития в форме легенды (так, мотив «каменного сердца» Авраамия, постепенно размягчающегося под действием благодатной иконы, отсутствует в какноническом жизнеописании святого), но суть этих поэтичных миниатюр та же, что и в оригииальных житиях святых — отказ от славы и наслаждений мира ради Царства Небесного. Протоиерей В. В. Зеньковский, в целом весьма строго подходивший к творчеству Зайцева, высоко оценил новеллу «Алексей Божий человек» именно за то, что в ней «все время чувствуются лучи из иного мира».

С миром русского монашества Зайцев был знаком не только по книгам или историческим описаниям. В эмиграции он сближается с русскими церковнослужителями, многие из которых имели монашеский сан, часто бывает в православных обителях и братствах, созданных во Франции русскими эмигрантами. Несколько заметок писатель посвящает Сергиеву Подворью. В одной из них («Обитель», 1926) в только что освященном храме в честь св. Сергия он видит «Церковь нищенства, изгнаиия и мученичества <...> это новый, тихий и уединенный путь Церкви» и ощущает живое присутствие Радонежского Чудотворца:

---

[1] Книга о Сергии издана в 1925 году, но работа над ней, очевидно, была завершена в конце 1924 года, когда автор, по сообщению «Русской газеты» (1924. 19 дек. С. 3), выступил с публичным чтением книги. При ее переиздании Зайцев под предисловием к ней указал дату: «Париж, 1924 г.» (Зайцев Б. К. Избранное. Нью-Йорк, 1973. С. 10). «Богородица Умиление сердец» опубликована в берлинской газете «Руль» 1 января 1925 года; дата под текстом новеллы об Алексее — июнь—июль 1925 г.

«Великий наш Святитель, на шестом веке после смерти <...> среди дебрей «Нового Вавилона» основал новый свой скит, чтобы по-новому, но вечно, продолжать древнее свое дело: просветления и укрепления Руси»[1].

Зайцев создает портреты церковных деятелей: митрополита Западно-Европейских Церквей Евлогия (Георгиевского), архимандрита Киприана (Керна), о. Георгия Спасского, епископа Кассиана (Безобразова). В очерке, посвященном 25-летию епископского служения Евлогия, с которым Зайцев был близко знаком, воссоздан духовный путь Владыки, благословленного еще в юности старцем Амвросием Оптинским и св. Иоанном Кронштадтским на принятие монашества. Зайцев находит общие черты в облике Евлогия и Патриарха Тихона: «Какая-то общая простая и спокойная, неброская, круглая и коренная Русь глядит из обоих, далекая от крайностей, бури, блеска»; «не будучи мучениками в прямом смысле, оба несут в себе некоторую Голгофу», причем в лице и деятельности Владыки Евлогия «православие как бы внедрятся бесшумно, показывает себя Западу — совершается великий выход его на мировой простор»[2].

Одна из особенностей творчества Зайцева: спустя много десятилетий он возвращается к тем же темам и личностям, публикуя новые очерки о них, иногда под теми же названиями. Так, во втором очерке «Митрополит Евлогий» (помещенном в настоящем издании), написанном после кончины архиерея, позиция автора хотя по-прежнему преисполнена любви, но более взвешенна и мудра: он не скрывает и слабости Владыки, и его ошибки в церковной политике.

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля 1925 года отошел ко Господу великий пастырь русского народа Святейший Патриарх Тихон. К годовщине со дня его кончины Зайцев написал очерк «Венец Патриарха». Он открывал 17-й номер журнала «Перезвоны» (Рига, 1926) и сопровождался фотографией Святейшего на смертном одре. Зайцев вспоминает, как видел Патриарха во время церковного торжества в Москве в мае 1918 года. Обстоятельства этого знаменательного в истории России события были таковы. К 1 мая (18 апреля по старому стилю), на который в том году приходилась Страстная Среда, вся Москва и Кремлевские стены были увешаны красными флагами и лозунгами. Огромное полотнище с надписью «Да здравствует Третий Интернационал!» висело и на Никольских воротах, закрывая образ св. Николая Чудотворца, простреленный в нескольких местах во время октябрьского переворота. Но к вечеру того же дня полотнище самопроизвольно разорвалось так, что открылся образ Угод-

---

[1] Зайцев Б. К. Обитель // Перезвоны. Рига, 1926. № 20. С. 627.

[2] Зайцев Б. К. Митрополит Евлогий // Возрождение. Париж, 1928. 22 янв. № 964.

ника. Узнав о чуде, массы верующих стали стекаться к иконе. В связи с этим знамением собрание представителей церковных приходов Москвы постановило устроить в Николин день, 9(22) мая, крестный ход к Никольским воротам. Св. Патриарх обратился к своей пастве со словами: «Пусть это светлое торжество не омрачится никакими проявлениями человеческих страстей и объединит всех не в духе злобы, вражды и насилия, а в горячей молитве о небесной помощи по ходатайству Святого угодника Божия, молитвенным предстательством коего да оградится от всех бед и напастей Церковь Православная и многострадальная наша Родина»[1].

В очерке Зайцев подчеркнул принципиальную позицию Святителя Тихона, запечатлел суть служения, завещанного им страдающей, распинаемой Руси: смиренно неся Крест Господень, «побеждать не оружием, а духом». В непримиримой вселенской битве «мира креста» и «мира звезды» победа предрешена, и Россия, по мысли Зайцева, останется недоступной для самых яростных врагов, если только будет прибегать к этой защите — Животворящему Кресту, «победе непобедимой».

* * *

Паломничество на Святую Гору Афон в мае 1927 года Зайцев считал впоследствии провиденциальным, важнейшим событием в своей биографии. На это путешествие Зайцева вдохновил князь Д. А. Шаховской, человек удивительной судьбы, поэт, в 1926 году принявший иночество на Афоне с именем Иоанн. Б. Зайцев знал Д. Шаховского еще в России. О своей встрече в Париже с только что постриженным монахом, полным афонских впечатлений, Зайцев рассказал в публикуемой в данном томе заметке цикла «Дни» — «Афон» (1969). Дружба с о. Иоанном продолжалась до конца жизни, их интереснейшая переписка опубликована в настоящем издании.

Итогом паломничества стала книга «Афон» (Париж, 1928). При создании ее перед Б. Зайцевым возникла та же трудность, что стоит перед каждым литератором, пишущим о духовных реалиях. Сам писатель, несомненно, в полной мере ощущал святость Афона, благодать, наполняющую его монастыри и келии, в его душе совершались какие-то существенные движения: «Боря вернулся с Афона обновленный и изнутри светлый!» — свидетельствовала В. А. Зайцева в письме к В. Н. Буниной[2]. Но как передать этот опыт в словесной форме?

В книге «Афон» отчетливо видны характерные черты художественного метода Зайцева, который воплощает в своих очерках преиму-

---

[1] Заря России. 1918. 22 мая. № 26. С. 3.
[2] Зайцев Б. К. Другая Вера. С. 367.

щественно эстетическую, внешнюю сторону святынь (связанную, конечно, с их внутренней красотой), передает впечатления и ощущения «путешественника», надеясь, что читатель заинтересуется малоизвестными ему «объектами» и через эстетику, может быть, получит толчок к более глубокому и опытному познанию православного христианства. Очерки Зайцева принципиально отличны от собственно религиозной литературы, и во вступлении к «Афону» мы находим его программное заявление: «Богословского в моем писании нет. Я был на Афоне православным человеком и русским художником. <...> Я пытаюсь дать ощущение Афона, как я его видел, слышал, вдыхал». Мы встречаем в книге повествование замечательного *художника.* Но *«православного человека»,* паломника в нем почти не чувствуем. Как точно отмечает Е. В. Воропаева, писатель, «не предлагая читателю проповедь, вводит его в мир Церкви путем светским — эстетическим». Собственно, ко всем книгам и очеркам Зайцева применимы слова, раскрывающие его метод: «...тайная миссионерская «сверхзадача» книги — приобщить читателя к миру православного монашества — глубоко скрыта под внешне ярким, как бы сугубо светским описанием...»[1]

В книге Зайцева, своеобразном «дневнике путешественника», есть одно чрезвычайно важное место, где открывается смысл происходящего с Россией. В беседе со старцем-отшельником, к которому добирался трудно и долго, Зайцев получил подтверждение своим раздумьям о промыслительном значении русской катастрофы. Старец говорит, что Россия страдает за грехи, а в ответ на недоумение собеседников, почему не наказана также Европа, давно отвернувшаяся от Бога, поясняет: «Потому что возлюбил (Господь Россию.— *А. Л.*) больше. И больше послал несчастий. Чтобы дать нам скорее опомниться. И покаяться. Кого возлюблю, с того и взыщу, и тому особенный дам путь, ни на чей не похожий». Эта беседа со старцем, живущим на вершине горы,— одна из главных духовных вершин книги. Из личного письма Зайцева известно имя отшельника — о. Феодосий, а также тот знаменательный факт, что автор услышал это суждение о судьбах России в день своего причащения, 17 мая 1927 года[2]. Слова о. Феодосия писатель впоследствии не раз приводил в своих очерках и статьях.

О том, что Зайцев жил на Афоне напряженной религиозной жизнью, о его внутренних духовных состояниях при встрече с миром афонского монашества свидетельствуют его письма с Афона родным. В них открывается облик глубоко верующего человека, благоговейного паломника, отнюдь не совпадающий с образом эстета-художника и лю-

---

[1] Воропаева Е. В. «Афон» Бориса Зайцева // Лит. учеба. 1990. Кн. 4. С. 33, 34.

[2] См.: Зайцев Б. К. Письма к родным с Афона // Вестник русского Христианского Движения. Париж; Нью-Йорк; Москва, 1992. № 164. С. 204.

бознательного туриста, созданного впоследствии в очерке. «...Эта поездка...— пишет он В. А. Зайцевой 16 мая,— не «для удовольствия», но дает и еще даст очень много». Он сообщает о своей напряженной молитвенной жизни, о посещении многих монастырских служб, об исповеди у духовника Пантелеймонова монастыря архимандрита Кирика и его советах, о говении и причащении. Рассказывая о трудностях, возникающих во время поездки, он замечает, что полагается «больше на Бога», чем на свои расчеты. В то же время, преклоняясь перед величием афонских подвижников, которые «*бесконечно* (морально) выше и чище нас», он откровенно признается, что очень мало знает в области аскетики и молитвенного созерцания, что монашеская жизнь была бы для него лично «не по силам», что ему порой «бывает и грустно, и одиноко» и «иногда очень хочется просто домой», к родной семье. «Нет, Афон не шутка. Тут: или—или. <...> Этот мир замечательный мне все же не близок»[1]. О суровом самоотвержении монахов, полном отречении от мира, где остаются все родные и друзья, о тяжелейших подвигах иноков, некоторые из которых спят по полтора часа в сутки, Зайцев упоминает в письмах, но в очерке «Афон» слышны лишь приглушенные отзвуки этой темы, ибо задача автора — показать прежде всего благолепный и умиротворенный лик Афона.

Частица афонской святости бережно сохранялась Зайцевым всю жизнь. Не только Афон дал нечто драгоценное художнику. И самому русскому писателю пришлось вступить в открытый бой на защиту Афона. Во Франции вышла в свет книга некоей «маркизы Шуази», в которой она утверждала, что ей якобы удалось, переодевшись в мужское платье (пребывание женщин на Афоне запрещено), проникнуть на Афон и познакомиться с тамошней жизнью. Книга была полна глумлений над православием, афонскими монастырями и монахами. Б. Зайцев отозвался на этот пасквиль статьей «Бесстыдница в Афоне» (открывшей, кстати, цикл «Дневник писателя»), где уличал Шуази во лжи и свидетельствовал, что описанное ею ничего общего не имеет с увиденной им монастырской жизнью. Из книг и очерков Зайцева сложился образ «кротчайшего», «блаженного», умиротворенного художника. Меньше известен Зайцев-публицист, который при необходимости вступал в мужественную, бескомпромиссную борьбу со злом. В данной заметке мы встречаемся, быть может, с пиком негодования Зайцева:

«...Разумеется, это *допущено.* <...> Значит, для чего-то это надо. Не для того ли, для чего вообще допущена свобода зла? Шуази не одинока. Напротив, зло лезет изо всех щелей и Бог допускает зло. Ибо свободно должен человек и бороться со злом. Борьба идет, г-жа «писательница», по всему фронту! <...> Книжка разжигает на борьбу,

[1] Там же. С. 202, 209, 210.

молодит. Мы с автором ее из разных лагерей. Мы не можем щадить друг друга. «Их» больше. «Они» богаче. Давая пищу злу, низменным вкусам и чувствам, они успевают житейски. Их клеветы оплачиваются иудиными сребрениками. «Нас» меньше и «мы» беднее. Но как бы ни были мы неказисты и малы личными своими силами, мы во веки веков сильнее «их» потому, что за нами Истина. Вот это скала, Шуази! Ничем вы ее не подточите. Она даст нам силы жить, питает и одушевляет наше слово, и наше перо. Наше негодование, как и наша любовь, непродажны...»[1]

Про эту ревностную защиту узнали на Афоне. Игумен Пантелеймонова монастыря о. Мисаил, получив фотографию Шуази, сообщил Зайцеву, что такого человека никогда не было на Афоне, а фото — поддельное. В знак благодарности и благословения он прислал писателю икону Иверской Божией Матери с надписью «За защиту поруганного Афона» и образ св. Пантелеймона. В заметке «Вновь об Афоне» Зайцев писал об этих реликвиях: «Иверская висит у меня в изголовье. Это «вратарница» знаменитого Иверского монастыря. Когда смотрю на Ее лик со стекающими по ланите каплями крови, то вспоминаю тихий Иверон, на берегу нежно-туманного моря. Вспоминаю и нашу Иверскую, московскую, родную... к которой тысячи страждущих прикладывались — ныне тоже поруганную и опозоренную. Думаю: не за нас ли, грешных русских, грешную Россию и стекают капли по святому лику...»[2]

К бедам и скорбям Афона Зайцев остается неравнодушен и впоследствии, посвящая ему около десятка заметок в 30—60-е годы. В заметке «Вновь об Афоне», приводя письма знакомых иноков с Афона, он со скорбью сообщает о пожарах, растущей нужде, о болезнях, проникающих на Святую Гору. Спустя четыре года в «Афонских тучах» — заметке к годовщине землетрясения на Афоне, происшедшего под праздник Крестовоздвижения 26 сентября 1932 года,— он напоминает, что подобные знамения на Афоне всегда свидетельствуют о «политических бурях», и связывает землетрясение с тем, что 1932-й стал самым страшным для голодной России годом[3]. В материале «Афон. К тысячелетию его» (1963) Зайцев публикует отрывки из книги «Афон», предваряя их заметкой, где с благодарностью вспоминает девятнадцать проведенных на Афоне дней и мысленно поклоняется святым местам Афона и памяти встреченных там людей — все они перешли уже в мир иной...[4] Наконец, в 1969 году восьмидесятивосьмилетний писатель

---

[1] Зайцев Б. К. Дневник писателя. 1. Бесстыдница в Афоне // Возрождение. Париж, 1929. 22 сент. № 1573. С. 4.

[2] Зайцев Б. К. Дневник писателя. 6. Вновь об Афоне // Возрождение. 1929. 13 дек. № 1655. С. 3.

[3] См.: Зайцев Б. К. Афонские тучи // Возрождение. 1933. 1 окт. № 3043. С. 4.

[4] См.: Зайцев Б. К. Афон. К тысячелетию его // Русская мысль. Париж, 1963. 23, 25, 27 июля. № 2024—2026.

вновь вспоминает Святую Гору. Толчком к написанию заметки «Дни. Афон» (публикуется в настоящей книге) послужило известие о новом пожаре в Пантелеймоновом монастыре. Появляются новые чеканные строки о великом смысле пребывания Афона во вселенной: «Афон есть образ духовный, никаким бомбам неподсудный, а, как все живущее, бедам подверженный. Беды проходят, вечное остается. Афон остается».

* * *

Духовный путь Бориса Зайцева отмечен характерной особенностью: его детство, юность прошли вблизи величайших святынь русского православия, но он оставался вполне равнодушен к ним. Зайцев несколько лет жил неподалеку от Оптиной Пустыни, но ни разу не побывал в ней; часто проезжал в имение отца через Саровский лес, но Саровская обитель не вызывала у него никакого интереса. И только в эмиграции, навсегда лишенный возможности поклониться этим святым местам, Зайцев постигает их великое духоносное значение и в своих очерках совершает мысленные паломничества в них. Небольшой очерк-эссе «Оптина Пустынь» (1929) проникнут любовью и благоговением к великим оптинским старцам. Зайцев размышляет о том, как могло бы протекать его путешествие в Оптину в конце прошлого века, представляет в воображении свою встречу со старцем Амвросием — человеком, «от которого ничто в тебе не скрыто»: «Как взглянул бы он на меня? Что сказал бы?» Писатель преклоняется перед безмерной любовью старца к людям, «расточавшего», «раздававшего» себя «не меряя и не считая». Завершается очерк скорбными словами о запустении Оптиной. Но сегодня мы видим, сколь провидческими оказались строки очерка о том, что Оптина ушла «на дно таинственного озера — до времени».

К теме Оптиной Зайцев обратился спустя три десятилетия, написав очерк «Достоевский и Оптина Пустынь» (1956), где развивает мысль о том, что Оптина «оказалась излучением света в России XIX века», и рассказывает о поездке Достоевского к о. Амвросию в 1878 году.

«Что имеем — не храним, потерявши — плачем». В словах пословицы заключена вечная мудрость. Именно так была потеряна русской либеральной интеллигенцией на рубеже XIX—XX веков Православная Русь. Еще были открыты храмы и монастыри с бесчисленными святынями, пелись молебны, прославлялись святые угодники — но все меньше оставалось людей, принимавших все это сердцем и всерьез, твердо хранивших тысячелетнюю веру предков. Прославление величайшего чудотворца и прозорливца Серафима Саровского в 1903 году было встречено «образованным» обществом с презрением и насмешками, как казенно-охранительный акт, устроенный Царем и церковниками. В годину повсеместного оскудения веры сердца людей оказались

неспособными откликнуться на радостно-солнечную, согревающую любовь Старца. Надо было стать свидетелями «невиданных перемен и неслыханных мятежей», пройти через море страданий, оказаться выброшенными далеко за пределы родины, чтобы открыть чистый источник православной веры, прильнуть к нему со слезами и покаянием.

Замечательный очерк «Около св. Серафима. (К столетию его кончины)» (1933) весь проникнут чувствами сокрушения и раскаяния автора, только в эмиграции осознавшего величие этого святого.

Писатель строит свой рассказ на книжных источниках, приводя примеры поразительных чудотворений Старца из «Дивеевской летописи», свидетельство Н. А. Мотовилова об одном из высочайших мистических откровений, когда собеседникам по молитве святого на минуту приоткрылась тайна преображенного Духом Святым бытия, произошло явление Царства Божия на земле. Автор находит художественный образ, который помог бы лучше ощутить личность святого. Если в книге о преподобном Сергии Радонежском чудотворец представал как «святой плотник с благоуханием смол русских сосен», слегка «суховатый» и «прохладный», то в св. Серафиме художник подчеркивает ослепительное сияние его личности, «раскаленный свет Любви», вокруг него как вокруг солнца — «сияющая атмосфера с протуберанцами». Очерк Зайцева завершается словами: «Может быть, и скорей почувствуешь, душою встретишь св. Серафима на улицах... Бианкура». И такая «встреча душой» собрата Зайцева по перу, православного писателя Ивана Сергеевича Шмелева действительно произошла вскоре в Париже. В рассказе «Милость преп. Серафима» (1934) Шмелев с документальной точностью повествует о чудесном своем спасении, совершенном по молитвам к св. Серафиму, о своем видении в мае 1934 года[1].

Тема противостояния двух миров — злобы и святости, ненависти и любви возникает и в очерке «С.-Жермер де Фли» (1932), начинающемся с благостных и умиротворенных нот. В 1926 году под Парижем по почину монахини Евгении (Митрофановой) возникла обитель во имя иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Впоследствии она переехала в Сен-Жермер де Фли (около Бовэ), в здание бывшего католического монастыря. При обители была открыта школа-общежитие для детей. За восемь лет существовании обители через приют прошло несколько сот девочек — брошенных, сирот[2]. Приехав из России в 1930 году, сестра Б. К. Зайцева Татьяна Буйневич, человек подвижнической жизни, несколько лет провела при обители, обучая детей.

---

[1] См.: Шмелев И. С. Милость преп. Серафима // Шмелев И. С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. Въезд в Париж. М., 1998. С. 337—345.

[2] См.: Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни. Париж, 1947. С. 563—565.

Зайцев неоднократно навещал там свою сестру, беседовал с обитательницами — одна из таких поездок и послужила материалом для очерка. (Монастырь стал прототипом обители, описанной в романе «Дом в Пасси», создававшемся в это же время.)

В очерке чисто по-зайцевски передана одухотворенность и благостность обстановки — золотящее кельи солнце, ясное небо, мелодическое пение девичьих голосов; в поэтичнейшей зайцевской прозе слышатся порой отзвуки гекзаметра: «Вечером, после заката, выходишь с пустою бутылкой к источнику на зеленой лужайке, против аббатства. Ледяная вода прекрасного вкуса! Вечно льется струею из обелиска». В эту гармонию вдруг вторгаются звуки хаоса, злобы мира и потрясающей скорби: русский офицер, встреченный у источника, повествует об ужасной резне, устроенной китайцами и большевиками в одном из азиатских городков... Размышляя о двух ликах жизни — созидательном и зверином, разрушительном, писатель в мирной молитве русских монахинь видит лицо, «вечно противоположное звериному... и вечно распинаемое». Девочки в хоре поют «с нежной настойчивостью» — в этом характерно-зайцевском сочетании эпитетов открывается кроткая и побеждающая сила.

В нескольких строках выражена авторская апология монашества перед лицом светского сознания, которому монастырская жизнь представляется в самом мрачном виде: «...неправда, конечно, что монастырская жизнь есть некий мрак и гроб. Как раз обратно». Хотя самого себя Зайцев относит к сугубо мирским людям, он утверждает, что и «посторонними» в монастырях все же чувствуется «веяние духовности и *радости*. Истинный монастырь всегда радостен». С помощью замечательного образа писатель объясняет, для чего необходимы столь продолжительные монастырские службы: как яблоко должно долго освещаться солнцем, чтобы налиться спелостью, так и «пропитать» человека духовностью можно лишь долгим, нелегким путем: «На это нужно время, музыка и благодать служения».

Темы монашества и смирения проходят через все творчество писателя. Главным героем одного из лучших его романов, «Дом в Пасси», стал (впервые в русской классике!) *монах* Мельхиседек. Закономерно, что последним художественным произведением писателя стало повествование о монахах — рассказ «Река времен» (1964). Зайцев рисует два монашеских типа, у каждого из которых — свои достоинства и свои немощи. Архимандрит Савватий — человек неколебимой и простой веры. Он монах «кондовый, коренной», из народа, всегда бодр и весел, бесхитростно мечтает о епископской митре. Но он слишком укоренен в земном, слишком «плотский», несмотря на монашеский сан, человек. Архимандрит Андроник пришел в монашество из интеллигенции. У него душа ученого и художника, тонко чувствующего поэзию мира (очевидно, что прототипом послужил духовник семьи Зайцевых архи-

мандрит Киприан[1]. Монашеский подвиг дается ему с трудом: он молод, испытывает приступы тоски и уныния, мучается нерешенными вопросами бытия, разбирается в своей «запутанной душе»... Автору, пожалуй, ближе этот «христофоровский» тип отрешенного от плоти земли мечтателя, любящего звездное небо, чувствующего вечность.

Но все-таки главным критерием приобщения человека к Божественной реальности в рассказе является степень смирения. Его не достигли ни Савватий, активно добивающийся епископства, ни Андроник с его внутренними надломами. Подлинно смиренным оказывается монастырский привратник, даже не имеющий монашеского сана. Потерявший все — жену, детей, родину, живущий тихо и незаметно в домике, на стене которого икона «смиренного Преподобного» (очевидно, Сергия Радонежского), он обладает даром глубокого смирения. И именно он напоминает унывающему Андронику слова апостола Павла: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите».

* * *

Летом 1935 года Зайцевы совершили поездку на Карельский перешеек, где гостили на вилле Н. Г. Кауше (дальней родственницы В. А. Зайцевой) в Келломяки (нынешнее Комарово). Пребывание там, как и поездка оттуда на Валаам, оставили глубокий след в душе художника.

В письме к Бунину 1 сентября 1935 года он спешит поделиться захватившими его чувствами: «Виден Кронштадт. <...> Иван, сколько здесь России! Пахнет покосом, только что скосили отаву в саду. Вера трясла и сгребала сено, вчера мы с ней ездили на чалом мерине ко всенощной в Куоккалу. <...> Запахи совсем русские: остро-горький — болотцем, сосной, березой. Вчера у куоккальской церкви — она стоит в сторонке — пахло ржами. И весь склад жизни тут русский, довоенный». Зайцев до глубины души взволнован необычайно теплым отношением к нему местных русских жителей. Он читает свои рассказы и выступает с лекциями в Териоки (Зеленогорске), Райвола (Рощино), Выборге — и всюду встречен торжественно, «с речами, автографами»; в местной церкви хор пост ему «многая лета»...[2]

Зайцев подолгу всматривается в Кронштадт, едет на недалекую границу с Россией и испытывает там странное ощущение: вроде бы родная страна лежит по ту сторону колючей проволоки, но в красноармейцах-пограничниках чувствуются «враги». Идет 1935 год, и в Европе достаточно осведомлены о происходящем в СССР. В марте

---

[1] См.: Зайцев Б. К. Архимандрит Киприан // Зайцев Б. К. Соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 3. С. 389—395.

[2] Письма Б. Зайцева к И. и В. Буниным // Новый журнал. Нью-Йорк, 1982. № 149. С. 140—141.

1935 года стариков «из буржуев и интеллигенции» выслали из Ленинграда в пятидневный срок — об этом факте Зайцев упоминает в очерке «Финляндия. 1. К родным краям»[1], открывающем цикл газетных публикаций, составивших затем книгу «Валаам» (этот первый очерк не вошел в книгу). Размышлениями о загадке и трагедии русской жизни героя, смотрящего с финского берега на Россию, Зайцев завершит впоследствии свою автобиографическую тетралогию «Путешествие Глеба»: «Кронштадт, Андреевский Собор. <...> Отсюда отплывал фрегат «Паллада», тут проповедовал Иоанн Кронштадтский, тут же убивали офицеров, еще позже убивали красных матросов — в их же восстании. А все вместе называется Россия».

Болью, горечью проникнута и запись В. А. Зайцевой: «Против нас Кронштадт. Были два раза у границы. Солдат нам закричал: «Весело вам?» Мы ответили: «Очень!» Он нам нос показал, а я перекрестилась несколько раз. Очень все странно и тяжко, что так близко Россия, а попасть нельзя. Но люди здесь (русские в Финляндии.— *А. Л.*) очень, очень свои. Вообще Россию чувствуешь, прежнюю»[2]. Глубокий трагический символ видится в этой сцене. Две части расколотой России, в одной из которых ерничают с винтовкой за плечами, а в другой — крестятся, все-таки тянутся друг к другу, говорят на одном языке, но не могут соединиться: «так близко, а попасть нельзя». Видимая полоска приграничной земли обозначила невидимую, но непреодолимую пропасть. Для православного эмигранта невозможен возврат в Россию, ставшую врагом религии. Но и в ерничанин красноармейца, в его возгласе «весело вам?» проступает какая-то горечь. Ведь он, в отличие от изгнанников, не может даже открыто перекреститься без риска для жизни. А впереди его ждут годы — 1937, 1939, 1941-й... (Интересно, что летом 1936 года во время поездки по Прибалтике И. С. Шмелев оказался в аналогичной ситуации: он подошел вплотную к советско-эстонской границе, протянув руку за колючую проволоку, взял горсть родной земли. Советский пограничник, видимо нарушая инструкции, приветливо помахал ему платком[3]).

С виллы Кауше в августе 1935 года Зайцевы, получив рекомендательное письмо от митрополита Евлогия к валаамскому игумену Харитону, совершают поездку на Валаам, где проводят девять дней. «Все как в сказке...— пишет В. А. Зайцева В. Н. Буниной.— Б<орис> доволен, тихо улыбается. Познакомились с дивными старцами схимонахами»[4].

---

[1] Зайцев Б. К. Финляндия. 1. К родным краям // Возрождение. 1935. 20 окт. № 3791. С. 3.

[2] Зайцев Б. К. Другая Вера. С. 431.

[3] См.: Шмелев И. С. Рубеж // Шмелев И. С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. Въезд в Париж. С. 420—422.

[4] Зайцев Б. К. Другая Вера. С. 431—432.

Книга «Валаам» (1936), написанная по впечатлениям от этой поездки, представляет собой глубоко лирическое, исполненное поэзии описание валаамского архипелага. Как и в «Афоне», Зайцева привлекает «внутренняя, духовная и поэтическая сторона Валаама». Автор не говорит о ней прямо — она открывается как отклик в душе читателя на те настроения, пейзажи, портреты, которые рисует художник. Метод писателя — не «разъяснять» отдельные моменты монашеского жития, а дать читателю возможность почувствовать этот мир, пережить вместе с автором минуты тихого созерцания. Еще более сокровенной, по сравнению даже с «Афоном», остается внутренняя, молитвенная жизнь самого Зайцева, он практически ничего не сообщает о ней. Поэтому в одном ряду оказываются несоизмеримые в духовном плане вещи: «Мы поищем грибов, поклонимся могиле Антипы, полюбуемся солнцем, лесом, перекрестимся на пороге часовни». Зайцев пишет легко, весело, порой даже озорно. Он явно играет с потенциальным «секулярным» читателем, когда, например, называет «маленьким заговором» не что иное, как договоренность со старцем-духовником об исповеди и причастии... О сокровенных переживаниях Зайцевых можно судить из их личных писем. Например, В. А. Зайцева пишет своей близкой подруге В. Н. Буниной об исповеди у схимника: «Обедню служил о. Федор, который нас исповедывал. <...> Вера! Ты себе представить не можешь, что это за Человек! <...> Мне кажется, он сразу познал нас. Сколько любви, сколько облегчения дала мне эта ночь. <...> Я тебе пишу и плачу от умиления»[1].

Зайцевым воссоздан, как не раз отмечалось в критике, «рай». Валаам запоминается обликом чистой, возвышенной благообразной жизни, оставляя в памяти образы приветливых старичков-монахов. Зайцев точно так же, как в «Афоне», отразил одну грань Валаамского монастыря — «ощущение прочности и благословенности», светоносность и тишину этого мира. Но он не касается иных граней — скорбей, неизбежных на иноческом пути, духовных подвигов виденных им «простеньких» старцев — это и не входит в его задачу. Он весь захвачен духом словно вновь воскресшей Родины: «Ведь это все мое, в моей крови, я вырос в таких лесах...», ему вновь открывается памятная с детства «приветливая и смиренная Святая Русь».

Поэтому понятно, что пришедшая с началом финской войны весть о трагедии далекого, но родного Валаама отозвалась для Зайцева острой болью. 14 декабря 1939 года начались бомбардировки Валаама (где размещался финский военный гарнизон) советской авиацией. 29 декабря Зайцев сообщает Бунину: «Оплакиваю Валаам. Сегодня вышел мой очерк о нем («Дни», № 4). Вроде надгробного слова. Да — «заметает быстро вьюга все, что в жизни я любил» — какое зрелище развертывает

[1] **Зайцев Б. К.** Другая Вера. С. 433—434.

перед нами хам? А? Вся почти наша зрелая жизнь — этот миленький пейзаж». В следующем письме к Бунину (17.1.1940) приведен один из уникальных документов эпохи: «Нынче подали письмо с Валаама, от 14 дек<абря> — первый день бомбардировки. Пишет знакомый молодой послушник — привожу целиком: «Дорогие и милые Вера Алексеевна и Борис Константинович, усердно просим вас обоих помолиться Господу, да спасет и сохранит Он Страну нашу, Обитель нашу и всех нас. Пожалуйста, передайте просьбу эту и Н. М. и И. К. Денисовым и всем другим, кто нас знает и помнит и кому дорога Обитель наша. Простите. Спасибо за все. Да хранит вас обоих Господь!» Молюсь-то я о них и так постоянно — а тут взревнул, должен сознаться. Ведь подумай, это только *первый день* — (а по газетам бомбардировали неделю, как только позволяла погода). Да жив ли еще этот Ник. Андреич, плававший на их пароходе «Сергий»? Бог знает»[1].

Подобно тому как десять лет назад защищал от глумлений Афон, Зайцев с отчаянием обреченности вступается за Валаам, подписывает протест русских писателей против вторжения в Финляндию, сознавая, что ничто уже не спасет обитель. В публицистической статье о Валааме, опубликованной 29 декабря 1939 года в «Возрождении» (упомянутой в письме к Бунину), Зайцев рассматривает уничтожение монастыря в контексте его многовековой истории и напоминает, что некогда шведы разгромили обитель, но после столетнего запустения она вновь расцвела. И новое Смутное время не поколебало веру Зайцева в неуничтожимость духовного ядра России — православия. Можно уничтожить иноков, но невозможно убить дух, которому они служат. С редкой для Зайцева публицистической прямотой, чеканно-точно, здесь говорится уже не об «обликах простоты и привстливости», а о том сокровенном и главном деле, которым заняты валаамские монахи, о смысле их пребывания в мире: «...валаамские старцы являются заступниками за всех нас, русских, и за Россию. Россию, находящуюся сейчас в стихии демонической <...>. Мученичество русского Валаама указывает, что кроме России Сталина есть и Святая Русь»[2].

Зайцев всегда особенно чутко относился к страданиям за Христа, поэтому столь значима в его творчестве тема современного мученичества. И в далекой России, и в современной Франции он видит и всегда откликается на примеры реальных страданий за веру. Тема Креста, новой Голгофы остро волнует художника. Он часто пишет о том, что в нынешнее время, в XX веке, как бы возвращаются времена первохристианства, когда Церковь снова становится беспощадно гони-

---

1 Письма Б. Зайцева И. и В. Буниным // Новый журнал. 1983. № 150. С. 211, 212, 213.

2 Зайцев Б. К. [О Валааме] // Зайцев Б. К. Знак Креста: Роман, очерки, публицистика. М., 1999. С. 503.

мой, а подлинные христиане бедствуют и нищенствуют, идут на страдания и смерть за исповедание своей веры. И он стремится увековечить память тех, кто принял муки от безбожных гонителей.

Таковы отклик на кончину в Крыму Аделаиды Герцык «Светлый путь (Памяти А. Г.)» — поэтессы, которая во время террора и голода, посреди смерти и беззакония слагала стихи — гимны Богу; заметки «Крест» — о похищении советскими агентами в Париже генерала А. Кутепова, «У Короля» — о злодейском убийстве короля Югославии Александра. В зарисовке «Спас на Крови» Зайцев вспоминает близких ему людей, погибших в годы революции, и надеется, что рано или поздно, в память всех замученных и невинно убиенных, всех Новомучеников Российских будет воздвигнут в Москве, в сердце новой России, храм «на крови»[1]. В очерке «Знак Креста» Зайцев рассказывает о христианских святых, чьи имена носили многие его близкие. В свое время все они были удостоены венцов святости именно за мученичество: Татьяна, Вера, Надежда, Наталия. Родные Зайцева, дорогие ему люди, стараются следовать примеру своих небесных покровителей — им посвящает он теплые строки. Примеры славы и доблести, самопожертвования «за други своя», проявленных русскими эмигрантами, сражавшимися в рядах французской армии против фашистов, Зайцев приводит в публикуемом здесь очерке «Русская слава». «Кровь их проливалась не только за Францию, но и за Россию, за нас, наше доброе имя». В их образах тоже живет «Россия геройская и жертвенная».

Тема России звучит в каждой строке Б. Зайцева, чаще всего подспудно, но и в открыто публицистических словах — размышлениях о ее историческом пути, мировом значении. Эти мысли можно прочесть в заметках писательского дневника — «Странник», «Дни», «Дневник писателя» и других. Россию Зайцев воспринимает двояко — как «терзаемую и терзающую». В судорогах и кровавых вихрях истории он различает и Святую Русь, воплощающуюся в подвижниках, праведниках, мучениках. Она живет, по мысли художника, и в России Советской, не поглощаясь и не смешиваясь с нею, а как бы проникая сквозь нее. Православие — вот ее главная опора, источник ее бытия. И подлинная Россия может существовать только озаряемая светом Христовой веры, только воцерковленная: «Дух России оказался вечно жив. В бедах, крушениях он еще сильней расцвел. Насколько есть в нем дуновение Духа Святого, настолько и жизнь»[2].

У России — «Голгофской страны» — особый путь, который невозможно понять мирским разумом. Судьбу ее писатель сравнивает с судьбой Иова — а она может быть постигнута только в свете Нового

---

[1] Перечисленные очерки опубликованы в изд.: Зайцев Б. К. Знак Креста. М., 1999.

[2] Зайцев Б. К. Ответ Мюллеру. С. 84.

Завета, искупительной жертвы Спасителя. Для Зайцева важно, что Россия идет путем Христовым, на Крест, и это является залогом ее воскресения.

Вера в грядущее возрождение России никогда не оставляла Зайцева. «Так расцветет мой дом, но не заглохнет»,— писал он в страшные годы «голода, холода и всяческого зверства», видя образ исторического движения Родины в кротком вознице Миколке, и веря, что сам святой Николай Чудотворец поможет в этом пути[1]. Зайцев уповает на грядущее возрождение Родины именно как христианской страны. И видит особое значение России и для всего мира: «Истина все-таки придет из России... «Святою Русью» — в *новых* ее формах, в бедности и простоте, тишине, чистоте, незаметно, без парадов и завоеваний. Придет... чтобы просветить усталый мир»[2].

Открывать миру спасительные духовные сокровища Святой Руси, нести частицы евангельской Истины людям — страждущим собратьям, делать духовно-просветительскую работу — как это сложно для светского человека, но вдвойне сложно для художника. «Светский, но православный»[3] — вот точное самоопределение Зайцева, который действительно стал проповедником Евангелия в новую эпоху. В своей проповеди он избегает прямых нравоучений, понимая, что Истину невозможно *доказать*, как математическую теорему. Но ее можно *пережить*. Проникнуться сердцем. Увидеть открывшимся внутренним зрением, сердечными очами, почувствовать душой тихое веяние благодати Божией.

«Есть истины, которые созерцаются, есть истины, которые переживаются... Нельзя объяснить, что такое добро, свет, любовь (можно лишь *подвести* к этому). Я должен сам почувствовать. Что-то в глуби существа моего должно — сцепиться, расцепиться, отплыть, причалить... Я помню ту минуту, более пятнадцати лет назад, когда я вдруг почувствовал весь свет Евангелия, когда эта книга в первый раз раскрылась мне как чудо. А ведь я же с детства знал ее»[4].

Главными в «апостольской» работе были для Зайцева всегда положительные, созидательные начала. Всякой критике он предпочитал предложение добра, света и радости, которые дает людям Истина. Зайцев *не обличает и не поучает*. Неизменно кроткий, смиренный и благодушный, он *приглашает* собеседника — и читателя — войти в русский храм.

Алексей ЛЮБОМУДРОВ

---

[1] Зайцев Б. К. Улица св. Николая // Зайцев Б. К. Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 2. С. 329.

[2] Зайцев Б. К. Странник. Спб., 1994. С. 30—31.

[3] Зайцев Б. К. Дни. М.; Париж, 1995. С. 79.

[4] Зайцев Б. К. Странник. С. 35.

ПРЕПОДОБНЫЙ
СЕРГИЙ
РАДОНЕЖСКИЙ

Св. Сергий родился более шестисот лет назад, умер более пятисот. Его спокойная, чистая и святая жизнь наполнила собой почти столетие. Входя в него скромным мальчиком Варфоломеем, он ушел одной из величайших слав России.

Как святой, Сергий одинаково велик для всякого. Подвиг его всечеловечен. Но для русского в нем есть как раз и нас волнующее: глубокое созвучие народу, великая типичность — сочетание в одном рассеянных черт русских. Отсюда та особая любовь и поклонение ему в России, безмолвная канонизация в народного святого, что навряд ли выпала другому.

Сергий жил во времена татарщины. Лично его она не тронула: укрыли леса радонежские. Но он к татарщине не пребыл равнодушен. Отшельник, он спокойно, как все делал в жизни, поднял крест свой за Россию и благословил Димитрия Донского на ту битву, Куликовскую, которая для нас навсегда примет символический, таинственный оттенок. В поединке Руси с Ханом имя Сергия навсегда связано с делом созидания России.

Да, Сергий был не только созерцатель, но и делатель. Правое дело, вот как понимали его пять столетий. Все, кто бывали в Лавре, поклоняясь мощам Преподобного, всегда ощущали образ величайшего благообразия, простоты, правды, святости, покоящийся здесь. Жизнь «бесталанна» без героя. Героический дух средневековья, породивший столько святости, дал здесь блистательное свое проявление.

Автору казалось, что сейчас особенно уместен опыт — очень скромный — вновь, в меру сил, восстановить в памяти знающих и рассказать незнающим дела и жизнь великого святителя, и провести читателя чрез ту особенную, горнюю страну, где он живет, откуда светит нам немеркнущей звездой.

Присмотримся же к его жизни.

Париж, 1924 г.

ВЕСНА

Детство Сергия, в доме родительском, для нас в тумане. Все же общий некий дух можно уловить из сообщений Епифания, ученика Сергия, первого его биографа[1].

По древнему преданию, имение родителей Сергия, бояр Ростовских Кирилла и Марии, находилось в окрестностях Ростова Великого, по дороге в Ярославль. Родители, «бояре знатные», по-видимому, жили просто, были люди тихие, спокойные, с крепким и серьезным складом жизни. Хотя Кирилл не раз сопровождал в Орду князей Ростовских, как доверенное, близкое лицо, однако сам жил небогато. Ни о какой роскоши, распущенности позднейшего помещика и говорить нельзя. Скорей напротив, можно подумать, что домашний быт ближе к крестьянскому: мальчиком Сергия (а тогда — Варфоломея) посылали за лошадьми в поле. Значит, он умел и спутать их, и обратать. И подведя к какому-нибудь пню, ухватив за челку, вспрыгнуть, с торжеством рысцою гнать домой. Быть может, он гонял их и в ночное. И, конечно, не был барчуком.

Родителей можно представить себе людьми почтенными и справедливыми, религиозными в высокой степени. Известно, что особенно они были «страннолюбивы». Помогали бедным и охотно принимали странников. Вероятно, в чинной жизни странники — то начало ищущее, мечтательно-противящееся обыденности, которое и в судьбе Варфоломея роль сыграло.

Есть колебания в годе рождения святого: 1314—1322[2]. Жизнеописатель глухо, противоречиво говорит об этом.

Как бы то ни было, известно, что 3 мая у Марии родился сын. Священник дал ему имя Варфоломея, по дню празднования этого святого.

Особенный оттенок, отличающий его, лежит на ребенке с самого раннего детства.

Семи лет Варфоломея отдали учиться грамоте, в церковную

школу, вместе с братом Стефаном. Стефан учился хорошо. Варфоломею же наука не давалась. Как и позже Сергий, маленький Варфоломей очень упорен и старается, но нет успеха. Он огорчен. Учитель иногда его наказывает. Товарищи смеются и родители усовещивают. Варфоломей плачет одиноко, но вперед не двигается.

И вот, деревенская картинка, так близкая, и так понятная через шестьсот лет! Забрели куда-то жеребята[3], и пропали. Отец послал Варфоломея их разыскивать. Наверно, мальчик уж не раз бродил так, по полям, в лесу, быть может, у прибрежья озера ростовского, и кликал их, похлопывал бичом, волочил недоуздки. При всей любви Варфоломея к одиночеству, природе, и при всей его мечтательности, он, конечно, добросовестнейше исполнял всякое дело — этою чертой отмечена вся его жизнь.

Теперь он — очень удрученный неудачами — нашел не то, чего искал. Под дубом встретил «старца черноризца, саном пресвитера». Очевидно, старец его понял.

— Что тебе надо, мальчик?

Варфоломей сквозь слезы рассказал об огорчениях своих, и просил молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту.

И под тем же дубом стал старец на молитву. Рядом с ним Варфоломей — через плечо недоуздки. Окончив, незнакомец вынул из-за пазухи ковчежец, взял частицу просфоры, благословил ею Варфоломея и велел съесть.

— Это дается тебе в знак благодати и для разумения Священного Писания. Отныне овладеешь грамотою лучше братьев и товарищей.

О чем они беседовали дальше, мы не знаем. Но Варфоломей пригласил старца домой. Родители приняли его хорошо, как и обычно странников. Старец позвал мальчика в моленную, и велел читать псалмы. Ребенок отговаривался неумением. Но посетитель сам дал книгу, повторивши приказание.

Тогда Варфоломей начал читать, и все были поражены, как он читает хорошо.

А гостя накормили, за обедом рассказали и о знамениях над сыном. Старец снова подтвердил, что теперь Варфоломей хорошо станет понимать св. Писание и одолеет чтение. Затем прибавил: «Отрок будет некогда обителью Пресв. Троицы; он многих приведет за собой к уразумению Божественных заповедей».

С этого времени Варфоломей двинулся, читал уже любую книгу без запинки, и Епифаний утверждает — даже обогнал товарищей.

В истории с его учением, неудачами и неожиданным, таинственным успехом, видны в мальчике некоторые черты Сергия:

знак скромности, смирения есть в том, что будущий святой не мог естественно обучиться грамоте. Заурядный брат его Стефан лучше читал, чем он, *его* больше наказывали, чем обыкновеннейших учеников. Хотя биограф говорит, что Варфоломей обогнал сверстников, но вся жизнь Сергия указывает, что не в способностях к наукам его сила: в этом ведь он ничего не создал. Пожалуй, даже Епифаний, человек образованный и много путешествовавший по св. местам, написавший жития свв. Сергия и Стефана Пермского, был выше его как писатель, как ученый. Но непосредственная связь, живая, с Богом, обозначилась уж очень рано у малоспособного Варфоломея. Есть люди, внешне так блестяще одаренные — нередко истина последняя для них закрыта. Сергий, кажется, принадлежал к тем, кому обычное дается тяжко, и посредственность обгонит их — зато необычайное раскрыто целиком. Их гений в иной области.

И гений мальчика Варфоломея вел его иным путем, где менее нужна наука: уже к порогу юности отшельник, постник, инок ярко проступили. Больше всего любит он службы, церковь, чтение священных книг. И удивительно серьезен. Это уже не ребенок.

Главное же: у него является *свое*. Не потому набожен, что среди набожных живет. Он впереди других. Его ведет — призвание. Никто не принуждает к аскетизму — он становится аскетом и постится среды, пятницы, ест хлеб, пьет воду, и всегда он тихий, молчаливый, в обхождении ласковый, но с некоторой *печатью*. Одет скромно. Если же бедняка встретит, отдает последнее.

Замечательны и отношения с родными. Конечно, мать (а может, и отец), давно почувствовала в нем особенное. Но вот, казалось, что он слишком изнуряется. Она его упрашивает не насиловать себя. Он возражает. Может быть, из-за его дарений тоже выходили разногласия, упреки (лишь предположение): но какое чувство меры! Сын остается именно *послушным сыном*, житие подчеркивает это, да и факты подтверждают. Находил Варфоломей гармоничность, при которой был самим собой, не извращая облика, но и не разрывая с тоже, очевидно, ясными родителями. В нем не было экстаза, как во Франциске Ассизском. Если бы он был блаженным, то на русской почве это значило б: юродивый. Но именно юродство ему чуждо. Живя, он с жизнью, семьей, духом родного дома и *считался*, как и с ним семья считалась. Потому к нему неприменима судьба бегства и разрыва.

А внутренно, за эти годы отрочества, ранней юности, в нем накоплялось, разумеется, стремление уйти из мира низшего и

среднего в мир высший, мир незамутненных созерцаний и общенья непосредственного с Богом.

Этому осуществиться надлежало уж в других местах, не там, где проходило детство.

ВЫСТУПЛЕНИЕ

Трудно вообще сказать, когда легка была жизнь человеческая. Можно ошибиться, называя светлые периоды, но в темных, кажется, погрешности не сделаешь. И без риска станешь утверждать, что век четырнадцатый, времена татарщины, ложились камнем на сердце народа.

Правда, страшные нашествия тринадцатого века прекратились. Ханы победили, властвовали. Относительная тишина. И все же: дань, баскаки, безответность и бесправность даже пред татарскими купцами, даже перед проходимцами монгольскими, не говоря уж о начальстве. И чуть что — карательная экспедиция: «егда рать Ахмулова бысть», «великая рать Туралыкова»,— а это значит: зверства, насилия, грабеж и кровь.

Но и в самой России шел процесс мучительный и трудный: «собирание земли» Не очень чистыми руками «собирали» русскую землицу Юрий и Иван (Калита) Даниловичи. Глубокая печаль истории, самооправдание насильников — «все на крови!». Понимал или нет Юрий, когда при нем в Орде месяц водили под ярмом его соперника, Михаила Тверского, что делает дело истории, или Калита, предательски губя Александра Михайловича? «Высокая политика», или просто «растили» свою вотчину московскую — во всяком случае уж не стеснялись в средствах. История за них. Через сто лет Москва незыблемо поднялась *над* удельною сумятицей, татар сломила и Россию создала.

А во времена Сергия картина получалась, например, такая: Иван Данилыч выдаст двух дочерей — одну за Василия Ярославского, другую — за Константина Ростовского — и вот и Ярославль, и Ростов подпадают Москве. «Горько тогда стало городу Ростову, и особенно князьям его. У них отнята была всякая власть и имение, вся же честь их и слава потягнули к Москве».

В Ростов, восводою, прибыл некий Василий Кочева, «и с ним другой, по имени Мина». Москвичи ни перед чем не останавливались. «Они стали действовать полновластно, притесняя жителей, так что многие ростовцы принуждены были отдавать москвичам свои имущества поневоле, за что получали только оскорбления и побои, и доходили до крайней нищеты.

Трудно и пересказать все, что потерпели они: дерзость московских восвод дошла до того, что они повесили вниз головою ростовского градоначальника, прсстарслого боярина Аверкия... и оставили на поругание. Так поступали они не только в Ростове, но по всем волостям и сслам сго. Народ роптал, волновался и жаловался. Говорили... что Москва тиранствуст».

Итак, разоряли и чужие, и свои. Родители Варфоломея, видимо, попали под двойнос дсйствис, и ссли Кирилл тратился на посздки в Орду с князсм (а к посздкам относились так, что, уезжая, оставляли дома завещания), если страдал от «Туралыковой великой рати», то, конечно, Мины и Кочевы тоже были хороши. На старости Кирилл был вовсс разорен, и лишь о том мечтал, куда бы выйти из ростовской области.

Он вышел поселенцем в село Радонеж, в 12 верстах от Троицс-Ссргисвой Лавры[4]. Ссло Радонсжскос досталось сыну Калиты, Андрею, а за малолетством его Калита поставил там наместником Терентия Ртища. Желая заселить дикий и лесистый край, Терентий дал персселенцам из других княжсств льготы, что и привлекло многих. (Епифаний упоминаст густыс имена ростовцев: Протасий Тысяцкий, Иоанн Тормасов, Дюденя и Онисим, и др.).

Кирилл получил в Радонсжс помсстьс, но сам служить ужс не мог, по старости. Его замещал сын Стефан, женившийся еще в Ростовс. Младший сын Кирилла Пстр тожс жснился. Варфоломсй продолжал прсжнюю жизнь, лишь настоятсльнсй просился в монастырь. Если всегда его душа была отмечена особенным влечением к молитве, Богу и уединению, то можно думать, что и горсстный вид жизни, сс насилия, неправды и свирепость лишь сильнее укрепляли его в мысли об уходе к иночеству. Возможно, что задумчивый Варфоломей, стремясь уйти, и чувствовал, что начинаст дело крупное. Но представлял ли ясно, что задуманный им подвиг не одной его души касается? Что уходя к медведям Радонежским, он приобретает некую опору для воздсйствия на жалкий и корыстный мир? Что, от нсго отказываясь, начинаст длитсльную, многолетнюю работу просветления, облагораживанья мира этого? Пожалуй, вряд ли. Слишком был он скромсн, слишком погружсн в общснье с Богом.

В самой истории ухода снова ярко проявился ровный и спокойный дух Варфоломся.

Отсц просил сго не торопиться.

— Мы стали стары, немощны; послужить нам некому; у братьев твоих немало заботы о своих семьях. Мы радуемся, что ты старасшься угодить Господу. Но твоя благая часть нс

отнимется, только послужи нам немного, пока Бог возьмет нас отсюда; вот, проводи нас в могилу, и тогда никто не возбранит тебе.

Варфоломей *послушался*. Св. Франциск ушел, конечно бы, отряхнул прах от всего житейского, в светлом экстазе ринулся бы в слезы и молитвы подвига. Варфоломей сдержался. Выжидал.

Как поступил бы он, если бы *надолго* затянулось это положение? Наверное, не остался бы. Но, несомненно, как-нибудь с достоинством устроил бы родителей и удалился бы без бунта. Его тип иной. А отвечая типу, складывалась и судьба, естественно и просто, без напора, без болезненности: родители сами ушли в монастырь (Хотьковский, в трех верстах от Радонежа; он состоял из мужской части и женской)[5]. У Стефана умерла жена, он тоже принял монашество, в том же Хотькове. А затем умерли родители. Варфоломей мог свободно осуществить замысел.

Он так и сделал. Верно, все-таки привязан был к семье: и в этот час, последний пребывания в миру, вспомнил о Петре, брате, имущество оставшееся завещал ему. Сам же отправился в Хотьков, к Стефану. Как будто не хотелось действовать и тут без одобренья старшего. Стефана убедил, и вместе тронулись они из Хотькова в недалекие леса.

Лесов тогда было достаточно. Стоило пожелать, и где угодно можно было ставить хижину, копать пещеру и устраиваться. Не вся земля принадлежала частным лицам. Если собиралось несколько пустынников, и нужно было ставить церковь, прочно оседать, то спрашивали разрешенье князя и благословенье у местного святителя. Освящали церковь — и обитель возникала.

Варфоломей и Стефан выбрали место в десяти верстах от Хотькова. Небольшая площадь, высившаяся как маковка, позже и названная Маковицей. (Преподобный говорит о себе: «аз есмь Сергие Маковскый».) Со всех сторон Маковица окружена лесом, вековыми соснами и елями. Место, поразившее величием и красотой. Летопись же утверждает, что вообще это особенный пригорок: «глаголеть же древний, видяху на том месте прежде свет, а инии огнь, а инии благоухание слышаху».

Тут братья поселились. Сложили из ветвей шалаш («прежде себе сотвориста одриную хизину и покрыста ю»), потом срубили келийку и «церквицу». Как они это делали? Знали ли плотничество? Вероятно, здесь, на Маковице, пригласив плотника со стороны, и учились рубить избы «в лапу». В точности мы этого не знаем. Но в подвижничестве Сергия дальнейшем это плотничество русское, и эта «лапа» очень многознаменательна. В сосновых лесах он возрос, выучился ремеслу, через столетия сохранил облик плотника-святого, неустанного строителя сеней,

церквей, келий, и в благоуханьи его святости так явствен аромат сосновой стружки. Поистине преподобный Сергий мог считаться покровителем этого великорусского ремесла.

Как осторожен и нетороплив Варфоломей в выполнении давнего намеренья, так же он скромен и в вопросе с церковью. Как назовут ее? Он обращается к Стефану. Стефан вспомнил слова таинственного старца, встреченного им под дубом: церковь должна быть во имя Св. Троицы. Варфоломей принял это. Так дело его жизни, столь уравновешенно-покойное, приняло покровительство Триединства, глубочайше внутренно-уравновешенной идеи христианства. Далее мы увидим, что у Сергия был культ Богоматери. Но все-таки, в пустынях Радонежа не Пречистая и не Христос, а Троица вела святого.

Митрополит Феогност, к которому отправились они, пешком, в Москву, благословил их и послал священников с антиминсом мощами мучеников — церковь освятили.

Братья продолжали жить на своей Маковице. Но жизнь их не совсем ладилась. Младший оказался крепче и духовней старшего. Стефану пришлось трудно. Может быть, он и вообще пошел в монахи под влиянием смерти жены. Возможно (и почти наверно) — у него характер тяжкий. Как бы то ни было, Стефан не выдержал — суровой и действительно «пустынной» жизни. Ведь уединение полнейшее! Едва достать необходимейшее. Пили воду, ели хлеб, который приносил им, временами, вероятно, Петр. Даже пройти к ним нелегко — дорог, да и тропинок не было.

И Стефан ушел. В Москву, в Богоявленский монастырь, где жили легче. Варфоломей же в полном одиночестве продолжал полуночный свой подвиг.

ОТШЕЛЬНИК

Недалеко от пустыни жил игумен-старец Митрофан[6], которого Варфоломей, по-видимому, знал и ранее. В летописи есть упоминание, что Варфоломей «на обедню призываша некоего чюжого попа суща саном или игумена старца, и веляше творити литургию». Возможно, именно игумен Митрофан и приходил к нему для этого. Однажды он попросил игумена пожить с ним в келии некоторое время. Тот остался. И тогда отшельник открыл желание свое — стать иноком. Просил о пострижении.

Игумен Митрофан 7 октября постриг юношу[7]. В этот день Церковь празднует свв. Сергия и Вакха, и Варфоломей в монашестве стал Сергием,— воспринял имя, под которым перешел в Историю.

Совершив обряд пострижения, Митрофан приобщил Сергия св. Таин. Затем остался на неделю в келии. Каждый день совершал литургию, Сергий же семь дней не выходя провел в «церквице» своей, молился, ничего не «вкушал», кроме просфоры, которую давал Митрофан. Всегда такой трудолюбивый, теперь Сергий, чтобы не развлечься, прекратил всякое «поделие». С уст его не сходили псалмы и песни духовные. А когда пришло время Митрофану уходить, просил его благословения на жизнь пустынную.

— Ты уже уходишь и оставляешь меня одиноким. Давно я желал уединиться и всегда просил о том Господа, вспоминая слова Пророка: се удалихся бегая, и водворихся в пустыне. Благослови же меня, смиренного, и помолись о моем уединении.

Игумен поддержал его и успокоил, сколько мог. И молодой монах один остался среди сумрачных своих лесов.

Можно думать, что это — труднейшее для него время. Тысячелетний опыт монашества установил, что тяжелее всего, внутренно, первые месяцы пустынника. Нелегко усваивается аскетизм. Существует целая наука духовного самовоспитания, стратегия борьбы за *организованность* человеческой души, за выведение ее из пестроты и суетности в строгий канон. Аскетический подвиг — выглаживание, выпрямление души к единой вертикали. В таком облике она легчайше и любовнейше соединяется с Первоначалом, ток божественного беспрепятственней бежит по ней. Говорят о теплопроводности физических тел. Почему не назвать духопроводностью то качество души, которое дает ощущать Бога, связывает с Ним. Кроме избранничества, благодати, здесь культура, дисциплина. Видимо, даже натуры, как у Сергия, ранее подготовленные, не так скоро входят в русло и испытывают потрясения глубокие. Их называют искушениями.

Если человек так остро напрягается вверх, так подчиняет пестроту свою линии Бога, он подвержен и отливам, и упадку, утомлению. Бог есть сила, дьявол — слабость. Бог — выпуклое, дьявол — вогнутое. У аскетов, не нашедших еще меры, за высокими подъемами идут падения, тоска, отчаяние. Ослабшее воображение впадает в вогнутость. Простое, жизненно-приятное кажется обольстительным. Духовный идеал — недостижимым. Борьба безнадежной. Мир, богатство, слава, женщина...— и для усталого миражи возникают.

Отшельники прошли через это все. Св. Василий Великий, вождь монашества, оставил наставление пустынникам в борьбе со слабостями. Это — непрерывное тренированье духа,— чтение слова Божия и житий святых, ежевечернее размышление о своих

мыслях и желаниях за день (examen de conscience католиков), мысли о смерти, пост, молитва, воспитание в себе чувства, что Бог непрерывно за тобою смотрит, и т. д.

Св. Сергий знал и пользовался наставлениями кесарийского епископа, но все же подвергался страшным и мучительным видениям. Жизнеописатель говорит об этом. Возникали пред ним образы зверей и мерзких гадов. Бросались на него со свистом, скрежстом зубов. Однажды ночью, по рассказу Преподобного, когда в «церквице» своей он «пел утреню», чрез стену вдруг вошел сам сатана, с ним целый «полк бесовский». Бесы были все в остроконечных шапках, на манер литовцев[8]. Они гнали его прочь, грозили, наступали. Он молился. («Да воскреснет Бог, и да расточатся враги Его»). Бесы исчезли.

В другой раз келия наполнилась змеями,— даже пол они закрыли. Снаружи раздался шум, и «бесовские полчища» как будто пронеслись по лесу. Он услышал крики: «Уходи же, прочь! Зачем пришел ты в эту глушь лесную, что хочешь найти тут? Нет, не надейся долее здесь жить: тебе и часа тут не провести; видишь, место пустое и непроходимое; как не боишься умереть здесь с голоду или погибнуть от рук душегубцев-разбойников?»

Видимо, более всего подвергался Сергий искушению страхом, на древнем, мило-наивном языке: «страхованием». Будто слабость, куда он впадал, брошенный братом, была: сомнение и неуверенность, чувство тоски и одиночества. Выдержит ли, в грозном лесу, в убогой келии? Страшны, наверно, были осени и зимние метели на его Маковице! Ведь Стефан не выдержал же. Но не таков Сергий. Он упорен, терпелив, и он «боголюбив». Прохладный и прозрачный дух. И с ним Божественная помощь, как отзыв на тяготенье. Он одолевает.

Другие искушения пустынников как будто миновали его вовсе. Св. Антоний в Фиваиде мучился томлением сладострастия, соблазном «яств и питий». Александрия, роскошь, зной Египта и кровь юга мало общего имеют с Фиваидой северной. Сергий был всегда умерен, прост и сдержан, не видал роскоши, распущенности, «прелести мира». Святитель-плотник радонежский огражден от многого — суровою своей страной и чинным детством. Надо думать, что вообще пустынный искус был для него легче, чем давался он другим. Быть может, защищало и природное спокойствие, ненадломленность, неэкстатичность. В нем решительно ничего нет болезненного. Полный дух Св. Троицы вел его суховатым, одиноко-чистым путем среди благоухания сосен и елей Радонежа.

Так прожил он, в полном одиночестве, некоторое время.

Епифаний не ручается за точность. Просто и прелестно говорит он: «пребывшу ему в пустыни единому единствовавшу или две лете, или боле или меньши, Бог весть». Внешних событий никаких. Духовный рост и созревание, новый закал пред новою, не менее святой, но усложненной жизнью главы монастыря и дальше — старца, к голосу которого будет прислушиваться Русь. Быть может, посещенья редкие и литургии в «церквице». Молитвы, труд над грядкою капусты, и жизнь леса вокруг: он не проповедовал, как Франциск, птицам, и не обращал волка из Губбио, но, по Никоновской летописи, был у него друг лесной. Сергий увидел раз у келии огромного медведя, слабого от голода. И пожалел. Принес из келии краюшку хлеба, подал — с детских ведь лет был, как родители, «страннопримен». Мохнатый странник мирно съел. Потом стал навещать его. Сергий подавал всегда. И медведь сделался ручным.

Но сколь ни одинок был Преподобный в это время, слухи о его пустынничестве шли. И вот, стали являться люди, прося взять к себе, спасаться вместе. Сергий отговаривал. Указывал на трудность жизни, на лишения, с ней связанные. Жив еще был для него пример Стефана. Все-таки — уступил. И принял нескольких: немолодого, с верховьев реки Дубны Василия Сухого. Земледельца Якова, братия называла его Якута; он служил вроде рассыльного. Впрочем, посылали его редко, в крайности: старались обходиться во всем сами. Упоминаются еще: Онисим, дьякон, и Елисей, отец и сын, земляки Сергия, из Ростовской земли. Сильвестр Обнорский, Мефодий Пешношский, Андроник.

Построили двенадцать келий. Обнесли их тыном, для защиты от зверей. Онисима, чья келья находилась у ворот, Сергий поставил *вратарем*. Келии стояли под огромными соснами, елями. Торчали пни только что срубленных деревьев. Между ними разводила братия свой скромный огород.

Жили тихо, и сурово. Сергий подавал во всем пример. Сам рубил келии, таскал бревна, носил воду в двух водоносах в гору, молол ручными жерновами, пек хлебы, варил пищу, кроил и шил одежду, обувь, был, по Епифанию, для всех «как купленный раб». И наверно, плотничал теперь уже отлично. Летом и зимой ходил в той же одежде, ни мороз его не брал, ни зной. Телесно, несмотря на скудную пищу (хлеб и вода), был очень крепок, «имел силу противу двух человек».

Был первым и на службах. Службы начинались в полночь (полунощница), затем шли утреня, третий, шестой и девятый час. Вечером — вечерня. В промежутках частые «молебные пения» и молитва в келиях, работы в огородах, шитье одежды, переписыванье книг и даже иконописание. Литургию служить

приглашали священника из соседнего села, приходил и Митрофан, постригший в свое время Сергия. Позже он тоже вошел в состав братии — был первым игуменом. Но прожил недолго, вскоре умер.

Так из уединенного пустынника, молитвенника, созерцателя вырастал в Сергии и деятель. Игуменом он еще не был, и священства не имел. Но это уже настоятель малой общины, апостольской по числу келий, апостольской по духу первохристианской простоты и бедности, и по роли исторической, какую надлежало ей сыграть в распространении монашества.

ИГУМЕН

Так шли годы. Община жила неоспоримо под началом Сергия. Он вел линию ясную, хоть и не так суровую, и менее формалистическую, чем, напр., Феодосий Киево-Печерский, ставивший подчинение себе основой. Феодосий требовал точнейшего исполнения приказаний. Но Феодосий, не снимавший власяницы, выставлявший себя на съедение комарам и мошкам, был и в аскетическом подвиге страстнее — это опять иной облик. Жизненное же·и устроительное дело Сергия делалось почти *само собой*, без видимого напора. Иногда же, как в истории с игуменством, как будто даже против его воли.

Монастырь рос, сложнел, и должен был оформиться. Братия желала, чтобы Сергий стал игуменом. А он отказывался.

— Желание игуменства,— говорил,— есть начало и корень властолюбия.

Но братия настаивала. Несколько раз «приступали» к нему старцы, уговаривали, убеждали. Сергий сам ведь основал пустынь, сам построил церковь; кому же и быть игуменом, совершать литургию.

(До сих пор приходилось приглашать священника со стороны. А в древних монастырях обычно игумен был и священником.)

Настояния переходили чуть не в угрозы: братия заявляла, что если не будет игумена, все разойдутся. Тогда Сергий, проводя обычное свое чувство меры, уступил, но тоже относительно.

— Желаю,— сказал,— лучше учиться, нежели учить; лучше повиноваться, нежели начальствовать; но боюсь суда Божия; не знаю, что угодно Богу; святая воля Господа да будет!

И он решил не прекословить — перенести дело на усмотрение церковной власти.

Митрополита Алексия в то время не было в Москве. Сергий

с двумя старейшими из братии пешком отправился к его заместителю, епископу Афанасию, в Переяславль-Залесский[9].

Явился он к святителю рано утром, перед литургией, пал на колена и просил благословения. В век, когда святые ходили пешком, и когда к Лавре вряд ли и проезжая была дорога, когда к епископу, наверно, обращались без доклада, мало удивляет, что епископ спросил скромного монаха, запыленного, в грязи, кто он.

Все же имя Сергия было ему известно. Он без колебаний *повелел* принять игуменство. Сергий уж не мог отказываться. Все произошло просто, в духе того времени. Афанасий со своими священнослужителями тотчас пошел в церковь, облачился, велел Сергию вслух произнести Символ веры, и, осенив крестом, поставил в иподиакона. За Литургией Сергий был возведен в иеродиакона. Священство получил на другой день. И еще на следующий — сам служил Литургию, первый раз в жизни. Когда она окончилась, епископ Афанасий произнес над ним молитвы, полагающие во игумена. Затем, после беседы в келии, отпустил.

И Сергий возвратился, с ясным поручением от Церкви — воспитывать, вести пустынную свою семью. Он этим занялся. Но собственную жизнь, в игуменстве, не изменил нисколько: так же продолжал быть «купленым рабом» для братии. Сам свечи скатывал, варил кутью, готовил просфоры, размалывал для них пшеницу.

В пятидесятых годах к нему пришел архимандрит Симон из Смоленской области, прослышав о его святой жизни. Симон — первый принес в монастырь и средства. Они позволили построить новую, более обширную, церковь Св. Троицы.

С этих пор стало расти число послушников. Келии принялись ставить в некотором порядке. Деятельность Сергия ширилась. Был введен богослужебный устав Феодора Студита, тот же, что и некогда в Киево-Печерской Лавре.

Сергий постригал не сразу. Наблюдал, изучал пристально душевное развитие прибывшего. «Прикажет,— говорит Епифаний,— одеть пришельца в длинную свитку из грубого, черного сукна, и велит проходить какое-нибудь послушание, вместе с прочими братиями, пока тот не навыкнет всему уставу монастырскому; потом облечет его в одежду монашескую; и только после испытания пострижет уже в мантию и даст клобук. А когда видел, что который-либо инок опытен уже в духовном подвиге, того удостоивал и св. схимы».

Несмотря на постройку новой церкви, на увеличение числа монахов, монастырь все строг и беден. Тип его еще — «особ-

ножитный». Каждый существует собственными силами, нет общей трапезы, кладовых, амбаров. Несомненно, кое-что из собственности появилось — напр., у архимандрита Симона, у Пересвета и др. До времени Сергий не запрещал этого. Но за духовной жизнью братии наблюдал пристально, и вел ее. Во-первых, был духовником — ему исповедовались. Он определял меру послушания, сообразно силам и способностям каждого. Это — внутреннее его общение. Но следил и за внешней дисциплиной. Было положено, что у себя в келии инок проводит время или за молитвой, или за размышлением о своих грехах, проверкой поведения, или за чтением св. книг, переписыванием их, иконописью — но никак не в разговорах.

По вечерам, иногда даже ночью, окончив свои молитвы, Преподобный обходил келии и заглядывал в «волоковые»[10] оконца. Если заставал монахов вместе, то стучал им палкою в окошко, а наутро звал к себе, «увещевал». Действовал спокойно, и не задевая, более всего стараясь убедить. Но иногда налагал и эпитимии. Вообще же, видимо, обладал даром поддерживать благообразный и высокий дух просто обаянием облика. Вероятно, как игумен, он внушал не страх, а то чувство поклонения, внутреннего уважения, при котором тяжело сознавать себя неправым рядом с праведником.

Трудолюбие мальчика и юноши Варфоломея оставалось неизменным и в игумене. По известному завету ап. Павла, он требовал от иноков труда и запрещал им выходить за подаянием. В этом резкое отличие от св. Франциска. Блаженный из Ассизи не чувствовал под собой земли. Всю недлинную свою жизнь он летел, в светлом экстазе, *над землей,* но летел «в люди», с проповедью апостольской и Христовой, ближе всех подходя к образу самого Христа. Поэтому и не мог, в сущности, ничего на земле учредить (учредили за него другие). И труд, то трудолюбие, которое есть корень прикрепления, для него не существенны.

Напротив, Сергий не был проповедником, ни он, и ни ученики его не странствовали по великорусской Умбрии с пламенною речью и с кружкою для подаяний. Пятьдесят лет он спокойно провел в глубине лесов, уча *самим собою,* «тихим деланием», но не прямым миссионерством. И в этом «делании» — наряду с дисциплиною душевной огромную роль играл тот черный труд, без которого погиб бы он и сам, и монастырь его. Св. Сергий, православный глубочайшим образом, насаждал в некотором смысле западную культуру (труд, порядок, дисциплину) в радонежских лесах, а св. Франциск, родившись в стране преизбыточной культуры, как бы на нее восстал.

Итак, Сергиева обитель продолжала быть беднейшей. Часто не хватало и необходимого: вина для совершения Литургии, воска для свечей, масла лампадного, для переписывания книг, не только что пергамента, но и простой харатьи[11]. Литургию иногда откладывали. Вместо свечей — лучины. Образ северный, быт древний, но почти до нас дошедший: русская изба с лучиной с детства нам знакома, и в тяжелые недавние годы вновь ожила. Но в Сергиевой пустыни при треске, копоти лучин читали, пели книги высшей святости, в окружении той *святой бедности,* что не отринул бы и сам Франциск. Книги переписывали *на берестах* — этого, конечно, уж не знал никто в Италии блаженно-светлой. В Лавре сохранились до сих пор бедные деревянные чаша и дискос, служившие при Литургии, и фелонь Преподобного — из грубой крашенины с синими крестами. Питались очень дурно. Нередко не было ни горсти муки, ни хлеба, ни соли, не говоря уже о приправах — масле и т. п.

Следующие два рассказа изображают материальное положение монастыря и роль игумена — верно, немыслимую для Запада.

В одну из затруднительных полос Преподобный Сергий, проголодав три дня, взял топор и пошел в келию к некоему Диниилу.

— Старче, я слышал, что ты хочешь пристроить себе сени к келии. Поручи мне эту работу, чтобы руки мои не были без дела.

— Правда,— отвечал Даниил,— мне бы очень хотелось построить их; у меня все уже и для работы заготовлено, и вот поджидаю плотника из деревни. А тебе как поручить это дело? Пожалуй, запросишь с меня дорого.

— Эта работа не дорого тебе обойдется,— сказал ему Сергий,— мне вот хочется гнилого хлеба, а он у тебя есть; больше этого с тебя не потребую. Разве ты не знаешь, что я умею работать не хуже плотника? Зачем же тебе звать другого плотника?

Тогда Даниил вынес ему решето с кусками гнилого хлеба (*«изнесе ему решето хлебов гнилых посмагов»*)[12], которого сам не мог есть, и сказал: вот, если хочешь, возьми все, что тут есть, а больше не взыщи.

— Хорошо, этого довольно для меня; побереги же до девятого часа: я не беру платы прежде работы.

И крепко подтянув себя поясом, принялся за работу. До позднего вечера пилил, тесал, долбил столбы и окончил постройку. Старец Даниил снова вынес ему гнилые куски хлеба, как условленную плату за труд целого дня. Только тогда Сергий поел.

Итак, игумен, духовник и водитель душ в личном своем деле оказывается последним, чуть что, действительно, не «купленым рабом». Старец Даниил начинает с того, что опасается, как бы Преподобный Сергий не «взял слишком дорого». Почему он решил, что Сергий возьмет дорого? Почему допустил, чтобы *игумен* трудился на него целый день? Почему просто не поделился своим хлебом? (Даже не «поделился»: сказано, что сам он этого хлеба не мог есть.) Не указывает ли это, что сквозь воспитание и воздействие Преподобного в отдельных иноках прорывалось самое обычное, житейское, до черствости и расчета? Старец, приходивший к Сергию на исповедь, за душой и благочестием которого тот следит, считает правильным заплатить ему за труд целого дня негодным хлебом — плотник из села к нему и не притронулся бы. А Сергий, очевидно, выделяет деятельность духовную, водительную, от житейских отношений. Скромность — качество его всегдашнее. Здесь блистательное проявление его.

Другой рассказ связан тоже с бедностью монастыря, силою веры, терпением, сдержанностью самого Сергия рядом с большой слабостью некоторых из братии.

В один из приступов нужды в обители нашлись недовольные. Поголодали два дня — зароптали.

— Вот,— сказал Преподобному инок от лица всех, — мы смотрели на тебя, и слушались, а теперь приходится умирать с голоду, потому что ты запрещаешь нам выходить в мир просить милостыню. Потерпим еще сутки, а завтра все уйдем отсюда, и больше не возвратимся: мы не в силах выносить такую скудость, столь гнилые хлебы.

Сергий обратился к братии с увещанием. Но не успел он его кончить, как послышался стук в монастырские ворота; привратник увидел в окошечко, что привезли много хлеба. Он сам был очень голоден, но все же побежал к Сергию.

— Отче, привезли много хлебов, благослови принять. Вот, по твоим святым молитвам они у ворот.

Сергий благословил, и в монастырские ворота въехало несколько повозок, нагруженных испеченным хлебом, рыбою и разной снедью. Сергий порадовался, сказал:

— Ну, вот, вы, алчущие, накормите кормильцев наших, позовите их разделить с нами общую трапезу.

Приказал ударить в било, всем идти в церковь, отслужить благодарственный молебен. И лишь после молебна благословил сесть за трапезу. Хлебы оказались теплы, мягки, точно только что из печки.

— Где же тот брат, что роптал на заплесневевшие хлебы? —

спросил Преподобный за трапезою.— Пусть войдет и попробует, какую пищу послал нам Господь.

Спросил и о том, где же привезшие. Ему ответили: по словам возчиков, это — дар неизвестного жертвователя. А возчики должны ехать дальше, не имеют времени остаться. И они уже уехали.

Случай с хлебами, прибывшими так вовремя, остался в памяти у братии и перешел в житие, как проявление Промысла, поддержавшего Преподобного в тяжелую минуту. Нас же он подводит уж вплотную к чудесам его.

СВ. СЕРГИЙ
ЧУДОТВОРЕЦ И НАСТАВНИК

Можно рассуждать так: Бог тем более поддерживает, окрыляет и заступается за человека, чем больше устремлен к нему человек, любит, чтит и пламенеет, чем выше его духопроводность. Ощущать действие этого Промысла может и просто верующий, не святой. Чудо же, нарушение «естественного порядка» (внешней, тонкой пленки, где все совершается по правилам и под которой, глубже, кипит царство сил духовных) — чудо «просто смертному» не дано (как не дано ему и истинных видений). Чудо есть праздник, зажигающий будни, ответ на любовь. Чудо — победа сверх-алгебры, сверх-геометрии над алгеброй и геометрией школы. Вхождение чудесного в будни наши не говорит о том, что законы буден ложны. Они лишь — не единственны. То, что называем мы «чудесным» — совершенно «естественно» для мира высшего, чудесно же лишь для нас, живущих в буднях и считающих, что кроме буден ничего и нет. Для моллюска чудом было бы услышать музыку Бетховена, для человека в некотором смысле чудо — капелька воды под микроскопом (простым глазом не видно!), видение будущего и физически невидимого, и, главное чудо, наименее приемлемое — мгновенная *отмена* нашего *маленького* закона: воскресение по смерти. Это, конечно, величайшая буря любви, врывающаяся *оттуда,* на призыв любовный, что идет *отсюда.*

Даже Преподобный Сергий, в ранней полосе подвижничества, не имел видений, не творил чудес. Лишь долгий, трудный путь самовоспитания, аскезы, самопросветления приводит его к чудесам и к тем светлым видениям, которыми озарена зрелость. (Замечательно, что пугающих видений, ужаса, потрясавшего юные годы отшельничества,— нет в старости Сергия, когда дух его приобрел абсолютную гармоничность и просветленность.)

В этом отношении, как и в других, жизнь Сергия дает образ постепенного, ясного, внутренно-здорового движения. Это непрерывное, недраматическое восхождение. Святость растет в нем органично. Путь Савла, вдруг почувствовавшего себя Павлом,— не его путь.

Спокойно, внутренно дозрев, он совершает чудо с источником. Оно связано с обычными, житейскими делами. Пока Преподобный *жил один на своей* Маковице, вопрос о воде не смущал его. Был ли около монастыря маленький родник, недостаточный для многих? Или родник *вообще* был не так близко и, не смущая Сергия, вызывал недовольство братии — неизвестно. Во всяком случае, появились разговоры, что носить воду трудно.

Тогда Сергий, взяв одного из иноков, спустился вниз от обители и, найдя небольшую лужу дождевой воды, стал пред ней на молитву. Он молился, чтобы Господь дал им воду, как некогда послал ее по молитве Моисея. Осенил место крестным знамением, и оттуда забил ключ, образовав ручей, который братия назвала было *Сергиевой рекой.* Но он запретил называть его так[13].

Второе чудо Сергия относилось к ребенку. В это время многие уже знали о нем, как о святом, и приходили с поклонением и за советами, а главное, со своими бедами. Епифаний рассказывает, как один человек принес ему тяжело больного своего ребенка. Пока он просил Сергия помолиться за него, и пока Преподобный готовился к молитве, ребенок умер. Отец впал в отчаяние. Стал даже укорять Сергия: лучше бы уж ребенок умер дома, а не в келии святого: по крайней мере, вера не убавилась бы.

И отец вышел, чтобы приготовить гробик. А когда вернулся, Сергий встретил его словами:

— Напрасно ты так и смутился. Отрок вовсе и не умирал.

Ребенок был теперь, действительно, жив. Отец пал к ногам Сергия. Но тот стал успокаивать его, и даже убеждать, что дитя просто было в сильном припадке, а теперь обогрелось и отошло. Отец горячо благодарил Преподобного за его молитвы. Но тот запретил ему разглашать о чуде. Узналось же это впоследствии, утверждает блаженный Епифаний, от келейника Преподобного Сергия. Его рассказ и приводит Епифаний.

Он передает еще о тяжелобольном, который три недели не мог спать и есть, и которого исцелил св. Сергий, окропив святой водой. О знатном вельможе, бесноватом, привезенном с берегов Волги, куда уже проникла слава Сергия как чудотворца. Вельможу повезли насильно. Он слышать не хотел о Сергии, бился, рвался, пришлось сковать его цепями.

Уже перед самою обителью он в ярости разорвал цепи. Крик слышали в монастыре. Сергий велел ударить в било и братии собираться в церковь. Начался молебен — о выздоровлении. Понемногу он стал успокаиваться. Наконец, Преподобный вышел к нему с крестом. Лишь только осенил его, тот с воплем бросился в лужу: «Горю, горю страшным пламенем!»

И выздоровел. Позже, когда рассудок вернулся к нему, его спросили: почему он бросился в воду. Он ответил, что увидел «великий пламень», исходивший от Креста и объявший его. Он и хотел укрыться в воде.

Такие исцеления, и облегчения, и чудеса широко разносили славу Сергия. К нему, как мудрецу и святому, шли люди разных положений — от князей и до крестьян. Пусть рос и богател монастырь, Сергий оставался тем же простым с виду «старичком», кротким и покойным утешителем, наставником, иногда судьей.

Житие приводит два случая, когда чрез Сергия как бы действовали и силы карающие.

Вблизи монастыря богатый отобрал у бедного свинью. Потерпевший пожаловался Сергию. Тот вызвал обидчика и долго убеждал — возвратить взятое. Богатый обещал. Но дома пожалел и решил не отдавать. Была зима. Свинью он только что зарезал, она лежала у него в клети. Заглянув, он видит, что вся туша уж изъедена червями.

Другой рассказ — о внезапной слепоте греческого епископа, сомневавшегося в святости Сергия,— слепоте, поразившей его, как только он подошел к Преподобному в ограде монастыря. Сергий должен был за руку ввести его к себе в келию. Там он признался в своем неверии и просил заступничества. Сергий, помолившись, исцелил его.

Вероятно, таких «посетителей» и «просителей заступничества» было много. Несомненно, очень многие приходили просто за советами, каялись в делах, томивших душу: обо всем не может же сказать Епифаний. Он передаст о наиболее запомнившемся.

Вообще в живой душе крепко сидит стремленье к очищению и «направлению». На наших глазах совершались бесконечные паломничества в Оптину — от Гоголя, Толстого, Соловьева, со сложнейшими запросами души, до баб,— выдавать ли замуж дочку, да как лучше прожить с мужем. А в революцию и к простым священникам приходили каяться красноармейцы — и в кощунствах, и в убийствах.

С половины жизни Сергий выдвинулся на пост всенародного учителя, заступника и ободрителя. В его времена «старчества»

еще не было. «Старцы» в православии явились поздно, в XVIII веке, с Паисием Величковским. Но самый тип «учительного старца» древен, он идет из греческих монастырей, и у нас в XV веке известен, например, учительный старец Филофей Псковский.

В позднейших монастырях старцы выделились в особый разряд — созерцательных мудрецов, хранящих традицию истинного православия, мало прикасающихся к монастырской жизни.

Сергий был и игуменом, и, как увидим,— даже и общественным, и политическим деятелем. Но может считаться и основоположником старчества.

ОБЩЕЖИТИЕ И ТЕРНИИ

Не совсем ясно, были ли, при жизни Сергия, у обители его жалованные села. Скорее — нет. Считается, что запрета *принимать* дарения он не делал. Запрещал *просить.* На крайней же, францисканской точке (ее не выдержали сами францисканцы), видимо, и не стоял. Непримиримые решения вообще не в его духе. Быть может, он смотрел, что «Бог даст», значит, надо брать, как принял он и повозки с хлебом, рыбою от неизвестного жертвователя. Во всяком случае, известно, что незадолго до смерти Преподобного, один галичский боярин подарил монастырю половину варницы и половину соляного колодезя у Соли Галицкой (нынешний Солигалич).

Монастырь не нуждался уже теперь, как прежде. А Сергий был все так же просто — беден, нищ и равнодушен к благам, как остался и до самой смерти. Ни власть, ни разные «отличия» его вообще не занимали. Но этого он не подчеркивал. Как удивительно естественно и незаметно все в нем! Отделяют пятьсот лет. О, если бы его увидеть, слышать. Думается, он ничем бы сразу и не поразил. Негромкий голос, тихие движения, лицо покойное, святого плотника великорусского. Такой он даже на иконе — через всю ея условность — образ невидного и обаятельного в задушевности своей пейзажа русского, русской души. В нем наши ржи и васильки, березы и зеркальность вод, ласточки и кресты, и не сравнимое ни с чем благоухание России. Все — возведение к предельной легкости, чистоте.

Долго прожившие с ним старцы говорили Епифанию, что никогда Преподобный не носил новой одежды, но «сермяжную ткань из простой овечьей шерсти, да притом ветхую, которую, как негодную, другие отказывались носить». Чаще всего шил сам одежду. «Однажды не случилось хорошего сукна в его обители; была одна лишь половинка, гнилая, какая-то пестрая

(«пелесоватая») и плохо сотканная. Никто из братии не хотел ею пользоваться: один передавал другому, и так обошла она до семи человек. Но Преподобный Сергий взял ее, скроил из нее рясу и надел, не хотел уже расставаться». Через год она развалилась вовсе.

Ясно, что по виду нетрудно было принять его за последнего из монастырских послушников.

Привожу почти дословно рассказ Епифания. Он просто и ярко рисует святого в обители.

Многие приходили издали, чтобы только взглянуть на Преподобного. Пожелал видеть его и один простой земледелец. При входе в монастырскую ограду он стал спрашивать братию: где бы повидать их славного игумена? А Преподобный в это время трудился в огороде, копая заступом землю под овощи.

— Подожди немного, пока он выйдет оттуда,— отвечали иноки.

Крестьянин заглянул в огород через отверстие забора и увидел старца в заплатанной одежде, трудившегося над грядкой. Он не поверил, что этот скромный старичок и есть тот Сергий, к которому он шел. И опять стал приставать к братии, требуя, чтобы ему показали игумена.

— Я издалека пришел сюда, чтобы видеть его, у меня есть до него важное дело.

— Мы уже указали тебе игумена,— ответили иноки.— Если не веришь, спроси его самого.

Крестьянин решил подождать у калитки. Когда Преподобный Сергий вышел, иноки сказали крестьянину:

— Вот он и есть, кого тебе нужно.

Посетитель отвернулся в огорчении.

— Я пришел издалека посмотреть на пророка, а вы показываете какого-то нищего! Но я не дожил еще до такого безумия, чтобы счесть этого убогого старичка за знаменитого Сергия.

Иноки обиделись. Только присутствие Преподобного помешало им выгнать его. Но Сергий сам пошел ему навстречу, поклонился до земли, поцеловал. Потом повел за трапезу. Крестьянин высказал свою печаль: не пришлось ему видеть игумена.

— Не скорби, брате,— утешил его Преподобный,— Бог так милостив к месту сему, что никто отсюда не уходит печальным. И тебе Он скоро покажет, кого ищешь.

В это время в обитель прибыл князь со свитою бояр. Преподобный встал навстречу ему. Прибывшие оттолкнули крестьянина и от князя, и от игумена. Князь до земли поклонился святому. Тот поцеловал его и благословил, потом оба они сели, а все остальные «почтительно стояли вокруг».

Крестьянин ходил среди них, и все старался рассмотреть, где же Сергий. Наконец, снова спросил:

— Кто же этот чернец, что сидит направо от князя?

Инок с упреком сказал ему:

— Разве ты пришелец здесь, что не знаешь Преподобного отца Сергия?

Только тогда понял он свою ошибку. И по отъезде князя бросился к ногам Сергия, прося прощения.

Разумеется, «нищий« и «убогий старичок» не был к нему суров. У Епифания приведены его слова:

— Не скорби, чадо; ты один справедливо рассудил обо мне; ведь они все ошибаются.

Есть мнение, что Епифаний даже сам наблюдал эту сцену, потому так тщательно и написал ее.

Как удивительно прост и серьезен в ней святой! Конечно, «житие» всегда иконность придает изображаемому. Но насколько можно чувствовать Сергия, чрез тьму годов и краткие сообщения, в нем вообще не было улыбки. Св. Франциск душевно улыбается — и солнцу, и цветам, и птицам, волку из Губбио. Есть улыбка — теплая и жизненная — у св. Серафима Саровского. Св. Сергий ясен, милостив, «страннолюбив», тоже благословил природу, в образе медведя близко подошедшую к нему. Он заступился перед братией и за простого человека. В нем нет грусти. Но как будто бы всегда он в сдержанной, кристально-разреженной и *прохладной* атмосфере. В нем есть некоторый север духа.

Мы видели, что *князь* приехал к Сергию. Это уж время, когда «старичка» слышно на всю Россию, когда сближается он с митрополитом Алексием, улаживает распри, совершает грандиозную миссию по распространению монастырей.

Между тем в собственном его монастыре не все покойно — именно, идет борьба за и против общежития.

Исторически, к нам пришло монашество *особножитное,* из Греции. Антоний и Феодосий Печерские ввели *общежитие,* но позже вновь оно было вытеснено особностью, и Преподобному Сергию принадлежала заслуга окончательного восстановления общежития.

Это далось ему не сразу.

Вначале монастырь на Маковице тоже был особножитный. Уже упоминалось, что до поры до времени Преподобный Сергий дозволял монахам даже некоторую собственность в келиях. Но с ростом монастыря и братии это становилось неудобным. Возникала разность в положении монахов, зависть, нежелательный дух вообще. Преподобный хотел более строгого порядка,

приближавшего к первохристианской общине. Все равны, и все бедны одинаково. Ни у кого ничего нет. Монастырь живет общиною.

В это время Сергий, игумен, друг митрополита Алексия, уже чувствовал, что дело Лавры — дело всероссийское и мессианское. Обитель-родоначальница сама должна принять неуязвимый облик.

Житие упоминает о видении Преподобного — первом по времени — связанном именно с жизнью обители.

Однажды, поздно вечером, стоя у себя в келии, как обычно, на молитве, он услышал голос: «Сергий!» Преподобный помолился и отворил оконце келии. Дивный свет льется с неба, и в нем Сергий видит множество прекрасных, неизвестных ему раньше птиц. Тот же голос говорит:

— Сергий, ты молишься о своих духовных детях: Господь принял твою молитву. Посмотри кругом — видишь, какое множество иноков собрано тобою под твое руководство во имя Живоначальныя Троицы.

А птицы летают в свете и необычайно сладостно поют.

— Так умножится стадо учеников твоих, и после тебя они не оскудеют.

Преподобный в великой радости позвал арх. Симона, жившего в соседней келии, чтобы и ему показать. Но Симон застал лишь конец видения — часть небесного света. Об остальном Преподобный ему рассказал.

Это видение, быть может, еще больше укрепило Сергия в необходимости прочных, правильных основ — и для его монастыря, и для рождающихся новых.

Полагают, что митрополит Алексий помогал, поддерживал его намерения — был *за* реформу. А в самом монастыре — многие против. Можно думать, что митр. Алексий проявил тут некоторую дипломатию: по его просьбе патриарх Кир Филофей прислал Преподобному Сергию послание, и подарки — крест, параманд и схиму. В грамоте ясно советовалось ввести общежитие («Но едина главизна (правило) еще не достаточествует ти: яко не общее житие стяжасте». И далее: «Потому же и аз совет благ вам даю: послушайте убо смирения нашего, яко да составите общее житие»). Такая грамота укрепляла положение Сергия как реформатора. И он ввел общежитие[14].

Не все были довольны им в монастыре. Некоторых это и связывало, и стесняло. Кое-кто даже ушел.

Деятельность Сергия нововведение расширяло и усложняло. Нужно было строить новые здания — трапезную, хлебопекарню, кладовые, амбары, вести хозяйство и т. п. Прежде руководство

его было только духовным — иноки шли к нему как духовнику, на исповедь, за поддержкой и наставлением. Теперь он как бы отвечал за самый быт монастыря.

Все способные к труду должны были трудиться. Частная собственность строго воспрещена.

Чтобы управлять усложнившейся общиной, Сергий избрал себе помощников и распределил между ними обязанности. Первым лицом после игумена считался *келарь*. Эта должность впервые учреждена в русских монастырях Преподобным Феодосием Печерским. Келарь заведовал казной, благочинием и хозяйством — не только внутри монастыря. Когда появились вотчины, он ведал и их жизнью. Правил и судебные дела. Уже при Сергии, по-видимому, было собственное хлебопашество — вокруг монастыря являются пахотные поля, частью обрабатываются они монахами, частью наемными крестьянами, частью — желающими поработать на монастырь. Так что у келаря забот немало. Одним из первых келарей Лавры был преподобный Никон, позже игумен.

В *духовники* назначали опытнейшего в духовной жизни. Он — исповедник братии. Савва Сторожевский, основатель монастыря под Звенигородом, был из первых духовников. Позже эту должность получил Епифаний, биограф Сергия.

За порядком в церкви наблюдал *экклезиарх*. (Исполнение церк. устава. Вначале Студийский[15], более простой, а теперь Иерусалимский, более торжественный: литургию совершали каждый день, т. к. священников было уже достаточно.) Меньшие должности: параэкклезиарх — содержал в чистоте церковь, канонарх — вел «клиросное послушание» и хранил Богослужебные книги.

Порядок жизни в келиях остался прежний: молитва и работа. Как обычно, Сергий первый подавал пример. Мы видели уже, как крестьянин застал его в огороде. Кроме того — шил обувь и одежду братии. Готовил «кануны», особый вид кутьи. Нигде не говорится, что он переписывал книги, занимался иконописью. Это подтверждает, что книжным человеком Преподобный не был никогда. Сергий — плотник, огородник, пекарь, водонос, портной, и не художник, не «списатель». А в монастыре именно явились и иконописцы, и «списатели». Племянник Сергия Феодор, в юности постриженный, овладел иконописью в Лавре. И есть мнение, что искусство иконописи перенесено оттуда в Андрониев монастырь, в Москве, где жил и знаменитый Андрей Рублев.

«Списание книжное» в Лавре процветало. В ризнице осталось много книг и оплетенных в кожу рукописей того времени.

Например, Евангелие Преподобного Никона, Служебник, писанный его же рукой в 1381 г., на пергаменте, «Поучения Аввы Дорофея», 1416 г., «рукою многогрешного инока Антония», «Лествица», 1411 г., «списанная рукою грубого и худого, странного, последнего во иноцех, смиренного многыми грехи Варлаама».

И многие другие, некоторые с удивительными заставками в красках и с золотом — напр., Псалтырь, писанная при игумене Никоне.

Так жили и трудились в монастыре Сергия, теперь уже прославленном, с проложенными к нему дорогами, где можно было и остановиться, и пробыть некоторое время — простым ли людям, или князю. «Странноприимство» ведь традиция давнишняя самого Преподобного, вынесенная еще из мира, от родителей. А теперь она давала повод правильно тратить избытки накоплявшиеся. Считают вероятным, что первая лаврская богадельня возникла при Сергии. Во всяком случае — он зачинатель монастырской благотворительности. А она возможна только при общежитии.

Однако — мы уже говорили — в этой чинной и спокойной общине не все шло гладко. Не все в братии были святые, как игумен Сергий. В сущности, с первых шагов «пустынной» жизни Преподобный жил именно с людьми, хотя и в облике монашеском. Ушел же некогда от него брат Стефан. Другие угрожали, что уйдут, когда он не хотел принять игуменства, когда бывало голодно в обители. Третьи ушли при введении общежития. Были недовольные и из оставшихся. Какая-то глухая борьба шла. Она и объясняет то тяжелое событие, которое произошло в монастыре.

Мы ничего не знаем ясно о «трениях» из-за общежития. Ни Епифаний, ни летопись ничего не говорят об этом — может быть, Епифаний и нарочно пропускает: легче говорить о светлом, чем о «слишком человеческом». И рассказ о происшедшем не вполне подготовлен, слишком внезапно выплывает с фона неразработанного.

Связан он опять со Стефаном.

Раз на вечерне — Пр. Сергий сам служил ее, был в алтаре — Стефан, любитель пения, стоял на клиросе. Преподобный услыхал голос брата, обращенный к канонарху.

— Кто тебе дал эту книгу?

— Игумен.

На это Стефан резко, в раздражении:

— Кто здесь игумен? Не я ли первый основал это место?

И в таком роде далее. («И ина некая изрек, их же не лепо бе».) Что именно «не лепо бе», нам неизвестно.

Дослужив службу, Преподобный не вернулся в келию. Он вышел из монастыря и пешком двинулся по пути в Кинелу, никому ни слова не сказав. Оставлял обитель, им основанную, чуть не собственноручно выстроенную, где провел столько святых лет — из-за резких слов собственного брата? Это, разумеется, не так. Мы знаем ясность и спокойствие Сергия. Поступок «нервный», вызванный внезапным, острым впечатлением, совсем не идет Сергию — не только как святому, смиренно бравшему от Даниила гнилой хлеб, но и характеру его человеческому, далекому от неожиданных, порывистых движений. Конечно, случай в церкви — лишь последняя черта. Конечно, Сергий давно чувствовал, что им недовольны некоторые, не один Стефан, за общежитие, за подвиг *трудной жизни,* куда звал он. И что *надо что-то сделать.*

С точки зрения обыденной он совершил шаг загадочный. Игумен, настоятель и «водитель душ» — как будто отступил. Оставил пост. Оставил и водительство. Трудно представить на его месте, напр., Феодосия Печерского. Конечно, он *смирил* бы недовольных. Нельзя думать, чтобы и у католиков произошло подобное. Виновных наказали бы, а игумен, ставленный самим архиепископом, никак не бросил бы монастыря.

Но русский смиренный и «убогий» старичок, которого и крестьянин-то приезжий не хотел признать игуменом,— в хмурый вечер вышел с палкою из Лавры, мерил старческими, но выносливыми, плотницкими ногами к Махрищскому монастырю дебри Радонежа. Никому он не сдавался, ни пред кем не отступал. Как можем мы знать его чувства, мнения? Мы можем лишь почтительно предполагать: так сказал внутренний голос. Ничего внешнего, формального. Ясная, святая вера, что «так будет лучше». Может быть, вопреки малому разуму, но — лучше. Чище. Если зажглись страсти, кто-то мне завидует, считает, что ему надо занять место мое, то пусть уж я уйду, не соблазняю и не разжигаю. Если меня любят, то любовь свое возьмет — пусть медленно. Если Бог так мне повелевает, значит, Он уж знает — нечего раздумывать.

И вот глухая ночь застала на пути — молитва в лесу, краткий сон. Разве боялся Св. Сергий леса этого — пустынник, друг медведей? А на утро, как и некогда перед епископом в Переяславле-Залесском, забрызганный и запыленный, он у врат Махрищской обители. Ее игумен-основатель, постриженник Киево-Печерской Лавры и друг Преподобного, Стефан, узнав, что Сергий посетил его, велел ударить в «било» и со всей братией вышел. Они кланяются до земли друг другу, ни один не хочет подыматься первый. Но Сергию пришлось уступить.

И он встает, благословляет,— дорогой, почетный гость в монастыре.

Он остается у Стефана некоторое время. А затем, с монахом Симоном, опять пешком, опять лесами, трогается в новые края, для основания новой пустыни. Он и нашел их, на реке Киржач. Там Преподобный Сергий поселился.

Но недолго пробыл в одиночестве. Разумеется, произошло смятение на Маковице. Большинство было огорчено — глубоко. Отправились за Преподобным. В Махрищском монастыре один из иноков узнал, что Сергий ушел дальше. Он вернулся в Лавру, рассказал об этом. И, мало-помалу, на Киржач стали пробираться преданные Сергию. Так было с ним всегда: любовь, почтение и поклонение к нему влекли. Он никого не приневоливал. Но если и хотел, не мог уйти от подлинной своей славы — чистой и духовной. Нигде в лесах один остаться он не мог, хотя всегда искал уединения, всегда отказывался властвовать, и более всего молился и учил, работал.

Он взялся за топор и на Киржаче. Помогал монахам строить келии, копал колодезь, просил митрополита Алексия поставить церковь — и поставил. Помогали в этом и со стороны, конечно, присылали подаяния. Ввел общежительный устав и здесь.

Но этим дело, все-таки, не кончилось. В Лавре не мирились с тем, что его нет. Старцы отправились к митрополиту, прося о воздействии. Может быть, и его уход изобразили не совсем точно, смягчили. Все же очевидно, что без Сергия им было неприятно. Митрополиту это тоже мало нравилось. И он отправил двух архимандритов, Павла и Геронтия, с увещанием к Сергию. Вероятно, это был полу-совет, полу-приказ. Возник из-за просьбы братии. Как ничего внешнего — в уходе Сергия, так же свободно, в сущности, и возвращение. Сергий пробыл на Киржаче 3—4 года. Митрополит мог бы давно силой возвратить его оттуда. Этого не случилось. Оба ждали, чтоб назрело время, разрешили жизненную трудность в духе вольности и любви. Правда, Алексий предлагал Сергию удалить недовольных общежитием. Но к этому не прибегали. Это *не* стиль Сергия. Ведь если бы он захотел, гораздо раньше мог бы сделать это — Алексий глубоко чтил его.

Киржачский монастырь был освящен и назван Благовещенским. Митрополит прислал церковную утварь, рукоположил в «строители» ученика Сергия — Романа.

А Сергий возвратился в Лавру. Епифаний вновь подробно, как бы очевидцем, описал нам это возвращение. «Умилительно было видеть, как, одни со слезами радости, другие со слезами раскаяния, ученики бросились к ногам святого старца: одни

целовали его руки, другие — ноги, третьи самую одежду его; иные, как малые дети, забегали вперед, чтобы полюбоваться на своего желанного авву, и крестились от радости; со всех сторон слышались возглашения: Слава Тебе, Боже, обо всех промышляющий! Слава Тебе, Господи, что сподобил Ты нас, осиротевших было, вновь увидеть нашего отца...».— И дальше, в столь же патетическом тоне.

Если тут есть след и собственного красноречия (к чему вообще склонен Епифаний), то, несомненно, возвращение святого, чистого и знаменитого игумена в обитель, им основанную, им прославленную, игумена, ни за что обиженного, не могло и не взволновать. В общем — сцену эту мы прекрасно видим.

Стефан тут не присутствовал. Был ли он в Москве, в своем монастыре Богоявленском? Неизвестно. Знаем лишь, что после смерти Сергия он снова в Лавре. От него знал Епифаний и о детстве Преподобного.

Сергий победил — просто и тихо, без насилия, как и все делал в жизни. Не напрасно слушался голоса, четыре года назад сказавшего: «Уйди». Победа пришла не так скоро. Но была полна. Действовал он тут не как начальник, как святой. И достиг высшего. Еще вознес, еще освятил облик свой, еще вознес и само православие, предпочтя внешней дисциплине — свободу и любовь.

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ И ЦЕРКОВЬ

История ухода Преподобного подводит к отношениям его с церковью, его месту в православии.

Можно так, вкратце, определить положение церкви времен Сергия: мир в идеях, действенность в политике.

Идейных разномыслий мало. Стригольники не сильны. Раскол, жидовствующие, Иосиф Волоколамский, Никон и старообрядцы — все придет позднее. Не от кого защищаться, не на кого нападать. Но есть русские князья, и есть татары, есть вообще Россия, едва держащаяся, чуть не поглощаемая. И национальная задача — отстоять ее. Борьба за государство. Церковь вмешана в нее глубоко.

Два митрополита, оба замечательные, наполняют век: Петр и Алексий. Игумен ратский Петр, волынец родом, первый митрополит русский, основавшийся на севере — сначала во Владимире, потом в Москве. Петр — первый благословил Москву. За нее, в сущности, положил всю жизнь. Это он ездит в Орду, добывает от Узбека охранительную грамоту для духовенства,

непрерывно помогает Князю, закладывает с ним в 1325 г. первую каменную церковь, гордость нашего Кремля — Успенский Собор. Архангельский, с гробницами царей, монастырь Спаса на Бору (единственные каменные стены, уцелевшие с тех пор) — все нас подводит к легендарному палладиуму Москвы — св. митр. Петру, тоже «собирателю», борцу, политику, миссионеру и целителю, судье и дипломату. Петр не видал еще свободы. На своих крепких и первосвятительских плечах он вынес самые тяжелые, предрассветные времена родины. Но не погнулся, не поддался.

Митрополит Алексий — из сановного, старинного боярства города Чернигова. Отцы его и деды разделяли с князем труд по управлению и обороне государства. На кафедре митрополита всероссийского Алексий шел воинственным путем, это «ecclesia militans»*, преемственный советник трех князей Московских, руководитель Думы, дипломат в Орде и ублажитель ханов, суровый и высокопросвещенный пастырь, карающий, грозящий отлучением, если надо. На иконах их изображают рядом: Петр, Алексий, в белых клобуках, потемневшие от времени лица, узкие и длинные, седые бороды... Два неустанных созидателя и труженика, два «заступника» и «покровителя» Москвы.

Преподобный Сергий при Петре был еще мальчиком, с Алексием он прожил много лет в согласии и дружбе. Но св. Сергий был пустынник и «молитвенник», любитель леса, тишины — его жизненный путь иной. Ему ли, с детства отошедшему от злобы мира сего, жить при дворе, в Москве, властвовать, иногда вести интриги, назначать, смещать, грозить! Нет, он послушный сын церкви, но не генерал ее. Очарованье православия — не полководец. Святой, но не хранитель догматов. Митрополит Алексий часто приезжает в его Лавру — может быть, и отдохнуть с тихим человеком — от борьбы, волнений и политики. А Сергий не имеет ни малейшей склонности к Москве. Он никуда не *ездит,* только *ходит,* но туда лишь, куда вызывают, или если обстоятельства велят.

Замечателен один его вызов — митрополитом Алексием.

Алексий чувствовал себя тогда уже стареющим и слабым — размышлял, кому передать кафедру по смерти. Некогда Феогност заранее наметил и его — себе на смену. Но теперь положение сложнее: Великий Князь Димитрий очень хотел возвести в митрополиты новоспасского архимандрита Михаила (его прозвали почему-то *Митяем*). Алексий этого не одобрял. Говорил: «Митяй еще недавний монах, надобно ему запастись духовным опытом и потрудиться в монашестве».

* воинствующая церковь *(лат.)*.

Без одобрения патриарха он Митяя благословить не хотел. При этом, один митрополит — Киприан — для Западной Руси уж был, его поставили по желанию литовских князей. После Алексия он должен был стать Всероссийским, жить в Москве. Но его не хотел Великий Князь. Митяй считался гордым и самонадеянным, Алексий, вероятно, чувствовал, что недостоин он занять кафедру св. Петра. Киприан не подходил Вел. Князю — тот хотел верного и знакомого человека. Да Киприан считался и врагом Алексия.

Зная чистоту, святость, славу Сергия, Алексий *его* выбрал.

Когда явился Сергий, то Алексий велел принести золотой «парамандный»[16] крест митрополичий, с драгоценными камнями. Отдал его Преподобному.

Но святой просто ответил:

— От юности я не был златоносцем; а в старости тем более желаю пребывать в нищете.

— Знаю,— ответил митрополит,— всегда ты жил так. Но теперь покажи послушание, прими от меня этот крест.

И сам надел его на Сергия, «как бы в знак обручения святительского сана». Объяснил, что Киприану он не может доверять, а его, Сергия, прочит на свое место. И это одобряют все, от простых людей до князя. Сначала он получит сан епископа, а затем митрополита.

Из предыдущей жизни Сергия мы знаем, что *хотел* он только уйти из родительского дома в лес и быть постриженным в монахи. Игумена Митрофана, старичка, постригавшего юношу на безвестный подвиг, он позвал, некогда, сам. Епископ Афанасий возводил его в игумены после великого сопротивленья. Но прославленный митрополит Алексий, его личный друг, Кремль, золотой крест в драгоценностях и сан митрополита — здесь поседелый, скромный, но и опытный уже Сергий проявил такую твердость, что сломить ее не удалось Алексию. Он отказался наотрез. В конце беседы сказал другу и начальнику.

— Если не хочешь отгонять моей нищеты от твоей святыни, то не говори больше об этом. Не дозволяй и другим побуждать меня: невозможно найти во мне то, чего желаешь ты.

Сергий уходил уже однажды на Киржач. И теперь мог взять посох, на шестом десятке лет так же спокойно и не говоря ни слова тронуться в далекие леса. Алексий понял это. Не настаивал и отпустил. Так было лучше. Сергий лучше всякого другого знал себя, мог делать только то, к чему был призван. И как всегда, внутреннему голосу больше всего придавал цены.

Он никогда не восставал на Церковь и глубоко почитал иерархию. Но убедил Алексия, что и для Церкви лучше, если он будет делать свое дело.

Так что свою церковную «карьеру» он пресек. Спокойно удалился от того, чего другие добивались так усердно.

И только выиграл на этом. Когда Алексий умер (1378 г.), началась десятилетняя борьба за митрополичью кафедру. Действующие лица ее: Митяй, епископ Дионисий, Киприан, архимандрит Пимен. Это печальные страницы церкви. Русские показывают себя здесь не лучше греков, греки в патриарших канцеляриях открыто продают митрополию. Ярче, интереснее других все же Митяй, бурный и «дерзкий» духовник Великого Князя Димитрия, а затем условно князем же (до утверждения патриархом) «назначенный» митрополитом. Его фигура не совсем ясна, и необычна. Никонова летопись клеймит его (на митрополичьем дворе «незнаемо здея страшно некако и необычно»), другие думают, что, наоборот, арх. Михаил был человек больших талантов и пытался обновить Церковь[17].

Как бы то ни было, все претенденты, грызшие друг друга, всячески старались привлечь к себе Сергия — его авторитет моральный. Сергий был против Митяя — в этом следовал Алексию, и всему складу образа собственного: был ли Митяй просто великим честолюбцем, или же и даровитым реформаторам, во всяком случае духу Сергиевой простоты и скромности никак не отвечал. Сергий обновлял свой монастырь любовью, миром. А Митяй наказывал не только архимандритов, но и епископов. На Дионисия Суздальского кричал: «Я спорю́ твои скрижали». Такому нраву у монаха вряд ли Преподобный мог сочувствовать.

В борьбе Митяя с Дионисием Сергий встал на сторону последнего: когда его арестовали, Преподобный поручился за него. Епископа освободили. Это — дело тишины и доброты святителя. Дионисий доброты не оправдал. Он тотчас же обманул («пресухитрил») Великого Князя — вновь, несмотря на обещанье не ходить — Волгой бежал в Константинополь добиваться митрополии. Это страшно раздражило Митяя на Сергия. Он грозил разрушить его монастырь.

«Преподобный же игумен Сергий рече: молю Господа Бога моего сокрушенным сердцем, да не попустит Митяю хвалящусь разорити место сие святое и изгнати нас без вины».

Митяю ничего не удалось сделать. Неожиданно в Константинополе он умер, греки же за деньги возвели в митрополиты его спутника архимандрита Пимена, у которого и началась борьба с Киприаном. Роль митрополита Западных Церквей Киприана во всех этих интригах тоже не из светлых. И он тоже обращался к Сергию в тяжелые минуты (когда в восьмидесятых годах его с позором, обобрав, какой-то боярин Никифор выгнал

из Москвы, на жалких клячах, «в обротех лычных», без обуви и без сорочек). Сохранилось несколько его посланий к Сергию. Он жалуется, просит помощи, и утешения. Вот именно *утешить* Сергий мог. И сделал это. Тут он в своей области, и видно, еще раз, как мудро и со знанием себя, своего дела и судьбы он поступил, сняв парамандный крест митрополита.

СЕРГИЙ И ГОСУДАРСТВО

Преподобный Сергий вышел в жизнь, когда татарщина уже надламывалась. Времена Батыя, разорения Владимира, Киева, битва при Сити — все далеко. Идут два процесса: разлагается Орда, крепнет молодое русское государство. Орда дробится, Русь объединяется. В Орде несколько соперников, борющихся за власть. Они друг друга режут, отлагаются, уходят, ослабляя силу целого. В России, наоборот,— восхождение. Некогда скромная *Москва* (выражение жития: *«честная кротостью»* и *«смиренная кротостью»*), катясь в истории как снежный, движущийся ком, росла, наматывая на себя соседей. Это восхождение трудное, часто преступное. Мы знаем, как в свирепой борьбе Москвы с Тверью Юрий (брат Ивана Калиты), ведет против тверичей татар. И Калита татарами же усмирял восставшего Александра Михайловича. Попутно и свое добро растил: Углич, Галич, Белозерск перешли к нему. Знаем, как Юрий удушил рязанского князя Константина, взятого отцом и жившего в плену. Как происками москвичей гибли в Орде князья Тверские. Вся их история полна трагедий. Шекспировским ужасом веет от старого Михаила Тверского, которому в Орде надели ярмо на шею и водили месяц, выставляя на «правеж». Потом — убили. Развязка здесь тоже шекспировская: его сын, Димитрий Грозные Очи, в той же ставке ханской убивает Юрия, убийцу своего отца,— сам погибает. А другой тверской князь, знавший, что идет в Орду на гибель, и пошедший все же? Волга не хотела пропускать его. Пока плыл он русскими землями, ветер был противный — повернулся, лишь когда Россия кончилась. В Орде князь мужественно ждал погибели. Последние три дня молился, и пред самой казнью ездил все на лошади, спрашивал: «Когда ж меня убьют?»

При *поэтическом* подходе тверитяне затмевают хитрых и коварных москвичей. В них все же есть дух рыцарский, быть может,— и ушкуйнический. Московские Даниловичи — лишь политики и торгаши. Но тверитяне взяли ложную линию движения — она их привела к погибели. Делу же общерусскому

они вредили. А москвичи — сознательно или нет, шли *большаком* русской государственности — и себя связали с нею навсегда.

Союзницей моксвичей была и Церковь. Митрополитов Петра и Алексия мы уже поминали. Для них борьба за Москву была борьбой за Русь. Петр, по преданию, предсказал Москве величие. Но жил во время безраздельной и могущественной еще Орды. Алексий уже видел проблески. А Сергию довелось благословить на первое поражение татар.

Преподобный не был никогда политиком, как не был он и «князем церкви». За простоту и чистоту ему дана судьба, далекая от политических хитросплетений. Если взглянуть на его жизнь со стороны касанья государству, чаще всего встретишь Сергия — учителя и ободрителя, миротворца. Икону, что выносят в трудные минуты,— и идут к ней сами.

Разумеется, не в молодые годы выступал он так. Первое упоминание — 1358 г., при Иване, сыне Калиты. Преподобный путешествует в Ростов, родной свой город, убеждает Константина Ростовского признать над собой власть Великого Князя. Но через два года Константин выхлопотал себе в Орде грамоту на самостоятельный удел — и в 1363 г. Сергий вновь идет на «богомолие к Ростовским чудотворцам» — видимо, вновь убеждает Константина не выступать против Великого Князя. И это снова удалось ему.

В 1365 г. князь Борис Константинович Суздальский захватил у своего брата Димитрия Нижний Новгород. Димитрий признавал главенство Московского Князя (Дмитрия Донского) и пожаловался ему на брата. Москве никак не могло нравиться, чтобы Борис устраивался в Нижнем самовольно. И распоряжением Алексия Преподобный Сергий снова послан миротворцем. Но с Борисом трудно было сладить даже Сергию.

Пришлось действовать строже: он закрыл церкви в Нижнем. Димитрий двинул войско. Борис уступил. Это единственный случай, когда Сергий вынужден был наказать. По тем кровавым временам какое, в сущности, и наказанье?

В этих выступлениях Сергием руководил Алексий. Мы приближаемся к тем действиям общественным святого, которые предприняты по смерти митрополита.

Несколько слов истории. Главным предметом внутрирусской драмы в этот век была борьба Москвы и Твери. Началась она при братьях Юрии и Иване (Калите) Даниловичах, а кончилась при Димитрии, победою Москвы. Княжение Калиты, несмотря на Тверь,— первое сравнительно покойное. Удавалось отклонять татар от экзекуций. Приходилось зато раболепствовать перед ними. Политика Алексия и Димитрия впервые попыталась взять

иное направление, самозаконное. Для этого надо было сломить Тверь.

Первым открытым выступлением Димитрия в самодержавном духе было возведение «каменного города Москвы», т. е. Кремля (1367 г.). Ясно, делалось это не зря. «Всех князей русских стал приводить под свою волю, а которые не повиновались его воле,— говорит летопись,— на тех начал посягать».

В это время главным «внутренним» его противником был внук Михаила Тверского, тоже князь Михаил, женатый на сестре Ольгерда Литовского, последний яркий представитель буйного трагического рода. Дважды водил он под Москву литовцев. Димитрий отсиживался в каменном Кремле. Больше того — Михаилу удалось выхлопотать себе великокняжеский ярлык, но Димитрий уж не так с Ордой считался. Приводил к присяге и владимирцев, и других, не обращал внимания ни на какие ярлыки. Переломилась психика. Проходил страх, ясным становилось, что Москва есть Русь. Петр и Алексий угадали. Михаил же делал противонациональное. Общественное мнение не за него.

И когда в 1375 г. Димитрий двинулся на «узурпатора», его поддерживало все «великорусское сердце»: князья и рати суздальские, нижегородские, ростовские, смоленские и ярославские, и др. Он взял Микулин, осадил Тверь, вынудил Михаила к унизительному миру и отказу от всех притязаний.

В Орде, между тем, выдвинулся Мамай, стал ханом. К поражению Твери спокойно отнестись Мамай не мог,— слишком заносчив становился Димитрий. Мамай посылал карательные отряды на нижегородцев, новосильцев, за их помощь Димитрию. В 1377 г. царевич Арапша разбил суздальско-нижегородскую рать на реке Пьяне, разграбил Нижний. В следующем — выслал мурзу Бегича против Димитрия. Но Димитрий энергичным маршем за Оку предупредил его. 11 августа, на Воже, татары в первый раз были разбиты.

Мамай решил вообще покончить с непокорным Димитрием, напомнить «времена батыевщины». Собрал всю волжскую Орду, нанял хивинцев, ясов и буртасов, сговорился с генуэзцами, литовским князем Ягелло — летом заложил свой стан в устье реки Воронежа. Поджидал Ягелло.

Время для Димитрия опасное. Митрополит Алексий уже умер. Димитрий действовал на собственный страх. В Москве вовсе не было митрополита — Михаил (Митяй) уехал к Патриарху.

Здесь и выступает снова Сергий. Т. е. сам он никуда не выступает, а к нему, в обитель, едет Димитрий за благословением на страшный бой.

До сих пор Сергий был тихим отшельником, плотником, скромным игуменом и воспитателем, святым. Теперь стоял пред трудным делом: благословения на кровь. Благословил бы на войну, даже национальную — Христос? И кто отправился бы за таким благословением к Франциску? Сергий не особенно ценил печальные дела земли. Самый отказ от митрополии, тягости с непослушными в монастыре — все ясно говорит, как он любил, ценил «чистое деланье», «плотничество духа», аромат стружек духовных в лесах Радонежа. Но не его стихия — крайность. Если на трагической земле идет трагическое дело, он благословит ту сторону, которую считает правой. Он не *за* войну, но раз она случилась, *за* народ и *за* Россию, православных. Как наставник и утешитель, Параклет России, он не может оставаться безучастным.

18 августа Димитрий с князем Серпуховским Владимиром, князьями других областей и воеводами приехал в Лавру. Вероятно, это было и торжественно, и глубоко серьезно: Русь *вправду* собралась. Москва, Владимир, Суздаль, Серпухов, Ростов, Нижний Новгород, Белозерск, Муром, Псков с Андреем Ольгердовичем — впервые двинуты такие силы. Тронулись не зря. Все это понимали.

Начался молебен. Во время службы прибывали вестники — война и в Лавру шла — докладывали о движении врага, предупреждали торопиться. Сергий упросил Димитрия остаться к трапезе.

Здесь он сказал ему:

— Еще не пришло время тебе самому носить венец победы с вечным сном; но многим, без числа, сотрудникам твоим плетутся венки мученические.

После трапезы Преподобный благословил князя и всю свиту, окропил св. водой. Замечательно, что летопись и тут, в минуту будто бы безнадежную, приводит слова Сергия о мире. Преподобный будто пожалел и Русь, и все это прибывшее, должно быть, молодое и блестящее «воинство». Он сказал:

— Тебе, Господин, следует заботиться и крепко стоять за своих подданных, и душу свою за них положить, и кровь свою пролить, по образу Самого Христа. Но прежде пойди к ним с правдою и покорностью, как следует по твоему положению покоряться ордынскому царю. И Писание учит, что если такие враги хотят от нас чести и славы — дадим им; если хотят золота и серебра — дадим и это; но за имя Христово, за веру православную, подобает душу положить и кровь пролить. И ты, Господин, отдай им и честь, и золото, и серебро, и Бог не попустит им одолеть нас: Он вознесет тебя, видя твое смирение, и низложит их непреклонную гордыню.

Князь отвечал, что уже пробовал, и безуспешно. А теперь поздно.

— Если так,— сказал Сергий,— его ждет гибель. А тебя — помощь, милость, слава Господа.

Димитрий опустился на колени. Сергий снова осенил его крестом.

— Иди, не бойся. Бог тебе поможет.

И наклонившись, на ухо ему шепнул: «Ты победишь».

Великий Князь «прослезился». Так это, или нет, теперь сказать уже трудно, а поверить следует: Димитрий шел, действительно, на «смертный бой». Есть величавое, с трагическим оттенком — в том, что помощниками князю Сергий дал двух монахов-схимников: Пересвета и Ослябю. Воинами были они в миру, и на татар пошли без шлемов, панцирей,— в образе схимы, с белыми крестами на монашеской одежде. Очевидно, это придавало войску Димитрия священно-крестоносный облик. Вряд ли двинулись бы рыцари-монахи в мелкую войну из-за уделов.

20-го Димитрий был уже в Коломне. 26—27-го русские перешли Оку, рязанскою землею наступали к Дону. 6 сентября его достигли. И заколебались. Ждать ли татар, переправляться ли?

Каков бы ни был Димитрий в иных положениях, здесь, перед Куликовым полем, он как будто ощущал полет свой, все вперед, неудержимо. В эти дни — он гений молодой России. Старшие, опытные воеводы предлагали: здесь повременить. Мамай силен, с ним и Литва, и князь Олег Рязанский. Димитрий, вопреки советам, перешел через Дон. Назад путь был отрезан, значит, все вперед, победа или смерть.

Сергий в эти дни тоже был в подъеме высочайшем. И вовремя послал вдогонку князю грамоту: «Иди, господин, иди вперед, Бог и св. Троица помогут!»

8 сентября 1380 года! Хмурый рассвет, Дон и Непрядва, Куликово поле и дух Слова о полку Игореве. Русь вышла снова в степь, меряться со зверем степи. Как все глубоко напряженно и серьезно! Перед сражением молятся. Читают «ратям» грамоту Преподобного. Над ставкой черный стяг великокняжеский с золотым образом Спасителя. Осенние туманы, медленный рассвет, хладно-серебряный. Роса, утренний холод. За Непрядвой не то стоны, не то грохот дальний. Люди умываются, подтягивают у коней подпруги, надевают чистые рубахи, и в последний раз оружие свое отрагивают. Строятся. Идут на смерть. Грусть и судьба — и неизбежность. Ясно, что возврата нет.

Единоборство Куликова поля вышло из размеров историчес-

ких. Создало легенду. В ней есть и несуразное. Подробности пусть отпадут, но, разумеется, миф лучше чувствует душу события, чем чиновник исторической науки. Можно отвергать известие, что Димитрий отдал мантию великокняжескую Бренку, а сам дрался простым воином, что, раненный, был найден на опушке леса после тридцативерстного преследования. Вряд ли мы знаем, сколько войска было у Мамая, сколько у Димитрия. Но, уж конечно, битва-то была особенная и с печатью рока — столкновение миров.

К полудню показались и татары. Димитрий выехал драться лично, «в первом суйме», передовой стычке. Таков обычай. Ранен не был, но доспех помяли. Тут же, по преданию, на зов татарского богатыря, выскакал Пересвет, давно готовый к смерти, и схватившись с Челибеем, поразив его, сам пал.

Началась общая битва, на гигантском, по тем временам, фронте в десять верст. Сергий правильно сказал: «Многим плетутся венки мученические». Их было сплетено не мало.

Преподобный же в эти часы молился, с братией, у себя в церкви. Он говорил о ходе боя. Называл павших и читал заупокойные молитвы. А в конце сказал: «мы победили».

С детства, навсегда запомнился рассказ о Куликовской битве. Как прорвали «сыроядцы» русский фланг и наши стали отступать, а рядом в роще из засады наблюдали — князь Владимир Серпуховский с воеводою Боброком и запасным корпусом. Как рвался и томился князь, Боброк же сдерживал: «Погоди, пусть ветер повернет на них». Как все сильней бежали русские, и били их татары, но Боброк выдержал, пока враги не обнажили тыл — тогда ударили в него. Тут начался разгром Мамая. У татар не было резервов. Дикари безудержно кинулись на Европу, и Европа вместе с воодушевлением показала и древнейше ей известный, с Аннибала, маневр охвата фланга.

Преследованье — вероятно, конницей, шло целый день, до реки Красивой Мечи. Предсказанье Сергия исполнилось: Димитрий возвратился в Москву победителем, и вновь посетил Преподобного. Служили вновь молебны, но и панихиды. Потери были колоссальны. Церковь не забыла убиенных. С тех пор по всей России служатся особенные панихиды, в «дмитриевские субботы», около 26 октября, дня св. Димитрия — отголосок той великой грусти, что сопутствовала битве.

Самая победа — грандиозна, и значение ее, прежде всего, моральное: доказано, что *мы,* мир европейский, христианский, не рабы, а сила, и самостоятельность. Народу, победившему на Куликовом поле, уже нельзя было остаться данником татарщины.

Но не быстра история. Жизнь поколения — ничто. Ни

Преподобный Сергий, ни Димитрий не дождались полного торжества России, оно замедлилось на годы. Они же вновь стали свидетелями ужасов: нагрянул Тохтамыш. Димитрий не успел отбить его, бежал на север. Кремль был предательски захвачен, все укрывшиеся перебиты, пригороды выжжены, монастыри Симонов, Чудов, Андрониев — разграблены. Погибли Боровск, Руза и Можайск, Звенигород. Когда Димитрий, собиравший «рати» в Костроме, вернулся, от Москвы остались лишь развалины. Кремль полон трупов — за очистку заплатил он 300 рублей, по рублю за 80 трупов.

Сам Преподобный с братией должен был удалиться — «и от Тохтамышева нахождения — бежа во Тферь».

Трагическая неудача стоила России новой дани, Димитрию — вновь путешествий, унижений и низкопоклонства.

Татары Тохтамыша не добрались до монастыря Сергия. Он возвратился.

Глубокой осенью 1385 г., пешком идет святой в Рязань, миротворцем к Олегу Рязанскому,— давнишнему, упрямому врагу Москвы, союзнику Твери, Мамая и Ольгерда. Олег был крепкий, вероломный, закаленный в трудных временах князь типа тверитян. Вся жизнь его прошла в интригах и походах. Ему случалось бить и москвичей, терпеть и «нахождения» татар. Чтобы спасать своих рязанцев, живших на пути татарском в глубь России — унижаться, предавать. Быть может, его старость, после бурной и тяжелой жизни, была нелегка. Как бы то ни было, победил Сергий,— старичок из Радонежа, семидесятилетними ногами по грязям и бездорожью русской осени отмеривший верст двести!

Вот рассказ летописи:

«Преподобный игумен Сергий, старец чудный, тихими и кроткими словесы... беседовал с ним о пользе душевной о мире, и о любви. Князь же великий Олег преложи свирепство свое на кротость и утиши, и укротись, и умились вельми душою, устыде бо столь свята мужа, и взял с Великим Князем Дмитрием Иванычем вечный мир и любовь в род и род». Так было и на самом деле. Чтобы закрепить союз, Олег женил на дочери Димитрия своего сына.

А в жизни Преподобного — это последний выход в область «государства».

Как одобритель и как миротворец, Сергий выступал всегда от Москвы, значит,— и России. Подымал свой крест, и свой негромкий, но правдивый голос только за дела правдивые. Меньше всего был он орудием — власти ли церковной или

государственной. Бедность, старость, простота и равнодушие к успехам, вечное стоянье «пред лицом Бога», труд, молитва, созерцание — делали его так же свободным, как и Феодосия Печерского, не побоявшегося назвать князя Святослава, за убийство брата, Каином. Св. Сергию не приходилось обличать. Но Радонежского отшельника, отринувшего митрополию, ясно намекавшего Алексию, что уйдет в леса; игумена, приютившего опального Дионисия; открытого противника Митяя; святого, прежде чем благословить Димитрия, советовавшего *избежать войны* — можно ли было Сергия *заставить* сделать что-нибудь такое, что противилось бы «гласу Божию», который шел к нему так невозбранно?

Уж, конечно, нет.

Князь Святослав раз погрозил Феодосию, что сошлет его. Тот ответил:

— Я этому рад. Для меня это лучшее в жизни. Нагими пришли мы в мир, нагими и выйдем из него.

Жизнь Преподобного Сергия слагалась и покойней, и ясней. Никто ему не угрожал. Но, если бы пришлось, он на своем спокойном и немногословном языке нашел бы нужные слова — ответил бы не хуже Феодосия.

Но наступал уже закат. В его судьбе этого не понадобилось.

ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

Люди борьбы, политики, войны, как Димитрий, Калита, Олег, нередко к концу жизни ощущают тягость и усталость. Утомляют жалкие дела земли. Страсти расшатывают. Грехи томят. В то время многие князья на старости и вблизи смерти принимали схиму — крепкий зов к святому, после бурно и греховно проведенной жизни.

Димитрий сгорел рано. Его княженье было трудным и во многом неудачным. Он умирал в момент удачи Тохтамыша — преждевременно надломленный всей ношей исторической. После Куликова Поля он сближается теснее с Преподобным: в 1385 г. Сергий крестит его сына, в 1389-м, умирая, Димитрий пишет завещание «перед своими отцы, перед игуменом перед Сергием, перед игуменом перед Савостьяном». В этом завещании особенно подчеркивается единовластие — идея, за которую Димитрий воевал всю жизнь. Он уже считает себя русским государем. Старший сын наследует отцу. Ни о каких уделах и борьбе за княжеский стол больше нет и речи. Порядок этот и установился на столетия, создав великую монархию.

Димитрий отошел в тяжелую минуту. В памяти Истории,

однако, позабылись промахи его и неудачи, он остался лишь героем Куликова Поля, молодым и смелым, первым повалившим зверя степи.

Судьба Сергия, конечно, уж иная. В годы Куликовской битвы и дальнейшие, он признанный облик благочестия и простоты, отшельник и учитель, заслуживший высший свет. Время искушений и борьбы — далеко. Он — живая схима. Позади *крест деятельный,* он уже на высоте *креста созерцательного,* высшей ступени святости, одухотворения, различаемой в аскетике. В отличие от людей миро-кипучей деятельности, здесь нет усталости, разуверений, горечи. Святой почти уж *за* пределами. Настолько просветлен, пронизан духом, еще живой преображен, что уже выше человека.

Видения и чудеса Сергия относятся к этой, второй половине жизни. А на закате удостоился он и особенно высоких откровений.

Из них есть связанные с Литургией. Так, Преподобный Сергий должен был благословить ученика своего Исаакия на «подвиг молчания». Подвиг этот очень труден. Преподобный сказал Исаакию:

— Стань завтра после Литургии у северных врат, я благословлю тебя.

В условленное время Исаакий встретил его там. Сергий перекрестил его, с особой, напряженнейшей молитвой. И тогда увидел Исаакий, что из руки Преподобного «исходит пламень и объемлет его». Он стал молчальником. Когда хотелось говорить, молитва Сергия и пламень руки ограждали его. Но и об этом случае, и о другом ему дано было сказать.

Однажды Литургию служили Сергий, брат его Стефан и племянник Феодор. Вдруг Исаакий видит в алтаре четвертого, в блистающих одеждах. На малом выходе, с Евангелием, четвертый шел за Сергием и так сиял, что Исаакий должен был прикрыть глаза рукой. Он спрашивает у Макария, соседа — кто бы это мог быть? Макарий тоже видел священнослужителя, ответил: вероятно, кто-нибудь из приехавших с князем Владимиром Андреевичем. Князь находился тут же. Но ответил,— никого не привозил. Макарий с Исаакием, после службы, обратились к Сергию, сказали, что, наверно, ангел ему сослужил. Сергий сначала уклонялся. Но затем, когда они настаивали, то признал.

— Если уж Господь открыл вам эту тайну, то могу ли я скрыть ее? Тот, кого вы видели, действительно, ангел. И не теперь только, а и всегда, когда я совершаю Литургию, мне, недостойному, бывает такое посещение. Но вы храните это в тайне, пока я жив.

Свет и огонь! Легкий небесный пламень как бы родствен, дружен теперь с Преподобным. «Друг мой свет», «друг мой пламень», мог сказать пронизанный духовностью, наполовину вышедший из мира Сергий. И не удивит рассказ экклезиарха Симона, видевшего, как огонь небесный сошел Св. Дары при освящении их Сергием, «озаряя алтарь, обвиваясь около св. трапезы и окружая священнодействующего Сергия».

В эти годы светлого своего вечера Преподобный Сергий имел еще одно «видение, непостижное уму».

За всю, почти восьмидесятилетнюю жизнь его нигде, ни на одном горизонте не видна женщина. Юношей отошел он от главнейшей «прелести» мира. В ранних искушениях на Маковице женщина не упомянута. Все «житие» нигде женщиной не пересечено — даже настоятельницей монастыря соседнего, поклонницею и «женою мироносицей», как св. Клара в жизненном пути Франциска. В прохладных и суровых лесах Радонежа позабыто само имя женщины. Приходят за благословением и укреплением князья, игумены, епископы, митрополиты и крестьяне. Сергий примиряет споры, творит чудеса. Но ни одной княгини, ни одной монахини, крестьянки. Как будто Сергий-плотник — лишь мужской святой, прохладный для экстаза женщины, и женщин будто вовсе не видавший. Конечно, это только впечатление. Но — остается.

Однако же, в его духовной жизни культ Жены существовал. Культ Богоматери, Мадонны — в этом смысле Преподобный Сергий был типическим средневековым человеком в русском облике. Глубокой ночью ежедневно, в келии, он пел акафист и молился Богородице. В закате земной жизни, на призыв стремлений многолетних Непорочная, по житию, сошла к нему.

Посещение произошло рождественским постом, в ночь с пятницы на субботу — при колебании в годах: между 1379—1384.

Преподобный, как обычно, пел в келии акафист и молил Св. Деву за обитель. Кончив, сел приотдохнуть. Вдруг он сказал келейнику Михею:

— Ободрись. Сейчас будет чудесное.

И услышал голос:

— Пречистая грядет.

Преподобный встал и вышел в сени. В ослепительном свете перед ним явилась Богоматерь с Апостолом Петром и Евангелистом Иоанном. В ужасе он пал на землю. Но Св. Дева ободрила его, сказала, что всегда будет заступницей обители, пусть не тревожится он. Его молитвы до Нее дошли.

И удалилась.

Сергий встал, возвратился в келию. Михей тоже лежал,

закрыв глаза одеждой. Он не видел Богородицы, лишь свет и ужас. Преподобный отправил его за Макарием и Исаакием. Когда они явились, рассказал им о видении. И все стали на «молебное пение» Пресвятой Деве, а Сергий и остаток ночи уж не спал — размышлял и вновь переживал пережитое.

На высоте, достигнутой им, Преподобный долго жить не мог. За полгода до смерти он уже знал о ней. Собрал учеников и управление обителью передал Никону. А сам «начал безмолвствовать».

В сентябре[18] тяжко заболел. Еще раз он собрал всю братию. Произнес ей наставление — об иноческой жизни, мире и любви, о «страннолюбии» — с детства особенно ценимой добродетели — и, причастившись св. Тайн, 25-го отошел.

Он и в последнюю минуту прежний Сергий: завещал похоронить себя не в церкви, а на общем кладбище, среди простых. Но эта воля его не была исполнена. Митрополит Киприан разрешил, по просьбе братии, положить останки Преподобного именно в церкви.

ДЕЛО И ОБЛИК

Сергий пришел на свою Маковицу скромным и безвестным юношей Варфоломеем, а ушел прославленнейшим старцем. До Преподобного на Маковице был лес, вблизи — источник, да медведи жили в дебрях по соседству. А когда он умер, место резко выделялось из лесов и из России. На Маковице стоял монастырь — Троице-Сергиева Лавра, одна из четырех Лавр[19] нашей родины. Вокруг расчистились леса, поля явились, ржи, овсы, деревни. Еще при Сергии глухой пригорок в лесах Радонежа стал светло-притягательным для тысяч. Через тридцать лет по смерти были открыты мощи Сергия — и на поклоненье им ходили богомольцы нескольких столетий — от царей до баб в лаптях, проложивших тропки торные по большаку к Сергиеву Посаду. И получилось так: кто меньше всех «вкусил меда» от жизни — более всех дал его другим — но в иной области.

Присмотримся немного, что же он оставил.

Прежде всего — монастырь. Первый крупнейший и прекрасный монастырь северной России.

На юге, в Киеве, эту задачу выполнили Антоний и Феодосий. Киево-Печерская Лавра, несомненно, прародительница всех русских монастырей. Но Киев и киевская культура слишком *эксцентричны* для России, слишком *местное*. Особенно в татарщине это заметно: Киев от нее, в сущности, так и не оправился,

представлять великую державу никогда не смог, не нес и тяжести собирания земли — все это отдал он Москве. Она его затмила и как государство, и святыней. Уже в XIII веке митрополитам всероссийским нельзя было оставаться в Киеве. Он слишком надломился. Десятинная церковь в развалинах, Киево-Печерская Лавра пустынна, от Св. Софии — одни стены. И митрополиты Кирилл и Максим, считаясь киевскими, в Киеве не жили. С Петром кафедра митрополичья окончательно перемещается на север — во Владимир и затем — в Москву.

Так что весь ход сложения русской земли вел к тому, чтобы на севере возник и новый центр духовного просветительства — в то время это были лишь монастыри. Митрополичья кафедра в Москве — узел управления. Сергиева Лавра под Москвой — узел духовного излучения, питательный источник для всего рождающегося государства. В этом — судьба самого Сергия и его Лавры. Он по природе вовсе не был ведь политиком — ни по церковной, ни по государственной части. Но фатально — вся жизнь и его, и Лавры, переплетена с судьбой России того времени. Во всех страданиях и радостях ее — и он участник. Не имея власти даже и церковной, неизменно словом, обликом, молитвой он поддерживает Русь, государство. Это получается свободно: Сергий — человек эпохи, выразитель времени — существо предопределенное.

Сергий основал не только свой монастырь и не из него одного действовал. Если келии Лавры он рубил собственноручно, если сам построил Благовещенский монастырь на Киржаче, то бесчисленны обители, возникшие по его благословению, основанные его учениками — и проникнутые духом его.

Авраамий Галицкий, один из ранних его постриженцев, удаляется в глухой Галичский край и живет пустыннически на горе у Чудского озера, близ найденной им чудотворной иконы *Умиление сердец*, поставленной в часовне. Слава иконы идет по окрестности, и князь призывает Авраамия в Галич. Пустынник в лодке везет образ Богоматери через озеро! По преданию, и сейчас видна особая струя на воде — след от проплывшей лодки. Авраамий основал в Галиче монастырь Успения Богородицы; потом отошел верст на тридцать и основал обитель Положение пояса Богородицы. Как только вокруг собирались ученики, он двигался дальше. Так учредил на реке Воче монастырь Собора Богоматери, и Покрова Богородицы — верный рыцарь св. Девы.

Прекрасно названа одна обитель: *Пешношская*, за рекой Яхромой. «Пустыннолюбивый» Мефодий для постройки церкви в ней таскал на себе бревна через речку вброд, *пеший носил*,

помнил, как учитель Сергий строил Лавру. «Тихий и кроткий» Андроник заложил монастырь на Яузе — в те времена *под Москвой,* а Москва нынешняя далеко обогнала смиренного Андроника! Но и сейчас с холма Яузы смотрит на далекий Кремль белый монастырь, вскормивший знаменитого Рублева, чей образ Троицы в Лаврском Соборе выше высшего. Симонов монастырь за Москва-рекой — дело рук преподобного Феодора, племянника и любимого ученика Преподобного. И куда бы из Москвы в окрестности ни двинуться — всюду следы Сергия: чудеснейший Звенигород с вековым бором, на круче у Москва-реки — преподобный Савва Сторожевский создал монастырь Рождества Богородицы. В Серпухове, пред просторами и голубыми далями Оки, Высоцкий монастырь белеет на песках, на фоне сосен — Афанасий учредил его, тот ученик Преподобного, кто был усерднейшим «списателем». Голутвенский монастырь в Коломне — преподобный Григорий. Все Подмосковье, и на север, и на юг пронизали монастыри Сергия. Южный предел — Боровенский монастырь в Калужской губернии. Северный — Ферапонтов и Кирилло-Белозерский. Трудно перечислить все, и как прекрасны эти древние, густые имена основателей: Павел Обнорский, Пахомий Нерехотский, Афанасий Железный Посох, Сергий Нуромский — все пионеры дела Сергиева, в дальние и темные углы несшие свет. Это они трудятся и рубят «церквицы» и келии, устраивают общежития по образцу Сергиеву, просвещают полудикарей, закладывают на культуре духа и основу государственности. Ибо ведь они — колонизаторы. Вокруг них возникает жизнь, при них светлей, прочней духовно чувствуют себя и поселенцы. Монастыри «сергиевские» — их считают до сорока, а от себя они произвели еще около пятидесяти — в огромном большинстве основаны в местах пустых и диких, в дебрях. Не они пристроены к преуспевавшей жизни — жизнь от них родится в лесных краях, глухоозерных. Для новой жизни эти монастыри — защита и опора, истина и высший суд. Само хозяйство иногда ими определяется. Впоследствии у Сергиевой Лавры были десятки тысяч десятин земли, вотчины, села, варницы и мельницы, только своей монеты не было. В кассах Лавры государи в трудные минуты берут в долг, келари — министры сельского хозяйства и финансов целых областей. На севере же, в некоторых местах монастыри — уж просто маленькие государства.

Развитие монастырей по этой линии шло уже после смерти Преподобного. При жизни он был лишь в общении духовном со своими вскормленниками, такими же нищими, как он. Так, посещал Мефодия Пешношского, которому советовал построить

церковь в более сухом месте, Сергия Нуромского, провожавшего его на две трети пути к Лавре. Но большинство, конечно, посещало самого Сергия. К зрелым и старческим годам он вырос вообще в учителя страны. Мы видим у него не только собственных учеников-игуменов, являющихся из новоустроенных монастырей, но и князей, и воевод, бояр, купцов, священников, крестьян, кого угодно. Он, разумеется, тот тип «учительного старца», который возник в Византии и оттуда перешел к нам. Как «институт», старчество во времена Сергия не существовало. Его идея очень приходилась по душе народа и высоко соответствовала православию. Фактически оно укрепилось много позже — с XVIII века и Паисия Величковского идет его традиция непрерываемая. Для жителя средней России навсегда врезались образы старцев Оптиной Пустыни, вблизи Козельска — Амвросиев, Нектариев, тех скромных и глубоких мудрецов, гениальный образ которых навсегда написан Достоевским (Старец Зосима). Сергий — их далекий, не формальный, но духовный прародитель. В темные времена, когда Россия так подавлена татарщиной, как будто и просвета нет, когда люди особенно нуждаются и в ободрении и в освежении, как горожанину замученному нужен озон леса, паломничество к Сергию приобретает всероссийски-укрепляющий смысл. Сергий сам — живительный озон, по которому тосковали, и которым утолялись. Он давал ощущение истины, истина же всегда мужественна, всегда настраивает положительно, на дело, жизнь, служение и борьбу. Исторически Сергий воспитывал людей, свободных духом, не рабов, склонявшихся пред ханом. Ханы величайше ошибались, покровительствуя духовенству русскому, щадя монастыри. Сильнейшее — ибо духовное — оружие против них готовили «смиренные» святые типа Сергия, ибо готовили и верующего, и мужественного человека. Он победил впоследствии на Куликовом Поле. Душевное воздействие святого сыграло роль в истории России, как сыграло свою роль само распространение монастырей.

Итак, юноша Варфоломей, удалившись в леса на Маковицу, оказался создателем монастыря, затем монастырей, затем вообще монашества в огромнейшей стране. Меньше всего думал об общественности, уходя в пустыню и рубя собственноручно «церквицу»: а оказался и учителем, и миротворцем, ободрителем князей и судьей совести: ведь к совести рязанского Олега обращался, как и к совести скупого, завладевшего сиротской «свинкой», не хотевшего ее вернуть. Участник и политики и малых дел житейских, исцелитель, чудотворец, «старичок» обители, принятый крестьянином за последнего работника, неуто-

мимый труженик и визионер, за много верст приветствующий Стефана Пермского, друг легкого небесного огня и радонежского медведя, Преподобный Сергий вышел, во влиянии своем на мир, из рамок исторического. Сделав свое дело в жизни, он остался обликом. Ушли князья, татары и монахи, осквернены мощи: а облик жив, и так же светит, учит и ведет.

Мы Сергия видели задумчивым мальчиком, тихопослушным; юным отшельником, и игуменом, и знаменитым Сергием-старцем. Видели, как спокойно, неторопливо и без порывов восходил мальчик к святому. Видели в обыденности, за работой и на молитве, и на распутиях исторических, на рубежах двух эпох. Из тьмы времен, из отжившего языка летописей иногда доносились слова его — может быть, и неточные. Мы хотели бы услышать и голос его. Это заказано, как не дано нам проникнуть в свет, легкость, огонь его духа.

Но из всего — и отрывочного, и случайного, неточного — чистотой, простотой, ароматнейшей стружкой веет от Преподобного. Сергий — благоуханнейшее дитя Севера. Прохлада, выдержка и кроткое спокойствие, гармония негромких слов и святых дел создали единственный образ русского святого. Сергий глубочайше русский, глубочайше православный. В нем есть смолистость севера России, чистый, крепкий и здоровый ее тип. Если считать — а это очень принято — что «русское» гримаса, истерия и юродство, «достоевщина», то Сергий — явное опровержение. В народе, якобы лишь призванном к «ниспровержениям» и разинской разнузданности, к моральному кликушеству и эпилепсии,— Сергий как раз пример, любимейший самим народом,— ясности, света прозрачного и ровного. Он, разумеется, заступник наш. Через пятьсот лет, всматриваясь в его образ, чувствуешь: да, велика Россия. Да, святая сила ей дана. Да, рядом с силой, истиной, мы можем жить.

В тяжелые времена крови, насилия, свирепости, предательств, подлости — неземной облик Сергия утоляет и поддерживает. Не оставив по себе писаний, Сергий будто бы ничему не учит. Но он учит именно всем обликом своим: одним он утешение и освежение, другим — немой укор. Безмолвно Сергий учит самому простому: правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере.

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

[1] Епифаний — монах Троице-Сергиевой Лавры. В молодости путешествовал на Восток, был в Иерусалиме. Просвещенный человек,

довольно искусный писатель, склонный к ораторству и многословию, как по его временам и полагалось. Был дружен со св. Стефаном Пермским, житие которого тоже написал.

При жизни Прсп. Сергия — он диакон («Преп. Епифаний Премудрый, ученик св. Сергия Чудотворца»). Автор древнейшего, написанного по личным впечатлениям, рассказам Преподобного и близких к нему, жития Сергия, главнейшего источника наших сведений о святом. Написано оно не позже 25—30 лет по смерти Сергия. Труд этот дошел до нас в обработке серба Пахомия. Пахомий кое-что сократил в житии, кое-что добавил. По желанию Троицких властей, по-видимому, было выброшено место, сохранившееся в Никоновской летописи из подлинного жития: после введения общежития некоторые монахи ушли вовсе из монастыря. Это место могло быть неприятно для монастырских властей XV в.— Епифаний умер в 1420 г., приблизительно 75 лет. Не менее 16—17 лет провел при святом.

[2] Хронология жизни Пр. Сергия.— О рождении Сергия Епифаний говорит неопределенно: «в княжение великое Тверское, при Великом Князе Дмитрии Михайловиче, при Архиепископе Петре Митрополите всея Руси, егда рать Ахмулова бысть». В. Князем Дмитрий Мих. сделался в 1322 г., Ахмыл ордынский грабил низовые города в том же году, митр. Петр 1308—1326 г. Исходя из этого, Митроп. Макарий, Ключевский, Иловайский и иером. Никон, автор обширного труда о Сергии, принимают год его рождения — 1319. С другой стороны — Митр. Филарет, П. С. Казанский и новейший исследователь проф. Голубинский считают — 1313-14. Они основываются на указании того же Епифания, что Преподобный умер 78 лет, год же смерти его, 1392, не возбуждает сомнений. По Казанскому,— гораздо прочнее опираться на этот факт: Сергий, наверно, не раз говорил старцам о том, сколько ему лет. Епифаний жил при Сергии последн. годы и мог лично это слышать. Таким образом, Епифаний противоречит себе: исходя из него, с одинаковым правом можно принять и 1313-14 — 1319-22. Защитники 1319-го сомневаются в подлинности упоминания о 78 годах жизни Сергия, Ключевский и Архим. Леонид считают это место позднейшей вставкой (анализ стиля). Но Голубинский думает, что сама вставка все же взята Пахомием из текста Епифания, и лишь неловко сделана, при сокращении. Положиться на Епифания в хронологии вообще довольно трудно, т. к. он делает, напр., явную ошибку, относя рождение Сергия ко времени Патр. Каллиста (а тот был от 1330 по 1362). Так что вопрос, в сущности, не решен, но в лице проф. Голубинского новейшее исследование склоняется довольно упорно к 1314 году, смело исправляя дальнейшие указания и Епифания, и Никоновой летописи.

[3] О жеребятах: «на взыскание клюсят» — очень старинное слово, собств. «лошадей» Епифаний любил такие архаизмы, иногда щеголял

даже знанием греческого языка. О медведе, например, выражается: «зверь, рекомый *аркуда*, еже сказается медведь».

[4] Переселение родителей Преподобного в Радонеж, по Епифанию,— 1330-31 г. Еще в Ростове, уговаривая мальчика не поститься чрезмерно, мать Сергия говорила: «Тебе нет еще двенадцати лет от роду, а ты уже рассуждаешь о грехах». В Радонеж перебрались позже, след., в 1330-31 Сергию не могло быть меньше 14—15 лет. Если же принять год его рождения 1319-22, то выйдет, что из Ростова он уехал 8—10 лет — косвенное подтверждение взгляда о 1314 годе.

[5] Прямого свидетельства, что Кирилл и Мария ушли в Хотьковский монастырь, нет. Но они там погребены, из чего и заключают, что в Хотькове они жили. Древность знала монастыри для монахов и монахинь, общие. Соборное определение 1504 г. запретило это.— Родителям Пр. Сергия при их предсмертном пострижении в монашество, вероятно, были изменены имена. Кирилл и Мария — мирские имена, или монашеские? Известный историк церкви, автор специального труда о Сергии проф. Голубинский считает, что вернее — монашеские.

[6] «Допускалось, чтобы священниками приходских церквей служили иеромонахи; если эти иеромонахи были и духовниками окрестного населения (право духовничества давалось не всем священникам, а только достойнейшим), то они назывались игуменами, игуменами-старцами; эти игумены-старцы могли постригать в монахи желающих монашествовать (не в монастырях, где были свои игумены, а при мирских церквах, в мирских домах, вообще в миру, что тогда допускалось» (Голубинский). Таким образом, «игумен-старец Митрофан» не был игуменом монастыря, а, по-видимому, именно сельским иеромонахом-духовником, имевшим право пострижения.

[7] Пострижение Сергия и освящение «церквицы»: «священа бысть церкви при Великом Князе Симеоне Ивановиче, мню убо, еже рещи в начало княжения его». Если принять это свидетельство, то выйдет, что пострижение Преподобного относится к сороковым годам (по иером. Никону освящение церкви 1340, пострижение — 1342 г.). Но сторонники более ранней даты *рождения* Сергия придвигают на неск. лет ближе и дату *пострижения*. Известно, что Сергий принял постриг на 23-м году жизни. Исходя из года рождения в 1314 — получим 1337. В подтверждение приводят еще следующее: Стефан присутствовал при освящении «церквицы», а затем ушел от Сергия в Богоявленский монастырь в Москве. Там застал св. Алексия, с которым некоторое время и прожил. Алексия в 1340 году вызвали уже к митр. Феогносту, и он оставил монастырь. Значит, жить вместе, и узнать друг друга они могли только ранее 1340 года, а значит и ушел Стефан, и освятили церковь, и постригли Сергия — раньше. Утверждение же Епифания «при В. К. Симеоне» сделано с оговоркой «мню убо», и как *не* категорическое — отвергается. (Иеромонах Никон, впрочем, считает

оговорку относящейся ко второй половине фразы — «в начало княжения его»).

[8] «Бесы были все в остроконечных шапках на манер литовцев».— Трудно представить себе, чтобы сейчас «литовец» мог пугать кого-нибудь под Москвою. Но в XIV веке было по-другому. Не раз литовцы наступали на Москву, разоряли и жестоко грабили целую область. Ольгерд водил их к самой Москве (в 1368 г. и в 1370). Дмитрий Донской, победитель Мамая, должен был отсиживаться за московскими стенами перед литовским князем!

Простонародье ненавидело и боялось литовцев не меньше татар. Пр. Сергий много, вероятно, о них слышал, если даже в кротком уединении бесы примерещились ему в облике литовцев.

[9] Снова вопрос хронологии, и снова спорный. По Епифанию, еп. Афанасий поставил Сергия в игумены во время отсутствия св. Алексия — тот, якобы, уезжал в Константинополь. Иеромонах Никон принимает это целиком и повторяет рассказ Епифания. Так как Алексий был в Константинополе в 1353—54 гг., то на это время и приходится поставление Сергия в игумены. Вряд ли, однако, это можно принять. Даже если предположить, что Сергий родился в 22-м году, он был бы пострижен в монахи (на 23-м) — в 1345. От пострижения до игуменства прошло около 3-х и не более 4-х лет. След.,— в 1348—49. А при предположении о 1314 — поставление в игумены придется на 1340—41. Как раз в это время митрополит Феогност ездил в Новгород и Орду: за его отсутствием епископ Афанасий и поставил Сергия в игумены. (Голубинский).

[10] «Волоковые» оконца — окно, оконце, или просм четверти в полторы, *с волоком,* задвижным изнутри ставнем.

[11] «Харатья», хартия (лат. charta), стар.— папирус, пергамент — все, на чем встарь писали, и самая рукопись.

[12] «Изнесе ему решето хлебов гнилых посмагов» — последнего слова Епифаний мог бы и не прибавлять. «Посмаги» — значит именно «хлебы», на старинном языке. Видимо, опять для «изукрашения» стиля.

[13] Передавая рассказы Епифания о чудесах святого, автор делает это с верою в то, что св. Сергию дана была способность прорывать будничный покров жизни. Но из этого не следует, чтобы каждый *данный* рассказ биографа о совершении чуда был безусловно точен и не содержал легендарных черт. Если мы видели, что утверждения Епифания иногда неправильны для самых обычных фактов, то известный «коэффициент поправок» надо допустить и в изложении им «чудесных» событий. Есть противоречие и в его рассказе о чуде с источником. Можно представить себе дело так: когда Сергий со Стефаном поселились на Маковице, какой-нибудь ручеек или ключ вблизи существовал — трудно думать, чтобы они основались вдали от воды. Но, вероятно, для целого *монастыря* он оказался недостаточным, и от того, что

часто приходилось брать воду, его забили, замутнили. Возможно, что монахи отыскали родник в другом месте,— но туда далеко было ходить — отсюда и неудовольствие на Сергия. Тогда он и прибег к молитве.

Сохранился ли до наших дней Сергиев источник? Неясно. По мнению проф. Голубинского, т. н. Пятницкий колодезь нельзя считать Сергиевым. Если даже предположить, что он искусственно обращен позже из источника в колодезь, то непонятно, почему он так далеко от монастыря. Осенью и весной низина к нему обращалась, наверно, в непроходимое болото. Если чудесный источник не закрылся и не исчез бесследно, то единственно вероятное — видеть его в колодце, который находится за южной стеной монастыря в Пафнутьевском саду, от стены в 5—6 саж.

Иером. Никон принимает ручей Кончуру за реку «Сергиеву», основываясь на одном древнем списке жития, приводимом А. В. Горским, где сказано: «Другая же река, яже ныне под монастырем течет, на том же месте от искони река не бяше».

[14] Введение общежития. Согласно Епифанию (повторно у иером. Никона), это относится ко 2-му патриаршеству Кира Филофея — 1364—1376. Монастырь был основан в 1339—40 гг., значит, монахи жили без общежития не менее 25 лет. Это кажется исследователям маловероятным. Затем: св. Алексий построил Андрониев монастырь в 1358—59 г., а там, прямо по построении, говорит Епифаний, было введено общежитие. След., в Троице-Сергиевой Лавре, откуда и вышел «смиренный» Андроник, оно существовало уже раньше.

Вероятнее всего, что и Пр. Сергий, и митр. Алексий прибегли к авторитету патр. Филофея. Надо думать, что Алексий просил его написать послаие к Сергию, когда был в Константинополе (1353—54). Сам Патриарх знать Сергия не мог. Послание было привезено греками, сопровождавшими Алексия в Россию *по* поставлению его в митрополиты (осень 1345). Они же и передали его Сергию, но не в 1375 г., а в 1354.

Есть еще факт, подтверждающий такое предположение: существует грамота Патр. Каллиста I к неназываемому русск. игумену (это мог быть *только* Сергий), содержащая увещание к братии о повиновении игумену — по существу явный ответ высшей церковной власти на неудовольствие и раздор монахов из-за общежития. Она относится к 1360-м годам. Опять, значит, общежитие *уже существовало.*

[15] Монашеские уставы: первый, древнейший, Пахомия Великого — четвертый век. До Пахомия монастырей вообще не существовало. Он первый создал монастыри в Европе и оставил им правило жизни. Затем идет Василий Великий, еп. Кесарийский, автор дидактического труда о монашестве, так сказать, «теоретик» монашества и аскетизма. Более поздние уставы: Иерусалимский обители Саввы Освященного — шестой

век, Константинопольский Феодора Студита, или Студийский,— девятый век. Студийский монастырь славился святостью подвижников и ревностью их к православию во время иконоборства. Студийский устав был заимствован и русскими монастырями — его ввел первый Пр. Феодосий Печерский у себя в Лавре, затем Пр. Сергий в своем монастыре. Известен еще Афонский устав, или Святые Горы, — десятый век.

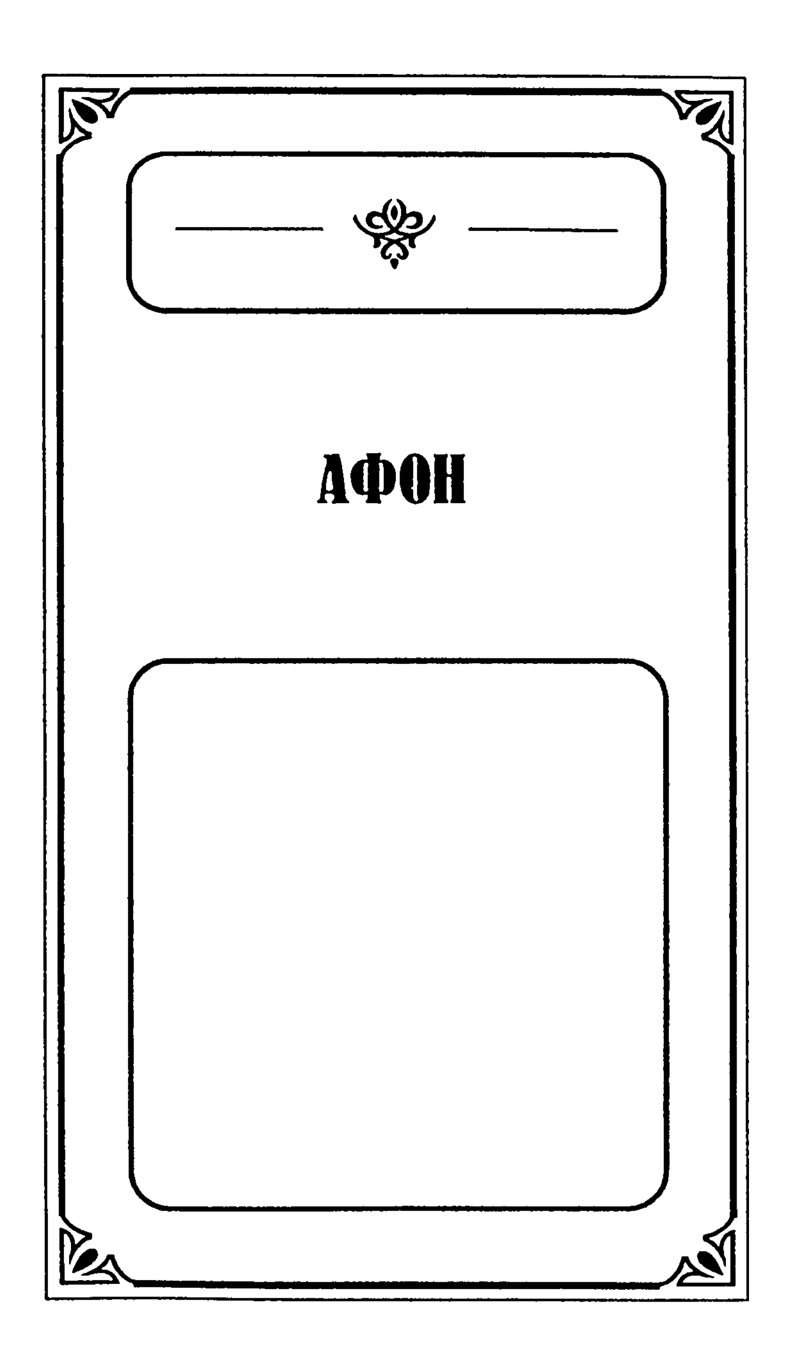
[16] «Парамандный крест». «В древности у архиереев кроме параманда монашеского, который носили по рубашке, был еще параманд служебный, который при богослужении и надевался ими на стихарь или подризник. Этот параманд и разумеется в нашем случае» (Голубинский).

[17] Архим. Михаил.— В конце концов, мы так мало о нем знаем, что трудно решить, был ли он просто честолюбцем, талантливым и бурным по натуре, или и новатором, реформатором церкви. Последнего мнения держится проф. Голубинский в своей истории церкви, но не приводит никаких фактов. Что и как реформировал «Митяй»? Голубинский *предполагает,* что потому он и ссорился с духовенством и круто обращался с ним, что пытался вводить новшества. Но разве это доказательно? Для нас, во всяком случае, ясно, что идеалу святости и монашества *по Сергию* он не соответствовал. И более чем трудно чувствовать симпатию к человеку, грозившему разорить Троице-Сергиеву Лавру!

[18] Преподобн. Сергий скончался 25 сент. 6900 г. от Сотворения Мира.— Приблизительно в это же время было у нас изменено летосчисление — год стали начинать не с марта, а с сентября. Если смерть Преподобного записана по-старому, то получится от Р. Х.— 1392-й, если по-новому, сентябрьскому — то 1391 г.— По указанию летописей, запись сделана по-старому, след., Преподобный умер в 1392 г.

[19] Лавра — слово греческое, значит — улица, тесная улица, переулок, или, вообще, уединенное место. Греки так и применяли его к монастырям. Лаврами назыв. у них монастыри, где каждый монах жил отдельно в келии, отделенный от других некоторым пространством, жил как бы затворником, анахоретом, в полном разобщении с другими братиями монастыря, сходясь с ними только в субб. и воскр. на богослужении.

В России название Лавра употребляется в смысле большого монастыря, богатого и знаменитого. Тогда Лавр было довольно много, и так же Троице-Сергиев монастырь назван еще Епифанием — Лаврой. Но позже Лаврами дают право называться только прославленным монастырям, в наше время лишь четырем: Киево-Печерская Лавра, Троице-Сергиева Лавра, Александро-Невская и Почаевская. Время этого официального названия — вероятно, с XVII века, с царской и патриаршей грамоты Киево-Печерскому монастырю в 1688 г.— Троице-Сергиева Лавра — указом Елизаветы Петровны 8 июня 1744 г. (Голубинский).



АФОН

Я провел на Афоне семнадцать незабываемых дней. Живя в монастырях, странствуя по полуострову на муле, пешком, плывя вдоль берегов его на лодке, читая о нем книги, я старался все, что мог, вобрать. Ученого, философского или богословского в моем писании нет. Я был на Афоне православным человеком и русским художником. И только.

Афон предстал мне в своем вековом и благосклонном величии. Тысячелетнее монашеское царство! Напрасно думают, что оно сурово, даже грозно. Афон — сила, и сила охранительная, смысл его есть «пребывание», а не движение, Афон созерцает, а не кипит и рвется,— это верно. Но он полон христианского благоухания, т. е. милости, а не закона, любви, а не угрозы. Афон не мрачен, он светел, ибо влюблен, одухотворен.

Афон очень уединен и мало занят внешним. Это как бы остров молитвы. Место непрерывного истока благоволения. Афонцы мало знают о пестрых делах «мира», и судят о них не всегда удачно. Но они не устают молиться о мире, как молятся и о себе. Они, сравнительно, не много занимаются наукой, философией, богословием. Зато непрерывно служат Богу — в церкви, в келии. Это придает им особый оттенок. «Мир» справедливо полагают они грешным, но я не замечал у них гордыни или высокомерия к нему. Напротив, сочувствие, желание оказать помощь. Простота и доброта, а не сумрачное отчуждение,— вот стиль афонский, и недаром тысячи паломников («поклонников») перебывали в этих приветливых местах.

В этой небольшой книжке я пытаюсь дать ощущение Афона, как я его видел, слышал, вдыхал. Повторяю, сама тема огромна. Я же ставлю себе весьма ограниченную задачу.

Париж, 1 февраля 1928.

ВСТРЕЧА

...Ранняя заря, сырое дымное утро. Туман слегка редеющий, ветер все усиливающийся. Начинается качка. Над холодноватым блеском волн вдруг взлетает веер брызг, нос «Керкиры» опускается и меня обдает соленой влагой. Невольно опускаю голову и когда подымаю ее, вдруг вижу справа, далеко в море, еле выступающую в бледно-сиреневом дыму утра одинокую гору. Отсюда она двузубчата, столь высока и столь под цвет облакам и туманам, так неожиданна, крута и величественна...— да правда ли гора? Может, такой странной формы облако?

Нет, не облако. Нет, гора, а облака цепляются за верхний ее двузубец, и в этом есть что-то синайское, тут, действительно, престол неба.

Весь переезд море было покойно, теперь качка усиливается. Чаще летят в лицо брызги, но все стою, все смотрю, вот он, наконец, дальний, загадочный Афон, Святая Гора — я плыву к ней вторую неделю. Чем ближе подходим, тем яростнее ветер. Теперь видны уже верхи холмов всего полуострова афонского, все забиты клубящимися тучами, холод и влага летят оттуда. Неприветливо меня встречает Афон. Что-то грозное есть в этой горе, обрывом срывающейся в море, ветхозавтно-грандиозное. Волны кипят у ея оконечности. Нашу «Керкиру» начинает швырять. Точно бы кто-то, трубящий в огромный рог, отнимая его на минуту, гремит: «Хочешь видеть адамантовую скалу? Вот она! Но велик и страшен Бог!»

Когда подошли совсем близко, стало несколько тише. Вдоль берега мы подымались к пристани Дафни, проходя мимо ущелий и холмов, мимо монастырей, то гнездящихся уютно, в складках местности, то, как Симонопетр, воздымающихся на головокружительной скале, прямо сливаясь с нею, увенчивая.

— Как будем приставать в такую бурю? Ну, да впрочем, здесь уж все, *как полагается*.

Это значило приблизительно то, что мудрить нечего, особенный мир, все равно своей волей и соображениями ничего не прибавишь.

И, несмотря на седые полосы туманов, дождей в горах, на холодный ветер, волны, мы на Дафни благополучно спустились в лодки, танцевавшие вокруг, и через несколько минут были на пристани.

Еще с борта «Керкиры» видел я подходившую от нашего монастыря лодку (ясно выступали влево на берегу колокольни и главы, кресты крупнейшей русской обители на Афоне — монастыря св. Пантелеймона). В ней стоя греб худощавый и высокий монах в шапочке. Подойдя к Давфни, ловко и быстро перебежал на корму, закинул небольшой якорь. Что-то веселое и непринужденное было в его движениях.

— Из русского монастыря? — спросил я его.

— Да, да, так точно.

Он поднял на меня худую и приятно-загорелую голову нашего «калужского» вида, со светло-голубыми и живыми глазами, ярко выступавшими на более темном лице. Все оно, как и глаза, было полно ветра, веселости.

— К нам в монастырь?

— К вам.

— А святое ваше имя?

Я назвал.

— Так, так, хорошо, очень хорошо...— он быстро и ласково сказал это таким тоном, как будто особенно хорошо, что у меня такое имя.— Да, значит, именинники на Бориса и Глеба?

...— Только что вам пока на Карею надо, документики выправить, оно досадно, что не прямо к нам, а уж так надо, иначе греки не дозволяют. Вещи ваши я в монастырь довезу.

И. о. Петр (так его звали) быстрой и легкой своей походкой повел меня в маленькое греческое кафе на пристани и подрядил проводника с мулом.

— До Карси и доберетесь. Ничего, у нас и митрополит Антоний на такой мулашке ездил.

Через полчаса кривоногий грек в обуви, вроде мокасинов, подвел к каменной приступочке, нарочно для этого сделанной, вялого мула. Другой был у него в поводу. Мы тронулись по горной тропе — медленно и молчаливо.

Taciti, soli e senza compagnia,
N'andavam l'un dinanzi e l'altro doro,
Come frati minor vanno per via.
(Dante)*

---

* Молча, в одиночестве, без спутников,
Выступали мы, один вожатым, другой сзади,
Как ходят по дороге братья минориты. *(Данте).*

А о. Петр, так же прямо стоя в лодке, так же бодро, весело греб к русскому монастырю св. Пантелеймона.

* * *

«Все необычайно в этом новом мире»,— сразу ощутил я, сидя верхом на скромном животном, осторожно перебиравшем ногами с маленькими копытцами.

Тропа вилась бесконечно, и все больше в гору. Вокруг дикие кустарники, каменные дубки, цветующий желтый дрок — я срывал иногда, с седла, его милые цветы. Так же, как и спускавшись в плясавшую лодку, чувствовал себя в чужой власти: вот бредет мул по крутому обрыву и поскользнется своим подкованным копытцем, или нет, его воля. Сломаешь себе ногу, или будешь цел, тоже неведомо. Как неведомо и то, нанесет ли этот холодно-облачный ветер, «гурья» («борей» в русской переделке!) — нанесет ли он ливень прежде, чем доберемся до Карей, или же позже. Но чувствуешь — ничего, все устроится, «образуется».

Грек срезал мне длинный прут и, подавая, сказал:

— Гоняй мула. Бей, бей.

Я пребыл равнодушным. Что там «гонять»? Он сам знает дорогу. Мы поднялись мимо древнего греческого монастыря Ксиропотама, где все было тихо и молчаливы кипарисы, тополь у его входа, да ярки маки. Дорога стала шире, мы вступили в каштановые леса. Справа глубокая долина, в ее ущелье жемчужной нитью висит водопад — беззвучный. По дальнему взгорью темнеют кедры и сосны. За ними, в облаках и туманах,— сама гора Афон, сейчас почти невидимая,— закутана влажно-суровыми пеленами. Ветер свистит, гудит в каштанах. Мелкая влага сеется. Хорошо, что мы в лесу! На чистом месте сдуло бы. Кутаюсь в плед. Мул ступает своими копытцами по священным камням Земного Удела Богоматери.

Сердце крепко и радостно. На верхах закипает буря.

* * *

Мы находимся в стране, конечно, не совсем обыкновенной.

От полуострова Халкидики, во Фракии, выступили в море три ответвления — Кассандра, Лонгос и вот наш Афон, самый восточный из них. Это полоса суши длиною около восьмидесяти верст, шириною в двадцать-тридцать. На южном своем конце она обрывается в море островерхою горой, собственно «Афоном». По полуострову идет холмистый кряж, как хребет живого

существа, весь заросший лесами; едва пролегают там тропки. Двадцать монастырей — греческих, русских, болгарских, сербских, румынских — разбросаны по этим склонам, много скитов, еще больше «келий» и «калив» (в последних живут одиночки-пустынники). Кроме монахов, никого нет на полуострове — ни села, ни фермы,— и так уже более тысячи лет! С седьмого века стали селиться здесь иноки (по окончании великого переселения народов). Византийские императоры им покровительствовали, давали «хризовулы» с привилегиями, угодьями, имениями («метохи»)[1]. Вторую тысячу лет не знает эта земля никого, кроме монахов. Около тысячи лет, постановлением монашеского Протата, не ступала на нее нога женщины. (Не только женщинам запрещен доступ на Афон, но и животным женского пола.) Горы, ветры, леса, кое-где виноградники и оливки, уединенные монастыри с монахами, уединенный звон колоколов, кукушки в лесах, орлы над вершинами, ласточки, стаями отдыхающие по пути на север, серны и кабаны, молчание, тишина, море вокруг... и Господь надо всем,— вот это и есть Афон.

* * *

Одолев хребет, стали спускаться. Внизу, сквозь редеющий лес завиднелись крыши и колокольни — монашеский городок Карея[2], место главного управления Афоном. За ним едва видно сквозь полудождь, полутуман пенно-кипучее море, у берега еще синее, дальше сливающееся с тяжелыми пеленами туч. Грек указал мне русский «конак» (подворье Пантелеймонова монастыря) и ушел со своими мулами.

Через четверть часа я уже был в большом старомодном доме, в нижнем этаже котрого, по сторонам широкого коридора, две-три кельи, кухня и параклис (небольшая домовая церковь), а во втором, куда ведет широкая лестница — покои для приема посетителей. Да, вовремя послано мне пристанище! Туман с моря надвинулся окончательно. Полил сплошной, спокойный, многочасовый дождь. Но что мне до него теперь? У меня целые апартаменты: большая зала со стоячими часами, циферблат и маятник которых сплошь в разноцветных инкрустациях. Старинные кресла, портреты царей и архиереев, огромная стеклянная галерея с диванами и выступом вперед, где стоит стол с букетом роз из нижележащего сада, еще залы с диванами и митрополитами, собственно моя комната с тремя кроватями, всюду тишина, полуобитаемость. Старинный сладковатый запах, хорошо натертые полы, чистые половички...— тот образ давней, навсегда ушедшей Руси, что отводит к детству, быту и провинции.

О. Мина, седоватый южанин с простонародным лицом, умными глазами, приносит завтрак, первая трапеза на афонской земле: рисовый суп и рыба баккалара с фасолью, стакан красного домодельного вина.

После завтрака идем по делам моего оформления: сначала к греческому офицеру — «астиному», а затем в главное монашеское управление полуострова — Протат.

Никогда я не видал города, подобного Карее, никогда, конечно, не увижу. Мы шли узенькими, извилистыми улицами мимо иногда очень живописных домов, нередко голубых (любовь Востока), с выступающими балконами, увитыми виноградом, иногда под защитой (от дождя) галереи. Вот лавка, другая. Можно купить монашеский подрясник, икону, резную ложку, разные вообще вещи. Дверь открыта. И войти не возбраняется. Но никого в лавке нет — как и на улице, как, кажется, вообще в городе. Что это, неразрушенная Помпея? Нет, жители все же есть. Их только очень мало: монахи да несколько греческих купцов. Они гнездятся в глубине домов. Можно и лавочника получить, надо лишь пройти в переулок, а там направо, постучать в дверь, и он придет продать вам цветную открытку или афонские четки. Но не встретишь в столице Афона женщины. Город одних мужчин, единственный в мире.

Через несколько минут о. Мина ввел меня на какой-то двор и мы поднялись на крылечко. На стеклянной галерейке два рослых сардара в белых юбках, удивительных туфлях с помпонами на носках и в темных шапочках варили кофе. Вид у них, особенно у седого, очень красивого, румяного, был очень важный и почти священнодейственный. Я подал письмо высокопреосвященного Хризостома, митрополита афинского.

Сардар величественно его прочел и ушел куда-то. Мы в приемной «Священной Эпистасии», или Протата Афонского. Протат — учреждение очень древнее. Оно пережило турок и действует при теперешнем греческом правительстве — собрание представителей монастырей, своеобразная дума монашеской республики. По древней своей славе монастыри Афона ставропигиальны, т. е. подчинены не местной епархии, а прямо Вселенскому Патриарху. Фактически же управляются вот этим Протатом.

Присутствие еще не открывалось. Один за другим подымались со двора по лесенке и проходили через нашу галерейку важные и полные греческие монахи — черные, курчавые, с небольшой, тугой, завязанной узлом косицей на затылке. Они раскланивались

приветливо и слегка покровительственно. Когда все оказались в сборе, один из них, бывший в России и говорящий по-русски, вышел к нам и попросил меня в Протат.

Мы вошли в большую комнату с диванами по стенам. На диванах заседали эпистаты. Прямо против входа у стены резное кресло (мне показалось даже — на возвышении) вроде трона, и на нем «первоприсутствующий», председатель Эпистасии. Меня усадили на диван. Узнав, что я не говорю по-гречески, председатель стал задавать вопросы через эпистата, введшего меня. Я отвечал, а больше рассматривал окружающее. Разговор шел в очень любезном тоне, расспросы касались России, меня, моей семьи, профессии и т. п. При каждом моем ответе «царь» (как я его про себя назвал) вопросительно оборачивался к переводчику, так что я каждый раз видел его смоляно-черную косичку — и, выслушав ответ, кивал мне благосклонно-покровительственно, говорил:

— Кала, кала! (Отлично, да!) — с таким видом, что заранее ему известен был мой ответ и заранее он все поднял и одобрил.

В разгаре этой дружественно-элементарно-самоочевидой беседы красавец сардар поднес мне на огромном блюде угощение: чашечку кофе, рюмку «раки», вазочку варенья (глико), стакан ледяной воды. Я не знал, как обойтись с вареньем, чуть было не забрал всего. Сосед мой добродушно улыбнулся, объяснил, что надо взять ложечку и облизнуть, а ложку назад в общее варенье — оно поедет далее по эпистатам. Было слегка смешно, слегка неловко, главное же, ни на что не похоже, разве на какой-то сон. С первой минуты показалось нечто среднее между советом десяти в Венеции и Карфагенским сенатом — в христианской транскрипции. Так и не знаю до сих пор, с чем сравнить в точности, но косицы и рясы, древние иконы по стенам, литографии, пряность глико, раки, сладостность языка, мягкость диванов, медлительная лень движений — все слилось в дальнюю, завековую экзотику.

Средневековый секретарь, с пером за ухом, с острым, похожим на Гоголя профилем, в это время строчил бумагу — мой новый «паспорт». Окончив, стал обходить эпистатов. Они вынимали из недр карманов под рясами кусочки металла и давали ему. Он собрал, возвратился к месту, свинтил кольцом все эти секторы и приложил к бумаге торжественную и прекрасную печать — Дева Мария с Младенцем — знак того, что все монастыри св. Афонской горы дают мне покровительство и оказывают гостеприимство.

Председатель прочел, кивнул, сказал свое «кала» и любезно подал мне. Оставалось не менее любезно благодарить.

* * *

Под вечер я шел пешком к Андреевскому скиту — совсем недалеко от Кареи. Там должен был ночевать. Дождь перестал. Туман стоял непроходимо. Меня вел из Кареи скромный монашек, «сиромаха» (бедняк и странник). Я не запомнил его имени. Даже и внешность не удержалась. Один из тех безвестных и смиренных, каких много я встречал потом на Афоне, не имеющих куда преклонить главы, иногда всю жизнь проводящих в странничестве, иногда оседающих где-нибудь при скитах и келиях, на тяжелой работе и полуголодной жизни. Иногда живут они и совсем пустыннически в небольших каливах. Разные среди них бывают типы — от бродяжки до подвижника, как древние анахореты славящего в тишине Бога. Иные, на самом Афоне, полагают, что среди таких-то вот, в безвестности и внешнем бесславии, и живет слава Афона.

Я не знаю, каков был мой сопутник. Он куда-то шел. Его подцепил на улице Кареи о. Мина. Он смиренно ждал меня в прихожей конака, потом в тумане молчаливо вел, и у врат белокаменного Андреевского скита, низко мне поклонившись, так же пропал в тумане, как вынырнул из него в Карее. Я же остался у ворот монастыря, подобно тому флорентийскому литератору, о котором говорит легенда, что пришел он раз, в изгнании, на заходе солнца со свитком первых песен «Ада» к монастырскому привратнику, постучал в дверь и на вопрос: чего надобно? — отвечал: мира.

АНДРЕЕВСКИЙ СКИТ

Основной и главнейший вид монашеской жизни на Афоне — монастыри (общежительные и особножитные). Они стоят на собственной земле, принимают участие в управлении Афоном, посылая своих представителей в Протат. Меньшая, чем монастырь, община, возникшая на земле какого-либо монастыря и не имеющая представительства, называется скитом.

Андреевский скит по количеству братии и по обширности (его Собор, новой стройки, если не ошибаюсь, самый большой на Афоне) — вполне мог бы быть назван монастырем.

Белокаменный храм, белый туман, стоявший на скитском дворе, окруженном четырехугольником тоже белевших зданий, белый и пышный жасмин, отягченный каплями влаги, все слилось для меня в главное ощущение этого места: тишины, некой загадочности и белизны. Пройдя глубокие, как бы крепостные

ворота, пересекши двор, сразу очутился я в Соборе на вечерне. Сразу могучая внутренность храма, золото иконостаса, величие колонн и сводов, немногочисленные монахи и суровая прямота стасидий (высокие, узкие кресла с подлокотниками, где стоят монахи) – все взглянуло взором загадочного мира.

Когда служба кончилась, высокий, очень худой и нестарый монах с игуменским посохом подошел ко мне, приветливо глядя карими, несколько чахоточными глазами, спросил, кто я и с какими целями. А затем, мягко улыбнувшись, повел в гостиницу,— как говорят афонцы,— на «фондарик» (искажение греческого слова «архондарик»). Он слегка горбился, на высоте впалой груди опирался на свой жезл, был так прост и неторжествен, что только в гостинице я сообразил, что это и есть игумен. Он сдал меня веселому и чрезвычайно словоохотливому «фондаричному», осмотрел мою комнату, распорядился, чтобы меня накормили и вообще все устроили и, скромно поклонившись, ушел.

...Смеркается. Длинный, прохладный коридор пуст, совсем темен. Фондаричный благодушно угощает меня ужином в столовой, бесконечно рассказывает певучим, несколько женственным голосом, и небольшие его глазки на заросшем черною бородою лице слегка даже тают, влажнеют...

* * *

В девять я лег. В полночь, как было условлено, гостинник постучал в дверь. Я не спал. Лежал в глубочайшей тишине монастыря на постели своей комнаты, не раздеваясь, окруженный морем черноты и беззвучия, по временам переворачиваясь на ложе немягком, полумонашеском. Было такое чувство, что от обычной своей жизни, близких и дома отделен вечностью. Мы также условились, что у выхода будет оставлена лампочка. Действительно, она едва мерцала в глубокой темноте холодного и гулкого, пустынного коридора — подобно маяку Антиба в ночном море. Я спустился по лестнице, вышел на каменную террасу. Беспредельная тьма и молчание. На колокольне уже отзвонили. Туман, сырость. Плиты, где иду, влажны. С кустов сладко-благоухающего жасмина падают капли.

Загадочный и как бы жалобный раздался в этой темноте звук: подойдя совсем близко у Собору, я при смутно-туманном блеске у входа рассмотрел темную фигуру монаха. В руке он держал «било», железную доску, и острым ударом по ней, в одинокую ночь, выбивал дробь: знак призыва. Из разных углов скитских зданий, из крохотных келий тянутся черные фигуры.

Собор почти вовсе темен. Несколько свечей у иконостаса не могут его осветить. Сыро, прохладно. Прохожу к знакомой уже своей стасидии. Справа, на игуменском месте, шевелится знакомая худая фигуру.

Есть величие, строгость в монастырском служении. Церковь в миру окружена жизнью, ее столкновениями, драмами и печалями. Мирской храм наполняют участники жизни, приносят туда свои чувства, муки и радости, некое «волнуемое море житейское». В монастыре также, конечно, есть паломники («поклонники», как их прелестно здесь называют), но основной тон задают монашествующие, т. е. уже прошедшие известную душевную школу — самовоспитания, самоисправления и борьбы. Ни в монахах, внимающих службе, ни в самом монастырском служении нет или почти нет того человеческого трепета, который пробегает и в прихожанах и в священнослужащих мирской церкви. Здесь все ровнее, прохладнее, как бы и отрешеннее. Менее лирики, если так позволительно выразиться. Меньше пронзительности человеческой, никогда нет рыдательности. Нет и горя, жаждущего утоления. Я не видал слез на Афоне. (В церкви. О слезах умиления или покаяния при одинокой молитве не говорю. Этого нельзя увидать. Но *это,* наверно, есть.) В общем, все ровны, покойны. В церковную службу входят, как в привычное и еженощное священнодействие, как в торжественную мистерию, протекающую на вершинах духа — в естественном для монаха воздухе. В нем нет ни нервности, ни слезы. Это воздух предгорий св. Горы Афонской.

Справа и слева от меня аналои на клиросах, т. е. довольно высокие, столбообразные столики. На них богослужебные книги. Над ними, в глубокой тьме, висят лампочки под зелеными абажурами, с прорезными крестами. Они освещают лишь книгу чтецу или ноты.

Зажигают свет у резной, изукрашенной стасидии игумена, и он ровным, приятным, несколько грустным голосом читает Шестопсалмие. Подходя к нему, монах падает в ноги и целует руку. Отходя, также падает, также целует. Вот канонарх выходит на средину и читает кафизмы по строке, а полукруг других монахов повторяет в хоровом пении каждый произносимый им стих. Вот он, в черной мантии мелкой складки, читает на одном клиросе, и распуская свою мантию, как крылья, быстро переходит к другому, там продолжает.

Читаются на этих ночных службах и Жития Святых. В первую мою ночь на Афоне читали отрывок из Иоанна Лествичника. В пустынном, почти черном от мрака Соборе, где немногочисленные монахи, в большинстве старики, терпеливо,

упорно стояли в своих стасидиях, негромкий голос внятно произносил:

«Как связать мне плоть свою, сего друга моего, и судить ее по примеру прочих страстей? Не знаю. Прежде, нежели успею связать ее, она уже разрешается; прежде, нежели стану судить ее, примиряюсь с нею; и прежде, нежели начну мучить, преклоняюсь к ней жалостию. Как мне возненавидеть ту, которую я по естеству привык любить? Как освобождусь от той, с которой я связан навеки? Как умертвить ту, которая должна воскреснуть со мною?

...Она и друг мой, она и враг мой, она помощница моя, она же и соперница моя; моя заступница и предательница.

...Скажи мне, супруга моя — естество мое; скажи мне, как могу я пребыть неуязвляем тобою? Как могу избежать естественной беды, когда я обещался Христу вести с тобою всегдашнюю брань? Как могу победить твое мучительство, когда я добровольно решился быть твоим понудителем?»

Кажется, тут корень монашества. Безмерность задачи понимал и сам авва Иоанн. Понимая, все-таки, на нее шел, и если не столь красноречив ответ «супруги моей — естества моего», все же решительность его знаменательна:

— Если соединишься с послушанием, то освободишься от меня; а если приобретешь смирение, то отсечешь мне голову.

Для слушателей эти и подобные им слова — не возвышенная поэзия и перворазрядная литература, не «лирический вопль» синайского игумена, а часть внутренней жизни, урок в битве за душу, за взращивание и воспитание высшего в человеке за счет низшего. Да, эти люди, долгие ночные часы выстаивающие на службах, ежедневно борющиеся со сном, усталостью, голодом, кое-что понимают в словах, написанных не для «литературы».

...Около четырех утреня кончилась. На литургию, за ней тотчас следующую, у меня не хватило сил. Той же глубокой ночью (светать и не начинало) я возвратился на «фондарик».

* * *

Игумен «благословил» довольно молодого монаха показать мне скат. Этот был совсем иной, чем вчера одноименный с ним на карейском конаке. (Монахи все вообще разные. Они исповедуют одну веру, и это объединяет их, но глубокая душевная жизнь в соединении с тем, что никто не «носится» со своей личностью, не «выпячивает» ее, напротив, как будто ее сокращает,— это приводит к тому, что как раз личность-то и расцветает, свободно развивается по заложенным в ней свойствам.) Отец Х. оказался одним из наиболее «воспламененных»,

боевых на Афоне. Мне особенно запомнились его трепещущие, слегка воспаленные бессонницей глаза — очень «духоносные». Он среднего роста, с рыжеватой бородкой, быстр в движениях, несколько даже порывист, почти нервен.

— Вы были на ранней литургии? — спросил я его. (Наш обход начался в восемь утра.)

— Как же, как же!

— Очень устали?

— Нет. Я ведь немного отдохнул. Около часа. А потом, знаете, почитал.

— Ну, а я вот не достоял. Как это вы одолеваете... ведь службы такие длинные.

— Нет, ничего, привычка, привычка...— Он говорил быстро и даже как бы слегка задыхаясь. Глаза его непрерывно двигались и жили.— Вот я сегодня с большим удовольствием читал... мое чтение не совсем монашеское... я интересуюсь философией, Плотина читаю, современные философские журналы...

Мы прошли с ним в библиотеку, обычную светлую монастырскую комнату-книгохранилище со старичком библиотекарем. Много раз потом мне показывали такие же старинные книги, печатные и рукописные, ноты, миниатюры, заставки, и всегда было ощущение, что, несмотря на отдельных «книжников», главное дело Афона далеко от книг, учености и коллекционерства, хотя монахи афонские (греки, в особенности) и собрали замечательные библиотеки. Мы видали еще в это утро трапезу и больницу, где кашляло несколько стариков, а в палате стоял сильный запах лекарственных трав. Но наиболее мы оба оживились, когда попали в так называемую «гробницу», своеобразную усыпальницу афонских иноков.

Гробница Андреевского скита — довольно большая комната нижнего этажа, светлая и пустынная. Шкаф, в нем пять человеческих черепов. На каждом указано имя, число, год. Это игумены. Затем, на полках другие черепа (около семисот) рядовых монахов, тоже с пометами. И, наконец, самое, показалось мне, грозное: правильными штабелями, как погонные сажени валежника, сложены у стены, чуть не до потолка, мелкие кости (рук и ног). Сделано все это тщательно, с той глубокой серьезностью, какая присуща культу смерти. Вот, представилось, только особого старичка «смертиотекаря» недостает здесь, чтобы составлять каталоги, биографии, выдавать справки. А литература присутствует. На стене висит соответственное произведение:

Помни всякий брат,
Что мы были, как вы,
И вы будете, как мы.

Это Афон, особая его глава, которую можно бы назвать «Афон и смерть».

Вот каковы особенности погребения на Афоне: хоронят без гроба, тело обвивается мантией, и так (по совершении сложного и трогательного чина)[3] предается земле. Затем через три года могилу раскапывают. Если за это время тело еще не истлело, не принято землей, то, по вере афонцев, усопший был не вполне праведной жизни. Тогда могилу вновь зарывают и особенно горячо молятся за брата, посмертная жизнь которого слагается с таким трудом. Если же тело истлело без остатка, кости чисты и особого медвяно-желтого цвета, просвечивают, это признак высокой духовности покойника. Кости тогда вынимают, омывают в воде с вином и складывают почтительно в гробницу. Поэтому афонские кладбища очень малонаселенны: останки их обитателей довольно быстро передвигаются в гробницы[4].

— А это,— сказал о. Х., указывая на железные кресты, какие-то подобия клещей и поясов, на металлические кольчуги,— это все находили на некоторых из наших братий, когда они умирали...

Я попробовал один крест, другой... Они тяжелы. Есть весом до тридцати фунтов.

Железные пояса напомнили музей пыток.

— Видите,— продолжал мой вожатый, и глаза его наполнились зеленовато-золотистым блеском,— живешь рядом со старичком, каждый день видишься на службах, а того не подозреваешь, что у него под рубашкой, на голое тело такая штучка надета...— и он почти ласково погладил заржавленную кольчугу.

— Вот они где, старички-то наши!

Да, подумать о такой «рубашке»... «О. Х., да на вас-то самом не надета ли вот этакая?» Но я все-таки не спросил: бесполезно. Не ответил бы, правды бы не сказал.

Мы поднялись с ним опять наверх. Он мне много рассказывал. Святой, чьим именем его в монашестве назвали, был римский воин. Нашему о. Х. как бы передался воинственный дух патрона. С пылающими глазами он передавал о своей борьбе с имяславцами[5]. Не менее страстно осуждал чувственный оттенок католического поклонения Спасителю, культ сердца, стигматы и т. п.

— Нет, по-нашему, по-афонскому, это прелесть... Это не настоящий аскетизм. Это прелесть.

«Прелесть» на старинном языке значит «прельщение», «обольщение» — вообще нечто ложное.

В дальнейшем я уверился, что афонское монашество представляет, действительно, особый духовный тип — это спириту-

альность *прохладная* и разреженная, очень здоровая и крепкая, и весьма далекая от эротики (как бы тонко последняя ни была сублимирована). С несочувствием (отрицание стигматов) относятся афонцы и к св. Франциску Ассизскому.

У входа на террасу, ведшую на «фондарик», я вновь залюбовался жасмином. Нежные, бело-златистые его цветы были полны влажного серебра. Жасмин — Россия, детство, «мама» — то, чего не будет никогда.

О. Х. заметил мое восхищение и сорвал букетик.

— Мы не против этого, мы тоже цветы любим, Божье творение... Не думайте, что мы природой не любуемся.

И стал показывать мне султанку, похожую на лавр, почтительно трогал рукою ствол черно-величественного кипариса.

Несколько бледных жасминов Андреевского скита я и поныне храню — засушенными в книге.

* * *

Я ходил еще раз в Карею. Хотелось увидеть древний ее собор и греческие фрески.

Ни то ни другое не обмануло. Собор, пятнадцатого века, невелик, несколько сумрачен, полон тусклого золота, удивительной резьбы, тонкой чеканной работы на иконостасе. Из глубокого купола спускается на цепочках «хорос» — металлический круг изящной выделки, необходимое украшение всех греческих соборов на Афоне.

Карейский собор считается первоклассным памятником греческой живописи. Его расписывал знаменитый Панселин, глава так называемой «македонской» школы. Фрески Панселина — XVI века. Они монументальны, очень крепки, несколько суровы. К сожалению, их подновляли. Более полное понятие о Панселине получил я позже, в небольшом греческом монастыре Пантократоре, где есть совершенно нетронутые его работы. Во фресках же Карейского Собора, при всех огромных их достоинствах, почуялся мне некий холодок.

* * *

Все тот же словоохотливый фондаричный провожал меня из Андреевского скита. Мы направлялись теперь в монастырь св. Пантелеймона. Игумен «благословил» гостинника проводить меня в гору до «железного креста», где расходятся тропинки, и одна из них ведет в Пантелеймонов монастырь.

Мы поднимались при редеющем тумане.

Спутник рассказывал мне о скитском хозяйстве, об «оках»

масла (такая мера), о сене, о «мулашках» и многом другом. Мы благожелательно расстались с ним в глухом горном месте, у железного креста, откуда начинался уже спуск к западному побережью полуострова.

Теперь я шел один. Чудесные каштаны, дубы, ясени покойным, ровным строем приближались, удалялись, молчаливо окружая меня. Дорожка была еще влажна, и не так камениста, как в других местах. Погода менялась. Что-то в небе текло, путалось по-новому, туман расплывался и не показалось удивительным, когда вдруг, золотыми пятнами, сквозь густую листву каштанов легло на сырую землю милое солнце. Началась его победа. Чем далее я шел, тем больше тишина священных лесов озарялась светом. Ложочки начали дымиться. Из непроходимой глубины нежно, музыкально, для нашего слуха всегда слегка заунывно, закуковала афонская кукушка.

— Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить?

Так спрашивали мы, в детстве, в родных лесах калужских. Так взрослым странником, в глухих Фракийских горах, вопросил я вещунью.

Солнце все сильней, непобедимей сияло. Туманной синевой, сквозь редеющие деревья, глянуло море. Скоро показались и главы монастыря св. Пантелеймона.

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА

...Передо мной снимок, изображающий вход в обитель. Залитая солнцем четырехугольная сень, увенчанная куполом, вся увитая зеленью. Темно, прохладно под нею! Несколько монахов, и в глубине врата, ведущие в крепостной толщины сумрачный проход — на двор монастыря.

Смотрю на колонны с коринфскими капителями, поддерживающие углы этого огромного крыльца, вспоминаю блеск афонского солнца, розовое цветение азалий, увивающих стены с небольшими заваленными окошечками, откуда иной раз выглянет монах — вспоминаю и переживаю те минуты, когда — столько раз — входил и выходил я этими «тесными вратами». А сейчас в полутьме над входом едва различаю низ большой иконы, но я знаю, кто это, не раз почтительно снимал я шляпу пред изображением Великомученика и Целителя Пантелеймона.

История главного русского монастыря на Афоне, как и вообще появления русских на нем, сложна и заводит очень далеко. Сохранился акт передачи русским, дотоле ютившимся в небольшом скиту Богородицы Ксилургу (Древоделия), заху-

далого монастырька «Фессалоникийца» в честь св. Пантелеймона, на месте несколько выше теперешнего нашего монастыря — где сейчас старый или Нагорный Руссик. Русские получили монастырь Фессалоникийца в 1169 г. Вот с каких пор поднял св. Пантелеймон свою целительную ложечку (он с ней всегда изображается) над Русью. Почему монастырь Фессалоникийца, уступленный русским (им, очевидно, стало тесно в скиту Ксилургу) назван Пантелеймоновским и сохранил это название — я не знаю, об этом не упоминается в источниках. До конца XVIII в. монастырем св. Пантелеймона был так наз. Старый, или Нагорный Руссик. Теперешняя обитель более нова. Около 1770 г. монахи «оскудевшего» Руссика спустились от него вниз, к морю и, поселившись вокруг уже существовавшей келии иерисского епископа Христофора, основали нынешний огромный монастырь, оплот всего русского на Афоне. Старый же Руссик существует и по сей час — скорее как небольшой скит с остатками древних стен и башни (пирга).

Вот я раскрываю большой том истории монастыря и на одной из страниц нахожу снимок со старинной чудотворной иконы святого, ныне находящейся во втором Соборном храме Покрова Богородицы. Я не раз видел ее в церкви. Теперь рассматриваю подробнее — она является как бы живописным житием святого: вокруг лика изображены четырнадцать наиболее замечательных событий его жизни.

Св. Пантелеймона можно было бы назвать святым-отроком. Таким его всегда изображают, таков он был в действительности.

Царь в короне с наивно вырезанными зубцами сидит на троне. Перед ним мальчик с ореолом вокруг головы. Царь делает рукой знак одному из стоящих позади мальчика — это «царь повелевает Евфрасину обучать святого врачебному искусству». Далее почтенный монах сидит у стола, мальчик пред ним слушает наставления. Затем мальчика «оглашает» Ермолай, над ним совершают крещение, и уже он сам воскрешает умершего. Вот он, несколько старше, «врачует очи слепого» (ребенка), раздает хлебы бедным, пред тем же царем в той же зубчатой короне исцеляет расслабленного, которого приносят на носилках.

Начинаются его страдания. За что мучают юношу, делавшего только добро? Значит, за то же, за что и Христа распяли. Вот его «ужигают», привязав к дереву, факелами. Бросают диким зверям. Вот его нежное тело на страшном колесе. И, наконец, огромный воин «усекает» святого, стоящего на коленях, и голова эта, столь уже знакомая, в том же золотом нимбе, покорно лежит на земле.

Как св. Цецилия есть образ страдалицы-девы, прославленной

римскими катакомбами, так св. Пантелеймон есть облик Целителя и Утешителя отрока, укрепленный в Восточной Церкви.

На некоторых иконах святой изображен с почти девической мягкостью лица, и на уединенном Афоне, столь строгом и чистом, это есть звук величайшей мировой нежности. Середину вышеуказанной иконы занимает его главный лик: в потоке света, сходящего сверху, юноша в нимбе держит в левой руке ковчежец, а в правой у него ложечка с крестом на конце? Он смотрит прямо в глаза. «Если у тебя болит душа или тело, подойди ко мне с верою и любовью, я зачерпну из своего ковчежца доброго для тебя снадобия».

Я видал изображения святого и в греческих монастырях. Но особенно он утвердился в русских. Тысячи паломников поклонялись ему. Это преимущественно «русский» святой, как и Николай Мирликийский.

Не потому ли он так привился у русских, что России более, чем какой-либо стране, при ее великих, но подчас слепых силах и страстях, ее великой иногда тьме и «карамазовщине», более чем кому-либо нужна целительная ложечка св. Пантелеймона?

А русское сердце легкоплавко. Оно охотно поддается трогательному. Нуждаясь в очищении и исцелении, оно без затруднения раскрывается на призыв кроткого Великомученика.

* * *

Монастырь святого врачевателя есть монастырь общежительный. Это значит, что его братия живет как одно целое, ни у кого нет собственности, никаких личных средств, хозяйства, стола. Общая и трапеза. Монастырем управляет избранный пожизненно игумен (ныне — глубоко уважаемый архимандрит о. Мисаил)[6]. Власть игумена в общежительных монастырях неограниченна. Основа этой жизни есть отсечение личной воли и беспрекословное иерархическое подчинение. Без «благословения» игумена ни один монах не может выйти за врата монастыря. Каждому из них он назначает «послушание», т. е. род работы. Таким образом, существуют монахи-рыбаки, дроворубы, огородники, сельскохозяйственные рабочие, виноделы, пильщики, а из более «интеллигентных» профессий — библиотекари, «грамматики», иконописцы, фотографы и т. п. Сейчас в Пантелеймоновом монастыре около пятисот человек братии.

Как живут эти люди в черных рясах, наполняющие четыреугольник корпусов вокруг Собора?

День монастыря заведен строго, и движется по часовой стрелке. Но так как все необычно на Афоне, то и часы уди-

вительные: до самого отъезда я не мог к ним привыкнуть. Это древний восток. Когда садится солнце, башенную стрелку ставят на полночь. Вся система меняется по времени года, надо передвигаться, приспособляясь к закату. В мае разница с «европейским» временем выходит около пяти часов.

Так, утреня в Пантелеймоновом монастыре начиналась при мне в шесть утра — в час ночи по-нашему. Она продолжается до 4—4 1/2 часов. (Здесь и далее считаю по-европейски.) За ней идет литургия — до 6 ч., следовательно, почти вся ночь уходит на богослужение — характерная черта Афона. До семи полагается отдых. С семи до девяти «послушания», почти для всех, даже глубокие старики выходят на работу, если мало-мальски здоровы. (В лес, на виноградники, огороды. Вывозят бревна на быках, на мулах сено и дрова.) В девять утра трапеза. Затем до часу вновь послушание. В час чай и отдых до трех. Послушание до шести вечера. От половины пятого до половины шестого в церквах служат вечерни. Монахов на этих службах (дневных) бывает мало — большинство на работе. Но вечерни читают («вычитывают», как здесь выражаются) им и там. В шесть вечера вторая трапеза, если это не постный день. Если же понедельник, среда или пятница, то вместо трапезы полагается чай с хлебом. Вслед за второй трапезой звонят к повечерию, оно продолжается от семи до восьми. Далее идет «келейное правило», т. е. молитва с поклонами в келии. После каждой краткой молитвы[7] монах передвигает четку на один шарик и делает поясной поклон. На одиннадцатом, большом шарике кладет земной поклон. Таким образом, рясофорный монах (низшая ступень пострижения) делает ежедневно шестьсот поясных поклонов, манатейный — около тысячи, схимник — до полутора тысяч (не считая соответственных земных). На монашеском языке это называется «тянуть канончик». Рясофор тянет его часа полтора, схимник — до трех, трех с половиной. Значит, рясофор освобождается около десяти, остальные — около одиннадцати. Время до часу, когда начнется утреня, и есть основной сон монаха (два-три часа). Сюда добавляется еще нередко один утренний час и, быть может, час среди дня после чая. Так как у каждого есть и свои кое-какие мелкие дела, отнимающие время, то надо считать, что спят монахи не более четырех часов, а то и менее.

Для нас, мирских, видящих эту жизнь, основанную на том, что ночью люди молятся, днем работают, очень мало спят и очень дурно питаются — загадка, как они ее выдерживают? Но живут. Доживают до глубокой старости. (Сейчас большинство — старики.) Притом основной тип афонского монаха, как мне кажется — тип здоровый, спокойный и уравновешенный.

Бедность русских монастырей сейчас очень велика. Нет России, и нет поддержки оттуда. К счастью, есть земля, на ней леса, оливки и виноградники[8]. Монахи ведут лесное хозяйство, покупают на вырученное муку, ловят немного рыбы, имеют свое вино и оливковое масло, овощи с огородов. Беда, однако, в том, что среди братии слишком мало молодых. Это чрезвычайно затрудняет работу. Рабочие силы монастырей напряжены до крайности. Разумеется, старики не могут так работать, как молодые. Значит, на более молодых ложится как бы двойное бремя. (Кроме своей братии, монастырь св. Пантелеймона поддерживает и пустынников, живущих в горах и лесах в полной нищете[9].)

* * *

Гостеприимство, мягкость и приветливость к приезжим — отличительная черта афонцев. Но не только это касается гостей. За все свое пребывание на Афоне могу ли припомнить раздражение, брань, недоброжелательство, вырывавшиеся наружу? Конечно, монахи не ангелы. Они люди. В большинстве «простого звания». Образованных среди них мало, но какая воспитанность, в высшем смысле! Манеры, движения, речь, поклоны — все проникнуто некоторым эстетическим ритмом, который поражает. В них есть удивительное «благочиние» и, сравнительно с «миром», большая незлобность и доброта. Думаю, во-первых, что известный тип просто подбирается. Людям хищного, волчьего склада все это чуждо, нет им интереса идти в монастырь. Второе — качества природные воспитываются. Нельзя «безнаказанно» по нескольку часов в день слушать возвышеннейшую службу, петь, молиться у себя в келии, ежедневно *до заката* просить друг у друга прощения, каждую неделю исповедоваться и причащаться. Ясно, что в такой обстановке надо ждать наибольшего расцвета лучших человеческих свойств.

Итак, я жил в своей комнате на «фондарике», окруженный необыкновенно благожелательным и ласковым воздухом. На столе моем часто стояли розы. Два окна выходили на голубой простор неба и моря, нежная синева его замыкалась туманной линией гор полуострова Лонгоса. Между мною и морем — старинный решетчатый балкон, перила его увиты виноградом, и сквозь лапчатую зелень море еще синей. Внизу плоская крыша библиотеки, далее корпус келий и направо купола Собора. Комната всегда полна света и радостности. На белых стенах — портреты молодых великих князей, давно умерших, над входной дверью — картина, изображающая Париж 50—60-х годов.

Гостинником моим на этот раз оказался неразговорчивый, но очень внимательный, умный и заботливый немолодой монах с седоватою бородою и старинно-правильным лицом (думаю, в русском семнадцатом веке были нередки такие лица) — о. Иоасаф. В девять часов утра (по-монастырски уже два!) он степенно являлся, кланялся и говорил:

— Кушать пожалуйте!

Я отрывался от своих книг и записей, переходил в соседний номер, такой же светлый и пустынный, с другими князьями и архиереями по стенам, с тем же запахом маложилого помещения. На столе перед диваном поданы уже блюда моего обеда (в первый и, должно быть, в последний раз в жизни обедал я в девять утра!). Мисочка рисового супа, остроголовые маринованные рыбки вроде килек, салат, жареная рыба, четвертушка красного афонского вина.

— Уж не взыщите, конечно, в прежние времена не так бы вас угостили...

Я уверяю, что все превосходно, да и действительно хорошо, ведь это монастырь. О. гостинник чинно кланяется и уходит. Я обедаю в одиночестве. Как и во всем, касающемся быта, в монастырской гостинице чувствуешь себя особенно. Всегда казалось мне, в воздухе заботы обо мне, внимательной благожелательности, что я моложе своих лет, и что вообще век иной: я еще несмышленый барчук, надо ко мне дядьку, который бы наблюдал, чтобы я как следует поел, не переутомлялся бы на службах, не заблудился бы ненароком в монастырских коридорах.

В положенную, верно рассчитанную минуту (я пообедал), дверь отворяется.

— Что же вы рыбки-то не докушали?

— Покорно благодарю, сыт.

О. Иоасаф подает на подносе еще стакан розового, сладковатого афонского вина. Его движения так же медлительны и музыкальны, как если бы он выходил из алтаря со св. Дарами.

Это вино и совсем неплохое. Лишь к концу своего пребывания на Афоне узнал я, что сами монахи пьют его раз в году, по одному стаканчику.

* * *

В воскресенье о. игумен пригласил меня на общую трапезу. По окончании поздней литургии все монахи собрались в огромной трапезной — как обычно в афонских монастырях, узкой и длинной, высокой зале, украшенной живописью. Головное место бесконечного стола игуменское. Недалеко от входа кафедра

для чтеца, на нее ведет витая лестница. Золотой орел с наклоненной головой как бы устремляет, несет на своих простертых крыльях драгоценное слово мудрости.

Мы некоторое время ждали о. Мисаила, игумена, уже находясь на своих местах. Когда он вошел, в епископской[10] лиловой мантии с золотыми отворотами на груди, в клобуке, с двурогим посохом, все поднялись, запел хор.

О. Мисаил держится с той глубоко-русской, народной простатой и твердостью, которой чужда всякая рисовка. Одинаково уверенно и крепко служит он, и читает баритоном Шестопсалмие, и дает целовать руку, и сам кладет земные поклоны, и слушает, как ему поют «Исполаэти деспота». После молитвы и благословения «предстоящих яств» игумен садится, в подобающем окружении, и садимся мы. Особенность трапезы Пантелеймонова монастыря та, что кушанья подаются все одновременно, и монахи придают этому известное значение: освящается все, что стоит на столе, так что не освященного никто ничего не ест.

На кафедру, к золотому орлу, взошел чтец и начал чтение, а мы стали «трапезовать», и тут своими глазами можно было уже убедиться в «святой бедности» монастыря. Воскресный, т. е. улучшенный обед состоял из мисочки рисового супа, куска хлеба и кусочка рыбы — не той, что подавали мне в номер, а «баккалары», рода греческой трески (в будни и ее нет) — не дай Бог никому такой рыбы, у нее противнейший запах, несмотря на то, что она свежая. Но она дешева, ее едят простолюдины-греки. Запивать все это можно было квасом, очень плохеньким. И дали по стаканчику вина (для праздника). Мяса в русских афонских монастырях не едят вовсе. (В греческих — допускается.) На трапезе выступила еще одна черта общежительного монастыря: пред лицом бедности здесь все равны. Стол игумена в лиловой мантии, его наместника, архимандритов и иеромонахов совершенно тот же, что и последнего рясофора, трудящегося с «мулашками».

Ели в молчании. Окончив, вновь поднялись, игумен вышел вперед. Начался «чин панагии» — как бы молебен с благословением хлебов. Я не помню точно его содержание. Но ясно осталось в памяти, что все поодиночке проходили мимо благословлявшего о. игумена, монах подавал каждому с огромного блюда кусочек благословенного хлеба, так обильно окуриваемого ладаном из особой кадильницы («кация» — плоская, с ручкой), что и во рту он благоухал. Хлеб этот запивали св. водой. Помню золотое солнце, игравшее лучами сквозь окно в нежно-сиреневом дыму каждения, помню три фигуры у самых дверей, низко кланявшиеся каждому выходившему: чтец, повар и тра-

псзарь. Они просят прощения, если что-нибудь было не так. В будни жс они, в знак смирения, и прося о снисхождснии к ссбс, лежат распростсршись перед выходящими.

Таков древний афонский обычай.

* * *

Все это может показаться странным и далеким человеку нашсй псстрой культуры.

Что делать. Священнодействснность очень важная, яркая черта монашеской жизни. Входя к вам в комнату, монах всегда крестится на икону и кланяется сй. Встрсчая другого, ссли сам он исромонах, то благословляст. Если встретил иеромонаха простой монах — подходит под благословение. Встречаясь с игуменом,— земной поклон. Садясь за стол, непременно читает молитву. Иеромонах, кромс того, благословляст «яства и пития».

Это непривычно для мирянина. Но в монастыре вообще все нспривычно, все особснное. Монастырь — не мир. Можно разно относиться к монастырям, но нельзя отрицать их «внушительности». Нравится ли оно вам, или нет, но здесь люди делают то, что считают первостепенным. Монах как бы живет в Богс, «ходит в нем». Естественно его желание приобщить к Богу каждый шаг своей жизни, каждое как будто будничное ее проявлснис. Поняв это, став на иную, высшую, чем наша, ступснь отношения к миру, мы нс удивимся необычному для светского человека количеству крестных знамений, благословений, молитв, каждений монашсского обихода.

Здесь самую жизнь обращают в священную поэму.

МОНАСТЫРСКАЯ ЖИЗНЬ

...Утром просыпаешься всегда под доносящееся пение — оканчивается литургия. Седьмой час. Пока спал, отошли утреня и ранняя обедня. Службы эти совершались и в Больших соборах, и в маленьких домовых церквах, т. н. «параклисах», их до двадцати в Пантелеймоновом монастыре. Стройные отзывы хора, иногда сливаясь, покрывая друг друга, слышатся именно из параклисов — монастырские корпуса пронизаны ими, как певучими, перекликающимися ячейками. (Недалеко от меня как раз параклис Преподобного Серафима Саровского, с известной сценой на стене — святой кормит медведя. Лубочная простота живописи, лапти Преподобного, бурый и толстый медведь, рус-

ские сосны, все это мне очень нравилось, особенно тут, в Элладе).

Значит, всю ночь работала духовная «электростанция». Всю ночь в этих небольших, но обмоленных храмах тепло струились свечи, шло излучение светлых и благоговейных чувств.

Сам я лишь две ночи провел вполне «по-монашески», обычно же ограничивался поздней литургией да вечерней. Тем не менее, сразу ощутил веяние строгой и чистой жизни, идущей незыблемо и человеческую душу вводящей в свой ритм. Монастырский ритм — вот, мне кажется, самое важное. Вы как будто плывете в широкой реке, по течению. И чем дальше заплыли, тем больше сама река вас несет. Игумен одной афонской обители говорил мне, что близко к полуночи он просыпается безошибочно, да и заснуть бы не мог — скоро ударят в било. Таких «утренних петелов» в монастырях, разумеется, много. Здесь нет горя, нет острых радостей (вернее: «наслаждений»), особенно нет наркотического, опьяняющего и нервозного, что в миру считается острой приправой, без которой жизнь «скучна». Для монаха нет скуки, нет и пряностей. Его жизнь вовсе не очень легка. Она не лишена томлений и тягостности, монах иногда подвержен упадку духа, целым полосам уныния. Но все это лишь временное погружение *под* уровень и, кажется, лишь в начале. В общем, инок быстро всплывает: его очень поддерживают.

Для того, чтобы быть монахом, нужен, конечно, известный дар, известное призвание. Но и на не обладающего этим даром жизнь около монастыря, лишь отчасти им руководимая и наполняемая, уже есть душевная гигиена. Человек рано встает, больше обычного работает, умеренно ест, часто (сравнительно) ходит на службы, довольно много молчит, мало слышит пустого и вздорного. Видит синее море, купола, главы, благообразную жизнь.

У католиков не напрасно существуют retraites*, куда приезжают и временно там живут «мирские», как бы отбывая поверочные сборы, подобно солдатам, которые в гражданской жизни могут опускаться и забывать военное дело. Для христианства каждый христианин — солдат. И каждого надо сохранять в боевой готовности. Католики поняли это отлично. Не станут возражать и православные. И так как мы живем в довольно удивительные времена, то я не очень изумился бы, если бы под Парижем вдруг, в один прекрасный день, подобно Сергиеву Подворью, вырос бы русский православный монастырь, куда открылось бы паломничестиво «мирских».

* Букв.: убежище *(фр.)*.

* * *

На ночную службу идешь длиннейшими монастырскими коридорами. Местами совсем темно, кое-где светит полупритушенный фонарь, приходится то спускаться на несколько ступеней, то подыматься в иной уровень, то делать повороты. По сторонам гулкого, каменного коридора, всегда несколько сырого и прохладного, — келии иеромонахов. В некоторых местах на поворотах он выводит к небольшим балкончикам. Ночь тихая, лунная — лунный свет бледно-зеленым дымом подымается с каменного пола, уходит в дверь балкона, сияющего светлым прямоугольником. Если выглянуть в нее, увидишь златомерцающие кресты над храмами, синюю тень колокольни, побелевший двор, дерево цветущих роз, высоко поднявшее над крыльцом шапку цветов, и бледно-синеватое струение моря за крышами.

Бьют в било. Кое-где на балконах появляются монахи, и по моему коридору слышны ровные шаги.

Не выходя из здания, в конце пути оказываешься в храме, не столь огромном, как Собор Андреевского скита, но богато и тоже не-старинно изукрашенном. Приходишь в свою стасидию и, опершись локтями на подлокотники этого «стоячего кресла», слушаешь службу. Молодой экклесиарх подойдет с поклоном, постелит половичок, чтобы ногам не холодно было стоять,— с поклоном отойдет. Один за другим появляются монахи, совершают перед иконами «метания», со всеми своими музыкально-размеренными движениями, и занимают места в стасидиях. Приползают замшелые и согбенные старички, в огромнейших сапогах, едва перебирая больными ногами, имея за спиной многие годы. Нередко такой и на палочку опирается. Заросли бородами и бровями, точно лесовички, добрые лесные духи, рясы на них вытертые и обношенные, сами едва дышат, а всю ночь будут шептать высохшими губами молитвы в стасидиях.

Службы же длинны. От часа ночи до шести утра в обычные дни, а под воскресенье и праздники «бдения» длятся по одиннадцати, даже по четырнадцати часов непрерывно!

Золото иконостасов и икон мерцает в блеске свечей, из окон ложатся лунные ковры. Это дает сине-дымный оттенок храму. Золото и синева — так запомнился мне ночной храм Покрова Богородицы.

Канонарх читает, хор поет, выходит диакон, служит очередной иеромонах — все как обычно. Ровность и протяжность службы погружают в легкое, текучее и благозвучное забвение, иногда, как рябь на глади, пробегают образы, слова «мирского» — это рассеянье внимания может даже огорчать. Часам к трем утра

подбирается усталость. Борьба с нею и со сном хорошо известна монашескому быту[11].

Вероятно, старикам легче преодолевать сон, чем молодым. По правилам Пантелеймонова монастыря, экклесиарху полагается во время ночных служб обходить монахов и задремавших трогать за плечо. Но я этого не видел. Не видал и заснувших. Дремлющие же бывают.

Для непривычного «мирского» борьба со сном особенно нелегка: тупеешь и грубеешь, едва воспринимаешь службу. Правда, перемогшись в некий переломный час, опять легчаешь, все-таки это очень трудно.

Но одно то, что вот в эту лунную ночь, когда все спит, здесь, на пустынном мысу сотни людей предстоят Богу, любовно и благоговейно направляют к нему души наперекор дневным трудам, усталости — это производит глубокое впечатление. Вот приподымешься слегка, в стасидии, и над подоконником раскрытого окна увидишь серебристо-забелевшую полосу моря с лунным играющим следом. Раз я увидел так дальний огонь парохода, и в напевы утрени слабо вошел звук мирской — гудок. Приветствовал он святой и таинственный Афон? Приходил, уходил? Бог знает.

Перед концом утрени изо всех углов вновь вытягиваются старички, экклесиарх вновь ко мне подходит.

— Пожалуйте к иконам прикладываться.

Это сложное, медленное и торжественное действие. Оно завлекает своею благоговейностью и спокойным величием.

Море уже бледно-сиреневое. Сребристый утренний свет в окнах. В церкви сизый туман, когда по ходу служения иеромонах возглашает:

— Слава Тебе, показавшему нам Свет!

На что хор отвечает удивительной, белой песнью-славословием:

— Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!

* * *

Воскресенье, утро. Сижу на диване. Передо мной большой поднос с белым чайником для кипятка, маленьким чайником в цветах, чашкою и кусочками подсушенного хлеба. Читаю в Афонском Патерике о. св. Ниле Мироточивом, как он жил в пустыне у моря, с учеником, и за святую жизнь дано было ему такое свойство, что из гроба его истекало целебное миро. Оно струилось ручейком в море. За этим миром приплывали издалека

многие верующие на каиках, так что самое место под утесом получило название, «корабостасион» (стоянка кораблей).

«И при этом рассказывают, что ученик, оставшийся после святого Нила и бывший очевидцем скромности и глубокого смирения своего старца при земной его жизни, не вынося молвы от множества стекающихся мирян, тревоживших покой св. Горы, будто бы решил жаловаться своему прославленному старцу на него самого, что он, вопреки своим словам — не искать и не иметь славы на земле, а желать ее только на небесах,— весь мир скоро наполнит славою своего имени и нарушит через то спокойствие св. Горы, когда во множестве начнут приходить к нему для исцелений: и это так подействовало на св. мироточца, что тогда же миро иссякло».

Отворяется дверь, входит степенный мой о. Иоасаф.

— Сейчас к поздней ударят. Если угодно трезвон поглядеть, то пожалуйте. Я вас провожу на звонницу.

В Пантелеймоновом монастыре знаменитый колокольный звон. Я действительно хотел «поглядеть» его.

Мы пошли коридорами, потом по перекидным сходням над двором прямо попали к главному колоколу, в ту самую минуту, когда молодой монашек, уже разогретый и розовый, разгонял последними усилиями веревки его язык — вот осталось чуть-чуть до внутренности тяжкого шлема, вот волосок, вот, наконец, многопудовый язык тронул металл и раздался первый, бархатно-маслянистый звук. А потом пошли следующие, один за другим, им вторили здесь еще два-три меньших колокола, с верхнего же этажа залились самые мелкие. Трезвон! Впервые был я так *пронизан* звуками, так гудело и сотрясалось, весело трепетало все существо, звуки принимались и ногами, и руками, сердцем, печенью... Было отчего. Колокол св. Пантелеймона весит восемьсот восемнадцать пудов, это величайший колокол православного Востока. Затем — звонарное искусство. Я чуть лишь заглянул в него, поднявшись еще выше (казалось, что и воздуха никакого нет, одно густое варево звуков). Но думаю, для музыканта в нем есть интересные черты.

Наверху звонил некрасивый русобородый монах с открытым, несколько распластанным лицом, сильно загорелым, в сдвинутой на затылок скуфейке. Ногой нажимал он на деревянную педаль, пальцами одной руки управлял тремя меньшими колоколами, а другой играл на клавишах самых маленьких... но все-таки не назовешь их «колокольчиками». Вот в этих переливах, сочетаниях разной высоты звонов и состоит, по-видимому, искусство звонаря, своеобразного «музыканта Господня». Я спрашивал, нет ли литературы о колокольном звоне, каких-нибудь

учебников его — мне ответили, что тайна этого редкого уменья передается от звонаря к звонарю.

Спускаешься с колокольни «весело-оглушенный», проникнутый звуковым мажором, близким к световому ощущению. Точно выкупался в очень свежих, бодро-кипящих струях. Уверен, что такой звон прекрасно действует на душу.

Думаю, что он слышен по всему побережью, и доносился бы до пещеры св. Нила. Как отнесся бы его строгий ученик к такому разливу звуков, хотя и прославляющих небесное, но языком все же громким? Не нарушало ли бы это в его глазах «святой тишины» Афона?

Ответить нелегко. Но отрывок жития, приведенный выше, дает яркую характеристику афонского душевного склада. Афон прежде всего есть некое уединение. Афон молится и за мир, усердно молится, но крайне дорожит своей неотвлекаемостью. Тут существует известная разность между жизнью афонского монастыря и пустыннической. Пустынники всегда считали монастырь слишком «уступкой», в некотором смысле, слишком «мирским» (особенно монастыри особножитные). Сторонники же монастырской жизни не весьма одобряли индивидуализм пустынников, их «своеволие» и непослушность.

Так на самом Афоне веками жили рядом разные типы монашествующих.

* * *

Афон считается Земным Уделом Богоматери. По преданию, св. Дева, получив при метании жребия с Апостолами вначале Иверскую землю (Грузию), была направлена, однако, на Афон, тогда еще языческий, и обратила жителей его в христианство.

Богоматерь особенно почитается на Афоне, он находится под Ее защитой и милостью. На изображениях св. Афонской горы Богоматерь на небесах над ним покрывает его своим омофором (длинный и узкий «плат», который Она держит на простертых руках). Этот плат благоволения и кроткой любви, ограждающий Ее Удел от тьмы. Нет и не было уже тысячу лет ни одной женщины на полуострове. Есть лишь одна Дева *над* ним. «Радуйся, радосте наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором», говорит акафист. Культ Приснодевы на Афоне сильно отличается от католического. В нем нет экстаза, нет и чувственности, он отвлеченнее. Мадонны католических храмов более земно-воплощенны, раскрашенные статуи убраны цветами и обвешаны ex-voto*. Не говорю уже о средневеково-

---

* по обету *(лат.)*.

рыцарском поклонении Прекрасной Даме, о некоей психологии «влюбленности», что, с афонской точки зрения, есть просто «прелесть».

На Афоне воздух спокойнее и разреженней. Поклонение Пречистой носит более спиритуальный, облегченный и надземный характер.

Я присутствовал в Пантелеймоновом монастыре на одной глубоко трогательной службе — акафисте Пресвятой Деве. Это служба дневная. В ее заключительной, главнейшей части игумен и два иеромонаха в белых праздничных ризах, стоя полукругом на амвоне против царских врат, по очереди читают акафист. Над вратами же находится Образ Пречистой, но особенный, написанный на тонком, золотеющем «плате». Низ его убран нежной работы кружевом. Во время чтения Образ тихо и медленно спускается, все ниже, ниже, развевая легкую ткань своего омофора. Голоса чтецов становятся проникновеннее, легкий трепет, светлое воодушевление пробегают по церкви: Богоматерь «с честным своим омофором», в облике полувоздушном, златистооблегченном сама является среди своих верных. Образ останавливается на высоте человеческого роста. Поет хор, все один за другим прикладываются, вечерние лучи слева мягко ложатся на кружева и золотистые отливы колеблющейся иконы. И так же медленно, приняв поклонение, Образ уходит в свою небесную высь — кажется, недостает только облаков, где бы почил он.

«Радуйся радосте наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором».

* * *

Я любил тихую афонскую жизнь. Мне нравилось выходить иной раз из монастыря, сидеть на прибрежных камнях у огорода, любоваться «светлыми водами Архипелага». (Эти светлые воды упоминаются во всех писаниях об Афоне, но афонское море, действительно, чрезвычайно прозрачно, нечеловечески изумрудно-стеклянного тона).

В знойные часы полудня хорошо бродить по балкону, огибающему мой и соседний корпус. Свет легко плавится в голубоватом воздухе, море лежит зеркалом, окаймленное лиловатым Лонгосом, а в глубине залива золотисто сияет Олимп недосягаемыми своими снегами.

Под вечер, перед сумерками, приходили нередко гости: седобородый, в очках, с золотым крестом на груди добрейший о. архимандрит Кирик, духовник всей братии. Энергичный о. иеромонах Иосиф, библиотекарь. Скромный, застенчиво-мяг-

кий и слегка нервный помощник его, о. В., мой очаровательный спутник по путешествию о. Пинуфрий и др. Я вспоминаю с большим удовольствием об этих кратких беседах с людьми, которых и мало знал, но с которыми сразу установилась душевная связь, и говорить можно было почти как с друзьями. Поражала глубокая воспитанность и благообразие, придающие разговору спокойную значительность, то, что противоположно так называемой «болтовне». Я видел в монастыре св. Пантелеймона столько доброты и братской расположенности, столько приветливости и тепла, что эти малые строки — лишь слабое эхо моей признательности.

Спускается сиреневый вечер. Иду по коридору гостиницы, мягко поблескивающему мозаичными плитками, мимо картин — город Прага, вид Афона — на террасу. Отпираю вход на нее особенным ключом, и мимо цветов гераниума, настурций и еще каких-то розовых, прохожу в огромную залу монастырских приемов. Три ее стены в окнах, выходящих на балконы,— на море и кладбище. За день жаркий и слегка спертый воздух накопился в ней. Вот где тени былого! Вот где облик неповторимого. Эти стены, увешанные портретами императоров, цариц, митрополитов, посланников, видали «высочайших особ» и князей церкви. Давно, как бы раз навсегда, натертый пол блестит зеркально. Чистые половички проложены по нем. Посреди залы овальный стол, уставленный фотографиями лицом к зрителю. Он окружен фикусами и рододендронами. И овал стульев, расставленных веером, окружает все это сооружение. На них, в часы приемов, вероятно, после трапезы, с чашечками турецкого кофе в руках, обносимые «глико» и «раки», заседали великие князья и архиереи, консулы и богатые покровители монастыря из России...— все должно быть, спят уже теперь вечным сном. Не могу сказать, как «наводительна» сиреневыми вечерами, со струей свежего воздуха, втекающего в открытую на балкон дверь, была для меня эта зала, как почти одурманивала она крепкою настойкой грусти, как безмятежно сизело начинавшее к ночи серебриться море, а за колокольнею св. Пантелеймона, над невидимым сейчас Олимпом дотлевал оранжевый закат.

В монастыре тихо. Наступает краткий час отдыха. Пречистая простирает свой омофор.

КАРУЛЯ

Ранним и чудесным утром мы спустились к пристани. Там ждала лодка. Архимандрит Кирик благословил меня на стран-

ствие, овеяв своей легкой, снежною бородою, гребцы погрузили весла, слегка налегли, и мы мягко тронулись. Мы — это иеромонах о. Пинуфрий, иностранец доктор, юный монах-переводчик, два гребца и я.

Вот первый образ нашего отплытия: стеклянно-голубое море, легкий туман у подножия Лонгоса, тихий свет утра. Лодка идет нетрудно. Рядом со мной черный с проседью, кареглазый, спокойный и ровный, слегка окающий по-нижегородски о. Пинуфрий. Опустив руку в воду, он пальцем чертит серебряный след. Негромким, привычным голосом начинает петь:

— Христос Воскресе из ме-ерт-вых, смертию смерть по-прав, и сущим во гробех жи-вот дарова-в!

Мы подтягиваем. Оборачиваясь, вижу нашего юношу с золотистыми волосами, золотистою бородкой вокруг пунцового рта и глазами задумчивыми, упорно глядящими вбок. Безмятежная голубизна вод, тишина, плеск струи за кормой, юноша, напоминающий поленовского Христа, мягко очерченный в утреннем дыму евангельский пейзаж Генисаретского озера...

— И су-щим во гробех жи-вот даровав...

* * *

Итак, мы огибаем юго-западный берег афонского полуострова, держим путь на Карулю, знаменитую южную оконечность Афона, где в бесплодных скалах живут пустынножители. А пока, слева, медленным свитком протягивается полуостров: горы, леса, по ним кручи, кое-где виноградники и оливки, кое-где пустынно-каменистые взгорья — все непроходимое и первобытное. То выше, то ниже — средневеково-восточные замки греческих монастырей. Вот высоко в лесах пестрый Ксиропотам. Симонопетр, выросший продолжением скалы отвесной, весь уходящий ввысь, с балконами над пропастью.

Мы зашли в маленький, изумрудный заливчик Григориата, где подводные камни слегка ломались в глазу под колеблющимся стеклом — на полчаса навестили монастырь с черно-курчавым привратником у вековых ворот и приложились к знаменитой иконе св. Николая Мирликийского. Древний храм, древние ризы, глушь, тишина, отвесная скала, непроходимость, да лазурно-колеблемое стекло заливчика, вот что осталось от этого посещения...

И уже вновь гребут отцы Эолий и Николай — плывем далее.

Когда в ущелье показался Дионисиат, о. Пинуфрий протянул к нему свой загорелый палец.

— Тут вот этот патриарх жил, Нифонт по имени. У него в

Константинополе разные страдания вышли, его, стало быть, понапрасну увольнили, он сюда и перебрался. Это когда же было... то ли в пятнадцатом, то ли в шестнадцатом веке, вот с точностью не упомню... О. Эолий, как это, в шестнадцатом?

О. Эолий, полный, немолодой монах, по профессии певчий, сидит передним гребцом. На голове его соломенная шляпа, придающая ему несколько женский вид. Он вспотел и все отирает платком лоб.

— Да видимо, что в шестнадцатом...

— Ну, вот... Смиреннейший патриарх и пришел сюда, назвавшись простым эргатом, по-нашему, работником. Такой-то этот Нифонт был, скажи, пожалуйста: «Я, мол, братия, тут дровец вам могу порубить, того, другого». Хорошо, он у них и жил, и хоронился, и никому в мысль не приходило, что этакий эргат... вон он кто! Только нет, Господь его и открыл. Значит, раз он в лесу порубился, мулашки у него там были, он хворост навьючил, идут, к монастырю приближаются — и едва приблизились, ан нет, *монастырские колокола сами зазвонили, патриаршую встречу...* Он, стало быть, хворостинкой мулашек подгоняет, шагай, дескать, а колокола полным трезвоном... Ну, тут и открылось, кто он.

— Налегай, налегай, о. Эолий,— сказал другой гребец, крепкий и заскорузлый, с волосатыми руками, приземистым корявым носом — среднее между бурлаком и дальним родственником Тараса Бульбы,— а то батос подойдет, тогда нам у Карули не выгрести.

— Не будет батоса,— отдуваясь, ответил о. Эолий.

— Как так не будет, завсегда к полудню батос, да и сейчас видно, вон уж он в море вихрится.

Батосом называется на Афоне юго-западный ветер, с моря, всегда разводящий волну. О. Николай был прав: вдали по горизонту закурчавилась полоска темной синьки, от нее к нам лежало море еще стеклянное.

Батос застиг нас недалеко от места высадки. Море стало пенно-синим, мощным, лодка затанцевала. Изменился и берег. Мы шли теперь рядом с почти отвесными голыми скалами, совсем близко к ним. Начиналась Каруля. Кое-где волны подлизали берег, так что он выступал. Если тут волна опрокинет лодку, то и умея плавать пропадешь,— некуда выплыть.

Мы едва двигались. Гребцы залились потом.

Над нами висели скалы, в одном месте колыхалась по волнам корзина на веревке. Это отшельники спускают, объяснили мне, а рыбаки иной раз что-нибудь кладут съедобное. Прежде подымали и людей в корзинах с берега на скалы, но сейчас этого нет.

Временами высоко наверху видишь домик, это «калива» пустынника, одиноко висящая над бездной. Головокружительные тропинки проложены по утесам. Отшельники не боятся ходить по ним в темноту после всенощной (из ближнего скита). В одном месте я видел веревку, натянутую по краю пропасти — это перила скользящей тропки. Далее тропка уходит в косую проточину в скале, подобную водопроводной трубе, по ней сползают к более низкому месту.

* * *

Афон считается Земным Уделом Богоматери, но можно сказать, что он и страна Христа. Я очень ясно ощутил это в тот день сияющий, карабкаясь с о. Пинуфрием по белым камням вверх, к каливе русского отшельника. Помнится, мы встретили одного-двух «сиромах» (бедняки, нередко странники). О. Пинуфрий говорил каждому — Христос анэсти.

Или:

— Христос воскресе.

Ему отвечали:

— Воистину воскресе.

Впоследствии таким приветствием встречали мы десятки людей, десятки тем же отвечали нам. Вот полуостров. На нем монастыри, скиты, небольшие монастырьки в пятнадцать-двадцать человек (т. н. «келии»), есть, наконец, просто отдельные пустынники, живущие в каливах. Одни зажиточнее, другие совсем нищие, одни — все же начальство, другие — подчиненные, одни решают высшие дела и служат в церкви, другие трудятся на «киперах» (огороды), но все члены Христовой республики, для всех есть вот одно:

— Христос воскресе.

— Воистину воскресе.

Это поражает. Как поражает то, что в любой самой худой каливе — моленная с образами, лампадками, а чуть побольше — «келия» — там обязательно церковь, и на восходе солнца непременно служат литургию. Вера и преданность Христу здесь дело *самоочевидное,* к этому так привыкли, что афонец с трудом понимает, как иначе может быть.

Один из встречных сиромах оказался учеником отшельника. Он проводил нас. Доктор в костюме туриста тяжко шагал по камням подкованными башмаками. Солнце пекло. За нами синела туманная бездна моря, в сияющем дыму выступал таинственною тенью остров. Несколько белых крыл разбросаны по синеве.

Нас провели в комнатку для посетителей (в отдельной каливе). О. Пинуфрий снял свою сумку, кожаную афонскую сумку на ремне, вздохнул, отер загорелый лоб, поправил черную с проседью бороду.

— Вот, здесь полегче.

Мы сели на низкие сиденья. В комнате с земляным (если не ошибаюсь) полом было прохладно, не очень светло. Вошел отшельник — высокий человек с очень добрыми небольшими глазками, довольно полными щеками, одетый небрежно — чуть не на босу ногу туфли — и вид его менее напоминал монаха, чем все виденное мной доселе. Странным образом, и он, и другие пустынники, кого я встретил на Афоне, будучи глубоко монахами и церковниками, внешне более вызывали образы «светских» мудрецов и учителей жизни, и тут на Каруле, как позже на Фиваиде, тень оцерковленного и оправославленного Толстого проходила пред глазами.

Отшельник — одно из известнейших лиц на Афоне, человек образованный, бывший инспектор Духовной Семинарии, «смирившийся», как про него говорят афонцы, и ушедший в одинокое подвижничество по примеру древних. Очень многие поклонники желают его видеть и послушать его мудрого слова. Посетители вроде нас начинают утомлять его. Доктор переписывался уже с ним. По письмам пустынник заключил, что он не только хочет перейти в православие, но и принять монашество. Иностранец, действительно, несколько дней прожил в Пантелеймоновом монастыре, но не только не приблизился к монашеству, а скорее настроился критически, его удивляла «непрактичность» монахов, да и его собственные идеи были совсем иные.

Отшельник встретил его вначале крайне приветливо, почти как своего — да и вообще от его быстроговоримых, негромких и застенчивых слов шла удивительная горячая влага, меня этот человек сразу взволновал и растопил, я точно бы внутренно «потек». Он конфузливо сидел на табуретке, не зная куда девать большие руки, как быть с ногами, и вполголоса, скороговоркой подавал краткие реплики юноше нашему, переводчику. Юноша с тою же невозмутимостью, как в лодке на море, небыстро переводил.

Вот приблизительный отрывок разговора:

Доктор.— Мне нравятся монастырские службы. Но можно быть монахом и устроить себе удобную жизнь, улучшить хозяйство, завести прочную торговлю.

Отшельник.— Это нас не интересует.

Доктор.— Жизнь есть жизнь. Она имеет свои законы.

Я понимаю, что на этих голых скалах ничего не вырастишь. Но кто живет в монастырях, имея леса, виноградники, оливки...

Отшельник *(с улыбкой)*.— В миру помещики... мало ли как разделывают... заводы ставят, фабрики, торгуют...

Доктор.— В этой стране можно превосходно жить. Можно было бы пригласить инженеров, агрономов, проложить дороги.

Отшельник *(грустно и быстро)*.— А нам бы только от всего этого уйти.

Доктор.— Вы должны пропагандировать свои монастыри в Америке.

Отшельник.— Мы должны вечно стоять пред Богом и в смирении молиться.

Доктор.— У католиков существует пропаганда. Я недавно видел фильм, где показана жизнь католического монастыря.

Отшельник.— А нам нечего показывать. Мы считаем себя последними из людей... что уж там показывать. Нет, нам показывать нечего... Молимся, как бы душу спасти.

Доктор.— Если правильно поставить пропаганду в Америке, оттуда можно получить хорошие средства.

Отшельник *(тихо и быстро)*.— От чего и избави нас, Господи.

О судьбе России.

Отшельник.— ...Потому и рухнула, что больно много греха накопила.

Доктор.— Запад не менее грешен, но не рухнул и не потерпел такого бедствия. Россия сама виновата, что не справилась.

Отшельник.— Значит, ей было так положено.

Доктор.— Как же положено, за что же Бог сильнее покарал ее, чем другие страны.

Отшельник *(мягко и взволнованно)*.— Потому что возлюбил больше. И больше послал несчастий. Чтобы дать нам скорее опомниться. И покаяться. Кого возлюблю, с того и взыщу, и тому особенный дам путь, ни на чей не похожий...

Кажется, это была высшая точка разговора. Отшельник воодушевился, тихая горячность его стала как бы сверкающей, как бы электрические искры сыпались из него. Он быстро, почти нервно стал говорить, что хотя Россия многое пережила, перестрадала, многое из земных богатств разорено, но в общем от всего этого она выигрывает.

Доктор.— Как выигрывает?

Отшельник.— Другого богатства много за это время дано. А мучсники? Это нс богатство? Убиснные, истерзанные? Митрополита Вениамина знаете?

И опять стал доказывать, что мученичество России — знак большой к ней милости, что раньше настоящего мученичества за веру у нас не было, если не считать единичных случаев, а теперь впервые дан крест исповедничества.

Но на этой высоте беседа не удержалась. Молнии сдержанного раздражения, разочарования в человеке, которого по письмам он считал почти своим, выступали у отшельника все яснее.

Доктор упрямо, грубовато продолжал свое. Отшельник, видимо, охлаждался и уходил. Так, вероятно, угасал и спор Толстого с надоедным посетителем. Когда доктор дошел до того, что надо техническими и химическими средствами уничтожать большевиков, отшельник вовсе замолк.

Юноша увел доктора к лодке. Его убедили не идти с нами далее, а вернуться в монастырь. Но все было испорчено. Мы с о. Пинуфрием поспешили отступить в горы.

* * *

По какому-то ущелью, казавшемуся бесконечным, мы карабкались все выше, задыхаясь, иногда изнемогая. Тропинку нам показывал сиромаха — ученик отшельника. Он бесшумно и неутомимо шагал впереди на своих кривых ногах в обуви вроде мокасинов. Вот одинокая калива. Здесь живет иконописец. С высоты его балкона открывается синий дым моря, тени островов Архипелага, и все свет, свет...

...Над нами зубцы Афона. К ним мы не дойдем — лишь сквозь леса и заросли подымемся на полугору и заночуем в келии св. Георгия.

К закату тени залиловели в нашем ущелье. Стало холоднее и сырей. Розовым сиял верх Афона, сзади туманно светилось еще море, а вокруг густел мрак. Было радостно достигнуть перевала, сразу оказаться в густолиственном, высокоствольном лесу под дубами, увидеть иной склон Афонского полуострова, идти по ровному месту к живописнейшей келии св. Георгия.

Как всегда, ласково встретили нас в наступающей ночи монахи — только что возвратившиеся с покоса. Пахло сеном. Раздавались голоса коренной русской речи, было похоже на большую крестьянскую семью трудовой и благоустроенной жизни. Звезды очень ярко горели.

Мы устали чрезмерно. Поужинали, и на узких ложах, жестковатых, заснули беспробудно.

* * *

Афон, святая гора! На другой день мы шли мимо нее, дорогою к Лавре св. Афанасия. Справа у нас было море, слева бело-серые кручи Афона[12], испещренные черными лесами. Нас провожал вчерашний безответный сиромаха. Он нес сумку о. Пинуфрия. Мы шагали по большим камням «большой» дороги, по которой ехать никому не посоветуешь: лучше уж пешком. Да и вообще в этом царстве нет дорог проезжих.

Мы проходили подлинно «по святым» местам. Там у моря жил в пещере св. Петр Афонский — первый пустынножитель. Там Кавсокаливийский скит в память св. Максима Кавсокаливита — «сожигателя шалашей» — образ совершенного странника, переходившего с места на место и уничтожавшего свой собственный след, свою хижинку или шалаш. Дальше — пещера Нила Мироточивого.

Идем и час, и два, и никого навстречу. Ледяной ключ попался у подножья вековых дубов — бил из прохладной стены, сильно затененной, образуя лужицу и болотце. Проводник с детским простодушием срывал мне разные травы, цветы афонские, рассказывал, как на отвесных, голых скалах на верху Афона цветет неувядаемый Цвет Богоматери. Над Святой Горой остановилось облачко. Кругом синее небо, в нем белеет двузубец, в синеве пустынной и прозрачной ясно вижу я орла. Он плывет неподвижно.

Наконец, дошли до полуразвалившейся — не то часовенки, не то пастушьей хижины. Дорога поворачивала. Проводник должен был здесь оставить нас.

О. Пинуфрий снял свою камилавку, под которую был положен белый платочек, защищавший шею от солнца, отер загорелый лоб.

—Вот тут отдохнем, а потом в молдавский скит спустимся... И место хорошее. Это знаете, какое место? Тут святой Иоанн Кукузель козлов пас... Как же, как же... Такой был он, вроде музыканта, или там певец, что ли... по смирению пастухом служил.

Мы сидели в тени. Целая рощица была вокруг, и дорожки вытоптаны козлами, и даже нечто вроде маленького тырла козьего, с остатками помета.

— До сих пор тут пасутся... пастухи доселе их здесь держат.

...Ну, а святой-то, Иоанн-то Кукузель, он очень хорошо псалмы пел... Так, знаете ли, пел, что просто на удивление...— да как же, представьте себе, ведь он же первый музыкант был в Константинополе, при дворе императора. Только не выдержал,

значит, и удалился сюда, в уединение. Как запоет, стало быть, то козлы все и соберутся в кружок, бороды вперед выставят и слушают... вон он как пел-то! Подумать! Бородатые-то, бессловесные...— он даже засмеялся,— бородками потряхивают, а слову Божьему внимают... Да,— прибавил серьезно,— этот Иоанн Кукузель был особенный.

О. Пинуфрий умолк. Можно было подумать, что со св. Иоанном, сладчайшим певцом и музыкантом Господним, был он знаком лично.

Наш проводник поднялся, откланиваясь.

— А засим до свидания,— сказал робко, точно был виноват, что уходит.— Мне пора ворочаться.

— Господь с тобой,— ответил о. Пинуфрий.

Тот подошел под благословение и поцеловал руку.

— Спасибо тебе, подсобил сумку нести, потрудился. Заходи ко мне в монастырь, я тебе чего-нибудь сберу...

Я тоже поблагодарил и дал монетку. Мне хотелось дать побольше, но не оказалось мелких. Он смиренно поклонился, быстро исчез.

До сих пор мне жаль, что мало я его «утешил». Значит, на роду ему написано быть сиромахой, мне же — запоздало сожалеть.

ЛАВРА И ПУТЕШЕСТВИЕ

Садилось солнце. Мы с о. Пинуфрием шли по пустынной, каменистой тропе, в густых зарослях. На повороте ее открылось сухое поле, с отдельными оливками и серыми камнями, тощими посевами — за ним поднимались стены и древние башни лавры св. Афанасия. Нам попалось стадо овец. Верх Афона еще лиловел, когда мы проходили мимо рвов и башен, вдоль стены к главному вх̊оду.

Слева раскинулись домики в оливках и кипарисах. В каменных желобах мощно шумела вода. Странно и радостно было видеть такое обилие влаги, прозрачный и сильный ее говор в месте сухо-выжженном, вовсе, казалось бы, неплодоводном. Ясно, она шла с гор. О. Пинуфрий зачерпнул пригоршнею из цистерны.

— Эта вода у них очень замечательная, самый водяной монастырь, святой Афанасий ее прямо из скалы извлек... Так с тех пор и бежит...

Мы приближались к главному входу — куполообразной сени на столбах, освященной образом на стене, над входною дверью.

Влево на пригорке расположена была открытая беседка. Там сидели, разговаривали и стояли чернобородые, с тугими, по-гречески заплетенными на затылке колбасками-косами монахи эпитропы. За их черными силуэтами сиреневело море.

Я показал привратнику грамоту с печатью Богоматери. Коваными вратами нас впустили на небольшой мощеный дворик — там надо было пройти еще сквозь новые врата, прежде чем попасть собственно в монастырь — древнюю, знаменитую Лавру св. Афанасия.

* * *

Мы обещали фондаричному хорошее вознаграждение. Он отвел лучшую комнату гостиницы — не то салон, не то шестиоконную залу, глядевшую на море, с колоннами, отделявшими часть, где помещались постели. Было уже поздно для осмотров — мы пошли бродить по вечереющему монастырю, замкнутому четырехугольником корпусов и башен. Собор, крещальня перед ним с огромнейшим фиалом, два кипариса по бокам — времен св. Афанасия — усыпальница Патриархов, трапезная, библиотека, померанцевые деревья, смесь запахов лимонных дерев с теплотой и восточной грязноватостью жилья, нежно-палевые шелка зари... Стало смеркаться. Мы отправились в гости к эпитропу, знакомому о. Пинуфрия. Поднялись по грязной лестнице корпуса с запахом, напомнившим гостиницу в Перемышле или Козельске времен легендарных. Шли какими-то коридорами, спрашивали у выглядывавших монахов, как попасть к эпитропу — некоторые стирали белье, другие, было видно в полуоткрытые двери, что-то мастерили по хозяйству. Лавра — монастырь необщежительный. Каждый живет, как хочет, сообразно средствам, вкусам. Общей трапезы нет, и нет игумена. Управляет совет эпитропов.

На стук в одну из дверей отворил пожилой, неопрятный монах с расстегнутым воротом рубашки, в домашней хламиде, довольно полный, с беспорядочно заросшим черною бородой лицом и покрасневшими, слезящимися глазами. О. Пинуфрий представил меня. Эпитроп небрежно-приветливо поздоровался, сказал «кала», и шлепая туфлями на босу ногу, тяжело волоча грузное тело, пригласил нас в столовую. Он занимал целую квартиру их четырех комнат, грязноватую, всю проникнутую несвежим и «экзотическим» запахом, как грязноват и распущен был сам хозяин. Хотя ему явно было лень, все же он проявил известную любезность, посадил нас на диванчик, и через несколько минут служка его подавал уже гостям всегдашний кофе, глико, раки. Разговор шел по-гречески, с о. Пинуфрием. Видимо,

он объяснял обо мне, «синграфевс, синграфевс» (писатель) — говорил внушительно о. Пинуфрий; эпитроп равнодушно глядел на меня огромными красными глазами и повторял «кала, кала» (хорошо). Еще часто слышал я «охи, охи» (нет), и это несколько веселило. Видимо, перешли на домашние дела и обо мне забыли, к моему удовольствию. Я любовался сдержанностью и достоинством, прекрасным аристократизмом своего спутника бегло и любезно, точно он привык к салонам, беседовавшего с эпитропом. Вот он — крепкий и чистый лесной русский тип, заквашенный на Византии, родивший своеобразную высоту древнего зодчества, русской иконописи... Таким, как о. Пинуфрий, мог быть посол российский времен Иоанна III, живописец Андрей Рублев или мастер Дионисий.

Эпитроп показал нам свою моленную. Перед древним образом св. Димитрия Солунского краснела лампада. Мы вышли на балкон. Он выходил наружу, за монастырь. Афон подымался сбоку. Вблизи монастыря только что скошенная лужайка, лежали ряды подсыхающего сена. Запах нежный и столь для русского пронзительный... Налево сиреневое море, и сиреневый, кроткий вечер одел оливки, камни, суховатый и пустынный пейзаж.

...Позже мы ужинали с о. Пинуфрием у себя в зале, за круглым столом посреди комнаты, при давно невиданной висячей лампе. Нас впервые на Афоне угостили мясом — козлятиной, из тех козлов, что некогда пас св. Кукузель. Окна наши я приоткрыл — поднял, вся рама подымалась, как в русской деревне. Налетали бабочки. За окном густела ночь лиловая, здесь тоже был покос, и тот же сладко-грустный запах втекал в комнату.

Монастырь давно спал, спал и о. Пинуфрий, когда я вышел на каменную внутреннюю террасу в сводах, с нишами, скамьями и открытой лоджией. Поднялась поздняя луна. Кипарис св. Афанасия казался черным гигантом, тень его, как исполинского святого, перечеркивала белый в синем двор. В полумгле колокольни кресты. Кое-где крыши блестели в свете, звезды цеплялись за кипарисы, узоры башен казались из восточной феерии, по-шехерезадински журчал водоем. Все — Византия и Восток — в этой пряно-душистой ночи.

* * *

Солнце, блеск магнолиевых листьев, черно-синие тени. Мы провели утро в сладком благоухании греческого монастыря и литургии. О. Пинуфрий, знающий и любящий греческую службу,

собрался в Собор раньше меня, но и я, несколько позже, попал в драгоценный древний храм с кованым, тускло-златистым иконостасом с перламутровыми дверями, перламутровой кафедрой игумена, фресками XVI века (монаха Феофана, главы враждебной Панселину школы живописи), изумительным трехъярусным хоросом, голубыми плитами фаянса, до половины облегающими стены, аналоями в виде четырех извивающихся стоячих змей («дискелии»), выложенных мелкой мозаикой из перламутра, слоновой кости и черепахи — четыре змеиных головы слушают чтеца.

В раннем утреннем золоте мы стояли пред дымно-голубоватою глубиной храма с вытертым, священно-мозаичным полом. Важные эпитропы склоняли в резных стасидиях черные с проседью бороды (по словам русских, лаврские греки, несмотря на зажиточность свою, крепко стоят в церковной строгости: их бдения под праздники длятся по двенадцати, пятнадцати часов, не уступая нашим). Позади скромно теснилось несколько «простых сердец» — греческих дроворубов, рыбаков, сиромах. Пение в унисон, однообразное, сладостно-тягучее, опьяняет, как наркоз. Очень древнее, и восточное есть в этом, но и весь Собор таков, он излучает старинные, ладанно-сладковатые запахи. Когда после службы мы прикладывались в алтаре к бесчисленным святыням, это загадочное благоухание — мощей, кипарисов, вековых ларцов — всюду сопровождало нас.

Вот в серебро-златистом венце, или шлеме, украшенном яхонтами и рубинами, глава св. Иоанна Кукузеля, смиренного пастуха козлов. Темно-коричневая, с медвяно-желтым отливом кость черепа открыта для почитания паломников. Вот так же обделанный череп — глава св. Василия Великого. Запомнился и удивительный крест, осыпанный жемчугом,— подарок Никифора Фоки. Хранится он в золотом ковчеге, лежит на его шелках тихо и таинственно, и не без волнения наблюдаешь, как монах открывает все эти тайные упокоения, и нам, несколько опьяненным, «объявляет» тысячелетнюю реликвию.

Смутно-легкий, прозрачный и благоуханный туман в голове, когда выходишь из Собора: святые, века, императоры, ювелиры, художники,— все как будто колеблется и течет.

Мы уселись в тени кипарисов. Я пытался зарисовать аркады и ниши невысокой усыпальницы патриархов, потом мы разглядывали крещальный фиал, употребляемый для водосвятия, тут же под кипарисами, близ паперти. Чаша его из цельного куска мрамора. Над фиалом осьмиугольная как бы часовня под куполом. Древни плиты строения! Они взяты еще из языческого храма. Коршуны, грифы, загадочные звери на них иссечены, и

попадается крест. Но не христианский. Язычество знало тоже символ креста. Означал он другое: вселенную, универс.

Мы направились к трапезной[13]. В огромной зале отдельного здания стены все сплошь записаны фресками. Тянулись столы. Их устройство меня поразило: ряд огромнейших мраморных плит, цельных, овальных — на каменных же опорах — как друидические дольмены.

* * *

Все проходит. И ушла Лавра св. Афанасия. Похожа она на тот золотой ковчег, из которого вынимал монах жемчуговый крест Никифора Фоки. Не все нам было вынуто, показано в этом ковчеге (таинственно исчез, напр., библиотекарь — так мы старинных книг и не видали). Все же, густое, злато-маслянистое, медвяное ощущение осталось.

А сейчас Лавра вздымается уже позади нас средневековым пиргом (башней) своей пристани, да узором башен и стен с пестрыми, голубыми и розовыми выступами строений — голубеет на косых подпорах и наш фондарик шестиоконный. Мы же медленно и легко плывем по гладкой слюде архипелажьих вод. О. Пинуфрий вновь подложил белый платочек под свою камилавку, и он закрывает ему шею. Тишина, полдень. Слева Афон и горы, справа море с туманными, голубоватыми, тоже будто плывущими в зеркальности островами: Лемнос, казавшийся древним волом, погруженным в воды («Тень Афона покрывает хребет Лимнийского вола»), Фасос, Имброс и Самофраки. И, быть может, в ясный день, в хорошую подзорную трубу, я рассмотрел бы рыжие холмы тысячелетней Трои. Передают же «баснописцы», что на горе Афон были видны условные огни греков под Троей, и Афонская вершина, будто бы, передавала их царице Клитемнестре.

Мы сидим на корме. Вода мягко журчит. Шелестят лопающиеся пузырьки. Лицом к нам, стоя, гребет рыжебородый и рыжегривый албанец. Он слегка изогнулся. По лбу текут капли, но он так силен и неутомим! Таких вот длинноволосых даков покоряли бритые, умные и порочные, усталые Адрианы и Траяны.

Его сменяет иногда товарищ — я забыл его. Был ведь другой албанец, плыли мы с ним несколько часов, но в том искании «потерянного времени», в чем состоит, как некоторые утверждают — жизнь, второго албанца у меня нет. Зато помню, как на носу лодки, свернувшись, выставив к нам пятку в рваном носке, спал юноша: бородач обещал подвезти земляка до пристани Морфино.

В самый стеклянно-знойный час, когда только что прошли келию св. Артемия и Воздвижения Креста, о. Пинуфрий, омочив руку в воде и обтерев лоб, поглядывая на эту голую, бесхитростную пятку, вдруг сказал:

— Вот ведь он и Господь так же...— да, плывут, значит, по озеру, апостолы, как бы сказать, на веслах, да и знойно так же было... Палестина! Я в Иерусалиме бывал, чего там, при мне один паломник солнечным ударом скончался. Очень жаркая страна. Господь и притомился, прилег, они гребут, а Он вон этак и заснул. Да представьте себе, буря... Ах ты, батюшки мои! Хоть бы вот нас сейчас взять — жарко, солнечно, да как туча зашла, да как гром ахнет, ветер, волны пошли...— Что тут делать? Прямо беда! Апостолы испугались. Что ж, говорят, видно, уж тонуть нам надобно? В такую-то бурю, да на простой лодочке, вроде бы сказать, как наша... Тут и Господь проснулся. Они к Нему. Да вот, говорят, погибаем, что тут делать? А Он им отвечает: что же это вы так испугались? Нет, говорит, это значит веры в вас мало, чего уж тут бояться... Да-а... и ну, конечно, простер Господь руку, дескать, чтобы опять было тихо — и усмирились волны, и какая буря? — никакой и бури-то больше нет, опять солнышко печет, вода покойная, вот оно ка-ак...

Албанец по-прежнему греб, стоя, напруживая волосатые руки. Светлые глаза его внимательно смотрели на о. Пинуфрия. Он ничего не понимал. Нравилось ему все-таки что-то в неторопливом, тихом рассказе о. Пинуфрия?

Мы подходили к бухте Морфино.

* * *

Афродита-Морфо была Афродитою дремлющей, с покровом на голове и ногами в цепях — такой видел ее в Спарте Павзаний. Это символ Любви, еще томящейся в плену у Хаоса. Заливчик Морфино, с древнею башнею на берегу, несколькими хибарками, где наши албанцы, засучив штаны, вытаскивали мелкую кладь и грузили мешки с ячменем — отмечен древнею, дохристианской легендой о пленной богине: богиня приняла очертанья красавицы дочки царя, которую он заключил в башню.

Погрузившись, поставили парус, при слабом, чуть-чуть, ветерке, пошли дальше, все в то же странствие вдоль берегов Афона. Целый день были светлые облака над головой, зыбко-прозрачная влага, шуршание пузырьков за кормой. Проходили скиты и монастыри. Далеко в море плыли с нами туманные острова. Мы заезжали в монастырь Иверской Божией Матери

и прикладывались к древнему Ея Образу, и в светлой приемной зале обители старенький, слабый и грустный архимандрит, долго живший в Москве, дружелюбно нас принимал, сидя в мягком кресле, вспоминал Москву, ее Иверскую, поглаживая черноседую бороду, полузакрывал старческие глаза и вздыхал — не по далекой ли, но уж полюбленной земле, стране, которую в остаток дней не увидать?

С мягких кресел и от тихого света Иверского монастыря незаметно мы переплыли на новую лодку, где новый гребец, при вечереющем солнце и дымно-зарозовевших островах Архипелага повлек нас к небольшому монастырю Пантократору — на ночлег.

ПАНТОКРАТОР, ВАТОПЕД И СТАРЫЙ РУССИК

Когда наша ладья подходила к Пантократору, он сиял еще в вечерней заре, подымаясь круто над морем башнею, крепостными стенами и балкончиками. Мы свернули налево и узким проливом вошли в небольшую, уютную бухточку, совсем закрытую от волн. У пристани разгружался каик. Два монаха-рыболова выплывали в море на лодочке. Чинно гуляли эпитропы. Молодые албанцы с мулами покорно дожидались чего-то. На холме, в лесах и зелени, белел и горел ярким стеклом русский скит пророка Илии.

После Лавры св. Афанасия Пантократор кажется второстепенным. Он не поражает, но дает ясный образ греческого монастыря с удивительными вратами, башнею, собором и темными, неблагоуханными коридорами келий и гостиницы.

Я провел в этом Пантократоре ночь совершенно бессонную. Она доказала, сколь Греция есть Восток и экзотика, и как эта экзотика дает себя чувствовать огнем насекомых. Спасаясь от них, пришлось сидеть и полулежать на лавке (или диване) у окна, выходившего на море. Как и в Лавре, рамы были подъемные. Так прошла ночь, по красоте редкостная — в глухие часы ея красно сиял диск встающей луны и широкая, ослепительно-серебряная, мелко-чешуйчатая дорога шла морем прямо к подножию Афона, черневшего страшною кручею. Утром все побелело и засиреневело. Афон стал нежутким. Тонко-лиловое очертание его с голубыми утренними провалами и мохнатой шерстью лесов, лысинами скал — приняло очаровательную нежность. Магическая ночью луна растаяла. И, наконец, теплым кармином тронул Эос верхушку Святой Горы, церковку Преображения.

Вот и не пожалеешь о бессонных часах.

Утро в самом монастыре дало артистическую радость: архимандрит Афанасий («дидактор теологии»), любезный и просвещенный греческий монах, показал в соборе такого Панселина, равного которому не видел я и в Карее. Тут в литийном притворе сохранились нереставрированными две-три его фрески (одна особенно прекрасна — Иоанн Предтеча). Что о них скажешь? Думаю, что рука этого художника наделена была безмерною свободой, первозданной самопроизвольностью.

Гений есть вольность. Нет преграды, все возможно, все дозволено. Великое и легкое, самотекущее, вот основное, кажется, в «волшебной кисти Панселиновой», в кисти византийского Рафаэля.

* * *

Новая лодка и новый гребец, и такое же тихо-расплавленное утро, как и вчера, сонные воды, бледные острова. Завиднелся вдали дымок парохода — висел протяженною струйкой в небе, а потом все смешалось, не скажешь, было ли, или казалось.

Идем рядом с берегом. Тут еще тише, еще легче грести. Скалы пустынны! Они обрываются в море почти отвесно, обнажая пласты горных пород — красные, кирпично-рыжие, бледно-зеленые. О. Пинуфрий, придерживая рукою угол платочка, подложенного под камилавку, закрывающего ему шею, всматривается в изломы и излагает свои космогонические теории. Гребец вдруг делает знак молчания, и лишь слегка касается воды веслами. Подплываем к пещере. Камень загораживает половину входа. Но проток есть, сапфирно-зеленое стекло уходит вглубь, в таинственную тьму. Гребец шепотом объясняет что-то о. Пинуфрию.

Оказывается, здесь живут тюлени. Если стать вот как мы, сбоку за утесом, то можно увидеть, как они выплывают на волю, нежатся на солнце, играют, плещутся — целый выводок.

Припекает. Лодка поколыхивается в том неопределенно-безбрежном дыхании, что есть жизнь моря. По лицу о. Пинуфрия, из-под защиты ладони вглядывающегося в берег, слабо текут золотисто-водяные блики. Мы ждем. Не полдень ли это Великого Пана, не подстережем ли тут вместо сонных тюленей скованную, в полудреме томящуюся Афродиту-Морфо?

Внезапно легкая тень наплывает, одевает своим полусумраком, ломаясь, быстро взбегает по скалам. Афродиты-Морфо не было. Не увидали мы и тюленей — стало быть, поленились они в жару заявляться пред иностранцами. Подняв головы, зато

увидали орла афонского. Плавно протек он над нами на крылах твердых, неподвижных.

* * *

Ватопед открылся в глубине овального, довольно правильного залива. Невысокие, мягкие холмы окружают его, есть нечто приветливое, покойное в этом как бы «итальянизирующем» пейзаже. Сам монастырь — сложная мозаика пестрых зданий, башен, стен, зубцов, врат. У воды пристань, лодки, даже рыбачий поселок. На недвижной в заливе лодочке прочно расположился монах с рыболовной снастью. О. Пинуфрий сообщил мне, что это один из правителей монастыря — большой любитель рыбной ловли.

Ватопед после Лавры — важнейшая обитель Афона. Богатством он Лавре вряд ли уступит, древностью также. Его разграбление сарацинами в IX столетии уже исторический факт.

Это очень культурный и ученый монастырь. В XVIII веке при нем была даже Духовная Академия, основанная виднейшим богословом того времени? (К сожалению, Академия эта просуществовала недолго. Дух ее был признан слишком новаторским, и ее закрыли). Затем, в Ватопеде лучшая на Афоне библиотека. Монахи считаются самыми образованными, более других изысканы и утончены, даже изящней одеваются. Монастырь гораздо чище и благоустроенней других. В Ватопеде есть — и это внушает даже некоторый трепет русским — электрическое освещение! Но вот черта, за которую ватопедцев на Афоне осуждают: монастырь принял новый стиль*. Это вовсе не в духе Афона. Вопрос о стиле здесь стоит остро — Вселенский Патриарх ввел его в греческой церкви, но Афон есть Афон, за ним вековая давность и вековая традиция — Патриарху он не подчиняется и живет по-старому.

— Лучше умрем,— говорили мне русские монахи,— а нового стиля не примем. Нынче стиль, а завтра латинство появится.

Когда в великолепной, чистой и тихой зале с бесшумным ковром во всю комнату, светлыми окнами и балконом на синий залив, охваченный холмами, мы дожидались приема, что-то среднее мне показалось между Ассизи и гостиницею в Неаполе.

Мы провели в Ватопеде очень приятный, несколько «итальянский» и ренессансный день. Конечно, как и в Лавре, посетили собор, прикладывались к многочисленным ватопедским святыням, слушали литургию, но из всех осмотров этого монастыря

* Впрочем, частично, не все монахи ватопедские признали его.

ярче всего осталась в памяти библиотека, а в самой библиотеке такая «светская», но замечательная вещь, как Птоломеевы географические карты (если не ошибаюсь, XI века).

Лавра св. Афанасия одно время отпала в «латинство» (при Михаиле Палеологе). Ватопед, напротив, претерпел даже мученичество: за нежелание принять унию игумен Евфимий был утоплен, а двенадцать иеромонахов повешено. В Лавре предание указывает кладбище монахов-отступников.— Ватопед мог бы показать могилы своих исповедников в борьбе с Западом. И все-таки Лавра — монастырь густо-восточный, Ватопед же несет легкий налет Запада. Даже легенды связывают его с Западом.

Основан он будто бы на месте, где под кустом нашли выброшенного в кораблекрушении царевича Аркадия, будущего императора (брата Гонория), который плыл из Рима в Константинополь и здесь был застигнут бурей (V век).

Далее, и сестра его, знаменитая Галла Плацидия, имеет к монастырю отношение.

Кто бывал в Равенне, помнит удивительный ее мавзолей с саркофагами, синею полумглою, таинственным сиянием синефонных мозаик. В юности с увлечением читалось об этой красавице, черные глаза которой и сейчас смотрят с мозаичного портрета. Бури, драмы, любовь и политика, роскошь и бедствия, мужество и величие заполнили ее жизнь. Радостно было открыть в Ватопеде след героини.

Легенда о Галле Плацидии довольно загадочна. В те времена женщинам не был еще закрыт доступ на Афон. Она пожелала проездом из Рима в Константинополь посетить Ватопед. Но когда входила боковыми вратами в храм Благовещения, таинственный голос Богоматери остановил ее, как бы ей запретил. Императрица пала на помост и принялась молиться, но не вошла. Позже на этом месте она приказала изобразить лик Богоматери. Икона существует и теперь, в нише у входа. Но что значит рассказ? Почему запретила ей Пречистая войти? Был ли остановлен Запад в лице ее? Или остановлена именно *женщина* — яркой выразительницей *женского* Плацидия была несомненно, и тогда это как бы предвозвестие запрещения женщин на св. Горе — или, наконец, черта некой личной судьбы Галлы?

Кто знает. Икона же в нише сохранила название Предвозвестительницы, а монастырь Ватопедский, со своею библиотекою, учеными монахами, комфортом и изяществом, хорошим столом, григорианским календарем, элегантными рясами монахов, великолепным винным погребом, удержал оттенок некоего православного бенедиктинизма.

* * *

Пред закатом мы с о. Пинуфрием и молодым чешским поэтом Мастиком гуляем за монастырем по тропинке вдоль каменного жслоба светлой горной воды, по склону ущелья, под гигантскими каштанами, платанами, среди кипарисов и оливок. Теплая, местами золотящаяся тень. Кое-где скамейки. Иногда встречаем монаха.

Тут можно именно «прогуливаться» в тишине и благоухании, очищаясь прелестью вечера, вести спокойные диалоги, неторопливо отвечая на поклоны встречных каливитов, пробирающихся в монастырь за куском хлеба или «оком» (греческая мера) масла. Может быть, богослов Булгарис, основатель Ватопедской Академии, и беседовал здесь с учениками. Мы Булгариса не встретили. Но в золотом сиянии вечерних лучей сидели на скамейке с учтивым и воспитанным монахом-грамматиком, немолодым и изящным, любезно обменялись несколькими фразами по-французски.

Во всех монастырях Афона принято, что вышедшие возвращаются до заката, в этом есть глубокая поэзия. Солнце скроется, и кончен земной день, нечего путать и волновать мироздание своими выдумками. Запирают тройные врата, в наступающей ночи лампада будет краснеть перед образом надвходным — Спасителя ли, Богоматери, и привратник укроется в свою ложу.

Мы так занялись этой прелестной прогулкой, что едва не опоздали. Пришлось торопиться, и дома двое монахов накрывали уж нам на стол, когда мы воротились.

О. Пинуфрий лег раньше. Мы с чешским юношей долго сидели на балконе. Холмы вокруг сливались в сумраке, за ними собралась туча и зеленоватые зарницы вспыхивали. В их мгновенном блеске разорванным, лохматым казался пейзаж. Его мягкая котловина, фермы, отдельные черные кипарисы при них, щетинка лесов по гребням напоминали Тоскану, окрестности Флоренции. Мы вспоминали чудесный облик ее, говорили о Рильке, поэзии и путешествиях.

Во дворе Ватопеда зажглись электрические шары, темнота от них стала гуще. В дверь из коридора потянуло теплой, легкой струей.

* * *

Утром два оседланных мула под пестрыми потниками ждали нас у главного входа. При светлом, еще нежарком солнце мы тронулись в гору по направлению Старого Руссика[14].

Майское путешествие на муле по горам и влажно-прохладным лесам Афона! Впереди широко, слегка коряво ступает по неровным камням проводник. Мулы следят за его движениями, повторяют их.Мы покачиваемся в седлах. Дорога все вверх.

Слева развалины Ватопедской Академии. Тянутся аркады водопровода — последние знаки западной культуры уходящего монастыря. За ними сине-молочное море в сиянии. Острова. Вновь кукует афонская кукушка. Мы вступаем в непробудные леса, в гущу прохладной, нетронутой, влажной зелени, пронизанной теплым светом. Внизу скит Богородицы Ксилургу, где при Ярославе поселились русские, и откуда в 1169 году вышли в Старый Руссик. Далее, сквозь стволы каштанов мелькает знакомый Собор Андреевского скита, Карея пестрым пятном. Мулы бредут теперь по ровному. Мы на хребтовой тропе. Местами открываются синие дали полуострова к Фракии, все леса и леса, очертанья заливов и бухт, а потом вновь сине-молочное, туманно-сияющее море — уже склон западный.

Когда после трехчасового пути из-за дубов, орехов, за вырубкою по скату выглянул Старый Руссик, Византия окончилась.

Полянка среди диких лесов, неказистая стройка в тени огромных дерев, недоделанный новый собор — все глухое, запущенное, так запрятанное, что не скоро его и разыщешь. Бедность и скромность. Темноватая лесенка, небольшая трапезная вроде какого-нибудь среднерусского монастырька.

Пахнет тут сладковато-кисло, щами, квасом, летают вялые мухи. Никакие Комнены или Палеологи сюда не заглядывали. Но это колыбель наша, русская, здесь зародилось *русское* монашество на Афоне — отсюда и распространилось.

Наше явление походило на приход марсиан: редко кого занести в эту глушь. Скоро мы хлебали уж монастырский суп. С любопытством и доброжелательным удивлением глядели на нас русские серые глаза, простые лица полумонашеского, полукрестьянского общежития.

Пришел с огорода о. Васой с живыми и веселыми глазами лесного духа, весь заросший седеющим волосом, благодушный, полный и какой-то уютный. Узнав, что я из Парижа, таинственно отвел в сторонку и справился об общем знакомом — его друге. Получив весть приятную, о. Васой так просиял, так хлопал себя руками по бокам, крестился и приседал от удовольствия, что на все наше недолгое бытие в Руссике остался в восторженно-размягченном состоянии.

— Ну и утешили, уж как утешили, и сказать не могу! — говорил он мне, показывая скромные параклисы Руссика, где

нет ни жемчужных крестов, ни золотых чаш, ни бесценных миниатюр на Псалтырях.

— Пожалуйте, сюда пожалуйте, тут вот пройдем к пиргу св. Саввы...

Мы заглянули в залитую солнцем галерейку — вся она занята разложенными для просушки маками, жасминами и розами — на них о. Васой настаивает «чаи».

— Это мое тут хозяйство, вот утешаемся...

Сладковатый и нежный запах стоял в галерейке. Темно-красные лепестки маков, переходящие в черное, и пунцовый пу́х роз, все истаивало, истлевало под афонским солнцем, обращалось в тончайшие как бы тени Божьих созданий, в полубесплотные души, хранящие, однако, капли святых благоуханий.

О. Васой вдруг опять весело засмеялся и слегка присел, вспомнив что-то, его зеленоватые глаза заискрились.

— Прямо как праздник для меня нынче, уж так вы меня порадовали, прямо порадовали!

И о. Васой, цветовод и, кажется, пчеловод Руссика, веселое простое сердце, повел меня в древнюю башню, главную святыню монастырька, откуда некогда царевич сербский Савва, впоследствии прославленный святой, сбросил посланным отца царские свои одежды, отказавшись возвратиться во дворец, избрав бесхитростный путь о. Васоя.

СВЯТЫЕ АФОНА[15]

Пустынник

Вспоминая удивительный мир Афона, сейчас же видишь не раз встречавшийся там на иконах облик: совершенно нагого старца с длиннейшею седой бородою. Она закрывает все его тело, спускается до земли — св. Петр Афонский. Есть что-то безмерно-наивное, вызывающее сочувствие и удивление в этой одежде святого (такою бородою можно было закутываться, как плащом или шарфом, подстилать ее под себя, чтобы мягче было лежать). Но ее признаешь сразу и бесповоротно. Да, это борода отшельника.

Мы привыкли считать Адама юным. Адам всегда безбород, чем очень отличается от св. Петра, но если бы мы вообразили себе Адама в старости, то некоторыми чертами он напомнил бы нам афонского святого.

Св. Петр жил или в восьмом или в девятом веке, никто точно не знает, да и не столь важно знать: на двести лет раньше

или позже, значения не имеет. Все равно, в той дали и легендарности, откуда встает он, не различишь исторического, не услышишь земного голоса, не увидишь человеческого лица, как и земного пейзажа. Змии, львы, слоны, древо познания добра и зла, нагой Адам, нагая Ева — вот существа первого действия человеческой трагедии. Вся эта обстановка — за исключением Евы — может быть отнесена и к нашему пустыннику.

Св. Пстр Афонский тем и сходен с Праотцсм, что повит волшебными туманами. В нем есть за-человеческое, до-человеческое.

Забудешь, что он был схоларием в Константинополе, что попал в плен, жил в темнице, побывал в Римс у папы. Все это как бы отпадает. Св. Петр начинается лишь на Афоне, в той пещере, вблизи моря на южной оконечности горы, которая видна с дороги из Кирашей в Лавру. Те же змии, горы, камни пустыни, рокот моря... Человека вокруг нет и не было. Св. Петр— безмолвник. Его разговор — только с Богом, морем, звездами. Он — первый в длинном ряду пустынников и созерцателей Афона, глава целого племени «исихастов», как бы воплотитель типа молчальников.

Около пещеры, где он жил, откуда видно море, скалы, да великая гора Афон, тспсрь стоит часовня и живут два иеромонаха. Но в самой пещере жить не дозволяется: слишком холодно зимой, у «ревнующих» подражать святому не хватает сил, и они гибнут.

А св. Петр жил. Чем он питался? В житии упоминаются «коренья и пустынное зелие». Последнее не удивит того, кто на Афоне побывал: если сейчас еще есть наши, русские пустынники, питающиеся лишь «камарней» (ягоды на растении, напоминающем лавр), да фигами, при этом живущие до глубокой старости, то что удивительного, что так же жил и св. Петр?

Это была жизнь классического пустынника Фиваиды. Безмолвие и одиночество, пещера, полная демонов, сражения с ними и победа, молитва... Так прожито пятьдесят три года!

Прелестен рассказ о том, как люди нашли святого. «Ловец» охотился недалеко от его пещеры, преследуя очень красивую лань. Она все ускользала. Наконец, вскочила в отверстие пещеры. «Ловец» готов был уже «бросить стрелу», как вдруг увидал старца с бесконечной бородой, волосами до пояса, седого, прикрытого, кроме бороды, лишь несколькими «травными листьями». Ловец так испугался, что бросился бежать, отшельник необыкновенным своим видом представился ему как некое «мечтание». Тогда св. Петр окликнул его и стал убеждать, что он не «мечтание», а настоящий живой человек, такой же, как и сам охотник.

Лани уже не было. И успокоенный ловец сидел со старцем на пороге его обиталища и от него самого выслушал рассказ о полувеке жизни вблизи моря, среди скал и зарослей, под защитой высокогорбого Афона.

По житию, ловец пленился повестью, сам сделался отшельником, святой же вскоре умер.

Все это было так давно! Никто не знал о нем при жизни, кроме ящериц пещеры, да орлов афонских.

А смерть вознесла к бессмертию.

Строитель

Со св. Афанасием мы уже на земле, «в истории». В юности он пытался уходить от мира и жить пустыннически. Под видом безграмотного Варнавы, явившись на Афон, укрывался близ обители Зиг, где старец-отшельник учил его грамоте (святой делал вид, что не умеет писать). Но посланные его друга по Константинополю, полководца Никифора Фоки, отыскали его. Он удалился в пустынную местность Мелана, там поставил себе каливу и целый год боролся с чувством отвращения к этому месту. Но он умел сражаться с самим собою! И знал, что такое аскеза. Еще когда жил в столице, в доме военачальника Зефиназера, уговорил прислужников продавать дорогие блюда и яства и покупать ему ячменный хлеб — ел его через день. Еще тогда приучал себя спать не лежа, а сидя на стуле. И когда уставал на молитве, то брал таз с водою, клал туда снегу, и ледяною влагой обтирал лицо.

Но жизнь безмолвника не была ему дана. Его назначение оказалось иное.

Св. Афанасий жил позже св. Петра — в десятом веке. Афон в то время уже был пристанищем одних пустынников. Стали являться и монастыри. Их созидателем, вечно в кипении, борьбе, деятельности и оказался св. Афанасий — как бы Петр Великий Афона.

Он был гигант, исполинской силы. Знаменитую Лавру, и ныне вздымающуюся соборами, стенами и башнями, строил собственноручно. Средства давал ему Никифор Фока, вначале — полководец, затем — император. Позднее — Иоанн Цимисхий. Святой возводил храмы, стены и башни. Когда он велел рыть землю для фундамента церкви в честь Пресвятой Девы, дьявол, «бессильный добронenавистник, демонскими своими действиями ослабил руки строителей так, что они не могли коснуться даже уст своих». Св. Афанасий помолился, взял сам лопату, начал рыть и «к большой досаде демона» разрешил руки рабочих.

Всегда с лопатой, топором, а то и просто с исполинскою своею силой! Не раз случалось, что с одной стороны груз волокли трое, а с другой становился Афанасий и трое едва успевали за ним. Или: везут тяжесть на паре волов. Один из них падает, захромав. Святой велит отпречь его и сам впрягается.

Вот видим мы его на постройке лаврской пристани («арсаны»). Эта пристань и сейчас существует, я сам отплывал от нее под парусом, сидел в тени средневековой башни, дожидаясь лодочника-албанца.

«Когда в пристань спускали одно огромное дерево, спускавшим оное, по своему обыкновению, помогал и святый: он влек дерево с нижней части, а мастера были сверху и осторожно спускали оное по скату горы. В это время действием демона дерево стремительно двинулось книзу и, сдавив ногу святого, сокрушило ее в голени и лодыжке. От этого преподобный три года пролежали в постели и едва выносил страдания».

Но уж такова была жизнь его — в ней мало найдется тишины и созерцания. Построил пристань, надо заняться водопроводом. В семидесяти стадиях от обители он находит родники отличной воды. Их приходится разрывать, пробивать гигантские утесы, прокладывать трубы, соединять воду отдельных источников и вести общий поток в Лавру. Надо строить келии для братии, трапезу со столами из цельных плит мрамора, больницу, странноприимный дом. Первую на Афоне баню. А там хозяйство — он заводит множество скота, насаждает виноградник, огороды, управляет подаренным Лавре метохом (имением). Земли Лавры все растут. Типично предание о св. Афанасии и св. Павле. Афанасий жил на восточном склоне, Павел на юго-западном. Они условились размежевать склоны горы так: в назначенный день каждый должен был отслужить у себя в монастыре литургию и выйти по пути к соседу, т. е. Павел — к Лавре, Афанасий — к Павловой обители. Где встретятся, будет граница.

Будто бы Афанасий и встал раньше, да и шел быстрее. Это вполне в его духе. Вряд ли он мог делать что-нибудь медленно или вяло, если бы и захотел. Саженными шагами мерил святой гигант кручи Афона и намного обогнал святого Павла: Лавре достались огромные пространства.

Лавра св. Афанасия дала тип и облик всему афонскому монашеству. Святой был властен, не потакал слабостям (и поныне сохранился его железный посох).

От монахов требовал исполнительности и повиновения. Во время церковной службы один из братии обходил присутствующих и будил уснувших. Другой наблюдал, кто когда приходит

в церковь. Поздно пришедшие должны были давать отчет. Строгая тишина во время трапезы. После повечерия не дозволялось никаких бесед, и запрещалось также говорить «холодные слова *мое, твое*». В Лавре был создан знаменитый «афонский устав» X века, послуживший образцом и для афонских монастырей, и впоследствии частию для русских.

К борьбе со скалами, природой, демонами прибавлялась и борьба с людьми. У святого оказалось множество врагов. Большинство безмолвников («исихастов») Афона ненавидело его. Пустынники считали, что устройством великолепного монастыря, всеми банями, больницами, водопроводами и виноградниками он нарушает дух Афона. Его, не знавшего ни устали, ни минутного покоя, все могучие силы отдавшего творчеству, изображали чуть ли не афонским помещиком. Крепко сжимался, вероятно, иногда в руке св. Афанасия железный посох! Вот — плод многолетних трудов — дневных на постройках и по управлению, ночных на молитве: еще не так давно показывали в его келии, рядом с библиотекой, на мраморном полу следы коленопреклонений. Враги жаловались на него Иоанну Цимисхию, позже Василию. Были попытки убить его. Но одолеть, свалить св. Афанасия было тогда так же трудно, как теперь срубить один из двух могучих кипарисов у Лаврского Собора, некогда посаженных преподобным. Афанасию пришлось ездить в Византию, принимать в Лавре присланного для разбора дела игумена — доказывать, убеждать и оправдываться. Он сделал все это и победил.

Образ св. Афанасия менее других иконописен. Так он и остался в истории. Хотя житие не раз подчеркивает его высокий аскетизм, сострадательность и милосердие, особенно настаивая на даре чудесных исцелений (он является как бы и верховным врачом своей Лавры, но врачом, действующим «прямо»), все же приходишь к убеждению, что сила и творчество, воля и действенность были основными чертами его гения, и, проявляя эти свойства, напрягая их до предела, он беззаветно выполнял возложенное на него высшее задание: создать образец монастыря и монастырской жизни на Афоне, дать ему устав, чекан и полное обличье. Он святой-деятель, а не святой-созерцатель. Церковь различает образы святительского служения, канонизируя иногда даже светских людей (за государственную деятельность: Константин Великий, св. Александр Невский*). На Афоне существует отношение к святым, как к только что ушедшим. Теперешнее еще полно ими. Иной раз кажется, что рассказчик

---

* В католицизме ставился вопрос о канонизации Христофора Колумба.

лично знал того или иного преподобного, жившего века тому назад. Возможно, что в устном, живом предании даже более сохранилось «неусловных» подробностей. Например, о св. Афанасии мне рассказал один монах, что святитель был так силен и так много трудился телом, что приказывал ставить себе три обеда. Съедал он их один. Когда послушник удивленно на него взглядывал, Афанасий ему говорил:

— Я большой, мне много надо.

Монах с восхищением передавал об этом, ему, видимо, нравилось, что вот св. Афанасий был такой великан и для него все должно быть особенное. Если он один тащит бревно, для которого нужны трое, то не удивляйтесь и пище. «Я большой». Это не объедение.

Конец св. Афанасия тоже довольно необычен. Он сам предсказал свою смерть и завещал не смущаться ею. Восьмидесяти лет от роду, 5 июля 1000 г., он с другими строителями взошел на новостроившийся купол храма — купол рухнул и погреб под собою всех стоявших на нем.

Смерть эта, разумеется, таинственна. Как будто в ней особенно подчеркнута связь строителя со строением, его глубокое внедрение в земное творчество, и некие узы, еще лежавшие на титане.

Но это лишь домыслы, может быть, и напрасные.

Певец

Миловидный болгарский мальчик обладал удивительным голосом — прозрачным, сладостным. Иоанн был сирота, скромный и застенчивый. Попал в придворную капеллу Константинополя. По-гречески знал неважно. Когда сверстники спросили его раз, что он нынче ел, ответил:

— Куку и зелия («кукиа» — бобы).

Дети над ним посмеялись и прозвали Кукузелем. Думали ли они, что «смешное» имя в великой славе перейдет в историю?

Иоанн очень скоро выделился среди певцов и стал солистом императора. Тот полюбил его, приблизил к себе. Хотел женить. Кажется, последнее намерение и решило судьбу певца: он и вообще был склонен к уединенной, созерцательной жизни. Блеск двора не привлекал его. Мысль о женитьбе просто поразила. Он бежал на Афон, и в Лавре св. Афанасия стал простым пастухом «козлищ» — скрыл от братии свою прежнюю жизнь. Никто не подозревал, что знаменитый певец ежедневно уходит в горы со своим стадом. Там, в одиночестве, он пел. По преданию, отшельник случайно его подслушал: Иоанн пел псал-

мы, столь «нежно и сладостно», что вокруг, как зачарованные, полукольцом стояли козы и козлы, потряхивая иногда бородками.

В монастыре узнали о его таланте. Узнал и император, где скрывается певец. Но Иоанну суждено было остаться в Лавре: император разрешил не возвращаться в Византию.

Иоанн Кукузель пел теперь на клиросе. Более всего, видимо, воспевал Богородицу. Однажды, пропев Ей акафист, сел в стасидии и от утомления заснул. Во сне Пречистая явилась ему и, поблагодарив за пение, дала златницу.

— Пой, и не переставай петь,— сказала Она.— Я за это не оставлю тебя.

Проснувшись, он увидел у себя в руке червонец — благодарность Приснодевы. Как идет скромному и робкому Кукузелю такой подарок! И как точно, ярко определена его судьба: «Пой, и не переставай петь».

Он и пел. Он так и пел, всю жизнь, от начала своего до конца, в сущности, житие ничего иного о нем и не сообщает.

В жаркий, голубой полдень Афона, я сидел на камнях, где некогда он пас свои стада. Пустыня, серо-меловая гора Афон, сухие кустарники, лесок, сияющая бездна моря... Здесь прославлял он Бога, Приснодеву, свет, день, солнце. В его лице Церковь благословила поэта и певца, христианского Орфея, «музыканта Господня».

В Лавре благоговойно приложился я к коричнево-медвяному, в золотом венце, слегка благоухающему черепу святого.

НОВАЯ ФИВАИДА

К скиту[16] под таким названием, основанному в 1881 г., мы плыли от Пантелеймоновой обители часа три — мимо живописнейших монастырей Ксенофа и Дохиара, на северо-запад к перешейку.

Вечером высадились у пристани.

На этот раз меня сопровождал рано поседевший, слабый здоровьем, очень застенчивый и мягкий иеромонах о. В.— монастырский библиотекарь, человек книжный и несколько нервный.

Оставив пожитки в простенькой гостинице, мы двинулись в гору. Скит с небольшой церковкой и стенами недостроенного храма остался внизу. Вокруг каливы пустынников — именно их и хотелось мне повидать. Начался сосновый лес. Сквозь деревья далеко внизу море с пенно-изумрудною каймой прибоя, сиреневое, как будто покойное. Дальний вид на леса и холмы

побережья — замыкался он самим Афоном. За ним сизо-синеющая мгла.

О. В. постучал в комнатку небольшой как бы дачки. Все вокруг было безмолвно. В палисаднике несколько фруктовых деревьев, цветы, огород. На повторный стук дверь отворилась — вышел очень высокий, босой человек в шапочке, куртке. Если отшельник Карули обладал чертой сходства с Толстым, то этот вполне его напоминал: крупным мужицким носом, небольшими, умными глазами, даже подпоясан был ремешком.

Встретил нас приветливо и почти весело. Пожатие его ладони показало, что мою руку он отлично может раздавить. Прошли в каливу: спаленка, моленная с иконостасом, свечами, расклеенными по стенам картинками — и стеклянная галерейка.

Мы уселись, и отшельник почти сразу начал рассказ... о своей жизни! Столь откровенного и словоохотливого пустынника я никак не ждал. С поразительной простотой, неопасливостью, в какой-то братской наготе развернул он перед нами свой свиток. Да, ничего, что мы незнакомы. Раз говорим ему: «Христос Воскресе», а он отвечает: «Воистину Воскресе» — значит, можно. И на безмолвной горе, в синеющем вечере слушали мы повесть о днях и волнениях, борьбе, колебаниях этого серо-седого, могучего афонского мудреца. Земная, богатырская сила — и всегдашний зов к Богу! Тяжкий путь, приводящий к горе Очищения. Вот он приказчик, сметливый и ловкий, на хорошей дороге. Доверенный богатого купца. Вот любит — со всем пылом натуры. Но превозмогает в нем иное. Семейная жизнь ему не суждена. Бежит на Кавказ. На побережье управляет огромным имением, читает Св. Писание и увлекается охотой, со страстью хозяйничает. Хозяин уговаривает его жениться. Тщетно. Мысль о монастыре не дает покоя. Однажды он идет с ружьем в горах, по тропке. Вдруг из кустов бросается на него змея — «прямо с налету кинулась, как ястреб!» Он в упор стреляет. Змея разможжена, и в тот же миг он снова «опаляется» огнем: пора, пора! Покидает Кавказ, доходное место. Забыта и любовь, он в Иерусалиме управляет подворьем: все еще деятельность, и заботы, и опять хозяйство... вновь преуспевает, и опять нет покоя, и, наконец, решающее слово о. Иоанна Кронштадского — лишь к сорока годам выкипает в нем «дядя Ерошка»: он постригается, уходит на Афон. Разве не путь Толстого? (Но ему была *помощь,* а Толстой одинок, опутан до конца тоской, пленом постылой жизни.)

Свечерело. Рассказ кончен. Бывший охотник, и влюбленный, и хозяин, улыбаясь, выходит с нами в садик. Море темно-сиреневое, гора Афон в удивительной лиловости, бело-зеленые

зарницы вспыхивают за ней. Так мощно и таинственно она вздымается!

— Отец,— говорю я,— что же вы считаете труднейшим в жизни?

Он посмотрел быстрым, живым и острым взором...

— Нет ничего труднее борьбы с помыслами!

Потом подошел к палисаднику, взглянул на море.

— Вот, люблю, люблю. Прямо говорю. Взглянул, вижу всю красоту, прелесть... Удивительная красота... и знаю, что рухнет, в огне Божием завтра, может, сгорит по трубе Архангела... а люблю! Не могу удержать мысль... сердцем люблю, по-земному!

Да и правда, умер ли в нем Ерошка? И должен ли умирать? Не может ли быть просто преображен светом высшим?

Таинственные, как бы апокалиптические сияния вспыхивали за Афоном. Когда спускались мы к скиту, море кипело белой пеной у прибрежья, Афон был нестерпимой синевы в тайном венце молний.

* * *

Ночью в природе что-то происходило — не в нашу пользу. Когда утром мы с о. В. вновь подымались в гору, небо было затянуто сумрачной мглой, море в барашках и черта прибоя точно еще побелела, раскипелась.

Скитский проводник о. Петр, очень худенький, изможденный, с прилипшею ко лбу прядью жидких волос и редкою бородкой, сказал грустно, глядя на меня:

— Нет, господин, вам нынче не уехать.

Я было похорохорился, но в душе и сам считал, что не уехать.

Вчерашняя калива оставалась сзади. Среди сосен — в их просветы синел дальний Афон — мы забирали все в гору. Шли мимо искусственных прудков, служащих монахам для огородов, выходили в края дикие, дремучие. О. Петр вел нас еле заметною тропинкою. О. В., конфузливо подбирая рясу, кивнул мне на него.

— Хороший инок. Если б знали... В чем душа держится. Целый день как есть на работе, а ночью в церкви. Очень строгий подвиг несет. У-у, какой труженик! Да тут немало таких совершенно неведомых... ну, Господь-то, конечно, видит... А люди не замечают. Ох-о-хо! — о. В. вздыхал и сокрушался.— Очень уж себя он изнуряет. Какой худющий стал! Полтора, два часа в день сна, вы подумайте только!

Мы подошли к винограднику среди лесов. На нем работало

несколько человек скитских — некоторые в широкополых шляпах, другие, как это на Афоне принято,— поверх монашеских камилавок надевают козырьки. О. Петр провел нас к отдельно стоявшей, среди фиговых деревьев, крохотной каливе.

— Здесь живет пустынник о. Нил,— сказал он мне.— Вот, извольте взглянуть.

К нам вышел старик с воздушно-снеговым обрамлением лысого черепа, в накинутой на плечи как бы малороссийской свитке, покорный и несколько удивленный. Глаза его, ровно-выцветшие, с оттенком «вечности» слегка слезились. Он опирался на высокую палку.

— Простой человек, из крестьян,— шепнул о. В.,— много лет здесь в одиночестве спасается. Насчет беседы — не особенно речист; а живет подвижнически...

Мы вошли в его хатку. Все было предельно бедно и убого. Ложе — почти голые доски. Но и у него моленная, иконки... Сам о. Нил имел вид несколько изумленный — точно казалось ему странным, почему это им, человеком незамечательным и уединенным, интересуется приезжий из-за морей. Частию и меня смущало, как это мы так вторгаемся в чужую, чистую и высокую жизнь. Но утешала цель. Ведь не простое же «любопытство»!

О. Петр, поглаживая свою редкую буренькую бородку, сказал ему:

— О. Нил, ты бы гостя фигами своими попотчевал.

О. Нил слегка смутился и покорно полез куда-то в темноту, в чуланы. Мы вышли на воздух.

— Как же он тут живет?

О. Петр тихим своим голосом ответил:

— А вот так и пустынножительствует... уже лет тридцать. По ночам стережет монастырский виноградник от диких кабанов, чтоб не озорничали... Днем же Псалтырь читает, канончик тянет, молится... Место глухое, для пустынничества очень способное.

О. Нил выбрался из своих чуланов в еще большей растерянности. Фиг не принес.

— Уж не взыщите, господин, не больно хороши... Уж что поделаешь...

— Да ладно, ладно, не беспокойтесь, отец. Извините, что потревожили. Мы ведь и проголодаться-то не успели.

Мы недолго пробыли у о. Нила. А когда его хибарка скрылась в кустах, о. Петр рассмеялся тихим, беззлобным смехом.

— Господи, ну чем только этот человек питается, прямо удивительно... И мы, скитские, не так сладко едим, ну, а он...

— Да что ж такое?

— Хотя бы энти самые фиги. Они у него на цельный год

запасены, больше ведь и ничего нет! И-и, не думайте, чтобы там хлебца, картошечки. А фиги-то зимой загнивают. Прямо ко рту не поднесешь, вся склизкая, запах... а он потребляет, и всегда здоров, ведь это подумать только! Он, значит, и ходил, искал для вас, не осталось ли свежих. Куды там! С прошлого года лежат, разве убережешь? К нему и в чулан-то от смрада этого не войти.

Он вел нас кустарниками, среди сосенок, в сухой, дикой местности. Справа открылись под хмурыми облаками сине-туманные холмы, леса, неровное и мрачное раздолье, напоминавшее глухие края близ Сарова, под Касторасом, где когда-то ходил по тетеревам. Мгновенно представилось — да не выглянет ли из-за можжевельника куст розовоцветной «тетеревиной травки», Иван-чая?

О. Петр сорвал веточку с листьями, вроде лавровых, и двумя мохнатыми ягодами на ней.

— Вот, изволите видеть, это и есть его вторая пища, кроме то есть фиг, а по названию камарня. Он энти самые ягодки и потребляет.

О. В. показал рукой на расстилавшуюся игру холмов, лесов и темных облаков.

— Там внизу тоже один живет, очень замечательный отшельник, прямо уж в лесах да с кабанами. Только туда еще часа два ходу...

Всматриваюсь — может, среди сосен и различишь каливку современного Антония. Ничего не видать! Дальний гул лесов, те вечные, волнообразные поклоны хвойных ратей, к каким привыкли мы, русские, с ранних лет. Пустынник и кабан! И ест этот о. Федор вот такую же камарню, веточку которой я благоговейно довезу в страну латинскую.

Забирая полукругом влево, мы стали обходить ложбину, где живет о. Нил. Кое-где попадались заброшенные каливы. Провожатые с грустью вспоминали, сколь здесь прежде было больше отшельников. Старики умирают, приток молодежи невелик*.

— Пустынническая жизнь трудна,— говорил о. В.,— ох, трудна! Жутко одному в лесу, и передать нельзя, как жутко.

— Страхования,— сказал о. Петр.

— Вот именно, что страхования. И уныние. Он, враг-то, тут и напускается.

О. В. сложил на груди крестом руки, под седеющей бородой, и в его нервных, тонких глазах затрепетало крыло испуга — точно «враг» стоял уж тут же, вот у нас за плечами.

---

* Война и революция отрезали от Афона Россию. Сейчас пополнение его идет только из эмиграции.

— Недаром говорится: «Уныние, встретив одинокого инока, радуется...» То есть, тому радуется, что может им завладеть.

Мы шли молча, ошмурыгивая мхи и горные травы, в чаще дикого, никем не тревожимого леса. Справа тусклым зеркалом вдруг засеребрилось море.

— Один мой друг,— сказал о. В. тихим, несколько трепетным голосом,— сам раз в юности испытал это, в этой же самой местности, на Новой Фиваиде. Был у него знакомый пустынник, и ему пришлось отлучиться из каливы на несколько дней по делам. А тот, молоденький-то, и говорит ему: дозволь, отец, пока тебя не будет, в твоей каливочке поспасаться перед Господом в тишине и смирении потрудиться. Ну, что ж, мол, пожалуйста. Этот молодой монашек к нему в каливу и забрался, горячая голова, дескать, и я в пустынники собираюсь... Но только наступил вечер, стало ему жутко. Он и за Псалтырь, и Иисусову молитву творит, а представьте себе, тоска и ужас все у него растут.

О. Петр ловко перепрыгнул через поваленное дерево.

— Враг-то ведь знает, с какого боку к нашему брату подойтить...

— Он, враг, все знает...— о. В убежденно, не без ужаса, махнул рукой, точно отбиваясь.— Ну, вот-с, что дальше, то больше, и вы представьте себе, ночью и воет, и в окна стучит, и вокруг каливки вражий полк копытами настукивает — то этот монашек в таком льду к утру оказался, батюшки мои, едва только светать стало, да с молитвой, да подобрав рясу рысью из этих из одиноких мест назад в скит ахнул... Нет, куда же! Тут большая сила и подготовка нужна...

* * *

...Заходили еще к двум братьям-отшельникам. О. Илья, старик очень благообразный, некогда и красивый, теперь, вероятно, страдает начинающейся водянкой. Жаловался на «бронфит» в груди. Смотрел грустными, обреченными глазами. Но очень любезно принял с обычной афонской приветливостью и воспитанностью. Угощал недурным сладким красным вином — своего виноградника. Кутался в зипунок. По всему видно, что умен, спокоен, физически страдает.

Когда стоял у порога, провожая нас (а брат в это время плотничал в садике), показался мне, несмотря на явно крестьянское лицо, скорее барином, или, вернее, богобоязненным южнорусским хозяином, мелким землевладельцем. Во всяком случае, облик выработанный!

Отец же Петр поразил меня теперь своим усталым видом. Крупный пот выступил у него на лбу, как у чахоточного, маленькие глаза, полные «доброго ветра», имели оттенок печали.

— Мы замучили вас, о. Петр,— сказал я с неловкостью.— Вот, правда, как вышло...

— Что вы, что вы... Оно у меня здоровье, конечно, неважное, так уж Господь послал. Намедни даже кровь горлом двинула, значит, доктор и говорит: «Внутренность твоя не в порядке, в середке неладно». Ему виднее. Велел неделю ничего не делать. Да что же, и так прошло...

На прощанье хотел я «поблагодарить» его, но увидев драхмы, о. Петр помалиновел, замахал руками и стал кланяться.

— Нет, нет, господин, что там, меня благодарить не за что...

И побежал работать на скитский кипер.

* * *

Утренние его слова оказались вещими. Ехать было нельзя. Полил дождь, забухал гром, молния вздрагивала белыми разрывами — недаром апокалиптические сияния вспыхивали вчера за Афоном. И слава Богу, что не застал нас этот ливень в лесу.

Пришлось провести в скиту лишние сутки, о чем не жалею.

В сумерки, после обеда, не зажигая огня, сидели мы с о. В. и небольшим, чистеньким старичком-фондаричным о. Николаем. За небольшим оконцем, за толстой стеной бушевала буря. Иной раз зеленый свет освещал угол белого храма — о. В. крестился, о. Николай тихо и весело смеялся, с такой же простотой поглаживал свои изящные руки, как и подавал мне за обедом рыбу.

— У о. Нила побывали? Хороший старик, давний пустынножитель. Прихожу к нему однажды, слышу, кафизму читает. Прочел, и за другую взялся. Думаю, дай кончит, не стану мешать. Сижу под окошечком. А он кафизму за кафизмой... Посидел я, думаю, время идет, и его перебивать не хочется... Оставил ему знак, что был, положил предметец, а сам домой, хе-хе... кабанов своих стережет, да Псалтырь читает, по тысяче поклонов в день выкладывает... И тоже, я вам доложу, упрямый старец. Тут у него приятель есть, о. Арсений. Вот этого Арсения он и позвал раз обедать. А уж вы видали, чем он сам-то питается? Обедать! хе-хе... Ну, все-таки, из травки и сварить кой-что для гостя может. Надо же вам сказать, что этот Арсений, по мудрованию своему, не есть лука, считает, что он горячит кровь. Нил же не ест масла. Когда Арсений пришел, Нил стал варить для него щи и крошить туда лук. Арсений ему говорит:

«Я ведь не ем лука, что ты делаешь, это зелье премерзкое, оно кровь горячит. Ты бы положил ложку маслица». Тогда Нил отвечает: «Масла! Стану я такой гадостью щи портить! Масло человеку вредно, от него сыреешь, я его и в рот не беру». И они так поспорили, а обоим вместе, имейте в виду, лет полтораста будет — так заспорили — что лучшее: лук или масло, что Арсений просто даже ушел, и обедать вовсе не стал...

И о. Николай длинно и тонко рассмеялся.

— Упрямые у нас бывают старики. Большого подвига оба, и душевно друг друга любят, а вот поди ты: что пользительней, лук али масло?

Больше же всего наслушался я в тот вечер про «врага». Ко «врагу» на Афоне вообще особое отношение — нам не так легко в это жизнечувствие. Для монаха дьявол всегда близко, вот тут рядом, пасть раскрыта, когти растопырены — зазевался на минуту, он уже на тебе верхом. Есть даже особая теория: враг мало занят людьми безразличными, или уже и так ему принадлежащими. Его усилия направлены на тех, кто задастся более высокой целью — потому особенно для него лакомы монастыри. Враг по ночам делает пакости целым рядам келий, наводит ужас, уныние, отвлекает и разжигает. Иногда прямо стучит, изводит, бьет и т. п. Примеров приводилось море — рассказы шли сообразно облику рассказчика: с неким волнением, крестным знамением и оглядкой на вздрагивающую дверь у о. В.— и с неизменной веселой бодростью, смешком у о. Николая. Конечно, он врага тоже не «уменьшал». Но, все-таки, иной характер. Так они уравновешивали друг друга, и в нехитрой комнате фондарика погружали меня в свою удивительную, бедно-чудесную монашескую жизнь.

На ночь о. В. ушел в другую комнату — должен был молиться по четкам и класть поклоны (это и называется «тянуть канончик»), второе, не хотел будить меня к ранней службе. Я остался один. Голова была полна отшельников, калив, вольных ветров афонских, вольного гула лесов. Буря разыгралась зверски. Непрерывная зелень вспышками заливала комнату, как бенгальским огнем. Ухало и бухало. Я вспоминал о. В. Верно, сейчас он крестным знамением ограждает себя от врага. А вот монах, о котором я нынче слышал, недостаточно себя ограждал, и что же получилось? (Показывали даже больницу на обрыве, где это произошло).

В больнице скитской лежал инок, очень страждущий, и недвижный. Вечером его исповедали, утром должны были причастить. В промежутке он, из болезненного раздражения, успел наговорить резких слов — нагрешил. Хорошо. Приходят утром,

а его нет. Пропал монах. Туда-сюда, нету. И только к вечеру, слышат, в болотце под обрывом точно кто стонет. Подошли — вот он, лежит в камышах, в тину уткнувшись, едва живой... «Ты как сюда попал?» Оказывается, так и попал: сам рукой-ногой шевелить не может, а вон где оказался. Монах и покаялся: что поделаешь, нагрешил, а они двое ночью и явились, прямо его под ручки, да в болото. Значит, как он себя грехом ослабил, врагу и радость, можно над ним поглумиться.

Заснуть долго не удавалось, потом задремал под музыку грома. Утром пошел я на литургию в небольшую скитскую церковку, недалеко коридорами. Там было несколько сморщенных и согбенных старичков в рясах святой бедности. Видел и того ветхого деньми Арсения, который «по мудрованию» не любил лука. О. Петр тоненьким тенором пел на клиросе. В этом старческом, неголосистом хоре, в скудной утвари и скудных рясах, в бедном утре, хмурыми облаками несшемся над скитом с недостроенным небольшим храмом, так ясно сквозил облик простоты и нищенства, камарни и несвежих фиг, жизни, лишенной всяческих «ублажений» и «ласкательств» — вечного духа монашеской Фиваиды, на этот раз исконно-русской.

* * *

Все утро мы занимались тем, что выходили и смотрели, как ветер, как море. Поистине, в этой стране все в руке Божией, и нет Его воли, нечего и пытаться возвращаться. «Смирись, гордый человек!» Жди погоды. Если же не хочешь, то иди пешком, под ситечком дождя, горными тропинками — шесть, семь часов пути!

Любя книги, мы с о. В. забрались в запыленную небольшую скитскую библиотечку, кое-что достали, кое-что читали в это ветреное утро, медленно прояснявшееся.

Вот что прочел я в книжице смиренного о. Селевкия.

«Схимонах о. Тимофей двенадцать лет хранил молчание. Келия его была наверху над отхожим местом и полна клопов. У него не было ни кроватки, ни постельки, а служило вместо кровати кресло, и над головой лежала Псалтырь. Когда он, бывало, сидит на скамейке, то у него на коленях лежит чурочка, в которой выдолблены две ямочки — в них масляные зерна. Он берет по одному зернышку, перекладывает из одной ямки в другую, а сам творит Иисусову молитву. Я часто беседовал с ним. Однажды я говорю ему: «О. Тимофей, благослови меня обмести стены твоей келии от клопов». А он мне: «Нет, отче, клопы для меня полезны: у меня пухнут ноги, а они вытягивают из них дурную кровь».

...«Откопаны его косточки, желтые, как воск. И у меня была его кость в сундуке, и как, бывало, открою сундук, так и пойдет благоухание неизреченное».

Улыбнись, европеец. И с высоты кинематографа снисходительно потрепли по плечу русского юрода. Вот тебе еще образец для глумления:

«Схимонах Синесий — милая душа. Он трудился на келии Благовещения, там завсегда живут человек шесть старцев, и он всем служил. Над ним часто смеялись и поносили его. А кто спросит: «О. Синесий, откуда ты родом, и кто ты?» Он отвечает: «Я дома пас свиней, да и то не годился — и выгнали меня. И я пришел на Афон как-нибудь прокормиться». А завсегда находился он в слезах, в молитвах и трудах. А какая у него любовь была ко всем! Нет сил моих описать ее. Любовь его меня очень пленяла. Он часто говаривал: «Аще кто не имеет самоукорения, тот не может достигнуть совершенства».

«Косточки его откопаны желтые и благоуханные».

* * *

Все это кончилось. Ветер утих. Море еще кипело, мы решили рискнуть. Садились в лодку танцующую, сели было, вдруг девятый вал — его во время заметили лодочники.

— Сигайте на берег, на берег сигайте!

О. В., подбирая рясу, слегка замешкался, я успел выпрыгнуть на пристань удачно. Его волною сильно хлестнуло и замочило. Все ж мы выплыли.

Шли долго, на веслах, кой-где при удобном ветре из ущелий под парусом. Ждали бури из-за Афона. Видели дальние грозы на море. Но крушения не было нам назначено. Мы плыли впятером, да со мною, в душе, все Нилы, Игнатии, Илии, Николаи, Синесии, Тимофеи — весь скромный и светлый полк Фиваидский.

ТИХИЙ ЧАС

Библиотека

Когда я выходил на балкон своей комнаты и монастырь св. Пантелеймона обступал меня корпусами и церквами, взор останавливался на плоской кровле двухэтажного здания прямо под ногами: кажется, с этого славного балкона, увитого виноградом, можно просто спрыгнуть вниз — только прыгать-то высоко.

Библиотека нашего монастыря большая, несколько десятков тысяч томов, сотни рукописей, книги с чудесными миниатюрами и т. п. Я любил бывать у гостеприимных и предупредительных о. о. Иосифа и В. Работать там не случалось: нужные книги присылали на дом. Но приятен был самый воздух библиотеки — безмолвие, свет, поскрипывание половиц, бесконечные в тишине книжные шкафы. Музеи и библиотеки давно мне милы. Монастырская же библиотека несет еще иной оттенок — она продолжение храма. Храм, разумеется, выше, там торжественнее и важнее. В библиотеке возвышенность храма ослаблена за счет просто человеческого, но, с другой стороны, это и не «университетское» книгохранилище.

Если бы не стеснялся, я подолгу мог бы разгуливать в верхней зале библиотеки, дышать ее воздухом, рассматривать книги, радоваться тишине, может быть, и мечтать — в то время как внизу о. В. и его помощник о. Марк бесшумно и несуетлтво составляют каталоги, клеют, режут и подбирают.

Мне вспоминается простенький афонский день, ничем не замечательный: отец В. вышел за статьей. Мы остались одни с о. Марком, нехитрым, черноволосым монашком. Он подошел ко мне.

— Здравствуйте, господин.

— Здравствуйте.

— Христос Воскресе.

— Воистину Воскресе.

О. Марк несколько смущен.

— А я уж и не знаю, как с вами, с образованными, здороваться. Простите, коли не так. Может, у вас в миру и не говорят «Христос Воскресе».

Смиренный о. Марк, вы правы, не говорят. Но не вам — нам надо смущаться, как смущает нас многое в пестрой и пустячной жизни нашей — чего не видать вам в тишине и свете вашей библиотеки. Да, не говорят «Христос Воскресе». И тем хуже.

...Мало посетителей в афонских библиотеках. Дух Афона не есть дух ученого бенедиктинского монашества. Впрочем, может быть, истинная библиотека и вообще должна быть бесцельна. Еще вопрос, следует ли выдавать из нее книги.

Можно любить музеи и библиотеки, как египетские пирамиды, как ночное море и как звезды. Как творение — в тишине и вечности.

Крин сельный

О. Наум, полный, русый, несколько мягкотелый монах с добрыми глазами и медлительный в движениях. Он живет в

отдельном домике за оградою монастыря. В послеполуденные знойные часы нередко приходилось мне подходить к этому домику. Каждый раз любовался я цветущими у крыльца белыми лилиями — «крин сельный» называют их тут.

О. Наум — фотограф монастырский. Домик его в то же время студия, светлая комната, заваленная снимками и негативами, с «фонами», на которых снимались группы посетителей, с темной каморкой для проявления — всею, вообще, обстановкой немудрящего ателье.

О. Наум выбирал мне снимки медленно и как-то неуверенно. Оттенок некоторой грусти я заметил в нем. Точно все уже видел, все знает и устал от смены обликов. Его студия увешана изображениями — попытками остановить поток. Он снимал и «высочайших особ», и посланников, и адмиралов, и митрополитов — стены эти в некоем роде история обители. Вот мягкий, тонкий архимандрит Макарий, знаменитый игумен обители в конце прошлого века, Вот суровые брови и густая борода не менее известного духовника обители о. Иеронима, проведшего на Афоне сорок девять лет, считающегося, наравне со своим учеником архимандритом Макарием, одним из созидателей теперешнего монастыря. Узнаю и здравствующего игумена о. Мисаила, и вижу, что годы не молодят. Былое, все былое! Князья и митрополиты и адмиралы, давно, наверно, уж отчалившие на иных судах в страны иные. Профессора и археологи в отложных воротничках, двубортных сюртуках и сапогах с рыжими голенищами под брюками — вряд ли кто жив еще. Студенты, семинары-экскурсанты — теперь, пожалуй, почтенные протоиереи, а возможно, мученики. Пройдет полвека и на наш снимок — меня и о. Пинуфрия, собирающихся в путь,— иной заезжий так же не без грусти взглянет.

Я пытался найти след Леонтьева, жившего тут в семидесятых годах. Интересно было бы видеть его фотографию рядом с о. Иеронимом — духовником. Леонтьеву нравилась суровость и крепость православия на Афоне. Образ такого рода — о. Иероним. В руке его, как у Афанасия Афонского, могучий посох. Леонтьевские впечатления об Афоне схематичны и односторонни. Кажется, слишком отзывают они предвзятостью, «идеями», да может быть, и обликом о. Иеронима. Но рядом с посохом св. Афанасия цветут на Афоне розы и лилии, весной же тянет в море благоуханием полуострова. Леонтьев не любил этого или старался умышленно отринуть. К сожалению, ни у о. В. в библиотеке, ни у о. Наума ничего мне не попалось о Леонтьеве.

Пока я жил в Пантелеймоновом монастыре, лилии о. Наума все цвели. О кусте роз, развернувшемся на высоком, искрив-

ленном стволе под окнами келии о. игумена, и о лилиях о. Наума сохранил я светлое воспоминание.

«Яко крин сельный, тако отцветет» — сказано о них, о человеке. Знаю, что отцветет. Но домик ловца видимостей вспоминаю с неотцветшими, нежными кринами.

Гробница

Полдень. Сухой блеск афонского солнца в листьях олеандров у выхода. Мы идет из монастыря на кладбище.

— Это и есть последний путь монаха,— говорит о. В., поглаживая рано поседевшую бороду.— Ох-о-хо! нам всем здесь быть. Вот видите, от этих цветущих олеандров, мимо орехового дерева, подъем, и к кипарисам... тут мы все проходим.

Приближаясь к острову мертвых, мы, действительно, почти коснулись лапчатых, низко нависших листьев ореха — дерева старого, напутственника уходящих.

Кладбище — несколько рядов могилок, точно огород с грядками — осенено кипарисами.

В часовне полутемно, сыровато. Как и в Свято-Андреевском скиту, слева правильными грядами, точно сухой валежник, сложены вдоль стены мелкие кости. Против входа икона с лампадкою, окружена меньшими. От нее вниз висит шелковый «плат», а по бокам, на деревянных, как бы библиотечных полках, разложены черепа умерших братьев.

О. В., вздыхая, приседает и разглядывает нижние.

— Вот хорошая головка! Смотрите, какая славная! Кость вся коричневая, густая, ровная.

Действительно, этот череп ровно-коричневый, слегка даже маслянистого тона. Рядом черепа с белыми пятнами по желтому, или, напротив, с черными. Вековой опыт монашества все различает, всему приписывает смысл.

— Эти уже похуже,— прибавляет о. В.

Он говорит просто, обыденно. Что же, смерть есть смерть — нечего ни бояться ее, ни ей удивляться. К останкам умерших отнесемся спокойно, с благоговением. Взором участливым, непредупрежденным оценим душевную чистоту того или иного другого из братии.

И вот снова белый зной полудня. Кипарисы черно синеют купою вблизи гробницы. В их тени лежат два вола, сонно поводя головами в лирообразных рогах, отмахиваясь хвостом от мух. Должно быть, ушел завтракать их властелин, какой-нибудь рваный грек с Имброса. Им выпал отдых.

С того дня каждый полдень, прогуливаясь по балкону, взгля-

дывал я налево, где над стенками зданий подымалась группа кипарисов. Если жс обсрнусь направо, то за изящной колокольнсй Собора, за изголуба-мрсющим стеклянным заливом вдалскс, почти на краю земли, увижу трехголовый, бело-златистый снеговой Олимп — как нский легкий ковчсг Эллады.

Fuori le mura

...Вышсл за монастырь к пристани Дафни узенькою тропинкой среди кустарников. Цвел желтый, милый дрок, мой друг еще с Прованса. Яркий солнечный вечер, цветы дрока, ярко-синее морс. Кругом скалы, по ним мелколиственный дубок, кой-где оливки да цепкие заросли. Идешь, срываешь желтые цветы, видишь внизу кипящую черту прибоя, и морской ветер треплет волосы. В заливчике белеет яхта. Зачем она сюда зашла? Кто на ней? И надолго ль?

Может быть, любознательная американка разглядывает сейчас с борта загадочную страну, на чью землю ступить не может?

Крспок Афон своим запрсщснисм женщин!

Сорок лет назад здесь, быть может, в этом самом заливе, был такой случай: подошел пароход «Виктория», нанятый одной русской дамой высшсго круга,— сын сс был послушником Пантелеймонова монастыря. Г-жа М. хотела повидаться с ним. Ес сопровождали двс-три дамы и русский вицс-консул в Дарданеллах. Монастырь принял гостей радушно. Дамы на берег не сходили, но на пароход были отправлены мощи св. Пантелеймона, был отслужен молебен на борту «Виктории», приезжие исповсдовались у о. Рафаила. Посстил их и сам игумсн о. Макарий, и напутствовал. Неясно только, видела ли г-жа М. сына? Может быть, с борта, на берегу? Или мягкий о. Макарий разрсшил сму съсздить на корабль?

Не знаю. Но шестого августа ночью, едва пароход отошел, в монастыре св. Пантелеймона загорелся — и сгорел до основания — храм Покрова Пресвятой Богородицы.

* * *

Вечср, нежно-розовое наплывает в воздухе. Яхта бесшумно поворачивается. Трубы белеют, дымят, легко, бесцельно и без жалости уходит она вдаль от наших берегов. Синяя ночь встретит ес в пустынях. Зажгут красныс, зеленые огни. В сиянии матовых полушаров будет подан обед — на ослепительной скатерти, с хрусталем и цветами, ледяным вином. Сказочный Афон станет воспоминанисм. Выйдя на палубу, растянувшись в лонгшсзс, не

вспомнит любопытствующая американка, в какой и стороне-то он.

Я помахал платочком яхте. «Мир» уходил. Мы оставались — необитаемый остров. Уединенный брег, уединенный край, синеющее в лиловатости море вечернее и там, за краем его — Афины, Франция, Париж...

ПРОЩАНИЕ С АФОНОМ

Ненаписанное письмо

«Последний вечер в монастыре св. Пантелеймона был тихий и несколько грустный. За две недели я успел полюбить этих людей и их святой дом. Мои новые друзья заходили прощаться. (У о. игумена я был сам.) Я получил афонские подарки: книги, четки, иконы, благословенное масло Целителя Пантелеймона, деревянную ложечку с резьбой и т. п.— «по хребтам беспредельно-пустынного моря» мне удалось довезти домой эти милые знаки. Я их храню и буду хранить, как память о Божьем месте, где довелось побывать.

Грусть того вечера заключалась в расставании навсегда. Все, конечно, бывает. Но почти нет вероятий, что еще раз увидишь эти края. Для монаха нет, или не должно быть «земной печали». Но для нас, мирских, облики видимости иногда так глубоко ценны! И отъезд из места и от людей, навсегда уходящих, есть как бы частичная смерть: ведь и Афон, и его жители стали теперь для меня елисейскими тенями.

Утром я был на литургии, ее совершал архимандрит Кирик, он же отслужил и напутственный молебен.

А потом о. Петр, тот самый веселый и худощавый мой земляк, со светлыми, полными вольного ветра глазами, который в бурю встречал меня на Афоне, повез в лодке на пристань. День был чудесный. О. Кирик тихо сидел со мной на лавочке, кругом голубоватое стекло. Легкая и пушисто-белая борода о. Кирика как бы овевала эту гладь.

Слегка подмигивая черным глазом из-под очков и поглаживая бороду, он сказал мне:

— Самая прозрачная вода в мире. Обратите внимание. Так и говорится: светлые воды Архипелага!

Видимо, ему нравились эти слова... Через несколько времени он повторил:

— Светлые воды Архипелага.

На Дафни путники иногда часами, а то и днями ждут

парохода в Салоники. Тут еще раз почувствовалась забота и внимание монастыря — в частности, о. Кирика. Все заранее приготовлено. Мы прошли в монастырское подворье, о. Петр устроил обед — появились знакомые афонские салаты, рыбки, октоподы, красное вино. Мы пообедали весело и солнечно — в прямом смысле: солнце затопляло комнату, выходившуюся на море. За эти сутки о. Кирик спал полтора часа. Я видел, что он бледен. После обеда лег вздремнуть, а я пошел бродить к морю, в золотом вечернем солнце. У пристани толпились греки с ослами. Сидели в кафе два таможенника. Вдали за зеркальными водами подымались колокольни и кресты св. Пантелеймона.

Ударили к вечерне. Я возвратился. Прошло не более сорока минут. О. Кирик, в ореоле своей бороды, маленький, тихий, сидел уже на диване и «вычитывал» вечерню по захваченному с собой служебнику. Как же, в монастыре вечерня, а он будет спать!

На закате из-за скалы появился пароход. О. Кирик благословил меня. Почтительно поцеловал я его худую, желтоватую и легкую руку, и когда о. Петр, улыбаясь, быстрым калужским говорком с прибаутками и словечками разговаривая, вез меня и греческого «астинома» на борт «Хризаллиды», я все кивал и махал небольшой фигуре в черной рясе с золотым крестом, седобородому «прирожденному монаху», спящему два часа в сутки, вечно на ногах, вечно в служении,— к которому незаметно установилось у меня сыновнее отношение.

На носу «Хризаллиды», как Никэ Самофракийская, стояла статная малоазийская гречанка древней, жуткой красоты, и с любопытством глядела на берег, куда ступить не могла, на нас, на все столь странное и необычное вокруг».

«Хризаллида»

И вот удаляется тысячелетний Афон. «Хризаллида» плавно уходит к западу навстречу быстрому вечеру. Лимонные облака, лимонно-серебряная вода. Гора Афон под закатным светом нежно лиловеет. Впереди Лонгос смутно-сиреневый. Позже над ним встали оранжевые облака, у подножья его резкая серебряно-розовая струя и зеркально-розово-голубое море. Вообще вечер полон таких сияний, такого павлиньего блеска и радужных фантасмагорий, точно оркестром исполнялась на прощанье световая поэма. Но все быстро закончилось. Море похолодело, принимая стальной оттенок, закат побагровел, монастыри и монахи, Кирики и Пинуфрии ушли в смутно-лиловую влажную мглу. Все более оставались о них лишь воспоминания.

На грязном судне с прозрачным именем шла малая жизнь.

Кажется, мы миновали и Лонгос, и Кассандру. Время за полночь. Тихо. Люди спят. Лишь в капитанской будке огонь, и человечий глаз непрестанно озирает бело-туманящееся море в редком звездном свете. Надо мной, над спящим человечеством корабля, над мирными бутылями оливкового масла и рядами ящиков летит черный дым из трубы, уходит мрачным следом к Афону. Туда же ведет бледно-серебристый путь за кормой со вспыхивающими синими водяными искрами — игра фосфора южных морей.

Верно, у нас, у Святого Пантелеймона идет уже утреня. Это самое море видно из окон храма Покрова Богородицы, и тому же Отцу солнца, что скоро встанет над нами и осветит Салоники, древний город Солунь — Ему же возгласит хвалу иеромонах Иосиф, заключая службу утрени.

— Слава Тебе, показавшему нам свет!

Если бы я был архимандритом, то, сойдя в каюту, вынув служебник, стал бы «вычитывать» утреню. Но я не монах. Я простой паломник, как здесь говорят, «поклонник», со Святой Горы возвращающийся в бурный мир, сам этого мира часть. В своем грешном сердце уношу частицу света афонского, несу ее благоговейно, и что бы ни случилось со мной в жизни, мне не забыть этого странствия и поклонения, как, верю, не погаснуть в ветрах мира самой искре.

В час пустынный, пред звездами, морем, можно снять шляпу и, перекрестившись, вспомнив о живых и мертвых, кого почитал, любил, к кому был близок, вслух прочесть молитву Господню.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В настоящее время монастырских имений, «метохов», не существует. Их отняло греческое правительство — не только у греческих монастырей, но и у русского.

[2] Карея — центр управления полуостровом. У каждого монастыря есть здесь свой «конак», или подворье. Монастыри посылают в Карею своих представителей, «антипросопов». В антипросопы избираются наиболее просвещенные и образованные монахи (от русского монастыря — непременно хорошо владеющие греческим языком). В очень отдаленные времена управление Афоном было монархическим, правил прот (Первый), старец-игумен всей св. Горы, при нем находился синод почетных старцев (совещательный орган). До падения Византии Проты рукополагались константинопольским патриархом. С начала XVII века

управление стало коллегиальным, появился *Протат*, или *Кинот*, в их теперешнем виде. Антипросопы, составляющие его, считаются между собою равными. Председательствует представитель Лавры св. Афанасия — самой древней и могущественной обители. Вряд ли, однако, я ошибусь, если скажу, что хотя в идее антипросопы равны, на практике Афоном правит группа могущественных греческих монастырей — Лавра, Ватопед, Ивер. Всего на Афоне двадцать монастырей, посылающих в Протат представителей (скиты и келии не посылают). По влиятельности и старшинству монастыри располагаются следующим образом: Лавра, Ватопед, Ивер, Хиландарь (сербский), Дионисиат, Кутлумуш, Пантократор, Ксиропотам, Зограф (болгарский), Дохиар, Каракалл, Филофей, Симонопетр, Св. Павла, Ставроникита, Ксеноф, Григориат, Есфигмен, Руссик (наш монастырь св. Пантелеймона), Костамонит. Таким образом, в иерархии монастырей русский монастырь св. Пантелеймона, один из самых многолюдных и вообще больших, занимает 19-е место!

Каждые пять монастырей выбирают по одному *эпистату*, так что существует еще четыре эпистата, один из них «протоэпистат» или назир. Эпистаты — как бы испонительный и финансовый комитет Афона.

[3] Вот как описывает погребение на Афоне известный Святогорец, в своих «Письмах с Афона»: «Кто отходит, над почившим по омовении тела, до погребения, читают Псалтырь. Почивший до того времени лежит на полу, в больничной церкви, обвитый мантией, но без гроба, потому что на Востоке, в рассуждении мертвых, держится Новозаветная церковь Ветхозаветного правила и предает тела земле самым буквальным образом. При погребении, по последнем целовании, весь собор иеромонахов, вместе с игуменом, окружают почившего, и игумен прочитывает разрешительную над ним молитву, после которой почивший троекратно от собора благословляется, с пением «вечная твоя память». Когда таким образом кончится похоронный чин, игумен краткою речью приглашает все братство простить почившего собрата, если кого, как человек, он оскорбил чем-нибудь в жизни своей. Троекратное «Бог да простит» бывает ответом. Затем тело выносят. Когда доходят до ниши с изображением св. Пантелеймона за монастырскими воротами, то возглашают ектению о покое и блаженстве усопшего, то же и на половине пути до кладбища. Когда тело опущено в землю, особенно заботятся о сохранении головы, сбоку ее обкладывают камнями, сверху покрывают каменною плитою. Опять лития. Прах крестообразно обливается водою с елеем из неугасимой лампады от лика св. Первоверховных Апостолов, имени которых посвящена кладбищенская церковь. Когда тело зарыто, игумен предлагает помолиться за усопшего. Один из братии берет четки, молится вслух: «Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего» и сто поясных поклонов с этою

молитвою бывают началом келейного поминовения. Не отходя от могилы, игумен заповедует в течение сорока дней продолжать начатый канон, т. е. каждый день по 100 поклонов с молитвою о покое усопшего».

[4] Не надо думать, что афонцы отрицают мощи и поклонение мощам. Но они различают нетление, так сказать, благодатное, сопровождающееся чудесами, иногда мироточением и т. п., от неполного, *замедленного* приятия тела землею. При этом, на самом Афоне очень много мощей *не* афонских, святителей же афонских, действительно, нет. Святогорец объясняет это так, что Бог там проявляет свои чудеса, где это нужно, т. е. в миру, для поддержания благочестия, на Афоне же в этом нет надобности. Здесь Промысел Божий оставляет неизменными законы природы и не проявляет нетленных мощей.

Соображение это было бы безукоризненным, если бы не существовало паломничества на Афон. Но «мир» постоянно является на Св. Гору, и для его «поучения» Афон все же не предлагает мощей своих святых. Это вопрос великой таинственности, мы его решать не беремся. Можно только отметить какую-то особую скромность и смирение афонских святых: вспомним хотя бы св. Нила Мироточивого, который, по дошедшему преданию, сам просил Бога о прекращении мироточения своего — ибо это привлекало паломников, смущало покой Св. Горы и создавало ему, св. Нилу, *чрезмерную* славу. (См. о св. Ниле в очерке «Монастырская жизнь».) — Афон вообще как бы не любит исключительности. Афонцы очень осторожно и сдержанно относятся, напр., к визионерству. Их идеал — малозаметная, «невыдающаяся» жизнь в Боге и свете, настолько скромная, что точно бы она *отклоняет* от себя все сильно действующее на воображение: чудеса, видения, нетлениость мощей. В этом отношении Афон живет более для себя, «внутри», потаенно.

[5] В годы перед великой войной русский Афон пережил тяжелую внутреннюю драму. Часть монахов объявила себя имяславцами, т. е. исповедала учение, по которому в самом имени, в самом слове Иисус Христос уже присутствует Божество. Борьба между несогласными приняла очень острые формы. Дело доходило до насилий. Решен спор был мерами Правительствующего Синода: имяславцев «вывезли» с Афона. Горечь, как бы печаль всей этой истории и до сих пор сохранилась на Св. Горе.

[6] При жизни игумена ему избирается «наместник», вступающий в должность по смерти игумена. В 1927 году, на 2-й день св. Троицы, избран наместником нынешнему игумену о. Мисаилу о. иеромонах Исхирион (взамен скончавшегося о. иеросхимонаха Иоакима). Духовником братии Пантелеймонова монастыря состоит о. архимандрит Кирик.

[7] Иисусова, а также «Богородице Дево», за умерших, о здравии живущих, и т. п.

[8] Летом 1927 г. монастырь св. Пантелеймона сильно пострадал от лесного пожара. Пожар начался с леса Хиландарского владения и перекинулся на соседний лес Пантелеймонова монастыря. Уничтожено леса на 3 миллиона драхм, что наносит монастырю, итак очень бедному сейчас, огромный урон.

[9] До войны монастырь довольно широко пользовался наемным трудом, теперь этого нет, и всякий молодой человек, стремящийся на Афон, должен знать, что там ждет его очень суровая жизнь, истинно подвижническая.

Однако, приток молодежи все-таки есть. Он идет теперь не из России, а из эмиграции. Русский Париж, русская Сербия дают пополнение Афону. Многое меняется на наших глазах. Если прежде на Афон шли преимущественно из купечества, мещан, крестьянства, то теперь я вижу молодого иеромонаха — офицера Добровольческой армии, вижу бывшего художника, сына министра, знаю инженера и т. п.

Так новыми соками обновляется вековечный Афон.

[10] Епископская мантия — привилегия игумена Пантелеймонова монастыря.

[11] См. ниже, в очерке «Святые Афона» о св. Афанасии Афонском и его способах борьбы со сном.

[12] К сожалению, мне не пришлось взойти на вершину Афона (две версты над уровнем моря), хотя в монастыре мы с о. Пинуфрием и мечтали об этом. Но подъем туда дело очень трудное. Пришлось бы брать в Георгиевской келии «мулашек» и употребить на это целый день. «Выспренний Афон» или «шпиль», как его здесь называют — голая скала с небольшой церковкой Преображения Господня. (Эту церковку, в ясный солнечный день, я видел иногда и снизу, огибая афонский полуостров,— она сияла белой точкой). «Шпиль» необитаем, там никого нет, жить слишком трудно из-за бурь, холодов зимою, ветров. Служба в церкви бывает раз в году — 6 августа, в день Преображения. «Тогда стекаются сюда со всей горы усердные иноки и, совершая всенощное бдение и литургию, спускаются вниз к Богородичной церкви обедать, потому что на самую вершину трудно заносить съестные припасы, да негде и готовить» (Святогорец).

Да, я не был на вершине Афона, но я так ясно представляю себе его надземную высоту, синий туман моря, видения островов, ток безбрежного ветра, что мне все кажется, будто я там побывал.

[13] В этой трапезной общая трапеза бывает лишь несколько раз в году.

[14] Старый Руссик — колыбель русского монашества на Афоне. Выше, в очерке «Монастырь св. Пантелеймона», я указывал уже, что в 1169 году русские переселились из скита Ксилургу в монастырек «Фессалоникийца», стоявший на месте нынешнего Ст. Руссика. Начинается многовековая его история. Она довольно тесно связана с Сербией

и сербскими «кралями». Ярким фактом этой связи может служить то, что именно в Ст. Руссике царевич сербский Растко, сын Стефана Немани, принял монашество (впоследствии он стал знаменитым сербским архиепископом Саввою, через него и установилось покровительство сербских королей Старому Руссику).

Историк нашего Пантелеймонова монастыря различает четыре периода его жизни: первый, славяно-русский, до принятия монастыря под сербское покровительство (от XI по XIV век). В это время состав братии был славяно-русский. К этому периоду и относится осада монастыря каталанцами — в нач. XIV в. Монгольское иго в России надолго лишает монастырь русского покровительства, и самая связь с Россией прерывается — к счастию, родственные сербы заменяют временно утерянную родину, но и братия пополняется теперь почти исключительно из Сербии, монастырь становится как бы сербским. Это второй период — с XIV по конец XV века. С XV по середину XVIII в.— третий период, чисто русский. С 1735 г. до конца XVIII в.— чисто греческий. В XIX веке прежний Старый Руссик меняет место, основывается теперешний огромный монастырь св. Пантелеймона на берегу моря. В создании его потрудились игумен Савва, благотворитель князь Скарлат Каллимах, иеромонах Аникита (в миру кн. Ширинский-Шихматов), иеросхимонах Павел. С 40-х годов начинаются «милостынные» сборы в пользу монастыря в России (особенно обильный сбор в 1863—67 гг., когда иеромонах Арсений путешествовал по России со святынею). В последнем, наиболее цветущем периоде жизни монастыря, особенно выдающимися фигурами его были духовники братии иеросхимонах Иероним (провел на Афоне 49 лет, умер в 1885 г.) и игумен архимандрит Макарий.

[15] Останавливаюсь здесь, очень бегло, лишь на трех фигурах, представляющихся мне особенно яркими и как бы олицетворяющими различные типы афонского святого: отшельника, деятеля и поэта. Но Афонский Патерик заключает много имен, некоторые из них встречаются и в моих очерках — свв. Савва Сербский, Максим Кавсокаливит. О святых Афона можно было бы написать целую книгу, равно как и о мучениках афонских. Последнее особенно интересно, и требует тоже отдельного исследования. Ограничиваюсь краткими замечаниями. Мученичество на Афоне связано 1) с «нашествием папистов» в XIII веке (26 мучеников зографских, заживо сожженных «латинянами» в пирге, ватопедские мученики, и мн. др.); 2) с владычеством турок. Уже в начале XVI века встречаются мученики «от турок» (преподобномучен. Макарий Иаков). Особенный тип мученичества развивается в начале XIX века. Известен ряд случаев, где молодые греки и болгары обращались в магометанство, а потом под влиянием афонских старцев (в частности, монаха Григория, подготовлявшего их), принимали мученичество за возвращение к христианству. После длительной подготовки

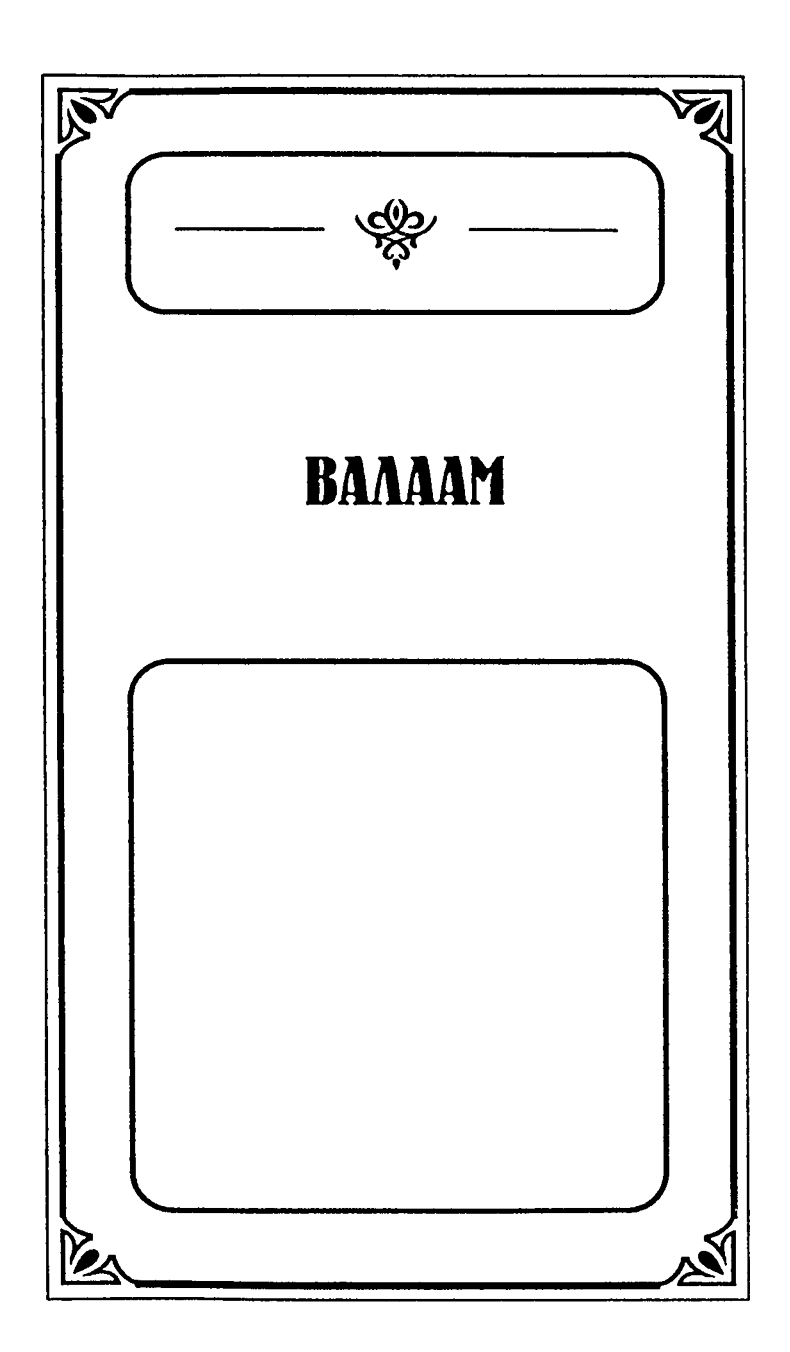
у Григория они являлись к визирю или судье с крестом, пальмовою ветвью, проклинали Магомета и объявляли себя вновь христианами, нередко нанося оскорбление властям, чтобы вернее заслужить кару. Их казнили. По афонскому учению того времени, такое мученичество являлось единственным способом для отпавшего спасти свою душу. Вот отрывок о страдании мученика Евфимия: «Оба они (т. е. Евфимий и Григорий) остановились в Галате у некоего Григория. Тут Евфимий, по словам скитника Григория, то обдумывал, как предстать ему пред визирем, то приходил в исступление и созерцал небесное блаженство и мученическую награду и венец. В избранный для мученичества день Евфимий и Григорий причастились, Евфимий написал шесть писем, исполненных мыслей евангельских и выражавших твердость его духа, как мученика; затем оба перешли на корабль кефаллоникийского купца Цоана. Здесь Евфимий переоделся в турецкое платье, приготовленное заранее, а некто Иоанн дал ему шелковую рубаху. Все стали прощаться. Григорий плакал. Евфимий помазал все члены тела своего маслом из лампады, взятым у иконы Афоно-Иверской Богоматери-Вратарницы, и с крестом и пальмовою ветвью пошел к визирю». Там он объявил себя христианином, проклял Магомета и был за то казнен. «О смерти его Григорий узнал от Иоанна, тотчас полетел к палачам, выкупил тело с большим трудом и издержками. Прошло три дня. Григорий со слезами лобызал главу Евфимия, говорил ей: дай мне слово, что я не один возвращусь в скит, а с тобою. Голова в ответ дважды открывала глаза. Он привез ее в скит, а тело Евфимия похоронил на Принцевых островах».

Этот рассказ дает довольно яркое представление о психологии православного мученичества на Балканах в XIX в. и о роли в нем Афона.

[16] На Афоне существует несколько типов монашеской жизни. Главный из них — монастыри. Монастыри выстроены на собственных землях, принимают участие в управлении Афоном и разделяются на монастыри общежительные (киновии) и особножитные (идиоритмы). В киновиях у монахов нет никакой собственности, образ жизни для всех одинаков, трапеза общая, и т. п. Киновия управляется пожизненно избранным игуменом. Монахи «отрекаются» своей воли, она у них как бы отсечена. Дух киновиальной жизни вообще строже и выше особножитного (Русский монастырь св. Пантелеймона — киновия). В особножитных быт гораздо более мягкий, для состоятельных людей, становящихся монахами, он даже не лишен удобств. Монахи живут там иногда в квартирах, со своим столом, своей обстановкой.

Скиты — это как бы небольшие киновии, стоящие не на своей земле (и потому более бедные), тоже со строгим уставом. Еще меньшую единицу представляют из себя т. н. «келии», нечто вроде монашеского хутора с церковью, населенного монахами-земледельцами (возделывают

оливки, где можно, виноград). Еще ниже — одинокие «каливы» (избушки). Там монахи-индивидуалисты и любители уединения ведут отшельническую жизнь, тоже работая на земле и молясь дома. В церковь они ходят только по праздникам. Нередко монастыри материально поддерживают их. Такой тип очень распространен среди русских — местность Каруля и окрестности Новой Фиваиды полны таких отшельников. Есть еще тип бездомных и нищих, бродячих монахов («сиромахи»).


ВАЛААМ

ПРИЕЗД НА ВАЛААМ

Пароходик с туристами и паломниками недолго стоял у пристани Сердоболя. Свистнул и отвалил, двинулся ежедневным путем среди мелких заливов Ладоги. Берега холмисты и красивы, дики. Леса да скалы, слои гранита и луды, выпирающие под косым углом, заросшие мхами. «Сергий» лавировал между этими берегами, придерживаясь вех, опасаясь камней и мелей. И лишь понемногу стал расширяться выход, открылась тусклая синева озера с повисшими как бы на стеклянной подстилке двумя-тремя островами.

А потом и вовсе вышли на волю. Беловатые, крупные, с сине-стальной оторочкою облака хмуры, недвижны. Холодны их отраженья, тяжела вода, свинцовая, тоже с белесыми отсветами. Прохладно! Невеселое предвечерие севера.

Но взору просторно. И есть что представить себе. Налево, за бескрайною далью, к океану, некогда св. Трифон основал обитель у самого моря — монастырь св. Трифона Печенгского. Справа, в нескольких десятках верст, остров Коневец. В веке четырнадцатом св. Арсений прибыл туда в лодке, путешествуя с Афона, и привез чудотворную икону, поселился, учредил монастырь. Прямо же перед нами, очень далеко, но уже белея Собором, сам знаменитый Валаам.

Возраст всего этого — сотни лет. Корень — Россия. Поле деятельности — огромный край.

...Понемногу все взоры соединились на белой, с синими и зелеными верхами колокольне, на огромном куполе с ней рядом. Над полоскою леса водружен Собор мощным жестом, повелительно. Он приближается медленно, остров же растягивается в длину. «Сергий» держит курс на церковку, белую с золотом — скит Никольский на крохотном островке у входа, как бы сторожевой пост Валаама. Ночью отсюда светит маяк. А сейчас, пройдя мимо, медленно мы поднимаемся узким, зеркальным заливом, среди чудесных лесов, к пристани главного острова.

Проплываем вдоль монастырского сада. Сверху, из-за чугунной решетки, над белыми корпусами келий все та же громада Собора с золотыми крестами. Вечерний благовест.

С группою дам, туристов, молодежи подымаемся в гору. Монах на телеге везет вещи. Смеркается. Густа зелень, в ней белеют врата монастырские, и по дорожке, аллеею лип, кленов, орехов, оказываемся у огромной, тоже белеющей в полусумраке гостиницы. Июль, а еще жасмин не отцвел. Жасмин сладостно одуряет, есть в этом запахе исконно-русское, для меня и афонское, сразу вспомнишь Андреевский скит.

Худой и слегка согбенный, в белом подряснике, с черною бородой и прекрасными ночными глазами о. Лука, иеромонах-гостиник, устраивает нам комнату. Ее маленькое оконце выходит прямо в жасмин. Светлые стены, узость, вид кельи, бедные постели, издающие всякий раз как переворачиваешься, мелодичный звук железных сеток, колец, пружин...

Монастырская жизнь началась.

* * *

Святые Сергий и Герман. Два инока, две прямые фигуры в темном, Сергий старше, Герман моложе, в опущенных руках свитки, на них письмена. Древние, не без суровости облики — основатели монастыря. С первого же беглого осмотра обители видишь их здесь повсюду. В медальоне над входом в гостиницу, над вратами, на иконах, на золотой кованой раке в нижней церкви Собора. Стараешься представить себе их живыми, в дали четырнадцатого века, что-нибудь узнать о жизни их...— и почти ничего не узнаешь. Остается только ощущение величия и легендарности. Но не случайно явились они в этих краях, диких и бедных, подобно Трифону Печенгскому и Арсению Коневскому.

На первых порах удивляет, как мало древностей сохранилось в самом монастыре. Объясняется это тем, что он много терпел, подвергался грабежам (особенно в XVII в.).

Все-таки, все-таки... Был ведь Собор времен Александра I, его разрушили, и соорудили теперешний, огромный и роскошный, но какой холодный! В валаамском строительстве, к сожалению совпавшем с бедною художнически эпохой середины и конца XIX в., есть вообще дух грандиоза.

Нечто от Александра III, нечто связано и с игуменом Дамаскиным, ненасытной и мощной фигурой, которую можно было бы назвать, на афонский лад, Афанасием Великим Валаама. Должно быть, есть нечто в характере самого этого острова, на

гранитных глыбах лежащего, над Ладогой воздымающегося, что влекло к силе и размаху. Здесь бьют волны, зимой метели ревут, северные ветры валят площади леса. Все громко, сильно, могуче. Лес — так вековой. Скалы — гранит, луда. Монастырь — так на тысячу человек. Игумен Дамаскин чуть не великан, неутомимый, неусыпный, несменяемый (сорок лет властвовал над Валаамом и чего-чего только не настроил). Даже колокола валаамские... ведь в главном из них тысяча пудов!

Но немало силы и в самой братии, порождении Руси крестьянской, веками на Валааме сменявшейся, но трудившейся упорно, безымянно. Ведь это маленькое государство. У него и леса, и посевы, покосы, молочная ферма, сады, огороды, водопровод, и каких только нет мастерских. Все это лепится и живет вокруг Собора и белоснежного четырехугольника келий, трапезной, ризницы, библиотеки и пр. Тут дом игумена и управление, хозяйство и политика, и дипломатия, великолепные службы в Соборе, в праздники наполненном карелами окрестностей, паломниками и туристами. В нижней церкви у раки преподобных, в гостинице у о. Луки непрерывный приток и отток приезжих — кого тут только нет!

Внутренняя, духовная и поэтическая сторона Валаама раскрывается понемногу, не сразу. «К Валааму нужно подходить молитвенно,— говорил мне педагог из Таллина.— Направляйтесь к нему духовно».

Не знаю уж, «направлялся» ли я, и разумеется, беглы впечатления паломника, все же думаю, что за внешним, торжественным фасадом Валаама, открылось в эти несколько дней и другое,— то, что дает славу Валааму внутреннему.

* * *

На другой день приезда нашего игумен, о. Харитон, предложил съездить в скиты на его моторной лодке.

Мы отчалили часу во втором, при нежном свете из-за высоких облачков. Высокий и загорелый, заросший бородою о. Рафаил у мотора, нагнувшись, управляет рычажком. Кроме игумена, с нами педагог Михаил Алексеевич с женою и мальчиком в гимназической фуражке. Да иеромонах Тарасий.

Лодка идет легко. Как стеклянна вода! Какой мир, какой воздух, как прекрасно плыть мимо редких камышей, за которыми вековой бор — сосны, ели столетние. Кое-где береза. И сколько зелени, какие лужайки! Все светлое, очень тихое и нетронутое.

Когда подплываем к мостику, под который надо пройти, о. Рафаил выпрямляется, горбатый его нос глядит вперед, и как

тритон в раковину, трубит он победоносно: мы, мол, идем под мостом, место наше.

И мы быстро проносимся в его мгле.

— Хороши эти леса,— говорит о. Харитон медленно, негромко, будто слегка устало.

— Мы ведь их не рубили. Дрова покупали у финнов, только чтобы их не портить.

Да, красота, а не лес. Такого я в Финляндии еще не видел. Игумен молча и задумчиво на него смотрит. Монастырь, со всею сложностью и трудностью управления, забот, скорбей — все позади. А сейчас тишина озер, лесов, ласкового, еще бледного солнца.

Мы едем в скит Всех Святых. У о. игумена там дело, а мотор свой он дает нам для езды дальнейшей.

Вот и берег, лужайка, лес, и неторопливый путь к скиту, и часовня, и могила иеросхимонаха Антипы, в лиственной роще, и ограда скитская... и ничего сурового в этой святой земле. Наоборот, светло, особенная, чуть ли не райская тишина.

Женщинам в скит нельзя. Да и мы сейчас не пойдем. Мы поищем грибов, поклонимся могиле Антипы, полюбуемся солнцем, лесом, перекрестимся на пороге часовни.

— Это все о. Дамаскина труды,— говорит игумен, медленно обходя стену, за ней церковь, здания.— А вот тут поглядите, что буря наделала.

И поднявшись на изволок, показал с грустью на плешину в его любимых лесах.

— Буря была ужасная. Северный ветер, сразу вырвало до четырехсот десятин в разных местах острова.

У ворот показался старый монах в подряснике. Мы простились. О. игумен останется тут до вечера, проведет тихие часы в уединении, а потом мы должны за ним заехать.

— Знаете,— говорит, улыбаясь, Михаил Алексеевич, когда подходим к мотору,— тут в прошлом году была с нами маленькая история, на этом самом месте. Тоже в лодке приехали, и с нами старушка одна, француженка, лет семидесяти — ее занесло как-то на Валаам, она тоже все по скитам ездила, ужасно нравилось ей. Настолько полюбила тишину эту валаамскую, красоту, весь благообразный склад жизни, так и говорит: «Это рай». (Сама католичка.) «Я всю жизнь прожила, и только теперь, над могилой узнала, что на земле есть рай. Как ваши иноки и старцы на острове живут, это и есть рай». Хорошо, рай раем, а ведь и домой в монастырь надо. Назад полагалось идти пешком. Она дошла до этой лужайки, села под деревом, и ни с места. Сил нет, и нога разболелась. Идти никак не может,

что тут делать? Попробовали лодку покликать, да место тихое, никого нет. Просто хоть ночуй тут с нею. Так до вечера и просидели, пока монашек случайный, с фермы, на лодке не выручил.

Она долго в монастыре прожила. И когда в Париж уезжала, то представьте, из бересты коробочку себе раздобыла, и туда земли валаамской на память собрала. С тем и уехала, что в раю побывала.

* * *

Теперь у рычажка мальчик Светик. О. Рафаил рядом, поглядывает за ним и показывает, где брать правее, где левей. Останавливаемся у Смоленского скита. Среди чудесного леса маленькая церковь, новая, в духе древнего зодчества. Здесь иеросхимонах о. Ефрем — высокий, жизнерадостный, с улыбающимися глазами. У него сейчас гости: за столиком, под соснами, в простеньких подрясниках два старых монаха пьют чай: о. Павлин, бывший игумен Валаама, на днях постригающийся в схиму, худой, с веерообразными бровями, и другой, о. Иоанн, тоже худенький, из Предтеченского скита. Солнце, сквозь сосны, тепло и мирно берет лучами этих двух стариков. О. Ефрем один живет здесь. Он показывает церковь, крохотную келийку при ней, гроб с поднятой крышкой. На ней изображен скелет, а в гробу подушка и постель.

— Да, вот так и живу, понемножку...— О. Ефрем — духовник братии. Отсюда, на лодочке, ездит в монастырь. У самой воды у него другая избушка, тоже крошечная, и тоже иконы, тоже гроб. Один гроб для лета, другой для зимы, в них по очереди он и спит, но ничего страшного в этом нет, о. Ефрем жизнерадостнее многих, спящих на роскошных кроватях.

Чтобы не мешать его гостям и не отрывать его, мы не задерживаемся. И через несколько минут Светик, серьезный и внимательный, гордый ролью капитана, ведет нас на моторе дальше.

О. Тарасий с Михаилом Алексеевичем совещаются, куда ехать сначала: на Коневский, или к о. Феодору. Решили к Феодору.

Мотор заходит в дальний, тесный угол залива. О. Рафаил сам берется за управление: узеньким каналом, с галькой, песочком, чуть не доставая рукой до прибрежных кустов, выходим с Валаамского острова на Ладогу. Она довольно покойна, голубеет вдаль, к едва видным мягким холмам, все же мотор покачивает. Мы описываем медленно дугу, и мимо островка со

скитом св. Иоанна Предтечи, наиболее строгого на Валааме, идем к другому островку.

Здесь нет никакого скита. Просто живет отшельник, схи-игумен Феодор, в своей избушке.

— Только я умоляю вас, о. Тарасий,— говорит Михаил Алексеевич, разглаживая поблескивающую раздвоенную бороду,— чтобы он самовара не ставил.

О. Тарасий не без лукавства посмеивается небольшими голубыми глазами.

— Да уж не тревожьтесь. Пожалуйте вперед, к прудику. А я предупрежу...

— Я вас знаю, о. Тарасий, придем, а уж самовар пыхтит... Нет, я тогда не пойду, вы должны обещать...

Он оборачивается ко мне.

— Представить себе нельзя, до чего монахи здесь гостеприимны. Ведь кто ни придет, старик бежит ставить самовар.

— Ничего-с, ничего-с...

Михаил Алексеевич сопротивляется, но сам мало в сопротивление верит. А пока что, мы идем в горку, а о. Тарасий влево, к деревянному домику.

— О. Феодор давно тут живет. Видите, его хозяйство. Яблони, огород... Все своими руками. Ему за семьдесят. А какая тут почва? Один камень. Так ведь на себе землю таскал, Бог знает откуда, вот и добился.

Мы подошли к прудику, тоже, конечно, собственного производства — он кишит мелкой рыбешкой. Бросишь корочку, все население сразу толпится, шуршит, чмокает, разные жадные типы выскакивают до половины наружу, на лету ловя приношение.

Мы ими полюбовались. И медленно, огородом, пошли к домику о. Феодора.

— Вы не думайте,— шепнул Михаил Алексеевич,— теперь от чая уже нельзя отказаться. Будет обида.

— Ну, здравствуйте, милые, здравствуйте, кого Господь принес? Милости прошу...

О. Феодор высокий, крепкий старик с загорелым лицом, живыми, светлыми глазками, седою бородой. За углом о. Тарасий раздувает самовар.

Благословил нас о. Феодор истово, сразу став торжественным, но по-прежнему ласковым. И высоким, тонким голосом со своеобразным переливом, как бы ярославскою скороговоркою пригласил под деревья к столику. Варенье, сахар, хлеб, чашки.

— Издали? Ну, и слава Богу, вот и навестили старика, милые мои...

Мы для него «мир», неизменно здесь появляющийся, иной раз и утомительный, но все тянущийся к облику более высокой, чистой и духовной жизни. Такой о. Феодор чувствует, что он кому-то нужен, этим неизвестным для него «братьям» — нынче одни, завтра другие, но всегда братья и всегда чего-то хотят позаимствовать.

О. Тарасий подал самовар. О. Феодор так же был приветлив и словоохотлив. Он не поучал, ничего не навязывал. Просто повествовал, как был послушником на Валааме, как работал на пекарне, в кухне, на мельнице, и все со смехом и улыбкою: весело, мол, было жить! А позже попал в Борисоглебск игуменом, и опять назад на Валаам вернулся, и опять все хорошо, нечего Бога гневить.

Из-за чайного этого столика, с высоты усадебки о. Феодора открывается дальний вид: вниз идут сосны, редковатым строем, и сквозь них Ладога тихим серебром посверкивает, вдаль сизеет и лиловеет. Много ниже нас на одинокий столб села чайка. Мы обратили на нее внимание.

— Как же, как же, постоянно прилетает. Славная. Мы с ней знакомые, можно сказать друзья. Она меня не боится. Сядет, и все курлыкает тут, на своем языке. А только я ейного языка не понимаю. Покурлыкает, перышки себе клювом почистит, и до свиданья, до следующего разу.

* * *

В шестом часу о. Тарасий вынимает из глубокого кармана часы.

— А ведь еще в Воскресенский хотели, да к отцу Николаю на Коневский.

Подымаемся. Михаил Алексеевич с моею женой не без таинственности отводят о. Феодора в сторонку, вполголоса с ним что-то рассуждают.

Высокий, с несколько сейчас смущенною улыбкой, в сером подряснике, с великорусским говорком, более он похож на пчеловода, чем на схи-игумена. Вот где о гробах и помину нет!

— Ну, хорошо, милые, ну, хорошо...

Маленький заговор я знал. В ночь на воскресенье, перед ранней литургией, в Коневском скиту будет он нас исповедывать и причащать.

И когда мы плыли к Воскресенскому скиту, солнце мирно золотило Ладогу. Погода окончательно установилась. Да и в душе, казалось, что-то наладилось. Не то, чтобы новые мысли или премудрость какая осенили. Ничего особенного нам

о. Феодор не сказал. Но вот ощущение, что все в порядке (якобы наперекор всему, что в мире делается, даже многим скорбям в самом монастыре, ибо и монастырь не рай) — ощущение прочности и благословенности осталось. Все хорошо — несмотря ни на что. Рыбки радость, яблони, огород, знакомая чайка на столбу — все радость.

Если бы с нами была сейчас та старая француженка, она не изменила бы своего мнения о Валааме.

ПО СКИТАМ

Светик и о. Рафаил подвезли нас к пристани. О. Тарасий помогал выходить. Заросшая соснами возвышенность, вверх вьется тропинка — к Воскресенскому или Иерусалимскому скиту.

О. Тарасий оборачивается.

— А вы теперь, значит... прямым ходом к Гефсимании. Там у креста и будете с мотором ждать.

Мы поднимаемся, не то, чтобы в гору Чистилища, но все-таки не так уж мало. С поворотами тропинки шире раздвигается вид на Никоновский островок, правее его остров о. Феодора, а за ними, все возрастая, дальне-серебристый горизонт самой Ладоги. Вся эта местность называется Никоново, по имени пустынника, здесь обитавшего в XVIII веке.

Но легенда уводит и дальше. На месте храма, куда подымаемся, с незапамятных времен стояла часовня в честь св. Апостола Андрея. Как бы ни относиться к преданию о посещении Валаама св. Андреем, место все-таки свято, освящено веками отшельнических, высоких и духовных жизней.

— На эту стройку много трудов положено,— говорит о. Тарасий, когда мы приближаемся к кирпичной, красной церкви.— Фундамент прямо в гранит врублен... иной раз и порохом приходилось взрывать.

Верхний храм — Воскресения, нижний св. Андрея, в нем «Кувуклия» с подобием Гроба Господня. В низеньком помещении, в глубине церкви, кубической формы камень, красный гранит, образ того камня, что привален был ко входу в пещеру Гроба. Маленькая эта, темная комната называется Приделом Ангела — Ангел отвалил некогда камень. А в гранит вделана из иерусалимского камня частица.

Таинственно тут, тихо. Нагибаешься вдвое, сквозь совсем низкую дверку входишь в еще высшее святилище: пещеру св. Гроба, точную копию того иерусалимского, у которого в сороковых годах стоял на литургии и причащался Гоголь. Тут совсем

уж темно. Только неугасимая лампада над Гробом (на нем Плащаница и в серебряной оправе частица камня иерусалимского. К ней прикладываются входящие).

Мы кончали уже осмотр Кувуклии, когда в храме, под водительством худенького, слегка согбенного, но очень живого иеромонаха о. Памвы, появилась толпа молодежи — православное юношество из Выборга.

— Ну, вот, вот и хорошо,— говорил о. Памва, сияя прекрасными глазами, легкой, суховатой рукою давая благословение,— уж не извольте теперь уходить, видите, я со своими птенцами... И сейчас же во св. Пещере молебен отслужим, и будет славно...

Мы поднялись в верхний храм. Нельзя сказать, чтобы он очень останавливал внимание — светлый, несколько холодноватый, с интересным разве только запрестольным образом XVIII в., работы иеромонаха Амфилохия (Христос Царь Славы, Богоматерь и Иоанн Предтеча, со слегка западным оттенком письма, удивляющим на Валааме).

Пока о. Тарасий объяснял мне противоположность с нижней, полутемной церковью, где Христос поруганный, в Гробу, здесь же Он в торжестве, я обратил внимание на молодого, огненно-рыжего монаха, оживленно разговаривавшего с моей женой. Он улыбался радостно, почти блаженно. По движению губ на простоватом лице было видно, что он слегка косноязычен. Стараясь не обращать на себя его внимания, я приблизился.

— Значит, земляки... Из Москвы! Как же не из Москвы, я сам оттедова. У нас прямо и лавка там была... на Долгоруковской... у папаньки. Бакалейщики мы.

Известно, что такое москвичи, и земляки, да Бог весть чрез сколько лет, после всех бед и революций на Валааме встретившиеся. Монах был в полном восторге, встретив земляков, и от волнения еще более заикался.

— Что ж, вы довольны тут, на Валааме? После Москвы-то?

— Я? Да как же не доволен? Даже очень доволен. Я всем доволен. Слава Богу, хорошо живу.

Тут же и выяснилось, что этот веселый человек в замызганном подряснике находится на нелегких работах, на самой низшей ступени иерархии, один «из малых сих». Но ему все хорошо, его ничем не возьмешь. Такого, конечно, сослали бы на Соловки, посадили бы в концентрационный лагерь, он все бы улыбался да творил Иисусову молитву. Это его дальние братья улыбались на римских аренах львам.

Пока они с женой моей вспоминали, где какая в Москве часовня и какой переулок, снизу прислали сказать, что молебен в Кувуклии начался. Мы поспешили сойти. Придел Ангела был

уже полон. Стояли плечо к плечу. О. Памва служил в Пещере. Оттуда, слегка приглушенно, звучал небольшой хор той же молодежи. «Христос воскресе из мертвых». Темно, тесно, жарко... но так тихо, так замерло все и соединилось в сопереживании того, что две тысячи лет назад совершалось в такой же вот тесной Пещере, с таким же камнем — отвалившись, перевернул он весь мир...

Когда служение кончилось, девушки, молодые люди, пожилые дамы, сгибаясь вдвое, вылезали из жаркой Пещеры, а мы поодиночке пролезали туда, прикладывались ко Гробу и подходили под благословение к о. Памве. Лоб у него был влажный, глаза сияли.

— Духота какая,— говорили певчие-барышни.— Временами даже стоять было трудно.

Но у всех взволнованные лица, умиленные. У некоторых слезы. Юноши покрепче. Но и у них настроение повышенное.

Впрочем, молодость берет свое: выйдя на паперть, студенты побежали — кто на колокольню, кто с аппаратом снимать барышень.

— В общем, шикарный скит,— донеслось откуда-то, некий Сережа или Митя от души выразил восхищение. Барышни на его зашикали.

— Разве можно так о ските?

— Да ведь я и говорю, что прекрасный...

* * *

О. Памва со своим выводком отплыл на большом боте, мы же еще остались. О. Тарасий и местный священник, о. Лаврентий, показывали нам приют при ските, вернее, само помещение — мальчики ушли куда-то на прогулку.

О. Лаврентий, молодой, бритый, с нерусским акцентом, облик уже финского православия, объяснял все подробно. Тут вот больница, тут столовая, это спальни.

— Вас, может быть, удивит, что здесь такой порядок,— говорил он.— Скажут: да нельзя и поверить, что дети действительно живут, это, мол, одна декорация. А, однако, они именно тут и ночуют, в этой столовой едят, и так далее. Это мальчики карелы, которых мы ведем в духе православия.

О. Тарасий перебил его.

— У них недавно печальный случай вышел... он и печальный, и замечательный. Мы мальчика-то этого только что в монастыре отпевали.

— А, это вы о смерти Георгия?

— Вот именно... он ведь как раз русский мальчик.

— И был очень хороший ученик,— спокойно сказал о. Лаврентий.— Вообще примерный воспитанник.

— Вообразите,— продолжал о. Тарасий, очень оживленно, даже показалось, что слегка он волнуется,— были дети на покосе, трясли сено, жарко знаете ли, разогрелись, побежали воды испить. Все выпили. Ни с кем ничего. Один этот Георгий...

— И надо добавить,— методически подкреплял о. Лаврентий,— что этот мальчик отличался особою серьезностью. Был весьма религиозен. Без сравнения с другими. Ему шел одиннадцатый год, а он уже отлично знал церковную службу.

О. Тарасий опять горячо перебил. В его небольших голубых глазах ясно чувствовалось волнение.

— Да, заболевает. Температура страшная, приезжает наш фельдшер, ну, успокаивает его, ничего, мол... пройдет. Скоро выздоровеешь. А он прямо и говорит: «Нет, не выздоровею. Я уж знаю. Каких бы докторов ни звали, я все равно помру». И так, видите ли, уверенно, точно и вправду знает. Жар же, разумеется, все пуще. Но он сознания не терял. Надо думать, воспаление легких?

О. Тарасий вопросительно оглянулся, как бы спрашивая воображаемого доктора.

— Он здесь и лежал, на этой кроватке в лазарете,— протянул о. Лаврентий, указывая на ослепительную, финской чистоты и аккуратности, постель. Правда, трудно себе представить, чтобы несколько дней назад умер на ней ребенок.

— Да, и главное-то: совсем незадолго до смерти (а он и хворал несколько дней), приподымается этот Георгий на кровати, смотрит так пристально, и говорит: «Видите, видите?» — «Нет, мол, ничего не видим».— «Да как же не видите, вон Он... Господь-то наш, Иисус Христос, вон, в ногах у постели стоит». Ну, кто был, смотрят, ничего не видят. А он даже волноваться начал. «Да ведь вот Он, совсем рядом, ведь свет-то от Него какой, ведь светлей солнечного, неужели не видите?»

Что-то перехватило горло о. Тарасию.

— Никто-то вот не видал, он видел. К нему, к ангельской-то душке наш Повелитель пришел, и прямо его к Себе на грудь принял... Это уж что говорить...

— Замечательный случай,— сказал покойно о. Лаврентий.— Я лично присутствовал, по долгу заведующего. Мальчик, действительно, утверждал, что видит.

* * *

Поблагодарив о. Лаврентия, мы пешком, неторопливо двинулись из скита. Ладога стала совсем синяя, с голубизною, со светлыми кое-где, стеклянными струями. В направлении Сер-

доболя вился дымок. Белая точка под ним, маленький «Сергий» возвращался с паломниками на Валаам.

— Я полагаю,— сказал о. Тарасий, сохраняя как бы взволнованность, но и задумчиво,— что мальчик этот был особенный, святой.

— Видимо, что особенный, о. Тарасий.

Дорога медленно, плавными полудугами, спускалась вниз. Справа, слева открывались леса, кой-где блестело серебро пролива. Далеко над лесом воздымалась колокольня монастыря.

Очаровательны такие монастырские дороги — на Афоне ли, на Валааме — меж лесов, в благоухании вечера наступающего, в тишине, благообразии святых мест. Незаметно будто бы, но нечто входит и овладевает путником.

О. Тарасий посмотрел на меня.

— Вам нравится у нас тут?

— Очень нравится, о. Тарасий.

И я, и спутники не были разговорчивы сейчас, но о. Тарасий, думаю, почувствовал, что над всеми нами некая власть его Валаама. «Валаамские монахи обожают свой остров,— говорили мне и раньше,— холодность к нему воспринимают как обиду».

— Раньше, знаете... тут не только зайцы, лисы людей не боялись. Прямо на дорогу и выходит, хвостом своим, помелом, помахивает. Ну, теперь много пораспугали.

Мы спустились к мосту через глубокий овраг. На другом берегу оврага опять церковь, небольшая, деревянная.

— Гефсимания. Раньше тоже тут скит был, а теперь в запустении. В том здании финны солдаты живут, артиллеристы.

«Мир» вошел-таки на Валаам: что делать! Ведь советская граница, по воде Ладоги, в каких-нибудь двадцати верстах.

Мы зашли в церковь, благоухающую кипарисом — весь ее резной иконостас, из кипарисового дерева, создан «трудами валаамских иноков».

А в стороне от церкви, на лужайке, окаймленной лесом, стоит бедная часовенка, совсем открытая. Огромная икона-картина «Моление о чаше» всю ее занимает. Впечатление такое, что просто среди леса икона, едва прикрытая от дождей,— типичный валаамский уголок, божественное, окруженное природой, природа, знаменованная святыней.

...В прозрачном вечере, спустившись вниз к заливу, мы нашли мотор и моряков наших, Светика и о. Рафаила, в мирном разговоре. Каменный крест высился над ладьей, на берегу. А над ним отвесные скалы, на вершине которых сосны.

И мы сели, чтобы продолжать наш путь по острову.

* * *

О. Николай, худенький, с бородкою, с кроткими серыми глазами, тихий и безответный, смиренным видением встает в памяти моей на плотинке близ Коневского скита. Сзади пустынька о. Дамаскина — мы не успели в этот раз осмотреть ее. Слева озерцо, узкое и длинное, с плавающими по воде желтыми березовыми листьями. И справа озеро, тоже малое, и тоже зеркальное. Кругом лес, тишина. Прямо перед нами церковь, и у входа о. Николай, схимник и пустынножитель, даже не иеромонах. Он не может вас благословить, но с каким глубоким уважением целуешь эту старческую, морщинистую руку... О. Николай ведет показывать свою деревянную церковь. Он всем видом своим как бы извиняется за то, что существует. В этой последней скромности его есть даже и таинственное. Семидесятилетний старичок, точно сошедший с нестеровской картины (схимник у озера), но вот такой тихий и особенный, что сядет он в лодку — лодка сама и поплывет. Зайцы придут кормиться из его рук, ласточка сядет на рукав. Может быть, он идет, а может быть, и уйдет туда, за церковь, растает в лесу.

— Он будет в ночь на воскресенье сослужить в этой церковке о. Федору, когда мы причащаться-то будем,— шепчет Михаил Алексеевич.

...Времени мало, и мы торопимся. Главное посещение Коневского скита еще впереди. А сейчас мы едем за о. игуменом, опять в скит Всех Святых. Какой полный день! В жизни нет одинаковости. То недели и месяцы, где все пусто, то часы, заставляющие тебя, в переполненности, молчать, быть наедине с налитым в тебя.

Мотор постукивает. Опустив руку за борт, чертишь пальцем по бегущей воде узор, разливающийся серебром. Смотришь на гранитные утесы. Они поросли мхом. Вот березка повисла над гладью, над стеклом залива. А там выше богородицына травка разметалась по луде лиловыми пятнами, под соснами, до которых и не доцарапаешься по отвесу.

Заехав за о. игуменом, мы возвращались в монастырь. На одном из поворотов залива справа выплыл большой бот о. Памвы с паломниками. Светик и о. Рафаил застопорили. О. Памва также. Корабли наши сблизились, двигаясь по инерции, потом мы дали немного ходу и выдвинулись вперед. Увидев о. игумена, молодежь с о. Памвою поднялась, стоя, хором пели они знаменитую песнь монастырскую: «О, дивный остров Валаам...» Она звучала здесь довольно стройно. О. игумен тоже поднялся, благословил издали паломников.

Потом сел, тихим своим голосом сказал мне:

— Приятно видеть здесь православных, русских. Это нам всегда очень радостно.

И указал о. Рафаилу рукой движение к монастырю. Светик нажал рычаг, наш мотор, как адмиральское судно, пошел вперед. Сзади плыли паломники.

И сквозь шум машины хор выводил свой однообразный напев:

Рука божественной судьбы
Воздвигла здесь обитель рая...

Приблизившись к мостику, под который надо нам было приходить к монастырю, о. Рафаил встал и опять сигнально протрубил в свой небольшой рог.

ВАЛААМСКИЙ ВЕЧЕР

Мы долго бродили у монастырской решетки, под деревьями, над проливом. Сквозь листья краснел закат. Ладога под ним сизела. Лес зеркально отображался в проливе — сосны росли кронами вниз. Потом прошел белый пароходик из Сердоболя, сломал зеркало. Сосны в воде затанцевали змеями.

Восьмой час, пора домой. И вдоль белых корпусов монастыря, мимо Святых ворот, мимо часовни, густой аллеей, темнеющей уже, мы выходим к белой нашей гостинице, утопающей в жасмине. Как раз час ужина. По гулким каменным коридорам пожилые женщины носят в номера еду. И в нашу узкую комнату, сдавленную тяжкими стенами, постучала со словами молитвы наша Ефросиньюшка.

— Подавать, барыня, прикажете? — обратилась к жене.

Мы сидим у стола, перед небольшим оконцем. Красная заря пылает в нем за жасмином. На скромных кроватях наших, на самой Ефросиньюшке ее отсвет.

— Пожалуйста, подавайте.

Ефросиньюшка, кажется, из Архангельской губернии. На ней платочек, вдовьего цвета кофта, грубые башмаки. Лицом бледновата, часто улыбается, обнаруживая неважные зубы, по-северному окает. В движениях довольно быстра. Подает, убирает с тем видом, что вообще ей всю жизнь, с утра и до вечера так и надлежит разносить, мыть посуду, работать в прачечной.

Вот она внесла на большом подносе гороховый суп и рис.

— А еще, барин, вам о-тец Лука, во-о, гостинчик... велел передать: как вы его звали, то нынче, значит с гостями управившись, к вам придет. Гости с пароходом понаехали.

Она ставит на столик нам нехитрые яства.

— Все и хлопочем, все вот и охлопатываем.

— Что же, вы давно тут при монастыре? — спрашивает жена.

— А давно, милая барыня. Без малого усю жизнь. Я уж тут приобыкла.

Она смотрит своими белесоватыми глазами, точно говорит: «где же мне иначе и быть-то, как не в монастыре?»

— Зимой, наверно, у вас тут сумрачно?

— Чего сумрачно! Гостей нет, гостиница пустая... ну, конечно, снегом все заметает, а мы ничего. Дорожки-то, во-о, протоптаны, мы в валенках. Ничего. На братию стираем, одежку чиним.

— А в городе бывали?

— Как же, как же... Я в Сердоболе была.

Мы едим пресный гороховый суп. Она стоит около двери, слегка улыбаясь.

— У меня полушалок поизносился, я к о. Луке. Он мне дал тридцать марок, говорит: «Съезди в Сердоболь, там себе и купишь». Разумеется дело, летом нельзя, а зимой ничего, съездила.

— В этом году?

— Не-е, не в этом, тому годков пять. С нашими же, с прачками. Ничего, хорошо съездили.

— Город-то посмотрели?

— А чего его смотреть? Город, как город. Полушалок купила, да и домой.

— Что же, теперь когда соберетесь?

Ефросиньюшка весело рассмеялась. Вопрос показался ей странным.

— Да ведь я тот-то полушалок без малого пятнадцать лет носила. А так у меня все, слава Богу, есть. Мне ничего не нужно. Ну, съездила разок, и чего там... Господь с ним, с городом. Мне ничего не нужно. Вот, свою недельку у вас отслужу, а там другая меня сменит, мы по очереди. Летом-то хлопотно, гостей много... вот и заговорилась с вами.

Ефросиньюшка вышла, а мы доедали монастырские блюда.

— Прелесть,— сказала жена.— Лет через десять съездит еще разок в Сердоболь.

В окне потемнело, когда Ефросиньюшка принесла самовар,— как следует, кипящий, с угарцем. Зажгли лампу, кажется, лучшую отысканную для меня в монастыре. От ее зеленого колпака, выпуклых узоров на резервуаре, пахнуло Калугой, детством. При таких лампах готовили мы когда-то уроки.

* * *

Насколько быстра и как бы безраздумна в простоте своей Ефросиньюшка, настолько медлен, сдержанно-серьезен, и весь

«в себе» о. Лука. Он постучал, вошел, перекрестился на икону, высокий, худой и слегка сгорбленный, в белом подряснике с черным бархатным поясом. Приблизился к столику, благословил яства и степенно сел. Он, как говорят, «хозяин» гостиницы. Целый день на ногах, целый день обращаются к нему с разными мелочами, и не раз, глядя на него, думалось, почему этот человек с мистическими темными глазами, худощавым чернобородым лицом, воистину иконописным — почему приставлен он к такому «мирскому» делу? Он очень живописен, раздавая ключи молодым послушникам и переводчикам, водворяющим туристов, но все-таки больше я его вижу в церкви, совершающим литургию, чем в холле монастырского отеля.

Он сел, спокойный и задумчивый, с несколько усталым и болезненным видом — иногда мне и вообще казалось, что он превозмогает физические боли. Разговор неторопливо налаживался. Временами о. Лука полузакрывал глаза, медленно проводил рукою по лбу, поправлял прядь волос.

— Да, приезжие бывают разнообразные. Конечно, русские нам ближе. Мы тотчас разбираем, кто православные паломники и посещают службы, кто туристы.

Это заметно, разумеется, и без его слов. Для иностранцев и туристов есть дорогой ресторан (ravintola, тут же при гостинице), паломники «вкушают» монастырскую пищу по номерам.

— Хотя, надо сказать,— продолжал о. Лука,— что и среди иностранцев попадаются интересные.

Он слегка улыбнулся. По его строгому лицу прошло что-то смягченное.

— Вот, например, появляются у нас однажды две девицы, американского происхождения. Мы, дескать, из Чикаго. Хорошо. Намерены посмотреть монастырь, пробыть два дня. Совсем молоденькие, сестры, очень живые, расторопные такие, всем интересуются. Покажи то, да покажи это. В церковь сейчас же отправились, приказали о. Борису в половине третьего утра к полунощнице в дверь постучать, будить, значит. (Прежде-то у нас в монастыре всем подряд в третьем часу стучали, и даже произносили особые слова: «Пению время, молитве час. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — а теперь этого более нет, лишь желающие заказывают.)

И на самом деле, побежали. Да вообще... и к ранней обедне, и к поздней, все как православные. Прошло два дня. Ехать бы уж пора. Но в последнюю минуту они говорят: «Мы бы еще два денька остались». Пожалуйста. Еще два дня прошло, они в удовольствии, по скитам ходят, служб не пропускают... А

можно, говорят, еще недельку у вас погостить? Разумеется, мол, очень рады. Они еще недельку, там еще... и никак уехать не могут. Да сколько прожили, чуть не три месяца! Они, действительно, оказались очень хорошей души барышнями. Так вошли в жизнь духовную... знаете ли, на службах прямо плачут. Поклоны бьют, перед святыней на полу простираются. Значит, доходило в сердце. И по-русски стали учиться. Мы, говорят, и раньше вашу страну очень высоко полагали и музыку вашу знаем, и ваших писателей, и даже немного в Чикаго уроки русского брали, а теперь прямо видим, это что-то удивительное... Служба церковная, пение...— а уж они по-русски и говорить немножко стали, и понимают. К схимникам ходили о вере беседовать. Смирение старичков наших их очень трогало, а особенно они сошлись с простыми нашими женщинами, услужающими, прачками, вот вроде вашей Ефросиньюшки. Они все говорили: «Это и есть настоящие люди и настоящая жизнь. Они у вас тут все праведницы, потому в труде и для ближнего, да для Бога живут». Ну, это им по их молодой горячности казалось, что праведники и праведицы все... однако же...

О. Лука остановился, полузакрыл глаза, потом открыл их. Важное, даже не без строгости выражение они имели.

— Однако же, монастырская жизнь и взаправду не забава. Они это почувствовали. И настолько увлеклись, что даже опростились. Завели себе высокие сапоги, платочками повязались, полушубки достали, и принялись с нашими бабами работать. Да прямо, знаете, белье стирают, в трапезной посуду моют, одежду чинят.

— Вот вам и американцы, о. Лука.

— Кто же они такие?

— Одна художница, а другая все петь на сцене хотела... пустое это она себе занятие придумала. Обе здоровые такие, сильные, но восприимчивые девушки.

...А почему уехали — (они и вправду могли бы на зиму остаться),— да отец забеспокоился. Куда, дескать, пропали? Мы даже из Выборга от американского консула получили запрос, что, мол, с такими-то девицами, где они там у вас? Тут они уже и собрались, но куда же поехали? Не то, чтобы домой, на родину, а прямым ходом в Россию. Один наш монах им рассказывал, что у него в Ярославской губернии родители и очень в беде живут, по крестьянскому делу. Они очень много с ним разговаривали, он их и русскому языку учил. И вот им запало в голову, не только что Россию посмотреть, но и у стариков этих побывать. Что же вы думаете, ведь разыскали! Нагряну-

ли к ним неожиданно, дескать, поклон с Валаама от сына привезли...

Мы все трое рассмеялись — представить себе только старых ярославских крестьян, к которым вдруг заявились американки!

— Видите, и не побоялись в чужой стране,— продолжал о. Лука.— Они, конечно, вообще смелые, рисковые девушки, что и говорить.

Двое суток в деревне прожили, на полу спали, тут знаете, и куры, и теленок, может быть, ну, как у нас в крестьянстве. Они подарков навезли, провианта с собой, одежки. И потом посылки из Москвы посылали. По душе-то ведь очень добрые.

О. Лука отпил глоток чаю. Помолчав минуту, продолжал:

— Которая художница, все меня рисовала, и теперь, слышно, мой портрет на выставке выставила...

Неизвестно, конечно, сколь удачно написала о. Луку «рисковая девушка», но что он как бы создан для портрета, иконы, это ясно, и даже среднего достоинства портрет даст по нем представление о духовной России века XVII — в том веке корни о. Луки.

— А знаете ли, где они, все-таки, сейчас? Опять в России. Только не одни. Их теперь мамаша провождает. Они через Японию двинулись.

* * *

О. Лука сидел довольно долго, рассказывал степенно и неторопливо, с той глубокой внутренней воспитанностью, которая для монахов типична. Потом встал, перекрестился, благословил нас, ушел — все это медленно, изящно и значительно. И не удивишься, что такое впечатление произвел он, да и другие наши монахи, на «восприимчивых» барышень.

Утром мы встретили его на обычном месте, у входа в гостиницу. Он был довольно оживлен.

— Вот только что к нам американский турист приехал. И оказывается, ихний знакомый. Сейчас же меня спросил. Через переводчика нашего передал поклоны, и что дескать из Японии и к нам заедут.

В ЛЕСАХ ВАЛААМА

...Под вечер мы отправились в пешеходное странствие — одно из чудеснейших занятий на острове.

«Пустынька о. Назария» недалеко от монастыря. Почти за

самой гостиницей начинается дорога, проведенная игуменом Дамаскиным. Она обсажена теперь разросшимися пихтами и лиственницами. Идет сперва чрез небольшое поле, а затем вступает в лес — прямая, ровная, поражающая гладкостью своей, хоть бы для автомобилей Франции. Но где найдете во Франции такое «растворение воздухов», благоухание, как в лесах Валаама?

Пройдя с версту вековым бором, все в сопровождении голубовато-зеленой хвои аллей, приходишь к странному, таинственному месту: более ста лет назад сюда уединялся игумен Назарий, духовный обновитель и восстановитель Валаама, «для молитвенного собеседования с Богом».

Влево от дороги, в лесу, и стоит каменный домик александровских времен. Очевидно, и тогда здесь было тихо и пустынно. Но теперь все приобрело еще особый отпечаток. Неутомимый Дамаскин построил небольшую церковь, завел кладбище, насадил питомник тех деревьев, которых нет, или есть мало в валаамских лесах: кедры, пихты, лиственницы, тополя, дубы, липы, орехи, «разнородные благовонные кустарники»... Деревья разрослись, и древняя келия Назария осенена такою тьмой зеленой, что когда вступаешь сюда, кажется, что уже чуть не ночь. Если лес и ранее благоухал, то тут попадаешь в настой благовония, особый воздух, соответствующий сумраку, тишине и величию места. Черный крест из гранита, трехаршинной вышины, встречает у келии.

Никого! Сам луч солнца вечернего едва пробьется сквозь силу дуба, ели, кедра — все равно, ему не разогнать прозрачных и благоуханных сумерек. Земля темно-коричнева, усеяна иглами, кое-где желуди, шишки. Подвигаемся к церкви. Вокруг нее кладбище — здесь упокоился сам игумен Дамаскин.

Сквозь ворота колокольни, стоящей отдельно, выходим в сторону озера. Стало светлее. Тихий, золотистый вечер ясно чувствуется. Вниз, направо, видно в лесу кладбище попроще, целый рой крестов. Далее, на лужайке, пасутся коровы.

Мы влезли на забор — деревенское наше «прясло», сидели на верхней жерди у кола, смотрели на Ладогу, прямо перед нами простершуюся, нежно-голубую, со светлыми струями, с туманным, дальним берегом — мягкая линия холмов. Тишина, пустынность. Та тишина и та пустынность, что дают особый, неизвестный в других местах мир. Это мир благообразного и святого мира, раскинувшегося вокруг, отблеск зеркальности Ладоги, сумеречного благоухания пустыньки и всей бесконечной ясности неба. Слабо позвякивают колокольцы стада — кроткой нотой.

...Мы недолго засиделись, все же, на заборе. Хочется повидать келию схимонаха Николая.

Вновь проходим через валаамское Campo Santo[1]. По большой дороге подымаемся лесом в горку — некогда Александр Благословенный задохнулся на ней, направляясь к отшельнику.

Самую келию, крошечную, укрытую теперь деревянным шатром-избою от непогоды и разрушения, посетили мы в смешанном чувстве тишины, почтительного благоговения и поэзии. Здесь сидел Александр...— жил тут простейший, скромнейший Николай, молитвенник и труженик, возделыватель огорода рядом, источник благоволения ко всему. Какой был он? Наверное, такой же старичок, каких я видал здесь, да и на Афоне: та же приветливая и смиренная Святая Русь.

Где жил, там невдали и похоронен. Могила тоже небогата, тоже осенена разросшимися елями. Под деревянным навесом на столбиках, окруженным решеткою, простой деревянный гроб, крест с Распятием. Колода изъедена временем. И весь безмолвный этот угол в вечереющем лесу, глубоком его молчании, так же неказисто-прекрасен, как был, наверно, сам нерачистый трудник «зде почивающий».

На Валааме есть обычай у паломников: отколупывать от этого гроба, пальцами и ногтями, щепочки. Кому удастся отколупнуть, та щепочка «помогает от зубной боли».

Мы поклонились праведнику и взялись за дело. Не так легко, дерево хотя ветхое, а держится. Но все-таки отломили — очень немного, вроде больших заноз. Не знаю уж как насчет зубов, но с собою на чужбину увезли, как шишки Валаама, как горсточки его земли.

* * *

«Странствие по святой земле», так можно назвать дальние прогулки по лесному острову. Мы опять вышли на дорогу и не торопясь, в ритме спокойном и облегченном, двинулись далее. Теперь аллея пихт и лиственниц окончилась. Дорога стала проще, с колеями, кой-где песок на изволоках, тетеревиная травка, брусника. Лес не такой ровный и великолепный — с явными лысинами от бурь. И все диче, глуше... На одном повороте, спускаясь в ложбинку, встретили фигуру в подряснике. Можно было подумать, что монах, но вблизи мы узнали его сразу и заулыбались друг другу: кэмбриджский студент-теолог, англичанин чистейший, застенчивый юноша, живущий в гости-

---

[1] Святое поле — кладбище *(ит.)*.

нице нашей. На всех службах, в соборе ли наверху, или в нижней церкви у раки Преподобных — всюду мы его встречали, как и с русским чайничком в коридоре гостиницы. Он живет на Валааме уж недели три, одевается по-монашески, комнатка его вроде иконной лавки. Он очень усердно бьет поклоны, по своему требнику следит за службой и мечтает посетить в Париже Сергиево Подворье, Богословский институт. А сейчас, с котомкой, палкой, запыленный и вспотевший, но веселый, радостный, возвращается из такого же странствия, как и мы.

На слабом немецком обмениваемся несколькими словами с английским юношей о русских святынях. Он был уже там, куда мы идем, и родные слуху нашему имена Сергий, Зосима и Савватий необидно искажаются в его нерусском выговоре, приобретают новый лишь оттенок. Мы расходимся. Он к монастырю, мы дальше, в глубь лесов.

Долго идем прямою и пустынною дорогой. По сторонам, кое-где, сложены саженями срубленные дрова. А в конце, как бы завершая длинный перегон, часовенка. Это и есть «Сергиус» студента — Преподобный Сергий Радонежский.

Ястребок сидел на одной из двух елей, ровно осеняющих часовню. Ели огромные, прямые. И не·только кобчик, целый глухарь в ней укрылся бы. Маленький же разбойник издали нас увидел и снялся.

Поднимаемся на крылечко. Как всегда на Валааме, дверь не заперта. Часовня ветхая, средь многих, мною виденных, одна из наиболее намоленных, уютных. И поставлена-то будто так, что вот идет паломник, длинною стрелой дороги, притомится...— тут и зайдет к Сергию Радонежскому. Может посидеть на крыльце на лавочке, а потом — внутрь. Там же есть скамейки, и подобие иконостаса, разумеется, икона Преподобного. Вот он святой Сергий! Более десяти лет назад, в глухом предместье парижском, дал он мне счастье нескольких месяцев погружения в его жизнь, в далекие века родины, страждавшей от татар, усобиц, унижений...— и над всей малой жизнью русского писателя вне родины, оплодотворяя, меняя ее, давая новые мотивы, стоял его облик. А теперь довелось и как бы «встретить» Преподобного...— в диком лесу, вроде того, где сам он жил, на земле русской. Ведь к такой, совсем к такой часовенке, где только что сидел, молился англичанин, вполне могли бы подходить медведи Радонежа, и сама эта часовенка мало чем отличается от первобытной «церквицы» на Маковице, которую собственноручно рубил св. Сергий. Да и весь крестьянский, «труднический» и лесной дух Валаама так близок духу Преподобного!

У иконы лежал акафист, напечатанный на картоне, с ручкою, его удобно держать пред собой. Прочитав его, приложившись к иконе, мы тронулись далее.

«Помилуй нас, чтущих пресветлую память твою, да зовем ти: радуйся, Сергие Богомудре».

Идти было легко.

* * *

В одном месте коровы целым стадом вышли на дорогу, позвякивая колокольцами, преградили нам путь. Жена испугалась было. Но мы прошли, конечно, беспрепятственно. Они глядели на нас удивленно прекрасными, стеклянно-бархатистыми глазами, выражавшими некое коровье тупоумие, но не злобу. Скоро осталось от них только дальнее позвякивание, а впереди, сквозь редкие стволы сосен и елей туманно стала сиять Ладога — мы подходили к оконечности валаамского острова.

Добрались до коровника-фермы. Вышедшая из дома женщина указала дорожку. И мимо скотного двора, каких-то прачек, ожесточенно стиравших, мы прошли к большой часовне, почти церкви, Савватия и Зосимы Соловецких.

Здесь, сидя на крылечке, можно любоваться вновь на серебристую Ладогу. Отделенный небольшим проливом, выступает невдалеке, крутыми скалами, обрывающимися в воду, так называемый Святой остров — одно из замечательных по красоте мест Валаама. В пятнадцатом столетии там жил св. Александр Свирский, позже основавший собственный монастырь на южном берегу Ладоги.

Мы пробыли тут довольно долго. И сама часовня показалась нам суровей и беднее Сергиевой (хотя она гораздо больше). Или уж подсказывает так воображение? Соловки? Крайний север, океан Ледовитый?

Мне все вспоминалась именно здесь картина, виденная у игумена, в его покоях: зима на Валааме, скалистый берег, как на Святом острове, хмурое озеро, полузамерзшее, ледяные сталактиты по берегу и рогатый олень. Закинул назад голову, смотрит в сумрак и ночь Севера.

* * *

Обратный путь наш был спокоен, беспрепятствен. Леса в обратном направлении проходили перед нами, точно отражение в зеркале. Иногда новые дороги ответвлялись, но мы не сбились. Стадо уже ушло. Солнце подходило к закату, в лесу легла

прозрачно-синеватая тень. Мы никого не встретили из людей. На одном перекрестке белочка пробежала по земле у самой дороги, схоронилась в кучу хвороста. Мы остановились. И она притулилась. Кто кого перемолчит? Мы стояли минуты две. Она не выдержала и, шурша цепкими лапками, развевая хвост пушистый, вознеслась по сосне до высокой ветки. Там ей покойнее. Но на всякий случай прячется за ствол, только хвост веет оттуда, мордочку же высунула, и как блестят маленькие, острые глазенки...

А потом и кончились леса. Мы были благодарны им, и жаль даже было расставаться. У монастырских зданий бегали и хохотали молодые послушники — «кафтанники», как их зовут здесь. На фронтоне белой гостиницы сиял еще последний отблеск заката. У подъезда подвода с чемоданами только что приехавших гостей — пароходик привез их из Сердоболя — и монах разгружает ее. О. Лука, высокий, худой, с мистическими темными глазами, окруженный переводчиками в подрясниках, распределяет прибывших по комнатам и раздает ключи. В огромных коридорах зажгли лампы. Ефросиньюшки, Авдотьюшки разносят по номерам щи, гороховый суп, рис.

Мимо нас, в своем черном подряснике с желтыми отворотами, держа в руках миску, проходит английский Алеша Карамазов.

АЛЕКСАНДР НА ВАЛААМЕ

В августе 1819 года игумен Иннокентий получил от министра духовных дел Голицына письмо — на Валаам собирается государь, проездом из Архангельска. Не желает никаких торжеств и встреч. Едет с одним камердинером, как обыкновенный путешественник. Так что не нужно ни колоколов, ни риз, ни крестов.

Иннокентий сам был простой человек, из крестьян Олонецкой губернии. Уже занимая большой пост в монастыре, на себе таскал кирпич для стройки и трудился на рыбных ловлях. Наверно, и в других ценил простоту. Все-таки император Александр, победитель Наполеона, властелин России и Европы в виде «штатского» человека с камердинером...— и принять его, как заурядного паломника, какого-нибудь купца из Петербурга! Это казалось странным. Поколебавшись, посоветовавшись между собой, решили встретить по-настоящему.

Навстречу государю в Сердоболь выслали монастырское судно. В Сальму послали эконома Арсения — там стояло другое судно, и Арсений должен был везти Александра откуда тот пожелает: из Сальмы или Сердоболя.

Александр прибыл в Сальму поздно вечером. Иеромонах Арсений поднес ему на блюде просфору с вынутою частью. Император подошел под благословение, поцеловал Арсению руку и сказал, что путь его — на Сердоболь. Подтвердил, что никакой встречи не надо. Не желает также, чтобы ему кланялись в ноги и целовали руку.

Арсений поскакал тотчас в Сердоболь, послав нарочного в обитель. А гость, как бы отклонявший на этот раз все, в чем прожил жизнь, утром выехал вслед за ним.

Сумрачно было на Ладоге 10 августа 1819 года! Тучи, такой сильный ветер, такая волна, что государь в Сердоболе спросил даже Арсения, можно ли в такую погоду выезжать? На что эконом ответил: «И в худшую плавали, ваше величество, с помощью Божией». Последнее соображение, может быть, и определило все. Александр с экономом и камердинером тронулись.

В монастыре же следили за озером и с колокольни, и с передового островка, где скит св. Николая (с давних пор зажигался ночью в часовне фонарь — окна выходили во все стороны и фонарь служил маяком). Но прошел день, вечер наступил, непогода не унималась, а судна все не было. Когда стало совсем темно, дозорные ушли, решив, что сегодня никого уже не будет. И даже, совершив братское вечернее правило, легли спать.

Не в укор им говорится дальнейшее — они не виноваты — но вышло как бы и по-евангельски: жених явился «во полунощи», а светильники их погасли. Его не встретили.

Более трех часов плыл в сумерках, а потом и в полной тьме император Александр, и если бы не огонек св. Николая, покровителя мореходов, на пустынном островке, то и неизвестно, как бы ввел в узкий пролив иеромонах Арсений своего высокого гостя.

В тишине и мраке причалили. И лишь когда подымались наверх, по гранитной лестнице, в монастыре узнали о приезде. Зазвонили колокола: монахи спешно стали собираться. Шли во тьме по монастырскому двору с ручными фонариками. А гость стоял на церковном крыльце. Подходили клиросные, в алтаре облачали старого Иннокентия, уже более полувека трудившегося в монастыре, а теперь полубольного (не мог бы, как прежде, носить на себе кирпичи).

Александр ждал покорно. Эти минуты, в бурную валаамскую ночь на паперти перед храмом, в который не мог он еще войти, были для него, вероятно, не совсем обычны.

Игумен Иннокентий, благочинный Дамаскин, эконом Арсений и другие считали его высочайшим начальством — монастырь,

как и вся Россия, его «вотчина». Заехал он к ним, объезжая ее. Сперва властитель, а потом паломник — этого властелина встретили не совсем удачно и, наверно, были смущены. Но император держал себя не как начальство, не как ревизор. Он приехал, действительно, богомольцем. Что принес с собой в сердце, уже столько пережившем? Мы не знаем. Но всего меньше можно думать, что свет и мир — этого-то ему как раз и недоставало.

* * *

Восемнадцать лет был уже Александр императором, не просто человеком, а существом — символом, воплощавшим Россию, мощь ее. Не так легко было снять одежду, к нему приросшую. И по логике жизни, «паломник» должен был ждать, пока в соборе «приуготовляли», и облачившийся Иннокентий, с крестом, в ризе, при открытых царских вратах, встретил посреди храма императора. Люстры сияли, хор пел многолетие. Александр приложился к иконам, подошел под благословение к игумену и по очереди ко всем иеромонахам, каждому целуя руку. Себе же запретил кланяться земно.

В нижней церкви поклонился раке над мощами свв. Сергия и Германа, а потом пил чай у игумена, в той же небольшой, но тихой и чистой квартирке с цветами, сияющими полами, маленькими окнами в толстенных стенах, где и теперь живет игумен, только теперь длинный ряд портретов игуменских, начиная с Назария, украшают соседнюю с гостиной комнату заседаний монастырского совета.

За чаем Александр с игуменом сидели, «старшая братия» стояли. Государь говорил, что давно собирался на Валаам, да задерживали дела. Разумеется, расспрашивал обо всем, касавшемся монастыря. Разумеется, и никак не мог перестать быть императором, хотя, видимо, этого хотел.

После чая его отвели в царские покои, над Святыми вратами, во внешнем четырехугольнике монастыря. Вероятно, как теперь, и тогда под окнами были густолиственные деревья, мрачно они шумели, как и в ту ночь, страшную и роковую, что принесла ему раннюю корону.

Хорошо или плохо спал император в царских покоях пред пустынным суровым пейзажем Валаама, рядом с храмом апостолов Петра и Павла, мы не знаем. Но уже в два часа ночи он был у дверей собора — пономарь едва успел отворить их. Очевидно, так рано его не ждали, и встал он сам, его не будили, иначе все было бы уже приготовлено, пономарю незачем было

бы спешить. Три-четыре часа отдыха после дальней дороги не так уж много... И не говорит ли это скорее за то, что и сам отдых не так уж был безмятежен?

Александр отстоял утреню в соборе, раннюю обедню в церкви Петра и Павла, потом осматривал монастырь и пешком отправился по пустынькам в лесах.

Современный валаамский паломник может восстановить путь императора. Теперь к «пустынной келии» покойного схимонаха Николая проведена прекрасная дорога, обсаженная пихтами и лиственницами. Тогда в таком виде ее не было. Государь шел пешком, подымаясь на изволок, слегка задохнулся.

— Всходя на гору, всегда чувствую одышку,— сказал благочинному Дамаскину, сопровождавшему его.— Еще при покойном императоре я расстроил себя, бегая по восемнадцати раз с верхнего этажа вниз по лестнице.

Но, несмотря на одышку, к Николаю дошел.

Этот схимонах Николай был прежде келейником знаменитого игумена Назария, духовного восстановителя Валаама. Назарий ввел его на духовный путь, и он поселился отдельно, в тесной лесной келии, три аршина на три. «Жизнь его протекла в трудах и непрестанной молитве». Вот и все, что мы о нем знаем. Но и сейчас видим крохотную келийку, подлинно избушку на курьих ножках, где обитал добрый дух в виде старичка Николая. Теперь над келийкой деревянный шатер, как бы футляр-изба, защита от непогоды и стремление дольше сохранить первоначальное.

Как ни убого обитал, однако, добрый дух, именно к нему-то и пришел Александр, несмотря на одышку и на то, что по дороге пришлось чуть не ползком пролезать под какую-то изгородь. Победитель Наполеона, умиротворитель Европы, въезжавший с триумфом в Париж, сгибался вдвое, чтобы войти в хижину смиренного Николая. (Дверь эта, действительно, скорее дыра, чем дверь.) И вот, все-таки вошел. Сидел на деревянной табуретке у того самого столика, что и сейчас стоит в келии, и при таком же бледном и унылом свете из оконца игрушечного разговаривал с Николаем о духовной и аскетической жизни. Мало это походило на Тильзит или на заседания Венского конгресса.

Отшельник предложил ему три репки со своего огорода, своими руками выращенные,— все, чем мог угостить. Александр взял одну из них. Она была неочищенная. Благочинный Дамаскин, стоявший рядом, спросил нож, чтобы очистить. Александр сказал:

— Не надо. Я солдат, и съем ее по-солдатски.

И зубами начал отдирать кожуру. На прощание же поцеловал Николаю руку и просил благословения и молитв.

* * *

Вернувшись в монастырь, государь снова пил чай в игуменских покоях. Его угощали фруктами из знаменитого, и сейчас существующего, монастырского сада, вполне похожего на Эдем. Александр ел крыжовник и малину (нынче замечательна красная смородина). А потом ему поднесли описание монастыря и — жизнь есть жизнь — кое о чем практическом попросили: о прибавке к больничному штату пятнадцати человек, о подворье в Петербурге. Он обещал все исполнить.

После полудня возили его в шлюпке по скитам, и Александр любовался красотою вод, лесов и гранитов валаамских. А вернувшись, отстоял малую вечерню и правило. Позже вышел и ко всенощной. Поместился у столба, во время поучения сидел на скамейке с братией, как полагается. Старый слепой монах Симон тронул рукой сидевшего с ним рядом государя и спросил тихонько: «Кто сидит со мной?» Александр ответил:

— Путешественник.

А на другой день, на ранней обедне, начавшейся, как и теперь, в пять часов утра, стоял рядом с пустыннослужителем Никоном, глубоким стариком, опиравшимся на костыль и так выстаивавшим долгие службы. От усталости в этот раз Никон выпустил костыль, поскользнулся и упал — Александр поднял его и усадил на скамью.

По окончании же литургии, на напутственном молебне преп. Сергию и Герману, когда вынесли Евангелие, государь стал на колени. Иннокентий положил ему на голову руку и, держа сверху Евангелие, читал те самые слова, за которыми и плыл сюда в бурную ночь Александр Благословенный, он же грешная и мятущаяся христианская душа, ищущая успокоения:

«Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим...»

* * *

«Путешественника» провожали по-царски. Звонили во все колокола. Клиросные шли к пристани впереди, пели тропарь и догматик. За ними братия и государь с игуменом. Медленно отваливало судно, медленно шло проливом под гудение колоколов. А пение сопровождало путешественника и на Ладоге: по его просьбе, пели монахи хором Спаси Господи, Херувимскую и другие песнопения.

Путешественник никогда более не увидел Валаама. Политик и дипломат, военачальник, кумир офицеров, чарователь дам,

освободитель России, через грех взошедший на престол, начинал последние годы своей жизни. Известная легенда говорит, что он ушел в заволжские леса под именем старца Федора Кузьмича. Верить легенде или нет, все пребывание Александра на Валааме есть как бы первый шаг, не всегда удававшийся, но первый опыт *новой* жизни, вне короны и скипетра. Если ушел, тогда все цельно и ясно. Если не ушел, не успел, как долго не мог собраться и на Валаам, то по складу души своей и поведению в последние годы *мог* уйти: страннику, каким видим мы его на Валааме, неудивительно продолжить странствие свое. И не напрасно в храме, над его головой, звучал голос престарелого Иннокентия, читавшего вечные слова вечной книги:

«Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим».

НОЧНОЕ СТРАНСТВИЕ

...День выдался полный. Встали рано. Ездили вдаль на Святой остров, вечером были в Соборе у всенощной. Очень устали. Знаю это настроение и по Афону: перед серьезным временный упадок, нервность... Но уже все сговорено, налажено, отступать поздно.

Забежал Михаил Алексеевич.

— Значит, едем? Не передумали? Отлично.

О. Лука дал ему ключ от лодки и от двери гостиницы.

— Только не опаздывайте. Ну, да в четверть второго я вам постучу.

Мы легли в десять. Пружины матрасов кольчатых исполняли тихую музыку каждый раз, как переворачивался. Но мы успели заснуть и успели проснуться — не пришлось подымать нас. Ровно в два в темном вестибюле встретились со спутниками. Чрез минуту были уж под открытым небом.

— Не можете себе представить,— говорил нам еще раньше о. Лука,— какая прелесть у нас на Валааме весной. Выйдешь в третьем часу к утрене, светает, соловьи какие, и сколько всяких птиц заливается перед восходом солнца, это удивительно. Красота мира Божьего... А какие ароматы!

Сейчас конец лета. Ни белых ночей, ни соловьев нет. Просто настоящая ночь, тишина, звезды, сырая дорога вниз к пристани, в осенении огромных дерев. Только слева чуть бледнеет край неба, над лесами Валаама. Никого! К трем часам станут собираться в Собор, но сейчас время еще сна, даже для монахов.

Мы спускаемся, разговаривая негромко — точно предприятие

наше тайное...— или вообще так тих этот последний час ночи северной, что неудобно его тревожить?

Трава у пристани вся мокрая. Михаил Алексеевич со Светиком углубляются в некий монастырский док, где хранится мелкая флотилия: лодки, мотор малый, большой. Оттуда они спускают на воду нашу ладью, я подхватываю ее у пристани. Жены слегка подрагивают в холодке ночном, на пристани, седой от росы. Тихо, но оживленно разговаривают.

Мы садимся, отваливаем.

За рулем Светик в своей гимназической кепке, на веслах мы с Михаилом Алексеевичем. Могу ли я вспомнить, когда греб в последний раз, вот так на обыкновенной русской лодке, по русскому озеру? Надо отсчитать столько лет назад, что жутко становится. Но крепко в нас сидит давнее, и сейчас, на веслах этих, чувствую себя обычно, так и полагается, и все это я знаю, все во мне.

Пристань, взгорье в зелени, громада Собора над нею отодвинулись от нас, отделились пестросеребристою путаницей мелких стеклянных дуг и змей, всколебленных лодкой. А впереди полный покой, нежный отблеск звезды утренней в серебре воды, кисейка тумана. Да, как сказал о. Лука: «Красота мира Божьего»...

У часовни Богоматери Владимирской мост перекинут через горло озера, под этим мостом надо проходить. Помню его еще с поездки на моторе с о. игуменом, тот самый мост, пред которым трубил в свой рог о. Рафаил. Мы не трубим — и не во что и незачем: кто попадется нам навстречу в этот тихий час! Мы разгоняем лодку, складываем весла. Оборачиваюсь. Темный свод моста зеркально опрокинут в воду и замкнулся темным кругом в ней, в этот круг, как лошадь в цирке, прорывая его, влетает наша ладья. Несколько мгновений в темноте, а потом вновь озеро, лужайки справа, камыши у берегов и лес, лес. Вот так тишина! Лишь шуршит лодка, вода мягко булькает, да весла наши постукивают в уключинах, на концах своих плещут. Леса так же отобразились в воде, как темный свод: те же леса, только вниз макушками.

Мы гребем спокойно, ровно. Все молчат. Проходим мимо Смоленского скита. Лодочка схимонаха Ефрема покачивается в осоке. И сейчас так же, как мы, с другого конца Валаамского острова, гребет на такой же скорлупке схи-игумен Феодор, старец, которого мы посещали: держит путь, как и мы, на Коневский скит, к о. Николаю. Там будет служить литургию, в маленькой скитской церкви. Там будет нас исповедывать и причащать — для того и плывем ни свет ни заря.

...Леса, леса. То совсем близко подходя к воде, то выстра-

иваясь на скалистых, красноватых обрывах,— а все сосны те же, заповедные валаамские. И так же глядятся в озеро. Звезды бледнее. Пролетели две утки — резвым, острым полетом. У маленькой пристани мы причалили.

* * *

В четырнадцатом веке некий монах Арсений пробрался с иконою Богоматери с Афона в Новгород и оттуда на Валаам... (Подумать только, что это было за путешествие! Но вот являются же люди, которым все нипочем.) Арсений пожил на Валааме и двинулся далее. Сел в лодку, взял икону свою и поплыл по Ладоге. В нескольких десятках верст от Валаама пристал к дикому островку, там и поселился. Все тогда вокруг было еще языческое. И на острове совершались жертвоприношения — на огромном камне закалывали коней. Арсений со своею иконою все это одолел. Возник там монастырь с братией, прекратились жертвоприношения. И название остров получил от того монастыря — Коневец. Арсений же умер,— перешел в историю, как святой Арсений Коневский. Монастырь, им основанный, существует и поныне.

В честь иконы, доведшей Арсения с Афона до Коневца, «Богоматери Коневския», и сооружен скит на Валааме.

...Михаил Алексеевич запирает лодку на ключ, мы входим в лес. Уже около трех, по-прежнему полутемно, а здесь, средь черных елей, вовсе тьма. По земле все засыпано сухою хвоей, меж стволов с корявыми корнями тропка — совершеннейшая сказка. Не хватает папоротника да избушки. Но у озерца, внутреннего, узкого, становится немножко посветлей. Мы идем берегом. Березы кое-где белеют. Листики на воде недвижны, а вода темно-стальная, из нее опять лес смотрит, перевернутый.

Идти недалеко, до моста на ту сторону. Вступаем на него. Справа опять озерцо, пошире, попросторней. Перед нами, на подъеме, в сереющем сумраке, едва тронутом прозеленью, небольшая лесная церковь. Направо домик о. Николая. Это и есть Коневский скит.

О. Феодор, высокий, крепкий старик за семьдесят, уже здесь, раньше нас доплыл со своего островка. Худенький, тихий о. Николай, небыстрый, легкий в движениях, добрый дух местности этой, зажигает в церкви у икон свечи, налаживает кадило... ему тоже за семьдесят.

Начинается исповедь. О. Николай выходит, в церкви один о. Феодор. А мы — кто на скамеечке пред озером, кто на церковном крыльце, кто взад-вперед ходит по дорожке, дожи-

даясь очереди. По одному подходим к аналою о. Феодора. Забудем ли когда это утро, сумрак, росу, стекло озера с отраженьем Юпитера, пустоту слабо освещенной церкви, Евангелие, епитрахиль о. Феодора, душную теплоту под нею и сверху мощный, как благословенный гром, разрешительный возглас — электрически сотрясающий.

Потом началась литургия. Много веков назад, в церковке еще попроще, в ризах много скуднейших, но в чем-то и сходственно, служили литургию на Маковице, близ Радонежа. К той, как и к этой, могли бы, кроме людей, выходить из лесов смиренные звери, ждать у церкви.

Служения этого тоже не забудешь,— маленькая, с голубоватым иконостасом в белой с позолотой резьбе церковь, в полумраке, с несколькими свечами у образов, о. Феодор с доброю силой новозаветного Саваофа во всем существе. Тонкий и тихий, старенький ангел Николай на клиросе, небольшим, но верным голосом исполняющий песнопения...

К причастию в церкви стало светлее. Когда литургия окончилась, мы прикладывались к иконам — вот она, с левой стороны, Богоматерь Коневская с Младенцем: на руке Его два голубка, победители диких консубийц. (Лишь на этой иконе Спаситель и изображен с голубками.)

Выходим из церкви. Уже рассвело. Зверей нет, но птицы поют свое, все полно утреннего торжества, славы, радости. Вот-вот встанет солнце. Леса в дымке, озеро курится у берегов нежным, розоватым туманом. Роса, роса... Воздух — кристалл. Юпитера уже не видно.

О. Николай подошел, поздравил с принятием св. Тайн и сказал негромко, улыбаясь:

— А теперь ко мне, милости прошу, чайку откушать...

Михаил Алексеевич стал было сопротивляться — мы стесним, да хлопоты...

Бесполезно.

* * *

Жилье о. Николая совсем недалеко от церкви — обыкновенная русская изба на берегу озера. Сени, две комнатки, очень светлые, большая печь. Хотя он схимник, но никакого гроба. И вообще, ничего подчеркнутого, нарочитого. (Не очень вяжется с ним и мрачное схимническое облачение — черная мантия, куколь. Белым расшитые кости, череп, тексты св. Писания — я не видал его в этой одежде.)

Мы сели у стола. В углу иконы, в окне озеро, с каждой

минутой все светлеющее. О. Николай, в сереньком своем подряснике, возится с самоваром. О. Феодор грузно сел за стол.

— На это-то на озеро, миленькие мои, в прежние времена прилетали птицы весною, пара гагар, и гнездо вили прямо на камне, недалеко от моста. Выведут двоих птенцов, а осенью вечером и улетят — Бог знает куда. Но на следующий год опять пара, и на том же гнезде сидят... Тварь это место любит, и не боится.

О. Николай внес довольно большой самовар.

— Вот, о. Николай уж, наверно, с ними был знаком.

О. Николай поставил самовар клубящийся на стол, большими, кроткими своими глазами посмотрел на о. Феодора.

— Гагарочек-то? Не-е... не видал. Это давно было. Раньше меня.

И принялся разливать чай. Старческими, заскорузлыми руками подавал каждому стакан, слегка кланяясь и улыбаясь. О. Феодор был нынче несколько грустен. Видимо, ему нездоровилось, но все-таки, по деятельной, жизненной натуре, разговор вел за часм он, попивая с блюдечка, дуя, отгрызая кусочки сахара.

— Сегодня-то хорошо, миленькие,— говорил своей скороговоркой,— лето. Хоть и рано поднялся, а плыть было способно, все вижу. Ну, а прошлой зимой так чуть не пропал... Знаете, лед у меня в проливчике взломало, а мне под вечер надо в монастырь. Вышел на пролив, сначала будто видно, а то и вовсе стемнело, или уж это глаза плохо видят, да и заметать начало. Дорожка знакомая, метелица теплая, чуть что не мокрая, иду, иду... ничевошеньки не вижу. Все заносит, заметает, глядь, тропки и вовсе нет... тьма вокруг, ветер, снег. Знаю, тут где-то полынья должна быть, и все-таки тычусь, то вправо, то влево... что же сказать: прямо сбился! Не могу уж и сообразить, где мой островок. И раз даже ногой так щупаю — вот он самый край льда, чуть в воду не угодил. Тут уж не токмо к монастырю, домой бы добраться, где и келья не знаю... Стал Николаю Угоднику молитву читать... а все-таки страшно мне было тогда, прямо скажу... ну, так-то вот в темную ночь, да одному в оттепель утонуть.

Он вздохнул. О. Николай сидел на краешке лавки, как будто стесняясь.

Михаил Алексеич отодвинулся совсем под иконы.

— Да вы как следует, о. Николай. А то уж вы такой смиренный...— сказала жена Михаила Алексеевича.

О. Николай посмотрел на нее.

— Я-то смиренный? Я даже очень гордый.

Все улыбнулись.

О. Феодор продолжал:

— И насилу-насилу домой доскребся. Бога возблагодарил. Да... на другой день посмотрел, ведь вот по самому краю полыньи этой шел, прямо на вершочек от смерти. Что же поделать, смерть уж есть смерть... так, видно, человек устроен. И лет сколько, и знаешь уж, что скоро, а все же таки...

— Скоро или не скоро, о том и ангелы небесные не знают,— сказал тихо о. Николай.

Он вообще мало говорил. Смотрел, кто допил чай, тихо и ласково предлагал еще. Потом сидел молча, на фоне окна, фоне озера, так к нему подходившего, все светлевшего, окаймленного лесами, по верхушкам которых ярко блистало теперь солнце.

Когда зашел разговор о любви и трудности любить людей, о. Николай вставил коротко:

— Молиться-то легко, а любить всего труднее.

И подошел к Светику, погладил по голове, предложил третий стакан с такою приветливостью, что трудно было поверить, чтобы этому сквозному старичку трудно было любить, как и невозможно представить себе, чтобы он был гордец.

В разговоре об отношении к врагам вставил тоже недлинную фразу:

— За них нельзя, как за врагов, молиться. Горячих углей на голову насыплешь. Надо, как за друзей.

* * *

Было часов около шести, когда мы распрощались. О. Николай все кивал нам и улыбался. С о. Феодором мы перешли вместе мостик, он взял налево, мимо пустыньки о. Дамаскина, мы вправо, в полном золоте утра, к своей прикованной у пристани ладье. Вот она, бессонная ночь! Никакой усталости — радость.

Снова мы с Михаилом Алексеевичем на веслах. Светик за рулем, жены на скамеечке за нами. Озеро все стеклянное, по-утреннему курится.

— Будто сейчас закипит,— сказал Светик.

Плавный, легкий ход, шуршанье, постукиванье уключин. В монастыре зазвонили к Достойной.

НИКОЛЬСКИЙ СКИТ

— Дойдете до пролива, там на берегу било висит. Постучите в него, с островка о. Милий выедет, на лодке. А иначе к нему и не пробраться.

С утра накрапывал дождичек, тихий, не предвещавший непогоды. К завтраку перестал. Было тепло, на небе сизые облака. В третьем часу, лесом, мимо мокрых папоротников, лопухов, мимо жилья финских солдат спустились мы к озеру, дошли до каменистого берега. Вот оно и «било» — небольшая железная доска, подвешенная на столбе. Сзади нас главный остров Валаамский, перед глазами пролив и островок с Никольским скитом — небольшой, плавно-возвышенный, в соснах, из которых подымается белый с золотою главой храм св. Николая Мирликийского.

Звук била резок, пронзителен. «Бейте сильнее,— говорили в монастыре.— И ждите. Если о. Милий куда и отлучился, все-таки услышит».

Мы несколько раз ударили, не очень сильно. Приготовившись ждать, сели на берегу. Но ждать почти и не пришлось. На островке что-то зашевелилось, небольшой серый червячок сполз к воде, потом лодка двинулась в направлении к нам. По мере того, как подходила, яснее стала в ней фигура в скуфейке, сером подряснике.

О. Милий оказался довольно худеньким и несильным монахом, полуседым, с мелкими чертами простонародного лица, маленькими глазками, тоже серыми, глядевшими спокойно, не без равнодушия. Мы поздоровались с ним, и он с нами — с таким видом, что вот он путников таких каждый день возит, и все одинаковые, плохого не сделают, а просто мелькнут на минутку, и конец — вновь куда-то исчезнут.

Он греб спокойно, ровно, на озере чувствовал себя, как дома. Мы подплывали. Кроме церкви, ясно виден был теперь большой белый дом, двухэтажный.

— Тут братии раньше порядочно жило,— сказал о. Милий, указывая на него.— А теперь я один.

— Совсем один? На всем острове? — спросила моя жена.— Вам не страшно?

Он посмотрел на нее маленькими своими глазками, как бы с удивлением, точно на ребенка.

— А, конечно, один. Чего страшно? Ничего не страшно. Вечером зажгу маяк, да помолюсь, да лягу. Вот тебе и страшно.

Мы сошли на берег. Медленно, подымаясь по дорожке, направлялись к церкви. О. Милий, в лодке казавшийся немного пасмурным, оживился.

— Эта у меня церква хорошая,— говорил, отпирая ключом дверь.— Она даже прямо как следоват строена. Купец денег дал, Солодовников. Хорошо. Чисто, тихо. Вон, иконы-то какие! И на стенах писали, трудились. Тут тебе, в кумполе Неруко-

творный Спас, там Андрей Первозванный, он тут у нас был ведь на острове... все в порядке. Разумеется дело, Царица Небесная...

О. Милий в храме чувствовал себя совсем дома. Для нас храм этот чужой и пуст, а для него наполнен святыми добрыми существами, среди которых протекает одинокая его жизнь. Он относится к ним благоговейно, но просто, как к знакомцам высшего мира. Ап. Андрей первый водрузил крест на скалах Валаама — значит, он для о. Милия тоже родной, свой, валаамский. А что это могло произойти чуть не две тысячи лет назад, для него значения не имеет: точно вчера. Но главный покровитель, конечно, св. Николай.

О. Милий подвел нас к образу Святителя и потом вдруг отворил его. За иконою оказалась ниша, в ней резное, деревянное и, как бы по-католически раскрашенное изображение св. Николая: он в митре, в одной руке держит меч, в другой — церковь.

— Вон какой! — говорил о. Милий.— Меч-то в руке, гляди... Потому защитник церкви. Там на Соборе Арий очень бунтовался. Ну, он ему прямо даже по уху дал. Это, мол, ересь. Видишь, с мечом-то с небольшим, но уж как праведник, так за святую церковь горой... Да, он уж такой был.

О. Милий покачал головой и почти с восхищением, но и очень серьезно смотрел на Святителя. Вполне можно было поверить, что он его знал лично.

— А откуда же у вас тут эта статуя, о. Милий?

— Не могу знать. Давнее дело. Это, более ста лет. Говорят, волнами ладожскими прибило, монахи нашли, еще во-о когда, при царе Александре Первом.

Он закрыл опять иконою статую в нише, стал показывать изображения на стенах чудес Святителя.

— Патриарх был Афанасий... понятное дело, хоть и патриарх, а что ж тут поделаешь, тоже не без греха. Скуповат, значит. Николай-то, Угодник-то, его предупреждает: ты, мол, не скупись, нехорошо! А тот без внимания. И молебнов не служит, одно слово — нерадение. Ладно, вот поехал... ну, там зачем-то по службе, что ли, по морю, глядь, буря. Тонуть стал. Ах ты, Господи! — тут и вспомнил: это мне за грехи. Сейчас и взялся Николаю Угоднику молиться. Совсем уж утопает, а ничего, молится. Ну, Угодник видит, что ж, ведь христианская душа, да и в прегрешениях кается... и там все же таки патриарх, как будто уж оно тово... он милостивый ведь о-очень был! Какой милостивый! Ну, видишь, и показано здесь, как он его от утопления спасает. Очень даже был добрый. А другой раз вышло такое дело,— он показал на соседнюю фреску,— ехали муж с

женой, в Киеве, по Днепру в лодке, и младенчик у них на руках. Да что-то разговорились, зазевались, младенчик-то и упади в воду... И так ловко упал, его сейчас завертело, понесло, туды-сюды, ищут — где там! утоп. Родители расстроились страсть как, чуть не плачут. Ну и подумать, собственное дите в пучину бездонную уронили. И ночь-то, можно сказать, одним глазом спали. Где уж тут спать?

О. Милий очень выразительно на нас взглянул оживившимися, сочувственными глазками: переживал горе родителей.

— Ну, и что же вы думаете, утром пришел в церкву пономарь, убирает, к служению готовится — видит, под иконою Угодника младенчик... Этот самый и оказался, его Николай-то Чудотворец и принес, над горем над родительским смилостивился.

О. Милий глядел почти победоносно, так он весь до последнего сустава своего был восхищен добротою и милосердием Святителя.

— А вот тут, видишь,— он указал на другую фреску,— нарисовано-то мало, а чудо было совсем порядочное. Значит, жил это один богатейший человек, и у него три дочери — красавицы прямо на весь город. Девушки нежные, как обыкновенно богатые бывают. Ну, и вдруг отец-то и разорился... я уж там не знаю почему, но только в нищету такую впал, просто не дай Бог. Ну, прямо, есть нечего...

На лице о. Милия изобразилось полное беспокойство за судьбу знатного человека из Патары, потерпевшего крах.

— Думает-думает, что тут поделаешь: приходится дочерями торговать... и совсем уж было собрался отдавать их в блудилище... Ну, а тут Николай-то, Чудотворец-то, сейчас и явился. Да как? Тайно! Видишь, в окошко дому ихнего кошелек с золотом бросает? Господь, мол, денежки послал. Отец это обрадовался, и не то что на позор, а девицу честным образом замуж выдал. Видит Николай Чудотворец, что отец себя прилично держит, и еще помог. Да что вы думаете? — всех троих дочерей пристроил!

* * *

Когда мы выходили из церкви, о. Милий был уже совсем в хорошем настроении. Мы тоже. Он действительно на славу показал свой храм, и простецким своим рассказом как бы стер столетия и легенду: мы, действительно, почти оказались знакомы и с патриархом Афанасием, и с рассеянными родителями, и с разорившимся гражданином города Патары.

Мы уселись на гранитном парапете церкви — отсюда чу-

десный вид на пролив, леса за ним и дальнюю Ладогу. Солнце слегка выступило, бледно, и робко: посеребрилась вода, справа из-за оконечности острова выплыл большой мотор с паломниками. Бело-голубой финский флаг веял на корме. Нам махали платочками.

О. Милий должен был идти встречать их — ему не особенно хотелось... все-таки пошел, мы остались одни. Спустились тропинкою пониже, почти к самому озеру, и сидели здесь в тишине, пригреваемые скупым светом, но живым и чистым. Даже хорошо так посидеть одним, на островке в природе...

А потом мимо храма Святителя, вновь пошли к пристани. Мотора уже не было. О. Милий шел нам навстречу. Он опять не совсем был доволен.

— Ту-ристы! Все не по-русскому говорят. Им чего тут делать? Подъехали, посмотрели, дескать, остров как остров — и дале... некогда, вишь.

Направо, недалеко от берега, гранитный крест, какая-то избушка. Совсем над водой, из голого камня наклонно растет столетняя сосна — совершенный зонтик.

— Прежде таможня монастырская была,— сказал о. Милий.— Как из Сердоболя пароход с гостями, так сюда и заходил. У кого табачок там, папиросы, то пожалуйте... в монастырь ввозить не дозволялось. А на обратном пути отдавали. Если уж только кто скрыл, и нашли у него, то табак прямо в воду. Вот как было...

О. Милий засмеялся. Монастырь, мол, так монастырь. Нечего с монахами шутить.

Он показал нам большой двухэтажный дом — впору помещичьему — теперь один он живет тут внизу, в маленькой комнатушке. В верхнем этаже церковка, но все это безмолвное, запущенное.

Около дома столик, скамейка.

— Подь-ка сюда, подь,— сказал о. Милий моей жене.— Посиди. Сейчас ягодок принесу.

И, действительно, принес. Это была валаамская клубника, некрупная, ничего особенного с виду, но такой сладости и благоухания, что ей лежать бы не на убогой тарелочке о. Милия, а на роскошном блюде. Впрочем, может быть, плод святой земли и хорош именно в святой бедности своей...

Жена все расспрашивала о. Милия о «страхованиях». Но он вряд ли мистик, и особым страхованиям не подлежит. Молится Богу и занимается домашним хозяйством — огородик, яблони. «Полумирончик», такой сорт есть у него, но, к огорчению, когда поспевает, то по ночам на лодке приедут карелы и отрясут.

Бесами он их не считает, но что же с ними поделать одинокому старику на островке? Если ночью услышит что, прочтет молитву Николаю Угоднику, перевернется на другой бок, да и заснет.

Мы простились с ним очень дружески, и на своей лодке он отвез нас обратно. Как и столько других, мы мелькнули в его однообразной жизни мгновением, а там опять полумирончики, чудеса Святителя, клубника, черные дикие утки на озере. Но для нас этот простой старичок как-то связан со своим скитом, с удивительным островком, тишиной и поэзией его — остался в памяти: верный слуга Святителя. Не будет дерзостью подумать, что такой Угоднику угоден.

ПРОЩАНИЕ С ВАЛААМОМ

...Ездили на Святой остров. Это в нескольких верстах от монастыря, на Ладоге. Еще в Келломяках, у друзей, один знакомый, бывавший на Валааме, сказал, что Святой остров прекрасен и напоминает беклиновский Остров мертвых. Когда в безоблачный день, по сине-зеленому стеклу Ладоги, наш мотор подходил к нему, вспомнилось это замечание. Кипарисов здесь, разумеется, нет. Но так отвесны, дики скалы, обрывающиеся прямо в воду... Над ними сосны. Одиноко-поэтически воздымается весь островок, есть, правда, в нем что-то таинственное.

От пристани подымаешься довольно круто и выходишь на тропинку — она опоясывает остров и поражает своей гладкостью, тщательностью отделки. Это работа безвестного инока, давних времен — камешек к камешку, точно мозаика. Дорожка идет то над отвесными скалами, то склон более покатый. Вокруг сосны, аромат. В удивительный день нашего посещения сквозь эти сосны Ладога голубела зеркально, почти нежно, вдали мягкие синеющие холмы, настолько светел пейзаж, что не верилось, что мы так далеко на севере.

Дорожка приводит к пещере — по преданию, св. Александр Свирский в XV веке провел на острове несколько лет и молился в ней.

А еще выше, рядом со скитскою церковью, показывают и его могилу, собственноручно выкопанную.

«Святой остров»...— да, уж тут, кроме тишины, красоты, легкого гула сосен, да теней героических, ничего не найдешь.

Сейчас здесь живет при церкви всего один монах, и на островке еще семья карелов, занимающихся скромным хозяйством. Но вот, чуть ли не ежедневно привозит и увозит мотор сюда паломников из монастыря, и все что-то уносят: каплю

света? Благословения? Не знаю, как сказать. Но для меня очевидно: как же были наполнены и значительны жизни уединенные, протекавшие здесь, раз и сейчас они волнуют.

Жена тоже была восхищена. Она взяла с собой в платочке, недалеко от пещеры св. Александра, собранную щепотку земли: святоостровской. И несколько сосновых шишек.

* * *

На другой день присутствовали мы на пострижении в схиму бывшего игумена Валаамского монастыря о. Павлина. (Монахам часто дают особенные имена, не встречающиеся в миру: они тоже надевают нечто на человека, отделяют его тончайшей и прозрачной, но все-таки завесой — Иувиан, Эолий, Милий...)

Собор был полон. Со всех островков, скитов, изо всех углов монастыря собрались старички-схимники в остроконечных куколях, черных мантиях, все это расшито белыми крестами, выведены тексты Св. Писания, изображены кости и черепа.

Два схимника под руки влекли о. Павлина через всю церковь. Он в нижнем белье, сверху накинута мантия, волосы распущены — в сущности, он должен ползти на коленях: знак последнего смирения и покаяния. Игумен, о. Харитон, к которому его подводят, читает ему ряд вопросов. Я не помню их в точности, но дело идет об отречении от мира, бедности, и т. п. За постригаемого отвечал его как бы крестный отец, тоже схимник о. Ефрем, церковно-славянской, прекрасной фразой:

— Ей-Богу содействующу! (Да, с Божией помощью.)

Весь чин древен, полон поэзии. Игумен трижды отдавал о. Павлину ножницы, которыми надо постригать, подчеркивая, что тот может их не вернуть, если раздумал постригаться. И лишь после третьего возвращения ножниц он отделил ими прядь волос с головы о. Павлина. А затем надел ему «шлем победы», это и будет схимнический куколь, знак возведения в высшую духовную степень: схиму.

Игумен сказал новому схимнику небольшое, но замечательное слово — быть может, предназначалось оно и для нас, слушавших. Вот место, особенно запомнившееся (передаю по памяти): «Может показаться странным, что старец, проживший уже долгую монашескую жизнь, всеми уважаемый, управлявший монастырем, в облике последнего кающегося грешника проходит через весь храм. Но это только кажется так. Ибо путь духовной жизни в том и состоит, что чем выше человек поднялся в развитии своем внутреннем, тем он кажется себе греховней и ничтожнее,— тем меньше сам в своих глазах рядом с миром

моей крови, я вырос в таких именно лесах, с детства все знаю: горький аромат хвои, песчаные колеи, комариков, вьющихся за тобой, слегка отстающих, пока идешь и неизменно свое напевающих, и белку, метнувшую рыжим хвостом, проскакавшего зайца. В общем, ведь все это радость, Божья благодать. И как будто бы в знак того, что именно Божья, версты через две пути по совсем безмолвному лесу при дороге часовенка, маленькая и скромная, взойдешь на крыльцо, дверь отворишь: тишина! Пахнет сухим, чистым деревом, да иконным лаком, чуть-чуть ладаном. Перекрестишься, к иконам приложишься, и как-то чувствуешь, действительно: это добрые силы, святые покровители мест этих, да и тебя самого. Какой бы там ни был, а сюда с благоговением забрел. Посидишь, тропарь прочтешь, да Господи благослови и дальше. С таким, наверно, чувством, бабы моего детства шли к Троице-Сергию, с котомками за плечами, длинными палками, в лаптях...— все это кажется теперь пережитком, из другого века, и лаптей, пожалуй, маловато осталось, но если и смиренности, благоговейности тоже нет, то тем хуже.

Так что, наподобие баб великорусских, мы и двинулись дальше, со взгорка в ложбинку, меж елей, сосен, берез.

Обгорелое дерево сразу заметили и свернули направо. Тут пошли путаные места, кое-где вырубки, саженки дров, цветы розовые Иван-чая, одинокие сосны над кустарником — только за тетеревами охотиться. Долго ли, мало ли, вышли и к «озерку» — усердно искали здесь тропинку. И недаром слонялся я в детстве с ружьем по калужским, жиздринским лесам — крохотного следка и тут не прозевал. мы полезли наверх, по мхам, хвое, по выступам гранита. Лезли не так долго, но трудно, иной раз едва и вскарабкивались. Награда же оказалась хорошая: добрались до темени скал, круто вниз обрывавшихся прямо в озерцо. И над всем этим господствовал Крест, огромный, потемневшего дерева, обращенный на Ладогу.

Мы сели у его подножия. Под отвесным обрывом — сказочное озерцо. И даже сказочная избушка есть на его берегу, заброшенная, с отворенною дверью. Пустынно тут. Вот уж, действительно, забытый угол...

Позже мы спустились со скалы, обошли все озерцо, выбрались к берегу Ладоги — она уже в двух шагах отсюда. И все то же ощущение пустыни, тишины. Ни белочки, ни птички, все заснуло. Немного даже жутко.

...Когда шли назад, уже смеркалось. У обгорелого дерева началась вновь настоящая дорога. Вдали густо, полно ударил валаамский колокол. Пора домой!

И в обратном направлении потянулись те же леса, поляна, монастырские покосы и хлеба.

— Ну, вот,— сказал я жене,— это наш прощальный выход. Доведется ли еще когда увидеть Валаам?

Жена вздохнула.

— Да, если бы еще увидеть...

По небу громоздились бело-синие облака, крупными, тяжелыми клубами. В некоторых частях они были почти грозны — не сверкнет ли оттуда молния? В других белые их пелены свивались таинственно. Отсвет их на крестцах овса, на еловом лесу был не без мрачного величия. Все это, конечно, необычайно русское. И как-то связано с нами, с нашими судьбами. Увидишь ли еще все это на родной земле, или в последний раз, перед последним путешествием, дано взглянуть на облик Родины со стороны, из уголка чужого...

Этого мы не знаем. Но за все должны быть благодарны.

ПОВЕСТИ

и

РАССКАЗЫ

СВЯЩЕННИК КРОНИД

О. Кронид, крепкий шестидесятилетний человек, идет в церковь. Много лет он живет уж тут, мужики его уважают и зовут Кроном; а он исправно ходит на службу, возвращается домой, венчает, хоронит, звонит в колокола с приближенными дьячками и стариками, и куда-то ведет за собой приход.

Служить вечерню после сна днем не очень легко. Кроме того, великий пост — время трудное; в церкви Бог знает сколько народу; много рваного мужичья, худых баб, исповедей; часто отрыгивают редькой и постным маслом,— а потом идут все грехи. Какие у них грехи? Все одно и то же бабье мямленье, поклоны, а мужики все ругались в году, пили водку.

Старый Крон и не жалуется, он человек рабочий, честный; тридцать лет попом, имеет камилавку, служит быстро и просто, как научила деревня.

Не один он действует тут, за его плечами вдаль идут поколения отцов, пращуров; все они трудились здесь. Крон помнит деда Петра; тот видел еще французов; а Петров отец от своего слыхал, как строили каменную церковь, в которой служит теперь Крон, как помещик землю дарил и насаждал «поповку», где теперь причт и жены мироносицы. Много старых, морщинистых стариков перемерло на Кроновом веку,— с некоторыми из них он ребенком играл в лапту,— и всех он просто и хорошо хоронил, на кладбище за селом. Иногда вспоминает он их дедов, тех, с кем жил его отец и дед, и еще много других, кого не знает, но которые были тогда, и неизвестными ушли отсюда — все в одно место, туда же, на кладбище, где и о. Петр, Никодим и другие.

У самого Крона пять сыновей — семинаристы, все здоровые, хорошие дубы. Крон, думая о них, мечтает, где они будут жить, плодиться, служить; как бы им преподать свою мудрость,— жизнь трудна, какой приход, какой причт? Выйдут ли в своих, будут ли твердыми попами?

Только трудно их доставлять домой на Пасху: дорог нету, вода, грязь, в низком месте лошадь тонет чуть не по уши. Придется самому ехать, туда еще кой-как можно, крутобрюхие лошаденки дотащут, но в городе отец Крон уже задумывается; все теплей и теплей, большая вода должна шуметь теперь по логам. А пятеро двуногих ждут, им тоже хочется домой, поржать на весенней свободе; дома пекут куличи, ждет мамаша, приволье, церковь.

Тогда Крон берет верховых. Седел нет, конечно. Стелют попонки, тяжело наваливаются на лошадей — едут. Впереди отец Кронид, сзади дети. Хорошо, что не в санях: сейчас же за городом, в пяти верстах, надо вплавь; лошади вытягивают вперед морды, как плывущие крысы; Крон подбирает рясу, попята гогочут сзади и тоже плывут. Крон важен — все-таки шестая неделя, духовный человек верхом — как бы не вышло смешно. Но знакомые мужики в деревнях кланяются, как всегда, только ребятишки бегут сзади и визжат.

Дома просторное поповское житье, плодоносная матушка, весна и шум; могущественно вздуваются куличи; пруд целиком взломан и изгроможден рыхлым льдом; но тепло идет, и выпуклые взгорья горячо мокнут в свете. Большая суетня у матушки; много бегают по кладовым с маслами и всякими значительными снадобьями для булочного дела.

Семинарам все свое тут; а Крон в это время работает уже в церкви; ему теперь много надо молиться и хлопотать: то читать Евангелие, то опять причащать и исповедовать. Дни идут в служении; а ночи темные на Страстной — только гудят вечные потоки, да в небе пылают звезды на черном бархате По дороге домой из церкви нехитро и оступиться в лужу, но идти приятно: сзади дети, пятеро начинающих басков; в церкви они помогали, хорошо пели и давали ноту силы службе. Есть на кого опереться, когда станет тяжко от годов.

«Молодая армия»,— думает Крон, а дома уж торжественно, матушка всесильная одолела все заботы, пасхи, раскрасила яйца в победные цвета и спокойна: хотя б и Страшный суд.

Но и воскресенье близко; весна далеко ушла за это время, все уже серо, парно; время погожее, заутреня должна быть хорошей и благодатной. Все дьячки, старосты, дьякона готовятся: это их день. И всюду по деревням идут сборы: топят бани, где поглуше, моются прямо в печках, залезая в узкое жерло, как черви; с мужицких тел, жестких, в едком соку, смывают многомесячную грязь; вытаскивают чистые рубахи, даже белые, с красной листовицей под мышкой, важно расчесывают волосы, поливают маслом, подстригают затылки; поплевав, скоблят шею

обломком косы. В глухих углах бабы напяливают на головы рогатые кички, в ушах у них утиные пушки. Громаднейшее всемужицкое тело копошится по стране, тащит пасхи в церковь, ждет яркого и особенного дня.

В очень черной ночи церковь видна далеко; слишком светлы окна. Рано, задолго до торжественного часа, все полно, и Кронид ведет древнее служение; запоздалые с пасхами подходят летними тропами; пока Крон читает и молится, в теплой ночи неустанно гудят ручьи, полным тоном, как могучие трубы, а звезд вверху без счету; они неожиданно встают от горизонта, заполняют тьму над головой и так же сразу пропадают у другого края неба. В минуту, когда двери растворяются и выступает из церкви ход, кажется, что светлая волна опоясывает во мраке церковь, под слитный бой колоколов, с пением, и снова вливается внутрь. Теперь у всех в руках свечи; капает, и пот стекает по мужицким лицам; временами через плечи идет из рук в руки вперед свечечка; перед иконами блестят целые пуки.

К часу, двум люди устают. Христа встретили, попели, постояли со свечками, но страшно жарко, а обедня длинна. Когда-то святить пасхи? Два часа, народ устал. Вот в толпе с кружкой седенький человек, «благочестивейший», с дрожащими руками и ястребиным носом; за благочестивейшим просто парень с тарелочкой, и идет сбор; мужики жертвуют, считают свои копейки и дают от сердца, но серьезно; соображают, берут сдачу. Солнце ближе подходит к востоку, в церкви народу меньше; много молодежи в ограде на лавочках; детишки смелей снуют между взрослых, кой-кто у печки примостился даже спать; толкутся, блеск и фейерверк гаснет, а земля встречает своего бога в силе и свете. Только благочестивейший без умолку звенит денежками у прилавка: выдает свечки и двигает вырезанными ноздрями.

Часа в четыре разбредутся.

Этот день для Крона труден: спать уж почти некогда, в девять надо выезжать за данью. Запрягают поповскую тележку; рядом с Кроном краснощекий юнец, в сюртуке, с огромными руками. Там, на месте действия, он будет раздувать батюшке ладан, петь и конфузиться помещиков.

О. Кронид прочно сидит в тележке; солнце греет; над пашней струение, плавь, земля тает в свете. Юноша жмется к батюшкину боку — ему в профиль видны крепкие Кроновы брови и ласковая под солнцем борода.

В усадьбе Крона почитают за основательность, за ум; в столовых, со свечкой перед образом, он из года в год поет, молится, дает целовать крест и ловким движением заправляет

волосы после молебна; затем разговляется. Юноша — на краю стула и стыдится своих рук. Один год говорят о Толстом, другой — о войне, о разных случаях в уезде: кто где умер, кто как хозяйничает. Выпивают, но Крон неуязвим; юноша часто поправляет белый галстучек и проглатывает победоносно, страшно перекатывая кадыком.

Потом Крон уезжает, и так же работает у всех помещиков, мудро беседует и временами поглядывает на юношу: не перегружен ли?

В это время деревни выглядят моложе, на взгорьях под теплым солнцем катают яйца из желобков, пестрыми группами. Девки сплошь в красном; на желто-зеленом откосе они кольцом вокруг качелей; на веревках, под тягу сильного ветра, кумачные пятна высоко взлетают кверху.

Уже пора бы и сеять, земля ждет, все знают, что хороши ранние посевы, но нельзя, праздник. Праздник целую неделю, и в это время грешно и немыслимо не напиваться, не лежать под заборами. С полдня до вечера девки голосят песни, из села в село катят подводы — гости, а время уходит; и сам Крон недоволен.

По очереди на Пасху деревни «подымают иконы». Это значит, впереди Крон с дьяконом, а сзади несут хоругви; идут веселой гурьбой по дороге, поют «Христос Воскресе»; теплый ветер хорошо дует сбоку, хоругвеносцы храбро потеют, а дома все ждут. И назад, когда Крон уедет на лошади, иконы и знамена несут полем, напрямки. В начинающемся вечеру бредут по жнивью, путаясь и голося во всю силу. Лица красны, золото горит на иконах при светлом весеннем ветре, и древки смутно ходят в воздухе. Это уж время тихой и пылающей весны. Уже ели цветут; на угрюмом дереве появились бледно-зеленые цветочки; странно находить эти мелкие живодышащие существа в черной хвое. В местах, где сыро и припаривает, в сереньких осинничках, водятся фиалки; слабый приторный запах идет волной, а они стоят,— нежные, обратив к югу и солнцу фиаловые головки; но скоро гибнут, если сорвать. Вечерами в темноте тянут из дальних мест кулички на озера; они летят один за другим на минутном расстоянии, и тихо стонут, чтобы не потеряться.

Солнце греет, стада вышли в поле. Целый день они бродят, щиплют мелкую травку теплыми губами; коровы колыхают боками и высовывают по временам добрый язык; крошечные ребята под бледно-лазоревым небом тащут из деревни пастухам полудновать, а назад бредут по жнивью задумчиво и бесхитростно; поднимают палки, навязывая на них тряпочки-хоруг-

ви — поют что-то свое, потом ловят в ручье гольчиков; над ними же струится светлый весенний ток, анютины глазки распускаются по оврагу. Деревни бледнее и тише, солома на крыше голубоватее и бревна в избах будто дышат.

В день Егория Крону работа: за деревней, в поле, бывает молебен — благословение гуляющему скоту. В коровах есть задушевность, лошади покойны и важны, как добрые работники, только жеребятки ветрообразны: легко, на длинных тоненьких своих ножках передуваются они с места на место. Стоят молчаливые бабы; Пасха прошла уже, время серьезное и нужное, красных нарядов нету; лица больше в морщинках, со светлыми голубыми глазами, и зубы стерты наполовину, ровно, как у лошадей. Они сердечно знают своих скотов, смотрят на них, думают о чем-то, пока Крон читает перед столиком и молится. Потом кропит всех святой водой и отпускает на мирный отгул.

Солнце встает все раньше и очень хорошо греет землю; радостная весна. Сам Крон, владелец ста десятин, доволен и не жалуется; сверху гремело уже раз, при глубочайшем тепле и могущественных тучах; блистало, трахало благодатно и раскатисто, а пред ударом белая молния осеняла траву.

— Экая сила,— говорил о. Кронид и крестился.

Потом все уносилось, точно чья-то забава на небе, но на полях овес всходил веселее, и внизу по лугам трава тучнела. Земля становилась парной гущей, ползла под ногой. Но на другой день опять выходило на небо солнце, сразу все сохло и произрастало в глубине.

После обеда, перед сном, Крон выходил на скамеечку у пруда. Большой пруд, перед нежилой усадьбой на той стороне, лежал горячим зеркалом, и местами солнце пронизывало его воду; там были теплые, зеленоватые пятна. Крон сидел и смотрел, а в пруду горизонтально дремали карпы, такие же старые, как он сам; временами мягкие плотички подходили к самому верху, высовывались, пускали круги. В движениях рыб была лень, и Крон чувствовал тогда свои годы и силу весны. Он вставал, прохаживался вдоль пруда, думал, шел домой. Дорогой размышлял об аренде; отработают ли мужики из Костенки долг? Давать ли Егорьевне рубль, или надует? И правда, дома ждали всякие клиенты, а вечером надо хоронить девочку у Петра Константинова. Последнее время много ребят поумирало, «все живот». Маленькие гробики легко и быстро тащут на кладбище, на горе, в дальний угол; здесь много детских холмиков; среди них трава, а рядом канава с полынью. Очень далеко видно отсюда; славная страна лежит вокруг, как золотое блюдо; Крон неторопливо воскуряет ладан, смотрит вдаль; в мерном полете

кадильница сначала подымается над горизонтом в небо, потом уходит вниз. С четырех сторон идет несильный ветер, дымок бледно и покорно стелется, сизеет. Сзади плачет баба; красный юноша подпевает. Скоро опускают гробик — и конец.

Крон проходит могилами: деревянные кресты местами набок, заросли травой; деревьев на кладбище нет, вольный воздух от земли до неба. Между крестами спокойно ходит ветер, иногда ласточка садится отдохнуть.

Крон останавливается у отца и крестится; здесь вырезано даже имя; сейчас, при опускающемся милом солнце, на памятнике горит свет; высоко в небе реют стрижи, ударяя полетом к речке в лугах.

Близко Троица, а там, через неделю,— ярмарка. Веселая Троица выпадает в светлый день. Пыльно по дороге, и солнце наверху горит, а небо радостно-сине, как было давно, в детстве. Шумящие, дорогие березки стоят в церкви; тайная любовь зреет в молодежи. Во всех избах под образами деревца; когда они начинают сохнуть, особенный запах появляется в скудном человечьем жилье; ветерок через окошко шевелит ветки, а из ребячьих времен вспоминаются сердитые клещуки, что расползались с праздничных кустов. В лесу, в диких местах, девки завивают венки — связывают березки верхушками; получается свод; а они загадывают, скоро ли завянет. Детишки ищут в сырых низинах пеструю траву кукушку; она растет, печальная и странная, непонятным цветком; маленькие девочки выкапывают ее, одевают в платьице и хоронят, как неживушую куколку. Липы и дубы стоят кругом в молчании.

Уже много травы отросло на лугах, и скоту веселее ходить по пару. Низкий старик Карпыч загорает под солнцем; длиннейший кнут ползет за ним змеей, лицо его коричнево, а волосы снегообразны. Странно видеть это серебро на крутом пастушьем теле; ветер слабо шевелит его локоны, когда он без шапки; на темени розовеет апостольский кружок. Едет ли он полудновать домой на лошади, верхом, в зипуне, стоит ли часами около стада, коренастый, как хороший боровик,— всегда светлы и полны полевого ветра его глазки; иногда они слезятся; но слеза только омывает их.

На ярмарку съезжается деревня со всех концов. За Кроновым селом, на выгоне, разбивают палатки; кишат телеги, оглобли торчат кверху; стоит пыль и бурленье, пахнет дегтем, визжат поросята, и издали мужицкий праздник похож на лагерь гуннов. Теплые коровы дышат, жуют и печально смотрят влажными глазами: трудно жить впроголодь, надо уступать. Прасолы валяются в траве за ярмаркой, у дорог, чтоб перехватывать скотину и скупать до торга.

Часа в два-три выходит посмотреть и Крон; на ярмарке бродят уже три жиденьких иерея из округи; жалобнее всех один; косы сзади у него еще не отросли, грудь узка, ряса путается; рядом мощная матушка в мантильке и шляпе с цветами. Ветер треплет красные цветы. Батюшка потеет и покупает жене гребенку. А Крон умными грудными звуками беседует у бакалеи, здоровается с урядником. Бедная «сельская полиция» — в пыли и ссохлась от старости, она ежеминутно пребывает в разъездах, трясется на казацком седле и дрожках из волости в волость, загорает, а на ярмарках лущит подсолнухи и уныло беседует с помещиками из либералов.

У бакалеи Крон выпивает даже чаю, держа блюдечко в крепких волосатых руках; он ищет пакли для школы; но пока идут разговоры и торгуют подсолнухами, вдруг сбоку налетает гроза. Могучий дождь душит землю и радостно соединяется с ней, быстро мокнут люди, набрасывают на себя рогожи, прячутся под телеги; с лошадей льет; живой пар идет от них. В черных тучах наверху обнажается огненная змея, слепящий удар разрывает воздух; издалека, с почерневшей земли исходит сладкий запах; трава слабеет под грозой, млеет.

Крон скрылся у бакалея и посмеивается на дождь; наверху над ним парусина быстро промокла, но он не беспокоится и без шляпы выставляет под дождь голову.

Через полчаса тучи уже нет; облака, грудами в золотистом свете, курятся и текут. Алмазные капли прорезывают сверху вниз воздух, и божественная радуга висит на небе. Крон в солнечных лучах идет домой и подбирает рясу. Дома, у забора, жемчужно-белый жасмин цветет растрепанными шапками, и к отцу Крониду плывет душный запах. Вечер блистает. Из-под кухни выскочил галопом кофейный пес Каштан. Он бежит увальнем, тело его огромно и мягко; он тепел в движениях, голова его медвежья, с кругленькими желтыми глазами; весь он как добрый резвящийся черт. Крон гладит его по голове и проходит в дом.

На другой день, перед вечером, небо прозрачно. Утихли ветры, и в облаках любовь и благозвучие. Крон выходит к реке; рыба плещет; заливной луг сочен и девствен; уже цветут звоночники, цветы покоса. Крон предощущает сено и сладкие запахи. Безмятежные кулички бегут по отмелям. В лознике, который пахнет так же, как и когда Крону было девять лет, на песочке возятся ребята. Старший учит их плавать. Худенькие тела весело трепещут в лучах, пищат и боятся глубины, а потом сразу появляются на берегу розовые рубашки, будто вместо голых тел выросли светлые цветы.

Крон медленно подымается на гору за рекой и бредет тропинкою среди молодых ржей; ему надо в Дмитрово, здесь близко прямиком. Пройдя ржи, он останавливается у луговины пара: довольно жарко еще идти, он хочет отдохнуть. Снимает шляпу; полуседые волосы свешиваются вниз. Как старый пастырь, он глядит вниз на село и думает о чем-то. Вдруг слышит сзади слабый шорох. На краю зеленейшего клевера стоит зайчик; он выбежал веселым галопцем на теплую зорю и, увидев Крона, замер. Вот он поднялся на задние лапки, двигает ушами, и усы его беспокойно ходят. Все серое слабенькое тельце подрагивает и полно святого любопытства. Крон молчит и улыбается. Зайчик прыгает и медленными скачками, не боясь, пробегает в десяти шагах; высоко подбрасывает задом на фоне бледно-прозрачного неба.

Батюшка все улыбается и встает. Он медленно идет по тропинке паром и овсами далее и через несколько минут снова оборачивается назад. Но зайчишки уже нет, и только село в низине дымится и лежит в вечернем свете.

На заре, возвращаясь домой, отец Кронид слышит первого перепела. Он мягко трещит и предвещает знойный июнь и ночи сухороса.

1905

ЦЕРКОВЬ

Поплавки о. Нила слегка сгоняло, но закат, отражавшийся в воде,— розовый, нежный,— был безмятежен. Пролетел кулик; за рекой, в лугах, убирали сено.

«Благодать! — думал о. Нил, вздыхая, поправляя седую косицу.— Послал Господь покос, послал».

Переменив червя, закинув вновь, он обернулся: сзади, тоже с удочками, шел помещик Фаддей Ильич — толстый, потный, в чесучовом пиджаке.

— А-а,— закричал он, слегка задыхаясь,— святой отец, столп церкви! Рыбку удит. Ну, ну! С вами разрешаете,— у кустика?

О. Нил встал, улыбнулся, пожал руку, придерживая наперсный крест.

— Очень рад, Фаддей Ильич, всегда были добрыми соседями, и по рыбке так будем-с.

Фаддей Ильич утер лоб, сел, кряхтя, и стал распутывать снасти.

— Жарко, о. Нил. Семь часов,— а жарища.

— Еще здесь, слава Богу, дух благорастворенный. Вы бы посмотрели, что в городе делается, Фаддей Ильич.

— Да вы что, ездили, что ли?

О. Нил подмигнул с лукавством.

— Все по нашему делу.

— Денежки обираете? Знаем мы вас,— верно, купчиху грабили. Что ж, рассказывайте: я ведь попечитель, тоже. Да! Не кто-нибудь.

— Пятьдесят рубликов привез, хе-хе. Зато и попотел,— силы небесные.

— Да, да, да. Во славу Божию?

— Извольте помнить Лапину, вдову,— получили мы с вами по газетному объявлению сотенную, на возобновление храма! Вот, думаю, дай попытать.

О. Нил вытащил ерша; снимая его с крючка, продолжал:

— Народ на свете странный бывает-с, чего только не увидишь!

Фаддей Ильич отдувался с шумом.

— Да как вы ее? Чем вы ее разобрали-то?

— Трудная была старушка — это что уж говорить. Купил ей образ, Угодника; восемь рубликов отдал. Вижу — живет пребедно, а уж накоплено, чувствую. Речь произнес ей малую. А она попросту: «Знаю,— говорит,— поп, зачем приехал. Оставь образ-то, уж знаю». Я, конечно, сознаюсь. «Да,— говорит,— случай: и денег жаль, и Господу угодит хочется».

Фаддей Ильич загоготал.

— Шельма старушонка-то, о. Нил, шельма?

— Она, видите ли, идет, роется,— приносит: «На,— говорит,— поп». Только отдала, вдруг взволновалась: «Нет,— мало, грехи одолели. Ты уж там помолись как следует». Пошарила,— смотрю, еще десять: «Пять мне назад давай, а тебе красненькую». Верите,— часа два с ней сидел, все деньги считали. То она меня гонит — обобрал, говорит, то еще тащит. Раз даже оконфузила: «Куда,— кричит,— золотой девал, только что в руки сунула, а уж нет?» Просто срам.

— Дока вы, о. Нил. Вам в министры финансов!

— Что поделать, Фаддей Ильич: не для себя старался. В общем, спасибо старушке — помогла.

У Фаддея Ильича клюнуло с силой. Поплавок нырнул, по воде, стеклянно-розовеющей, пошли круги. Он вскочил, стал тянуть. Показался лещ, но сорвался.

— Эк, анафема! — Он выругался.— Чтоб ему... Это не то, что ваша старушенция, о. Нил.

— Таким образом-с,— сказал о. Нил,— у нас теперь не хватает лишь стекол. Рублей на сто надо б, не больше-с.

Но Фаддея Ильича огорчил лещ.

— Что там сто! Когда еще готова-то будет. Да и ходить не станут в вашу церковь, о. Нил.

— То есть как же это? Почему?

— Скучно. Лучше хороводы водить, да-с.

— Это уж совсем напрасно: церковь — храм, не театр какой-нибудь, туда не для забавы ходят, а для молитвы.

Фаддей Ильич задумался.

— Жаль леща. Мы б его с вами в сметане вот как скушали. За милую душу.

О. Нил замолчал. Он был слегка уязвлен. Глядя на соседа, думал: «Человек, разумеется, добрый, но легкомысленный. Нету понимания, хотя и в летах». Но потом, вспомнив, как близка к исполнению давняя мечта, он повеселел. Служить в новом храме!.. Какие будут колокола. Иконы, облачения, священные предметы — все новое: от сгоревшей церкви ничего не осталось.

— Вот что, о. Нил,— сказал Фаддей Ильич,— вы на меня не сердитесь, а пойдемте-ка, сварим у меня ушки, да о церкви договоримся, как нам насчет стекол, прочего. Идет?

Солнце село. Возвращались косари, девки пели; мирный, тихий вечер наступал. Простые звезды, деревенские, вышли на небо, вздрагивали робко, светло.

— Насчет ушицы — я не прочь,— сказал о. Нил, вытаскивая удочки,— опасаюсь лишь, как бы матушка не обиделась, что я так, знаете ли, без предупреждения.

Но Фаддей Ильич обещал отправить к попадье мальчишку. Сложив снасти, отправились. Шли лугами, потом в горку, садом Фаддея Ильича. Разговаривали о том, о чем всегда говорят в деревне: о покосе, ценах на овес, урожае яблок. Вокруг был глухой сад; наливались яблоки, малина зрела; сторожа зажгли костер, ночью будут они палить для острастки.

— Ну-с,— сказал Фаддей Ильич, когда дошли до террасы,— минуту обжидане; распорядки наведу, и закусим.

С балкона открылась речка и луг; копны сена толпились, разлился горизонт — далекий, мягкий; над ним небо, фиолетовое от зари, с бледной звездой. О. Нил сел, поправился, с наслаждением вздохнул; пахло сеном и резедой.

— Благодать,— сказал он, когда Фаддей Ильич вернулся.— Такой легкий дух, тишина для меня первое удовольствие.

— Философ вы, конечно, о. Нил. Вам все церковь, премудрость, благочестие. А я не могу. На охоту тянет. Думаю, завтра в Колотово — утят искать. Петров день!

О. Нил поморщился.

— Извините меня,— этого не одобряю. Не люблю убийства. Тварь создана не нами, нам ли жизни ее мешать?

— А рыбку любите? Ушицу, а?

— У рыб кровь холодная. Да и апостолы были рыбари-с.

— Что апостолы! Думаете, нет охотников из священников-то?

— Ну, уж, что вы!

— Очень просто. Вот пример: батюшка надоровский. Человек умный, прекраснейший, вроде вас, а подите ж...

О. Нил обеспокоился.

— Да. Охотился с борзыми.

— Грех-то, грех какой!

— Конечно, было подстроено. Ехали с Иваном Федорычем, тот и подвез его к своей охоте. Сам слез и говорит: «Простите, о. Петр, вас кучер довезет, а мне тут зайчишку потравить,— я потом подъеду».— «А как же, спрашивает, вы его травить будете?» — «Да так». А уж лошадь другая припасена была. Только они беседуют — катит русак. Иван Федорыч порск-

нул — глядь, поп-то,— простите, о. Нил, на другую лошадь, да за ним. «Уйдет, кричит, уйдет!». В рясе и скачет.

— Ай-ай-ай!

— Аккурат на мужиков, представьте себе. Ха-ха. Те в обиду: как так, наш батюшка в доезжачих. Что вы думаете: чуть не расстригли, по доносу.

О. Нил был подавлен. И закуска, уха, которую подали, не шла ему в горло: точно был он виноват за недоровского батюшку, точно сам гнался за зайцем.

— Под ерша еще пропустим,— чи-к! — гремел Фаддей Ильич, наливая водку.

О. Нил решил отклонить разговор.

— Как же насчет стекол полагаете вы, Фаддей Ильич? Посодействуйте до конца. У вас знакомство — быть может, возможно для храма с уступочкой-то?

Фаддей Ильич хохотал.

— Э-хе-хе! хороший вы человек, о. Нил, а на уме у вас все божественное. Церковь, церковь! — Он задумался.— Конечно, я сам в комитете... только я ведь больше по знакомству... Ну, там с вами, за компанию.

— Однако же вы сочувствуете идее, так сказать?

— Да-да, идее...— Фаддей Ильич развел руками, потом вдруг рассердился.

— Идее! А может, нам и не нужна вовсе церковь? А?.. Может, отлично бы без нее обошлись? А если нам аг-рономическую станцию надо, прошу пана, этакую ученую шк-к-колу садоводства, я вас спрашиваю, для к-крестьян?

О. Нил был удивлен. Такой резкой перемены он не ожидал.

— То есть, позвольте: церковь есть оплот религии, так сказать, ковчег ее-с. Значит, по-вашему, и религии не надо?

— Что нар-роду нужно? Хлеб, знан-ние, гр-рамотность. Да. Где у нас Европа? Я вас спрашиваю, Европа где? Тьма, суеверие. Где больницы-с, где шоссе? Вы клерикал, о. Нил, я уж знаю!

— Это вы оставьте, прошу покорно. Вы, кажется, не совсем в порядке, Фаддей Ильич, если сочли меня католиком. Я русский священник, сорок лет учу и до конца дней буду проповедовать Евангелие, так как это высочайшая истина-с...

— Ну, вы учите,— а другие что? Доносы на учителей пишут, зайцев травят?

— Я тогда же понял-с, что вы рассказали про о. Петра, чтобы унизить наше сословие. Это не делает вам чести, Фаддей Ильич.

— Нич-чего не нужно, ни цер-рквей ваших, ни благочинных... я за мелкую земскую единицу.

И Фаддей Ильич, наливая себе пива, гремел против церкви. Пришла полночь, посветлело; перепел кричал во ржах, запели петухи; когда о. Нил встал, небо на востоке посветлело.

— Извините, Фаддей Ильич, но, если вы так выражаетесь о святыне, я не могу больше присутствовать.

— Да что такое? Что я говорю? Клерикал вы, право!

— Нет-с уж, увольте. Я старый человек, и, хотя каждый волен по-своему думать, мне пора, все же-с.

Он стал искать шляпу.

«Фу, черт, кажется, очень уж старика-то нажег, правда. Вот, выпьешь,— язык и раззвонится».

— Па-азвольте, нет, о. Нил, я вас не пущу-у, нет. Вы обиделись, я уж вижу, я хозяин, и к тому же вы прек-краснейший человек, я же не могу вас так... в огорченном состоянии...

Он встал и нетвердо, улыбаясь полупьяно, загородил о. Нилу дорогу.

— Нет, уж я пойду. И пора, пора мне.

— Ну, послушайте, вот; ну, простите меня. Я человек горячий, я действительно нек-т-р-рых по-пов не люблю, но не вас — нет, не-е-т. Хорошо: пусть там школы школами, а церкви церквами. Школы будут для школ, мужики для мужиков, а церкви для церквей. Только вы сами не должны уходить... Нет-т.

О. Нил улыбнулся. Фаддей Ильич был так смешон,— толстый, растопыренный, со смущенным лицом, что сердиться на него было трудно. «Ах, неразумие, неразумие,— подумал о. Нил,— и вино. До чего распаляет человека».

— А если я про надоровского батюшку — это не от злобы. Ну, что он? Ну, поскакал? Так ведь дрожал-то после сколько. Нет, это я без злобы.

О. Нил вздохнул и сел на ступеньку.

— Что мы с вами, враги, что ли? Фу ты, Господи Боже! Даже жарко стало.

Он отер пот и сел рядом с о. Нилом.

— Да, вы говорите: стекол нет? На сто рублей?

Они сразу стали тише, не верилось, что за десять минут эти люди чуть не поссорились.

— Я так и размышляю,— говорил о. Нил.— Если бы где-либо у знакомого купца попытать, с уступочкой... для храма.

— М-м... с уступочкой.

Фаддей Ильич вздохнул.

— Это надо обмозговать, о. Нил, обмозговать.

Но, перебрав несколько фамилий, все не могли они остановиться ни на чем.

Тогда Фаддей Ильич вдруг крякнул, сказал:

— Знаю. О. Нил, не беспокойтесь. Я хозяин, я вас обидел... стекла вам будут.

— Как же вы думаете-с?

Фаддей Ильич пыхтел, был грустен.

— Да уж везет вам, что тут! Третьего дня старушку, нынче меня.

Но потом он захохотал, обнял о. Нила.

— Пузо-то, пузо-то,— хлопал себя по животу,— толстый дурак, дал-таки себя объехать. Ну, уж я даю стекол, я, что там.

О. Нил смеялся и благодарил, хотя не очень верил.

— Вы серьезно?

— Дворянин-с, дворянин! Уж я вам говорю!

Фаддей Ильич покрутил ус. Вид его снова стал величествен.

Когда о. Нил возвращался, уже светало. Он был в отличном настроении и думал о церкви. Одно его немного смущало: отчего все меньше становится истинно верующих? Над ними, священниками, часто смеются, в церковь, действительно, ходят мало. «Надо певчих завести, певчих,— соображал он,— из учеников. Пусть стараются. Православные любят пение». Эта мысль его утешила. Почти у калитки дома он остановился... В сереющей мгле, за рекой, виднелись копны; Венера у горизонта сияла слезой — мир был так мирен, сладостен, нежен, как стих акафиста. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Матушка еще не спала и собиралась упрекать его; он тотчас рассказал ей все, как было.

1913

ЛЮДИ БОЖИИ

1. ДОМАШНИЙ ЛАР

Он родился в усадьбе, зимой, третьим сыном черной кухарки. Мать была ему не очень рада и не очень не рада. Как и все в деревне, должен был он произрастать естественно, а там — что Бог пошлет. Он и произрастал. Сколько нужно — кричал; сколько нужно — сосал; и думалось, во всем пойдет по стопам братьев — бойких и живых ребят.

Но на третьем году выяснилось, что он не ходит; минуло четыре, пять, он не говорил, лишь начал ползать, выгибая дугой ноги. Глаз его смотрел вбок — не плохой, карий глаз, но выдавал вырождение. Мать тужила. Было жаль, что из него не выйдет работника, как из Сережи или Алексея, но, по русско-бабьей склонности, любила она его больше, чем других, *жалела*. Старшие росли быстро. Они вели жизнь деревенских ребят, зимой гоняли на салазках, летом ловили в речке раков, мучили птиц, кошек. Младший же сидел на печке, сиднем, как Илья Муромец. Он почти не рос. Время неслось над ним незаметно. Весь его мир — печка, мамка, да несколько звуков, неизвестно что значивших. Но это же время, сделавшее братьев крепкими мальчуганами, вывело и его на улицу. Сначала робко, боясь упасть, ковылял он в братниных валенках; потом окреп, стал ходить, даже бегать. Гимназический картуз явился на голове, взор повеселел; к семи годам с победным криком мог он носиться по усадьбе, волоча рогожу, дохлую вороиу — босой, в коротких штанишках, рваной кацавейке; она пестрела красными дырами.

К нему привыкли, даже полюбили. Нравом он смирен, оживлен, хотя обидчив. Иногда мать подшлепнет его, он рыдает; но тогда белая кухарка даст ситного — горе забыто. Он бегает целый день, летом. На всех путях в усадьбе можно его встретить. Он говорит мужчинам «папа», снимает картуз; женщины все «мама». У него есть свой язык, полуптичий, полузвериный; верно, самые первые люди на земле так говорили. Когда слов

не хватает — изобразит жестом, действием: присядет, пробежит, помычит по-коровьи или побреешет. Замечательно умеет куковать. Лучше всех понимают его дети. Он рыцарь барской девочки. Ей четыре года, ему восемь. Ростом они одинаковы; говорит она бойко, о чем угодно; он — лишь с ней. Она понимает такие фразы:

Он (указывая на отца): «Бахи — махи, лу (подымается на цыпочках, к небу), э-э».

Значит: «Пусть папа влезет на дерево, пилить ветки». Он ее неизменный спутник, кавалер, телохранитель; он рвет ей цветы, собирает грибы; когда нужно, целомудренно отвертывается, весело и покорно возит ее в колясочке, работы деда; отгоняет гусей, зовет маму, все свершает ясно и толково, что она ни скажет. И одна у него скромная дневная радость: когда на балконе пьют чай, он является, снимает гимназический картуз и тихо говорит: «Хай». Ему дают большую чашку жиденького чая; он прилаживается на лестнице; голова его коротко острижена, легкими вавилонами; в руке он держит блюдце, дует, закусывает кусочком сахара, и блаженство можно прочесть на его лице. Выпив, подает чашку снова; ему опять наливают, как прочно заведено,— точно маленькому домашнему божку, нехитрому лару древних. Он выпивает четыре, пять чашек и, когда больше не хочет, положит чашку набок, как принято в людской. Он уйдет. Но куда бы ни выйти, всюду его встретишь; как настоящий обладатель усадьбы, он кружит по ней, иногда дразнит индюков или вытаскивает гвозди; и будто бы он ничего не делает, но он живет, он часть общей жизни; он скажет вам что-нибудь на своем языке, засмеется и убежит, повинуясь собственным настроениям. Он веселится, если сказать ему на его же наречии: «бахи-баха»,— слова неизвестные, загадочные.

И иногда, в дни тяжкие, когда все взрослые, да и весь, кажется, мир подавлен,— бывает радостно видеть, как маленький человек беззаботен и счастлив куском пирога, булкой, конфеткой; легче сердцу, когда видишь, как ведет он домой девочку, как хохочет, везя ее в коляске. И верно, правы были древние, обожествившие мелкие существа домашней жизни, далекой от ужаса мирового; смутно чувствуем это мы всегда; потому и не жаль лишнего пряника — как не жалели его две тысячи лет назад.

Что ждет его впереди? Будет ли он деревенским дурачком, юродивым, усердным молельщиком в церкви, раньше всех являющимся? Или просто пахарем родных нив? Может быть — пильщиком, плотником в артели, работящим и толковым, но — немым, посмешищем девок, неудачником в романах?

Время, медленно ведущее его, покажет. А пока — он наш маленький домашний лар, покровитель и охранитель мирной жизни. Как вчера — нынче явится он за возлиянием, и завтра. Нынче, завтра и послезавтра — его получит.

2. РЕСПУБЛИКАНЕЦ КИМКА

I

Не надо думать, что его имя — Аким. Он в действительности Федор Акимыч. Фамилии же, верно, сам не знает. Для простоты зовут его — Кимыч. Еще короче — Кимка.

II

Он ходит в чужой огромной каскетке, в чьем-то пальто, подпоясавшись ремешком. На кривых ногах рваные сапоги. Лицом похож на первобытного истукана, с едва намеченными глазами. Борода его густа и спутана. Из нее торчат соломинки, мякина; на ушах же, беспощадно оттопыренных каскеткой, ссохлась корка грязи.

Некогда был он молод.

III

Когда мы ехали с ним со станции, в телеге, по выбоинам осенней дороги, я сказал:

— Ким, ты знаешь, ведь у нас теперь республика.

Он дернул вожжами и обернулся, ухмыляясь.

— Республика!

Я объяснил, что это значит.

— Ким,— прибавил я,— пойми, ты ведь теперь республиканец.

Он захохотал. Слово ему понравилось.

— Гы-гы-гы... Республиканец! Скажешь тоже! Уж ты скажешь! Республиканец. Гы-гы-гы...

Телегу трясло. На одной ямке я вывалился, потом опять сел. Так совершали мы скромный путь. Безмерные поля были вокруг, попадались лесочки, запущенные, как Кимкина борода, разлатые деревни, телята, ребятишки, мужики. Издревле прелестный воздух осени. Древне-родная Россия.

Здравствуйте, Кимки! Здравствуйте, граждане-республиканцы! Сколько вас?

Кимка курит едкую цыгарку. Иногда улыбается. Верно, вспоминает смешное слово.

IV

Он работник в имении. Его дело нехитрое: привезти воды в бочке, покормить лошадей, напоить их. Съездить за керосином. Пропахать картошку, выбросить из парника навоз. Все это делает он медленно, как настоящий русский. Почешется, покурит, просто поглазеет по сторонам. Австриец Иохим, работающий с ним вместе, длинноногий и длиннорукий, похожий на игрушечного паяца, презирает Кимаша.

— Кима́ш ist dumm[1],— говорит он.— Не умеет работать. Только ругается. Er sagt immer[2], твою мать, твою мать.

Кимка, действительно, сквернослов. Речь обычная ему не дается. Трудно этим тяжелым мозгам, нескладному языку произнести что-нибудь связное. Слова вылетают отдельные, хрипло, грубо.

— Напоить... лошадь-то напоить... Ишь чего... Я сам знаю, что напоить.

Но ругается он хорошо. Это удобно тем, что к каждому слову можно прибавить знаменитое упоминание о матери, троицу, на которой стоит русская земля. И будет отлично.

Дни Кима проходят в курении, вялой работе, еде, брани. Он с чужой стороны. У него нет здесь близких, да и вообще, кажется, их нет. В том же однообразии, как у Любезного, которого не всегда он поит, или Аспазии, чьих щенят равнодушно закидывает, проходят его годы.

V

Он сварлив, раздражителен. С ним трудно. Из-за пустяков он вспыхивает, краснеет и дико ругается. Иногда же бранится механически, по давней привычке. Во хмелю страшен и жалок. Думаю, что он, опившись спиртом, может кончить дни под забором.

Вне этих дел он угрюм, равнодушен. Хочется верить, что по природе он не зол.

VI

Если сказать: «душа Кимки», многие, знающие его, улыбнутся.

---

[1] глупый *(нем.)*

[2] Он говорит всегда... *(нем.)*.

— Какая же у Кимки душа? Тогда и у Трезора душа, и у серого придорожного валуна?

Все-таки это неверно.

У него есть улыбка, а следовательно, и душа.

Иногда маленькая барская девочка, встречая его, говорит:

— Кимка, у тебя на ногах мох!

Он опускает голову и смотрит.

— Не кланяйся, ведь я не Бог!

И тогда он смеется.

— Ишь ты... все шутишь... ишь ты, шутница...

Лицо его расползается,— доброе, человеческое в нем видно. Да, и он тоже ведь был ребенком, может быть, даже милым! А теперь мы радуемся, что в нашей республике вырос республиканец, умеющий хоть ответить улыбкой на шутку ребенка.

Как ни удивительно, он умеет читать. Зимними вечерами читает кухарке вслух непонятные книги. Есть известие, что так прочел он Герберта Спенсера, доставшегося на цигарки. Потом его выкурил.

VII

Некогда он был женат. На вопрос о жене отвечает неохотно.

— Ну, был и был... женился. Ну, ушла жена-то, чего спрашиваешь? А то, жена... жена... Сбегла́. Вот тебе и жена.

Есть еще более удивительный слух, что уже теперь, в преклонных годах, у него был роман с девушкой. Но и она «сбегла́».

VIII

Если не верить в Бога, то надо признать, что все его существо, вся тусклая и смутная жизнь, похожая на прозябание животных, развеается бесследным облаком. Жил он или не жил, нельзя будет даже сказать.

Если же верить, то, быть может, пред Его судом гражданин Кимка окажется лучше, чем пред нашим. Быть может, за то, что ему дан скудный ум, жалкая внешность, дикая речь; за то, что столь мало света видел он в жизни; за то, что его не любили и смеялись над ним,— ему будут прощены ругательства. И если верно, что последние да будут первыми, то Кимка, имя коему — тысячи, не ведающий о себе республиканец, будет и вправду допущен в ограду и сделан гражданином иной, не нашей республики.

3. СЕРЕЖА

I

Василиса Петровна вздохнула и вытащила из комода, на котором в рамке из ракушек стояла фотография и лежало несколько бумажных роз,— кусочек мыла, синевато-мраморного цвета.

— И уж так нечист, так нечист, что просто душенька моя не глядела бы.

Василиса Петровна, немолодая, мучительно-хозяйственная женщина, жена богатого хуторянина, жившего на семидесяти десятинах помещиком, была жалостлива и вообще склонна к слезам. Горько могла рыдать о пропавшей индюшке, о неудавшемся пироге. Десятки маленьких огорчений терзали ее. Ее лицо, некогда красивое, выражало теперь сплошной вздох. Глаза как будто бы всегда заплаканы.

— И по-одумать,— говорила она, напирая на о, по-ярославски,— по-одумать, где мыться-то выдумал, на галдарейке. Мне, го-оворит, здесь свету больше и вид хо-ороший! О, Господи Батюшка, Царица Небесная!

Она вышла на стеклянную галерейку дома, залитую весенним светом. Посреди стояла лохань, рядом два ведра с холодной и горячей водой. Легкий пар шел от кипятка.

Человек неопределенных лет, в небольшом капоре, кацавейке, женской юбке и мужских сапогах стоял около ведер, пробуя воду пальцем. Маленькие его глаза оживленно бегали; по небритым щекам росла желтоватая щетинка.

— Вот и благодарен, очень вам благодарен, Василиса Петровна,— говорил он быстро и вежливо,— я теперь отлично вымоюсь, а то меня очень вошки заели, так кусаются... Тут очень светло, и вид хороший со второго этажа, сад, зеленя, лесочек... совсем по-благородному.

Сережа снял кацавейку и почесался.

— Довершите вашу любезность,— сказал он,— когда я буду мыться, потрите мне спинку. А то, знаете ли, трудно самому, очень трудно.

— Ну и скажешь, правда, ну и такое скажешь...— Василиса Петровна опять расстроилась.— Как же я тебе спину буду тереть, когда я женщина, не какая-нибудь... Мне ведь неудобно, ты мужчина.

— Что вы, что вы, я бы никогда не осмелился... Но чего же меня стесняться? Я сам женщина... вы же знаете.

— О-ох, блаженный ты, блаженный... На вот тебе мыла, пришлю мальчишку, он тебе поможет.

Сережа засмеялся мелким смешком и по-женски закрыл руками грудь.

— Только маленького, а то взрослого я постыжусь, они нас обидеть могут...

Василиса Петровна вздохнула и ушла.

Сережа снял рубашку, юбки, попробовал обмыться холодной водой, но показалось неприятно. Горячая слишком была горяча. Много времени он потратил, чтобы сообразить, что воду надо смешать. Что-то напевал, мурлыкал, подходил к стеклянной стенке и глядел, как работник вез в колымажке навоз под яблони. Наконец, с блаженным видом стал оттирать мылом свое тело — худенькое, желтое, со следами многих укусов. Когда через несколько времени к нему вошел рыжий мальчик лет десяти, с бойкой рожицей,— Сережа, тощий, с подведенными ребрами, как Иоанн Креститель, стоял в лохани, по колена в воде, и радостно улыбался. Он забыл лишь снять сапоги — так в них и мылся. Мальчик взглянул на него, прыснул, но все же помог.

Через четверть часа Сережа оделся — ему дали чистую рубашку; причесался, надел капот и пришел благодарить Василису Петровну. Увидев на комоде бумажные розы, он спросил, нельзя ли взять одну, на память.

— Моя покойная сестрица очень розы любила,— говорил он, прикладывая цветок к капору и глядясь в зеркало.— Как вы думаете, Василиса Петровна, мне желтая больше подойдет или красная?

— Да уж бери, бери, что там разговаривать.

Василиса Петровна вздохнула. Она вспомнила, что скоро будут делить у них скот и инвентарь. На глазах ее выступили слезы.

— Прощайте,— сказал Сережа.— Еще благодарю вас, Василиса Петровна. А теперь возьму палочку... мне идти надобно — некогда, некогда-с, Василиса Петровна.

— Да какие у тебя дела-то?

Василиса Петровна была права. Сравнительно с ней, чей день полон был заботами о скоте, индюшках, курах, пирогах,— Сережа мог считаться совершенно праздным.

Он спустился вниз. Собаки залаяли. Но он их не боялся. Да и они не отнеслись к нему всерьез. И он двинулся по деревне, мимо пруда.

II

Был апрель, время ранней весны, когда едва поля обсохли, снег в оврагах не дотаял, пригреваются взгорья, затянутые сероватой пленкой. Появилась крапива да тонкие, изумрудные

иглы гусиной травки. По дорогам пустынно; если крестьянин встретится,— чаще верхом, на нечищеной, патлатой и голодной лошаденке. Но уж тепло; нежно голубеет небо, бледно-размыты зеленоватые зеленя. И еще несколько дней, скот, пасущийся по парам, станет кой-что доставать.

Церковь в селе Никонове, куда брел Сережа, стояла в стороне, за барским садом. За церковной оградой, с плитами памятников, начинался осинник, сейчас еще голый, серо-зеленоватый; там влажно, кой-где лютик желтеет, да белеет снег. На паперти ярко-красной церкви с зеленым верхом стояли бабы, девушки, несколько стариков. Человек с прямым пробором, примасленными, блестящими волосами — не вымерший еще русский тип — отворял ворота в ограду. всматривался в дорогу между садами, хлопотал — видимо, принимал близкое участие. На колокольне перезванивали. Могильщики, здоровые парни в солдатских гимнастерках, с завитыми челками, кончали могилу. Желтая земля ярко выступала на снегу.

Сережа пробрался к бабам, тоже смотрел, улыбался, иногда бормотал про себя.

Высокий помещик, с седыми усами и огромными руками, в поддевке, сказал полковнику, указывая на него:

— А ведь богатейший был человек!

Полковник, бритый, с небольшим бобриком, ястребиным носом, несмотря на изгнание, походил еще на множество полковников.

— Помешанный? — спросил он рассеянно.

— В этом роде. У него, изволите ли видеть, сестра некогда была... Ну-те-с... Эта сестра умерла. И он, представьте себе, вообразил, что душа сестры в него переселилась и что он женщина... Обратите внимание, у него и роза прикреплена... вон как... одним словом, несчастное существо...

— Это бывает,— сказал устало полковник.— У меня в четвертой роте рядовой себя корпусным командиром объявил. Пришлось удалить.

— Но заметьте, что вот он явился же на похороны. Надо вам доложить, что покойный Андрей Михайлович, как секретарь дворянской опеки, из дворянских сумм нанимал ему комнатку, этакое, знаете ли, пристанище... Одним словом, не забыл последний долг отдать.

Полковник поморщился.

— Ну, вряд ли понимает... Посмотрите, чем занялся.

Сережа, под шепот и смешки молодых баб, подошел к кусту акаций, снял кацавейку, стал ее вытряхивать. На солнце блеснула золотая серьга в ухе.

— Так, так, хорошенько тряхани,— посмеивались бабы.

Старшие их остановили:

— Чего ржете? Над ним плакать, а не смеяться впору.

Вдали показался священник в белой ризе, за ним гроб. Помещик и полковник вздохнули, вышли из ворот ограды, навстречу. В простом сосновом гробу, поколыхиваясь на белых полотенцах, приближался прах Андрея Михайловича, которого знал весь уезд, который некогда был местным львом, земцем, представителем древнего, но небогатого рода, другом Сережи — и скончал дни свои на небольшом хуторке в трех верстах.

Сережа встретил гроб, за которым шли заплаканные дамы, как и все,— крестился, но его желтоватые глазки бегали с такой же быстротой, доверчивостью, как на галерейке Василисы Петровны. Вместе со всеми он прошел в церковь.

Обедня шла довольно долго. Церковь вся была полна голубоватым весенним светом. Золотистые его ковры ложились на амвон, на старинный иконостас, разделанный под малахит, с барочными волютами вверху и итальянской, полукруглой нишей, как бы для статуи. Туда лицом был обращен покойник. Венчик со словами: «Святый Боже, Святый Крепкий» опоясывал лоб. Потемневшее лицо с темными усами выражало то непередаваемое и нечеловеческое, что нередко бывает у мертвых. Служил священник со лбом Сократа и кудрявым обрамлением лысины. Хор сбивался. К причастию бабы вынесли плачущих детей. Молодой человек независимого вида, за псаломщика, помогавший священнику, вытиравший ребячьи ротики, по окончании обряда снисходительно улыбнулся на клирос: там стояли такие же передовые юноши с начесами. Его улыбка говорила: «Я работаю, но, разумеется, ведь это предрассудок». Человек с намасленным пробором посредине головы, в поддевке, с бескровными губами, как и много лет назад, обходил с тарелкой и кружкой.

Сережа стоял на клиросе. Иногда он подпевал, случалось — даже в тон, иногда фальшивя. То рассматривал близких покойного и родных, толпившихся у гроба, то отворачивался, чесался и вертелся. К словам «придите с последним целованием» он остался безучастен. И когда рыдания раздались, с удивлением повернул голову; потом принялся ловить муху, бившуюся о стекло, на солнце.

В дверях лезли любопытные, даже хихикали, рассматривая, как кто прощается. Потом растворилась боковая дверь. На верхнем каменном крыльце пригревало. Из расщелин плит, под апрельским солнцем, пробивалась травка. Поблескивала кадильница; ладан ярче синел. Бывший лев, земец и дворянин при-

ближался к месту упокоения. Застучал молоток. Полетели вниз пригоршни глины, рыжей и вязкой. Девки висли на ограде, чтобы не пропустить чего.

Серьезный, немолодой мужик, глядя на засыпаемую могилу, сказал родственнику умершего:

— Мы-то его теперь не дождемся. А он нас встретит.

Потом помолчал и прибавил:

— Умаялся, сердешный.

Сережа подошел к дамам, улыбнулся и вежливо попросил милостыню. Ему подали.

И пока долго и тщательно засыпалась могила, оставшиеся вели свои скромные земные дела: неизвестно было, кому отдать белые полотенца — в церковь или могильщикам; кому ехать и кому не ехать на поминальный обед. У нагретой солнцем стены мужики рассуждали о ссорах в комитете. Они имели важный, сосредоточенно-хозяйственный вид. Все эти дни делили землю. И сейчас надо было идти, отмеривать, вычислять осьминники, нивы, десятины. На их лицах было выражение значительности и той приятности, которую довольному трудно скрыть.

Сережа побродил между могилками, убедился, что больше не подадут, и поплелся в чайную.

III

Вряд ли он понимал, что с Андреем Михайловичем ему не встретиться. Вряд ли знал, что вечность легла между ним и высоким человеком с черными усами, как разделит она радующихся и огорченных, берущих и лишаемых. Он шел осинником и ни о чем не думал. У поворота к селу, на опушке, блеснул под солнцем срез свежего пня, залитого соком. В этом блистании была весна, как и в сухих, слегка пылящих ноги и шуршащих прошлогодних листьях.

В чайной Сережу покормили. Тут еще больше было мужиков, занятых своими важными делами. Говорили о том, что нет семян на яровой посев. Что одни зимой чрезмерно расторговались, другие овес поели за недостатком хлеба. Какая-то баба кричала, что ей не дают земли на малолетнего, и что она будет делать со своими тремя осьминниками? Как всегда, была критики и недовольные. И хотя казалось бы, что довольных больше, недовольные шумели громче.

С мужиком, ехавшим в город, пристроился на облучке телеги и Сережа. Он не мог бы сказать, почему именно едет.

— В город тебе, что ли? — спросил мужик.— Чудной, ты в какие Палестины?

Сережа улыбнулся и ответил:

— Подвези, пожалуйста... Масса дел, масса дел... Всего-то не упомнишь.

Он наморщил лоб, сделал серьезное лицо, как будто в уездной метрополии правда ждали его необычайно важные занятия.

Они одиноко ехали с мужиком по весенним полям, еще никем не оглашенным, кроме жаворонков, высоко и трепетно стоявших в воздухе. У села Овечья, в ложбинке, где ярко краснели ободранные пеньки ольх, чуть было не угодили в трясину. У Павлушина встретили мужиков, шедших по пара́м группою, с тем сосредоточенно-довольным видом, как и тогда у церкви: эти делили землю. А за Павлушиным попались, как из сказки, старик со старухой, с палками и с мешками за спиной: та же Русь: только с голоду вышедшая побираться.

— Сла-а-бода! — сказал мужик, поравнявшись с ними, и плюнул.

Скоро выехали на большак, обсаженный дуплистыми и корявыми ракитами. Вдалеке завиднелась уже, полускрытая возвышенностью, соборная колокольня, и налево засинела, темнея вдали лесами, долина Оки. Но в Кудашеве, большом селе с барским парком, ампирным домом, прудом и железным мостиком на клочке шоссе, Сережа завозился и стал озираться. Когда доехали до деревянной церкви со старыми колоннами тоже стиля ампир, среди вековых берез, Сережа вдруг спрыгнул.

— Эй ты, заяц, куда поскакал? — крикнул возница.

— Я тут, я сейчас, по делам, на минутку,— заговорил Сережа.— Мне бы тут к учительнице зайти, все собираюсь, собираюсь отдать визит, неудобно, уж сколько времени не навещал...

— Ну, тебя тут ждать не буду,— сказал мужик, и стеганул лошадь.— Ви-зи-ты у него!

Но Сережа не обратил внимания. Мимо огромной, кирпичной, вновь строящейся церкви он прошел к нарядному каменному дому с большими окнами, типа станций, под зеленой крышей — гордости старого земства — новой школе.

Учительница Вера Степановна, маленькая, аккуратная девушка в белом воротничке, уже пообедала, когда явился Сережа. Он бывал здесь, и она не удивилась его приходу.

— Я к вам с визитом, с визитом,— быстро заговорил Сережа.— Надо же отдать визит, а то неудобно. И еще дельце есть малое.

Вера Степановна была очень чистоплотна. Она затворила дверь к себе в комнату и повела его в класс, просторный и светлый. Она боялась его насекомых.

— Какое же у вас дело? — спросила она, сев за столик и взглянув на него ясными, серыми глазами. В них сквозила ее душа — честная и уверенная в пользе книжек, просвещения и четырех действий арифметики.

— Надо меня проверить,— сказал Сережа, совсем серьезно.— Обучение юношества, вы знаете, как я к этому отношусь. Разумеется, в прежней жизни я достаточно хорошо владел пером... Но для учительской деятельности, в наше время...

Вера Степановна не поняла.

— О какой деятельности вы говорите?

Сережа улыбнулся.

— Ах, я не рассказал! Какая забывчивость! Меня собираются назначить учительницей, в Малоземово, вы понимаете. А я так мало упражняюсь в письме, что, быть может, забыл... Будьте любезны, вы как сотоварищ по просвещению народа...

Он схватил лист бумаги, обмакнул перо и быстро стал выводить буквы.

Вера Степановна вздохнула. Она даже не улыбнулась. Она была девушка серьезная, и раз Сережа безумный, то удивляться не следует. Это было бы неинтеллигентно. А как раз ей нужно выступать на учительском собрании, в городе, и там отстаивать интеллигентность.

— Совершенно правильно,— сказала она, взглянув на написанное.— Перед *который* мы ставим запятую.

— Верно, верно, виноват! Разумеется, запятую.

Потом он подошел к доске, взял мел и стал решать какие-то задачи. Но здесь арифметика Веры Степановны должна была уж уступить: Сережа складывал, делил и вычитал по правилам другой, лишь ему ведомой науки. Вера Степановна не возражала. Приглядевшись, заметив, что сегодня он гораздо чище обычного, она позвала даже его пить чай, к себе в комнату.

Откусывая кусочек сахару и дуя на блюдечко — глазки его бегали, как у зверька,— Сережа говорил:

— Значит, вы находите, что я не позабыл? Это очень приятно. А то, представьте себе, назначают новую учительницу, она является и не знает, где букву ять ставить! *Шкандал!*

Он посидел еще немного и сказал, что ему пора. Узнав, что завтра Вера Степановна будет в городе, он очень обрадовался.

— Я тоже приеду на собрание. Как же, как же, необходимо... сплочение просвещенных людей!

И еще раз прибавил, что если назначают учительницу, а она не умеет писать, то это просто *шкандал!*

Солнце садилось, горело в кресте церкви. Грачи орали на березах,— там настроили они гнезд. Сережа, с длинной палкою,

от собак, вышел на большую дорогу. Опять росли по ней дуплистые, низкие ракиты. В канаве блестела вода, розовея на закате. Справа, слева те же зеленя, по которым бродят спутанные лошади.

Неясная, но неизменно действующая сила вела его вперед, по этому большаку, в город, как завтра, может быть, поведет в другой конец уезда. Он не помнил уж ни об утре у Василисы Петровны, ни о похоронах, ни о будущем своем учительстве. Ему навстречу надвигался зеленоватый апрельский вечер. Он сменялся ночью. И уже весенние звезды зажигались. Орион рано скрылся за горизонтом. Подымалась Дева, со своею Спикой. За ней всходил четырехугольник Ворона. В это время в уезде одни, как Василиса Петровна, горевали о своих достатках, отходящих к другим, другие мечтали о получаемом, третьи, как учительница, готовились к общественным треволнениям, и все, обычно в этот час в деревне, собирались спать. Они жили и действовали, считая свои действия важными и жизнь — вечной. Андрей Михайлович спал очень крепко. Его знакомый, помещик с большими руками, думал посадить в изголовье его дубок вместо памятника.

А Сережа шел. Он ничего не знал. Над ним было ночное небо.

Притыкино, 1917 г.

АЛЕКСЕЙ БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК

I

Евфимий был знатный римлянин, полный и благодушный. Жил широко в великолепном доме у подножия Авентина.Любил гулять в своих садах, где кипарисы окаймляли Тибр, беседовать с философами, в жару сидеть под портиком и слушать флейту, запивая ледяной водой шербет. Все делалось вокруг легко и просто: кто-то подавал ему сандалии, застегивал одежду, накрывал на стол. И сами появлялись вина.

Тридцать лет правила домом его жена, белая, красивая и добрая, такая же дородная, почтенная, как муж. Сотни рабов прислуживали ей. С ними обращались хорошо. И им завидовали рабы других господ.

Каждый день Евфимий выставлял несколько столов для бедных — вдов, странников, детей, убогих. Правда, было это вблизи кухни и далеко от жилых покоев. Иногда он, улыбаясь, важно и приветливо проходил мимо обедающих, и те славили его. В другие дни, когда они слишком шумели, а он хотел читать возвышенное или поэтическое, то удалялся в сад, к Тибру, где у него был выстроен небольшой домик. Здесь шумел вечным, милым шумом Тибр. Евфимий безраздельно отдыхал за чтением — от своей роскошной жизни.

Он полагал, что просвещение вещь величайшая. И к его сыну Алексею приходили ежедневно риторы, грамматики, философы. Диакон Петр из церкви св. Пуденцианы, огромный и лохмато-добродушный, обучал его катехизису.

Алексей не был красив, как мать, и крупен, как отец. Казался даже слабоват. Не совсем правильная голова, с огромно-выдававшимся затылком. Глаза шире расставлены, чем надо, серые, с тонкими веками, иногда некрасивые, иногда вдруг заливались светом и воодушевлением. А улыбался он застенчиво. К философии и священной вере имел крайнее влечение. Особенно был им доволен высохший, как обезьянка, грек философ Хариакис и диакон Петр.

— Не утомляй себя,— говорил отец.— Жизнь длинна. По-

смотри на меня. Мне пятьдесят, а я молод, потому что никогда не признавал излишеств. Во всем мера. В этом мудрость и залог здоровья, силы, счастья.

Алексей слушал почтительно. Не возражал и занимался своим делом с твердостью, восхищавшей Хариакиса.

— Ах,— говорил тот, дыша чесноком,— что за мальчик! Родился философом. Если бы не дурак Петр... но что смыслит этот невежда?

Хариакис с высоты своего рваного плаща и греческого нищенства не выносил римлян.

— Юноша,— обращался он к Алексею,— в тебе пламя божественного Плотина! У тебя затылок философа. Но увы, тебе надлежит жить, прости меня, в этом мерзейшем городе, рядом с которым наша Беотия или Коринф — столицы. Многого я от тебя ожидаю, но запомни: мир дряхл и Рим твой, хоть и груб, но стар и развращен, клянусь лучшей луковицей моего прежнего огорода в Пиргосе! Натащил себе богатств со всего света, сел на них, икает, пьянствует и думает: я лучше всех. А вот я, Аристид Хариакис, поклоняющийся Плотину, я, кого вчера рабы Рутилия Фигула чуть не избили за то, что я нечаянно задел плащом, проходя, их господина, я кричу: довольно, суд идет! Довольно преступлений и насилий, жадности, богатства, зверств. Так сказано и в вашей, христианской книге, где пророчество о городе. Прибавлено, что это Вавилон. А я тебе говорю: Рим! Ах, что за люди! Что за жизнь!

Хариакис завернулся в плащ свой рваный и торжественно вышел. Он был такой маленький и тщедушный, что его можно было бы, как игрушку, положить в карман, но надувался величаво и, вздыхая по своему огороду в Пиргосе, шел бродить в сумерках по темным уличкам у театра Марцелла, где слонялись подозрительные личности. С ними заводил он шашни. И в вонючих кабачках запивал козий сыр вином, громил богатство, роскошь и пресыщенность. Иногда надоедал, и его били.

II

Чтобы как следует понимать жизнь, Алексей был еще молод. Он слишком мало ее знал. Но слишком резко из нее выделялся, как выступал его затылок из числа других. Он очень любил мать и отца, но ему скучно было бы так важно, благодушно шествовать под портиком или смотреть, как под надзором матери ключницы складывают в кладовые тонкие полотнища холста.

Он лучше и счастливей чувствовал себя на убогом холме Эсквилина, в смиренной церковке св. Пуденцианы на вечерне

или за стенами Рима, нежной зарей, в виноградниках и кипарисах катакомб. Кто-то был с ним, светлый и таинственно-великий. Свечи золотистее теплились в церкви, обольстительней алела тучка на закате. Возвращался он легким и радостным.

— Хороший юноша растет у нас,— говорил жене Евфимий,— но слишком он далек от жизни.

Аглая успокаивала:

— Женится, будет семья, все наладится.

В дородности и красоте своей она считала, что жена, дети, спальня и столовая все одолеют.

И принимала меры.

Цвели персики и миндаль, по голубому небу римскому неслись пухло-рваные, белые облачка, когда в портике своего сада, в тонком узоре теней от молодых померанцевых деревьев, увидал Алексей Евлалию. Девушка шла с матерью и Аглаей. Была довольно высока, широкоплеча, ночной черноты волосы, синие глаза. Держалась строго и покойно. Алексей рассмотрел крепкий очерк лица с завитками волос, глубокую впадину между ключицами, несколько полные и тяжеловатые ноги.

Он ничего не нашелся сказать ей. Видел только, как на него поднялись два синих глаза, с оранжевым ободком на зрачке, и посмотрели внимательно. Сладкой прохладой на него пахнуло. И сердце слегка поплыло.

Вечером в церкви св. Пуденцианы он был особенно счастлив. Даже когда закрывал, молясь, тонкие веки, что-то сияло сквозь них.

Дома его подозвал отец.

— Нравится тебе эта девушка?

Алексей слегка побледнел. Опустил глаза, пробормотал что-то невнятное.

— Ну вот,— говорил позже, в спальне, укладываясь на ночь, жене Евфимий,— видишь, я никогда не ошибаюсь. Разве не говорил я, что Евлалия непременно ему нравится?

И покойный, довольный, лег на свое ложе — многие годы делил он его с Аглаей. Приятно было, что Алексею нашел тоже жену, и хорошую. Оставит ему состояние, дом. Жизнь его будет приятна, легка, как его собственная.

Евлалию также спросила о женихе мать. Та немного задумалась и вздохнула.

— Да, это странный... и необыкновенный юноша.

III

По вечерам, перед сном, Алексей молился. Призывал, как с детства был приучен, силы добрые на отца, мать, себя, близких,

не забывал даже маленького, сморщенного Хариакиса. Поминал умерших. И заканчивал молитвой о Риме, о своем народе. Теперь ко всему этому прибавилось имя Евлалия — тихо и с нежностью.

Как было принято, они видались редко, мало и говорили. Он хранил все-таки влажное прикосновение ее руки, сдержанно-ласковый блеск глаз, запах лаванды, отпечаток сандалии на песке дорожки, черный крутой локон над ухом. Узнавал ее издали по широковатым плечам, твердой поступи. Ему казалось, что в ее синих глазах с оранжевым ободком — прохлада, чистота, ласка.

И он знал уже, что она будет его женой. Это волновало — он закрывал широко расставленные свои глаза с тонкими веками, как у ребенка.

Хариакис заметил, что Алексей не в себе. Их уроки кончались. Грек был печален.

— Женят тебя, засядешь в спальню, дети пойдут... Нет, если быть философом, то домашние дела побоку. Вот и я... Ах, отчего я не у себя в Пиргосе, я ходил бы, окруженный прекрасными юношами, мы рассуждали бы о Порфирии, Плотине, Ямвлихе, ели бы чудесные фиги и гранаты... Ты имеешь вид сонный и отсутствующий, я знаю, о чем ты думаешь...

Алексей медленно открыл глаза, точно вышел на поляну. И потер лоб.

— Учитель, не говорите так.

Его стеснял теперь сморщенный грек. И он даже рад был, что они расстанутся. Что-то набиралось и бродило в нем. Хотелось одиночества. Он чаще выходил на берег Тибра, смотрел, как солнце нежит камыши, блестит в струях,— волнение его вздымало.

Особенно было оно сильно в день свадьбы. Алексей мало понимал, что происходит, слушался родителей, в тумане делал все, что полагается, и сказал «да» в церкви, и отсутствующим взором видел, как надел кольцо священник на знакомый твердо-розовый палец Евлалии, как дышала ее грудь, вздрагивали ресницы. Необычайный, матовый блеск был разлит по ее лицу. Что это значило все? Что происходило?

Свадебный обед очень затянулся. Евфимий был доволен, важно, благодушно угощал. Все шло прилично. Только Хариакис на дальнем столе, у выхода, перепился, и его пришлось вынести. Он ругался и обозвал всех мошенниками. Но в шуме, общем смехе, это мало кто заметил.

Когда Евлалия с подругами ушла переодеваться, Алексей поднялся, незаметно вышел. Удалился в узкую аллейку поме-

ранцев, буксов стриженых, зашел в дальний угол сада, к домику отца и кипарисам перед Тибром.

Трепетаньем света, легкого и зыбкого, знойно-прозрачного, был полон воздух. Сверкали струи в Тибре. Камыши клонились и вздымались. И струило над домами, и дворцами, и садами Рима. Кое-где плавился золотой шпиц. Ослепительный послеполудень...

Алексей остановился. Загляделся на двух бабочек, белую, желтую, круживших над шиповником, ветер то наносил, то вновь откидывал их. Потом взор отошел на мутно-златистую рябь реки, ерошившуюся чешуей, поднял глаза, и точно воздух стал еще светлее, вокруг все наполнялось ослепительным сиянием. Знакомое, то чувство, что испытывал и раньше, но стократ сильнее, залило его. Он перехватил грудью воздух. Закрыл глаза и в светлой мгле с медленно плывущими точками так ясно ощутил, что с ним и в нем Тот, Некий, кого знал и ранее. Мгновение — показалось, он сейчас уж перейдет, не выдержит. Но стало легче. Он открыл глаза. В голове шум. Те же кипарисы, Тибр, камыши, свет, жара, лишь он другой.

Он медленно шел назад, к гостям. И когда проходил мимо любимого своего фонтана — два обнявшихся мраморных ребенка, из губ их струйками бежит вода,— все показалось дальним, точно бы подводным.

Близко к полуночи Алексея привели в спальню. У изголовья постели, убранной красными гвоздиками, курились, потрескивая, голубоватые огни. Из другой двери вошла Евлалия. За ней был слышен шепот, тихий смех подруг. Потом все смолкло. Они остались одни.

Евлалия села на постель, сложила руки на коленях и не подымала глаз. Тонкая жилка билась в углублении между ключицами.

Алексей подошел к ней, опустился и поцеловал руку. Полная нагая нога в сандалии чуть не касалась его губ. Евлалия покраснела. Подняла руку и погладила огромный затылок Алексея. Мучительно прекрасна была она для него.

— Лучше тебя никого нет,— сказал.— Нет и не будет.

И тогда увидел ее глаза. Психея с нежностью, сквозь синеву, смотрела на него.

— Но я не могу с тобой остаться. Я должен уйти отсюда.

Психея подняла слегка голову. Широкие ее плечи выразили недоумение.

— Прости меня,— продолжал Алексей.— Быть может, я и оскорбил тебя. Но я не понимаю. А теперь Бог позвал, и я иной. Я люблю тебя, но не могу быть твоим мужем. Я не буду ничьим мужем. Я ухожу.

Психея удалялась, а Евлалия бледнела, крепче твердой рукой сжимала одеяло. Долго в молчании смотрели друг на друга. Затылок Алексея вырастал в глазах ее, на фоне света, голубовато-золотевшего. Вдруг что-то дернулось в ее глазах. Точно сорвалось с места.

— Я всегда чувствовала... думала... а теперь знаю...

Алексей снял обручальное кольцо и отдал ей.

— Храни его пока. Так надо.

Перекрестил ее, поцеловал в холодный лоб, точно вонзил кинжал, и вышел. В поясе его было золото и ключ от потайной калитки вблизи Тибра. Зачерпнул родной его воды, освежил лицо и в тишине, при отдаленном гуле Рима засыпающего, с отсветами зарев, зашагал мимо Тестаччио и пирамиды Цестия. Скоро только кипарисы у ворот как часовые остались на начавшем светлеть небе от великого, взрастившего его Рима. Да собаки лаяли. Пели вторые петухи.

IV

Хозяин судна, на котором Алексей из Остии отплыл в Малую Азию, рыжебородый купец в кольцах, завитой и нарумяненный, хорошо расторговался и был весел. Целый день пил вино, хохотал, икал, спускался в трюм — любил собственноручно хлестать прикованных к веслам гребцов. Потом запирался у себя в каюте с новокупленной наложницей. Матросы тоже были полупьяны. Не стесняясь, предавались грубому бесчинству.

Алексей безвыходно сидел на носу, на груде старых мешков. От них пахло еще пшеницей. Кипели белым дымом брызги, пена, и хлестали волны. Солнце радугой в них иногда вспыхивало. На губах соль и влага, в груди свежесть. Позади корабль, мачты со вздутыми парусами, хозяин, матросы, волнистая, зеленовато-бело-пятнистая струя и в голубом тумане берега Италии. Рим, дом на Авентине. Впереди бесконечные хохолки волн да неведомая земля.

Шли благополучно. Одному гребцу за грубость отрубили ухо, другого с пьяных глаз выбросили в море — проходила стайка акул, и любопытно было поглядеть, как они полакомятся. Раб просто утонул! Хозяин, протрезвившись, пришел в ужас — этот негр с серьгой в ухе стоил дорого. Он рвал рыжую бороду, дико ругался и грозил гневом Божиим.

В прозрачных, сиреневых сумерках вошли в гавань большого города.

Алексей рад был уйти с корабля — но и вокруг все было чуждо. Раздавался говор на гортанных, непонятных языках. Во

мгле мелькали белые чалмы, тюрбаны, пестрые халаты, вперемежку с римскими солдатами и моряками, колонистами. Он долго бродил в закоулках, шумных и распутных вблизи порта, молчаливо сонных выше, по горе. И все всходил, и, наконец, достиг заброшенных каменоломен. Внизу виднелись огни города, за ними темнота моря. Алексей примостился у камней. Так началась первая его ночь на чужбине.

Лежать было не мягко, все же он спокойней спал здесь, чем отец, мать и жена на родине.

Евфимий ничего не понимал. Исчезнуть так, в день свадьбы, не поговорив даже с отцом... Но для чего тогда венчаться? Откуда эти крайности? Точно нельзя быть добрым верующим и иметь жену? Все это мучило и огорчало. Чтоб развлечься, он старался больше играть в шахматы с наемным мудрецом, в домике у Тибра. Да, но это бросает тень на самый дом... Евфимий был просто расстроен и ударил даже раз раба, не с той стороны поднесшего ему щербет. Мудрец было поежился, но тотчас принял вид веселый, пошутил над киликийцем: как неловок!

Аглая похудела от волнений. Тоже мало понимала, но по-матерински и по-женски больше плакала, страдала, что не видит сына, не для кого хранить добро, хозяйничать и наводить порядки.

Евлалия же замолчала. Она прямо объяснила, с первых слов, в чем дело.

— Алексей святой. Я это давно знала. Будем ждать. Что Бог пошлет.

И как вдова, надела траур и осталась в доме Авентинском. Стала лишь бледнее, строже, много шила. Ямочка под шеей сделалась поглубже, но ходила она так же прямо, твердо, и такая же была прохладная и чистая — будто вновь уснула в ней Психея, чуть разбуженная.

Алексей же обратился в нищего у храма Пресвятой Девы, в городе греческих и римских колонистов побережья Малой Азии. Храм стоял выше города, недалеко от каменоломен, где он ночевал впервые. Солнце заливало все здесь легким, трепетно-прозрачным светом. Ослепительно сияли в нем дороги. Слева море, смутной и дышащей синевы, с белой россыпью узеньких парусов, внизу плоские кровли домов с кактусами, пальмами и кипарисами, несколькими базиликами и уцелевшим римским амфитеатром, а правей, в сизо-серебряном тумане — сухой и жгуче-каменистый край, красными пластами обнажающийся к морю. Кое-где рощи, виллы разбогатевших купцов. Дрожащий раскаленный зной.

Нищие сидели с чашками для подаяний. Тень паперти, синея, защищала их. Светящий воздух обжигал. Иной раз на руку садился белый голубь, а потом взлетал к уступу колокольни.

Алексей сразу же роздал все, что захватил с собой из Рима. Если собирал более, чем на день, излишнее делил между товарищами. Ночевал в каменоломнях. И молился больше, чем на родине. О многом мог молиться. С высоты холма Богоматерь, покровительница моряков, благославляла мир, и он лежал синеющий, благоуханный,— а внизу эти же моряки торговали женщинами, и рабами, и детьми, дрались и напивались, убивали и насиловали. Алексей ходил иногда вечером по глухим уличкам и закоулкам порта. Перед освещенными входами сидели девушки, почти нагие, зазывали и кричали. Выбегали на середину, подымали платья. Из домов с красными фонарями неслась музыка, пьяные крики. Пахло нечистотами. Над головой же подымалось небо с потрясающими звездами. А рядом порт. В нем корабли с красными парусами привозили, развозили по всему свету шелковые ткани, золотые украшения, жемчуга, предметы из слоновой кости, гребни, краски.

Алексею лучше было на холме около храма. Он нашел невдалеке и полюбил небольшую рощицу из фиговых и тутовых деревьев. Росли они на почве скудной, каменистой. Тем трогательней были сочные, трехлопастные листья фиги, жирно-блестящие у тута. Фигами нередко он питался. Тутовые ягоды, падая на землю, усеивали ее как бы чернильными орешками.

Под непрерывный звон цикад, удивительный своей неутомимостью, Алексей подолгу сидел в тени рощицы, смотрел на море. И в нем трудно было бы теперь узнать холеного юношу из дворца Евфимия. Одежда изорвалась, лицо обгорело, черная борода разрослась по щекам, некогда нежным. Даже затылок не так выдавался, прикрываемый курчавой шапкой волос. И лишь глаза сильней, взрослей блестели.

Рабы Евфимия, посланные на розыски, не обратили на него внимания. Дворецкий, что когда-то подавал ему жареных куропаток, начиненных грудинками сицилианских перепелок в кисловатом соусе,— равнодушно бросил драхму бородатому нищему на паперти Богородицы Утешения моряков. Алексей же поблагодарил Бога, что довелось ему получить милостыню от собственного раба.

V

Так проходили годы, мало он их замечал. Вставало и садилось солнце, луна изменялась, в гавань приходили корабли и уходили,

люди богатели и нищали, умирали и родились. Алексей ставил свечи Богоматери, много молился, мало ел, подолгу сидел на паперти со своей кружкой. Голуби вились над его головой.

Однажды он был очень удивлен: к нему подошел маленький, сморщенный и иссохший человек без возраста.

— Ах, нехорошо забывать прежних друзей и учителей!

Но Алексей отлично узнал его. Хариакис, правда, мало изменился, да и мало преуспел за эти годы. От него так же пахло чесноком, и так же был заплатан его плащ, в седой щетинке подбородок.

— Ну, значит, плохо я тебя учил! После Плотина — паперть, чашка, рубище... И ты доволен? Тебе нравится сидеть здесь, среди всех этих бездельников?

— Да, я доволен.

— И собирать жалкие гроши?

Алексей наклонил голову.

— Ах, понимаю! Ты не просто же сидишь, ты этим отрицаешь прошлое, богатство, семью, родину...

— Я делаю, что мне указано.

— Ну, да, вы все, юродивые, говорите так. Пожалуй, тут есть даже смысл... Но, все-таки, родиться сыном Евфимия, изучать философию и красноречие, чтоб оказаться на паперти... Впрочем, я же сам громил тебе богатых. Я еще менее сейчас люблю их. Но теперь я поумнел. Ни философиями, ни сидениями тут не поделать ничего. Нужно другое.

Хариакис оглянулся.

— Слушай, я хочу с тобой поговорить, но не на людях.

Под вечер они сидели в тени фиг и тутов, в Алексеевой любимой рощице. Зной спадал. Цикады верещали. Над дружным, серебристым хором их в остервенении захлебывались басом несколько особенно взъяренных. Далеко, в красных выемках каменоломен, работали полунагие люди. Неземной лиловатостью были одеты горы, и над изумрудом моря у прибрежья, над каймой пенных кружев брезжила мгла белесая.

— Это и называется Божий свет, который ведь я должен принимать, меня сюда назначили! Я созерцаю Божество вместе с Плотином, и я рад бы стать пневматиком и духоносцем, но... ведь кушать надо! А со всеми гностиками — я же нищий, не на что хлебнуть глоток вина, не говоря уже о поцелуе юных уст. А между тем, все эти...— Он указал на белевшие по склонам виллы — среди кипарисов, миртов, роз.— Я их ненавижу! Грабители! На чужом поте взошли. Знаешь,— он живо обернулся к Алексею,— я поучал тебя, что Рим обречен, но теперь, когда судьба продолжает меня мыкать, когда я зараба-

тывал хлеб и писцом, и глашатаем, и сводником,— я возненавидел всех богатых, в Риме ли, Александрии, Тарсе, где угодно. Мир прогнил, надо его разрушить!

Хариакис сделал театральный жест, точно бы сбрасывал рваную хламиду, и, приблизив лицо к самому носу Алексея, срезал себе правой ладонью пальцы левой — для последней убедительности. Желтые глаза его были безумны. Он обрызгал Алексея слюной.

— Я не один. Нас много. Тоже недовольных, жаждущих... И это не впервые здесь... Но ранее, как следует, не удавалось. А теперь мы оснуем новое государство... лучше чем Платоново. Нищие все за нас. Составь дружину и присоединяйся. Мы порастрясем всех, кого следует.

Алексей молчал. Хариакис продолжал убеждать. Ответа все-таки не получил. Тогда он вспотел, раздражился, несколько раз набрасывался на него, потом утих, обозвал дурачком и в наступающих сумерках исчез так же внезапно, как явился. Алексей же сидел долго. Зажигались огни в городе, на судах в порту, красные, зеленые. Южный сумрак синел. Смутно белели в нем дороги. Наплывала теплая струя, и в потемневшем небе звезды разлегались вечными узорами.

Алексей улегся спать под ними. Как обычно в долгих годах чистой и суровой жизни, ощущал себя легко, и жестокая земля не отгоняла. Лишь когда вспоминал Хариакиса, некое облачко находило на душу.

Ему суждено было разрастись.

Через несколько дней, у себя на паперти, услыхал Алексей разговор двух купцов — они спешно погружали семьи на корабль и уходили — по прибрежью двигались отряды взбунтовавшихся. Заметил Алексей, что меньше стало и его товарищей по нищенству. А через две недели в городе уже шла резня. В церковь спасались перепуганные женщины. Море бессмертно синевело, ветерок широко морщил его, тот же ветерок нежно гнал тучи дыма от горевших — не впервые! — вилл. Все шло, как полагается. Те, кто работали в каменоломнях, в гавани, стали хозяевами города. Как издавна заведено, бросали в море богачей, негры насиловали женщин, а сирийцы дико пьянствовали. Ночью прекраснейшие зарева светили отовсюду. В гавани, у домов разврата, стоял непрерывный вой. Было правительство: цирюльник, беглый солдат и фолософ Аристид Хариакис — имя его часто слышал Алексей.

Продолжалось это не так долго. Подошли римские войска, явился флот — Алексей видел тяжкие триремы — важно, холодно входили они в порт на веслах. И пожары прекратились.

Кровь же полилась рекой спокойной и обратной. Выйдя раз на прибрежную дорогу, Алексей увидел длинный ряд платанов. Ветви их были обрублены. На стволах, как гроздья страшных фруктов, уходили вдаль тела распятых. На одном из первых же деревьев висел сморщенный человек с раздробленным носом и разорванной губой, с седой щетинкой заросшим подбородком.

Нелегко признать в нем было Аристида Хариакиса.

VI

Алексей был очень грустен. Даже реже он ходил теперь в свою рощицу, меньше глядел на город, на море. Он еще усерднее молился, много времени он проводил перед образом Пречистой в церкви.

И однажды в храме раздался голос Ее:

— Приведите ко мне человека Божия. Ибо Дух Божий на нем, и его молитва угодна Господу. Молитесь, молитесь, подражайте ему, ибо весь мир нуждается в очищении.

Священник прервал службу, хор остановился. Все были в недоумении. Кто человек этот? И где находится?

Голос прибавил.

— Не ищите его в храме. Он сидит на паперти, с чашкою в руке.

Привратник догадался.

— Этот тот,— сказал священнику,— нечесаный, с большим затылком. Он семнадцать лет уже сидит у храма.

И пошел за Алексеем.

— Иди,— он взял его за руку.— Сама зовет тебя, Пречистая.

Алексей плохо понял, но пошел. Народ расступился перед ним.

— Вот человек Божий! Посмотрите на него, человека Божия!

Священник его обнял. Народ по-прежнему приветствовал. У женщин были слезы на глазах. Алексей земно поклонился образу Пречистой, поскорее вышел в боковую дверь у алтаря. «Человек Божий!» Огненный крест стоял в его душе, она была в сиянии. И та же сила, что когда-то, в ослепительный послеполудень, подняла его на берегу Тибра, взяла и теперь. Он снова стал иным.

К вечеру Алексей спустился в гавань.

Город не казался уж ему своим. Как будто он вчера в него приехал, день просидел со своей чашкой, завтра уедет. Облачка, в огневом золоте, медленно плыли на север. Он поглядел на них, и в сердце у него что-то сказало: Тарс. Он подошел к матросам. Загорелый, в колпачках, фесках и с серьгами в ухе, они сидели на канатах вблизи пристани и медленно ругались.

— Тарс! — мрачно сказал один.— Ишь куда собрался. Там, брат, чума. Кто мрет, а кто бежит. Некому мертвых подбирать, не то что за больными уж ходить.

— Вот хорошо. Я буду ходить за больными, убирать мертвых.

Моряки переглянулись.

— А-а,— вспомнил один, с ямой шрама на щеке,— это юродивый, головастый, с паперти Богородицы. Возьмем его. Пресвятая нас поддержит.

И Алексея взяли с тем, что высадят у Тарса, сами пойдут дальше.

На другой день отплыли. Храм Богородицы долго виднелся на холме, казалось, благословлял плавание. Моряки могли думать, что Пречистая поможет им устроить все дела. Но вышло по-другому. К вечеру поднялась буря, и не только Тарса не увидел Алексей, но не увидели и моряки города, куда шли, а корабль несколько суток колотило по волнам, и раздраженные матросы выбросили б Алексея в море, если бы не ослабели сами. На восьмые сутки, когда стихло, подобрало их судно, шедшее в Остию.

Так Алексей снова попал на родину.

Через два дня с котомкой, палкой на заре вечерней подходил к корчме недалеко от Рима. Там решил ночевать. Скудно поужинав, вышел мимо сеновала в огород с капустой и латуком. Рядом начинался виноградник. Прислонившись к невысокой стенке, отделявшей его, Алексей вздохнул глубоко. Было влажно. Пахло овощами и сырой землей, таинственной близостью болот и моря. Небо полно крупных звезд. Там, между двух тонких кипарисов, где оно светлее, Рим. Вот — город цезарей, апостолов, ристалищ, катакомб, безумия и святости... Как громил его Хариакис! Великий, но и страшный Рим. Ну, что ж, вперед, под кровом Богоматери.

И утром, столь знакомыми воротами у пирамиды Цестия, мимо Тестаччио, нищенскими кварталами он вышел к Авентинскому холму.

Все тот же Рим, все тот же Тибр. Те же полощут белье прачки, так же ходят колесом по улицам мальчишки и сапожники сидят на табуретках в крошечных своих закутках, так же ветер шумит лаврами, дубами Палатина и сгибает легкой дугой стройные кипарисы сада Алексеева отца. И по стене так же легко-упруго ходят тени их.

Алексей попал в час завтрака. Как в годы его детства, под открытым небом вблизи кухни было выставлено три стола для бедных. Старухи, дети, два юродивых, несколько пилигримов с запыленными ногами, слипшимися волосами хлебали суп бо-

бовый, заедая хлебом. Рабы носили блюда жареной козлятины, вкусно дымящиеся. Евфимий проходил, совсем седой, как прежде, милостиво важный, но задумчивее, как-то тише. Рядом с ним шел философ.

Алексей поклонился.

— Господин,— сказал,— я издалека, но наслышан о тебе. Прими меня в свой дом. Я буду на тебя работать и питаться крошками с твоего стола.

Евфимий посмотрел на него, сказал философу:

— У меня некогда был сын. Глаза этого странника так же широко расставлены, как у него. Да, но того, наверно, нет в живых. Мои рабы не могли его найти.

И, обратившись к Алексею, разрешил остаться. А потом в грустной сосредоточенности проследовал с философом к своему домику у Тибра.

— Мой сын был очень чистым и хорошим юношей. Но не хватало ему чувства меры. Вот так-то, друг мой. Я богат, знатен, но с тех пор, как Алексей ушел, как умерла жена, мне остается только отводить душу в чтении, да разговорах с людьми вроде тебя.

А в это время Алексей шел по другой дорожке сада. И не очень удивился, когда из-за куста азалий показалась перед ним высокая фигура женщины с широкими плечами и тяжеловатой поступью полных ног. Все те же были темные прохладные глаза с сине-оранжевым зрачком, но в черных волосах седины. Она была одета строго и богато.

Увидев Алексея, вдруг остановилась. То ли хотела вскрикнуть — овладела собой, побледнела. А потом низко поклонилась.

— Это ты. Я знаю. И я знала — ты придешь.

Алексей посмотрел на нее.

— Ты все так же прекрасна. Отец не узнал меня. А ты так мало меня видела. Как ты могла узнать?

Евлалия села на скамейку.

— Мне ли не узнать!

— Да, я узнал бы тебя тоже, где б ни встретил и в каком бы виде.

Евлалия подняла голову.

— У тебя слезы? Алексей, у тебя на глазах слезы?

Через несколько времени он сидел с ней рядом на скамейке, как всегда покойный. Говорил негромким, ровным голосом.

— Слушай, Евлалия. Семнадцать лет назад я ушел от тебя и из этого дома. Так повелел Господь. Мне не дано было семейной жизни. Я жил нищим в храме Богородицы. И я молился. Я видел бедных и богатых, злых и добрых, святость

и безумие. И мне был дан знак уйти оттуда. Я хотел отплыть в Тарс. Пречистая привела меня на родину. Я знаю, ты верна мне, ты все прежняя Евлалия, и ты должна молчать. Ты никому не скажешь, кто я. Помни, ныне я последний здесь, я буду делать черную работу, никому не может быть трудней, чем мне.

Евлалия поцеловала ему руку.

— Я всегда знала: ты святой. Ты пришел спасать родину и нас всех. Да, я знаю. Я верна тебе.

VII

Аглая умерла давно, и в управлении всем домом место ее заняла Евлалия. Она легко усвоила спокойную серьезность и внушительность предшественницы. Но теперь низший раб хозяйства был собственный ее муж. Никто не знал об этом. Может быть, Аглая и узнала бы его. Но у других не было к нему любви — его не замечали.

Потому ли, что напомнил отцу смутно сына, Алексей вначале получал кушанье со стола Евфимия и был предложен даже ему услужающий. Он отказался. Мыл посуду, таскал воду, подметал, выносил нечистоты и у каждого старался взять труднейшую работу, облегчить кого возможно. Всех называл братьями. Ухаживал за больными, заступался за детей и слабых. Сам чинил одежду, спал в бывшей собачьей конуре на досках. Из рабов некоторые удивлялись на него. Большинство смеялось и негодовало.

— Вольный, а туда же лезет, в нашу шкуру. Дурачок, наверное, зашибленный.

— Не дурачок, а просто он прикидывается. Вот, посмóтрите, стащит что-нибудь, сбежит, а мы останемся в ответе.

И его дразнили, случалось, и обливали помоями. Когда уходил в конуру, дети собирались вокруг, лаяли, кричали:

— Выходи, дам косточку!

Евлалии он не позволял заступаться за себя. Она и понимала его, и не могла спокойно видеть все. Ночью, потихоньку, приходила к конуре, плакала и целовала его руки. Потом шла к себе в спальню, и служанка думала, что она бегает к любовнику. А она медленно сгорала. Раб засыпал, с влажными глазами и душой легкой. Он видел ее синие зрачки, милый стан широкоплечий, ногу полную, весь облик, с юности чудесный.

Но и менялся самый облик. С удивлением замечал Евфимий — все беднее, строже стала она одеваться, отпустила на свободу несколько своих рабынь, питалась хуже, меньше занималась по

хозяйству, чаще уходила одна в город — там, в приходе св. Пуденцианы, завелись у ней особые друзья.

— Дочь,— говорил Евфимий,— ты начинаешь увлекаться. Я понимаю доброту и помощь неимущим — я и сам, сколько могу, помогаю. Но во всем мера. Вспомни бедного твоего мужа. Оттого он и погиб, что не знал меры.

— А может быть, он вовсе не погиб. Быть может, мы, отец, в этом дворце, с нашими виллами в Тибуре, Байях,— ближе к гибели, чем он...

— Ну, это уж преувеличения!

Евлалия вдруг вспыхнула и покраснела.

— Отец, я лишь теперь и начинаю понимать жизнь — ближе вижу ее. Вся моя молодость прошла в теплице. И вы, прекраснейший, добрейший человек, разве вы видите действительную жизнь? Вы видите дворцы, сады, приятные обеды, музыку и разговоры за вином и шахматами... вы взглянули бы туда, где настоящий Рим, на Целии, на Эсквилине, на Трастевере... Ах, Рим велик, но и ужасен!

Евфимий развел руки.

— Как и мир вообще. Я не ребенок, как ты думаешь. Но лбом стену не прошибить.

— Я вчера видела девочку... Наши спасли ее... дьякон Петр и другие. Ее должны были продать Корнелию Руфу — он бывает в нашем доме!

— Уж и продать. Опять, наверно, преувеличение.

— Нет, это правда, Рим, да и мир,— прибавила Евлалия с каким-то странным выражением,— нуждаются вообще в героях и заступниках. Мы — христиане только по названию. Впрочем, святые есть... мы лишь не знаем их.

Такие разговоры мало нравились Евфимию. Он уходил в домик на берегу Тибра, где ему уж не мешали жить, как нравилось, и видеть, что хотелось.

— Издавна привыкли громить Рим за распущенность, богатства и жестокости,— говорил он философу, раскладывавшему перед ним шахматы.— Понятно, Рим не агнец. И надо признать, что в откровении апостола Иоанна есть кое-что... — Он сделал первый ход.— Но души, склонные к восторженности, раздувают...

Евфимию меняться было уже поздно. Мирно, как и прежде, разыгрывал он свои партии, а годы шли по-прежнему, не быстро и не медленно.

По-прежнему жил Алексей в своей конуре, и чем старше становился, тем все деятельнее: работал сам, работал за других, слабейших, утешал обиженных, мирил поссорившихся, ходил в храм св. Пуденцианы, помогал Евлалии в делах благотворения

и подолгу молился на досках своего дома, ночью. Его уж не дразнили и не обижали. Напротив, дети приходили с ним играть по вечерам или спасались под его защиту от побоев. На крыше конуры сидели голуби. Ни ястреб и ни кошка не могли здесь тронуть их, они курлыкали и ласково садились Алексею на плечо, на руку, как когда-то в дальнем храме Богородицы.

И так прошло много лет. И никто не узнал, кто этот странный нищий. Когда же наступило ему время уходить, то он позвал жену, сказав:

— Дай мне кольцо, которое я отдал тебе в день венчания. Господь зовет меня, я знаю. Я его надену.

Евлалия заплакала и поклонилась ему в ноги.

— Господин, зачем ты оставляешь нас так скоро?

Алексей погладил ее волосы.

Хотя и болен был, не уходил из конуры. Дети носили ему пищу, голуби держали у его одра почетный караул.

А в один день в алтаре храма св. Пуденцианы голос произнес на литургии:

— Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененнии и Аз упокою вы.

Народ смутился и стал на колени.

— Пойдите и ищите,— продолжал голос,— человека Божия и просите его, чтобы он молился за Рим.

И опять добавил:

— А найдете вы его в доме Евфимия.

И тогда народ с епископами и священниками пошел к дому Евфимия, а диакон Петр, вдохновленный, вскричал:

— Это, наверное, тот, что ходил к нам со своею госпожой.

И он повел всех к месту, для него знакомому. Их встретила Евлалия. В гробу, рядом с конурой, лежало тело Алексея, все в цветах. Дети плакали, стоя на коленях. Голуби безмолвной вереницею сидели по всему краю гроба. А ласточки, виясь над ним, пели псалом. Диакон Петр вскричал:

— Да это Алексей! Мой ученик!

И со слезами он упал ко гробу. Лицо усопшего стало так юно и прекрасно, и он вновь так походил на Алексея прежнего — его тотчас узнали все, кто сколько-нибудь прежде знал. И прибежал Евфимий и заплакал тоже, тоже целовал. В руке Алексея была грамота, таинственными буквами, не человеческой рукою писанная: — Алексей Божий человек — простота, любовь, смирение и бедность.

Тогда все поняли, что он святой. Евфимий не имел уже силы упрекать Евлалию, что скрыла от него о сыне, ибо понял, что все это выше разумения человеческого.

Скоро весть о святом Алексее, любовью и молитвой заступившемся за мир, облетела город, и толпа почтительно стояла вокруг гроба — дети ближе всех. Голуби по-прежнему держали караул. Ласточек сменили жаворонки, жаворонков — перепелки, и так продолжалось, пока не прибыл сам папа Иннокентий.

Тогда тело возложили в раку и перенесли в церковь св. Бонифация-мученика, где было выставлено оно для поклонения народа.

Когда же было похоронено, то на другую ночь перед рассветом тою же калиткой у Тибра, где когда-то выходил Алексей, в черном плаще, темном покрывале, незаметно, навсегда удалилась женская фигура, что в миру носила имя Алексеевой жены Евлалии.

Июнь — июль 1925 г.

ЛЕГКОЕ БРЕМЯ

— Как же, как же, Марсель знаю, и даже, по совести говоря, не совсем так, как вы. То есть, не то чтобы очень любовался видом от Собора тамошнего, на горе, моряцкого, или же буйабесы сравнивал, в каком ресторане лучше, сидя на набережной, вновь пред синим этим морем... Мне Марсель тяжеле дался, Бог с ним. Я там восемь месяцев служил чернорабочим, поезда разгружал. Ну и занятие, я вам скажу.

Он разгладил черную, двумя крылами, видимо, полковницкую бороду.

— Поработали. Нас на «Марселе-товарном» целая артель подобралась, все русских. Офицеры и судейские, бывшие учителя, студенты, всякие. Н-н-да... Немало я на своей спине разного добра перетаскал. Однажды даже кровь горлом двинула, с натуги, что ли... Нет, если бы не выбрался, с Божией помощью — наверное, теперь не разговаривал бы тут. В моих годах, изволите ли видеть, уж не так и к жизни рвешься, но семья, детишки, это, знаете ли, очень дело пронзительное, да-с, в нашем положении все так и думаешь: нет, помирать нельзя, стой столбом, ломи горбом, а только не поддавайся. Иной раз через улицу идешь, автомобиль летит — ан нет, не может меня, мерзавец, задавить, никак не может, у меня четверо на руках, что ж им, на улицу идти?

В Марселе я всякого навидался, и не приведи Бог. Пьяные матросы, поножовщина и разврат в порту, и дети — этого я всего не выношу, терпеть не люблю, как говаривал наш бригадный генерал из немцев, царствие ему небесное, мученической смертью погиб. Ну, а все-таки вот и вспомнилось мне одно — так, один вечер выдался у нас у всех особенный.

Полковник закурил, поправил на пальце большой перстень с печаткою.

— Дело это было весной, на Страстной неделе, в самое для нашего брата на чужбине трудное время, потому, знаете, вос-

поминания одолевают... и березки наши распускающиеся, разлив, куличи, пасхи, и сама весна русская, весенний воздух... здесь же воздух, может быть, еще слаже и нежнее с моря, и самое море в эти дни особенно сиреневое, и когда ночью над ним белые и голубые огни сияют, то, конечно, красота замечательная, но не то... Хорошо-с, вот мы все эти «бывшие-то», а ныне как бы каторжные, и работаем, как всегда, мешки с зерном таскаем — взвалишь на спину, еле дышишь и по тропочке знакомой так, согнувшись в три погибели, и бежишь, только чтобы добежать и от ноши от своей избавиться. Вот нам и говорит контр-мэтр, француз: «Хотите, русские, в России побывать?» — «То есть, как это, мол, так, в России, когда здесь ваша страна, французская?» — «Да уж так,— говорит,— она хоть и наша, а все-таки тут и Россия есть. Идите-ка, смотрите».

Ну, разумеется, все наши побросали работу, за ним идут. Он на запасные пути, там товарные вагоны, целый поезд, только что пришел из порта. Отворили первый вагон — как всегда, мешки. Контр-мэтр велел один снять и развязал. «Вот она и есть,— говорит,— ваша Россия. Это пшеница русская, из Одессы».

Русская... Как сейчас помню, вечерело.

Звездочки уж показались первые. Паровозы кое-где посвистывают, на море сирена воет, ветерком теплым тянет — а вдруг сразу так тихо стало, наши все обступили... все к зерну тянутся... А кто на коленки стал, руки в мешок запускает, гладит... И молчим все. Шапки поснимали, только зернышко всё ласкаем, с руки на руку пересыпаем, а зерно, правду вам сказать, золотое. Теплое, янтарное зерно. Тут казак один кубанский прямо наземь кинулся, носом в пшеницу в эту уткнулся, у самого на глазах слезы, все дышит, нюхает — не нанюхается... «Господи,— закричал,— Мати Божия, да то ж зерно наше, кубанское...» И даже голос перехватило. Ну, знаете, долго так вокруг стояли, народ бывалый, тертый, мало чего не видели, да, а тут... всё что-то глаза утирали.

Полковник остановился, вновь погладил лирообразную свою бороду, помолчал, пыхнул трубкою.

— Потом мы пшеничку эту самую, нашу рассейскую, на себе, конечно, таскали, все на тех же наших спинках — уж не очень ноне барских. Но и таскать легче было. Вот вам и загвоздка. Вес все тот же, силы те же, а бежишь и только знаешь: это наша, матушка, родимая... И сколько натерпелись на родной земле, и сколько гнева, ненависти в сердце, ужаса, а тут вот как-то отошло, ну и душе стало полегче, освежительнее...

Я вообще вам скажу, я тогда этот случай понял не совсем спроста — да и не я один. Ну, что особенного? Понятное дело, в Марсель русскую пшеницу возили, и как нам не наткнуться на нее? Все-таки же показалось это доброй вестью, благою вестью. Точно бы и нас вот, вовсе уж заброшенных, нагих и сирых, осенил крылом Ангел Господень, и святое Его перышко на нас упало.

«Бог дал жизнь, Бог даст и хлеб» — и представьте, ведь недолго мы с той Пасхи промытарились на этой каторге. Оно и сейчас нелегко, ну, кое-куда разбрелись, кое-как пристраиваемся, кто чем... И даже дети наши учатся. Вот-с... а Марсель... Нет, Бог с ним.

1926

СЕРДЦЕ АВРААМИЯ

Авраамий был крестьянином земли Ростовской. Смолоду силен, с рогатиной ходил на медведя, подымал четверть овса, вел хозяйство горячо, успешно — жил зажиточно. Но не легко давалась жизнь, и мало радости в ней видел — по причине тяжести души. Казалось ему все не так. Изба лучше у соседа, урожай богаче, а работает меньше. Другим мельник мелет правильно, его обвешивает. У других жены статные, красивые, а его Мария и худа, бледна, и лицом не вышла. Он силен, а она слаба. «Все только норовит, как бы на мне выехать». И ему казалось, что жена ленива и мотовка, на его черных, волосатых руках зашибает свое счастье.

И ел он ее поедом. Никакой оплошности не прощал, пока от горькой жизни не слегка она совсем. И когда приблизилась смерть, то заплакала Мария и сказала мужу:

— Больше на меня не злобься. Ухожу от тебя. Если чем досаждала, то прости. А я тебе была верная жена и самого тебя любила и люблю и, если Бог не отринет, буду молить Его, чтобы облегчил твое тяжелое сердце.

С тем и померла.

Авраамий очень пожалел ее и тосковал, и хотя видел, что другие женщины красивее, но не женился вновь. Ему стало еще труднее. «Вот у других не умирают жены, а у меня умерла. Как мне теперь бобылем жить?»

Был он благочестив, молился и просил знамения. Но оно не являлось. Когда вконец опостылел дом, хозяйство, земледелие, то пошел к старцу-пустыннику, жившему в келейке, в лесах: старец ел одни ягоды, пил из ручья, имел длинную седую бороду.

Посмотрел на Авраамия, подумал и сказал:

— Сила твоя великая, плечи, как у медведя, руки в волосе, а сердце косматое. Тяжкое у тебя сердце, на все завистливое и недовольное. Пока сердца не смелешь, счастлив не будешь.

— Что же мне делать, старче?

— Походи по миру, послужи Богу, коли даст тебе размолоть сердце, то найдешь себя.

Авраамий продал дом и землю, взял котомку, палку и пошел по миру.

Собирал на церкви, служил батраком, пошел, наконец, послушником в монастырь, заброшенный в лесах, у озера Чудского. Но, собирая на церковь, все гневался, как люди скупы. В батраках сердился, что на нем все счастье свое зарабатывают. Даже и в монастыре, где хлебы пек, служил в поварне и рубил дрова,— не мог успокоиться: не нравились ему монахи. Этот толст, другой только и думает, как бы посытнее поесть, а третий притворяется, что молится.

И удалился Авраамий из монастыря.

Скитался он довольно долго и молился Богу, чтобы размолол ему сердце, чтобы отошли гнев и зависть, вспоминал умершую жену и теперь думал, что тогда, когда с ней жил,— тогда-то вот и был счастлив, вот тогда и было хорошо.

И стал седеть Авраамий. А покоя ему не было.

— Господи,— взмолился он в лесу, однажды, на берегу озера в диком Галичском краю.— За что гонишь меня, бесприютного?

Пал на землю под кустом высоким, можжевеловым, и зарыдал. Поднялся — видит, в десяти шагах от него зайчик — серенький, стоит на задних лапках и ушами прядает, как будто кланяется ему. И Авраамий пошел к зайчику, а зайчик легонько запрыгал по тропинке, все на Авраамия оглядывается и ушком знак подает: за мной, мол, иди. Так шли они ни много и ни мало, вдруг полянка и на ней часовенка. Зайчик оба уха накрест наклонил, сказал:

— Вот, Авраамий!

И сверкнул, в лесу исчез.

Авраамий прошел к часовенке, и жутко ему стало, дух захватило. Никого в ней не было. Заброшена, пустынна. Ласточка легко стрекнула из-под кровли. Сырость, тишина. Войдя, увидел Авраамий потемневшую икону Богоматери. Стал на колена, помолился. Точно бы полегчало.

— Что за странность,— думал,— что за зайчик и что за часовня, чья икона?

Но понравилось ему тут. Вынул из котомки хлеб, попил водицы из соседнего ручья и не заметил, как наступил вечер. До жилья людского было далеко. И Авраамий решил здесь заночевать. Подложил котомку под голову, лег у входа и заснул. Сон его был мирен. Увидал покойную жену, в чертах лица ее

что-то напомнило лицо на иконе. Так что Авраамий и не разобрал, то ли это Мария, которую он так теснил и упрекал при жизни, то ли иная. Но она ему сказала:

— Утром ты возьмешь икону, спустишься с ней к озеру, найдешь там лодку и переплывешь чрез озеро с иконой. Снесешь ее в монастырь, где жил послушником. Довольно ей находиться здесь.

Утро было туманное и теплое. Авраамий взял икону и двинулся, но не знал, где озеро, куда идти. Вдруг из-под кровли вылетела ласточка и все вилась над Авраамием. Тогда он понял, что надлежит следовать за ней. Действительно, в том месте была лодка. Авраамий сел на корму, взял весло и оттолкнулся. Икону же поставил впереди, ликом к себе. На крошечной дощечке на носу сидела ласточка.

Так плыли они по зеркальной глади. Легонький туман стелился над водой и мягко, будто кисеей, завешивал леса по берегам. Авраамий слабо греб, хотя был силен. И серебряная, нежно лепетавшая струя, как риза Богоматери, тянулась за кормою лодки.

Когда выплыли на середину, Авраамию представилось, что мир уже кончается: ушла земля, осталась только гладь воды, туман да тишина. Он испытал волнение и умиление; положил весло, склонился пред иконой.

— Не бойся, Авраамий,— он услышал голос, столь напомнивший покойную жену.— Я Богородица Умиление Сердец. По некиим молитвам и по собственному твоему томлению, я сжалилась над тобой. Беру у тебя сердце.

Сладость, но и ужас охватили Авраамия. Он еще ниже опустился пред иконою. Ласточка щебетала. Авраамий же чувствовал, как медленно, огненно перетлевает его сердце, точно невидимая мельница размалывает его. И чем меньше оставалось прежнего, тем обильнее текли слезы.

Когда тайное кончилось, он поднялся. Икона все стояла, как и прежде. Но с величайшим изумлением увидел Авраамий, что теперь она сияла красками и чистыми и нежными. Лодка же плыла сама собой. Ласточка взвилась и подлетела к Авраамию.

— Здравствуй, блаженный Авраамие, новорожденый к любви и кротости, отныне дан тебе крест проповеди слова Божия и славы Богоматери среди неверующих и язычников. Неси икону в монастырь.

Авраамий перевез икону и отнес в тот монастырь, где был уже. И снова принят был послушником, затем пострижен и в монахи. Но теперь ничто не гневало его, не вызывало зависти и тоски. Смиренным и последним он себе казался и на все

радовался, за все благодарил Бога. Ежедневно на молитве он просил прощенья за тяжелые преследования смиренной жены своей Марии.

Пробыв некоторое время в монастыре, он с благословения игумена удалился с Чудотворной иконой в глубь лесов и там основал монастырь Богородицы Умилсния Сердец. А когда собралось довольно братии, ушел далее в леса и опять заложил монастырь имени Пресвятой Девы. Позжс построил еще монастырь, все во славу Пречистой. И куда бы ни являлся он с иконою, таинственно обретению вблизи озера, всюду шло дуновение милости и чистоты. Во всем диком крае, населенном тогда язычниками, стал Авраамий провозвестником и проповедником светлейшей истины Христовой.

Так по томлению, молитвам и по состраданию умер прежний Авраамий и явился новый. А на озсрс до наших дней осталась светло-серебристая струя, проведенная таинственною лодкой, где родилось новое сердце Авраамия.

ПРАВИТЕЛЬ

В одном древнем и знаменитом городе был правитель. Когда в государстве произошла смена власти, его низвергли. Он поселился у своей сестры, в небольшой комнате ее домика. Для него началась жизнь, мало похожая на прежнюю. На углу улицы, где некогда проезжал в коляске, он продавал теперь пирожки. Пел в церкви на клиросе. Торговал остатками вещей сестры на рынке. У него выросла большая борода, седая, и его трудно было бы узнать. Дети друзей, которым он носил на праздники игрушки собственного производства, называли его «Дед Мороз».

* * *

Однажды зимою, как обычно, торговал он на рынке, предлагая платок сестры и свой портсигар с вензелем. Никто не покупал их. Дуло мелким снегом, лицо Деда Мороза стало леденеть, и ему показалось, что будет хорошо, если он пройдется со своими товарами по тротуару: быть может, скорее встретит покупателя. Подняв барашковый воротник пальто, с шалью на плече и портсигаром в руке, он перешел через улицу. Гомон и крик рынка остались сзади. Пройдя немного, он увидел на снегу предмет. Метелица уж задувала его. Это была небольшая икона. На ней изображались три старца — один с седою бородою в темной ризе, другой с темной бородой в ризе мелкими крестиками, третий со священной книгой у груди в левой руке, пальцы же правой подняты для благословения. Сквозь летящий снег стареющими глазами рассмотрел Дед Мороз надпись: свв. Симон, Гурий и Авива. Он поцеловал икону и положил ее себе в карман. В это время сзади раздались крики, брань, вопли: все место, где он только что торговал, было оцеплено конными и пешими солдатами. Так как по новому закону нельзя было торговать на рынке, то солдаты и стражники уводили мужчин и плачущих женщин.

Правитель же, возвратившись домой, поставил икону к себе в почтный угол. Его сестра была очень довольна.

* * *

Однажды все-таки его схватили и увели из дому позднею ночью. И он, и сестра полагали, что более не увидятся. Прощаясь, она перекрестила его и благословила иконою Трех Святителей.

Вскоре его судили. Десятки свидетелей вызваны были против него. Рабочие и служащие, вдовы, извозчики, булочники, торговцы, ремесленники, русские, евреи, армяне, татары — все говорили одно: «Мне не в чем его упрекнуть».— «Он ничего не делал дурного». Некоторые улыбались ему, кланялись, как знакомому. Правитель сидел и поглаживал бороду.

Суд присудил его к многолетнему заключению. Правитель был все так же спокоен.

Его отвезли в монастырь, обращенный в тюрьму. Там поселился он в келии. Некогда монастырь этот славился иконописцами и стоял на возгории, за чертой города. «Быть может,— думал правитель,— в этой же самой келии, за таким же вот столиком и трудился благочестивый инок». Теперь стены были исчерчены надписями. «Прощай, мама»,— читал он на одной. «Господи, не оставь меня!» — на другой. «Умираю»,— на третьей. Правитель хорошо знал грозную правду этих строк. Не раз старческий сон его прерывался грохотом подъезжавшей машины — в ней увозили осужденных. Правитель не сомневался, что близка и его очередь, ибо, думал он, власть недовольна приговором и, наверное, умертвит его тайно.

Но шло время, за ним не являлись. Весна наступила, и в бледно-золотом небе, за городом, над полями пел жаворонок, ручьи затопляли низины и серебрились: все это правителю виделось воображаемо. Окно же его выходило на город — на древнем холме в свете весеннего солнца все так же вздымались зубчатые стены и башни, белели соборы и их золотые шлемы. Все было, отсюда, такое же, как и тогда, когда один из дворцов занимал сам правитель.

Затем наступило лето. Пыльно-золотистая дымка висела по вечерам над городом. Осень ее сняла и расцветила склоны холма над рекой, в садах, пестрыми красками. И уже вновь приближалась зима. На Михайлов день поднялась и метель, под вечер потонувшая в мокрой грязи. Правитель думал о надвигающихся холодах.

В ночь на пятнадцатое ноября он видел сон — будто бы он на поляне, в родном имении, и так необычно светит солнце,

так все полно света его и благоухания, так вечны, блаженны деревья, травы, птицы, что это, конечно, иной мир. И три лица, знакомых и таинственных, возникают из света и как бы проходят вблизи, райским веянием.

Правитель проснулся в большом волнении. День странно начинался для него. После полудня постучали в дверь. Вошли тюремщики и объявили: он свободен.

* * *

Правитель возвращался домой пеший. Идти было далеко, через весь город. Он нес в руке узелок с вещами, шел серединою улицы, и снег медленно таял на его бороде. Он думал о сестре, ее добром сердце, и о том, как вот он счастлив, что его любят и ему есть куда возвратиться. Проходя мимо прежнего дворца, улыбнулся.

Далее без труда нашел в одном из таких переулков дом сестры. Деревья сада были запушены снегом. Свежий следок вел от калитки к крыльцу.

— Господи! — воскликнула сестра, увидев его.— Ты! Значит, не напрасно видела я нынче во сне Трех Святителей с найденной тобою иконки!

И взглянув на отрывной календарь, увидела, что сегодня, пятнадцатого ноября, день святых Симона, Гурия и Авивы.

* * *

Сестра правителя прежде была придворной. Ныне шила белье, готовила и убирала. Зимой разгребала снег у домика. Правитель же давал уроки, а в свободные часы клеил и мастерил игрушки для детей. Часть их он продавал, а часть раздаривал знакомым детям к Рождеству. Так что все более слыл средь них Дедом Морозом. И его жизнь шла довольно покойно. «Господи,— молился он,— благодарю Тебя, что даровал мне кров и любовь!»

Сестра, действительно, очень любила его, и они жили дружно.

Весною она заболела. Правитель ухаживал за нею, как умел. Почувствовав приближение смерти, она потребовала икону Трех Святителей, благословила ею брата, как в ту страшную ночь его увода. Коснеющим языком сказала:

— Храни икону. Это твои Заступники.

Правитель сам сколачивал ей гроб. Старческие слезы орошали его. «Господи, Господи,— повторял он про себя,— помоги и поддержи».

Он хоронил сестру в теплый день мая. Сирень цвела в

садике, жасмин распускался за забором. Нежно горел золотом купол соседней церкви. Правитель сам, в тележке, с помощью знакомого мальчика, вез прах сестры на кладбище. Легкий ливень пронесся над свежезасыпанной могилою, и еще ярче блистали, благоухали березки и клены. На обратном пути правитель измучился. Он отдал тележку мальчику, сам же остановился, сел у заставы на тумбу. И жалел, что не его взял Господь в землю.

В это время видит правитель извозчика, медленно к нему подъезжающего.

— Что ты тут сидишь на тумбе?— спрашивает извозчик.

— Я устал.

— Садись, подвезу.

— Заплатить нечем.

— Ничего. Мне по дороге.

Тогда правитель сел.

— Куда же ты повезешь меня?

Извозчик обернул к нему лицо с длинной седою бородой.

— Я тебя давно знаю. Ты бывший правитель. Раньше катал в коляске, а теперь нищий. Я тебя помню. Вот и уважу.

Они ехали шагом и рысью, в направлении дома правителя. Но не доезжая его, извозчик остановился у церкви.

— Видишь,— сказал он,— я и доставил тебя. Слезай.

Правитель был несколько удивлен, что его привезли сюда, но покорно слез. Хотел было поблагодарить возчика, но того уже не было.

Тогда он вошел в церковь. Начиналась всенощная. Правитель, ни о чем не думая, но не колеблясь, прошел в дальний угол, где горели свечи перед иконою. Подойдя ближе, слегка наклонился, чтобы рассмотреть образ, которого раньше как будто не замечал. На нем изображены были Три Святителя — один с седою бородою в темной ризе, другой с темной бородой в ризе мелкими крестиками, третий со священной книгой у груди в левой руке, пальцы же правой подняты для благословения. Подпись под ними: Святые Симон, Гурий и Авива.

* * *

Правитель молился. Заступники смотрели на него с иконы. Сердце его было легко.

СТРАННИК

После юга Париж нелегок. Всегда-то он холодноват и суховат, но после тишины, пустынных гор Вара шум, деловитость, грандиозный ход Парижа надо вынести. Вообще это город-учитель. Облик мира. Кто-то назвал «порог Вселенной». У него и поучиться.

Замечательно, что Париж, женщиною насыщенный, больше всего мужчина. В нем нет ни женственного, ни романтического. Он требует мужественности. Как на свои улицы, тускло блестящие под дождем, в изящных, точных линиях домов, серо-коричневых красках, так на своего человека Париж кладет чекан: рисунок его гибок, элегантен, остр. Непроницаемый человек. Учтивый, вежливый... огнеупорный.

В Провансе — дома. Земля дымится поэзией. Мир — друг. Господь спокойно говорит в церквах, звезды плывут по небу вольно, виноград, дикий укроп и тмин, лаванда — это все твое, братские дары. Ты понимаешь собак и любишь цикад. Ты человек незащищенный, твое сердце все раскрыто — четырем странам света, четырем великим ветрам.

Но Париж скажет, что земля не рай. Что ж, защищайся. И не страшись. Ты здесь неразличим, безвестен, угрожаем. Ничего. Иди.

* * *

Что такое жизненный путь? — В жаркий день путник идет из Торонэ в Пюжет (в Провансе), несет провизию в корзине. Лавочник наложил довольно много. И тяжело тащить. Белое шоссе слепит глаза. Кустарники кругом — дикая акация, сухонький мелколиственный дубок, все запудрено пылью. Сел вздохнуть на только что срезанную у дороги сосенку: пахнет смолой, через дорогу виноградник с покрасневшим листом, а дальше, по рыже-коричневой земле оливки — тупого, матового

серебра. Отдохнул, пошел дальше. У сворота к усадьбе опять сел. Велосипедист промчался. А прохожий обтер пот с лица, взял в руки метелочку дикого укропа, растер, откусил кусочек — анисовый вкус и крепкий запах — и вдруг так ясно понял: вот, несет домой всякие необходимые свертки, хоть и на чужбине, а не погиб, живет, радуется солнцу и дальним горам — идет. Устал, отдохнул и дальше. Потому что упрямство! Потихоньку, с развальцем и передышками, а надо дойти, уж такая вера, и так положено, то ли Пюжет, то ли иной порог, и, значит, в путь — простой путь из Торонэ, два километра — это и есть жизненное странствие. Дойдет!

И встал, зашагал неторопливо.

* * *

Владыка в церкви говорил о пути, Кресте. Стоял на амвоне, опираясь на высокий двурогий посох, в позе несколько утомленной, с грустным взором добрых глаз из-под очков. Тон его слов всегда кроткий. И всегда медленная простота речи. Менее всего он хочет быть оратором, деятелем какого-то театра. Праздным и любопытствующим он не нужен. Его речь — беседа, тихая и полная живого внутреннего содержания. Да как возможно то, о чем он говорит, преподнести ораторски? Вышло бы не русское, не православное. Где поза и желание приукрасить, игра интонациями и периодами, когда русский иерарх на русском языке говорит о жизненном подвиге и Кресте?

Он говорил о светлом бремени Креста Христова и о подвиге отдания себя перед людьми, лишенными родины, живущими нередко чудом, несущими в сердцах раны кровавые. Он говорил для «своих», для своего «стада», для тех, кто «на пути», у кого есть капля, с точки зрения мира — «безумия». И вот о Кресте сказал Владыка еще так: не надо думать, что изменится там что-то, вернемся мы на родину и тогда все кончится, станет легко и удобно. Тихим, простым своим голосом он напомнил — тогда-то и начнется! Ничего не кончится. Не обольщайтесь. Христианский человек — всегдашний воин. Нет ему успокоения, и нет довольства. Всегда в борьбе с собой, со злом. Как только успокоился — конец.

В этом и есть разница с противниками. Те говорят: идите к нам, мы овладеем властью, будете богаты, счастливы, покойны, ваши дети будут сыты, жены хорошо одеты, вы займете чистые и теплые квартиры. А Владыка — обращаясь к тем, кому и так не сладко: вам жить плохо, я зову вас к Истине, Христу, и вы на этом ничего не заработаете. Чем выше вы, тем Крест

ответственнее, борьба со злом страстнее, а награда — чистая, высокая душа, и только. Ничего в жизни. Никаких благ, квартир, приятностей не обещаю.

В городе «гутированья», смакованья, усталый русский иерарх с таким спокойствием и кротостью зачеркивает все, из-за чего вокруг кипят, рвутся, грызутся — миллионы. Пусть миллионы. У него Истина.

* * *

Мы себя любим чрезвычайно. Что скрывать! Было бы лицемерием. Безумно сладко возношение себя, победа моего. Гордость, и славолюбие, и честолюбие — страсти жгучие. Их напряжение переходит в боль. Но человек сложно устроен. Грешное, земное и живое сердце хочет и истаять, самарастворится, преклониться. Человеку трудно нести личность. Ее границы — стены комнаты — нас утомляют. Мы рвемся от нее освободиться. Стояние пред Высшим освобождает от себя. В юности освобождение — в любви, женщине. В зрелости это религия. Оттого самый гордый (значит, самый утомленный) с такою облегченностью прикладывается ко кресту в церкви и целует пухлую руку, держащую его. В эту минуту он нисходит, распускается, как сахар в кипятке, и угасают раны, боли, нет морщин. Пока жив человек, всегда будет его влечь к преклонению. Восславить, умилиться, в этом отдохнуть и взять сил для жизни.

* * *

День ясный, чудный, на сердце тоска. Шум, блеск и пестрота улиц рассеивают. Они действуют наркотически, отравляют. В нервной тревоге куда-то спешишь, страшное возбуждение и усталость.

Notre Dame не дала отдыха. Очень уж музей — туристы все, туристы. Идут стадом, шумят, разговаривают. Как можно тут служить? Гиды болтают по-английски у решетки, подбирают группу для очередного осмотра драгоценностей и древностей. Сквозь витражи разноцветный свет наполняет эту громаду. Весь главный корабль с боков в витражах, их основной тон сине-стальной, и на могучие стены падает этот холодноватый, мрачный отблеск. Вообще холодно, нет свечей зажженных, одиноко.

В Провансе вовсе отвыкаешь от готики. Здесь вновь чувствуешь всегдашний ее сумрак. Рождено это все темной, северной душой. Сколько сырья, стихии, неосмысленной мощи — хрис-

тианство еще в полной борьбе со зверем. Химеры, черти, собачьи головы средневековья... нет, довольно.

* * *

«Смирись, гордый человек!» Вероятно, попробовал этого и Достоевский. Но... он из тех, что всю жизнь жарятся на решетке св. Лаврентия. Страстная душа, живая, вечно мучается, в этом ее борьба. А пока и «гармонии» вообще мало. Легко говорить «гармоническая душа», потому что просто не знают падений и унижений самой разгармонической души.

Около той же Notre Dame видел сценку, она развлекла. В бистрó толстый пьяный полицейский в распашонке и кепи, стоя перед стойкой, показывал хозяйке, мне, старичку в шарфе какую-то бумажонку.

— Pas d'adresse! Pas de signature![1]

Что-то надо взыскать, а неизвестно, ни с кого, ни где живет Разве не кошмар? Он давит, хочется из него выбиться и хоть поделиться с окружающими, чтобы пожалели.

Как он ораторствовал!

За спиною фиолетовый закат. Серебряная Сена, сухой асфальт — зеркало. Вошел трубочист. Лицо в саже, глаза очень добрые, светло-зеленые от черноты щёк. Потом появился рыбóлов с сетками, раскладной удочкой в чехле. Тоже толстый, бритый и благодушный, в жилете до горла, с большими, водяными глазами.

— И ни единой рыбки? — спросил трубочист.

— Ни единой.

Снасть его совсем чиста, суха, новехонька. Он в смущении выпил кассису. Трубочист кивнул дружественно, удалился дочищать трубу буржуя, а ажан накинулся на рыболова.

— Pas d'adresse! Pas de signature!

И тыкал в нос бумажку, все старался выбиться из кошмара, поделиться ужасом своим с ближними. Толстяк послушал, я пособолезновал, но у каждого свои сны, толстяка точит одно, меня другое. И мы вышли, я и рыболов, нас тотчас же закрутило и замыло людьми — мы канули. Ажан, я думаю, теперь другим рассказывает и все ищет сочувствия.

* * *

Бульвар Осман, около больших магазинов. Боже мой, сколько людей!

---

[1] Нет адреса! Нет подписи! *(фр.)*

Невдалеке есть агентство: выставлены снимки пароходов, карта, пунктир рейсов, Африка, виды пустыни, пальмы, верблюды. Подпись: «Пустыня в трех днях от Парижа».

Нет, ближе, ближе!

* * *

«Рафаил, митрополит Алеппо и Александретты» — волнует само имя и далекие края, священные, откуда он.

Митрополит стоит на возвышении, в тяжелой золотой митре. Черные огромные глаза, южно-черная борода, голос высокий и красивый. Он служит по-арабски и по-гречески. Малопонятные, но гармоничные слова — по временам гортанность Востока, и напев, и ритм, нам близкие: «Кири элейсон!» Века тому назад подобный голос возглашал этот же возглас в катакомбах на служении.

Митрополит спокоен, сдержан, крепковат, он больше удален от нас, чем наши иерархи, это иной мир, еще древнейший и для нас загадочный. В Киеве пред такими же митрополитами стояли некогда наши чубатые князья, вздыхали, удивлялись...

Да и мы вздыхаем. Больше живешь и видишь — больше удивляешься и больше чтишь. Спокойные, серьезные, всегда значительные проходят Владыки чрез наш мир. Чистая жизнь, направленная на великую цель. Она проникнута духовностью, медлительною важностью, делом и служением. Все люди странно далеки и странно близки. Не по-человечески близки, далеки воздухом прохладно-отделяющим. Владыки эти некий укор миру. В их медленных движениях он должен чувствовать свою неправоту.

Мне не известна жизнь митрополита Рафаила. Должно быть, никогда ее и не узнаю. Говорили, что он едет из Сирии в Южную Америку. Проездом, среди моря дел, в знак братства с нашей церковью отслужил литургию, на которой в первый, вероятно, и в последний раз мы его видели.

Из Сирии в Южную Америку! Не зря. Но «зря» и пустяки это наша жизнь. Их же обращена к Вечности. Там пустяков нет.

* * *

Вечер Парижа, бульвар Монпарнас. Вот наши места. Сколько раз мерил их. Так когда-то, в иной жизни, ходил по Тверскому бульвару, от кафе до Пушкина и по Тверской до генерал-губернаторского дома. По одним и тем же местам хорошо идти: успокаивает, вводит в медленный, правильный ритм.

Днем было много дождя, к закату воздух промыло. Около Notre Dame des Champs остановился и залюбовался: колокольня

выступала на серо-стальных, синеватых тучах, как за скачущим Филиппом у Веласкеса. Сумрак, красота, тяжело-мрачный тон. А обернулся в сторону вокзала — все иное, той прозрачной, нежно-ласковой закатной зелени, которая пронзает. Эта зелень блестит в мокрых тротуарах, выхоженных нами и блудницами окрестных переулков. Боже мой, Монпарнас залит благоволением, прозрачен его воздух, красные огни смягчились, люди стали человечней и естественней, и над вокзальным дымом замерцала даже звездочка.

Париж немного будто бы притих. И в глубине проезда вдруг над горизонтом поднялась огромная Венера. Чудеса! Мне прямо повезло.

Венера провожала до бульвара Вожирар, а потом зацепилась за дома. Но вышел небольшой, вполне приличный месяц рядышком с Юпитером. Направо чуть видна в уличном свете Медведица, а над головой Вега, Голубая Звезда, «чистота и молодость», сопроводила по бульвару Вожирар.

Я был спокоен, благодарен и слегка растроган. Что же, нынче «Вавилон» принял как мог лучше. Даже звездное мое хозяйство все в порядке.

* * *

Мы пускаем корни. Этого не станешь отрицать. Похоже на кошку, привыкаешь к месту.

Так, затопив печку в кабинете, взглянув на улицу Фальгьер, вдруг ощутишь: и у тебя, «безродного», все-таки есть уют, и некий уголок Парижа стал твоим, ты понимаешь дух quartier[1], у тебя есть местный патриотизм. На что уж улица Фальгьер, как мучила в начале грохотом. Тяжкая улица. В огромных камионах по ней возят скот на бойни, гонят искалеченных, усталых лошадей. Быки тесно и тупо стоят, плечо к плечу, на мчащихся платформах. Издали, по слуху узнаю поступь осужденных лошадей, тяжелый и широкий плеск подков по мостовой. Всегда вспухает сердце. Мало натерзали нас в России, надо и здесь... Стало быть, надо.

И все же улица Фальгьер отчасти уж моя, со всеми эпирси, и булочными, и консьержками, бистро и прачечными. По ней бежит в школу моя девочка, и старик нищий, тяжело влачащий ноги, что-то напевающий,— мой, и стена сада, где задавили мальчика — камион поскользнулся, въехал на тротуар и прижал насмерть ребенка,— все это мое, со своей серостью и бедностью, с балом Маскотт на углу, где в духоте пляшут приказчики и

---

[1] квартала *(фр.)*.

мидинетки, а их охраняют два ажана. И у стены улицы Фальгьер я поставил бы крест на месте гибели школьника, ибо Голгофа дитяти уж и моя.

Я хорошо знаю бульвар Вожирар. Скудны деревца его, посредине и на лавочках нередко дремлют пьяные, иной раз запивает колбасу и луковицу красным пинаром подозрительный тип — это завтрак бедняка. Здесь бедняков много. Они толкутся около бистро, бродят по тротуарам, рядом с хмурыми деревянными заборами, огромными катушками из-под веревок, близ отельчика со смешной вывеской: «Отель де Провас э дю Нор». Из-за забора свистят паровозы, и конец бульвара упирается в железный мост. Он часто в облаках пара от проходящих по нему поездов, по стенам сочится вода, это образ хмурости, безнадежной некрасоты. В дождь он дает убежище, но и оно не радует.

За ним же начинается другое — пестрые и яркие огни монпарнасских баров.

* * *

Блеск огней «артистического» кафе — табачный дым, плохонькие картины по стенам, шелуха, грязь на полу, тесные столики с недопитым кофе, толкотня в проходах, широкополые шляпы, индийский тюрбан, плоское лицо японца, датчане и шведы, русские, евреи, англичане, вновь евреи. Все галдит, шумит, смеется. Все подвинчено ненастоящим оживлением, подмазано, подкрашено, борется, иногда голодает, иногда приходит посмотреть, как другие бьются.

«Богемским» людям это кое-что дает. Острота, раздраженность одиночества, какой-то укол в разноплеменной толпе. Как всякий наркоз, новичку занятно, потом утомляет. Накурено, душно и нервно.

И пока «богема» заседает табаке, кофе и шелухе, по тротуарам снуют мелкие блудницы, зябнут, мокнут под ноябрьским дождем, забегают на минутку в бистро погреться, и опять на службу, некогда, жизнь тяжела. Они бродят против церкви Богородицы Полей и отдают бедные тела в отеле Св. Девы за гроши людям в каскетках, запоздалым пьяным, всем порочным, падшим, и Пречистая, конечно, милостивей к ним, чем к покупающим.

* * *

Здесь топят углем и растапливают щепочками, ligots[1]. На днях среди своих лигошек встретил я одну в белом. Боже мой,

---

[1] хворостом *(фр.)*.

береза! Белая кора с коричневыми черточками, с оторванной, тончайшей кожицей — всегда она трепещет, нежно дрожит на ветерке — Россия. Зачем же Западу береза, это наше дерево, тут же каштаны, вязы, дубы, буки и платаны, а береза — наша. Она облик чистоты и скромной непорочности, бедности и суровости, Святая Русь. Простенькими цветочками украшены поля Руси, простым и светлым деревом ознаменованы ее леса, и под березами, под елями спасались Сергии и Серафимы, русская береза есть у Пушкина, Толстого и Тургенева, и в музыке, и в живописи, и в жизни каждого из нас.

Монашенка, и девственница, и заступница. Брошу ли тебя в печь, французская сестра? Лежи спрятанная — память, вздох, надежда.

Когда-нибудь и на родной земле я обниму твой ствол.

* * *

Вечер, решетка Люксембургского сада. Еще светло. За Пантеоном рыжая, мрачная туча. Она ползет на нас. Становится сумрачно, придавлено все, верно, и в Помпее, перед гибелью, вот так же было. Запад еще чист. Над Сенатом звезда. Уже зажгли огни в старом дворце, так бледен, тонок свет их, и так четко режется крыша на еще ясном, древнем — латинском небе. Мгла идет с востока. Старый дворец, крепкий, вычерченный,— и печален свет в его окнах. Берегись. Но как изящен весь его рисунок, с ним спокойно можно умереть.

Другой вечер.

Нет коней монгольских. И над тою же решеткою зимнее солнце стоит невысоко, четки, зябки статуи, Меркурий извивается в морозце. Тонкой белой скатертью покрыт весь сад. Вот тебе и фонтан Медичи. И подземный плющ по бассейну, и легкие следочки парижанок, дыханье Севера, чистое, хрусткое. Борей обнял Латинянку — и успокоил, так освежил стихией.

Солнце покраснело и зашло. Синева за решеткой. Славный снег, отдых...

* * *

Веселость! Какое прелестное свойство! Не насмешка, а такое солнце внутри — всему улыбается, всему добро, всему свет. Веселых людей очень мало, потому что мало чистых. Веселость есть состояние «без греха». Так, вероятно, чувствовал себя в Раю первый человек. Я видел раз во сне Рай, дул теплый ветерок, трава, солнце и непередаваемое ощущение безмерного

веселья. Наяву такими были несколько майских дней молодости — во Флоренции, в дальней Москве. Это вот и остается в жизни: несколько крупинок золота — веселья!

Чаще всего веселы дети, юноши, девушки. В нашем возрасте реже веселость. Благо сохранившим ее. Ребенку легко, он еще не отравлен. А прожить жизнь и не поддаться... Свет ребенка еще почти природа. Свет мудреца и святого — труд, подвиг. Светел, весел был св. Франциск, св. Серафим. Люди, мало знающие жизнь, мало задумывающиеся над ней, нередко упрекают аскетизм во «мраке». «Мрачные аскеты», «умертвители жизни» — сколько тут неправды. Нет, без самоограничения нет силы, нет здоровья духа, значит, нет веселости.

Аскетизм ведет к веселости! Вот за что накинутся на меня «язычники». Пускай кидаются. Не меня учить язычеству, если же ему поклонишься и ему послужишь, ничего хорошего не будет.

* * *

...Нельзя объяснить, что такое свет, добро, любовь (можно только подвести к этому). Я должен сам почувствовать. Что-то в глуби моего существа должно сцепиться, расцепиться, повернуться, одно встанет, а другое отойдет. Так, около двадцати лет назад, в светлый апрельский день Москвы, мгновенно, навсегда ощутил я невыразимую таинственность, величие Евангелия — в давно знакомых его строках.

Так и теперь, в парижском солнце и под шум автомобилей, грохот камионов, а некоем потоке чувств и мыслей вдруг «переживаешь» истину. Она становится живою силой. Ощущаешь ее сердцем, но и кончиками пальцев, и дыханьем, шумом крови в висках — всем, а потом пробуешь облечь в слова, и вот сшит костюм, но тогда оказывается, что этого покроя платье носят все. Ну, что же, пусть! Свежесть и неотразимость все-таки остались.

...Так же было и на панихиде по Мерсье. «Иде же несть болезни, печали и воздыхания» — мы опустились на колени, и сквозь мех на плече соседней дамы свет свечи ее замерцал такими радугами, создал такой новый мир, через который ясно и уверенно почувствовалось, где сейчас «архиепископ Иосиф», о котором молились.

Архиепископ Иосиф был «угоден Богу». От него в мире остался чистый и блестящий след. Какой доброты улыбка на его портрете! Как высоко! Как прекрасно прожитая жизнь!

* * *

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Это написал самый «лучезарный» и самый «языческий» из русских. Хороши, значит, остальные! Лев Толстой считал это стихотворение лучшим, кажется, во всей мировой литературе, плакал над ним старческими слезами и от своей жизни перед смертью сбежал в Астапово. Достоевский, Некрасов... но это общеизвестно. Один француз говорил, что вся русская «большая» литература это площадь, толпа, выходит герой, кланяется, бьет себя в грудь, вопит и кается.

Трудно выносимое для латинца зрелище! И вообще русские крайне неприятны. «И с отвращением читая жизнь мою...», а потом разные Ставрогины и Свидригайловы... Власы... Нет, уж тут начинается просто скандал. Так называемый Порок с большой буквы, преступление, покаяние, самоубийства, истеризм... Это вовсе ни к чему! Париж опускает занавес, и зрители отделены от актеров. Пьеса провалилась.

* * *

Истина же все-таки придет из России. Придет новым, более глубоким, справедливым, человечным, но и выше-человечным сознанием жизни, чтобы просветить усталый мир.

Кто принесет ее? Новый человек. Но почему же «новый»? Что в нем такого нового, невиданного?

Новый значит творческий, свежий. Истина одна, в жизни же должна переживаться творчески, т. е. одушевленно. Новый человек есть живо воплощающий вечный свет и духовность. Всякий, кто в себе растит, выхаживает этот свет, творит новый, высший тип, к которому влечется человечество чрез все ужасы и подлости, кровь и преступления — но влечется. Сейчас Россия, вероятно, более, чем другие, порождает (в Москве или Париже — безразлично) новое, малочисленное, малозаметное, но важнейшее племя «человека с назначением». Есть «ответственные работники» и у Бога. Они являются тогда, когда как будто все погибло, но вот здесь именно и веет живым светом.

Да, показался «герой нашего времени» — скромный и смиренный человек российский, простой, благожелательный, страданиями вспоенный, себя воспитывающий.

...Об этих людях, о надежде нашей, еще рано говорить подробнее. Они идут.

* * *

Кабачок на Монмартре. Дверь прямо с улицы, небольшая комната, скамейки, пианино, по стенам безделушки, в углу статуэтка монаха, резные украшения, над дверью небольшое распятие. Встречает лысоватый блондин с пухлыми волосами в бархатной куртке с красным галстуком-бантом. Это хозяин, монмартрский острослов, конферансье, быть может, и поэт. Литература его состоит из непристойностей, которыми он встречает приходящих. В публике хохочут. А он движется плавно, что-то сытое и сладковатое есть в нем. Розовые глаза с белыми ресницами восхищены собою, масляничтые щеки колышутся, так уютно потирает он полные свои руки. «Мадам» этого заведения, из дико разжиревших итальянок, со жгутом черных кос на голове, подает посетителям вишни в водке.

Линялый мизерабль с фабреными усами, в линялом сюртучке, затренькал на пианино. Хозяин спел похабное, потом певичка, в том же роде. Напротив, на скамейке, скромно одетая женщина с двумя дочерьми лет шестнадцати, восемнадцати. Искренно, простодушно смеются. Молодые люди, влюбленные парочки. Еще мизерабль, тоже немолодой и бесстыдный, с зачесанными височками и вставными зубами, начал шутовскую обедню. Вот для чего и монах, и распятие. Хозяин с розовыми глазами ему вторит, они издеваются довольно долго, гнусавят, крестят публику, кадят, вплетают мерзости в напевы мессы.

Молодые девушки весело смеются.

* * *

Молодые люди и девушки Парижа. Между шестью и семью вечера неоглядные их толпы выбрасываются из контор, магазинов, банков. На Place de l'Opera автобусы останавливаются перед сплошным «человечеством». День труда, заботы кончен, настает минута «для себя». Сколько худеньких, изящных парижаночек, Жюльетт, Жоржетт и Симонн, ждут в подземных коридорах Жаков, Жанов и Эрнестов. Сколько поцелуев, нежностей и объяснений, иногда слезы, гневные девические глаза. Стеснения мало. И не по бесстыдству, а по ощущению пустынности. Ведь это Париж! Все чужие в толпе, никому нет дела до любви Жюльетты к Жаку. Иногда, глядя на них, и улыбнешься: тут, пожалуй, и не разберешь, чем Симонна лучше Жанны, все на одно лицо, да и сколько их! Но как-то разбираются, сторожат возлюбленных, вылавливают друг друга из ненужных тысяч.

* * *

Туманно розовеет закат сквозь тоненькие деревца Булонского леса. Весенний вечер. Над таким лесочком могут тянуть вальдшнепы. Здесь тянут лишь автомобили и легко уносит нас могучий конь аллеею к полю Лоншанскому, потопленному водой. Автомобиль идет тише. За деревьями вьется, клубится розоватыми струями Сена, вздувшаяся, многоводная. За ней холм Сен-Клу. Объезжаем ристалище, вновь низина, сырость, туман и всегдашнее чувство Парижа — громадность. По аллее идем пешком. Нежно волнует туманный воздух, краски заката, далекий Mont Valérien за рекой.

Снова легкий и ровный гул, тонкий лес, сновидением озеро, золотой букет ресторана и далекая, зеркально-выезженная лента. Avenue du Bois. Кончено дело с закатом. Этуаль в синеватом дыму, и ровен, зеркален бег по зеркальному... Он бессознателен и безволен. Мы просто плывем в реке автомобилей, навстречу же, по левую руку, другая река. В нашем течении перед нами лишь зеленые огоньки, прощальные, а во встречном двойные золотые.

И нас несет по Этуали, а потом вниз, по Елисейским полям — вот уж поля забвения! — меж двух золотых, бесконечных цепей. Этуаль нам показывает свой мир, сладостный и волшебный: прелесть, наваждение. Ах, отдайся нам, и будет все — жемчуг и золото, и зеркальность, и легкость, огни, синева, гудение мягкое светлых шмелей. Вот он, Париж! Не так-то с ним просто.

* * *

«Мировой люмьер»... Слева — вот острейшая из его отрав. Миазм, что прививает возбуждение и тоску, наслаждение — муку.

«И славы сладкое мученье»...

Но, кажется, в камнях «люмьера» больше всего изъязвленных жизней, исстрадавшихся сердец и очерствевших ко всему, кроме себя, ослепших душ.

Проходя вечером в толпе парижской, легче понимаешь полоумных, наполняющих этот город: ну, конечно, химерично и головокружительно, чтобы вся эта толпа знала твои дела, твое лицо и твое имя. Одолеть гидру...

Для чего? Кому все это надо?

* * *

Отшельники древнего Египта врывались в Александрию, громили палками и дубинами все направо и налево, всех богов и статуэтки, вазы и бассейны, зеркала, курильни, лупанары.

В современности нет отшельников. Но... есть обездоленные — Paris sera brûlée par la cavaille* — изречение одной католической святой.

* * *

Зрело, шире видя жизнь, действительно с ней примириться...

Живому и неравнодушному, просто человеку, вышедшему из мечтаний юности,— уже не забыть и не успокоиться.

Впрочем, успокоение есть, если угодно. Только по-другому — за такой чертой...

* * *

Когда сидишь на площади св. Августина в «мысовом» кафе, между бульваром Осман и rue Pepinière, то видишь справа, слева от себя поток автомобилей, и на площади они сливаются, задерживаются, путаются — вновь растекаются. Это кафе островок в вечном движении — образе Парижа. На уютных кожаных диванах одинокие читают газеты. Влюбленные — шепчутся. Любовь нередко избирает местом встречи этот мыс.

В сумеречные часы весной здесь хорошо. Чашка кофе, журнал с иллюстрациями. Неторопливые гарсоны, смутно-фиолетовеющий полусумрак за окном, первые золотые пчелы на автомобилях, на rue la Boëtie пламенеющий закат и бледно-желтые фонари.

...Москва и маленькое кафе на Тверском бульваре, и топящаяся печка, кот, хозяин-грек, тоже «Illustration» прохожие за окном, голые лица, ледок и мартовский закат. И жизнь струится, как тепло над печкою,— волнисто, зыбко, сладостно и нежно-грустно.

А время тому — почти четверть века. Что же? Сожалеешь? Хочешь возвратить?

Вот облачко над Boëtie, в стране латинской, окаймленное узором золота. Чрез несколько минут уйдет, растает, и другое явится — и только.

---

* Париж будет сожжен сбродом *(фр.)*.

* * *

Клод Лоррен это Рим, дворец Дориа Памфилии, прохладные залы и коридоры, зеркальные и фиолетовые стекла окон, глядящих на Корсо. В галерее он сам, «Рафаэль пейзажа».

«Справа и слева от озера большие купы дерев, темных, кругловатых, какая-то башня, далекие горы за озером, светлые облака, на переднем плане танцует женщина с бубном и мужчина, пастух, опершись на посох, смотрит на них. На траве, будто для беззаботной пирушки, расположились люди, женщина с ребенком, тоже смотрят. Лодки плывут по бледному озеру. И кажется, так удивительно ясна, мечтательна и благостна природа, так чисто все. Так дивно жить в башне у озера, бродить по его берегам, любоваться нежными, голубоватыми призраками далеких гор».

Это его картина. А выглянув из окна нового своего жилья, с приятностью вижу на углу надпись:

— Rue Claude Lorrain.

Это его страна, он покровитель. Приветствую тебя, художник. Под твоими небесами жить отрадно, прекрасен и волшебен свет твой, нежен колорит.

Какая же «страна» его в Париже?

Тихая, коротенькая улица. Маленькое кладбище на ней, времен Наполеона. Церковь, небольшие дома с садиками, мало пешеходов, еще меньше проезжающих. Пред моим окном особняк в саду. Каштаны бледной зеленью распустились над стеной на улицу, как знаменитый вяз Филипповского переулка на земле Москвы. В саду куры и нарциссы, зацветают миндали. Согбенная старушка кормит петуха. Есть и легендарный старичок. Ставни всегда почти заперты, монотонная, призрачная жизнь за стенами — Филемона и Бавкиды.

Бывают дни, среди сутолоки, пустяков, вдруг ощутишь легчайший бриз поэзии. Повода нет. Несешь из булочной une couronne, солнце, тепло, снимешь шляпу, ветер ласкает волосы, солнце греет. Заборы и сады маленьких улиц, зелень, ваза над калиткой, полуоткрытое окно, и француз завтракает, наливает полстакана красного вина, священнодействуя. И мягко падает тень бюста богини на фасаде скромного, в благородстве своем, дома. Блестит солнце в дверных медных ручках, облака плывут, все, как всегда, но...

Улыбка Клода в ему подвластной стране? Его нежность задумчива? Видение, волшебство, легенда?

---

[1] венок *(фр.)*.

* * *

Все в парижанах ровно и приглушено, все в меру, всюду мера. Язык мягок, так врожденно он классичен, так лишен острых углов, утомляющих своеобразий, и так все — лица и манеры, движения, пропорции сухощавого, некрупного тела гармонизированы под всечеловека, что, если быть французом, можно искренно и убежденно презирать всех остальных — провинцию и варваров.

Голубой, ровный воздух над Парижем, воздух латинизма. В парижском человеке все перекипело, выварилось, отлилось, так удалилось от стихии, что всечеловек уже готов. Его можно, родившись у Монмартра, прямо надеть на себя, как костюм.

А русский в Париже иногда и вздохнет: нет земли, нет природы и стихии в человеке.

Итальянец землянее, корневитее, сочней, в этом смысле нам ближе.

* * *

Пароход мягко постукивает, спускаясь по Сене, что-то лопочет в нем. С реки тянет свежестью, влажный и широкий ветер, рыбой пахнет. Как лишен этого парижский человек, и как он рвется...

Солнце, весенние туалеты, влага рыбная и лопотанье вызывают в памяти дальнее и вечное: Риальто, Дворцы по Большому Каналу, Лидо. Светлый дым молодости, то мучительно неповторимое, что вздохнешь вдруг и в Париже с запахом пригретых фруктов, зелени на рынке, в дальней голубизне холмов сквозь узкую щель rue Billancourt. Злато Венеции, голубой свет Тосканы...

Будем довольны теплым золотом, маем в Париже, будем скромно тесниться на палубе и не забудем: праздник, каждому хочется ведь уехать, глотнуть воздуха и синевы. Медон, Севр, Сен-Клу — мягкие купы зелени, майская влажность и нежная голубизна. «Ну, вот, я благосклонен к тебе, маленький муравей, катайся на своих пароходиках. Если ты молод, влюблен, то пускай под зелеными рощами ты вкусишь любви, краткой и малой, как краток твой век, но все-таки я раскрою тебе, хоть на минуту, прелесть солнца, каштанов, дубов, желтых цветочков, извивов Сены. Вдохни, насладись».

Фонтаны Сен-Клу. Влажно-пенное взгорье, кружева, тонкость стекла, милый холод — чудесно. Похоже на виллу д'Эсте? Но там тишина, великое барство и вдали призрак Рима. А здесь «человечество». Оно разбрелось по лужайкам, по всем закоулкам парков, по всем холмам. Папаши, мамаши, дети, завтраки

на траве, зонтики и газетные листы, ботинки снятые, кожура колбасы — все надо претерпеть. Зачем скрывать? Вид человечества тяжек, почти невыносим. Но это надо побороть. Достаточно стать чуть-чуть в позу («я» и «они») — и сердце наполняется тоской и ужасом некрасоты, печали и ничтожества. Прочь это чувство. Ладно, пусть. Человек хочет дышать. Ему не много надо. Барышня из магазина, не закрывающегося даже в праздник, искренно страдает, с дрожью и слезами, что не может вот вкусить «радости жизни» в этом С.-Клу,— человек ценит столь малое, жизнь так скудна. «Яко цвет сельный, тако отцветет». Милосердия, милосердия!

И нет язвительности в улыбке странника

* * *

Солнце склоняется. Все тот же день, зеленый угол парка, крутой склон, сабля Сены и за ней Париж. Вблизи он виден ясно, бесконечные, коричневатые дома с тонкими трубами, редкие шпили церквей, пятна садов, влево пышная зелень Булонского леса. Но дали занавешены сизо-опаловой мглой, как бы сгустившимся дыханием. Облако это медленно колеблется. Вот одолел сноп вечереющего света, выхватил из опала тепло забелевший храм на Монмартре. Тонкий силуэт Notre Dame, загадочные, страшноватые ее башни. И — Башня Вавилонская, узкой железной сеткой возносящаяся выше всех, уже беседующая по T. S. F. с химерами Notre Dame.

Как бы то ни было, это мировое. Уж не «порог Вселенной», а образ универса.

А внизу по площади медленно движется человечество. Священный час обеда.

Высшая точка жизни, смысл ее, таинство, как угодно. Папаши тащут на руках будущих граждан Республики (либертэ, эгалитэ, фратернитэ), мамаши катят колясочки — все это со временем тоже будет считать су, по субботам тащить их в почтовые кассы и мечтать в зрелом возрасте приобрести в Со кусочек земли с карточным домиком. А сейчас скромные караваны запрудили уж мост, терпеливо ждут в очередях трамваев и пароходов, автобусов и поездов — нет лишь аэропланов, чтобы возвратить домой насытившихся.

Покорное, трудолюбивое, невиноватое в стаде и убожестве своем человечество нуждается, чтобы Кто-то прижал его к безмерной, любящей груди, забыл все раны, безобразия и пошлость, все эгалитэ, всю философию консьержек — все-таки прижал бы. Жизнь же создавать дал бы другим. Каждому свое.

Герои и святые там, где следует. Банкиры, лавочники и консьержки — на указанных местах. И не наоборот.

* * *

И вот все возвратились, и настал синий вечер Парижа. Приятно отворить окно, высунуться, поглядеть сверху на каштаны, над собой увидеть белые и пухлые ладьи на темном небе, снизу освещенные отсветами, так же безраздумно пролетающие, как над Москвой, над Филипповским. И так же светлы звезды в глубине провалов, так же закрываются и открываются они.

Во всех окнах дома наискосок, особенно чердачных, головы, фигуры. Все тоже смотрят, тоже точно в бесконечность. И как будто все устало дышат. Далек простор, и лишь угадывается, лишь в синей, душной ночи с золотыми заревами, бледными небесными ладьями да узорами из звезд угадывается.

Все туда смотрят. Точно ждут. Точно в смутном блеске ветерка ловят кусочек шири, воли — необъятного.

* * *

Если спросить тебя, Париж, куда идешь, что ты ответишь? Тесная Лютеция на островке. Мрачный Париж средневековья и Notre Dame, блеск королей, шум завоеваний, роскошь, революции, кровь, нищета, снова отели Крийон и закоулки у Себастополь...

Старый, обаятельный, порочный и чудесный город. Может быть, лучше подальше от тебя, в тишину, чистоту. А все-таки не обойтись. Как ощущает себя мир? Чего он хочет? И куда стремится? Ты его барометр, и твое давление всем ощутительно. Идешь ли ты к закату, будешь ли закуплен и проглочен чудищем заатлантическим, взорвешься ли сам в злобных газах предместий или мирно, твердо будешь искать нового в душевном, справедливом и божественном, освящающем всякую жизнь, осуждающем всякое обжорство?

Ожесточится ли твой труженик, запалит ли дворцы Ротшильдов и особняки Фридланд, или спокойно будет разворачивать новую, сложную и очеловеченную страницу бытия?

Кто знает. Надо верить. Но в конце концов над всем этим вознеслась Вечность, и, проходя иной раз теплой летней ночью Елисейскими полями, над струеньем голубеющих теней, над золотом автомобилей, снова видишь беспредельность и забвение, мелкий песок, навсегда засыпавший обломки Вавилона.

Париж, 1924—1926

ЦАРЬ ДАВИД

Буду петь Господу, покуда жив:
Буду бряцать Богу моему, доколе есмь.
Псалом 103.

I

Младший сын Иессея вифлеемлянина пасет овец своего отца.

Царствует же Саул. Но неблагополучно: не послушался Бога, согрешил — Самуил прорекает ему падение. Произнес пророчество и ушел в Рамаф. Более никогда Саула не видел, но оплакал его.

Пророк Самуил мог бестрепетно рассечь царя Агага, мог и над Саулом плакать. Впрочем, не так долго. Он ведь и не он, лишь голос Бога, лишь слушающий и говорящий. Как ребенком слышал в храме слова о священнике и отвечал Богу: «вот я» — так и теперь, встал, взял рог с елеем и отправился. Путь его в тот же город, куда чрез тысячу лет волхвы придут — в Вифлеем Иудейский. Там ему дело как будто бы небольшое: принести жертву. Но вот именно лишь как будто.

Иессей приглашен к жертвоприношению. Его сыновья также. Один другого выше и статней, великолепнее. Но все это не то. Пророк принес в жертву юную телицу и не успокоился. Все ли сыновья пришли? Ведь Бог ясно сказал: «Я усмотрел Себе царя между сынами его».

Да, есть еще один, младший. Пасет овец — его Иессей и не считает: подросток. Пророк настаивает — «пошли за ним».

Появляется юноша Давид, в скромном облике пастушка. Понимает ли кто, для чего его зовет? «Это тот самый»,— так говорит Господь. Велик Самуил. Грозен рог его с елеем, не напрасно Анна посвятила его Богу, бритва не касалась головы его. Он помазывает теперь, тотчас же, русого юношу с прекрасными глазами, только что взятого от пастбищ, тмина, дубрав,

овец, коз, звездных ночей вифлеемских. А сейчас он помазанник в цари израильские.

Пока еще тайно. Ни для кого не царь, кроме Бога и Самуила. Но уже дух Божий на нем, несмотря на всю его скудость. На нем тот дух, который был и на Сауле, а теперь отнят.

О том, что таинственно произошло в Вифлееме, откуда Саул мог бы знать, у себя в Гавае? Давид помазан на царство: если бы и сообщили ему, конечно бы, не поверил. Пастушок Иессеев — царь! Вместо него, победителя филистимлян, аммонитян и амалекитян!

Но узнал он другое: в Вифлееме есть юноша, очень милый, музыкант, гусляр. Скромный, красивый. Удивительно играет на гуслях.

Саул вызвал его к себе. Это нетрудно было сделать. Иессей дал осла, нагрузил его хлебом, положил мех вина, козленка — небогатый, вечный обиход Востока — рядом зашагал Давид.

* * *

Он, конечно, был рожден поэтом, музыкантом: из породы украсителей Вселенной, как Орфей. Одиночество, овцы, звон цикад Иудейских, всянье предрассветного ветерка (звезды бледнеют, нежно сиреневеют горы Моавские за Иорданом) — вот в чем возрастал. А над всем этим Господь Саваоф. Он живет уже в сердце, но тайно. Может быть, именно в гуслях и говорит. Но еще не в Псалмах. Не тогда слагал Давид Псалмы — славу же Божию и могущество и величество Его ощутил, разумеется, уже на пастбищах вифлеемских.

Саул не ошибся в выборе. Юноша очень ему понравился, музыка его также. Он сделал его своим оруженосцем.

Сердце Саулово томил «злой дух от Господа». На него нападал мрак. Тогда он звал Давида, тот играл ему на гуслях. И вот Саулу лучше, он свободнее дышит. «Отступал от него злой дух».

* * *

Давид, хотя жил у Саула, но возвращался и домой. Когда началась война с филистимлянами, он как раз был у отца, а три старших брата его пошли в войско. Отец отправил Давида в стан снести братьям меру сушеных колосьев и десять хлебов. А тысяченачальнику десять колобов сыру.

На отлогости дубравы, где стояли израильтяне, а против них филистимляне, Давид явился деревенским юношей с дарами —

не из пышных. Голиаф в это время хвастал и вызывал на бой. Тем же наитием, как Орлеанская Дева, Давид принял вызов. Так же как она, чувствовал себя не собой, не каким-то Давидом из Вифлеема, а рукой Божией, поражающей чудище. Потому и сказал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом; а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства израильского, которое ты поносил».

Он и действительно шел без доспехов — снял те, что надел на него Саул. Был в пастушеском плаще, с сумкою для камней, с палкою и пращой. Сражался не как солдат войска Саулова, а как Божий посланец.

Исход боя известен. Он вознес Давида и открыл пред ним новое, блестящее, но и бедственно-грозное существование.

Давид сразу прославился. Когда возвращались с филистимской войны, народ выходил встречать победителей, женщины водили хороводы, пили, били в тимпаны.

И уже возглашали: Саул поразил свои тысячи, а Давид свои десятки тысяч.

Что-то было в нем обольщавшее и мужчин, и женщин. В собственной семье у Саула полюбили Давида двое, сын Ионафан, дочь Мелхола.

Ионафан предался ему вполне. «Душа Ионафана соединилась с душою Давида и возлюбил его Ионафан как свою душу». Снял свою епанчу, отдал ее Давиду, все свое вооружение, до меча и лука, и пояса: точно сливался с ним.

А Мелхола просто: «полюбила» — в Сауловом доме это кое-что значило. И любить умели, и ненавидеть.

Вот он, новый помазанник. Восходит, как юное божество. И чем ярче, светлее, тем черней прежний. Саул сделал его своим военачальником, но замышляет недоброе. «Только царства Давиду недостает? Что же, пусть!»

Предлагает ему в жены Мелхолу. Давид смущен. Царская дочь, он вчера еще только пастух, певец...

Но богатого выкупа и не надо: пусть убьет сто филистимлян. (Пусть, раздумывает Саул, филистимляне сами расправятся с ним.) Давид с ратниками своими вышел, убил двести — принес доказательства. Саул отдал за него Мелхолу. И стал врагом навсегда.

Давиду уже все удается. Пошлют ли его с поручением, он отлично исполнит. Воюют ли с филистимлянами, одолевает. Для Саула соперник опаснейший. И окончательно тот решает убить его.

Раньше бывало так, что когда Саул впадал в тоску, Давид игрой на гуслях своих исцелял его. Теперь не то. Вот играет Давид, а Саул схватывает копье и в него мечет. Давид уклонился,

но потом сказал Ионафану: «Между мною и смертию не более шага».

Смерть пришла бы, конечно, к Давиду, если бы не любовь.

Молодая Мелхола, подобно многим прабабкам своим, иудейкам лукавым, придумала хитрость: в ночь, когда слуги Саула должны были ворваться в дом Давида, захватить его, она спустила мужа тайно из окна, вместо него положила домашний кумир, под голову ему ковер из козьего волоса, накрыла одеждой. Посланным сказала, что Давид болен — вот он лежит в постели. Но Саул вновь посылает: пусть принесут и больного, чтобы убить. Этого, может быть, Мелхола не ожидала. Обман обнаружен. Но гнев отца она выдержала. Как могла бы предать ему любимого мужа?

Давиду нельзя было теперь видеться с Ионафаном открыто. Он встретился с ним тайно, накануне новомесячия и заключил завет вечной любви — не тронет никогда потомства Ионафанова. А сейчас должен скрыться, дня на три. Потом будет ждать Ионафана у скалы Азель. Ионафан выведает окончательно, упорствует ли Саул в ненависти, или его можно смягчить. И вот Ионафан выйдет с отроком в поле и будет метать стрелы. Если крикнет отроку: стрелы не доходя тебя — то жив Господь, нет опасности, можно возвращаться к Саулу. Если же скажет: стрелы дальше тебя...— тогда Давид должен уходить, Господь отсылает его, как стрелу.

На второй день новомесячия Саул спросил Ионафана, почему место Давида за столом пусто. Ионафан объяснил: Давид отпросился в Вифлеем. Саул впал в гнев, укорил Ионафана в любви к Давиду — метнул в него копьем. Ионафан увернулся.

А на другой день вышел с отроком в поле, к скале Азель.

Тихое и бессолнечное, с жаворонками, невысохшею росою, лиловыми горами в отдалении, утро Иудеи. Пустынно. Вдаль идут голые холмики кофейного цвета, перемежаясь с песками, кое-где кустарник, травка. Ионафан в епанче, с луком. Впереди отрок. Сбоку Азель — мертвый камень.

Стрела летит, падает. Другая свистит. Отрок бежит. «Нет ли стрелы далее тебя? Спеши, неси». Давид слушает за утесом: стрела далее отрока. «Господь отсылает меня».

Отрок приносит стрелу, Ионафан отдает доспехи — неси в город.

Никого нет вблизи. Отрок уходит. Может быть, ястребок пустыни видит Давида, выходящего из-за скалы.

Вот он стал с южной стороны, трижды поклонился земно, подошел к Ионафану, обнял его. Они поцеловали друг друга. И оба плакали. «Но Давид плакал более».

* * *

Он содрогнулся не напрасно. Разумеется, понимал, что ему предстоит. Из музыканта, юноши-пастуха, посланца Божия в борьбе с Голиафом превращался в мужа, ведущего тяжкую борьбу. Он знает цель. Помнит помазание. Но путь — сколь же и горек! Сколько борьбы, греха, мучения. «Скитание мое исчислено у Тебя, слезы мои хранятся в сосуде у Тебя, оне в книге Твоей».

Истомленный пришел Давид к Номву, к священнику Ахимелеху. Тот удивлен, смущен: почему же Давид один? Давиду приходится идти на все. Он обманывает Ахимелеха — первый же шаг уже прегрешение. Он говорит, что послан с тайным поручением царя, слуги ждут в другом месте. А сейчас он умирает от голоду.

У священника нет ничего кроме хлебов предложения. Он дает их Давиду. Тот ест. Происходит удивительное событие: беглец, обманувший священника, съевший хлебы, «снятые с трапезы Господней», торжественно входит в Новый Завет. «Проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали, и начали срывать колосья и есть». На упреки фарисеев о субботе Спаситель отвечает: « Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам?»

Думая, что Саул послал его, Ахимелех дал Давиду, по его просьбе, и меч Голиафа, хранившийся при храме.

Давид ушел далее, к Анхусу, царю гефскому. Шел и боялся: вдруг тот узнает в нем Давида, поражавшего «свои десятки тысяч». Тут впервые является знак исступленности, юродства Давида. Он прикидывается безумным, играет роль — не без успеха. «Чертил на дверях ворот и пускал слюны на бороду свою».

Но Анхус проявил явное здравомыслие. Разбранил слуг, что они пустили безумного «сумасбродствовать» перед ним. «Может ли такой ходить в мой дом?»

Давида выгнали и он ушел — в пещеру Адулламскую, потом в землю Моавитскую, затем в Иудею, в лес Хареф. К нему собрались братья его и весь дом отца, а также угнетаемые и притесняемые и все душевноогорченные. Давид становится прибежищем обиженных, отряд его растет, достигает четырехсот человек.

А Саул разузнал, что священник Ахимелех принял Давида — донес идумеянин Доик, в тот же день приходивший к

Ахимелеху. Этому Доику повелел Саул истребить всех священников в Номве — и самого Ахимелеха. Тот так и сделал, даже больше, в духе времени: «Как мужчин, так и женщин, отроков и грудных младенцев, и волов, и ослов, и ягнят, все острием меча». Один Авиафар, сын Ахимелеха, спасся. Прибежал к Давиду, рассказал о случившемся. Давид задумался. Он видел у Ахимелеха этого идумеянина. «Я знал, что он непременно донесет Саулу». Знал, но что нужно ему было, сделал. Давид и не притворялся. Знал и сделал, ибо такова его судьба. Да, вот совершил грех: безвинно погиб из-за него Ахимелех и столько еще других. «Я повинен за всякую душу семейства отца твоего» — но он идет, продолжает идти, он помазанник Божий, чрез все тягости и грехи надо выйти в вожди Израиля. О, насколько покойней, безгрешней — юным Орфеем сидеть у дубравы, воспевать Бога, играть на гуслях.

Начинается время Псалмов, исступленных восхвалений, покаяний, стонов — просьб и жалоб. «Боже! именем Твоим спаси меня и крепостию Твоею дай мне суд. Боже! услышь молитву мою, внемли словам уст моих. Ибо чуждые восстали на меня и сильные ищут души моей».

По пещерам, пустыням, лесам скитается Давид с отрядом — не то атаман вольницы, не то пастух-царь, не то воин-музыкант с гуслями. Саул гонится по пятам. Надо вечно быть настороже, уходить, заметать следы, в глухих ущельях разбивать шатры, разводить огонь. И надобно питаться! Чем? Охотой, ловлей? Разумеется. Но и набегами. И в этом Бог участвует. В пустынной ночи спрашивает Его Давид: идти ли на филистимлян под Кеиль? «Идти». Идет, сражается удачно, отбивает скот. «Предадут ли меня жители Кеиля?» «Предадут» — и уже Саул со своим войском спешит захватить его там. Давид вновь уходит, спасается в горах Зиф.

В ранней юности пас он овец близ Вифлеема. Но тогда не было ни врагов, ни опасностей, гусли служили для пения сладостного. А теперь на этих же гуслях стон о гибели Ахимелеха. «Что хвалишься злодейством, сильный? Милость Божия всякий день. Гибель вымышляет язык твой; он, как отточенная бритва, совершает коварство. Ты любишь более зло, чем добро, более лгать, чем говорить правду. Любишь всякие речи гибельные, язык коварный!

За то Бог ниспровергнет тебя вовек... Но в конце, о Боге: «Вечно буду славить Тебя» — Бога Давид не забывает никогда.

Печаль же его велика. «Внемли мне и выслушай меня; я рыдаю в грусти моей и стенаю». Сколько этих стенаний в Псалмах!.. «Моление мое пред Ним пролию, печаль мою Ему

возвещу» — указано так: «Молитва, когда он был в пещере». Все, все против него! Одно прибежище — Господь. «Ты доля моя на земле живых».

Но на земле живых все необычайно. Предводитель отряда удальцов, тоскующий в горах, пещерах. Вождь, тяжким путем идущий к царству — и провидец, возглашающий из своих пустынь: «Близок Господь к сокрушенным в сердце, и смиренных духом Он спасает». Атаман иудейский, с приближенными угоняющий скот у филистимлян, действующий «острием меча», и за тысячу лет до Нагорной проповеди возгласивший: «Кроткие наследуют землю». Наследуют землю! В век, когда на войне убивали не только врагов-воинов, но истребляли вообще всех, жен и детей, и ослов и ягнят — «все острием меча».

Давид достаточно натерпелся в скитаниях. Холодны ночи зимние в Иудее. Дымны костры в пещерах, кутайся в епанчу, слушай вой ветра в сухих кустарниках да завыванье шакалов. Но какие звезды! Как горит Орион.

А летом лиловенькая лаванда по скалам, мята, тмин, небесная нежность зорь утренних, райская чистота воздуха... Мех вина, козий сыр, ломоть хлеба — «вино веселит сердце человека», «хлеб укрепляет тело». Но нельзя быть праздным, созерцателем, поэтом, музыкантом Господним. В сиреневых долинах и за голыми кофейными холмами Иудеи бродят враги. Саул в вечной погоне!

Вот спустился Давид к утесу пустыни Маон, а Саул со своими идет по той стороне горы, стараясь его окружить — у Саула людей больше. Давид на волосок от гибели. Вдруг Саул получает известие: филистимляне напали на страну. И ушел Саул. Гору же назвали «горой Отвлечения».

Но остановиться Саул не может. Злой дух владеет им, мучит, гонит. Отвоевав с филистимлянами, вновь кидается он на Давида. С ним три тысячи лучших воинов. Давид засел в неприступных местах Енгадди.

На вершине «скал горных коз» искал его Саул — здесь и произошла встреча. «И пришел к загону овец, подле дороги, где была пещера; и вошел в нее Саул для нужды; а Давид и люди его сидели в глубине пещеры».

Какой случай отделаться от врага! Беглецы шепчут Давиду — убей, ведь это Бог предает его в руки твои. Но Давид и Саул оба помазанники. Не просто борющиеся за власть царьки бродячего племени. Суд не пришел еще, и не Давид судья. Руку же Божию Давид как всегда ощущает — помазанника Господня убить не может. И подкравшись безмолвно, отрезает кусок епанчи.

А потом, когда Саул вышел, Давид окликнул его. Саул обернулся. Наклонившись к земле лицом и простершись пред ним, стал умолять Саула не верить навстам. Он вовсе не враг. Если бы был враг...— и показал кусок епанчи. В дальнейших словах — и стон, и как бы скрытый упрек: «За кем выступил царь Израильский? За кем гоняешься ты? За мертвым псом, за одной блохой».

Саул поражен. Саул, метавший копье и в Давида, и в собственного сына Ионафана, тут заплакал. («Твой ли это голос, сын мой Давид? И возвысив голос свой, заплакал».) Даже врага мог обольстить Давид! Тут обольстил явно тем, что опять — выйдя из Ветхого в Новый Завет — добром ответил за зло.

Давид поклялся ему, что не будет мстить его роду, когда станет царем.

На этом они расстались.

* * *

Но Саул скоро возобновил преследование. На холме Гахила вновь Давида настиг. Произошло почти то же, что и на скале горных коз. Давид ночью пробрался во вражеский стан, похитил у спавшего Саула копье и сосуд с водою. Опять мог убить его, опять не убил. Утром же показал ему из своего лагеря это копье (не то ли самое, каким Саул пытался пригвоздить его к стене, во время игры на гуслях?). Опять Саул называет его «сын мой Давид» и они будто бы мирно расходятся.

Давид все же считает, что нельзя ему оставаться в Иудее. Он ушел к Аахусу, царю гефскому, у которого однажды уже был. Но теперь безумцем не представился, на воротах не чертил, слюны в бороду не пускал. Со своим отрядом в шестьсот человек поступил к нему на службу.

Делал набеги на гессурян, герзеев и амаликитян, «не оставлял в живых ни мужчин, ни женщин» — разорял и южную часть Иудеи. (И все то же: острием меча, острием меча.) Царь Анхус, в здравомысленности своей, полагал, что теперь Давид уже верный раб его: никогда не простит ему Иудея этого острия меча. Но судьба Давида выше здравого смысла. Путь его таинствен. Не Анхусу простоватому разгадать его.

А Саул тоже несется, все вперед, все вперед. Дух мрачный и страждущий, темный и неутомимый! Жжет его огонь. Данте поместил бы его в кругу Ада, но он и живя — в Аду. Наваждение мучит его. Он согрешил, ослушался Бога. Но признал вину. Однако, покаяние не принято. Давид тоже грешил, и много. Пламеннее ли взывал, глубже ли терзался? Более ли связан с

Богом, никогда не порывая с Ним? Лучше ли Саула слышит Бога и Бог лучше ли слышит его?

В филистимской войне Саул просит Бога дать ответ о будущем. Бог молчит. Саул покинут. Он делает то, чего никогда бы не сделал Давид: тайно, переодевшись, идет ночью к эндоррской волшебнице. Во время волхвования вдруг она узнает в нем Саула — и в ужасе. Он ее успокаивает. «Не бойся. Но что ты увидела?»

Тьма, пустыня, Саул, кутающийся в епанчу, крик совы, вой шакала. В адских испареньях зелий вызывает колдунья тень Самуила.

«Тяжко мне очень,— говорит Саул,— филистимляне воюют против меня, а Бог оставил меня и более не даст мне ответа ни чрез пророков, ни в сновидениях».

Длиннобородый, страшный Самуил выступает в туманах. Потревожен могильный сон его — слова глухи.

«Для чего же ты вопрошаешь меня, когда Господь оставил тебя и стал за соперника твоего?»

Да отнимется у него царство, отдастся Давиду.

— И предаст Господь, вместе с тобою, даже Израиля в руки филистимлян; и завтра ты и сыновья твои будете со мною».

Саул в ужасе падает на землю. А на другой день, в бою, филистимляне обратили в бегство израильтян. На горе Гелвуе пали сыновья Саула — среди них Ионафан, друг юных дней Давида.

Саул видит, что все погибло. Уже лучники тяжело ранили его стрелами. Он просит своего оруженосца заколоть его. Тот не решается. «Тогда Саул взял меч и пал на него».

II

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое.

Псалом 50.

Узнав о смерти Саула Давид рвет на себе одежды, плачет, постится до вечера. Нет, он не мертвый пес, не блоха, не пеликан, а растущий и мужающий Давид, завтрашний царь, нынешний воин, победитель амаликитян и как всегда певец. Не только стенал, рвал одежды. Но и оплакал Саула в лире.

...Горы Гелвуйские! Да не будет на вас ни росы, ни дождя, ни полей плодоносных, «ибо там опозорен щит доблестных, щит Саула, как бы он ни был помазан елеем».

...«Дщери Израильские! Плачьте о Сауле, одевавшем вас в багряницу с драгоценностями, возлагавшем золотые украшения на ваши наряды».

Про это можно еще сказать: дань уважения помазаннику. Но Ионафан не был помазанником и давно, еще сняв епанчу свою, передав ее Давиду как и меч, и лук, пояс — передал все права на царство. О нем слова, заканчивающие песнь, уж не внешний вопль. В них живое, человеческое сердце Давида. И насколько они проще!

«Сколько о тебе, брат мой Ионафан: ты был для меня так драгоценен; любовь твоя ко мне была превыше любви женской».

Ни об одной из жен своих не обмолвился Давид словом. Соломон прославил Суламифь. Давид упоминает солнце и луну; горы у него дымятся; прыгают онагры, зайцы. Все он прижимает к сердцу — море и долины, львов и аистов. И нигде нет женщины. Но вот Ионафан: этот выше всего. «Любовь твоя ко мне была превыше любви женской».

И все-таки идола из любви земной никогда не делал Давид. Ионафан был ему весьма «драгоценен», но «превыше» всего Бог. С Ним он вышел, с Ним, никогда не отвращаясь, продолжает путь. Смерть Саула возводит его на ту высоту, которая была указана помазанием Самуила — тайным, мистическим. Теперь начинается новое.

Как поступать, оставшись без соперника? Что делать? Опять обращение к Саваофу: «Вступить ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» «Вступи». Давид хочет узнать, куда именно. Ответ точный: «В Хеврон».

Хеврон южнее Вифлеема, близ дубравы Мамврийской, где Бог явился некогда Аврааму, в знойный полдень. Получив повеление остановиться там, Давид как бы приобщался к великому древу народа еврейского. Туда пришли к нему «мужи Иудины» и помазали на царство — теперь уже открыто — над коленом Иудиным. Давиду исполнилось тридцать лет.

* * *

Еще во время странной борьбы своей с Саулом взял он себе двух жен: Ахиноаму Израилитянку и Авигею, жену Навала. Обе кочевали с ним по пустыням и горам Иудеи, попали однажды в плен к амаликитянам — делили все тягости его неверного существования. Мелхолы же с ним не было. Ее задержал Саул. И выдал замуж (вторично) за некоего Фалтия, сына Лаиша из Галлима.

Кто был Фалтий (или Фалтиил) этот, как жила с ним Мелхо-

ла — неизвестно. Она является вновь лишь по воцарении Давида в Хевроне.

Тут у него уже не две жены, а шесть. Все они рожают ему сыновей, одна из них — Авессалома.

Но с домом Саула война продолжается, явно с перевесом на стороне Давида. И вот, вдруг Давид требует: возвратить ему Мелхолу. Условие принято: «Тогда Иевосфей послал взять ее от мужа ее Фалтиила, сына Лаишева. И пошел с нею муж ее, и не переставал плакать о ней до Бахурима; когда же Авенир сказал ему: поди, возвратись, то он возвратился». Кто был этот Фалтиил, до Бахурима оплакивавший свою любовь, мы не знаем. Но вот Священная Книга запечатлела его горе в трех строках, и через три тысячи лет живы три строки.

Мелхола же вновь у Давида, но не как юная царевна при герое-пастухе и музыканте, и не как спасительница, а как добыча царя Иудейского.

Скоро Давида признали и другие колена Израилевы, пришли, поклонились — соперников у него больше не было. Он Царь не только Иуды, но и Израиля.

В Хевроне Давид не остался. Недалеко, к северу, был небольшой город, принадлежавший племени иевусеев. Он лежал на холме Мориа, на том месте, где некогда Авраам чуть было не принес в жертву Богу сына своего Исаака. Холм влек к себе Давида — не завстом ли того безраздельного подчинения, которое было на нем явлено? Иевусеи думали, что Давиду не взять их: хромые и слепые отразят его. Но они ошиблись, Давид именно взял крепость иевусеев Сион и поселился в ней, укрепил ее, положил начало городу, в котором чрез тысячу лет Спаситель взошел на Голгофу. Сквозь облака Ветхого Завета вновь тянет, тянет Давида к Новому.

Это не значит, что в Иерусалиме начал он жизнь новозаветную. Всюду у него два направления: прежнее, ясное, в чем он родился. И лишь пробивающееся новое.

Лишь смутным наитием чувствует он его, а живет в прежнем. Но не с тем великим спокойствием, как Авраам. «Помилуй мя Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Авраам совершенно целен и вполне первобытен. Он не может ничем терзаться. Это — море, горы, ветер. Для него трагедии нет. Он как бы не отделен от стихий. Давид же отравлен — первый человек нового времени.

По внешности все в Иерусалиме устраивается по-прежнему: более могущественен царь — более может взять себе жен. Давид и взял, и жен, и наложниц, они рожали ему и сыновей, и дочерей.

Он живет теперь в новом доме, выстроенном из камня и кедровых деревьев, присланных царем Тирским. Воюет удачно и отражает всегдашних врагов, филистимлян. Чувствует, что теперь царство его прочно, благословлено Богом. Но Ковчега Завета в Иерусалиме еще нет. Давид решил перевезти его туда из города Ваала, из дома Авинадава.

Первое путешествие кончилось неудачно. Хотя народ и сам Давид «ликовали пред Господом» с кипарисовыми ветвями, цитрами, гуслями, тимпанами, бубнами — очевидно, пели и плясали, но произошло несчастие: «около гумна Нахона» волы неловким движением едва не опрокинули колесницу. Оза, сын Авинадава, сопровождавший Ковчег, подхватил его, стараясь поддержать. Но был убит на месте: не может смертный своевольно прикасаться к Богу!

Давид испугался. Ковчег отправили к гефянину Аведдару и лишь через три месяца решились вновь за него взяться.

На этот раз — со всеми предосторожностями — несли на руках. Чрез каждые шесть шагов Давид приносил в жертву «вола и откормленного быка»: все обошлось благополучно, Ковчег занял свое место в Скинии Иерусалима.

Давид же «скакал изо всей силы пред Господом», а «одет был в льняной ефод» — видимо, впал в блаженное исступление, свойственное ему. Раньше являл себя поэтом, музыкантом, воином. Перед Анхусом изображал умалишенного. Теперь всенародно, но уже искренно, выставлялся танцовщиком, безумствующим во славу Божию: так страшен, грозен Ковчег, так трудно было его доставить, но вот теперь он здесь, в Скинии — надо же возблагодарить Господа.

Из окна видела все это Мелхола. Вероятно, очень уж странное, дикое было в скакании Давида — вот в каком виде тот, кого она некогда полюбила! И Мелхола, царская дочь, «презрела его в сердце своем».

Может быть, «презрела» и раньше, когда он покинул ее, спасшую ему жизнь, променял на одиннадцать жен и неведомое число наложниц, теперь привел сюда насильно, чуть ли не как пленницу. Любовь ее не нужна уже: она полураба, полузаложница. Но Саулова кровь неукротима. Какая из одиннадцати жен осмелилась бы сказать ему то, что сказала Мелхола?

«Как славно вел себя сегодня царь Израилев, выставив себя ныне напоказ пред рабынями слуг своих, как выказывает себя какой-нибудь плясун!»

Три тысячи лет прошло, а все плачет Фалтиил по своей любви, все гневается Мелхола: не прощает оскорбленной любви,

гарема, поругания. «Боже! Ты знаешь безумие мое, и вины мои не сокрыты от Тебя!»

Это слова Давида. Много и долго будет он еще взывать о «винах» и «безумиях» своих пред Богом. Но Мелхолс, так удивитсльно ему сказавшей, отвечает иначе. Холодно и недобро, но как равной. Он «веселился» пред Богом, который предпочел его, Давида, ее отцу и ее дому. «И если я еще более того умалюсь и смирюсь в глазах моих: все-таки и среди рабынь, о которых ты говоришь, и среди них я буду уважаем».

Всегдашнее у Давида: для Бога умалиться и смириться. Он, конечно, юродствует пред Ним. Но нет ли и тут связи с будущим?

Самые слова «умалюсь», «смирюсь»... так ли далеки от знаменитого: «Многие же будут первые последними и последние первыми».

Библия берет сторону Давида, против Мелхолы: «И не было детей у Мелхолы, дочери Сауловой, до дня смерти ее» — голос земли Исаака и Иакова.

* * *

Летом в Палестине необыкновенный зной. Спать в домах невозможно — устраиваются на плоских кровлях, под звездами. Так было и при Давиде, и при Христе.

В персиковом рассвете видел Давид со своей кровли в Иерусалиме лиловую дымку Моавитских гор, Масличный холм, слегка всхолмленную равнину к Вифлеему, где прошло его детство, юность. Кипарисы, оливки, виноградники со сторожевыми башнями, овцы на пастбищах, голубой дымок костра пастушьего.

Пахло, наверно, все тем же: козьим сыром, укропом, свежестью и росою пустыни.

У Давида хороший дом, но еще не дворец Соломона, просто дом, с хозяйством и службами, основательно строенный. Сам он уже не так молод: войну ведет полководец его Иоав. А царь прогуливается утром и вечером по кровле дома. И вот раз, под вечер, увидел он моющуюся женщину, очень красивую.

В том, что он захотел Вирсавию, нет ничего удивительного. Мало ли кого он хотел. Но тут все слагалось особенно. У Вирсавии был муж Урия, служил в войске Давида, у Иоава. Давиду Вирсавию привели, он сблизился с ней, и она забеременела. Он послал в войско за Урией. Тот явился. Давид расспросил его о войне и отправил домой. Урия не пошел. «Ковчег Божий, и Израиль, и Иуда находятся в кущах, и

господин мой Иоав и слуги государя моего стоят станом в поле; могу ли я идти в дом мой есть и пить и спать с женою?»

Может быть, чувствовал он дома неладное. Во всяком случае ответ его безупречен. Он остался со слугами царя. Так же поступил и на другой день.

Тогда Давид отослал его назад в войско, а Иоаву написал, чтобы этого Урию поставить в самое опасное место.

Все так и вышло, как царь хотел — так да не так: Урию, разумеется, враги убили, Давид тут будто бы и ни при чем, Вирсавию свободно берет в жены, но не напрасно связан он с Богом. Не освободиться и не спрятаться! Никто не знает, а Бог знает. От Него не уйти. В войнах Давиду случалось — и сколько раз! — поражать «острием меча». Не оставлять в живых ни мужчин и ни женщин, ни ослов, ни волов, но то расправлялся он с врагами. Чаще всего — с врагами самого Бога. Моавитян, победив, разложил по земле, «размерил их веревкою, и две части из них отмерил на убиение, а одну часть оставил в живых». Это все ничего. Война так война. Довелось и Ахимелеха обмануть и подвести — там он шел к цели, не им поставленной. *Пришлось* так поступить! Но вот здесь: предательски, исподтишка умертвить верного Урию, чтобы завладеть его женою... «Дурен был в очах Господа поступок, который совершил Давид». До сих пор Бог говорил с ним прямо, без посредников. Теперь нечто встало между ними. Бог замолчал. Пророк Нафан послан Им к Давиду, как некогда Самуил к Саулу.

Нафан рассказывает ему историйку: в городе жили богатый и бедный. У богатого сколько овец и крупного скота. У бедного — только одна овечка. Он ее вырастил вместе с детьми. «Один кусок с ним ела, из чаши его пила, на груди его спала и была для него, как дочь».

К богатому пришел гость. Богатый пожалел свое добро, взял овечку у бедного, зарезал, приготовил ее для гостя.

Давид вознегодовал. «Повинен смерти» сделавший это. «Ты этот человек», — отвечает Нафан. И Давиду выносится приговор: за то, что тайно он делал дурное, наведется на него бедствие явное, из его же дома. Очень он пострадает. Взяты будут и жены его, соперник будет спать с ними «пред этим солнцем».

Давид признает: «Согрешил я пред Господом». Саул в свое время тоже сознался. Бог его не простил. Давида наказывает, но от Себя не отталкивает — путь Давида иной.

Наказание же начинается тотчас. По грозному духу Ветхого Завета переносится сначала на невинного младенца: сын Давида и Вирсавии, как бы символ греха, заболевает. Давид мучается, постится, проводит ночи лежа на земле. На седьмой день ребенок

умер. Слуги, видя горе Давида, боялись даже сообщить ему об этом. Оказалось — напрасно.

Как Давид любит жизнь, живое! Мальчик был жив, он терзался за него, искренно пытался Бога умилостивить постом, молитвою. Молитва не услышана — значит — так надо. Свершилось. Взор его опять направлен на живое. «Могу ли уже я возвратить его? Я пойду к нему, а он уже не возвратится ко мне». А жизнь есть что? Пламя! Умер сын, пылай далее. Осталась прекрасная Вирсавия. Что бы ни говорить, а она прекрасна. И «утешил Давид Вирсавию, жену свою, вошел к ней, спал с нею». Одна жизнь ушла, другая появится. Был грех, но вот теперь сам Господь принимает их союз. Вирсавия вновь зачинает. И какой рождается у нее сын! Соломон, будущий царь, созидатель храма. «И Господь возлюбил его» — Бога как будто радовало в Давиде его жизнелюбие.

Это не значит, что он уже прощен. Но безнадежности нет. У него не отымается царство, оно за ним даже закрепляется, передается в род. Искупить же содеянное еще предстоит

* * *

Борьба с Саулом, «скитания в земле безводной» дали одну часть Псалмов. Вирсавия и убийство Урии — другую.

В преддверии знаменитого пятидесятого Псалма сказано: «Когда приходит к нему пророк Нафан, после того, как он вошел к Вирсавии». Далее и идет вопль — «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей».

Грех, двойственность — в самом корне бытия, в глубине человека. Нет такого, кто хотел бы быть преступником. А преступники все. Через тысячу лет после Давида скажет Апостол: «Добра, которого хочу, не делаю, а зло, которого не хочу, а что ненавижу, то делаю». Вовсе Давиду не нравилось убивать Урию. Но Вирсавия нравилась больше, чем не нравилось убийство. И в вечность летят слова из-под гуслей, увеселявших некогда Саула: «Яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною есть выну». «Окропиши мя иссопом и очищуся: омыеши мя и паче снега убелюся». Жить в грехе значит дышать зараженным воздухом, задыхаться и томиться как Саул. Вот, поэтому: «Слуху моему даси радость и веселие» — не прожить ведь без радости. Но для этого нужно, чтобы Бог создал «сердце чисто» и не отверг от Себя. «Духа Твоего Святого не отыми от мене». Он же сам, грешный и последний Давид, уже «умалился» и «смирился», поэтому и надеется на милость Божию, ибо «сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничтожит».

По духу смирения и сокрушения своего и вошел этот Псалом целиком в христианское Богослужение — тысячи раз повторяет его Церковь, тысячи раз повторяет и отдельный христианский человек в общении с Богом. Пятидесятый Псалом есть дверь к Богу.

Из сыновей Давида выдавался Авессалом. Был он знаменит красотою, как в молодости и отец. А особенная слава: волосы. «И когда он стриг свою голову (а стригся он из года в год, так волосы тяготили его), то остриженные волосы с головы его весили двести сиклей царского веса».

Этот Авессалом рано начал проявлять себя: убил брата, вынужден был бежать в Гессур, там пробыл несколько лет, но прощенный Давидом вернулся в Иерусалим. Сначала отец не принимал его, наконец, допустил и к себе. Что-то нравилось ему в Авессаломе, может быть, напоминая собственную молодость — красота, смелость, бурный нрав?

Авессалом завел себе колесницы с конями, пятьдесят скороходов — видимо, зажил роскошно. Никак не скажешь, чтобы он любил отца! Действовал даже против него: по утрам перехватывал просителей у дверей дома Давида, льстил им, убеждал, что у царя нет праведного суда (а вот у него, когда он получит царство, будет). К славе, власти явно влекло его. И еще при жизни он поставил сам себе памятник.

Кончилось все это открытым восстанием. Авессалом ушел в Хеврон и там объявил себя царем израильским. Давид, начавший с победы над Голиафом, всю жизнь воевавший, поражавший «острием меча», не оказал сопротивления. Со слугами своими и всем домом вышел пешком из Иерусалима. Только жен оставил — стеречь добро. Священники несли Ковчег Завета. Ратники гефские и палестинские сопровождали его — царь перешел через поток Кедрон, направился к пустыне. Тут на пути его Масличная гора, Елеонская, та самая. Гефсимании еще нет, но оливки при Давиде могли быть и те, под которыми позже молился Спаситель — оливковое дерево долговечно.

Давид шел босой, с покрытою головой, и плакал. И вокруг все плакали — в бедствии своем Давид не был так одинок, как Иисус. Спустившись несколько с вершины, в направлении пустыни Иудейской, издавна ему знакомой, он встретил даже знак внимания и любви: Сива, слуга Мемфивосфея, сына Ионафанова, встретил его с двумя ослами, на которых навьючено было двести хлебов, сто связок изюму, сто караваев сушеных плодов и мех вина — все это для скитания царя в пустыне. Сива и объяснил: пусть царь кормится, вином утоляет жажду,

а на осле может ехать. Так и вышло. «На осляти» въезжал Спаситель в Иерусалим перед Голгофой. На осляти же Давид с горы Елеонской к своей Голгофе, в изгнание. Стенал на горе стенаний, получил от Сивы каплю утоления, а далее, в Бахуриме, принял и поношение. Сквозь библейское повествование так чувствуется этот Семей «из родства дома Саулова» — все еще отголосок прежних распрей. Яростный облик тех же иудеев, что Пилату кричали: «Распни его!», при виде Апостола Павла раздирали на себе одежды и «метали пыль в воздух». Семей шел рядом с караваном Давида и бросал в царя камни. Ругал его, именно шел и «лаялся», так и этак обзывая свергнутого владыку: кровопийцей, палачом, преступником. Когда один из приближенных сказал Давиду: «Зачем ругает этот мертвый пес государя моего, царя? Позволь, я пойду и сниму с него голову» — Давид предварил позднейшее: «Вложи меч твой в ножницу». Он не прибавил, что «взявший меч от меча погибнет», но слова его, все равно, остались золотом.

«Пусть ругает: может быть, Господь повелел ему обругать Давида».

Да, ответ за Вирсавию, Урию.

«Вот, и сын мой, который произошел из моей утробы, посягает на жизнь мою; тем более может это вениаминянин. Оставьте его, пусть ругает: верно, Господь повелел ему».

Давид, в ущербе своем, продолжал путь. А Семей шел рядом по скату горы, «и все проклинал его, бросал камнями сбоку и осыпал его пылью».

Так удалился Давид в пустыню, Авессалом же занял Иерусалим. Хитроумный Ахитофел, бывший ранее при Давиде, а теперь перебежчик, посоветовал Авессалому так: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил для присмотра за домом». Расчет будто бы правильный: Авессалом станет «омерзительным» отцу, примирение невозможно и это «укрепит руки» сторонников Авессалома.

Авессалом так и сделал. На той самой кровле, с которой любовался Давид окрестностями Иерусалима и Вирсавией, поставили палатку. «И вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля».

* * *

Давид, очевидно, чувствовал, что все это бедствие есть расплата. Он ее претерпевал, но и верил, что царство у него не отымется. Путь голгофский проделал, поношения принял, в пустыне кочевал как во времена борьбы с Саулом — сушеными

плодами Сивы питался. Но рук не полагал. Наступил час — начал действовать.

Можно думать, что пока Авессалом сидел в Иерусалиме, занимаясь наложницами отца, упиваясь «вином и сикером», Давид не терял времени: устраивал свое войско, сзывал сторонников, внезапно переправился чрез Иордан и засел в городе Маханаиме. Авессалом наконец (сильно опоздав: это и дало возможность Давиду окрепнуть) — двинулся также в Заиорданье. Давид разделил свои силы на три части, под начальством Иоава, Авессы и Еффея Гефянина. Хотел идти с ними сам, но народ потребовал, чтобы он остался в городе и оттуда помогал им: боялись, что если убьют царя в сражении, это сразу решит дело — может быть, был он уже и не так крепок, как раньше.

Давид остался. Военачальникам же дал приказ: пощадить юношу Авессалома.

Авессалом со своими израильтянами стоял где-то недалеко от Маханаима: по-видимому близ «леса Ефремова». Вряд ли лагерь его хорошо охранялся. Вероятно, Давид знал об этом и не напрасно разделил свои силы натрое. Сражение произошло, по Библии, «в лесу Ефремовом». Не указывается ли здесь, однако, заключительная его часть — бегство израильтян Авессалома? Не напали ли на них внезапно, с трех сторон, полководцы Давида где-нибудь о к о л о леса, а в лесу уж избивали бегущих?

Сам Авессалом скакал сквозь чащу на своем лошаке. Со времен ученических врезается в память: Авессалом, зацепившийся длинными своими волосами за ветви дуба, повис на них — лошак же выскочил из-под него. Иоав не послушался Давида, всадил Авессалому в сердце три стрелы. Израильтяне оказались совершенно разбиты коленом Иудиным.

А Давид сидел между двумя воротами у входа в Маханаим. Ждал исхода боя. Был вечер. Сторож ходил по кровле над стеною, карауля вестника. Удлинялась тень сикоморы, под которою сидел Давид. Вот он, еще новый день его томлений и борьбы, закатный день бурной жизни...— тогда с Саулом боролся, пред которым и благоговел. Теперь с собственным сыном, которого — неизвестно за что! — так любил.

Сторож закричал: бежит кто-то!

Действительно, вестник. Добежал, поклонился царю до земли — победа. На вопрос же об Авессаломе ничего не ответил. Но вот и второй бежит, эфиоплянин. И когда у него спросил Давид: «Благополучен ли юноша Авессалом?» — тот отвечал: «Что сбылось с этим юношей, пусть сбудется с врагами государя моего, царя».

Этого-то Давид и не мог вынести. Царство, Иерусалим,

дворец, жены — все возвратилось, только не «юноша Авессалом», который чуть было его не погубил.

Царь был подавлен. Поднялся в горницу над воротами и все плакал и все восклицал: «Сын мой Авессалом, сын мой, сын мой Авессалом! Кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!»

Странная победа. Лучше бы победителю умереть вместо побежденного! Народ тотчас узнал, что царь скорбит смертельно. И возвращались в город смущенные, точно беглецы после поражения. Узнал об этом и Иоав. А царь все стонал: «Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой, сын мой!»

Иоав в гневе явился к Царю. «Посрамил ты сегодня лице всех слуг твоих» — Иоав совершенно прав: они спасли и самого Давида, и жен его, и дочерей его, и наложниц, а он плачет как о несчастии. «Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя» — ведь если бы все умерли, и сам ты. «Теперь я знаю, что если бы только Авессалом был жив, а мы все умерли сегодня, то было бы для тебя лучше».

«Любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя» — не впервые священное безумие владело Давидом. Приходилось и раньше действовать против здравого смысла. Но как царь и вождь, в технике дела своего, он не мог быть безумцем. И теперь внял совету Иоава («Встань, выйди и скажи что-нибудь приятное для сердца слуг твоих» — иначе все они разбегутся.) Давид встал, пересилил себя, вышел к народу и сел у ворот — вновь спокойный, разумный, народу благодарный царь Давид. Все отложившиеся израильтяне перешли к нему.

* * *

«Дней лет наших всего до семидесяти лет, а при крепости до осьмидесяти» — как ни был крепок Давид, а до восьмидесяти не дожил, не вышел из меры обычного.

Вот и пришел его вечер. Все идет, как и надо. Ниже солнце, длиннее тень сикоморы, но врагов он, или военачальники его продолжают поражать, восстание против него Вохора не удается. Как «сладкий песнопевец израилев» воздает он хвалу Богу за все, чем Он наделил его, а действия его странны и загадочны, иногда вызывают ужас, но кажется, надо просто, не мудрствуя, смириться пред ними: понять то время и тех людей до конца мы не можем. Не нам разбирать грехи Давида. Мы лишь укажем на дела его. Скажем: «Значит, так почему-то надо было в его судьбе».

Три года преследует голод страну Давида. Он спрашивает Бога: за что? Ответ: за преступления Саула. Он избивал (не-

праведно) гаваонитян, соседей Иерусалима. Давид призывает гаваонитян и спрашивает, как загладить грех. Они потребовали, чтобы он выдал им семь человек из потомков Сауловых, чтобы они распяли их «пред Господом на холме Саула». «Царь отвечал: я выдам».

Последний отсвет юности Давида: Ионафан, Мелхола! «Скорблю о тебе, брат Ионафан: ты был для меня так драгоценен» — годы прошли, то и осталось: «Любовь твоя ко мне была превыше любви женской» — Давид пощадил сына Ионафанова, Мемфивосфея, не выдал его гаваонитянам. А Мелхола? Некогда его спасшая, а потом «презревшая», посмеявшаяся над его «скаканием»?

Очевидно, она в третий раз была замужем — за некиим Адриелем — родила ему пятерых сыновей. Вот этих сыновей, как и ее сердце, не пощадил Давид. «Людей смиренных Ты спасешь» — это он сказал. «Сердце сокрушенна и смиренна Бог не уничижит». Но вот сам и отдал безответных и невинных, детей бывшей своей жены и спасительницы, на муку. «Распяли их на горе пред Господом... Они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя».

В один из последних годов царствования своего Давид сделал перепись народа. Это был грех — Бог чрез пророка Гада предложил ему на выбор три наказания: семилетний голод, три месяца бегать от врагов, три дня моровой язвы.

«Тогда сказал Давид Гаду: очень прискорбно мне; но пусть я впаду в руку Господа, ибо велико Его милосердие; только бы не впасть мне в руки человеческие».

Все что угодно, только не преследования врагов! Видно, не забыть ночей в пещере Адулламской, в зимний холод, с воем шакалов, блеском дальних звезд, вечным ужасом меча Саулова! Лучше уж голод или моровая язва. Господь скорей помилует, чем люди.

Господь послал моровую язву. От нее сразу погибло семьдесят тысяч человек.

Ангела, поражавшего народ в Иерусалиме, увидал Давид и сказал Богу: «Вот, я согрешил, я поступил беззаконно: а эти овцы что сделали? Пусть будет, молю Тебя, рука Твоя на мне и на доме отца моего».

Дрогнуло сердце Давидово. Как некогда Авраам не задумался принести в жертву сына, так Давид предлагает себя — хотя, конечно, мог ранее выбрать тот род кары, который не задел бы народа.

Бог сжалился и над народом, и над Давидом. Остановил Ангела смерти «у гумна Орны Иевусеянина».

* * *

Жизнь идет к концу. Давид старится, холодеет. А как любит живое, теплое! Никакие одежды уж не согревают. Тогда отыскали для него прекрасную отроковицу. Это уже не жена, не любовница. Ависага-сунамитянка — нежное пламя бытия. Отходя «путем всей земли», завещая сыну царство и мужество («крепись и будь мужем»), приникал Давид к последнему очарованию земли. Ависага ухаживала за ним, спала на его груди, юностию своею согревала его. «Но царь не познал ее».

Он царствовал сорок лет. Семь в Хевроне, тридцать три в Иерусалиме. Наследнику своему Соломону оставлял прочное царство с крепостью Сионом.

Но храма Иегове не было дано ему построить.

«Странник я у Тебя, пришлец, как и все отцы мои».

Соломон не был уже странником, храм построил.

Давид прожил семьдесят лет.

III

Пробудись, слава моя; пробудись, псалтирь и гусли; пробужу я утреннюю зарю.

Псалом 57.

Воззри на страдание мое и скорбь мою и прости все прегрешения мои.

Псалом 25.

Сила моя! Тебе воспою; ибо Ты Бог, защита моя, милующий меня.

Псалом 58.

Время течет, время проходит: Саул, Давид, Соломон.

Вот, помазал Саула Самуил, излил елей рога, дал ему Господь «другое сердце» — и оно не удержалось. Поддалось бесам. «Из глубины воззвах к Тебе» — и Саул взывал, рыдал на путях жизни. («Твой ли это голос, сын мой Давид?») Но будто проклятие над ним. И вновь, снова гонит он того, преследует, о котором уже знает, что он — Божий, ему венец, царство. Как отчаянный игрок, ставит и ставит. Чувствует, что проигрывает — удержаться нельзя: вихрь несет, в тоске, мраке. Первобытно все в Сауле, целина, никаким плугом не оранная. Слепая сила, как у Самсона. Копье его свистит, не убивает: ни Давида, ни Ионафана. А искра сердца (к Богу) как бы недостаточна — не прерывает тучи, все над ним, в нем бушующей. Не прорваться вверх. Но спуститься в преисподнюю. Не напрасно он в пустыне, у колдуньи, ночью, в темноте, муке: занесли бесы вовсе вдаль.

И могильный призрак Самуила, потревоженная тень в Эндорре! «Завтра ты и сыновья твои будете со мною» — завтра бои с филистимлянами; погибает Саул с Ионафаном. Плачьте, дщери израильские.

И Давид пел и плакал. Как же не оплакать Саула?

Все это было при Давиде. А вот что после: премудрый Соломон, «возлюбленный» Богом, наследник царства. У Саула отымается, Соломону само идет в руки. Саул неудачник, Соломон удачник. Слава, почет, богатство. И сколько даров излито! Правитель и судья, поэт, философ, собиратель и строитель — все хорошо, все благополучно. Но... все «суета сует». А что ни взять во Дворце или Храме — золотое. Херувим, пальмы и распустившиеся цветы, цепь и внутренность Храма, все из золота. Во Дворце трон слоновой кости, обложен чистым золотом. И сосуды для питья золотые: серебро ни во что не считается.

Сколько всего! И для чего все это? Значит, для чего-то нужно. «Сорок тысяч стойл для коней колесничных и двенадцать тысяч всадников», «семьдесят тысяч носящих тяжести и восемьдесят тысяч каменотесов в горах».

Жен — только главных: семьсот. Наложниц триста. Но: «Все произошло из праха и все обратится в прах».

«Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли кверху и дух скотов сходит ли вниз, в землю».

Вот она, мудрость Соломона! С нею тяжко восседает он на троне из слоновой кости, как златой кумир — старый и уже усталый даже и тогда, когда не стар.

Между Саулом и Соломоном Давид. Одному странный враг, другому отец. Этот не стар, даже когда отходит «путем всей земли» (телом холодеет, но завет сыну: «Крепись и будь мужем»). Не напрасно изобразил его Микель-Анджело юношей.

Его Давид, разумеется, только еще певец, Орфей, воин и победитель Голиафа. Давида борений, падений и прегрешений, как и Давида стенаний о грехах выразил уж не мрамор, но Псалмы и узор жизни.

Но и здесь он всегда молод. Он не может быть стар потому, что всегда раскален. Он не прозябал — пылал. И когда побеждал, и когда грешил. Когда каялся и когда, низвергнутый, брел под семеевой бранью в изгнание. И когда юродствовал, и когда скакал пред Господом, и когда притворялся безумным. И когда плакал, прощаясь с Ионафаном, и когда рыдал по Авессаломе, и когда любил Вирсавию. Священный ветер Ветхого Завета, сквозь чащи мчащийся к райским рощам. Он один в его время чувствовал новый мир. «Ты любишь ненавидящих тебя и не-

навидишь любящих тебя» — с яростью упрекает его ветхозаветный Иоав.

И да, и нет. Необычны его чувства. Не то, чтобы он всегда ненавидел любящих. Но не всегда ненавидел врагов. «Кроткие наследуют землю». «Близок Господь к сокрушенным в сердце и смиренных духом он спасает». Кто первый разбил «око за око и зуб за зуб»? Царь иудейский Давид.

«Исповедаюсь в преступлениях моих пред Господом» — никогда Давид не будни и не повседневность. Не спускал он глаз с Солнца Мира ни тогда, когда бедствовал в пещере Адулламской, ни на скалах горных коз, нигде вообще в земном своем странствии. Бог был и во взоре его, и в сердце. Был, когда он делал доброе. Когда же делал злое, тоже не мог от Него оторваться, хотя и бывал ослеплен: тем острее стенание. Не мог безысходно спускаться в отчаяние, богоотступничество, как Саул (Давида Бог любил, Саула нет — вот это тайна). Не мог и как Соломон впадать в оцепенение роскоши, наслаждений, славы. Не видишь Давида в дремоте.

В страшной силе жизни, жадности к ней — путь его все же к Царствию Божию. Оттого он противоречив, пестр, слепителен. Но и вечно — юн. Давид преобразует, дает лик человека вообще, Адама, трепещущего мощью и рожденного во грехе, с вечной тоской по безгрешности.

«Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его» — войдешь в храм, голос Давида раздается тотчас, будто и не было трех тысяч лет.

«На всяком месте Владычества Его благослови, душе моя, Господа».

ВАНДЕЙСКИЙ ЭПИЛОГ

28 июля 1951

Наши отправились на океан. Я один в небольшом доме. Светло, пустынно. На столе книги и рукописи — то, что неизменно сопровождает меня, куда бы ни занесла судьба.

Окно выходит в тощий садик при дороге, далее зелень, кое-где домики и направо, вдалеке, узкая синеющая полоса — океан.

Это Вандея. Мы не первый год здесь, и все в том же доме, у простых, милых хозяев, старомодных крестьян. Да и страна такая же: не скажешь, чтобы было блистательно. Как раз скорей будни. Зелень, поля, иногда виноградники, места ровные, дороги обсажены такими кустарниками-изгородями, что чрез колючки их не продерешься. Некогда здесь бушевала борьба, а теперь тихо. Все прошло. Иногда попадаются старые башни — остатки помещичьей жизни XVIII века, но сейчас это крестьянская страна и очень католическая. В самом Бретиньоле нашем огромная церковь, в воскресенье служат три мессы подряд. В такой день мимо моего окна едут и на велосипедах, и пешком идут из соседних селений — все в нашу церковь. И входящие в Бретиньоль видят статую Спасителя при въезде, от нас совсем близко. А от церкви недалеко, в особом тупичке, воздымается огромное Распятие.

...Двадцать восьмое июля...— в прежней России считалось пятнадцатое, день св. Владимира. Полвека назад, в Москве, утром этого дня некий молодой человек, развернув газету, увидал в ней свой рассказ и свою подпись под ним. Неважное для мира событие! Но для него самое важное — началась новая жизнь. И вот если бы тогда подумать, что пятидесятилетие писания этого будешь встречать в Вандее, пред таким вот раскрытым окном, в тишине, свете деревенского уединения, и что Москва, Россия, все наши поля, леса, благоухания покосов, зорь, весенней тяги, благовест сельской церкви, смиренность

кладбища какой-нибудь Поповки тульской — что все это град Китеж, Китеж! Даже имени Россия больше нет.

Вот и хорошо, что мысли такой не было. К чему? Не нами все устроено. Сколько следует знать, знаем. Чего не следует, то закрыто. «Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух летать способно; так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько ему надо знать, чтобы прожить, столько и знает» (Чехов).

Так что насильно ломиться в будущее нечего. А вот прошлое вспоминая, скажешь: все принимаю, за все благодарю, и за радость, да и за горе (всего бывало, всего достаточно. Но для твоей же пользы). И если вот чужбина, одиночество, родины нет — значит, так Богу угодно. Что могу я сказать со своим крохотным умом?

...Нынче у нас будет пирог, и все близкие мои, мои родные поздравят меня и чокнутся стаканом местного вина — чокнусь я и с хозяином, и с сестрою его: это их собственное вино, своего виноградника, сами ухаживали, возделывали.

Вечером же, на заре, выйду, как и нередко в России делал, один в поля. Дойду до статуи Спасителя, в полутьме благословляющего десницею своей края Вандеи. Подойду к пьедесталу, сяду на ступеньку. Так и буду сидеть — у Его ног.

Проедет камион[1], блеснув огнями. Запоздалый воз на двуколке, медленно погромыхивая, проскрипит к нам в селенье. И опять настанет тишина.

---

[1] Грузовой автомобиль *(фр.)*.

РАЗГОВОР С ЗИНАИДОЙ

De profundis clamavi[1]

Ты явилась в наш прозрачный деревенский дом как вихрь. Просто прискакала на коне — была осень первой войны — примчалась из имения соседа, твоего двоюродного брата. Высокая, тонкая, с довольно широким лицом, несколько сумасшедшими глазами. Говорила без умолку, восторженно целовала мою мать, жену. Все кипело в тебе и бурлило. Трудно было усидеть покойно.

Странное время, грозное время. Оно вспоминается в осенних холодных зорях, в свисте ветра, гуле берез на въезде в усадьбу, в роковых сумерках надвигающейся ночи Европы.

В тебе всегда была удаль и отчаянность. Сколько сил, сколько жизни! Ты не могла просто ехать на лошади. Надо мчаться. И кони твои всегда были сумасшедшие. Раз, на заре, вылетая от нас из усадьбы, ты и слетела со своего дамского седла — лошадь шарахнулась от вскочившей собаки. Ты хлопнулась оземь, но ничего, вскочила, догнала и опять поскакала.

Мы и вместе скакали, помнишь, верхом по окрестностям?

— Нет уж, рысцой не могу! Ехать так ехать!

Гонка в красной заре заката, по опушке какой-нибудь Рытовки называлось у нас: бегство Карла Смелого после битвы при Нанси.

— Я и понятия не имею, какой это Карл Смелый, но если вы говорите, что он Смелый, то уж он мне нравится.

В тысяче верст от нас, в стороне кровавого заката шли бои, много погибало смелых. До нас еще не дошло. Судьба только еще подводила нас к театру: участия мы пока не принимали.

Но усидеть долго в тульской глуши ты не могла. Слишком гремело *там*. Мы немного с тобой поскакали по полям и опушкам каширским. Тот же ветер, что гудел в старых березах

---

[1] Из глубины воззвах. Псалом 129 *(лат.)*.

у въезда в усадьбу, унес тебя в самое пекло: ты пошла на войну, сестрой милосердия.

* * *

Тебя давно уже нет. Это ничего не значит. Вижу тебя и слышу, и вот говорю с тобой, какою ты была много лет назад, полоумной девчонкой в деревне, позже другом на чужбине.

Вот и слушай, что я скажу: прямо передо мной, под Распятием на стене, два маленьких металлических образка: св. Серафим Саровский и Христос Вседержитель — это ты нам оставила, помнишь? — вечную память о себе, о России: в смертный час тебе передал это русский солдат, умиравший у тебя на руках. Знаю руки эти, знаю сердце твое. «Неизвестный солдат» снял нательные образки и тебе передал — как сестре, истинной сестре, и не ошибся. Твои зелено-мокрые глаза смотрели на него. Он не ошибся. Передал кому надо. И на скромных образках тайно запечатлелась кровь мученическая. Чувствую тебя, Россия. Безымянная и безответная Россия.

Слежу твой путь, Зинаида. Вижу тебя в госпитале, такую же бурную, неукротимую, как на коне, как в беседе.

На улице, под твоими окнами, лежит старенький раненый генерал. Идет стрельба. Госпиталь обстреливают, лежать генералу и ждать, пока его добьют? Кто вызовется спасти? Нужны серо-зеленые сумасшедшие глаза, но вот они есть, они нашлись. Только такая могла выскочить из дверей госпиталя и под огнем домчаться до старичка, дотащить, укрыть, спасти. «Рысцой не могу!» Тут надо вскачь. Святым Георгием отмечена за это твоя грудь.

Во тьме гражданской войны теряю тебя, не вижу и не знаю. По каким степям ты кочевала с лазаретами своими, чьи стоны слышала, кого напутствовала, я не знаю.

— Но что замужем была, в Киеве, знаете? Ах, лучше не вспоминать! Его убили через несколько месяцев.

Это я как раз и знал. Да, ее нет, но как будто слышу ее голос, все такой же, быстро-восторженный. Это и есть разговор с тенью — в тени этой часть прежней жизни, прежнего очарования. Ты явилась затем не как тень, просто Зинаидой — из Югославии, в Париж двадцатых годов. Так же бросилась к нам на шею и душила в объятиях, такая же полоумная, как прежде. Десять лет закалили тебя. Ты прошла ад войны, революции, междоусобицы, беженства. Не была уже той беззаботной девчонкой из барской семьи, какой носилась со мной верхом по полям тульско-каширским. Руки твои загрубели, руками этими

ты теперь умела делать шляпы, разрисовывать платочки, шить, убирать, стряпать.

Все это ты сама знаешь. Но мне хочется вслух вспомнить, и я обращаюсь к тебе.

Но вот этого, может, не знала тогда: в тебе сидел уже тонкий яд — злой яд болезни, возбуждавший и отравляющий, зажигавший и подтачивающий: легкий кашель, смех, румянец, острота и упадок.

Ты и по Парижу металась, как раньше по полям российским. Полюбила ли кого по-настоящему? Полковника давно уже не было. Ты вышла в Париже замуж за знакомого своего по Загребу,— из «стрелков императорской фамилии». Хороший человек, простой и немудрящий, слабый. Как и император и все в полку его, носил небольшую бородку. Но теперь заведывал гаражом. Русские шоферы ставили туда свои машины. Был среди них и командовавший армией Западного фронта.

Хорошо ли ты жила здесь со своим стрелком? Не знаю. Думаю, так себе. Не знаю подлинных романов и влюбленностей, но думаю, что всего этого было немало. Ну, да черта́ вечности отделила уже от всего «такого».

Стрелка, впрочем, иногда дико ревновала и вскипала на него. Выкидывала штуки, вполне на тебя похожие: поссорившись, могла уйти утром на целый день, заперев в шкафу его ботинки: пусть посидит дома! И стрелок со своей императорской бородкой так и просидел весь день дома, в бессильной ярости (глупость и пустяк, вспомнившиеся из твоей бурной жизни).

Здесь, в Париже, как и на полях сражений, как и в лазаретах, ты вечно кому-то помогала, бегала, поддерживала, горячилась. Но и на шляпы, над которыми корпела, и на выяснение отношений, и на любовь, и на сцены, нужны силы. Ты сильно кашляла. Замечала ли сама? Не знаю. В таких случаях, как у тебя, больные склонны к оптимизму. Но худела, и твои зеленоватые глаза ярче и болезненней горели. Ты по-прежнему душила в объятиях друзей, которых знала еще по России, молодости. Но твоя молодость явно уходила.

И из тесной квартирки с незаконченными шляпами, манекеном в углу, разбросанными лоскутками материй, тусклым воздухом, где ты кашляла, сгибаясь над работой, в некий час тебя услали в санаторий, далеко, на границу Италии.

Стрелок остался один. Ты сидела в горах — вот след жизни той, снимок: с приятельницей санаторской, на утесе, те же восторженные глаза, длинные ноги, широкие скулы, сзади ели, кругом дикие горы. Это все так твое! Так тебе подходит. Может быть, ты сейчас полезешь на отвесный утес, поросший лесом,

может быть, прыгнешь вниз — так, из молодечества, чтоб что-то доказать кому-то. Бог тебя знает. Вероятнее всего, выкинешь что-нибудь неподходящее.

Но в твоей судьбе, как в твоих глазах, длинных ногах, быстрых движениях было всегда что-то неподходящее. Ты отмечена была странным, диким полетом и бескрайностью России.

А стрелок жил один. В одиночестве постреливал, как будто благодушно и невинно. Ходил, конечно, и в гараж, но чаще выпивал. Играл по вечерам в карты, дам угощал. Попал в круг знакомств двусмысленных. Денежки, денежки, на все нужны денежки. Понемногу слабел, распускался — и опустился. Иногда приезжала и ты в Париж, но редко, ненадолго. Замечала ли что? Но не говорила ничего, даже близким.

Туча же заходила, черно-зеленая. Пока ты кашляла, дышала горным воздухом рядом с Италией, туча росла, надвигалась. Наконец, и надвинулась.

* * *

Она съела всю твою, еще молодую все-таки, жизнь без остатка. Однажды некая молния, озарение, пронзили тебя там, в горном убежище, ты стремглав вылетела и внеслась к нам — не на коне, как прежде, но такой же пулей. В нашей квартирке в полубреду и жару ты лежала, а стрелка́ уже не было: денежки, денежки, водочка, кабачки. Своих не хватало, стал тратить чужие. Не много-то и растратил. Но вернуть уже не мог. И позора не пережил. Газ отвел от него позор, перевел в вечность. В газе этом заснул стрелок с императорской бородкой.

Это вот ты и почувствовала в своем Бриансоне. К кому ехать в Париж? Ни отца у тебя не было, ни матери, ни сестры. Как к матери ты прижалась к моей жене, меня обняв, рыдала. Но вокруг тебя была любовь, не только наша. Приходили, тоже обнимали, целовали, утешали. Более женщины: женские сердца обширней.

Страшна́ жизнь. Твой стрелок незамеченный пролежал три недели, никто к нему не заглянул. Только когда на лестнице запахло газом, догадались. Как не взлетел дом на воздух? Все-таки взрыва не было. То, что осталось от стрелка, упокоилось в земле латинской.

Ты уехала назад в горы. Случай с мужем твоим — таких сотни в Париже, Франции, мире. Поплакали, успокоились. Ты жила там одна, опять. Одна, средь полуобреченных и чужих, среди утесов, диких гор, диких елей по склонам, дыша там воздухом, какого мы тут и не знаем. Может быть, вновь взби-

ралась со случайной подругой на кручу, как тогда, и сидела, плакала или хохотала, и писала нам восторженно-отчаянные письма.

Смотрю вновь на образки, завещанные тебе солдатом. И опять ты, Россия, солдат, все сливается в одно: в стон, в молитву о всех страждущих — вот как ты, умиравшая в этом Бриансоне в одиночестве. Из одиночества этого, «из глубины воззвах», написавшая нам. «Вы моя родина, вы для меня Россия, и отец, и мать. У меня больше никого нет».

Но мы были за тысячу верст, когда в некий день хлынула наконец у тебя из горла кровь фонтаном, с тою бурностью и стремительностью, как всегда все было в твоей жизни. Не остановишь, нет, не остановишь.

Скромная твоя подруга, подлечившись там и возвратившись оттуда, принесла мне эту о тебе весть. Я ее принял. Я знаю, что ты лежишь одна в Бриансоне, в горной земле, но забыть нам тебя нельзя. Да, всегда ты с нами. По словам Апостола: «Поглощена смерть победою».

Париж, 1958 г.

РЕКА ВРЕМЕН

За оградой небольшой холм, на нем храм, несколько немолодых простеньких домов. С улицы ведет ввысь тропинка-лесенка, а вокруг разрослись каштаны, вечно переливается листва их, тени пробегают по земле, зеленоватый полумрак, зеленая мурава по склону, так до самой церкви.

Это русский монастырь имени великого Святого. В стране нерусской ведет он свою жизнь, вызванивают колокола, идут службы, в соседнем помещении юноши изучают богословие.

Немного не доходя до храма, в двух домах, нехитрых, по обеим сторонам дорожки, живут некоторые насельники из духовенства и светские профессора науки богословской.

В одном строении, от тропки влево, архимандрит Андроник, монах ученейший, автор трудов по Патрологии. Прямо напротив, через дорожку, тоже во втором этаже, окно в окно с Андрониковым — настоятель храма и прихода, архимандрит Савватий. Оба хоть и архимандриты, а совсем разные. Но в весьма добрых между собой отношениях. Андроник вовсе еще не стар, но с проседью уже, худой, высокий, несколько чахоточного вида, с огромными прекрасными глазами, молчаливый и всегда задумчивый. Савватий много старше, сильный, плотный, румяный, с ослепительно серебряной главой, бородой белейшею. Вид его столь внушителен, что он прозван Богом-Саваофом. Сколь учен Андроник, столь жизнен Савватий. Сколь книг у Андроника — любит он переплеты, ex-libris — столь много смётки житейской у Савватия — некогда управлял он в России даже церковным предприятием, а в средневековье мог бы собственноручно монастыри строить.

— Великой мудрости и познаний муж,— говорит об Андронике Савватий.

— Настоящий кондовый, коренной монах,— говорит о Савватии Андроник.

Из своих окон, через дорожку, перекликаются они иной раз, часто и бывают друг у друга.

Утро. Могучая, в седеющих волосах рука Савватия отворяет окошко, но подоконнике горшочек герани, вьющаяся зеленая «борода» спускается вниз. В прямоугольнике окна голова Микель-Анджелова Вседержителя.

— Хорошо ли почивали, дорогой отец архимандрит?

Савватий хоть и много старше, и к епископству представлен, и начальственно несколько выше Андроника в монастыре, но весьма уважает ученость и некий аристократизм соседа.

— Вашими молитвами, Владыко. Пока жив. Только сон неважный.

И Андроник устало, задумчиво смотрит на седую бороду Савватия, поправляющего на груди наперсный крест.

— Я хоть и не Владыка еще, но Первосвятитель митрополит изволил недавно подтвердить, что к осени вполне можно ожидать из Византии утверждения.

Архимандрит Савватий давно мечтает об епископстве. Но дело это длинное. У Константинополя — неизменно называет он его Византией — немало и своих дел. Не весьма торопится Его Блаженство.

— Знаю, знаю, дорогой авва, что сон ваш неоснователен. От чрезмерных трудов научных. Я нередко наблюдал свет поздней нощию в вашем обиталище. Иной раз подымешься на минутку, а вы всё над своими Отцами Церкви. Я науку весьма уважаю, но и здоровье необходимо плотской природе нашей.

— Да,— говорит Андроник,— вот Пасха выдалась, хоть и поздняя, а и погода прекрасная, и службы, говорят, прошли отлично...

— Душевно сожалею, что Пасхальную Заутреню не сослужили мне, отец архимандрит. Знаю, у вас свой приход, и сколь далеко от нас, на другом конце города, а все же жалею, что не вместе встречали светлый праздник.

— Ах, кстати: нам сюда доставили артос, приношение.

О. Савватий надевает очки почти на кончик носа и будто вдаль, как на планету астроном, смотрит на Андроника. Лицо сразу становится серьезнее, внушительней.

— И хороший артос?

— Превосходный, и очень большой. Но ведь у нас артос есть уже. Что же с этим прикажете делать?

— А который же из них больше?

— Новый гораздо больше.

Архимандрит Савватий снял очки. Лицо его выразило некую удовлетворенность. Медленно протирая разноцветным платком очки, он ответил:

— Не оскудевает вера православная. Дай Бог здравия дарителю.

— А как же быть с прежним артосом? Ведь нам два не нужны.

Савватий медленно вложил очки в футляр, цветной платок вложил в карман подрясника, где много чего может поместиться, неторопливо ответил:

— А прежний, дорогой отец архимандрит, вмените в оптический обман. Пользоваться будем тем, который больше.

Лицо его приняло совсем спокойное, прочное выражение.

— Тем, который больше.

* * *

О. Савватий занимает квартиру небольшую, все же две-три комнаты. Обстановка простецкая. В углу, конечно, иконы, в шкафу одеяния, туда же он думает упрятать епископскую митру, ее он почти уже присмотрел и вот-вот приобретет. В особой шифоньерке, тщательно запертой, чековая книжка — небольшой текущий счет — и кое-какие деньжонки. Скуп он вовсе и не был, но «златниц» не презирал, кое-что сберегал. «Дым есть житие сие, пар, персть и пепел»,— повторял иногда. Все же мощной своей натурой персть эту любил. Посты соблюдал, но в скоромные дни не прочь был «вкусить», иногда ездил к знакомым прихожанам и не без понимания пропускал другую, третью рюмочку «во благовремении».

У архимандрита Андроника одна комната, с крохотным чуланчиком-кухонькой. Его обиталище совсем не похоже на Савватиево. Древнего письма икона в углу с неугасимой лампадой. Стены сплошь в книжных полках, книги затопляют комнату. Зеленоватый отсвет каштанов за окном дает ей полусумеречный, спокойный тон. Глубокая и как бы нерушимая тишина в этой келии, где недалеко от икон висят: портрет Константина Леонтьева, император Александр I на коне, Леон Блуа — все любимцы архимандрита. Разумеется, никак не похож он на рядового монаха, но и нечто весьма древнее и вековечно православное есть в его огромных, глубокосидящих и глубоких глазах. Мать у него была старообрядка, святой жизни женщина, отец ученый.

Теперь, в преддверии лета, он особенно завален работой. Кроме экзаменов в Академии — читает он Патрологию — подготовляет международный научный съезд, здесь же в монастыре. Это нелегко. Переписка с Англией, Германией, не говоря уже о Франции. Хлопот много. Один ученый извещает, что приедет, а потом, извиняясь отказывается, другого нужно убе-

дить, что больше сорока минут читать нельзя, третий хотел бы знать, возможен ли тут режим питательный. Надо и разместить богословов этих по отелям, достать златниц достаточно.

Но архимандрит упорен. И кроме лекций своих и Патрологий наводняет почтовый ящик письмами на разных языках, ходит по ближайшим отелям, хлопочет об устройстве кое-кого здесь же при монастыре.

Худеет еще более, но увлекается. Ему по́ сердцу вся эта затея — *его* детище — невиданный еще выход православия на европейский простор. Католические богословы, протестантские, французы, немцы, англичане встретятся в скромном российском монастыре, под иконой смиреннейшего Святого, в братском общении с православным духовенством и учеными православия.

Но спит Андроник из-за этих трудов все меньше. И не об одном съезде думается ему в эти ночи.

Воспоминание невольно предо мной
Свой длинный развивает свиток.

Архимандрит Савватий некогда был женат, служил священником, а когда жена скончалась, принял монашество. Оно пришло просто и естественно, в не весьма ранних годах. Многое уже улеглось в натуре. Архимандрит Андроник в ранней молодости, из-за неудачной любви совершил прыжок, в минуту бедственную по отчаянию перескочил в другой мир. Был студентом, стал монахом. В одни сутки.

В эти летние дни чаще, дольше видел Савватий свет в окошке соседа. Про себя шептал: «Ах, ученость! Ученость! Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь неба и земля славы Твоея!»

Кое о чем в Андронике он догадывался. «Труден путь иноческий, труден,— говорил вздыхая.— Помоги Господи!» — переворачивался на другой бок, засыпал безмятежно.

* * *

Дни раннего лета плыли как облака, тихо и незаметно. Каштаны как всегда осеняли горку Святого, зеленоватые их тени блуждали и по взгорью, по крышам домов Савватия и Андроника, по цветнику близ церкви — детищу архимандрита Андроника. В храме шли служения, хор студентов пел древние распевы, небогатый колокол однообразно вызванивал, что полагается.

Архимандрит Савватий вел храм в простоте, силе, спокойствии. «Чу́дный наш боровик, лесной дух,— думал иногда о

нем Андроник.— Кондовый, народный... ну, этот не из изощренных наших, простецкий, но он мне нравится». Ему нравилось даже, как бесхитростно сосед желал епископства.

После службы в приходе к вечеру возвращался Андроник в келию свою в зеленоватом полумраке колеблющейся листвы каштанов.

Некогда был он иеромонахом в Сербии, с Балкан вывез пристрастие к турецкому кофе. И вернувшись, нередко варил его у себя в маленькой кухоньке — тогда к запаху ладана (им пропитана была вся его комната) примешивался благородный запах кофе — крепчайшего.

Раздается легкий, но и значительный стук в дверь.

— Аминь.

В растворенной двери седовласая голова на могучих плечах.

— Зашел на минутку навестить усердного отца архимандрита.

— Всегда рад, всегда рад видеть.

— По благоуханию замечаю, что турецким кофейком утешаетесь. Знаю, по пребыванию в балканских странах приобщились вкусам их.

— Да и подкрепляет очень. Вот вы попробуйте. Кофе как раз готово,— Андроник выносит на подносе небольшой кофейник и две чашечки. Савватий грузно садится в старинное, вытертое кресло у стола.

— Вкушу охотно, хотя в балканских странах бывать не приходилось.

И два архимандрита не спеша, но сознательно принимаются за кофе, благоуханно дымящийся.

— Напиток сладостный,— говорит Савватий.— И точно: оживляет усталого человека. Вы, ведь, дорогой авва, в Сербии блаженной памяти митрополиту Антонию сослужили?

— Да, и сохранил о нем хорошее воспоминание.

Император Александр на коне и красавец Леонтьев молча смотрят со стен.

— Слышал я, что Владыка Антоний предлагал вам даже хиротонию во епископа?

Лицо Андроника делается серьезней, несколько суровей.

— Предлагал.

— А вы?

— Отказался.

Наступает молчание. Архимандрит Савватий расправляет знаменитую свою бороду — точно серебряные струи текут меж его пальцев.

— Прошу прощения, дорогой авва: могу ли осведомиться о причине?

Лицо Андроника становится опять спокойным, как бы и отдаленным: было — и прошло. Мало ли чего не было в его жизни? И утекло.

Отвечает он негромко, ровно.

— Не нахожу в себе способностей. Да и желания. Плохой бы я был архиерей. Вы меня знаете. Вот, службы в церкви, книги, рукописи, это мое, а управление епархией — другое. И молод я тогда был для епископа.

— Слышал я, что Первосвятитель наш и здесь предлагал вам митру?

— Совершенно верно.

Савватий замолчал. «Хоть и не так молод теперь, а отказался. Отец архимандрит упорен, его с места не сдвинешь. Что решил, то и сделает, — подумал Савватий. — А может, и гордыня какая...» Но осуждения в том не было. «Все — люди, все — человеки. У каждого свое».

— А вот я, грешный, не отказываюсь. Из Византии вести хорошие. Но не торопятся.

— Я очень рад буду. Вы отличным будете епископом, у вас и опыт, и жизненность и вы достаточно потрудились для действия церковного. Всячески вам желаю успеха и здравия на более обширном поприще.

Андроник встал во весь огромный свой рост и показался уж особенно худым и длинным. Подошел к уголку комнаты, достал бутылку, из кухоньки принес две посеребренных чарочки.

— Хочу приветствовать вас сливовицей, только что из Сербии прислали.

Савватий разгладил бороду.

— Весьма признателен. Вино веселит сердце человека, по слову Псалмопевца. Не упиваясь им, разумеется. Да, у вас все особенное. И чарочки эти даже.

Они чокнулись — за здравие будущего епископа Савватия.

— Здравие, здравие...— задумчиво сказал Андроник.— Великая вещь. И преходящая, как и многое. Вот, я натолкнулся нынче у Державина...

— Оду «Бог» с юности моей знаю. Великой силы творение.

— Да, конечно. Но я не о ней говорю. Незадолго до кончины написал он иное. Быть может, в минуту тоски... Вот... хотите прочту?

— Прошу усердно.

Андроник вытянулся в кресле, слегка закинул назад голову. Руку с длинными, изящными пальцами положил на колени. Чуть прикрыл огромные глаза.

Река времен в своем стремленье
Уносит все дела людей,
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается,
Чрез звуки лиры иль трубы,
То́ вечности жерлом пожрется,
И не уйдет своей судьбы.

Савватий не сразу отозвался. Потом вздохнул, поправил наперсный крест — в движении этом была спокойная, непобедимая сила, как бы исходящая из самого креста.

— Написано знатно, дорогой авва, но не христианского духа. Господь больше и выше этого жерла. У Него ничто не пропадает. Все достойное живет в вечности этой.

— Верно, верно...— Андроник совсем раскрыл свои огромные глаза и глядел ими на Савватия как бы потусторонне.— Я ведь и сказал: в томленье написано, в тяжкую минуту. А ведь натура наша не ангельская. Не совсем светские поэты, но и святые испытывали минуты Богооставленности. Думаю, автор «Бога» и написал это в такую минуту. Да ведь и накануне смерти.

— Очевидно, дорогой отец архимандрит, очевидно.

Потом прибавил вдруг:

— Кончину же да встретим в тишине, покорности.

Разговор перешел на другое — на церковные дела, приближающийся съезд.

— Вот и каникулы близятся,— сказал о. Савватий.— Видимо, вы в одиночестве будете принимать инославных. Я же приглашен на некий летний отдых в семью состоятельного прихожанина, в окрестностях града сего.

Через полчаса, уходя уже, архимандрит Савватий вдруг рассмеялся.

— Беседовали мы и о значительном, и о нашем житейском, а мне сейчас, неведомо почему вспомнился мелкий случай из довольно давних лет. Представьте себе, дорогой авва, при пострижении в монашество мне чуть было не дали престранное и неблагозвучное имя: Кукша. Вообразите себе! Был, действительно, такой святой, если память не изменяет, просветитель зырян. Великих подвигов, конечно, муж, но представьте себе... я — Кукша! Слава Господу, в последнюю минуту Владыка Иннокентий отстоял. Савватий — это благолепно. Зосима и Савватий Соловецкие. Но Кукша!

И архимандрит Савватий вновь засмеялся, заколыхалась вся его могучая грудь. Андроник тоже улыбнулся. Да, епископ Кукша! «Ça sonne bien», — подумал почему-то по-французски и взглянул на портрет Леона Блуа на стенке.

Когда Савватий ушел, архимандрит Андроник опять улыбнулся, несколько и с грустью. «Ведь придет же в голову такое имя для монаха. А все-таки... в нем есть нечто и лесное, первобытное, в нашем Савватии Соловецком. Может, и правда от Кукши». Потом мысли его вновь перешли на Державина. «Кукша этот, конечно, прав. Чужда вере нашей безнадежность стихов этих. Радость, радость! Но горестности разве мало? И как бежать от нее? А надо. Ему, седовласому, легче. Он весь отлит цельно. Вряд ли знает тоску».

На ночь полураздевшись, опускаясь на колени, архимандрит всегда молился. Поминал ушедших, живых любимых, и о себе молился, о многим запутанной душе своей... стать бы детским, бездумным, ясным! И с Иисусовой молитвой на устах заснул, наконец. Но спал, как всегда, плохо. То боли какие-то в желудке, то тоска, прежняя жизнь, тяжко дающееся монашество.

Утром он обычно чувствовал себя неважно.

* * *

Лето подвигалось дальше. Каштаны зеленели вокруг Андроника, но стали появляться листья и коричневатые, сухие, скромно кружась, падали на землю.

Лекций уже не было. Почти все разъехались или разбрелись на летний отдых — и студенты, и профессора. Прежде уезжал и Андроник, любил соборы средневековья, музеи, заезжал в соседние страны. Последнее же время как-то осел в домике своем. «Сторожевой пес монастырский,— говорил о себе.— И садовник». Действительно, занимался цветами особенно. Раздобыл редких роз, тюльпанов разных, вскопал землю, насадил всякого добра цветочного. Обложил клумбы камешками, в жаркие дни начала июля выходил с лейкою от своих Патрологий, в облегченном костюме (рейтузы времен войны, домонашеские — жердеобразными казались в них длинные его ноги) — неустанно поливал свой уголок.

«Монашествующему весьма прилично цветоводство»,— говорил архимандрит Савватий, благосклонно бороду поглаживая. Но сам этим не занимался. Пока еще не покидал надолго зеленой горки, но нередко ездил в гости «неподалеку, к усердному прихожанину». И по тону его при возвращении садовод мог судить, как его принимали. Если угощали хорошо, возвращался благодушный. Одобрял Андроника за садик.

— Пышно разрастаются насаждения ваши, дорогой отец

архимандрит. Цветы — Божие детища. «Посмотрите на лилии...» Как в Евангелии-то сказано? Великая красота мира сего преходящего.

Но однажды Андроник зашел к нему как раз, когда он вернулся от прихожанки какой-то, пригласившей его к себе. Он был не в духе. Ни о лилиях, ни о царе Соломоне речи не было, он даже довольно рассеянно взглянул на соседа, принесшего ему новый номер церковного журнала. Наскоро поздоровался, прошел к себе в кухоньку.

— Прошу прощения, отец архимандрит, по слабости человеческой поискать должен, не осталось ли чего из снеди. Оскудела вера православная. Вообразите, приглашен был в небедный дом, даже весьма зажиточный, не столь от нас близкий, к лицам значительным...— и вместо обеда или закуски хотя бы — пустой чай с крендельками!

Но через несколько минут вышел уже более спокойный, жуя что-то.

— Слава Создателю, и дома оказалось чем подкрепиться. Пирожки с рыбой хоть и вчерашние, но довольно-таки знатные. Приношение благочестивой старушки. Вот, не угодно ли вкусить...

И подал на тарелке Андронику изделия боголюбивой старушки.

— Весьма признателен, но не могу. Аппетита нет.

— От чрезмерных умственных трудов. А питаться вам, авва премудрый, следует. Ума палата, а физикой вы против меня не вышли.

Он засмеялся.

— Впрочем, я поповской породы, крепкий. А вы барственной и ученой. Ведь ваш батюшка профессор были?

— Так точно, отец архимандрит.

О. Савватий, поев, несколько оживился.

— А вы знаете, какую я митру присмотрел... и не весьма дорогую. Она, конечно, весьма подобна архимандричьей, но моя уже не без древности. Панагия же мне уже обещана одним лицом немаловажным. По последним письмам видно, что хиротония совершится ранней осенью, но не здесь, а на юге, где Первосвятитель наш будет отдыхать у моря.

И как бы то ни было, мелкие ли, не мелкие дела монастыря совершались, время съезда близилось. В соседних отельчиках появились иностранные головы, высокие воротнички из-под черного протестантов, сутаны ученых из Бельгии, спокойные лица англичан.

Как всегда был молебен, торжественное открытие. Савва-

тий передал все в руки Андроника, сам уехал в более долгий отпуск.

— Трудно мне, многолюбезный авва, и по незнанию языков, и по непривычке, иметь дело с инославными. При том вполне на вас полагаюсь, зная усердие ваше и ясный ум.

Андроник кланялся и благодарил. Да, конечно, Савватий для такого дела неподходящ.

Но немало — и приятно — был удивлен, узнав, что Первосвятитель, еще не уехавший на юг, намерен посетить съезд.

Митрополит Иоанникий был родом из северо-восточной Руси, из семьи скромного священника, лицом прост и некрасив. Некогда был миссионером, посещал инородцев. Ученостью не отличался, но всем видом своим, худенький, невыигрышный, с несколько гнусавым голосом — простотой и легкостью являл облик древней православной Руси, даже вроде иконы. Жизни был высокоаскетической, веры незыблемой. И незыблемой доброты. (Иногда близкие отбирали у него его же собственные деньги, чтобы хоть что-нибудь сохранить ему же: а то все раздаст.)

Раньше он никогда на таких съездах не бывал. Как и Савватий, иностранных языков не знал, с инославными христианами общения не имел и можно было даже думать, что к «затее» Андроника относился прохладно. (Но Андроника самого ценил, он-то и предлагал ему уже здесь епископство.)

День выбрал заранее, Андроника известили и о часе, и к тому времени, в перерыве между докладами наверху, у дома Андроника ждала его уже группа — православные возглавлялись Андроником, католики и протестанты с любопытством смотрели вниз, на пологую лесенку-тропинку под зеленым осенением каштанов. Довольно точно по времени у входной сторожки с образом Святого появилась небольшая группа: прибыл митрополит. Белый клобук издали завиднелся над худеньким полудетским телом в черной простой рясе. Митрополит расправлял, поглаживал серо-рыжеватые усы, каким-то робким жестом, будто говорил: «Ничего, что я митрополит. Я такой же русский человек Вятской губернии, как и другие, столь же грешен и подвержен смерти, как и все».

Его сопровождали кое-кто из духовенства, будто старались поддержать при подъеме на горку, но он легко, как-то невесомо взлетал, будто земля и не очень притягивала его. «Вот, восходит,— думал Андроник,— а ведь сердце у него слабое, недавно был обморок». И действительно, человек этот, со слабым сердцем, питавшийся больше чаем да сухариками, почти птичьим полетом возносился кверху. Аббаты и пасторы с любопытством смотрели на него.

Архимандрит Андроник выступил вперед, для встречи. Встречу вызванивал и монастырский колокол, довольно скромный.

Митрополит улыбнулся, погладил пышные свои усы, слегка кошачьи, обнял Андроника.

— Рад видеть, рад цветению наук под сению Преподобного,— произнес довольно пронзительно носовым голосом.

И троекратно облобызал архимандрита, приветливо поклонился иностранцам.

— Рад видеть и инославных у врат нашей обители,— ласково сказал по-русски. Андроник повторил по-французски. Инославные вежливо поклонились.

И тут произошло нечто небывалое. Молодой аббат, особенно внимательно, как бы с волнением всматривавшийся в еще приближавшегося снизу митрополита, вдруг теперь отделился от своей группы, подошел к нему, упал на колени и в ноги ему поклонился — прямо лбом бухнул в землю.

Митрополит быстро схватил его, Андроник поднял.

— Господь вас храни... что же это так мне. Зачем, зачем...

Митрополит явно смутился. Андроник был бледен, аббат тоже. Митрополит трижды его облобызал.

— Привстствую дорогого гостя, приветствую,— пролепетал гугниво, сам не зная, что делать дальше.

Но обошлось все правильно: гурьбой направились в аудиторию, митрополит занял председательское место, поправлял белый свой клобук, выравнивал наперсный крест и панагию на груди, усы выглаживал. Андроник же начал собрание, в котором митрополит Иоанникий не понимал ни слова, но выслушал, что полагается, покорно.

* * *

Вечером того же дня в комнате у Андроника сидел англичанин, католический богослов, читавший утром доклад. Он был тоже высок ростом, строен, не стар и спокоен. «Вековая культура»,— думал Андроник, наливая ему чашечку своего турецкого кофе.

Взглянув на Леона Блуа, богослов сказал:

— Вы поклонник его?

— Почему вы думаете?

Англичанин прихлебнул кофе.

— Мне так кажется. Вы вот и русский ученый, а вам близок этот трудный французский человек. Иначе вряд ли вы повесили бы рядом с иконами портрет его.

Андроник серьезно на него посмотрел.

— Вы угадали. Мне нравится его тяжелая и одинокая жизнь, его дар писательский, такой особенный. Его отверженность. Хоть и католик... Но по-моему, простите, мало подходил к тогдашнему католицизму.

— Да, конечно. Это и есть слабое место католицизма. Надо быть шире и больше вмещать.

Архимандрит Андроник помолчал. Потом вдруг сказал:

— Я хоть и русский, и для вас скиф, несколько и анархист...

— Я вовсе этого не говорю.

— Ну, другие. И в чем-то они правы. Но, может быть, потому, что во мне и германская кровь, не то что одна знаменитая âme slave[1]... ну, так вот, несмотря на то, что весьма преклоняюсь перед Леоном Блуа, ссорившимся постоянно со своей собственной церковью... впрочем, он, кажется, и со всеми вообще ссорился... Несмотря на все это я именно ценю силу, порядок и дисциплину католицизма. Единство его, крепость... то, чего у нас, православных, как раз мало.

Богослов не сразу ответил.

— Да, единство и сила у нас есть, конечно. Больше чем у вас. Многие есть у нас. И папа, и кардиналы, и ученые, и миссионеры...— но вот *такого,* как сегодня...

Он остановился. Продолжал потом в задумчивости:

— В белом клобуке... такого у нас нет.

У Андроника несколько перехватило дыхание. Гость молчал. Потом повторил негромко:

— Да, такого, к сожалению, нет.

— Но у вас есть тот, кто поклонился ему в ноги.

Богослов неожиданно перекрестился.

— Слава Богу, есть и у нас живые души.

Через несколько минут, в зеленоватом полумраке, он поднялся.

— Мне пора. Позвольте поблагодарить вас.

Архимандрит встал тоже. Лицо его нервно вздрагивало. Не сговариваясь, братски поцеловали они друг друга.

* * *

Приближался день отъезда архимандрита Савватия на юг. Митрополит уже довольно давно жил там, в приморском городе. Хотя считался на отдыхе, но служил иногда в соборе, худенькая его фигура появлялась на амвоне с крестом. Пронзительным своим голосом, некрасивым, но трогательным в беззащитности,

---

[1] славянская душа *(фр.).*

благословлял приморских старушек и бывших белых воинов. Но уже скоро надо было возвращаться. Савватий знал это и торопился с отъездом — задерживали разные хозяйственные мелочи и подробности облачения.

Накануне его отъезда архимандрит под вечер зашел в храм — службы не было, он хотел повидать кое-кого и в левую дверь выйти в библиотеку. Был с утра в нервно-подавленном духе — это у него случалось.

В глубине церкви стояли ширмочки, над ними слегка виднелась сребро-белеющая голова Савватия. Он исповедывал. Невидимый грешник бормотал что-то. Когда Андроник проходил мимо, знакомый баритон серебряной головы произнес громко и раздельно:

— А велика ли была сумма?

Грешник невнятно залепетал.

Андроник содрогнулся: «Ну вот, опять...» Он отлично знал, что больше всего уязвимы кающиеся по «не прелюбы сотвори» и по «не укради», но сегодня раздражило особенно это плебейское «велика ли была сумма». «Наверно, растратил в Благотворительном Обществе или в Союзе» — и вовсе не сердился на грешника, но задела убогая будничность жизни, даже самого Савватия. «Велика ли была сумма!» Если не велика, так еще ничего, а то уж совсем скверно. «Да, жизнь... это вот именно "жизнь как она есть", без наших романтических и поэтических прикрас». И стоя в библиотеке, ища справку о Григории Нисском, не без горечи думал он о том, о чем не раз думал. «Какой я монах? Сам-то? Нервная баба...»

Вечером он зашел к архимандриту Савватию попрощаться — тот завтра уезжал. Теперь оканчивал укладывание, был сдержанно возбужден, краснота лица особенно выделяла серебро его волос. На столе стоял самоварчик («дар благочестивой прихожанки»), недопитóй стакан чаю. Чемоданы уложены, в особой картонке ехала митра — с ней архимандрит никак не мог расстаться, не архимандричья, а будущая епископская.

— Рад видеть дорогого соседа,— сказал он.— Перед отплытием, так сказать, в дальнее странствие.

— И я рад пожелать вам доброго пути и всяких благ.

— Недостоин награждения, посланного Господом, и не скрою, что не могу быть спокойным. Не могу. Чайку стаканчик? Еще не остыл. Утéшите меня.

Но Андроник не утешил. Не хочется ему чаю, он зашел просто попрощаться, пожелать благополучия.

— Сердечно признателен, сердечно.

Архимандрит недолго посидел у Савватия. На прощание

облобызались, он ушел. Савватий довязывал последние пустячки.

Андроник поднялся к себе. В комнате было полутемно. Лампадка в углу пред иконою Богоматери не могла осветить ни Филарета, ни Александра I, ни Константина Леонтьева. Пахло сладковато и ладаном — было довольно душно.

Архимандрит отворил окно, сел около него. Длинные худые руки его лежали на коленях бездвижно. Все говорило об усталости, оцепенении — обычный приступ уныния. «Что я, собственно, такое делаю, чтобы уставать? Григорий Нисский, томы Миня... Да, все это надо, и без этого совсем уж... ах, жизнь моя не то, не то»... Он бы не мог сказать, что́ именно должна быть его жизнь. «Председатель общества пессимистов» — в монашеской одежде! (И все-таки, когда он исповедывал и говорил, наедине, пред Евангелием и крестом, глаза его сияли тем особенным светом, которого он хотел бы и для себя самого.) Но потом начинались будни и серость.

Он положил голову и руки на подоконник, лбом к нему приник.

— Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!

К Иисусовой молитве, многократной, прибегал нередко, особенно когда бывало плохо. Тогда как бы отходила действительность, окружающее, «велика ли была сумма?» — погружался он в стихию иную. Это облегчало.

Несколько минут так прошло. Потом он поднял голову. Высоко над ним, в просвете каштанов, сияла альфа Капеллы. «Да, скоро осень, и Сириус появится, и Орион». Звезды он любил. Они действовали на него успокоительно. «Все пройдет, и меня скоро не будет на земле, но Господь, мир, звезды, и еще какой-то мир, неведомый нам, пребывает и пребудет».

Окно Савватия светилось еще. Андроник улыбнулся. «И он пребудет. В вечности. Кряж, древо прямое, корни в земле глубоко, но пребудет. И на земле долго ему жить. Старше меня, а надо мной будет Евангелие читать, когда я вот тут вытянусь навсегда».

* * *

Савватий уехал, архимандрит остался один. Один со своим Леонтьевым, Александром Первым и Григорием Нисским. Писал много писем богословам иностранным. Сняв рясу, в военных своих рейтузах времен белого движения, мало походя на архимандрита, поливал цветы. Иногда заходил в сторожку, вниз к Леониду Иванычу — привратнику, живущему в домике, на

наружной стене которого, лицом к улице и входу, вделана была икона Преподобного, под стеклом. Смиренный Преподобный как бы осенял жилище Леонида Иваныча, бывшего некогда юристом, ныне скромного невысокого человека, не быстрого в движениях, тихого в разговоре — никак нельзя было представить себе, что Леонид Иваныч этот, с высшим образованием, служил в Петербурге не привратником, а по судебному ведомству. Нынче же молчаливо охранял обитель Преподобного, убирал комнаты архимандрита Савватия, подавал чай на подносе в заседаниях Совета Академии.

Этот Леонид Иваныч оказывался теперь чуть не единственным, с кем Андроник мог общаться.

— Скучаете, отец архимандрит, все один да один с книгами своими...— говорил Леонид Иваныч, подавая ему чашку чаю (у него Андроник даже чай пил довольно охотно, хотя вообще признавал только крепкий кофе).— Вон все на отдых разъехались, а вы хоть бы куда...

— Никуда и не хочется, Леонид Иваныч. Да и здоровье неважно — то в сердце боли, то в желудке.

— Да, вот архимандрит Савватий покрепче будет. Теперь на юг уехал, архиереем приедет, наверно, еще приободрится.

— Наверно. Он всех нас переживет, хоть и всех старше.

— Этого никто не знает, отец архимандрит. Кому какой конец назначен и когда — воля Божия. А наше дело — жить, кто как умеет. Получше, то есть, поблагообразнее.

— Правильно. Все правильно.

— Знаете, как Апостол сказал: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите».

Андроник вздохнул.

— Как не знать: Павла к фессалоникийцам. Я сам эти слова люблю. И вот самое трудное, по-моему: «всегда радуйтесь». Молиться нетрудно и благодарным быть нетрудно, а радоваться... как заставить себя радоваться?

Леонид Иваныч помолчал, потом сказал робко:

— Может, это через смирение дается?

И окончательно заробел (куда уж ему, бывшему человеку, сторожу, учить ученого архимандрита!)

Но Андроник ласково взглянул на него, прекрасные глаза его посветлели.

— Верно, верно...— но смирение — дар, великий дар, не всякому дается. Стремиться надо, да как у кого выходит. Вот вы смиренный. Это Божия отметка. Избранности.

— Что вы, что вы, отец архимандрит, какая у меня избранность...

Возвращаясь к себе, Андроник зашел к своим розам и тюльпанам. Но не поливал их, а сел на скамеечку, опустил голову. «Леонид Иваныч все потерял, жену, детей, родину, и из юриста обратился в привратника, а у него есть смирение, уныния же нет. А у меня, хоть я и монах, и доктор богословия и архимандрит, смирения как раз мало».

И он стал творить Иисусову молитву. Потом поднялся в свою комнату и отворил окно. По-прежнему недостижимые как Вечность сияли над ним звезды. Он вздохнул, почувствовал особый прилив в душе, как бы смывающий и подымающий. Положил голову на подоконник, и вдруг почувствовал волну радости, и умиления. В горле стояли слезы. «Благодарю Тебя, Создатель, за всю милость Твою ко мне, грешному». Он показался себе теперь совсем другим, почти ребенком.

* * *

Бывший архимандрит Савватий, наконец, вернулся — теперь не архимандритом, а епископом. Бодр, свеж, от него исходило неудержимое архиерейское сияние. Скрыть его он не мог. «Лобызаше» не только соседа Андроника, не только Леонида Иваныча, он как бы готов был обнять и расцеловать любого иностранного человека, проходящего по тротуару близ монастыря.

— Чин хиротонии протекал благолепно,— рассказывал он Андронику, попивая у себя чай с блюдечка — кончики серебряных усов слегка орошались.— Вообразите, отец архимандрит, Собор там знатный, еще императорских времен, хор для провинции превосходный. Епископы съехались, стечение православных большое, храм переполнен. Первосвятитель наш, знаете, он не Иоанн Златоуст и голос с гугнивцей, но преисполнен святости и мира, столь просто и прочувственно сказал, благословляя меня на новое поприще, обширнее прежнего, что, уверяю вас, у многих на глазах слезы были, особенно у лиц женского пола. Да я и сам, отнюдь не женщина...— Савватий весело улыбнулся,— я сам готов был прослезиться. И по правде сказать: волновался. Знаете, сердце так и колотилось...

— Я уж буду звать вас теперь «Ваше Преосвященство»,— сказал Андроник, улыбнувшись.— До вас теперь и рукой не достать.

Савватий благодушно рассмеялся.

— Что вы, что вы, дорогой отец архимандрит! Годы жили бок ó бок, дружественно, никогда размолвки ни малейшей, и вдруг... Нет, я для вас всегда пóпросту отец Савватий.

Допив чашку свою, он обтер усы епископским уже платочком, поглядел направо, где на особом столике, покрытом темным бархатом, стояла новая его епископская митра.

— Благослови Боже на более высоком посту стоять прямо и твердо перед Господом,— сказал он вдруг несколько по-иному, почти торжественно.

Андроник склонил голову. «Вот и митрой доволен, благодушествует, а есть в нем и настоящее, непоколебимое»...

Переходя от его дома к своему, под теми же все каштанами — вершины их слабо зашуршали под налетевшим ветерком — Андроник думал о том, как все сложно, запутано и двойственно в человеке. «Да, может быть, в каждом из нас сидит два, или больше, человека. Иногда они живут мирно, а то вдруг ссорятся, противоречат друг другу. Все-таки, у этого coeur simple[1] есть что-то основное, простецкое и сильное — и вера его проста, незыблема. Дай Бог здравствовать ему. Меня он переживет на много».

* * *

Неделю спустя, около полуночи, когда архимандрит лег уже в постель, ожидая полубессонной ночи, в дверь к нему постучали.

— Кто там? (Голос у него был недовольный.)

— Отворите, отец архимандрит. Это я.

В полусвете лампады перед образом в углу, длинный и худой Андроник поднялся, отворил дверь, увидел Леонида Иваныча.

— Отец архимандрит, пожалуйте к Преосвященному.

У Андроника забилось сердце. Леонид Иваныч был какой-то другой. Что изменилось в нем, не сразу можно было определить, но изменилось.

— Владыка заболели.

— Что с ним?

— Не знаю,— пролепетал Леонид Иваныч.— Не то с сердцем, не то еще что... они ничего сказать не могут.

Андроник быстро накинул подрясник, перебежал тропинку, всё под теми же каштанами (но теперь казались они ему совсем другими, как и мрак этой одинокой ночи).

— Я у них нынче долго убирал в комнатах,— где-то сбоку говорил Леонид Иваныч, и его голос казался Андронику немногим громче шелеста листьев вверху, где каштаны ограждали архимандрита и привратника от звездного бездонного неба.—

---

[1] простого сердца *(фр.)*.

Владыка вдруг плохо себя... почувствовал, застонал, только успел лечь...

Войдя, Андроник включил свет ярче. Владыка Савватий лежал на спине, ничего владычного не было в этом крупном теле с серебряною бородой.

Он дышал, все-таки, но тяжко и прерывисто. Если бы Андроник мог видеть сейчас свое лицо в зеркале, на него смотрели бы два огромных глаза на очень бледном лице.

— Звоните сейчас же доктору,— сказал он Леониду Иванычу.

Тот ушел.

Андроник остался. Взял руку Савватия. Пульс был еще, но очень слабый и неровный, нитеобразный. Да, вот оно, вот через что всем проходить. Глаза Савватия были закрыты, но лицо спокойно. «Епископ Савватий... переходит через реку». Архимандрит вздохнул, привычным жестом оправил низ рясы, чтобы не зацепиться, привычно вытянул вперед и вниз руки, и легко, согнувшись вдвое, прочертив головой нисходящую кривую, опустился на колени, лбом приложился к полу у изголовья серебряного Владыки.

В монастыре уже засуетились. Кой-где в саду замелькали тени, кто-то входил, выходил из квартиры Савватия. Дежурный врач прибыл довольно скоро, со вспрыскиванием своим. Пульс немного поднялся, но к утру все уже было кончено.

Теперь квартира была полна: студенты, заспанные профессора, священники.

Андроник и Леонид Иваныч долго, тщательно облачали Савватия. Андроник все делал как будто спокойно, молчаливо, лишь изредка негромко говорил Леониду Иванычу: «Выше... переверните побольше. Рука застряла». Преосвященный Савватий был нем, бездвижен. С ним что угодно можно было делать.

Когда совсем рассвело, Андроник сказал молодому священнику, кратко и как бы начальственно:

— Евангелие. Первым читать буду я.

Позже главу укрыли черным крепом и лицо Савватия отгородилось. Нельзя было уже более увидеть его. Не был он более ни архимандритом, ни епископом. Мерно и торжественно читал над ним Андроник неиссякаемую книгу.

Потом передал ее молодому священнику. Да и другие были извещены, из иных церквей города приехали.

Архимандрит Андроник ушел к себе. Заснуть не мог, но лежал на нехитром своем ложе — здесь вдруг стал слаб, совсем не начальствен, так устал, так устал.

«Митра его все стоит там на столике, на него смотрит». Потом вдруг что-то детское, нежное, из давних времен проплыло

в душе — мать обнимает после выздоровления от кори. «Милая, милая...» И опять залила нежность, до слез. «Ну, скоро теперь и мне, к ней, к маме». Через несколько минут другое: «А все-таки я ошибся. Он обогнал». Но почудилось, что странная связь соединяет его с этим Савватием. «Удивительно, разве были мы так уже близки?» Но тонкая, не рвущаяся нить все же существовала.

Весь этот день был Андроник в тумане. Несколько раз заходил к Савватию, вновь над ним читал. Теперь, днем, его иной раз раздражала суета вокруг, приготовление, хозяйство смерти. Не нравились любопытные, их всегда привлекает кончина.

Раз донесся до него из другой комнаты негромкий, все же голос: «Да, вот, воля Божия, как хотел епископства, а всего неделю и пробыл»...— Андроник поднялся и в дверях сказал, ни к кому не обращаясь, почти грозно:

— Прошу потише, здесь покойник.

Всю ночь ворочался он у себя на постели. Вставал, ложился, опять вставал, сидел на постели. В окно, через дорожку, виден был огонек в комнате Савватия. Начинало светать. Архимандрит решительно поднялся, надел рясу, умылся, причесал голову и бороду и неторопливо направился к Савватию. Был он теперь как-то собран, спокоен, точно тоже перешел грань. Становилось совсем светло. Когда он вошел в комнату Савватия, тот самый молодой священник, который прошлым утром принес ему Евангелие, читал усталым, тихим голосом. Савватий все такой же был бездвижный. Черный креп по-прежнему закрывал ему лицо. Он окончательно переправился.

Андроник молча взял у истомленного чтеца книгу. Хотя в комнате было почти светло, на столе горела еще лампа.

Он начал читать. Солнце подымалось выше, золото лучей пало на золото митры. Андроник был спокоен и далек. В нем звучал как бы некий и не его голос. Чем дальше, тем торжественней он становился. И все торжественнее золотили солнечные лучи скромные стены и скромные предметы комнаты. Андроник выключил лампу.

Он читал уже часа полтора. Вновь во дворе монастыря, перед храмом и у входа в помещение Савватия появились насельники. По дорожке снизу поднимался румяный, крепкий священник, совсем еще не старый. Он вошел в комнату, перекрестился, земно поклонился Савватию.

«Вот наступает час,— читал Андроник,— и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною. Сие сказал Я вам,

чтобы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь: но мужайтесь; Я победил мир».

— Дозвольте, отец архимандрит, сменить вас. Я из провинции. Знал еще при жизни и почитал покойного.

Андроник поднял на него невидящие глаза.

— Да, пожалуйста. Разумеется, читайте.

Ему показалось, что это другой голос, не его. Через минуту еще иной, уже спокойный и ровный читал:

«Отче! пришел час; прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя».

Париж, 1964 г.

ДНЕВНИК
ПИСАТЕЛЯ

СЛОВО О РОДИНЕ

В России мы некогда жили, дышали ее воздухом, любовались полями, лесами, водами, чувствовали себя в *своем* народе — нечесаный, сермяжный мужик был все-таки чем-то *родной,* как и интеллигент российский — врач, учитель, инженер. Жили и полагали: все это естественно, так и надо, есть Россия, была и будет, это наш дом, и особенно с ним мудрить не приходится.

Никак нельзя сказать, чтобы у нас, у просвещенного слоя, *воспитывалось* тогда чувство России. Скорей считалось оно не вполне уместным.

Нам всегда ставили в пример Запад. Мы читали и знали о Западе больше, чем о России, и относились к нему почтительнее. К России же так себе, запанибрата. Мы Россию даже мало знали. Многие из нас так и не побывали в Киеве, не видали Кавказа, Урала, Сибири. Случалось, лучше знали древности, музеи Рима, Флоренции, чем Московский Кремль.

С тех пор точно бы целый век прошел. Из хозяев великой страны, перед которой заискивал Запад, мы обратились в изгнанников, странников, нежелательных, нелюбимых. Не приходится распространяться. Все тут ясно.

В нелегких условиях, причудливо, получудесно, все-таки мы живем. И не намерены даже сдаваться. Нищи ли мы внутренно? Вот это вопрос. И ответ на него *мой:* нет. Не нищи те, у кого есть святыня. Святыни бывают различные, и различна их иерархия. Среди них бесспорное место, высокое, прочное: Родина. Именно вот о ней сейчас несколько слов.

Одно дело — воспринимать изнутри. Другое — со стороны. Судьба поставила нас теперь именно как бы в сторонку, отобрав почти все. Что же, может быть, в таком облегченном виде зрение и верней.

Многое видишь теперь о Родине по-иному. Находясь в стране старой и прочной культуры, ясней чувствуешь, например, что

не так молода, не безродна и наша Россия. Когда жили в самой России, средь повседневности, деревянных изб, проселочных дорог, неисторического пейзажа, менее это замечали. Издали избы, бани, заборы не видны (хоть и вошли, разумеется, в изображение России). Но зато чище общий тысячелетний облик Родины. Сильней ощущаешь связь истории, связь поколений и строительства, и внутреннее их духовное, ярко светящееся, отливающее разными оттенками, но в существе своем все то же, лишь вековым путем движущееся: свое, родное.

Нынешний, 1938 год для России в некотором смысле юбилейный, он уже назван Владимировским: девятьсот пятьдесят лет крещения Руси.

Владимир «Красное Солнышко»...— связывается с ним и школьное, и сказочное, поэтически легендарное, но это ведь и совсем уж История — началась тут большая, настоящая История России — под солнечным светилом, при солнце! Каков был в действительности этот Владимир, через толщу веков сказать трудно, а вот сияние его, светоносность осталась же, запомнилась. При свете принято христианство и введена Родина из местного во вселенское. Это создало неповторимые явления не только в религиозном, но и во всем творчестве русском. Местное оплодотворено вселенским, но не теряет своеобразия. Зодчие возводят храмы св. Софии в Киеве и Новгороде, позже во Владимире, Пскове, Новгородской области, в самой Москве — византийское сочеталось со славянским. Иконописцы расписывают фресками храмы, те же древние киевские и новгородские святыни, и другие — Успенский собор в Москве, северные Ферапонтовы, Кирилло-Белозерские монастыри. Являются творения и личные — мастеров Дионисия, Андрея Рублева, не говоря уже о живописи тех, чьи имена не сохранились. Русская иконопись ныне справедливо прославлена.

Если взять область звука, то поражаешься древности и возвышенному величию музыки в России. Когда русский духовный хор исполняет на концерте в Париже, например, «Покой, Спасе...» знаменитого распева, то ведь перед иностранцем открывается мир новый, а у русского холодок по спине: подумать только, эти и подобные им вещи сочинялись *около тысячи лет назад*. Напевы, величественные в суровой своей чистоте и неизукрашенности, написаны «знаменем», т. е. как бы иероглифами, еще нот теперешних не было, звуки изображались рисуночками. И творения эти, несмотря на татарщину, разгромившую Киев, прошли через всю Россию, вошли в церковный обиход не только среднерусских областей, но и Севера: Валаамского монастыря, Соловецкого, всюду принимая местные, своеобразные черты.

Разве не может не волновать, что в какой-нибудь обители св. Трифона Печенгского, на берегу Ледовитого океана, где монахи живут полгода при незаходящем солнце, полгода в непрерывной тьме, во времена Иоанна Грозного уже пели древние знаменные распевы, прикочевавшие с юга? А царь Федор Иоаннович — музыкант и композитор знаменных распевов.

Молодая страна! Молодая культура! Мы не только славяне и татары, мы наследники Византии, Родина наша была и есть гигантский котел, столетиями вываривавший из смесей племен и рас нечто *совсем свое* и *совсем особенное.*

Азия затопила наше средневековье, но вот уцелели и древнее зодчество, и иконопись, и музыка — все перекинулось на север, более пощаженный. Уцелел и таинственный обломок поэзии — ему 750 лет — «Слово о полку Игореве» — настоящий талисман литературы русской, до конца XVIII века потаенно укрывавшийся в *единственном* списке XVI века! А теперь «Слово» переведено на многие языки (только что вышел новый, отличный перевод его и на французский). Вызывает оно у иностранцев по-прежнему изумление: как это в России XII века мог существовать такой поэт.

Вот и существовал, как бы скальд наших князей, может быть, и не один такой существовал: но лишь один дошел до нас.

Долги, сложны пути русского творчества — через подвиги наших святых, основателей монастырей и просветителей полудиких племен, через зодчих, музыкантов, иконописцев, народную песнь и былину, через созерцания заволжских старцев, позже — трагедию петровского разрыва — созидания — через все многовековое странствие выходит творящий дух Родины в эпоху, для нас уже не легендарную, а совсем как бы живую и настоящую,— девятнадцатый век.

Разумеется, живя у себя дома, в прежней, мирной России, мы сызмальства питались Пушкиными и Гоголями, отрочество наше озарял Тургенев, юность Лев Толстой, позже пришел Чехов. Мы выросли во мнении, что литература наша очень хороша, но она — продолжение всего нашего склада, наших имений, троек, охот — своя, домашняя, так и должно быть, в родном доме должно быть тепло, светло, радостно. Ну, много еще «неустроенного» и «темного» в стране, но все же ничего удивительного, что у нас Толстые и Достоевские, как не удивительно для ребенка, возрастающего в любящей семье, и семье им любимой, что мать, отец кажутся существами вообще лучшими, не сравнимыми ни с кем, и главное: так и надо, иначе

быть не может. Вероятно, это — настроение неосознанной любви к себе, продолжение вовне этой любви: *у меня* должна быть такая семья, такой дом.

Но вот нечто произошло катастрофическое. Как, почему, какова цель, не об этом сейчас речь. Важно то, что изменилось положение «сына Родины» — он попал из хозяев в созерцатели. И тут оказывается, что высшее цветение культуры русской, девятнадцатый век, воспринимает он тоже не совсем так, как раньше.

Древняя наша духовная культура с чужбины кажется и величественней, и значительней, и старше. Но не только древняя. И на девятнадцатый, золотой век российской литературы (и замечательный век музыки) — другой угол зрения. Пушкины и Толстые не только очаровательное наше домашнее, отцы и деды, земляки по московским, тульским губерниям, вспоившие и вскормившие нашу юность как добрые божества *дома* (домашние лары). Они в действительности-то гораздо больше. Во всеобщее вносят они русское и в русском выражают всеобщее. Не напрасно самый жизнелюбивый, самый «ренессансный» из них сказал о себе:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Если Пушкин, то что же Гоголь, Достоевский, Толстой, Тургенев, Чехов... Мимо каких это «падших» прошли они равнодушно и какую «милость» могли отвергнуть? Нет, разумеется, из «прохладного» Запада, на фоне его крепко, иной раз жестко очерченного духовного пейзажа — пейзаж русской литературы выступает особенно душевней и трогательней. Человечнейший и христианнейший из всех... а где корни этого? Одно можно сказать: девятнадцатый русский век, со всей славой его, создан сынами тысячелетней России. Это ярчайший ее плод, и никак не скажешь, чтобы мир не заметил его. Столетие Пушкина отпраздновано в восьмидесяти городах тридцати пяти стран — в Европе, Азии, Африке, Америке и Австралии. Лев Толстой безраздельно властвует «над Планетой» нашей, почти равно и Достоевский. Скромный Чехов, образец тишины, слышен в Лондоне, Нью-Йорке, Астралии. Из ныне здравствующих еропейскими лаврами увенчан Бунин.

И не меньше того и в музыке. По всему свету ходят теперь и Мусоргский, и Римский-Корсаков, и Чайковский, Рахманинов.

А Шаляпин? Мы только что видели его похороны — кажется, в первый раз отдан такой почет иностранному артисту на чужбине.

Для русского же человека в изгнании эта мировая слава Родины — теперь для него уж бесспорная — имеет и еще оттенок: защиты, укрытия в одиночестве и заброшенности. Даже больше — связи, соединения. Не просто мы бесприютные. Кое-что за плечами и есть. Сейчас мы в изгнании, а что завтра будет, еще не известно. Наследие же, история величия Родины — этого не отнять у нас. И поклонения нашего этому, и надежды.

Может быть, не всегда ведь будет так, как сейчас. Не вечно же болеть «стране нашей Российской». Возможно, что приближаются новые времена — и в них будет возможно возвращение в свой, отчий дом.

Так что вот: древность и блеск культуры духовной, своеобразие, блеск ее и в новое время, величие России в тысячелетнем движении и ощущение — почти мистическое — слитности своей сыновней с отошедшими, с цепью поколений, с грандиозным целым, как бы существом. Сквозь тысячу лет бытия на горестной земле, борьбы, трудов, ужасов, войн, преступлений — немеркнущее ядро духа — вот интуиция Родины. Чужбина, беспризорность, беды — пусть. Для русского человека есть Россия, духовное существо, мать, святыня, которой мы поклоняемся и которую никому не уступим.

Думается и так, что кому предстоит возвратиться на Родину, не гордыню и не кичливость должны принести с собой. Любить — не значит превозноситься. Сознавать себя «помнящими родство» и наследниками величия не значит ненавидеть или презирать другие народы, иные расы. Россия объединяла в имперском могуществе — в прошлом. Должна быть терпима и *не* исключительна в будущем — исходя именно из всего своего прошлого: от святых ее до великой литературы все говорили о скромности, милосердии, человеколюбии — обо всем том, в чем так бесконечно нуждается сейчас мир.

Русь, Россия! Тридцать лет назад сказал о ней молодой тогда писатель русский так: «О, ты, Родина! О, широкие твои сени — придорожные березы, синеющие дали верст, ласковый и утолительный привет безбрежных нив! Ты, безмерная, к тебе припадает усталый и загнанный, и своих бедных сынов ты берешь на мощную грудь, обнимаешь руками многоверстными, поишь извечною силою. Хвала тебе, великая Мать».

24 июня 1938

ОПТИНА ПУСТЫНЬ

Когда я был ребенком, мы жили в Жиздринском уезде Калужской губернии, в селе Усты. На лето выезжали иногда в имение отца под Калугу, на Оке. Ездили на лошадях, с кормежками и отдыхали в пути, с медлительною основательностью прошлого. Правда, в этой основательности было и такое вхождение в Россию, такая жизненная с ней близость, какой не могут дать быстрые передвижения. И вот сейчас — через столько лет! — как живые видишь Брынские леса, березы большака под Козельском, осенние зеленя у Перемышля.

Отправлялись обычно с утра, очень рано. В Сухиничах «кормили», т. е. останавливались в грязной гостинице на базарной площади и давали отдых лошадям. Подкреплялись и сами захваченной из дома снедью. Часа через три тройка уже вновь запряжена, опять большак, и опять справа синеют леса, слева поля, иногда проезжаем мимо имений — впереди, к вечеру, Козельск.

В Козельске ночевали. Этот городок мне всегда нравился — Сухиничи и Перемышль просто захолустье, убожество, тоска уездного городишки, но в Козельске лучше и поэтичней: много церквей, зелени, все понарядней, чудесный луг по Жиздре, а за нею бор, в нем знаменитый монастырь — кажется, купола его видны и из Козельска.

Какое-то свое действие на Козельск Оптина Пустынь имела, я уверен. Или, может быть, и возникла около него не случайно — Козельск древний, благородный городок, некогда геройски отбивший татар (помнится, там была даже княгиня-мученица). Так что это Русь вековая, прославленная. Около лабазов Сухиничей монастырь не возник бы.

Наша семья не была религиозна. По тому времени просвещенные люди, типа родителей моих, считали все «такое» суеверием и пустяками. Так что ребенком, не раз проезжая в двух-трех верстах от Оптиной, я ни разу ее не посетил.

Но в Устах водилось у меня много приятелей, разных Савосек, Масеток, Романов, да и нянюшки Дашеньки, кухарки Варвары не раз рассказывали об Оптиной и удивительном старце Амвросии. Наши бабы из Устов ходили к нему за советами. Слава его была очень велика, текла самотеком, из уст в уста, без шуму, но с любовью. Знали, что если в жизни недоумение, запутанность, горе — надо идти к о. Амвросию, он все разберет, утишит и утешит.

* * *

Судя по тому, что потом приходилось читать и слышать об Оптиной, укрывавшейся золотыми своими крестами в лесах, это обитель, прославившаяся благодаря старчеству. За девятнадцатый век в ней прошла целая династия старцев. Старцы не управляли ничем, они жили отдельно, в скиту, и являлись живым словом монастыря миру: мир шел к ним за помощью, советом, поучением. Это давало, конечно, глубокую, сердечную связь монастыря с миром, святыня становилась не отдаленно-сияющей, а своей, родной.

История монастыря дает несколько обликов старцев. О. Леонид, простонародный и прямой, с оттенком юродства. Тихий и некрасивый, но просвещенный о. Макарий, любитель духовной литературы и музыки, издающий совместно с Иваном Киреевским писания о. Паисия Величковского (основателя старчества). Наконец, о. Амвросий, наиболее из всех прославленный, быть может, наиболее гармонический и ясный тип оптинского старца. Нектарий, Анатолий — целый ряд[1].

Я представляю себе жизнь и «творчество» монастыря так: допустим, я паломник. Подъезжаю со стороны Козельска к реке Жиздре. Вокруг луга, за рекою вековой бор. Чтобы попасть в монастырь, надо переправиться на пароме: вода — черта легкая, но все же отделяющая один мир от другого. Наверно, еще два-три богомольца будут на этом пароме. Монах тянет веревку, кучер слезет, станет помогать. Поплескивает вода, мы будто бы стоим, а уже берег отделился. Кулик низко пролетит к отмели той самой Жиздры, где мальчиком ловил я пескарей. Будет пахнуть речною влагой, лугами, а главное — сосновым бором. Там, среди лесов, четырехугольник монастыря с высокою белой колокольней в средине. По углам стен — башни. Ямщик привезет меня в монастырскую гостиницу — большая прелесть в чистых половичках на лестнице, в цветах на окне номера, иконах в углу с теплящейся лампадкой, видами обители на стенах, в запахе кипариса, ладана, постных щей — это все знакомо по Афону, вероятно, в Оптиной имело еще более русский облик. (Над Афоном всегда веяние Эллады, там не может быть запах русского бора.)

Тишина, скромность, благообразие долгих церковных служб... Но это как обычно в монастыре. И вот иду дорожкою среди сосен, от монастыря в скит к старцу — тою самою дорожкою,

[1] Подробнее см. в кн. о. С. Четверикова: «Оптина Пустынь» и в «Записи» о. В. Ш.

какой ходил Алеша Карамазов. Смерть Зосимы, ночь сомнений Алешиных, «Кана Галилейская», вечный шум этих сосен, ночные звезды, по которым ощутил он вновь Истину... Но сейчас солнечное утро. Мы вступаем в ограду скита. Здесь разбросано несколько домиков, среди них небольшая церковь. Около домиков цветы. Деревянные дорожки проложены от одного к другому. Очень тихо. Сосны шумят, цветы цветут, пчелы жужжат, солнце греет...— вот облик скитской жизни.

Мы подымемся на одно из крылечек, войдем в коридор. Направо будет дверь в зальце-приемную, налево в комнату старца. Уже посетители собрались, ждут. Из окон видны розы, и мальвы, и левкои цветника. Старец еще не вышел, он читает полученные за день письма, диктует ответы, некоторые пишет сам.

* * *

Я слышал рассказ одного близкого мне человека из артистического мира, прожившего в Оптиной довольно долго, много наблюдавшего за старцами. Они произвели на него глубочайшее впечатление. (Это было незадолго до войны. Я думаю, он видел Анатолия (младшего), Нектария и Варсонофия.) Помню, он отмечал в них соединение высокой аристократичности, тончайшей духовной выделки с простонародно-русским обличьем. Острейшую душевную проницательность утверждал он — способность сразу и безошибочно определять человека, видеть его насквозь, со всеми его болями, радостями, дарованиями и грехами. Он называл их «великими художниками души». В противоположность о. Иоанну Кронштадтскому, они вполне далеки от экстаза и нервной экзальтации. Спокойная и кроткая любовность — основа их.

И вот, если бы я был оптинским паломником, я ждал бы в солнечном утре в зальце выхода о. Амвросия — принес бы ему грешную свою мирскую душу. Как взглянул бы он на меня? Что сказал бы? Жутко перед взглядом человека, от которого ничто в тебе не скрыто, которого долгая, святая жизнь так облегчила, истончила, что как будто через него уж иной мир чувствуется. Мог ли бы я ему отдаться? Вот что важно. (Мне лично кажется это чрезвычайно трудным.) Ведь в старчестве так: если я не случайный посетитель «зальца», то кончается тем, что я выбираю себе старца духовным руководителем, вручаю ему свою волю, и что он скажет, так тому и быть, я должен безусловно, безоглядно ему верить — это предполагает совершенную любовь и совершенное пред ним смирение. Как смириться? Как найти в себе силы себя отвергнуться? А между

тем, это постоянно бывает и, наверное, для наших измученных и загрязненных душ полезно... Впрочем, я не видал никогда Амвросия и не познал его действия на себе.

О. В. Ш. в своей «Записи» рассказывает, как старец Варсонофий женил его самого, В. Ш.,— выбрал ему невесту, ей тоже внушил, за кого она должна выйти,— какой гигантский мир в скромных праведниках, какая сила! Но ведь и даны им дары необычайные — В. Ш. вскользь упоминает, что старец Нектарий читал письма, не распечатывая их,— просто, сортировал: налево просьбы, вот это благодарственные, тут надо ответ дать и т. п.

О. Амвросий был старец болезненный, к шестидесяти пяти годам сильно ослабевший. Его жизнь такая: вставал около четырех, в постели умывался теплой водой, стоя на коленях. Келейник вычитывал ему правило, затем начиналось чтение писем (он получал их до шестидесяти в день), и только к девяти, напившись чаю, выходил к посетителям. Высокого роста, сгорбленный, ходил в ватном подряснике. Когда снимал камилавку, открывался большой умный лоб его. Редкая длинная борода, очень добрые и проницательные глаза. Его ждала «вся Россия» — простая, страждущая Русь, мужчины, женщины, дети. Келейник докладывал: «Там, батюшка, собрались разные народы — московские, смоленские, вяземские, тульские, калужские, орловские — хотят вас видеть».

Старец молился перед иконой Богоматери, затем начинал расточать себя. Любовь, ее обилие! На всех хватало любви. «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы» — они и шли. Не было для о. Амвросия неважного, малого человеческого горя, говорит о. Четвериков, хорошо его знавший. Он принимал с 9 до 12-ти, потом с 2-х до вечера, и иногда, уже совсем ослабший от болезни, усталый, беседовал лежа на своей койке — но беседовал. И с чем только к нему ни являлись! Под его защиту, помощь шла обманутая девушка, отвергнутая родителями и обществом, а вот у святого человека этот «незаконный» мальчик бегал и прыгал по келье, старик ласкал его, ободрял мать и даже материально ей помогал.

Спрашивали, выходить ли замуж, жениться ли, ехать ли на заработки. Спрашивала баба со слезами, как ей кормить господских индюшек, чтобы не дохли. Он спокойно ее расспрашивал и давал совет, а когда указывали ему, что напрасно он теряет время на такие пустяки, говорил: «Да ведь в этих индюшках вся ее жизнь».

Так раздавал он себя, не меряя и не считая. Не потому ли всегда хватало, всегда было вино в мехах его, что был соединен он прямо с первым и безграничным океаном любви?

* * *

Все это происходило так ужасно давно! Мест, где прошло мое раннее детство, я не видал десятки лет. Жизнь изменилась безмерно. Вероятно, нет нашего белого, двухэтажного дома в Устах, ничего не осталось от усадьбы в Буданове, под Калугою, куда мы ездили. Через Сухиничи давно прошла железная дорога, и никто не ездит более «на долгих». Козельск, наверно, все такой же... Оптиной... просто нет.

Всю горечь, всю тяжесть неравной борьбы за нее пришлось вынести старцам Анатолию и Нектарию — могиканам оптинской династии. Революция надвигалась — злобная, бешено-разрушительная. Оптина Пустынь погибла, т. е. здания существуют, но их назначение иное. Место, где бывал Гоголь, куда приезжали Соловьев и Достоевский, где жил Леонтьев и куда наведывался сам Толстой,— ушло на дно таинственного озера — до времени. В новой татарщине нет места Оптиной. Вокруг, по лесам Брынским, по соседним деревушкам, таятся бывшие обитатели обители. Появились в окрестностях и новые люди — православные из Москвы, художники, люди высокой культуры, селятся вблизи бывшего монастыря, как бы питаются его подземным светом. Собирают и записывают черты высоких жизней старцев, некоторые работают, есть и такие, кто приезжает на лето из города, как бы на дачу. Мне недавно пришлось у знакомых читать описание Пасхальной ночи — оттуда. Как сияла огнями сельская церковь за рекой, как река разлилась и надо было в лодке плыть к заутрене — я знаю и сам, как черны эти ночи пасхальные у нас в деревне, как жгут звезды, как плывут, дробятся отражения плошек и фонариков в реке, как чудно и таинственно — плыть по воде святою ночью.

Далекий разлив, тьма, благовест... да воскреснет Бог и да расточатся враги Его.

27 октября 1929 г.

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ

В длиннейшем коридоре второго этажа нас выстроили рядами. Надзиратели обошли строй, обдернули кое-кому куртки, поправили пояса. В большие окна глядел серый зимний день. Мы сколько-то простояли так, потом внизу в швейцарской произошло движение.

— Приехал, приехал!

Через несколько минут по парадной лестнице, устланной красным ковром, мимо фикусов в кадках быстрой походкой подымался худенький священник в лиловой шелковой рясе, с большим наперсным крестом. За ним, слегка запыхавшись и с тем выражением, какое бывало у него пред инспектором учебного округа, шел директор. Учителя почтительно ждали наверху.

Священник на ходу благословлял встречных. Ему целовали руку. Подойдя к нам, он остановился, поднял золотой крест и высоким, пронзительным, довольно неприятным голосом сказал несколько слов. Я не помню их. Но отца Иоанна запомнил. Помню его подвижное, нервное лицо народного типа с голубыми, очень живыми и напряженными глазами. Разлетающиеся, не тяжелые с проседью волосы. Ощущение острого, сухого огня. И малой весомости. Будто электрическая сила несла его. Руки всегда в движении, он ими много жестикулировал. Улыбка глаз добрая, но голос неприятный, и манера держаться несколько вызывающая.

Нас показывали ему, как выстроенный полк командиру корпуса. Он прошел по рядам очень быстро, прошуршал своей рясой, кое-кого потрепал по щеке, приласкал, кое-что спросил, но несущественное. В памяти моей теперь представляется, что он как бы пролетел по шеренгам и унесся к новым людям, новым благословениям. Наверное, смутил, нарушил сонное бытие и духовенства нашего, и гимназического начальства, и нас, учеников. Так огромный электромагнит заставляет метаться и прыгать стрелки маленьких магнитиков.

Мы, гимназисты, были довольно сонные и забитые существа. Не могу сказать, чтобы приезд Иоанна Кронштадтского сильно вывел нас из летаргии. Но странное, как бы беспокойное ощущение осталось... Тишины в нем не было.

* * *

Вспоминаю это по поводу книжечки, изданной в Югославии, где даются заметки об отце Иоанне — заметки тоже священника

(теперь; а тогда он был студентом). Записи замечательные. Таким, как он показан в них, легко узнаю худенького священника в лиловой рясе, виденного в отрочестве.

В просвещенном обществе (довоенном) к нему было неважное отношение. Общество это далеко стояло от религии и духовной жизни. Оценить редкостное и поразительное в отце Иоанне оно не могло. Предубеждение говорило, что ничего такого вообще быть не может, все это лишь для невежд. И не без высокомерия указывалось, что вот вокруг него всегда какие-то кликуши — отец Иоанн не весьма благополучен, от него отзывает изуверами и изуверками.

Во всем этом правдой было только то, что он преимущественно имел дело с простым народом и обладал могучею силой экстаза. Она давала ему власть над толпой. И его проповеди и службы оказывали безмерное действие, в котором было величие, но крылась и опасность: восторг принимал иногда нездоровые формы. На некоторые слабые, болезненные натуры (чаще всего женские) отец Иоанн влиял слишком сильно, как-то сламывал их. Нервная сила уж очень в нем преобладала — в этом смысле он был человеком не афонского склада.

Действие его на массы изображает отец В. Ш.— описывая заутреню и общую исповедь в кронштадтском соборе.

Глухой, ранний час — около пяти. Еще темно. Собор, вмещающий несколько тысяч человек, уже полон, в нем давка. У амвона решетка, чтобы сдерживать напор толпы. Отошла утреня; отец Иоанн прочел молитвы перед исповедью, сказал о покаянии и громко (тем самым пронзительным и резким голосом) крикнул:

— Кайтесь!

Подымается нечто невообразимое. Вопли, крики. Особенно усердствуют женщины.

Выкрикивают тайные грехи, стараются кричать как можно громче, чтобы «батюшка» услышал и помолился за них. А отец Иоанн в это время на коленях молится пред алтарем. Крики переходят в плач и рыдания. Так — с четверть часа. Наконец отец Иоанн поднялся с колен — пот катился по его лицу,— вышел на амвон и прочитал разрешительную молитву, обведя все людское море движением епитрахили. Началась литургия.

Все грандиозно и в дальнейшем: служба двенадцати священников, двенадцать огромных чаш и дискосов на престоле, служение самого отца Иоанна — очень нервное, некоторые слова выкрикивал он «дерзновенно». И с 9 часов утра до 2 часов 30 минут дня этот несильный телесно человек, как бы несомый

особым подъемом, держит в руках чашу и причащает — человечество непрерывно приливает к нему и отливает, облегченное, очищенное.

Но вот и темные черты: «иоаннитки», последовательницы секты, считавшей его за Спасителя, вторично сошедшего на землю. Отец Иоанн не давал им причастия. «Проходи, проходи,— говорил он,— ты обуяна безумием, я предал вас анафеме за богохульство». Но отделаться от них не так-то было легко. Они, как безумные, лезли к чаше, так что городовым приходилось их оттаскивать. Мало того, при каждом удобном случае они кусали его, стараясь причаститься каплей его крови!

Он обличал их публично в соборе и предавал отлучению — ничто не помогало. Они доставляли ему много горя и неприятностей и давали повод к несправедливому осуждению его самого. Не одобрявшие его не видели или не понимали того огромного, что он делал. А крайности психопаток подхватывали, раздували. Но его глубоко любили и почитали самые здоровые, обычные люди (иоаннитки были, конечно, исключением). В общем, он был народный или даже простонародный герой, «свой», «наш», хотя и ходил в шелковой рясе, и носил ордена, и нередко разъезжал в карете (разумеется, в «доброхотной»). Был ли он образован? Не думаю. Представляю его себе скорее удивительным самородком русским, в окружении мещанско-купеческом. Но это давало ему корневитость, укорененность в «русском». Во всяком случае, от интеллигенции он был далек.

Русская народная природа очень сильно была в нем выражена, эти голубые, совсем крестьянские глаза, полные ветра и полей, наверное, действовали неотразимо — особенно когда горели любовью и молитвой. Отец Иоанн являлся своего рода «Николой Угодником», ходатаем и заступником, к нему можно обратиться в горе, беде, в болезни — он поможет. Недаром всюду, где он появлялся, собиралась толпа — так было и всегда с существами, как он.

Отец В. Ш. (автор вышеназванной книги В. Ш(устов).— *Ред.*) рассказывает о некоторых случаях исцелений отца Иоанна.

Его собственный отец умирал от горловой чахотки. Профессор Симановский определил, что ему жить дней десять. Так как отец Иоанн был близок семье В. Ш., то ему послали в Кронштадт телеграмму. Он приехал. Увидев отца, воскликнул:

— Что же вы мне не сообщили, что он так серьезно болен? Я бы привез Святые Дары, причастил бы.

Отец молча, скорбно смотрел на него. Тогда отец Иоанн задумался и вдруг спросил:

— Веришь ли ты, что я силою Божиею могу помочь тебе?

Отец говорить уже не мог и только кивнул утвердительно. Отец Иоанн велел ему раскрыть рот «и трижды крестообразно дунул». Потом размахнулся и ударил по маленькому столику с лекарствами. Все склянки полетели и разбились. (Как это живо и типично для него! Как ясно вижу я быструю и нервную руку, громящую ненужные снадобья!)

Он велел везти отца к себе в Кронштадт причаститься. Несмотря на холод и опасность, его свезли. «Когда он вернулся домой, Симановский был поражен: в горле все раны оказались затянуты. Симановский во всеуслышание заявил: это невиданно, это прямо чудо!» (Отец прожил после того еще 25 лет.)

На крестины сестры В. Ш. отец Иоанн приехал без всякого предупреждения — она родилась раньше предполагаемого срока, и никто его не извещал. Но он знал об этом — своими, ему лишь ведомыми путями. Впоследствии, когда девочке было семь лет, она заболела черной оспой. Отец Иоанн провел по изъязвленному личику рукою, погладил. Когда болезнь прошла, ни одной язвинки не осталось на лице.

* * *

Для этого легендарного человека не существовало ни расстояний, ни времени. Он угадывает чужое горе и сразу дает лечение, и он в толпе чувствует близкую и живую душу... И он всегда с народом, окружен им, в его стихии. Одна страстная и пылкого сердца женщина, сама склонная к мистике и сейчас глубоко религиозная, рассказывала мне, как подростком видела отца Иоанна в Царицыне (под Москвой) на железнодорожной платформе. Он благословлял из окна вагона народ. Увидев ее, вдруг крикнул:

— Хохлатенькая, подойди сюда!

Она подошла, он положил ей руку на голову и особо ее благословил. Ее жизнь не кончена и судьба неизвестна. Я знаю только, что тогда она была рыженьким «хохлатым» подростком, далеким от веры и религии, а сейчас страстно преданная Церкви и Православию женщина,— ее он сразу и выбрал, отметил и полюбил в тысячной толпе.

А оптинский старец Варсонофий? Молодой офицер, которому надо было повидать в Москве отца Иоанна, заехал в церковь кадетского корпуса, где тот служил, и зашел в алтарь. Отец

Иоанн в это время переносил Святые Дары с престола на жертвенник. Вдруг он поставил чашу, подошел к офицеру и поцеловал ему руку. Никто не понял, почему он это сделал, произошло некоторое замешательство, и сам офицер смутился. Потом присутствовавшие стали ему говорить, что, вероятно, это означает какое-нибудь грядущее событие его жизни — например, что он станет священником. Офицер стал смеяться — ему и в голову не приходило стать священником. Вышло же в конце концов так, что не только священником — сделался он монахом и старцем отцом Варсонофием. (Рассказ самого отца Варсонофия отцу В. Ш.)

* * *

В «Записи» говорится не раз, что отец Иоанн «дерзновенно» молился. Сначала это даже удивляет... но, пожалуй, и характерно для него — для его стремительности, горячности — и для ощущения «сыновности» Богу. Замечательно, что молился он всегда импровизированными словами, стоя на коленях, но некоторые слова выговаривал резко, с ударением — точно бы требовал. Черта крайне своеобразная. Как-то жутко сказать, но и вообще в нем некий вызов был. Даже в том беглом гимназическом впечатлении — тишины и смирения не осталось. Может быть, юродство пред Богом? Смелость, дозволенная и терпимая по большой близости?

Все это темные догадки. Знаем мы о нем, к сожалению, мало. Замечательный его облик заслуживал бы подробного любовного изучения. «Запись» отца В. Ш., сделанная с большой простотой и с огромной любовью к отцу Иоанну,— чрезвычайно важный материал, но именно — материал. А теперь самое время русским приняться за ознакомление со своими героями — как велика, бесконечно богата Россия, и как мало сами мы ее знаем!

Еще особенность отца Иоанна: по словам отца В. Ш., жена была ему скорее сестрою, чем женой. Тяжесть пола, крови, деторождения, их земной вес как бы чужды ему. Это слишком летящий человек и слишком духоносный для того, чтобы производить потомство. Пол отошел от него.

Смел, легок, дерзновен... Отец Варсонофий видел его во сне так: он ведет его по лестнице, за облака. Было на ней несколько площадок, и он довел Варсонофия до одной, а сам устремился дальше, сказал: «Мне надо выше, я там живу», при этом стал быстро подниматься кверху.

Вот это ясно я вижу. По небесной лестнице поднимается он с тою же легкой быстротой, как и по лестнице калужской гимназии.

13 октября 1929

СЧАСТЬЕ

> Я по милости Божией человек-христианин, по делам великий грешник, по званию бесприютный странник, сам-то низкого сословия, скитающийся с места на место. Имение мое следующее: за плечами сумка сухарей, да под пазухой Священная Библия.

Представьте себе село Орловской губернии, сороковых, пятидесятых годов, мальчика-сироту. Вместе со старшим братом живет он у дедушки, богомольного старика, владельца постоялого двора на большой дороге,— с ним ходит к обедне, а дома слушает, как тот читает Библию. Мальчик сухорукий — когда ему было семь лет, старший брат столкнул его с печи, он повредил себе руку, и она усохла. Братья растут. Пути их расходятся. Старший стал пьяницей, буяном — ушел из дому. Младшего дед женил, оставил ему постоялый двор и умер.

Старший завидовал молодой чете, владевшей двором. Однажды ночью поджег их, они едва спаслись: Библию только дедовскую успели вытащить.

Стали жить в бедности, но в любви — жена оказалась достойной, степенной, трудолюбивой. Ткала, пряла, шила, этим прокармливала мужа, который «по безрукости» работать не мог: она работает, он ей читает Библию, она слушает и вдруг заплачет: «Уж очень хорошо в Библии написано».

Но и семье их не бывать: жена через два года захворала и скончалась от горячки. Он по ней страшно тосковал. Не мог равнодушно видеть ни одежды ее, ни платка, никакой вещи — и решил из дома своего уйти. Роздал остатки имущества нищим, взял дедовскую Библию, котомку, палку и пошел странствовать — из Орла в Киев поклониться угодникам Божиим, из Киева в Иркутск, а там в Одессу, на Афон, в Иерусалим.

Кто он? Как имя его? Неведомо — «по милости Божией человек-христианин». Я назвал бы его Алексеем или Василием, если бы писал книгу о его жизни. Но он сам это сделал — и гораздо лучше меня, и притом вовсе не собирался писать, на

тринадцатом году странствования, а жизни своей на тридцать третьем, рассказывал о себе некоему священнику, у которого исповедовался,— духовному своему отцу. И опять ушел. Но тот записал слышанное. Запись попала на Афон. Там у старца-схимника списана вновь и издана в восьмидесятых годах. Теперь — библиографическая редкость — только что воспроизведена в Париже издательством ИМКА[1]. Мы можем спокойно слушать смиренного странника.

* * *

Первое свое странствие — в Киеве — он совершил, чтобы получить облегчение после смерти жены. Вероятно, и получил. Но оказалось, что есть и другое дело. Вышел-то он в путь не только потому, что некуда было преклонить главу. И его странствие — не простое меряние ногами безграничных дорог России. Возможно, иной нашел бы то, что его влекло, и не странствуя. Но его натура оказалась именно такая.

«В двадцать четвертую неделю после Троицына дня пришел я в церковь к обедне помолиться; читали Апостол из послания к Солунянам, зачало 273, в котором сказано: *непрестанно молитеся.* Сие изречение особенно вперилось в ум мой, и начал я думать, как же можно непрестанно молиться, когда необходимо нужно каждому человеку и в других делах упражняться для поддерживания своей жизни?»

Найти совершенную, полную молитву, чрез нее просветиться и приблизиться к Богу — вот что стало его целью. Вот толчок, полученный откуда-то. И странник начинает читать, расспрашивает, старается вникнуть, как это можно непрестанно молиться,— за решением вновь пускается в путь. Побывал в разных местах, имел разные разговоры, наконец, на большаке около одной пустыни встретил старичка-схимника, в беседе поведал свое желание понять нечто о молитве и научиться ей: тот взял его с собой в Обитель и в мистической книге «Добротолюбие» указал у Симеона Нового Богослова наставление о молитве Иисусовой. Да и свой опыт сообщил.

Началось аскетически-мистическое обучение и воспитание. Странник нанимается по соседству у мужика стеречь огород, поселяется в шалаше, одиноко, и упражняется под руководством схимника в молитве — так называемой «умной» и «сердечной»,

---

[1] «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». Париж, 1930.

т. е. в таком призывании Бога, которое вначале совершается словами, а потом творится ужс почти самопроизвольно (даже во сне!), всем существом, и особенно сердцем. Он рассказывает, что испытывал в этих упражнениях. Старец вводил его постепенно. Назначал ему сперва по три тысячи молитв в день («Господи Иисусе Христе, помилуй мя!»), потом по шести, наконец, по двенадцати тысяч.

Вот что получалось:

«Однажды, рано поутру, как бы разбудила меня молитва. Стал было читать утренние молитвы, но язык неловко их выговаривал, и все желание само собою стремилось, чтобы творить Иисусову молитву. И когда ее начал, как стало легко, отрадно, и язык, и уста как бы сами собой выговаривали без моего понуждения! *Весь день провел я в радости* и был как бы отрешенным от всего прочего, был как бы на другой земле и с легкостью окончил двенадцать тысяч молитв в ранний вечер».

Начинается то, в поисках чего, в сущности, и вышел он в путь,— ощущение Царства Божия на земле, в сердце. Начинается счастье. По сибирским дорогам повлечет он его за собой. Оно с ним и в ходьбе, и в стоянке. «Уединенный шалаш мой представлялся мне великолепным чертогом, и я не знал, как благодарить Бога»...

А вокруг... Библия, Добротолюбие, сумка сухарей, кончающееся лето и кончающийся шалаш мужицкого огорода — да смерть старца-наставника.

Он уходит в Сибирь. Там «безмолвнее» ему идти по степям и лесам, занимаясь молитвой. Но теперь он и другим передаст свое знание. В глухом лесу набрел, например, на землянку лесного сторожа, уединенно караулившего лес, проданный на срубку. Сторож тоже особенный человек, тоже спасается и размышляет о душе, ходит в веригах, молится и бьет поклоны — но его берут сомнения. Веселость странника ему незнакома. («Так и на земле-то живешь в трудах, и ничем не утешишься, и на том свете ничего не будет, так что же из этого? Не лучше ли хоть на земле-то пожить попрохладнее и повеселее?») Он предлагает страннику поселиться в другой землянке, по соседству, тоже в уединении, пока не съедутся мужики рубить лес. И вот живут они бок о бок пять месяцев. Странник обучает сумрачного отшельника Иисусовой молитве и сам в ней совершенствуется, переходит чрез разные «растеплевания» сердца, «радостные кипения» к высшим ступеням аскезы и восторга, увлекая за собою и соседа. А потом, когда началась вокруг жизнь, съехались порубщики, оставил он «безмолвное жили-

ще» — поцеловал клочок земли, на котором провел пять месяцев, и тронулся дальше. Идет, идет... «Если голод меня начнет одолевать, я стану чаще призывать имя Иисуса Христа и забуду, что хотелось есть. Когда сделаюсь болен, начнется ломота в спине и ногах, стану внимать молитве и боли не слышу. Кто когда оскорбит меня, я только вспомню, как насладительна Иисусова молитва: тут же оскорбление и сердитость пройдет и все забуду». ...«И хочется, чтобы беспрестанно творить молитву, и когда сю занимаюсь, то мне бывает очень весело»...

С этим веселием продолжает он странствия безбрежные — чрез всю Сибирь — в Иркутск.

* * *

Сухорукий путник оказался превосходным рассказчиком. В его словах нет «пейзажа», который мы любили расписывать, но,— правильно отмечает проф. Б. Вышеславцев,— очень скупыми словами, лишь слегка касаясь, дает он удивительно Россию — и шалаш того огородника, где жил, и землянку на сводке леса, и арестантов, обидевших его, и капитана, читающего по Евангелисту ежедневно — обет за спасение от пьянства,— и часовню, где он собирал на построение храма, и леса, и волков — вообще дает в небольших своих повествованиях себя и душу свою — дает Божий мир, необычайно широкий, вольный. Некий ветер ходит по страницам бесхитростных сказаний. Мир легок и оправдан, поразительно, как одухотворен мир! «Все окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде: дерева, травы, птицы, земля, воздух, свет»... Все хороши, и все для него хорошо. В сущности, зла нет: вот идет он под вечер зимою, лесом, на него бросается огромный волк. Странник замахивается четками. Четки выскочили у него из рук, волк в них запутался, вскочил в терновый куст да и стал там биться, не может выпутаться — хотел обидеть сухорукого, да и то не вышло. Пришлось страннику еще собственного обидчика спасать. Ничего с ним нельзя поделать. Однажды его схватили, неправедно, ни за что ни про что высекли: он ничего тяжелого не испытал. «Все сии происшествия нисколько меня не оскорбили, как будто случились с кем другим, и я только их видел».

Я думаю, что последние слова важны. Странник действительно живет так: он продвигается по миру и все в нем принимает и любит, но ни к чему не привязывается, никаких уз на него не наложено. Он может только сам испытывать видения рая в окружающем и передавать людям (а может быть,

и животным, природе) свой свет, пришедший к нему свыше. Ибо непрестанное упражнение в молитве, как научил его старец и отцы из «Добротолюбия», привело к тому, что она стала в нем твориться непроизвольно, само сердце каждым биением уже общалось, соединялось с источником света.

Читая, иногда думаешь о его рассказах: ведь это времена далекие, почти на грани крепостного права. Сколь мы привыкли считать ту эпоху суровой, жестокой,— она в некотором смысле и была суровой,— но почему все там, как на подбор, оказывается хорошим? С кем бы странник ни сталкивался, во всех *душа,* он живет в мире одухотворенном, среди *людей,* а не *предметов.* (Как сильно ощущаешь это на Афоне!) Одухотворены и леса, по которым проделывает он ежедневно десятки верст, и зимние вьюги, и капитаны, и писаря, и мужики, и поляк-управляющий, и даже волк не плох — вроде волка из Губбио, встретившегося св. Франциску. Теряет свою грозность и тот исправник, что второпях приказал его высечь.

Не говорю уже о настоящих праведниках, попадающихся на его пути, напр., те тобольские помещики, муж и жена, дом которых полон нищими и обездоленными, усадьба похожа не то на монастырь, не то на богоугодное заведение. Они обедают вместе со слугами, читают Св. Писание и заняты, в сущности, только деланием добра. Гоголь пробовал писать «добродетельных» помещиков — как неудачно и фальшиво получалось! А неведомый странник рассказывает, и ему веришь, хотя печальный опыт внятно говорит, как мало всего *такого* в жизни. Ему веришь, ибо волшебен воздух его рассказов и волшебен взор его. «Барин стал обвертывать онучами мне ноги, а барыня начала надевать башмаки. Я сперва не стал было даваться, но они приказали мне сидеть и говорили: сиди и молчи. Христос умывал ноги ученикам. Мне нечего было делать, и я начал плакать; заплакали и они».

От них шел он со слепцом полтораста верст до Тобольска и слепца научил творить Иисусову молитву. «Дней через пять он начал чувствовать сильную теплоту и неслыханную приятность в сердце... Иногда представлялось ему, что как бы сильный пламень зажженной свечи вспыхивал сладостно внутри сердца и, выбрасываясь чрез горло наружу, освещал его» (в этом свете увидел, между прочим, слепой сгоревшую колокольню города, куда они пришли только к вечеру).

Так проводя время, питаясь сухарями, водой, останавливаясь у кого придется, встречаясь с кем Бог пошлет, и добрался до Иркутска, там поклонился мощам святителя Иннокентия и, прожив некоторое время, рассказал о годах своего скитания духов-

нику. А затем... с глухим старичком, с письмом иркутского купца к сыну в Одессу — тронулся в путь вовсе и неблизкий — пешком в Иерусалим ко гробу Господню.

* * *

Странная и обольстительная, радостная книга, вызывающая и глубокую грусть. Страннику не хватает только взять с собой на подводу иерусалимскую: Лукерью из «Живых мощей» да Касьяна с Красивой Мечи. Святители Сергий Радонежский, Никола Угодник и Серафим Саровский сопровождали бы их — тронулась бы Святая Русь...

Где она сейчас?

Под какими замками? Ныне все в жизни, и не только русской, ополчилось на кротость, на умиление, свет моего повествователя. Природа открывается сухорукому, но закрыта перед человеком-танком. Волк не побоится Линдберга. Рокфеллер не поверит счастью нищего.

И тем не менее... если возможно счастие, видение рая на земле: грядет оно лишь из России. Не знаем нынешних ее странников, святых, страдальцев — за дальностью туманов и пространств. Но никто меня не убедит, что в подземных рудах родины не таятся те же, о, все те же «самоцветные камени»... (Вопреки всему! Вопреки ужасу — верю.)

15 июня 1930

ГЛАС ВАТИКАНА

Старушка в книжной лавке Св. Иосифа, близ церкви Отейль, продала мне Энциклику Пия XI «Quadragesimo anno»[1], недавно опубликованную. Это брошюра, страниц в шестьдесят. Св. Престол приурочил ее к сорокалетию знаменитой Энциклики Льва XIII «De rerum novarum»[2]: о рабочем движении, социализме, капитализме, богатых и бедных — обо всем, раздиравшем жизнь времен довоенных (но уже новых). Сорок протекших лет не внесли мира в мир. «Раздрание» его зашло, пожалуй, даже дальше, являя вечную двусторонность, вечную полярность исторического процесса. Жизнь не улучшилась. Значит, надо ее направлять, подымать. Пий XI веские имел основания к обнародованию своего послания, развивающего и укрепляющего тему Льва XIII.

---

[1] «Сорок лет» *(лат.)*.

[2] «О новых вещах» *(лат.)*.

Первые же страницы Энциклики, с ее мерными и спокойными периодами, несущими в себе некую тонко разлитую «не светскость», вызывают облик Ватикана, чудодейственного и единственного установления, не имеющего ни равных, ни подобных. Государство? — Нет. Власть? — Да, но особенная. Особый, удивительный организм, два тысячелетия продержавшийся в том самом городе, где родился, не знающий ни времени, ни старости, ни устали... Помню, как волновали (давно, в юности!) бесконечные медальоны-портреты пап в St.-Paolo, в Риме, несколькими рядами опоясывающие этот храм,— от первохристианских Каллистов и Климентов до нынешних Пиев и Львов. Вспомнился и сейчас, за Энцикликой, этот летейский строй. Вспомнился сам Ватикан — тихие его дворцы, сады, пинии, станцы Рафаэля с «Disputa», «Афинской школой»...

Нечто, летейское, от нечеловеческого спокойствия есть в духе послания Св. Отца. Президент, диктатор, монарх, обращаясь к народу, говорит языком власти, оружия, денег, интриг. Слова Пия XI мало материальны, легки, как негромкий лепет, касаются жизни — самого в ней тяжелого и трагического,— а производят впечатление спиритуального. Взор писавшего направлен ввысь, все пишется «по звездам», ибо все земное лишь тогда — смысл имеет, когда связано с этим высшим. Земля может обливаться кровью и смертным потом. Св. Отец любит и сострадает ей. Но в ее бурю не спустится, все будет идти той же ровной, надземной дорогой, голос его не может быть голосом партии, трибуны, комитета.

Социальная философия Пия XI не так сложна. (В любой стране близки к ней партии центра.) Труд и капитал силы равновеликие, на их взаимоотношениях общество покоится, и для того, чтобы все шло правильно, нужно, чтобы равновесие не нарушалось. Та и другая стороны могут проявлять эгоизм неправый. Вредно и дурно, когда капитал смотрит на трудящихся как на рабов, эксплуатируя их. Одни трудящиеся, без капитала, не могут ничего создать, и их претензии на овладение миром, по мнению Энциклики, не состоятельны. Она признает право собственности. Однако собственность ограничена общественною пользой. Приближаясь тут к умеренному социализму, Папа не возражает против овладения государством некоторыми видами собственности. («Ибо есть известные категории имуществ, относительно которых можно с полным основанием утверждать, что они должны быть сохранены за коллективом...»)

Но к самому социализму, даже не боевому, и у Пия XI отношение отрицательное. Иначе и не может быть. Ни борьбы классов, ни обобществления собственности никогда Ватикан не

признает. И — еще важнее: для Папы здешнее устроение есть лишь тень устроения вечного, для социализма «здешнее» — все. Это — бездна, разделяющая их. Человек «в мире» (социализм) или человек «выше мира» (христианство). Даже еще общее: «человек» или «рабсила».

«Если социализм, как все заблуждения, и содержит в себе долю истины (чего наместники Св. Петра никогда не отрицали), все-таки он покоится на теории общества, присущей только ему, несовместимой с подлинным христианством. Социализм религиозный, социализм христианский — это противоречия: никто не может быть одновременно добрым католиком и настоящим социалистом».

* * *

И вот, в нашем же Отейле, близ бистро, где когда-то выпивали Расин с Буало, попалась мне на стене афиша — зеленая, не особенно видная, приглашавшая на собрание:

«Социалист, ибо христианин».

Это собрание устраивалось группою христианских социалистов Парижа — именно группою того «противоречия», о котором говорит Папа.

Митинг оказался скромный, в зале пролетарских балов, куда надо проходить через кабачок. Тут обычно танцуют разные Эрнесты в каскетках с Жерменами, тут завязываются, развязываются нехитрые романы, гремит джаз в углу, на возвышении (как бы с епископской кафедры), и вечером двое ажанов толкутся под светящейся вывеской: «Bal» — унимать ревнивцев и упившихся аперитивами. Мало похоже на Ватикан! Но сегодня в грязноватой зале иная публика и джаз не нужен. Народу не так много. И странным образом чувствуешь нечто знакомое, может быть, русско-интеллигентское, очень простое и искреннее: студенты, мелкие служащие, молодой инженер, работающие барышни. За председательский столик сел благодушный гугенот с красным лицом и седыми усами, седой старомодною эспаньолкой, похожий на Ивана Новикова (в старости). Рядом французский Добролюбов в волнении утюжил снизу вверх рукой разросшуюся кустарником бороду (от уха до уха и до кадыка).

По другую сторону гугеноты — розовый, приличный социалистик, вероятно, приказчик в кооперативном магазине, аккуратный и довольно безнадежный.

Добролюбов, потея и запинаясь, прочел по бумажке благонамеренный докладец — на тему о близости подлинного христианства к «труждающимся и обремененным», о евангельских заветах бедности, о противоречии капиталистического строя духу

Евангелия. Затем розовый его сотоварищ, стоя и размахивая вырезками из газет, сильно погрозил этому строю — приблизительно в том роде, как говорит на предвыборном собрании депутат-социалист в деревенском кафе департамента Вар. (О христианстве и ничего не было в его речи, кроме того, что называл он себя христианским социалистом.)

После них к столику подошел французский Георгий Чулков (в молодости) — изящный и тонкий молодой брюнет с хорошими глазами, нервным лицом и большим кадыком на худой шее. Он стал сводить воедино предшествующее, и его речь, довольно толковая, искренняя, клонила к тому, что христианству нужно некое новое устремление или, вернее, не новое, а обновленное в духе первохристианства: большой упор на «труждающихся и обремененных», большее отдаление от богатых, большее стремление к переустройству общества на началах христианских. Долой лицемерие. Долой эксплуатацию, капитализм. Если Христос заповедал раздать имущество — то и надо к этому идти. Пути могут быть разные. Но вот они, данная группа, считают, что наилучший путь есть социализм — как технический прием (а не как мировоззрение),— поэтому и зовут следовать за тактикой умеренного социализма, и считают, что «настоящий, искренний христианин не может не быть революционером».

Тут оратор заволновался, побледнел, на скулах его заиграли шарниры. Кадык победоносно опустился, красивые глаза слегка закатились.

Неожиданно, однако, появился Ватикан. С самого начала присутствовал он в грязноватой зале — в облике немолодого человека в пальто, с седоватой бородой лопатой, довольно хорошо одетого, опытного и уверенного. Он быстро вышел к гугеноту и спросил не без внушительности:

— Позвольте узнать, устроители собрания католики?

Гугенот ответил, что лично он протестант, а докладчики католики.

— В таком случае все их соображения о собственности, богатстве и революции не имеют никакого значения.

Он вынул из бокового кармана пальто Энциклику.

— Церковь ясно высказалась по этому вопросу. Попросту говоря: если ты не католик, то, разумеется, можешь мудрить как угодно. Но если католик, то Св. Престол указал тебе твердо, как думать.

Загорелось сражение. Оно вращалось вокруг христианства в общественности. Молодость, пафос влекли юношу к *требованиям* решительным. Юноша вспомнил Отцов Церкви первых веков, единогласно отвергавших собственность, вспомнил Бла-

женного Августина, признававшего лишь государство действительным собственником, верховным,— и от себя уже уступающим право пользования частным лицам.

— Только с седьмого века стал изменяться взгляд на собственность — и это очень жаль...

Ватикан твердо стоял на *своем:* дурны *злоупотребления*, а не сама собственность. В Энциклике прямо сказано: «Не воспрещается тем, кто производит, честно приумножать имущество»,— Бог дал землю и природу человеку для земных его дел, и в земной области вовсе он не должен забывать о земном, отвергать и презирать предложенные дары: лишь бы не погрязал в этом, не забывал Бога, любовь и христианское милосердие. Жизнь маленьких первохристианских общин — это одно, жизнь сложного и громоздкого позднейшего общества — иное. Неверно, что теперешний католицизм за богатых и за власть. Напротив, самые горячие места Энциклики обращены к трудящимся, но, конечно, самое важное для Св. Отца не внешние правила общежития, а воспитание духа любви и братского отношения друг к другу.

— Но за кого был бы Папа в забастовке на севере Франции?

— За рабочих,— ответил Ватикан.

— Тогда надо открыто признать, что социалистическая техника, к которой мы присоединяемся, вовсе не враждебна христианству...

— Не говорите от имени христианства, не беритесь защищать коллективизм, когда Церковь явно осудила его.

Юноша побледнел, в крайнем волнении крикнул:

— Папа непогрешим в вопросах догмата, вопросах богословских. Но в социальных может ошибаться. И ошибается.

Защитник Ватикана в негодовании развел руками, сел. Часть аудитории аплодирует ему, часть христианскому социалисту. Добролюбов молчит. Розовый социалист может говорить лишь о политике. В вопросы высшие не решается мешаться. Зато другой социалист, уже явно не христианский, с яростью нападает на Церковь — конечно, тут и реакция, и костры, и разные фантастические опасности.

— Дайте только социализму власть — первое, что он сделает, это сожжет церкви, как в Испании,— кричит с места другой католик.

Мы, русские, сидим смирно. О нас речи нет. Только раз кинуто было мимоходом — «в России и социализма-то нет» — коммунистов, конечно, они презирают, как и для всех умеренных социалистов, это будто бы и враг... которому сплошь и рядом они же помогают!

* * *

— Что же, вас много? — спрашиваю, уходя.

— В Париже полтораста человек нашей группы.

Дело не в числе. Дело в идеях. Можно сочувствовать им, не сочувствовать: нельзя отрицать искренности и увлечения. Это жизнь, молодость, голос нервный, срывающийся дискант — но далекий от равнодушия и самодовольства. В Энциклике сказано и о них, о «христианских социалистах». Папа их не одобряет, но сдержанно, не клеймит. Клеймит тех, кто, называя себя католиками, «не боится притеснять трудящихся для собственной наживы». Ватикану чужд дух крайностей. За ним слишком большой и глубокий опыт жизни, слишком широкий, ровный горизонт, чтобы поддаться увлечению. Но в том сложном, разнообразном организме, какой есть христианство, в частности католицизм,— думаю, очень полезны бродильные начала, беспокойство, критика, одушевление. В этом смысле собрание на улице Буало не вредно. Может быть, эти юноши в дальнейшем разойдутся: одни, как наш священник (довоенных времен) Григорий Петров, отделятся от христианства, другие отойдут от социализма — во всяком случае, сейчас они «повышают температуру».

Для русского православного человека зрелище католицизма очень интересно.

Интерес этот серьезный и сочувственный. В сущности, никогда больше, чем сейчас, не ощущалась необходимость сближения, братского союза против общего врага. Что до психологии, то во многом она различна. И как по истокам своим православие как-то древнее, первозданнее, более опирается на первохристианский Восток, так первому ему пришлось принять и выстрадать Голгофу нынешней эпохи. Странным образом сейчас мы ощущаем себя как бы старше наших западных братьев. О, на многовековом своем пути и они знали множество гонений и украшены подвигами исповедничества. Но *величайший*, громовой удар антихристианства выпал на долю нашей Церкви. И читая папское послание, все-таки чувствуешь, что это глас не «во узах сущего», еще свободного, еще не распятого первосвященника. Русскому уху кажется он более бестревожным, чем воздух мира (особливо же русский воздух!). Наша душа более расположена к трагедии. Апокалиптическое настроение нам ближе. Ватикану как будто кажется, что все еще в порядке, все идет мирно... О, понятно самообладание и сдержанность Св. Престола. Но...— поживем, увидим. Не придется ли одному из преемников Пия XI писать Энциклики с иным оттенком, из иных мест — может быть, и не из Рима.

Западное христианство медленно, но неукоснительно также входит в полосу трагедии. Зарева церквей и монастырей Испании, первые столкновения с Муссолини — это лишь начало.

В одном можно вполне быть уверенным: с великою твердостью и мужеством встретит католическая церковь гонения.

28 июня 1931

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ДУШИ

...Существует же история войн, промышленности, литературы... Но душа? Самое тонкое и глубокое, без внешних очертаний,— и во всем просвечивающее?

Историю внутренних высот русского народа предлагает нам Г. П. Федотов в «Святых древней Руси» — историю удач и побед на сокровеннейшем поприще. Книга высокопоучительная! Может быть, даже прямо необходимая для всякого, чувствующего и любящего Россию. Любить-то любим, но знаем ли? Далеко не всегда, и часто узнаем с опозданием.

Замечательная вещь: на книге, напечатанной по-русски в Париже, рассказывающей о русских святых, марка американского издательства — YMCA-Press. Это не случайно. Сама жизнь, судьба наша так складывается, что многие аванпосты вынесены из России сюда на «порог вселенной». Что же касается культуры православной, то особенно родственно встретилась она с англо-американским миром. Дружественные связи метрополии нашей с Англией известны. В литературно-педагогической области — встреча с Америкой: годами развивающаяся и крепнущая деятельность ИМКИ (литературная, учебно-просветительная) — это тема особая, и очень интересная; сейчас укажу только бегло, сколько и о чем выпустила ИМКА по-русски книг (в Париже),— просто по каталогу: о Митрополите Филиппе и о Николае Чудотворце, о св. Серафиме, Сергии, Тихоне Задонском, об Афоне, Оптиной, Восточных отцах церкви, ряд произведений философско-богословских и др.

По своему духу это все строго православно. А по стилю отличается от православия довоенного. Можно определить так: писания русских людей о святыне и вере — после революции. Не совсем теми словами и не совсем в той установке говорится о том же. Это дает ощущение некоей свежести. Достаточно в эмиграции ветхого. Радостно видеть не вчерашний день, а завтрашний.

* * *

Книга Федотова характерна для такой полосы. Православный человек, историк и хороший писатель послевоенного времени подходит к теме: история русской святости. Материал перед ним огромный — жития, летописи, сказания. Его настроение: свободная любовь, очень искренняя и глубокая, но не стесненная официальностью, не боящаяся и критицизма. Это не агиограф, а современный верующий ученый. Он не боится отмечать в житиях литературные заимствования, анахронизмы, легендарные мотивы. Никакая полиция за ним не следит. Читатель и книга от этого только выигрывают. От того, что в житие муромских князей Петра и Февронии включены мотивы народной сказки, не проигрывают ни эти святые, ни вообще русская святость. Неважно, что изображение прихода юного Феодосия (в житии) к Антонию, первоначальный отказ Антония принять его и пророческое истолкование слов Антония — целиком взяты из жития св. Саввы Освященного. Может быть, в действительности и еще больше неточностей и искажений в житиях (особенно написанных спустя долгое время по смерти святого),— сам «бесспорный» материал так обилен, душист, своеобразен, что отдельными ошибками его не погубишь. (Епифаний-то — биограф Преподобного Сергия, с ним вместе жил, видел его и слышал — как и св. Стефана Пермского!)

Шесть столетий проходят перед глазами (XI—XVII). Русь Киево-Печерская, отшельники, святые князья, страстотерпцы, монгольские затмение и выход из него в Сергии Радонежском, цветение Севера, зажженного Сергиевым духом. Кирилл Белозерский, Нил Сорский и заволжские скиты, Иосиф Волоцкий, времена Грозного, юродивые, святые миряне и жены — картина сложная и пестрая. Не пересказ фактов интересует Федотова. Все время следит он за характером русской святости, за явлением в ней черт народных, за ее колебаниями, за тем, что сохранила и особенно оценила в святых делах память Руси. Так что мы узнаем не только наших подвижников: узнаем и черты духовного склада народа.

И с каких давних времен проявились некоторые из них! Первые русские святые, Борис и Глеб, особенно Русью полюбленные... за что, собственно? За некий дух агнцев, на заклание ведомых, за кротость и непротивление, за *страдание* на земле, добровольно (во имя Христа) принятое. Молодые и красивые святые братья — князья (очень друг друга любившие) могли бы прожить долгую и *удобную* жизнь. Но вот есть в них что-то «не от мира сего», и к «сему» миру не так-то они оказались пригодны. Борис больше молился, чем воевал. «По должности»

выступил из Киева на печенегов, но печенегов не встретил и двинулся назад. (Замечательно, что именно «не встретил»!) Зато на реке Альт встретил убийц, посланных старшим братом, Святополком. У Бориса была дружина. Этих убийц он вполне мог раздавить. Но не захотел. Предпочел быть убитым ими. «Аще кровь мою пролиет, мученик буду Господу моему». Беззащитного Глеба, еще юнейшего, уже совсем как ягненка зарезали на Днепре (у речки Медыни). Два первых русских святых, вошедших в святцы как «страстотерпцы», были первыми нашими «непротивленцами» — и что-то в подвиге их, *как будто* и бессмысленном, особенно сильно врезалось в память народную. Некий особенный запев «заплачка» даже есть в сказаниях о них: столь жалостно-пронзительна их судьба, что нельзя говорить о них словами хладными — их жития как бы *пропеты,* Борис и Глеб «восплаканы». («О, моя мягкосердечная Русь, как ты прекрасна!» — Н. Лесков.)

Да, удивительно нежна и жалостлива Русь (как и нечеловечески жестока — в другом облике своем). Что же Борис и Глеб: это святые созерцатели и страстотерпцы, это не к земной власти призванные люди. Но Владимир Святой, кажется, фигура яркая и жизненная, большой грешник и жизнелюбец (в языческой полосе жизни своей — да многое осталось, разумеется, и после крещения). И этот князь — деятель, полководец и судья, так пронзен кротостью Христовой, что сомневается, можно ли казнить разбойников. (Где в Европе найдешь в XI веке правителя с таким душевным настроем?)

Епископы-греки разрешили ему пользоваться всей силою власти. Но не осталось ли навсегда, потаенно, в русском сердце *осуждение* казни? Над Россией неистовствовали иногда психопаты, и в одержимости русские могли творить несосветимое, но спокойной, холодной жестокости лавочника, защищающего свои су, никогда не было в России. (Наш Уголовный кодекс *без смертной казни.* Что это? Откуда?)

* * *

Определяя характер русской святости, Федотов говорит о ее «светлой мерности», об отсутствии крайностей аскезы, о некоей спокойной устойчивости русского святого. Он видит в этом преемственность от палестинских аскетов, а не от египетско-сирийских. Палестинцы более уравновешены, меньше исступленности в них и больше устремления к ближнему (общежития, первые проявления монашеской благотворительности, борьба с ересями и т. п.). Этот склад, очевидно, наиболее подошел к Руси — изучавшему жизнь Преподобного Сергия Радонежского

бросается в глаза гармоничность образа святого, всегдашняя сдержанность и добрая прохлада его. Действительно, у Сергия мало общего с Антонием Великим, например. Сергий явил *тип* русского святого — самая яркая фигура древней святости (труд, доброта, молитва, ласковость — и никаких порывов, ничего драматического).

Видит Федотов еще *такую* черту в наших святых: церковный евангелизм («в древнерусской святости евангельский образ Христа сияет ярче, чем где бы то ни было в истории»). Никак не приходится умалять подвижников Запада, но наши преподобные были меньше деятелями, писателями, докторами теологии, чем свв. Доминик или Фома Аквинский. Их облик, действительно, «смиренней» и ближе к не имеющему куда преклонить главу Спасителю. (Характерно и то, что из католических святых наибольшею любовью среди русских пользуется св. Франциск Ассизский — наиболее «русский», с чертами даже юродства.)

Русские святые почти не были духовными писателями. Они вообще ничего по себе не оставляли, кроме облика — однако сияющего долго и упорно. Нил Сорский, быть может, единственный из древних писатель,— тончайший и высокий образ *лесного* русского святого, заволжского созерцателя и основоположника скитской, бессребреной жизни. В нем опять черта русской кротости (как и в Преподобном Сергии) проявляется очень сильно. Он был не только совершенный противник монастырского землевладения (и вообще некоторого обрастания монастырей «благами»), но признавал только совершенную бедность (а св. Кирилл Белозерский? — то же самое). И еще замечательная черта: был против расправ с еретиками и инаковерующими.

Делами инквизиции русская церковь вообще меньше занималась, чем западная. Роль *святых* русских в этом не светлом деле невелика. (И опять показательно: Иосиф Волоцкий, противник Нила Сорского, замечательный, волевой и огненный деятель, типа скорее западного, нашею Церковью канонизирован... но когда речь зайдет о святости, кого назовут: Преподобного Сергия, Серафима, Нила Сорского, Феодосия Печерского,— а «великий инквизитор» всегда в тени. Не оставил в русском сердце св. Иосиф глубокого следа!)

* * *

То, что было в народной душе неукладывавшегося в «светлую мерность», принимало характер «юродства» — явления замечательного и глубоко русского. Без юродства не была б Русь Русью — как ни тягостны иногда черты юродивого. Принятие

на себя уродливо-искаженного облика, смирение, состоящее в том, чтобы вызывать отвращение...— надо признаться, нерадостна эта наша «достоевщина», коренящаяся в каких-то болезненных чертах души. Нет, я предпочитаю Сергия Василию Блаженному, запустившему камнем в икону Богоматери (где внизу был изображен дьявол), ходившему по морозу в веригах и, конечно, громившему неправду (в этом и близость к древним пророкам и венец канонизации). Но дело не в личных пристрастиях. Образ святого в униженном и почти гонимом, в полуголом и голодном существе чем-то особенно близок был Руси. Святых-юродивых знала лишь Византия — Западу это почти вовсе чуждо (но вновь: св. Франциск!). Зато Россия видела не только юродивых-святых, но и юродивых *не*-святых, юродивых в быту, в разных слоях — от баб-кликуш и деревенских «дурачков» до писателей. Может быть, капля юродства вообще у нас в крови, это наша опасность и болезнь — но и наше своеобразие.

* * *

Замечательно, что семнадцатый век дал мало святых — тот самый век, когда православие заняло в России победоносную позицию. Казалось бы, вся жизнь, быт сверху донизу проникнуты церковностью,— а святых нет. Но это была именно смерть *духа святости,* замена его обрядом, уставом. Федотов тонко и интересно замечает, что позднейшая Империя (в XIX в.), с прохладою своей и явной чуждостью религии, оказалась более благоприятной средой для внутренней духовной жизни, чем царство Алексея Михайловича, Москва XVII века со всеми своими теремами, пирогами, банями и Домостроями.

О последнем, удивительном явлении русской святости — Преподобном Серафиме — автор упоминает кратко: это уже вне его темы. Но это все та же Русь, может быть, еще как-то осветленная и полегчавшая, соединившая удивительное сияние Духа с радостию (Серафим всем улыбался и всегда внутренно «веселился») — предельной простотой и смирением, с небольшой, может быть, тонкой струйкой юродства,— не только не отвращающего, а скорее влекущего: какой-то уж очень большой непосредственностью.

«Святые Древней Руси» не есть книга духовно-мистическая. Это — история, написанная верующим, живым человеком со своими особыми вкусами, взглядами, вообще написанная *от себя*. И как все свежее и талантливое — очень интересная. Много о ней можно подумать и поговорить. А еще больше — о ее огромной теме.

28 ноября 1931

ДЕНЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
<ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА ПРАЗДНЕСТВЕ 12 ИЮНЯ В ТРОКАДЕРО>

На древней иконе «Сошествие Св. Духа» Апостолы размещены полукружием в некой идеальной горнице. Сверху веерообразно брызжут на них лучи. Апостолы сидят в задумчивом сознании нисшедшей, восприятой силы. На нижнем плане, у их ног, в подобии пещеры изображено юное существо: космос — Вселенная.

Существо это привлекательного вида, но находится в темнице. Мир — божествен, но еще не просветлен. Просветить его и должны Апостолы, благодатию и истиной, потрясшею их.

Эту икону можно толковать как образ рождения культуры. Получив свои дары, Апостолы пойдут с ними во все концы света. Их цель — возвести мир на ступень высшую. И дать ему строй, лад, гармонию. Они носители высшей духовной культуры. Целиком на земле она осуществлена быть не может. Окончательный, безупречный и безгрешный Космос есть Рай — запредельное...— но и в нашей действительности дан путь к нему и его отблеск.

Просветление жизни духом культуры, духом Божиим следует понимать широко: религия, мораль, общественность и человеколюбие, философия, наука, искусство со всеми его ветвями. Все это голубой свет Духа Святого. Всякое истинное творчество утвердительно, успокоительно, несет в себе порядок и строй. Шум есть хаос, а музыка Баха — гармония. И гармония — икона Андрея Рублева, Ватиканские станцы Рафаэля, создания Александра Пушкина. На всем этом благодать, как и на скромнейшем, но чистосердечном добром деле. Цвет культуры голубоватый, как голубым видится небо. Как голубоватым представляется нам воздух Рая.

Нынче празднуем мы день русской культуры. Что значит русской? Разве не для всего мира принесли Апостолы свой свет и свое творчество? Для всего. Но как разны были языки, на которых они заговорили, так разно преломились их дары у разных народов. Своеобразны и творчества, и миросозерцания их. Есть в мировой симфонии и русский голос. Он раздался позже других. Возможно, ему-то и принадлежит будущее.

Русский голос слышен сейчас сильно. «Русское» вышло на арену мировую. Время провинциализма и китайщины окончено. Одни русских любят, другие не любят. Но все теперь нас знают.

Есть взгляд, что Россия и русское — это разрушение, анархия, тот красный цвет, в котором именно и нет культуры. Для

«римлянина» современности русские — вроде готов, лангобардов или гуннов. «И главный разрушитель ваш,— говорят они,— Достоевский. Да и Толстой. Они и выразили собой русское бунтарство, сквозь них отлично видно, что от русских можно ждать всего, чего угодно».

Обвинение тяжкое. Заслуженное ли?

О, мы знаем горькие свои черты. Не чужеземцу открывать их нам. Но где, у кого нет греха и преступления, в греховном мире, коему предстоит еще быть расколдованным? Только в России, в русском — грех открытее, прямей, меньше смягчен приличиями и удобством.

Что же, можно поверить, что Достоевский, Толстой — только родоначальники разрушения? Так просто — позабыть старца Зосиму, князя Мышкина, Алешу Карамазова? Не принять великой утвердительной силы «Войны и мира»? Или же выбросить Пушкина? А Александр Иванов? Глинка? А Суворов? Ломоносов?

Нет, неверно, что истерию, анархию и безумие несут русские. Глубоко неверно, сколько бы ни делалось ссылок на «достоевщину» и коммунизм. Ибо всегда уклону в одну сторону есть в русском духе противовес — много перевешивающий — и в другую.

Отбросив греховное и трагическое, дóлжно взглянуть на высшее и безусловное в русском — на характер русской святости. И тут, к некому даже изумлению, видим, что в ней именно отсутствие экстаза, чувственного восторга и болезненности. Напротив, строгое спокойствие, простота, мера. На окончательных своих высотах русский дух здрав и гармоничен. Таков Преподобный Сергий — благоуханнейшее дитя севера. Прохлада, выдержка и кроткое спокойствие, гармония негромких слов и святых дел — вот образ русского святителя. В народе, якобы лишь призванном к ниспровержениям и разинской разнузданности,— Сергий как раз пример — любимейший самим народом — ясности, света прозрачного и ровного. А улыбающийся, всегда радостный, простой и кроткий Серафим, в глубине лесов Саровских изливающий прямое веяние Св. Духа. Это и есть — беспримесная, непораженная Россия, над которой некогда, по традиционному представлению, прозвучал голос Апостола Андрея Первозванного...

Российскую духовную культуру,— в самом широком смысле понимаемую,— мы сегодня и прославляем. Она — отрасль общечеловеческой, лишь с особым оттенком, так же как Апостол Андрей есть один из двенадцати Апостолов, но носящий свое имя, особенное. Зародившись в дальние века в делах святых,

зодчестве строителей, живописи иконописцев, в сложении и защите мощного государства, в колонизации, в народной поэзии и музыке, позже продолжаясь в литературе, философии, науке, искусстве, в пафосе русского человеколюбия — это культура есть наша путеводная звезда.

Но чужой, хоть и благожелательной земле еще ближе все это. Еще больше волнует. Все у нас отнято: родина, дом, имущество. Может быть, нам будет и еще тяжелее. Но «непомнящими родства» мы никогда не были — и не будем. Пусть мы бедны и бесправны, но у нас святыни — свои, русские: их не отымешь. В живом ощущении их, во вживании в них — наше освежение и укрепление: духовный озон, без которого холодно и одиноко жить.

1932

С.-ЖЕРМЕР ДЕ ФЛИ

I

...Не впервые доводится мне жить летом под Парижем — за полосой пригородов, там, где начинается Франция земледельческая: крестьянская и помещичья. То ли это окрестности Манта, то ли Шато-Тьерри. На сей раз — Жизора и Бовэ. Люблю французские поля с яблонями, густые, путаные леса с подседом и деревьями, завитыми плющом. Мягкую, разнообразную волнистость Иль-де-Франса. Старые его замки. И могучие, вековые соборы. Их так много! Иногда это просто сельские церкви, ветхие, но величественные, и даже грозные. Неизменный петух над крестом, окна, случается, полуразбиты, в старых черепицах крыш целые произрастания. По ночам глух и строг бой их часов — лишь сова откликается auканием (но далеко ей до миломузыкальных провансальских сычей!). В эти церкви и кюре приезжает раз в три недели — на велосипеде. Служит мессу двум десяткам престарелых дам, скромным деревенским барышням и пяти мужчинам в черных пиджаках. Церкви же благородными своими (иногда — руинными) силуэтами украшают пейзаж.

Вблизи одного замечательного аббатства, в местечке Сен-Жермер де Фли и провел я теперь одиннадцать прекрасных дней.

* * *

Сколько святых во Франции! Одна «наша» епархия, Бовэ, насчитывает их свыше шестидесяти (правда, за полторы тысячи лет).

Св. Гермер жил в седьмом веке, при Меровингах. Сначала придворный, потом монах. Легенда говорит, что вместе с св. Уаном, епископом Руанским, бродил он однажды утром, стараясь выбрать место для обители. Особая роса сошла на землю — серебряным ожерельем указала святым друзьям место. Так что на туманах и росах взошел нынешний Сен-Жермер. Русского путника, привыкшего родные монастыри видеть на возвышенности, на нагорном берегу реки и т. п., удивляет, что С.-Жермер расположен в котловине, в местности влажной, с болотцами и низинами. Но здесь именно и легла таинственная цепь.

Жизнеописание дает мало личных, живых и теплых черт святого. Можно с уверенностью считать, что был он правителем, советником и человеком волевого склада — возможно, и суровым. Будучи настоятелем монастыря в Пентале (до собственной обители), настолько не поладил с братией, что однажды ему под одеяло положили кинжал с расчетом, чтобы он пронзил его. Случай столкновения с братией был и в жизни нашего Сергия Радонежского (без ножа, однако). По-разному разрешилось дело. И св. Гермер и Преподобный Сергий ушли из монастыря, но Сергий временно, а возвратился по зову самой братии, раскаявшейся и побежденной издали кротостью святого, вестями о его высокой и блаженной жизни. Были ли суровей времена св. Гермера? Или сам он был суровее Сергия? Этого мы не знаем. Но с монахами Пентальского монастыря аскет, евший лишь хлеб, пивший соленую воду, так и не сошелся.

Собственное же его аббатство процвело. Кроме монастыря, были тут и школа для мальчиков, и, вероятно, библиотека. Обычный облик: монастырь — центр просвещения и культуры. В трудах аскетических и административных проходит жизнь святителя. С 658 года — года его смерти начинается посмертное существование аббатства — дела св. Гермера, его овеществленного творчества. И когда видишь над овальным входом — древними вратами — выведенную готическими буквами надпись Abbaye de St.-Germer, поражаешься силе и настойчивости идей. Медленно текут века — и сколько их! Тринадцать протекло с тех пор, как в диких зарослях, болотах, где осенью выли волки, услышали святые-друзья не волчий вой, а таинственный голос и увидели знамение, указавшее место. Монастырь, основанный ими, через двести лет был разграблен, сожжен и «сравнен с землею» норманнами. Но столетий еще достаточно! В 1036 г. епископ Друон Бовэсский закладывает новый храм аббатства: творчество св. Гермера не прерывается. Храм Друона дошел до нас, огромный «корабль» из крепкого известняка (craie dure). Строить его не спешили — закончен он в XII столетии. Помимо

воли (посмертной) св. Гермера, его «подняла» на себе волна прилива духовного тех времен: эпохи св. Бернарда, крестовых походов, Франциска Ассизского. На самом стиле отразилось медленное его сложение: абсида чисто романская, другие части полу- и вполне готические.

Позже, в тринадцатом столетии, пристроили Sainte Chapelle — изящное, чудесное здание раннеготического стиля: очень родственное (если не копия) нашей парижской Sainte Chapelle.

Сейчас эта соединенная громада властвует над селением. Маленькими и скромными кажутся рядом с нею деревенские дома (тоже довольно старинные, со старинным изяществом и стильностью) — перед стенами аббатства образуют они четырехугольник с лужайкой внутри, небольшим обелиском: из него вечно льется струя ледяной воды превосходного вкуса.

* * *

Если сквозь овальные ворота под прежней залой монашеских собраний, нынешней мэрией, пройти во двор, то слева за стеною видишь огромное двухэтажное здание семнадцатого века, с радужными кое-где стеклами окон, обветшавшее и как бы утомленное. Но это... Россия! Входите через калитку в палисадник, и между статуями св. Девы под плющом в одном конце и св. Гермера в другом — серенькие платьица, русые косы, «наши» лица. Воспитательницы, сестры в черных апостольниках... В бывшем доме аббата русский женский монастырь Нечаянная Радость и при нем общежитие для девочек.

Русские перебрались сюда два с лишком года назад — в запущенный, нежилой дом. Медленно и упорно приводили его в порядок: и добились многого. Своя церковь, трапезная, дортуары детей, келии монахинь, комнаты для приезжающих на пансион дам, электричество, души, прачечная, кухня...— все это владения игумении Евгении. Небольшой, замкнутый мир со своей упорной, трудовой, религиозной и просветительной жизнью. (Девочки учатся в коммунальной школе. Русские же предметы и Закон Божий преподают им русские учительницы[1].)

Церковные службы — монастырские, длинные, с «катавасиями», с небольшим, но приятным полудетски-девическим хором.

Православный крест над русской Церковью Нечаянной Радости.

---

[1] Нынешним летом комиссия, приезжавшая на экзамены из Парижа, отметила прекрасные успехи учащихся.

* * *

Я жил в угловом доме на площади. Из окна моего видны ворота аббатства, мэрия над ними, башенка с часами над мэрией. И дальше, вдоль дороги, от которой восходит к ним лужайка, могучие стены собора и Св. Капеллы. На дороге нередки автомобили. Туристы останавливаются и бродят перед контрфорсами. Глазеют на знаменитую розетку. В лунные ночи бледно зеленели пред окном моим эти каменные громады. При заходе солнца случалось сидеть на лужайке у двух химер (голова одной поросла травою — точно волосы выросли) — слушать орган, сопровождаемый спокойным, чистым голосом.

Это поэзия католицизма. И его классический стиль, отходящий понемногу в историю. Время пышных Соборов проходит, как уходят сельские кюре, завтракавшие у помещиков и читавшие с ними «Фигаро». Теме «Христос в Соборе» противопоставляет жизнь тему «Христос в баньле» (название книги аббата Ланда). Барское в католицизме на наших глазах перерождается в демократическое.

...Любопытно видеть рядом и православие. Церковь Нечаянной Радости невелика (особенно сейчас, из-за ремонта прежнего помещения). Но она в непрерывном действии. Много часов уходит на службы перед скромным, военно-походного типа иконостасом. (Далеко до *романского* алтаря С.-Жермера — произведения музейного.) Русские здесь не дома. Ведут жизнь бедную, трудовую, нередко прерываемую всяческими осложнениями. Но... странное ощущение: эта маленькая церковка с нехитро написанными иконами, с хором девочек, несколькими монахинями, сестрами и приезжими дамами более выражает современность христианскую, «новый стиль» христианства — чем священная громада св. Гермера.

О, и у нас, в прежней православной России, была своя история и археология, иногда святая, иногда не очень. Но революция пронеслась смерчем. Теперешняя русская церковь, гонимая и «не имеющая, куда преклонить главу», есть церковь дореволюционная, во многом иная, чем прежде. С нее сошло бытовое «благополучие». Идти в священники, в монахи сейчас в России *подвиг,* в эмиграции тоже *никак не карьера.* Все это вспоминается в православном С.-Жермере. Скромная церковка с мирными монахинями, сестрами, девочками есть крупица Церкви, на пожарище вновь возникающей — свежими побегами. Церкви изгнаннической, бесправной, безденежной...— но ведь это как раз то, что и надо?

28 августа 1932

II

Монастырям свойствен особый дух, очень далекий от того, что думают о нем люди общества. Может быть, впрочем, они ничего и не думают (самостоятельно). А повторяют чужие фразы — с чужого голоса ужасаются. Раз нет развлечений, привычных маленьких удовольствий, всей мелкой *суеты*, за которую мы цепляемся (ею и прикрываем ничтожество бытия своего),— значит, жизнь ужасна. Сколько раз приходилось слышать, например, о пострижении:

— А это очень страшно? Нет, так ведь он от всего отказывается? Прямо в могилу лечь живым?

Так «сожалеют» добрые непонимающие. Им, из их жизни (газета, синема, сплетни, «фасончики»...), совершенно искренно кажется ужасом, что какой-нибудь X. меняет все это на другое.

...Я слишком знаю мир, чтобы высокомерно клеймить человеческую близорукость. Мир силен. Крепко он нас держит. Дальнозорких единицы. Нас, «малых сил»,— тысячи.

И все-таки, от всего своего мирского сердца не могу не сказать: неправда, конечно, что монастырская жизнь есть некий мрак и гроб. Как раз обратно. Не всем дано идти этим путем. Не к чему становиться на него неподходящему. Но существует некий «монашеский талант», как бывает талант политика, философа и музыканта. У кого он есть, кто попадает в монастырь *на свое место*, для того там — свет. И не только сам он себе светит, но и других освещает.

...Незачем сентиментально подходить к монастырю. Хорошо известно, сколько тягостного и непреодоленно-житейского несет в себе монашеский обиход. (Ведь это коммуна — труднейшая форма сожительства! А люди, даже и в клобуках,— не ангелы.) Но вот не раз приходилось слышать от монашествующих: самые счастливые минуты жизни их — постриг и последующее «блаженное» состояние (чистоты и близости к Высочайшему). Очевидно, и в дальнейшем, несмотря ни на какие подводные препятствия, жизнь монашеская обладает некиим *легким* золотым *сиянием* — ибо оно чувствуется и *нами*, посторонними: как веяние духовности и *радости*.

Истинный монастырь всегда радостен.

* * *

Думаю, монастырские службы — длинные и трудные — необыкновенно важны для монашеского уклада. Сначала «здравый смысл» протестует: ну, к чему такие бесконечные чтения,

однообразные напевы, медлительный и упорный ритм богослужения? Оказывается, не зря. В вековой традиции монастырей великая мудрость. Долгие эти служения пропитывают человека своею духовностью (общением с Высочайшим). Пусть яблоко аркад зреет на солнце. Ему нужно долго вбирать в себя солнечные лучи, чтобы, созрев, обратиться в легкий, золотисто-прозрачный плод. Осветлять *человека* еще труднее, чем яблоко. На это нужно время, музыка и благодать служения.

На Афоне службы преимущественно ночные. В с.-жермерской Нечаянной Радости дневные — утром литургия, под вечер сложная и длинная всенощная. Маленьких детей уводят рано — но и они поют, пока стоят,— и даже очень мило. Взрослые же девочки совсем спецы своего дела: службу знают назубок, поют на совесть. Церковь помещается в первом этаже старинного аббатства. Ее дверь выходит в огромную залу, так называемую «Сахару». Тут же комнаты, где живут летом приезжающие на пансион дамы. Окна их глядят в старый парк. Вдали лесистые холмы, к ним восходят поля в яблонях. Солнце совершает над ними путь свой и пред вечером золотит скромные комнаты-келии. Если сидеть на подоконнике, смотреть на ясное небо, то слышишь издали полузаглушенное, но мелодическое пение девичьих голосов из церкви. Так на Афоне, в монастыре св. Пантелеймона, сидя у себя в комнате над житиями, слышал я доносящуюся из параклисов службу (параклисы — небольшие церковки, которыми пронизаны громады строений св. Пантелеймона). Пред глазами там розы на балконе, за ними море и направо снеговой Олимп. Здесь — мирный и прекрасный пейзаж Франции. И как там, так здесь столь русское, предельно русское,— не на русской земле.

Что касается Франции, это провиденциально, связано с судьбами православия — весьма долго таившегося на заколдованном (для Запада) Востоке — теперь вышедшего в мир. Слишком долго Запад не знал его вовсе. А по существу православие так же международно, как и католицизм. Почему мыслить его только в теремах царя Алексея Михайловича?

Вот ведь и здесь, в святом месте св. Гермера, русские дети молятся западному святителю. Да и вообще так сложилось, что просветительное дело св. Гермера теперь в руках русских. Я уже говорил (в первом очерке), что учебно-воспитательная традиция тут давняя. Школы времен святого сменялись новыми, из века в век. Последняя была тоже женская — закрыта во время гонений на религию при Комбе (в начале нынешнего века). Но христианство к гонениям привыкло. Городовыми, даже французскими, его не сломишь: на том самом месте, где был

пансион французских девочек под руководством монахинь,— теперь русский. (А недавно приезжал издали французский аббат, простоял нашу литургию. Потом служил свою, в соборе, и молился за русских.)

Статуя св. Гермера — в садике перед Сахарой. Дни его памяти празднуются русскими, кажется, более торжественно, чем самими католиками. Маленьким детям, укладывающимся на ночь в гулких дортуарах за вековыми стенами, представляется он, вероятно, чем-то средним между добрым духом и рождественским дедом. У старших и монахинь отношение к нему более мистическое.

* * *

Вечером, после заката, выходишь с пустою бутылкой к источнику на зеленой лужайке против аббатства. Ледяная вода прекрасного вкуса! Вечно льется струею из обелиска. Тихой своею музыкой напоминает Рим — многофонтанный. Обмоешь бутылку, подставишь ее,— серебряно хлюпая и брызгаясь, вода ее быстро наполнит, охлестнет холодом руку...— и тотчас стекло покрывается мелкой росой...— какая прелесть! Нельзя оторваться от этой росы.

Сядешь на каменную тумбу близ источника («на белом камне», только это уж не Анатоль Франс...) — и долго сидишь. Подходят из монастыря дамы, кто с кружкою, кто с кувшином, тоже за водой. Перекинешься несколькими словами. В надвинувшейся ночи грандиозней и величественней корабль и Св. Капелла Гермера. Часы выбивают четверти. Дома вокруг площади затихают. И вдруг сзади, далеко, вспыхивает свет автомобилей. Кинет узкую тень обелиска и грибную шляпу строения на древние стены аббатства. Свет растет, тени напрягаются, ярче чернеют — автомобиль вылетел, и мягко, безнадежно поплыли тени влево — исчезли...

В одно из сидений таких подошел русский, приезжий,— разговорились. В полутьме чувствовался нервный голос человека бывалого, много пережившего, много видавшего. Офицер, в гражданской войне исколесивший Азию, пробиравшийся с бумагами из Омска к Деникину, попавший в Туркестан, в Китай, шесть лет работавший в Индокитае («там и здоровье потерял»). На белом камне пред журчанием вечного источника рассказывает он. Как необъятна Россия! Называет города Средней Азии — понятия о них не имею. Вот равнина между двух горных цепей — некогда кочевники по ней вливались с Востока. Теперь разбитые русские части хлынули через нее в Китай.

— Мы-то с женой, по правде говоря, чудом спаслись. Ныне

из городка выехали, а назавтра китайцы. Всех наших больше викам продали. Там, знаете, у губернаторов у этих просто. Кто больше даст. Да, захватили всех, кто в городе жил. Только казачий отряд, слыхали, может, сербского генерала Бакича, что за городом в лагере стоял, успел уйти.

Он начинает волноваться, горячиться.

— Ах, тут на Западе половины этих ужасов не знают. В другом городе — там прямо сами китайцы (с большевиками, конечно) всех русских мужчин в одну ночь вырезали. Тоже губернатора большевики подкупили. А женщин согнали в манеж в такой — и туда молодых китайцев, туркмен, калмыков... о, Боже мой! Ну, и наши казаки потом (этого самого генерала Бакича), когда к тому городу подошли,— всех китайцев вырезали. А губернатору повеситься пришлось. А-а, проклятая страна Азия, Бог с ней...

Вот он, неожиданный «разговорчик» на белом камне...

* * *

Это и называется: жизнь, как она есть. Не одни русские ее знали — хотя русским всегда готова была чаша первейшая.

А здесь? Правда, не теперь... гораздо раньше. Сказано же в истории, как в девятом веке «норманн Роллон сравнял с землею аббатство св. Гермера». Это поэтическое место тоже знало пламя пожаров, стоны, кровь, насилие... Вечное содержание Истории: одни над чем-то тихо, созидательно трудятся — смысл их существования в таком сложении «камень за камушком». Другие — буря и разрушение. Неудержимый порыв пролить кровь, сжечь, изнасиловать.

...В Обители свет лишь в церкви. Те же несколько фигур в монашеских мантиях, сестринских апостольниках. Малыши давно спят. Взрослые девочки поют по-прежнему. Да, это наши молятся. Упорно, одиноко славят Бога. В мирном Его незабывании, в неустанном подъеме, приливе высоких чувств — некий ответ. Это тоже жизнь. Но другое ее лицо. Вечно противоположное звериному... и вечно распинаемое.

— Я иду против мира, и мир идет против меня.

* * *

У себя дома, на улицах Парижа, иногда в метро вспоминаю С.-Жермер де Фли. Ветерок, втекающий в церковь на всенощной, свечи колеблющий. Зарницы вечером над аббатством и слабо слышный с дороги хор, с нежной настойчивостью свое поющий.

Детей беженских, играющих в саду. Голубую грозу ночью — с луною в одной части неба, тучами в другой и зелеными, редкими каплями дождя.

После молебна священник с кропилом, в сопровождении детей и монахини, быстро обходит сад, кропит огород, деревья. Это русский князь. Молодая монахиня — германка, бывшая католичка, окончившая Боннский теологический факультет,— ныне православная монахиня.

Русский князь с русскими детьми и германской студенткой благословляют французскую землю.

. . . .

Ходит еще за мною по пятам жизни один мотив — след С.-Жермера: древний распев «Верую», никогда раньше не слышанный. Сколь нежен и трогателен!

11 сентября 1932

ОКОЛО СВ. СЕРАФИМА

(К столетию его кончины)

Радуйся, тамбовские страны
священное украшение.

Акафист.

В юности пришлось мне некоторое время жить вблизи Сарова — всего в четырех верстах. Знаю Темниковские и Ардатовские леса, знаменитый бор обители Преподобного: сорок тысяч десятин мачтовой, удивительной сосны и ели. Лес этот заповедный: монахи не позволяли охотиться в нем — был он полон всякого зверья — и медведи, и лоси водились в нем. (Мы с отцом стреляли иногда тетеревов на пограничных с саровской дачей вырубках. Но в монастырские владения не проникали.)

Все это было так давно! — в конце прошлого века. Мы жили рядом, можно сказать, под боком с Саровом — и что знали о нем! Ездили в музей или на пикник. Линейка тройкой выезжала с Балыковского завода, ехали деревушкой Балыково, потом темниковским большаком, по песчаной дороге с колеями, со старыми деревьями, кое-где засохшими или спаленными молнией. Начинался, наконец, лес. Тут сразу становилось сумрачно, сыро, духовито... Линейку потряхивает на корнях, по выбоинам — ехать можно только шагом. Кое-где ели повалены. Огромнейшие муравейники. Высокие стебли иван-чая, с розовыми цветочками:

тетеревиная травка. Да, тут может выскочить с ягодника какой-нибудь увалень-мишка — вовсе не страшный и людей бегущий,— то есть таких людей, как мы, в ком чувствует недругов. От Серафима не бежал бы.

Самый монастырь — при слиянии речки Саровки с Сатисом. Саровки не помню, но Сатис река красивая, многоводная, вьется средь лесов и лугов. В воспоминании вижу легкий туман над гладью ее, рыбу плещущую, осоку, чудные луга...

А в монастыре: белые соборы, колокольни, корпуса для монахов на крутом берегу реки, колокольный звон, золотые купола. В двух верстах (туда тоже ездили) — источник святого: очень холодная вода, в ней иногда купают больных. Помню еще крохотную избушку Преподобного: действительно, повернуться негде. Сохранились священные его реликвии: лапти, порты — все такое простое, крестьянское, что видели мы ежедневно в быту. Все-таки пустынька и черты аскетического обихода вызывали некоторое удивление, сочувствие, быть может, тайное почтение. Но явно это не выражалось. Явное наше тогдашнее, интеллигентское мирочувствие можно бы так определить: это все для полуграмотных, полных суеверия, воспитанных на лубочных картинках. Не для нас.

* * *

А около той самой «пустыньки» святой тысячу дней и ночей стоял на камне, молился! Все добивался — подвигом и упорством — взойти на еще высшую ступень, стяжать дар Духа Святого — Любовь: и стяжал! Шли мимо — и не видели. Ехали на рессорных линейках своих — и ничего не слышали.

А у прислуги нашей, в кухне Балыковского завода, висела на стенке, засиженной мухами, литография: св. Серафим кормит медведя. Согбенный старичок дает зверю сухую корку — тот мирно ест ее. Для нас все это тоже «лубок» и «легенда». Но читали ли мы Дивеевскую летопись? Нет. В Дивеево ездили за почтой, да иногда к монахиням, мать заказывала, кажется, какие-то рукоделия. Вот и все. (Правда, надо сказать, в то время и книг о Преп. Серафиме не видно было. Откуда их и достать?)

В Дивеевской же летописи существует ясная запись старицы Матрены Плещеевой, навестившей Преподобного в пустыньке, где он именно и занимался в тот час... кормлением медведя.

— Особенно чудным показалось мне тогда лицо великого старца: оно было радостно и светло, как у ангела.

Без медведя не обходится русский северный святой — мы с медведем знакомы со времен св. Сергия Радонежского. Но

там скептику легче сказать: «Легенда!» Серафим жил почти на наших глазах, во всяком случае, на глазах наших дедов (а то и отцов. Мне самому рассказывал покойный писатель В. Ладыженский, что его мать бывала у Преподобного Серафима). И медведь Серафима еще, кажется, народнее Сергиева: сколь ни помню я степенных наших кухарок, в Тульской губернии, в Москве,— скромный, сутулый Серафим с палочкой, как бы светлый рождественский дед, всюду за нами следовал. Только «мы»-то его не видели. Нами владели Бёклины, Боттичелли... Но кухарки наши правильней чувствовали. В некоем отношении были много нас выше.

* * *

— Боже, милостив буди мне, грешному!

Так он молился на своем камне. Тысячу дней, тысячу ночей. Днем на одном камне, ближе к пустыньке, а ночью в самой чащобе, на другом... Поест немножко, поспит, и опять за молитву. Незадолго до смерти так рассказал одной доверенной особе о питании своем тогдашнем:

— Ты знаешь снитку? Я рвал ее да в горшочек клал; немного вольешь, бывало, в него водицы — славное выходит кушание.

Как же зверям бояться такого? Он с ними, можно сказать, и жил, но только наполнялся непрерывно Любовью — и сошел с камней своих уже особенным, чудесным... На камне потрудился — для себя и всех. Теперь уже чувствовал силу и возможность идти к людям. Некоторое время побыл еще в затворе, а потом — вышел. И вот, не звери к нему шли: люди.

— Радость моя,— говорил приходящим. Это обычное его обращение. Всех любил, обнимал, улыбался. Иногда руки целовал. Особенно любил детей, да и сам был святое дитя — то есть стал им чрез подвиг. Ведь готовился к этой минуте, то есть когда сможешь обратиться к миру,— собственно, всю жизнь! Вышел из одинокой, затворнической келии на седьмом десятке лет.

— Созрел!

А еще считаем, что старость — расслабление, упадок, холод. Разные, значит, бывают старости. Св. Серафим именно последние семь лет жизни своей, когда с раннего утра до вечера толпились вокруг него посетители — кто с чем: с бедами своими, болезнями, за наставлениями, за указаниями...— тут-то он и сиял — иногда трудновыносимым даже светом. Тут-то и начались исцеления, чудеса — святой во весь рост показался.

* * *

Удивительна власть его над людьми в это время. М. В. Мантурова он исцелил — и тот дал обет вечной нищеты: действительно, все раздал, остался при св. Серафиме до самой его смерти. Сестре Мантурова дал послушание: умереть! Это одно из удивительнейших его действий может вызвать даже смущение. Почему смерть? Он очень любил Елену Васильевну, но вот в один прекрасный день почувствовал, что лучше ей умереть. И назначил так. Она и умерла. Ее оплакивали, а он говорил: «Ничего не понимают! Плачут! А кабы видели, как душа-то ее летела, как птица вспорхнула! Херувимы и Серафимы расступились». Тот мир ему более близок и видим, чем этот. У св. Серафима было чувство рая, именно рая, а не ада. Рядом с ним все — свет и радость. В сущности, он рай знал уже здесь. И говорил о нем — это такое состояние, что для него все на земле претерпеть можно. И что такое для него смерть! Когда он просто видел, куда отходит искренно им любимая Елена Васильевна?

Был еще один такой помещик Мотовилов, очень мучившийся от ревматизма, «с расслаблением всего тела и отнятием ног, скорченных и в коленках распухших... коими страдал неисцельно более трех лет». Он приехал, наконец, из Лукояновского своего имения, к св. Серафиму, и тот его исцелил: этому надлежало жить, и довольно долго! Скромный помещик (впрочем, образованный человек) сыграл огромную роль в окружении святого — главным образом, своими записями о делах и беседах Преподобного. Об одной такой записи нельзя не рассказать.

«— Это было в четверг. День был пасмурный. Снегу было на четверть на земле, а сверху порошила довольно густая, снежная крупа, когда батюшка о. Серафим начал беседу со мной на ближней пожнинке своей, возле той же его ближней пустыньки, против речки Саровки, у горы, подходящей близко к берегам ее».

Начинается беседа о Св. Духе — запись представляет из себя одно из замечательнейших произведений литературы нашей. Мотовилов сидит на пне дерева, только что срубленного семидесятилетним святым. Сам святой — против него, на корточках. (Серафим, некогда могучего роста и большой силы, после нападения на него разбойников и избиения обратился в «согбенного» и «убогого».)

Русская лесная полянка, снег, елки, русский святой говорит о самом важном и величайшем...— о цели христианской жизни — стяжании Св. Духа. Это не «Пир» Платона, с вином и

юношами. Но в «Пире» ведь ничего и не происходит... А в беседе Серафима[1] дело кончается ведь чудом: оба собеседника из саровского леса, из-под снеговой крупы непосредственно попадают в Царствие Божие. Все вокруг остается как бы прежним — но все чудесное, иное. И сами они будто бы прежние, да не те... В некоторый момент св. Серафим говорит:

— Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобою!.. Что же ты не смотришь на меня?

Мотовилов отвечает:

— Я не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпятся. Лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит до боли!

— Не устрашайтесь, ваше Боголюбие, и вы теперь сами так же светлы стали, как и я сам. Вы сами теперь в полноте Духа Божиего, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть.

«...Я взглянул после этих слов в лицо его, и напал на меня еще больший благоговейный ужас. Представьте себе, в средине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на несколько сажен кругом, и озаряющий ярким блеском своим снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и великого старца».

Дальше Серафим, сияющий, все сидящий на корточках, упорно Мотовилова расспрашивает, что же он чувствует? Оказывается: «необыкновенно хорошо!» Тишина и мир такие, что никакими словами выразить нельзя. «Необыкновенная сладость». «Необыкновенная радость». А еще:

— Теплота необыкновенная!

— Как, батюшка, теплота? Да ведь мы в лесу сидим. Теперь зима на дворе, и под ногами снег, и на нас более вершка снегу, и сверху крупа падает... какая же может быть тут теплота?

Оказывается, под крупою этой райскою Мотовилову тепло, «как в бане». И такое благоухание, что не может сравниться ни с какими лучшими духами.

Это и было для Мотовилова и Преподобного Серафима явлением рая на земле. На замечание Мотовилова о необыкновенной теплоте ответил Серафим, что ведь снег ни на нем, ни на Мотовилове не тает, «стало быть, теплота эта не в воздухе, а в нас самих».

---

[1] Передать ее всю здесь, к сожалению, невозможно.

По его учению, это и есть теплота Духа Святого. Царство Божие, сошедшее на человека.

«Ибо Господь сказал: царство Божие внутри вас есть».

* * *

Мне пришлось покинуть окрестности Сарова до начала этого века. В июле 1903 года «убогого» Серафима причислили к лику святых и прославили его мощи в Сарове же, при безмерном стечении народа. Приезжал государь с семьей. Очевидцы передают, что торжество было необычайное, подъем духа удивительный, как бы некоторая «Пасха». Об этом, впрочем, святой говорил в свое время:

— О! Во, матушки вы мои, какая будет радость: среди лета запоют Пасху! А народу-то, народу-то со всех сторон!

Тем же летом 1903 года появились в «Московских Ведомостях» записи Мотовилова (60 лет пролежавшие в Дивеевском монастыре). Разумеется, никто из «нас» их тогда не читал. Правда и то, что читать «Моск. Ведомости» трудновато было: уж очень отзывало участком. Но вот все-таки только туда и мог попасть перл этот.

Мы проглядели самую канонизацию святого. Прекрасно помню лето 1903 года. В газетах, конечно («по приказанию начальства»), писали о Саровских торжествах, а в обществе посмеивались.

— Не ко времени святого открывают!

Мы считали, что и открывают его «архиереи и урядники». Ни малейшей роли не сыграл Преподобный Серафим тогда ни в моей жизни, ни в жизни окружающих. Говорю о себе потому, что был как все. Юноша из интеллигенции.

Преподобный ушел к простому народу, в лубочные картинки с трогательным своим медведем.

* * *

Слово Серафим значит «пламенеющий», «сжигающий». Святой, носивший имя это в Сарове, был глубоко русский, корневой человек из купеческой семьи. Во всех рассказах и записях о нем чувствуешь его теплый и житейский народный тон, очаровательный в стихийности своей русский язык, доброту, улыбку, даже будто простоватость. Этот некогда статный, а потом «согбенный» старичок мог охать, говорить: «во, матушки мои»... «радости мои», «ваше Боголюбие» — был как будто бытовым и простонародным явлением александровско-николаевских вре-

мен. Как фон за лесами саровскими — крепостническая Россия, Пушкин, Гоголь, помещики в бричках, архиерси в каретах...

Оболочка нсела в ссбс духовнос существо — раскалснный белый свет Любви. Им-то вот он и сжигал! Как вокруг солнца, была вокруг него сияющая газовая атмосфера с протуберанцами. Этот свет — дар Духа Святого, стяжание которого почитал Преподобный целью христианской жизни.

. . . .

Если бы люди, большинство или часть их, действитсльно, стремились к стяжанию Св. Духа, жизнь была бы иной и не требовала бы грозного суда. Может быть, это был бы и рай?

Преподобный Ссрафим чувствовал трагедию бытия, и о будущем, наряду с «Пасхой», прозвучали у него горькие слова.

«...Радость будет на самое короткое время. Что дальше, матушки, будст... такая скорбь, чего от начала мира нс было!» И еще: «Время придет такое, что ангелы не будут поспевать принимать души».

Все это мы уже видели, отчасти и на себе пережили. Многое изменилось и в нас. Тяжкий путь прошла русская интеллигенция — на родине почти погубленная, в изгнании тяжело дышащая (но живая!). Изгнание отдалило ее физически от Сарова. Но прежнего Сарова всдь и нет. Саров уничтожен, разгромлен... лишь Преподобный вознесен еще выше. Ослепительный его, серафичсский белый свет еще ослепительней. Издали, с чужой бездомной земли, не ближе ли он русским людям — некогда его не прославившим?

...Можст быть, и скорсй почувствусшь, душою встрстишь св. Серафима на грязных улицах рабочего Бианкура, чем нскогда в комфортабельном и богатом доме Балыковского завода.

25 января 1933

МИТРОПОЛИТ ЕВЛОГИЙ

Париж, начало эмиграции, храм на Дарю, скромная комнатка митрополичьей квартиры вся в иконах, фотографиях духовных лиц, с тихо-краснеющей лампадкой —все это уж история. Часть жизни ушедшей. И сам митрополит тоже история.

Вижу сго на диванчикс, слегка отвалился назад, полный, ласково-благодушный. Гладит длинную бороду, голос нсторопливый: — «да-а... вот, мы думаем... вот хорошо бы...» — В храме иной: белый клобук, двс панагии, лиловая мантия, посох. Но те жс красивые, умные глаза, нс без хитрецы русской. Все

вообще в нем «сверх-русское», отличный русский язык, любовь к православному богослужению, природе и народу нашему, к России.

Так он запомнился. А теперь вышел огромный труд о нем — записи Т. И. Манухиной по рассказам владыки, как бы «Книга бытия» его «Путь моей жизни». Тут уж не беглое и летучее, а «все». И сколь поучительное!

Смиренное детство в семье сельского священника. Бедность, ранняя любовь к церкви, тульская природа, училище в Белеве («маёвки» в Мишенском, под Белевом, куда ходили смотреть дом Жуковского), возвращение весной, босиком, на каникулы домой... А потом длинная, сложная жизнь, не без бурности и драматизма. Семинария, Академия, монашество, быстрое и блестящее восхождение. Раннее епископство в Холме, избрание в Думу, борьба за православие в Холмщине, война, Собор в Москве, революция, плен у петлюровцев и поляков, Сербия, Париж — Западноевропейская епархия. Собственно, путь и владыки, и церкви, да и России.

Книга писалась с любовью, долго. Получилось просто и скромно, иногда изобразительно, всегда живо. Сколько картин жизни церкви, то тягостных, то светлых, с улыбкою благодушия владыки, сколько людей — и отличных, и жутких.

Несколько сот страниц спокойно забирают читающего и не отпускают, пока не кончишь. Большая удача.

Митрополит в общем таков, как мы знали его. (Иной раз слышишь и голос, интонацию, иногда все же выходит стройнее, «литературнее» — особенно в передаче речей.)

Но для знавших его лишь в Париже есть новое: владыка в России. На Дарю был он немолод, надломлен, под конец просто немощен. А в России...— сколько сил, деятельности, борьбы! По натуре гораздо больше борец, чем монах-мистик. Внутренней его жизни в книге не много, это естественно. Он в монастыре ведь и не жил. С одной стороны, князь церкви, с другой, неутомимый деятель. Монастыри в Холмщине, приюты, богадельни, борьба с католиками, борьба в Думе, друзья, враги, нападки и поклонение, интриги, контратаки, весь шум и тягость жизни «как она есть» — тут не до самоуглубления.

В плену было ему нелегко, но в каком-то смысле отдохновительно. Для души плен оказался полезен — владыка сам это признает. «В келии, в тишине и одиночестве, я осмыслил многое, критически отнесся к своему прошлому, нашел недочеты, ошибки, грехи».

Политика, «земная напряженность», «угар борьбы», по его мнению, уводят от Бога.

Плен вообще замечательная полоса его жизни: ни салон-вагонов, ни синодских архиереев, ни карет, ни пышных облачений. Первые стали последними. Владыки Антоний и Евлогий подвергаются опасности, мокнут в телегах под дождями, сидят в «узилище». Иногда подвергаются и поношению. Но внутренно, конечно, как все притесняемые христиане, вырастают. И главное их утешение и радость тут — богослужение.

Большое достоинство повествования этого — скромность. Скромно по тону и настроению. От того, что делал, митрополит не отказывается, не считает он вредной деятельность свою в Холмщине или создание Сергиева Подворья, но если бы говорил не монах-христианин, а светский деятель его ранга, всюду было бы: я, я, я прав, все другие неправы, я предвидел, я говорил...

Митрополит совершил много достойного, но, как и все, ошибался нередко. Отлично сознавал свои ошибки и грехи, слабости. Каялся, иногда тосковал — это давало силу и подымало. Самодовольства в писании этом не вижу (как в свое время взволнован был тоном смирения и раскаяния в одном частном его письме).

О, разумеется, не всегда же смиренно он чувствовал. Власть и смирение уживаются трудно, а он всю жизнь был правящим архиереем. Мягкий и добрый по натуре, мог быть минутно резким, но к суровости в проявлении власти своей не был склонен: прощал. Любил шутку и сам острил (Т. И. Манухину называл «писец Иеремии»). При внешней рыхлости бывал и упорен, почти упрям — советы выслушивал, а поступал по-своему. Но во всем, что ни делал, не забывал, думается, что не только он архиерей, но и раб Божий, инок Евлогий.

Его ум и серьезность (сознание важности служения, ответственности пред Богом), черты дипломата, политика не без хитроумности, даже и двойственности, в книге чувствуются.

Кажется, самым шумным его успехом было проведение в Думе закона о Холмщине. Владыка считал, что это исконно-русская, древне-православная область и не должна оставаться в Польше. Ее и выделили.

В упорной, долгой парламентской и закулисной борьбе за Холмщину показал он себя страстным националистом-православным. Партии — второстепенно. Главное для него Россия и православие. Да, он был стихийно, утробно русский. Стихия эта сильней его самого, может быть и сильней самого христианства в нем, во всяком случае, к концу жизни сильней вселенского христианского сознания.

Тульский край, Белев, родина, березки, зелень — все это сидело во владыке неистребимо и в известном смысле трога-

тельно. Трогательно и тоже стихийно тяготение к народу. Детства своего в селе Сомове он не забыл. Владыка был «народник» и надел рясу более для служения народу, чем для личного спасения. «Мужицкий архиерей» — так его называли. Кажется, ему самому это нравилось. В таком же духе поступил он, привезя императору Николаю мужиков из Холмщины. Пусть лично убедятся, что Государь их — православный: распространялись слухи, что он принял католичество!

* * *

За рубежом митрополиту тоже покоя не было. Лучшее, что ему удавалось тут — храмостроительство и поддержка всего добро-церковного, благотворительного и просветительного. В этом заслуга его огромна — одно Сергиево Подворье с Богословским Институтом живой ему памятник. А десятки приходов! Всего не перечтешь.

И чудесно было бы, если б этим дело и ограничилось. Но сейчас же начались смуты и борьба. Сперва с Карловцами, потом с Москвой. Все это истинная Голгофа. Происходило на наших глазах — наступления, отступления, перемирия, фланговые марши...— трудно судить о формальной стороне. Дух же евлогианской церкви был ближе, сердце лежало к нему: дух терпимости, большей мягкости и свободы, отдаления от государственности, ближе к вселенскому облику православия. Бездомные и рассеянные более привлекаются внутренней стороной церкви, духовным миром, чем уклонами политическими. Сам митрополит, сколько мог, старался быть вдалеке от политики.

Уход его ко Вселенскому Патриарху хорошо разрешил дело. По канонам это законно, нам же, пастве, подчеркивалась принадлежность к мистическому телу Церкви Вселенской, куда входила родина наша как огромный братский со-член, но над нами не было и дальней тени власти государственной, нам чуждой. В этом мы были свободны. За Россию молились, но в ней никому не подчинялись.

При немцах владыка продолжал прежнюю линию. Держался с достоинством и независимо. Как во многих других, невыносимой политикой своей немцы воспламеняли в нем русское. Тула, Белев, зеленя еще сильней говорят, когда родину жгут враги.

* * *

Дальнейшее в книгу уж не попало, записи сделаны лишь до войны. Об уходе владыки к Московскому Патриарху глухо,

тонко сказано в заключительной главе самою Т. И. Манухиной. С владыкой она явно не согласна, осуждать его тоже не берется. Объясняет случившееся приливом стихийного чувства России, зовом полей, березок, зеленей.

Видимо, владыка и сам многое понимал. Но преодолеть себя не мог.

— Русская церковь — национальная церковь, была и есть, и я плоти и крови преодолевать не могу. Высшим христианским идеалом я жить не могу... каюсь, не могу...— с глубокой искренностью говорит владыка.

Высшим христианским идеалом... «Вселенская идея слишком высока, малодоступна пониманию широких *масс народа*»,— его же слова. Народничество же и почвенность, а быть может и вся прежняя жизнь все-таки синодского архиерея, тесно с государством связанного, стихийно возвышает свой голос, зовет к себе. В это время владыка и стар, и слаб, смерть приближается, умереть хочется на родной земле — о, эта предсмертная тяга отходящих людей...

Вопреки воле большинства (подавляющего) клира и паствы, он единолично за всех присоединяется к Московской Патриархии и на этом пути после первых радостных дней «весны» приемлет тернии. Он одинок. Все вокруг против. С Москвой вышло «недоразумение» (Вселенский Патриарх вовсе не отпустил от экзархата, как его уверяли). Возникли и другие трения с Москвой. Мучающийся, больной владыка переживает тяжелые дни.

На его долгом, нелегком пути были шаги, которые сам он считал ошибочными, имел смелость и мужество признавать это. Каяться, укорять себя было ему свойственно. Это и украшало его. Видимо, и теперь, на смертном одре, он тосковал, томился. Что-то не так сделано... «Поторопился... поторопился!»

Многие осуждают его. Осуждать всего легче. Лучше бы постараться понять.

Вскоре после кончины митрополита мы стояли на панихиде в маленькой спальне знакомой квартирки. Владыка лежал грузный, навсегда умолкший, с двумя панагиями своими на груди[1], с лицом закрытым, как всегда у скончавшихся архиереев: лишь Господь может видеть сейчас лицо своего Святителя.

Служил архимандрит Киприан. Группа кламарцев пела. Для меня уходили годы эмиграции, Сергиево Подворье, Дарю, странствия на Афон и Валаам (под крылом владыки). Нечего тут раздумывать, разбирать. Вечная память.

1948

---

[1] Высший знак отличия. Лишь патриарху и митр. Киевскому давалось это.

РОССИЯ

...Старомодное слово. Но все равно. Так называем и будем называть.

Давно ушла она от нас или мы от нее. Но в снах долго сопровождала. Потом сны стали реже.

Долго думалось, что Россию увидишь. В 1935 году удалось побывать в Финляндии, около самой границы. Да, в прямом смысле тогда ее видел. В нескольких местах мы подходили к пограничной речке — за нею уже *она*. Видели, через залив, и Кронштадт в стеклянно-серебряном мрении, каких-то легких зыбях воздушных, точно в венецианской лагуне. Чувство это неописуемо.

А в монастыре Валаамском, на острове, Россия была уже во всем, насквозь — но сам остров, на Ладоге, все же принадлежал Финляндии. Так что постоять на родной земле не пришлось.

Долгие годы казалось, что каким-то неясным образом, из-за политических перемен, в Россию вернешься. Потом перестало казаться. Теперь не кажется. Но произошло нечто странное и совсем непредвиденное: Россия явилась сюда.

* * *

Писатели, с кем знаком был в Москве, приезжая в Париж, никогда не заходили. Это понятно. Мы разные. Для них и опасно, и неинтересно. Время шло — в одиночестве и потихоньку. Что дал Бог написать, написалось, довольно-таки уединенно. Даже эмиграция более молодого возраста была вдали. Что же говорить о России. Это особый мир, там выросло свое новое поколение, что мы ему?

Но не все в жизни бывает по правилам. Первая встреча с Россией произошла после войны.

Удивительно было видеть у себя в комнатах капитана Красной армии, в форме с погонами, совсем молодого, и что еще странней показалось,— очень мило, скромно державшегося. Русский язык тот же, что и у меня, и у жены моей. И манеры сходные — а он сын крестьянина и десятилетним мальчиком попал в Москву из Сибири, в тот год, когда мы Москву покидали. И какая оказалась в нем жажда знания, широта интересов... Книги, церковь, театр, выставки, моды, костюмы, язык — все важно.

Кончилось, правда, тем, что вместо России закатился он далеко на запад, но сама встреча оставила большой след. Почему молодой человек из России пришелся более к дому, чем многие

эмигранты его же возраста? Почему и писание его — он быстро здесь выдвинулся как писатель — тоже близко, и слова его о России почти что твои собственные? А свежесть, даровитость, острота восприимчивости...— удивительное дело. Он уехал, но нечто отеческое к нему осталось, да и у него как бы оттенок сыновнего — по крайней мере, тогда. Во многое из своей жизни он посвятил нас, и чрез него связь с новой Россией острей почувствовалась, и в связи этой было ободряющее.

Но и она ушла, а Россия продолжает являться, теперь более издалека, в письмах, но с востока, все с востока.

Это Россия страждущая, в большинстве претерпевшая (как и капитан наш — он и воевал, и за религиозность преследуем был, и у немцев в плену едва не был расстрелян). Россия, прихлынувшая с войной и сейчас еще многое на чужой земле претерпевающая, иногда близкая к отчаянию, может быть, озлоблению. Но живая и острая. Где русские, там газеты, журналы, спектакли, собрания, выступления. Это и есть жизнь, живое. Чего только нет!

Вот в Гамбурге Школа Художественная: под руководством старших художников молодежь объединилась в артель или братство, занимается выделкой художественно-промышленных разных предметов, вплоть до икон, картин стилизованных, очень искусно, и все вдохновлено Россией — сказочной ли или исторической. Этим и живут, и внутренно, да и внешне.

По лагерям ездили труппы и давали представления. Драматический Союз возник, кажется, и Союз Писателей.

Журнал «Грани» по части литературной совсем хорошо был устроен (но денежная реформа, в общем, разумная для Германии, русских как раз и ударила).

Выдвинулись и некоторые молодые писатели (Максимов, Елагин). А из тех, кто выдвинуться еще не успел, многие, видно, склонны к нашему ремеслу. Если сами не пишут, то их занимает вообще писание, а некоторых, к удивлению моему, даже писание наше, «старых». Сообщают о своих впечатлениях, говорят о России иногда то, что для нас важно.

На одном таком письме останавливаюсь подробнее.

«В России сейчас необычайная тяга к "мистике",— вернее, даже ко всему светлому, чистому, радостному — к тому, чего нет, но без чего невозможно дышать. Люди чувствуют это — отсюда "мистика". Большевизм слишком оголил и огрубил жизнь, лишил ее внутреннего содержания, духа: все сделал даже не "преходящим", а попросту "несущественным". Раньше этого несущественного тоже было много, но было и вечное, которое чувствовалось "нутром" — почти одинаково и Львом Толстым,

и современным писателем, и последним рязанским или тульским мужичонкой. Большсвизм отнял у многих это ощущснис свосй всчности, свосго "внутрсннсго"; у других пытается отнять».

Вот «голос России». «Не единым хлебом...» — неумирающий зов. И давнсс русскос — сколь имснно русскос! — обращснис к писатслю. Автор считаст, что «искорка» очснь во многих «там» сохранилась. «Тут и возникает задача: не раздуть дажс, а только сохранить "искру" — нашу, русскую, нс дать ей заглохнуть...» «Я говорю о сохранснии только нсзримого духовного огонька, который когда-то раздуется и принесет очищение». «Не дать заглохнуть» он и предлагает писателям.

Кроме свидетельств о России и выражсния сочувствия личного есть в письме и некоторый укор нам, старшим,— за отдаленность. Автор хотел бы, чтобы мы были ближе к тепершнсму, соврсмснному и большс бы «шсвслили», «будоражили». Можно его даже так понять, что он прсдпочел бы сейчас форму прямого душевно-лирического общения с читающим — формс романа или повссти, связанной почти нсизбсжно с прошлым.

Некоторая уединенность, оттенок одиночества и tour d'ivoire[1], в которой привычнсй художнику,— всщь, почти нсизбсжная. Расстоянис от жизни... Но доля укора справсдлива. Грсх и опасность в чрезмерной замкнутости. В том, что мы, может быть, и действитсльно слишком с собою носились и носимся. Слишком дсржались «в сторонкс». (Нсзависимость-то, консчно, сохранив.)

И вот приходится говорить о себс, ибо ход письма подводит к мосй книгс («Жуковский»). Это для автора пример «отдалснности». «Вы любуетесь прошлым — от него необходимо перебрасывать болсе ощутимый мостик — пусть жердочку — к настоящсму».

Тут начинается разногласие, ибо, по-моему, мостик есть и подчеркивать его нельзя, будет фальшиво.

Любуюсь я вовсс не прошлым как прошлым, а обликом самого Жуковского, светом, чистотой и возвышснностью любви, философии его, смирением и примирением его. Если нужна «искра» и «огонск», то уж вот такой образ, как Жуковский, хоть и нс совремснный нам, именно способсн дать «светлос, чистое и радостное», к чему есть, оказывается, «тяга» в России. Да и нс в одной России. Здссь такжс. Когда Жуковским приходилось заниматься, псрсбирать и псрсчитывать письма того времени, старинные стихи, то радость была не в смаковании

---

[1] башня из слоновой кости *(фр.)*.

каком-то старины, а в приоткрывшемся мире света и легкости. Жуковский всегда связан с духовным — это и животворит. Если хотеть просветления и очищения, то оно именно идет из приникания к вечному.

* * *

Автор письма добавляет, что никак не намерен посягать на свободу писания нашего. «Это не социальный заказ». Но немалый счет предъявляется — и слава Богу. Это подкрепляет. Пусть по силам своим и *возможностям* даже капли того дать не можем, чего ждут от нас,— все-таки: есть кто-то, кто ждет, кому нужно. И — из России, где тридцать лет всячески старались такое вытравить. Правда, старались сытые, благополучные и успевающие. А претерпевающие к другому стремятся. И сытые не задавили несытых.

...Предо мной под Распятием на стене два образка, оттиснутых на металлических пластинках,— части диптиха. На одном Христос, на другом св. Серафим. Образки эти — дар покойной Леночки К., отчаянной головушки, бывшей сестры милосердия на войне, с отличием св. Георгия (под огнем выскочила из госпиталя подбирать раненого генерала). Ныне безвестная ее могила в Бриансоне, близ санатории туберкулезной, а вечная память в душе знавших ее. Образки же — русского воина, на ее руках и скончавшегося.

Это все и называется Россия. И Леночка с пылкою в доброте, широте своей любовью, и солдат неведомый, и неведомые страждущие «оттуда» — все, чей стон начинает понемногу слышать и полуоглохший мир.

25 марта 1949

РУССКАЯ СЛАВА

Время идет, близится годовщина. Десять лет! Знойный конец августа, афиши о мобилизации, а там затемнения, сирены, убогие газовые маски. «Drôle de guerre»[1]...— но потом она показала себя иначе.

Все переживали ее тяжело. Из нас, русских во Франции, многие были призваны. Другие пошли добровольно. Многие не вернулись.

---

[1] Странная война *(фр.)*.

Предо мной горестный лист, но и лист славы, список погибших. Просматриваешь его с чувством грусти и преклонения. Почти все молодежь. Двести имен! Есть совсем неизвестные, есть, кого знал лично. О некоторых более подробные сведения — в приложении.

Вот этот учился у нас в Шавильском Общежитии, был милый мальчик, а теперь всю войну воевал, кончил дни начальником отряда легких танков — Владимир Булюбаш («храбрости исключительной, вызывающей восхищение всех при всяких обстоятельствах»,— из посмертного приказа по Армии). 27 ноября 44 года его танк был разбит огнем противника, он остался цел. Это и был его последний день. 28-го вызвался сам командовать в следующем бою, там и сложил головушку. Вот Станиславский, сосед по квартире, отец семейства,— пошел добровольцем, оставил жену и троих детей (беленькая сиротка, девочка, стоявшая на панихиде в храме, стала уж скромной, славной девушкой). Адвокат Трахтерев убивался о погибшем сыне и ненадолго его пережил: самого тоже немцы забрали, увезли, уничтожили...

Рассказ французского офицера, рядом с молодым Аитовым боровшегося и рядом с ним тяжело раненного, нельзя читать без волнения.

Аитов был офицером связи в английской армии. 3-го июня 1940-го года, под Аббевилем, он познакомился с французским капитаном Переттом, вызвался идти с ним в атаку, заменяя отсутствовавшие английские кадры. П. называет его «другом». «Я говорю, мой друг Аитов, хотя я его знал всего несколько часов». Но это были часы, когда оба непрерывно находились пред лицом смерти, как завороженные шли от успеха к успеху...— и гибели. «В 6 час. мы достигли, частью в штыковом бою, той позиции, которая и являлась нашей целью. Мы шли в первых рядах, увлекая за собой уцелевших шотландцев, под адским артиллерийским огнем».

Потеряли половину солдат, позицию взяли — могли бы остановиться. Но правый фланг в замешательстве дрогнул. Дело плохо. Аитов предложил поддержать. «Я согласился, хотя это было почти самоубийством. Мы пошли снова в атаку. Подле небольшого леса, к которому подбежали, Аитов находился еще рядом со мной. Но тут я был ранен тремя пулями и упал, на несколько минут потеряв сознание». Когда очнулся, А-ва уже не нашел. Капитан добавляет, что А. добровольно пошел с ним («из чувства братской солидарности и рыцарской храбрости») — и ни на минуту не оставлял его. Кончает капитан так: «Молю Бога, чтобы его нашли».

Таких сообщений немало приложено к списку — это уж дело рук уцелевших товарищей — Содружества резервистов Французской Армии. Собрано с тщанием и любовью — разумеется, лишь малую часть и имен, и деяний можно привести здесь, предмет же таков, что заслуживает целой книги.

Где, где не гибли только русские в эту войну, сражаясь во французских войсках! Вот кладбище Карфагена. Длинный ряд светлых, обложенных мрамором «русских могил» с белыми крестами уходит овально вдаль. На каждой боевая каска. Отдельно снята могила безвестного рядового Игоря Танаса, во время панихиды (взорвался на мине со своим джипом. «Смерть была ужасная»). Родился в Константинополе, прожил двадцать два года, приял венец мученический в другом знаменитом городе древности...— такова уж Судьба его, Крест.

Погибали в Египте, Тулоне. Рядом с нами в Исси ле Мулино расстреляли немцы Зубалова за «сопротивление», а Пухлякова за то же обезглавили в Германии. Русские полегли доблестно и в Эльзасе, и Сирии, и Ливане, Индокитае.

Одни были офицеры, которым вверялась жизнь французов. Другие солдаты. Одни легли в первые же дни войны, другие накануне мира («16-го апр. 1945 г.»), одни спокойно и твердо шли под убийственным огнем в атаку, другие в критическую *минуту* (Александров-Дольник), на отчаянный крик ротного в лесу: «6-я рота, вперед»,— выходили с единственным своим взводом... чтобы уж с земли не подняться. А вот на Корсике, в Бастиа, полузатонул корабль, и на нем неприятель заложил мину с часовым механизмом — Стецкевич, «унтер-офицер, храбрости исключительной», подымается на корабль, разыскивает часовой механизм, «который с минуты на минуту должен был произвести взрыв», и обезвреживает мину, чем спасает и пароход, и самый порт. Но и за ним самим вскоре пришла Смерть (Тулон, август 44. Военный Крест с двумя звездами, приказ по Армии и бригаде. Все из-за могилы).

«Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю». Поражаешься, как рвались иногда эти юные жизни к смерти: сами вызывались в разведку, добровольно шли в атаку, добровольно примыкали к кучке безнадежно защищавших позицию (Ножин) — все за землю Франции, которую, очевидно, считали уж и своей.

Но они все русские, наши, эмигранты. Кровь их пролилась не только за Францию, но и за Россию, за нас, наше доброе имя. Мы у них в долгу. Ныне распространен на Западе взгляд на русских презрительный, как на kalmouks, mongols. Нам остается лишь показать наших героев и самим перед ними почтительно преклониться.

Хорошо бы увидеть им памятник здесь же, в Париже. Поставить его должны сами русские. Надмогильный на кладбище С.-Женевьев де Буа уже есть — это очень хорошо. Но небольшой сад перед храмом на Дарю так подходит для вечного поминовения всех двухсот убиенных — с именами их, высеченными на камне, обращенном лицом на улицу, лицом к городу Парижу! Он бы удерживал забвение и напоминал проходящим о России геройской и жертвенной.

24 июня 1949

ЧУЖБИНА

Тридцать лет назад, ровно под Новый год, появился Париж. После Италии показалось так сумрачно, бесцветно,— будни. Рим, генуэзская Ривьера — это еще путешествие. Тут ЖИЗНЬ. И она началась. Она шла уже здесь для целого племени русского, осевшего по Бианкурам и Аньерам, Пасси, Монпарнассам.

Не с нас началась эмиграция в Европс. «Нсбсзызвсстны» прсдшсствснники наши, с нами нссоизмеримыс: Данте, первый покровитель изгнанников, как бы патрон их. Шатобриан, Герцен, Мицксвич. Нст и не может быть лсгких жизнсй бсзродинных. Указанныс — огромные или крупные — отдсльныс вершины. Напитаны горечью и трагедией, но путь свой отметили незабываемым в творчестве (не было бы изгнания, иной оказалась бы и «Божественная Комедия», меланхолия Шатобриана, пламя и ненависть Мицкевича).

Но они одиночки. А мы поселились в чужой стране целым станом, расползлись по всему миру, да еще пополнились, послс войны, новым притоком.

Хорошо ли, плохо ли, тридцать лет прожили. Один наш умсрший поэт упрекал эмиграцию в том, что она нсдостаточно жертвенна. Пафоса мало. И в пример приводил Мицкевича.

В этом есть доля правды. Но упрекать легче, чем обладать пафосом. Мы, разумсстся, в большинстве жили изо дня в дснь, борясь за жизнь, за угол свой, за ссмью. Именно так жил и сам тот поэт. Ни он, ни мы на Мицкевича никак не похожи — ни силами, ни темпераментом, ни мистицизмом в стилс Товянского.

«Жили-были». Героического весьма мало, обычная жизнь с радостями и печалями, трудом и грсхами, тоскою по родинс, по близким, оставшимся там, с волнениями, надеждами и уны-

нием, ссорами эмигрантскими. Все как полагается. Кое-чему все-таки жизнь и научила. Больше узнали бедность, чем прежде в России, где вольготнее процветали, легче — в чем был и свой грех, потому что другие на нас же трудились. Что-то мы здесь искупаем, но что-то на нас и возложено, высшее бремя. Достойно нести его — это и есть, может быть, «миссия эмиграции».

Какие бы ни были, мы явились сюда не с пустыми руками. Нам нечто доверено. Завещаны великие ценности.

Прежде всего — религия. Годами на родине заушавшаяся, да и сейчас тяжко, без свободы живущая (но неудержимо пробивающаяся), здесь вера наша на воле. Здесь ей даже покровительствуют инославные. Париж становится центром богословского просвещения. Богослужение наше все более привлекает внимание и сочувствие. Рождественская литургия и Пасхальная заутреня звучат по французскому радио urbi et orbi[1] (и как это волнует сердце!).

Да, мы вынесли из горевшей Трои наши святыни, и верность им, стояние пред ними несоизмеримых с тем, что на родине, есть наш первый и великий долг. Хоть бы слабою рукою, да держаться. Пока держимся, пока любовь к Высшему не иссякла, дотоле мы и живы, как бы ни были на последнем месте среди сильных мира сего. Мы не сильные мира. Мы отверженные его. Но отверженность наша, быть может, важнее силы.

И в писательском нашем деле тоже позади Троя — тени великих отцов, веяние великой, христианнейшей литературы. Ею завещано нам то же, что уже две тысячи лет назад сказано на берегах Тивериадского озера. Любовь, человечность и сострадательность, тишина и незлобие, отдаление от маммоны, рука милостивого Самарянина...— что же сказать: просто Евангелие. И здесь, в условиях полной свободы, нам бесконечно легче, чем собратьям там.

Заноситься не надо, если сквозь обыденщину, неизбежные будни удалось бы пронести искру Божественного света, не предать, не поклониться силе, изгнание было бы оправдано. Кровопийцам, насильникам и лгунам было бы оно молчаливым, непреходящим укором.

1956

---

[1] на весь мир *(лат.)*.

КАНА ГАЛИЛЕЙСКАЯ

И в третий день брак бысть
в Кане Галилейстей.

Иоанн, II., 1

За восемь месяцев до смерти Достоевский произнес речь о Пушкине на открытии памятника в Москве. Дописывал «Братьев Карамазовых», держал корректуры их все в те же последние дни жизни. Было ему шестьдесят лет, по-теперешнему не так много, но к а к о й жизни! — от эшафота и каторги через нищету до ворот монастыря, смиренной нашей Оптиной под Козельском. (Он бывал там, хорошо ее знал, в «Братьях Карамазовых» очень точно описал. Знал и старцев оптинских, глубоко чтил их.)

В жизни его все было взято кровью и страданием. Жил и мог жить только в раскаленном воздухе. Воздух ли это страстей, пороков, или «касания мирам иным», это не есть ровный воздух повседневности. «Как будто нити от всех этих бесчисленных миров Божиих слились разом в душе его, и она вся трепетала...» «Простить хотелось ему всех и за все, и просить прощения...» — это «Кана Галилейская», знаменитая вершинная глава «Братьев Карамазовых» (Алеша у тела скончавшегося в скиту старца Зосимы обретает окончательно и навсегда веру).

Собственно, через всю свою жизнь шел Достоевский к этой Кане Галилейской. Свет и любовь ее и были для него завершением. Все было до этого: и бунтарство, приведшее к каторге, и сверхчеловеческий вызов Раскольникова, и тьма пола у Свидригайлова, и человеческий опыт Кириллова, и дьявольское в «Бесах» — все привело к конце концов к «осанне» «Карамазовых», творению из величайших человеческих — тех, под кем, как под «Божественною Комедией» уже неколебимая твердь. Корабль причалил.

«Алеша не остановился и на крылечке, но быстро сошел вниз. Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих, сияющих звезд. С зенита до горизонта двигался еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегала землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали в яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною».

Тут-то вот Алеша, как и сам Достоевский, пал на землю, плакал и целовал ее.

Это именно то, к чему Достоевский пришел. Как Данте,

скончавшийся дописав «Рай» — дело жизни закончено,— так, после «Братьев Карамазовых», был отозван и Достоевский, всю жизнь мечтавший о гармонии, мучившийся адскими вихрями — наконец, гармонию нашедший.

С этим и умирал в тот петербургский вечер, семьдесят пять лет тому назад (28 января 1881 г.).

Умирал в высокохристианском духе. Утром, в день кончины, сказал жене: «Я знаю, я должен сегодня умереть. Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие».

Только Жуковский, из писателей наших, уходил так. Кажется, даже Достоевский покойнее. Читал Евангелие. Позвал сына и дочь, просил прочесть притчу о блудном сыне. «Дети, не забывайте никогда того, что только что слышал здесь». Наставлял хранить беззаветную веру в Бога, в Его милость и не отчаиваться, прося о прощении, «если бы даже вам случилось в течение вашей жизни совершить преступление». (Это именно Достоевский. Жуковскому о преступлении не пришло бы в голову.) Но этот умирающий Достоевский, уже соприкасавшийся «мирам иным», о «преступлении» все-таки не забыл. Познал, однако, свет Кана Галилейской, омывающий все. Мимо обольщающего дьявола выведен был к свету.

* * *

Для нас, русских, а особенно изгнанников, Достоевский есть хоругвь. Отец и вождь. Без него нет России, нет ее души.

1956

ДОСТОЕВСКИЙ И ОПТИНА ПУСТЫНЬ

К Козельску ведет широкий большак екатерининских времен, из Сухиничей в Калугу. Вековые березы, ракиты, по протоптанным тропинкам бабы-богомолки в лаптях, с палками в руках. В самом Козельске много церквей, он располагает к себе, есть в нем даже нечто древнее: остатки валов, за которыми отчаянно и безнадежно сопротивлялись жители когда-то татарам.

За рекой Жиздрой, здесь довольно полноводной, бор — начало знаменитых Брянских лесов. В бору, тут же под Козельском, пред лугами и вековым лесом монастырь Оптина Пустынь. Край мирный, светлый. Его можно очень полюбить.

Монастырь не из древних. Однако упоминается уже в XVI веке. Как нередко обители, претерпел разные судьбы: к концу

XVIII века захирел, в нем осталось всего три монаха, из них один слепой. Московский митрополит Платон, объезжая епархию в начале XIX века, «пленился прекрасным местоположением Оптиной», решил восстановить ее.

Разыскал и назначил туда настоятелем смиреннейшего Авраамия, огородника Пешношского монастыря. После долгих стараний, борясь с бедностью, почти нищетою («не было полотенца вытереть руки за литургией»), Авраамий одолел наконец, вывел обитель из трудности, и она оказалась совсем на особом пути, отчасти единственном среди русских монастырей. Единственность эта — «старчество».

Родоначальником старчества в России был Паисий Величковский, живший в Молдавии в XVIII веке. Разными путями проникло в Россию его влияние — и особо расцвело именно в Оптиной.

Старчество есть учительное установление, в духе любви и сострадания. Старец, живущий при монастыре в скиту, являлся обликом святости, укрепления, просвещения внутреннего и ободрения мирян. Монастырь и скромная келейка, в стороне от главных зданий, стоит себе на берегу Жиздры, под осенением вековых сосен, никуда не сдвигается. А вот «мир» движется к ней. В келейке старец принимает ежедневно со всех концов стекающихся посетителей. («Издалека?» — спрашивает бабу старец Зосима в «Карамазовых». «За пятьсот верст отселева...» — по тем временам не пешком ли?)

Посетители эти — больше всего страждущие, «чающие Христова утешения». Или с сомнениями, или с горем, или за советом: как поступить? Старец себе уже не принадлежит. Он ихний. И принадлежит высшему. Через него идут токи света и добра, токи любви — неиссякающей. В этом его сила и слава монастыря. Не древности, не даже чудотворные иконы, не какое-либо особое подвижничество, а вот любовь и осиянность, утешение и ласка — это и есть сила, влекущая сюда. Жизнь темна, тяжела. Кто мне брат и друг? Да, но вот там, за пятьсот верст, на берегу какой-то Жиздры, есть святой человек, все поймет, все облечет любовью, светом. Утешит, подкрепит и посочувствует — о, как нуждается сердце человеческое в утешении!

Почему именно Оптина Пустынь — неизвестно, но она и оказалась излучением света в России девятнадцатого века. Удивительно и то, что, не будучи бенедиктински ученой обителью, оказалась она все же и неким культурно-духовным центром: издавала новые переводы святоотеческой литературы, издавала рукописи старца Паисия (Величковского). Иван Киреевский, русский философ, сын той Дуни Юшковой (в замужестве Ки-

реевской), которая в детстве называла юношу Жуковского «Юпитером моего сердца»,— этот Киреевский вместе с архимандритом Макарием Оптинским работал в изданиях Оптиной Пустыни. (Киреевский жил недалеко, в имении своем Долбине, где некогда написал свои шедевры Жуковский.)

Вышло вообще так, что Оптина Пустынь помимо «окормления» крестьян, купцов, помещиц и мещанок явилась притяжением и для высшей русской духовной культуры. Не говоря уже о славянофилах, в ней побывали Гоголь, Достоевский, Владимир Соловьев, Леонтьев, Лев Толстой.

Гоголь в тоске просил оптинцев молиться за него. Леонтьев в старости поселился в Оптиной, годы жил, заканчивая бурнострастную и удивительную свою жизнь, чтобы в конце принять постриг монашеский в Троице-Сергиевой Лавре. Приходил и Толстой. И раньше, и перед самой смертью...— великой гордыни, но и великих томлений старец: постучался и думал даже, что его не примут как отверженного. Низко ему поклонились, но как-то не вышло ничего.

С Достоевским же вышло.

* * *

Достоевский заканчивал свою жизнь грандиозно. С внешности будто и просто: скромная квартирка, клеенчатый диван, в кабинетике темновато. Смирная, обожающая жена (после скольких бурь!), дети, которых очень любил. Но в квартирке такой в Петербурге и в Старой Руссе, куда уединялся, писал и написал величайшее свое, да и в мировой литературе из величайших — «Братья Карамазовы».

Начал в 1877 году. Как всегда у него, писание претерпевало изменения еще в душе, до бумаги. Роман упирался больше в детей — Алеша и дети. Сам Алеша назывался «идиотом», как бы продолжение князя Мышкина. Но общее направление с самого начала было утвердительное: против бесов несокрушимая сила.

Достоевский много колебался в жизни своей. Разные вихри раздирали его. Дьявол немало состязался в его сердце с Богом — душа познала глубоко и тьму, и свет. И сомнения величайшие. Великие падения и даже дух преступности вместила. Но жизнь шла, годы накоплялись. Дьяволу становилось нелегко. «Братья Карамазовы» — уже последняя, безнадежная его борьба и поражение. Он низвергнут. Юный Алеша, как некогда пастушок Давид, окончательно побеждает Голиафа. Давид сразил камнем пращи. Алеша, в которого зрелый и окрепший Достоевский

вложил светлую часть своей души, сражает Голиафа обликом своим, и за обликом этим воздымается смиренный русский монастырь со старцем Зосимой.

Встреча Достоевского с Оптиной давно назревала, незаметно и в тиши. Для замысла «Карамазовых» нужен был некий адамант, или светлый ангел, с которым легко и не страшно: поможет! Достоевский давно уже склонялся в эту сторону. «Русский инок» произрастал в его душе — последние годы сильнее, но надо было как бы прикоснуться или приобщиться тому таинственному миру, который привлекал уже, но еще не совсем ясно.

Все вышло само собой и, разумеется, не случайно. Весной 78-го года Достоевский почти начал писать «Братьев Карамазовых». В его апрельском «Письме к московским студентам» сквозит тема романа.

Но вот в мае все обрывается. Заболевает трехлетний сын Федора Михайловича Алеша — любимый его сын. «У него сделались судороги, наутро он проснулся здоровый, попросил свои игрушки в кроватку, поиграл минуту и вдруг снова упал в судорогах».

Так записала Анна Григорьевна. Наследственность, эпилептический припадок! «Федор Михайлович пошел проводить доктора, вернулся страшно бледный и стал на колени около дивана, на который мы положили малютку. Я тоже стала на колени, рядом с мужем. ...Каково же было мое отчаяние, когда вдруг дыхание младенца прекратилось и наступила смерть. (Доктор-то сказал отцу, что это уже агония.) Федор Михайлович поцеловал младенца, три раза его перекрестил и навзрыд заплакал. Я тоже рыдала».

Можно представить себе, что это было для Достоевских. Любимый сын — и эпилепсия. Кого люблю, того и погубил. За что? За что младенцу не вкусить жизни, за что мне крест? Со времен Иова все то же и все то же, и никто не может разрешить.

Анна Григорьевна знала мужа. Любовь, женское преданное сердце подсказало ей решение: «Я упросила Владимира Сергеевича Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину Пустынь, куда Соловьев собирался ехать этим летом».

Она не знала, конечно, какой дар приносит нашей литературе.

20 июня Достоевский уехал в Москву. Оттуда, вместе с Соловьевым, в Оптину.

* * *

Время это было — особенный расцвет Оптиной: связано со старчеством о. иеросхимонаха Амвросия, самого знаменитого из оптинских старцев.

Человек это был явно необыкновенный. Необычайность его и в том состояла, что он будто был и обычный. В молодости преподаватель Липецкого Духовного училища, просто себе учитель, нрава живого, веселого. Иногда грустил и задумывался — с кем этого не бывает, особенно в молодости? Но в общем как все. И вот этот «обычный», гуляя однажды в лесу близ Липецка и подойдя к ручью, в журчании его вдруг явственно услышал: «Хвалите Бога, любите Бога».

Насчет монашества он решил не сразу, в конце концов попал в Оптину и себя нашел. Получилось так: перенеся тяжкую болезнь, уже лет тридцати, о. Амвросий навсегда остался слабым физически, но удивительно радостным, светлым и нежным душевно. «Монаху полезно болеть»,— говорил он. В немощи его — сила. Эта сила — любовь и свет. Их нельзя скрыть. Они сами выходят, сладостно обласкают приходящих.

Оттого и толпится у него народ в приемной скитского домика, в зальце с иконами, портретами архиереев, с цветником за окном. Оттого получал он до шестидесяти писем в день, с четырех утра отвечал сам на некоторые, на другие давал указания, как ответить.

Позже выходил, благословлял, беседовал, давал советы. Все принимал и всех. Особенно сострадал грешникам.

Наставлял, как изживать горе, но мог научить и как «кормить индюшек господских» — баба со слезами просила: «Все дохнут!» Ему говорили: «Батюшка, напрасно теряете с ней время!» — «Да ведь в этих индюшках вся ее жизнь».

Кроткими, прекрасными глазами читал он в душе и не об одних индюшках. Человека видел насквозь, многое предсказывал. Говорили, что иногда читал письма, не вскрывая их, и диктовал ответы. Дар прозорливости был у него велик, жизнеописание изобилует им.

К нему в Оптину и попал Достоевский в июне 78-го года. Пробыл в монастыре двое суток, все видел, все запомнил — об этом говорят и описания монастыря в «Братьях Карамазовых».

«С тогдашним знаменитым старцем о. Амвросием,— пишет Анна Григорьевна,— Федор Михайлович виделся три раза: раз в толпе, при народе, и два раза наедине».

Вот где уж кровная, неизбывная связь «Братьев Карамазовых» с Оптиной Пустынью, старца Зосимы романа со старцем Амвросием: связь в страдании и утолении его.

Вторая книга романа окончена в октябре 1878 года, через три месяца по возвращении из Оптиной. В главе «Верующие бабы» описан прием посетителей у старца Зосимы.

«— О чем плачешь-то?

— Сыночка жаль, батюшка, трехлеточек был, без двух только

месяцев и три бы годика ему. По сыночку мучусь, отец, по сыночку. Последний сыночек оставался, четверо было у нас с Никитушкой, да не стоят у нас детишки, не стоят, желанный, не стоят... Последнего схоронила и забыть его не могу. Вот точно он тут передо мной стоит, не отходит. Душу мне иссушил. Посмотрю на его бельишечко, на рубашоночку аль сапожки и взвою. Разложу, что после него осталось, всякую вещь его, смотрю и вою...»

Старец утешает ее сначала тем, что младенец теперь «пред Престолом Господним, и радуется, и веселится, и о тебе Бога молит. А потому и ты не плачь, но радуйся».

Но она «глубоко вздохнула». Ей нужен он сейчас, здесь, земное утешение ей нужно. Земное — так чувствовал и сам Достоевский. Она продолжает:

«— Только бы минуточку едину повидать, послыхать его, как он играет на дворе, придет, бывало, крикнет своим голосочком: "Мамка, где ты?" Только бы услыхать-то мне, как он по комнате своими ножками пройдет разик, ножками-то своими тук-тук, да так часто, часто... Да нет его, батюшка, нет, и не услышу его никогда...»

Так говорит баба в «Братьях Карамазовых», жена извозчика Никитушки, и из-под печатных букв выступает кровь сердца Федора Михайловича Достоевского.

Тогда старец Зосима продолжает так:

«— Это древняя "Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет", и такой вам, матерям, предел на земле положен».

Пусть она плачет, но не забывает, что сыночек «есть единый из ангелов Божиих».

«...И надолго еще тебе сего великого материнского плача будет, но обратится он под конец тебе в тихую радость, и будут горькие слезы твои лишь слезами тихого умиления и сердечного очищения, от грехов спасающего».

Вот это-то самое важное, горе в тихую радость, горькие слезы — в слезы тихого умиления.

Но ведь только сказать, просто сказать страждущему — мало. Вот было у старцев оптинских,— у Амвросия, наверное, и особенно,— нечто излучавшееся и помимо слова, некое радио любви, сочувствия, проникавшее без слов. Без него разве были бы живы слова?

Анна Григорьевна считала, что слова Зосимы бабе — именно то, что сказал старец Амвросий самому Достоевскому. Она мужа знала насквозь, обожала его, горе было общее, невозможно подумать, что она говорила легкомысленно.

«— А младенчика твоего помяну за упокой, как звали-то?
— Алексеем, батюшка.
— Имя-то милое. На Алексея Человека Божия?
— Божия, батюшка, Божия, Алексея Человека Божия!»
Достоевский вернулся из Оптиной, по словам Анны Григорьевны, «утешенный и с вдохновением приступил к писанию романа».

* * *

Горе не напрасно. Стоны над мальчиком Алексеем не напрасны. Встреча с Оптиной в конце жизни, в зрелости дара — более чем не напрасна: это судьба Достоевского.

Еще в «Идиоте» повеяло у него духом света. Князь Мышкин излучает светло-зеленоватые лучи — лучи надежды. Но там связано это еще с безумием. В набросках к «Карамазовым» Алеша именуется «идиотом». Но рядом с этим тянет Достоевского и к более ровному, прочному, трезвенному свету.

В письмах из-за границы он упоминает о желании побывать в русском монастыре. Монастырь и облик инока русского с некоторых пор стали все сильнее его занимать. Для «Карамазовых», при сопоставлении «да» и «нет», Бог и дьявол, подвижник стал необходим. На кого опереться? У кого свет неболезненный?

Все слагалось как надо: не умер бы мальчик Алеша, не был бы сражен горем отец, может быть, и не поехал бы этот отец с Соловьевым на лошадях из Калуги через убогий Перемышль в Козельск на опушку Брянских лесов, на реку Жиздру к старцу Амвросию. Или если бы и поехал, то в ином состоянии, просто как путешественник? А ведь так получилось, что внутренне между ним и бабой, женой Никитушки, разницы нет. Оттого и принял он в душу так полно и утолительно и образ монастыря, и образ старца Амвросия.

Младенец Алексей переселился в младенца бабы и далее, выше, в Алешу Карамазова. А этот Алеша теперь уже не «идиот» набросков, а милый и красивый, здоровый русский юноша с нежной и глубокой душой. Его брат Иван знается с дьяволом, исполняет его роль, но и погибает в безумии. Победители — Алексей и Димитрий, один в экстазе любви, другой в экстазе неповинного страдания.

А над всем облик старца Зосимы — как свет немеркнущий. Любовь, кротость и сострадание.

Если б не встретил его Достоевский лицом к лицу, если бы дважды, наедине, как на исповеди, быть может, в слезах, как

та баба, не изливал душу — не было бы таинственного заднего плана, полуневидимого, но чувствуемого, во всей части романа, посвященной старцу Зосиме.

Константин Леонтьев, барин, эстет, душа редкостной одаренности, жизнелюб и прожигатель жизни, в духе языческом, но и отравленный иным миром, кончал дни при Оптиной. О Достоевском полагал, что христианство его «розовое». Сам был довольно суров. Ему бы все подсушить, «подморозить». Ему и на Афоне, где бывал, нравились больше облики властные, водители с железным посохом (Иероним). Да и само православие его с железным посохом. Но тогда, пожалуй, и старец Амвросий слишком мягок? Добр, сострадателен и снисходителен? Его тоже бы подморозить?

Достоевского пленил Амвросий. Конечно, в старца Зосиму он вложил и другое. Возможно, что упреки Достоевскому за Зосиму,— если смотреть на него, как на портрет Амвросия,— отчасти правильны («русский инок не совсем таков, крепче и мужественнее» — не один Леонтьев так считал). Главное, однако, остается. Зосима — христианнейший образ, в высшем смысле глубоко православный.

* * *

Шестую книгу «Карамазовых» («Русский инок») Достоевский написал через год, летом 79-го года, в Старой Руссе, в трудных условиях.

«Я все время был здесь, в Руссе, в невыносимо тяжелом состоянии духа. Главное, здоровье мое ухудшилось... Все время писал, работал по ночам, слушая, как воет вихрь и ломает столетние деревья». Очень Достоевский: ночь, буря, одиночество, чувство недалекого конца и чувство, что создается великое, надо успеть его закончить — жить оставалось полтора года.

«Сам считаю, что и одной десятой не удалось того выразить, что хотел. Смотрю, однако, на эту книгу шестую, как на кульминационную точку романа».

Точка высокая, но еще выше — заключительная глава седьмой книги («Кана Галилейская») — вся книга седьмая названа «Алеша». Она и ведет к победе. Она и две следующие, 8-я и 9-я, кончены к январю 1880 года — последнего в жизни Достоевского.

«Кана Галилейская» есть некое видение Алеши. По роману он послушник старца Зосимы, обожающий его. Но должен потом идти в мир, в монастыре не остается — в мир с деятельной любовью, по завету старца. Считал Достоевский, что напишет

Алешу в миру в следующем романе. Но роман этот не дано было сму написать.

Старец Зосима скончался. Ждали чуда. Но сго не было, а даже коснулось тела его обычное тление («тлетворный дух»). В монастырс смущены. Враги старчества и завистники Зосимы (а такис были) злорадствуют. Смущсн сам Алсша.

Но вот, вечером, он в келии старца, где над гробом его о. Паисий читает Евангслис. Чтснис это от Иоанна, знамснитая вторая глава: «...И в третий дснь брак бысть в Канс Галилсйской...» Алеша слушает, обрывки мыслей проносятся в голове.

«"И не доставшу вину, глагола Мати Иисусова к Нему: вина нс имут"...— слышалось Алсшс.

— Ах, да, я тут пропустил, а не хотел пропускать, я это место люблю, это Кана Галилейская, первос чудо... Ах, это чудо, это милос чудо! Нс горс, а радость людскую посстил Христос...»

Видение в том, что в какую-то минуту полубодрствования полудрсмоты «...к нсму подошсл он, сухонький старичок, с мелкими морщинками на лицс, радостный и тихо смсющийся. Гроба уже нет... Лицо все открытое, глаза сияют. Как же это, он, стало быть, тожс на пирс, тожс званный на брак в Канс Галилсйской...

— Тоже, милый, тоже зван, зван и призван,— раздается над ним тихий голос.— Зачсм сюда схоронился, что нс видать тсбя? Пойдсм и ты к нам». Голос сго, голос старца Зосимы...

— Веселимся,— продолжает сухонький старичок,— пьем вино новое, вино радости новой, великой...»

«Что-то горсло в ссрдцс Алеши, что-то наполнило сго вдруг до боли, слезы восторга рвались из души его. Он простер руки, вскрикнул и проснулся».

Тсперь выходит он из кслии, в тсмноту ночи, уже другим человеком. «Полная восторгом, душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо раскинулся небссный купол, полный тихих, сияющих звезд...»

Тут-то вот и пал он на землю, пал Алеша и вместе с ним Достоевский. «Он не знал, для чего обнимал ее... неудержимо хотслось цсловать ес всю, но он целовал сс плача, рыдая и обливая своими слсзами, и исступленно клялся любить сс, любить во веки веков. "Облсй землю слезами радости твоея и люби сии слсзы твои..." — прозвснсло в душс сго. О чем плакал он? О, он плакал в восторгс своем об этих звездах... Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его и она вся трепетала, "соприкасаясь мирам иным". Простить хотслось сму всех и за всё, и просить прощсния...

Что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его — и уже на всю жизнь, и на веки веков».

Это и была та гармония, над которой всю жизнь бился и мучился Достоевский. Она сошла на его героя теперь в мистическом озарении, заливая светом все противоречия, все бездны. Она явилась в скромном монастыре, пред лицом звезд, под веянье бора оптинского, в тихую ночь незадолго до земного конца.

* * *

Из средневековья вижу лишь одну фигуру. Странник и изгнанник, пешком бредущий по тропинкам Казентина или Луниджианы, с рукописью «Божественной Комедии» в мешке за спиной. На вечерней заре подходит ко вратам монастыря и стучит. Привратник высовывает голову.

— Что тебе нужно? Чего ищешь, странник?

— Мира.

Он искал также ночлега. И получил его. И позже, в монастыре Фонте Авеллана, в горах близ Урбино, написал некоторые песни «Рая», уложив их потом в тот же мешок.

В России XIX века три гения явились в Оптину тоже за словом «мир». Замечательно, что величайший расцвет русской литературы совпадает с расцветом старчества в Оптиной. Все приходили за утешением и наставлением. Гоголь тосковал, преклонялся к старцам в ужасе от своих грехов (собственно, в ужасе от своей особенной природы). Лев Толстой — поиски истины. Достоевский...— про него сказано уже, для чего явился. Леонтьев так и остался в Оптиной.

Великая литература, вовсе не столь неколебимая, как литература Данте, Кальдеронов, шла к гармонии и утешению на берега Жиздры, к городку Козельску.

Жизненно самый сильный след остался у Леонтьева, не гения, принявшего монашество и монахом скончавшегося.

У Толстого полная, трагическая неудача.

Встреча с Оптиной Достоевского, кроме озарения и утешения человеческого, оставила огромный след в литературе. «Братья Карамазовы» получили сияющую поддержку. Можно думать, что и вообще весь малый отрезок жизни, оставшийся Достоевскому в жизни, отданный целиком «Карамазовым», прошел под знаком Оптиной.

Его жизнь кончалась вместе с писанием. В ноябре 1880 года последние главы «Братьев Карамазовых» были отосланы Каткову. 28 января 1881 года Достоевский скончался.

Последняя песнь «Рая» написана в Равенне в 1321 году. Это был последний год жизни Данте.

21 и 24 апреля 1956

ЗНАК КРЕСТА

1. ТАТИАНА

Московско-русская

На углу Большой Никитской и Моховой, в старинном невысоком здании, прямо на улицу глядел, под стеклом, с неугасимою лампадой, образ св. Татианы. Все очень скромное и старомодное. Отчасти и странно: почему облик молодой диакониссы, замученной в первохристианские времена в Риме, так вот явился в Россию XVIII века, освятил просвещение ее? Да, будто бы случайно: мать графа Шувалова звали Татьяной. 12 января 1755 года Императрица Елизавета подписала указ Сената об основании Московского Университета — покровительницей его и оказалась св. Татиана, день ее в темной Скифии праздновали как раз 12-го.

Разные бывают случаи, и не нам разгадать, просто ли случай, или не просто. Можно только сказать, что Скифия приняла римскую деву, как свою. Университет университетом (разное он давал), но сама дева таинственно отмеченная, вселилась в Россию как в родное свое — подумать: Рим и Россия! И ничего в Татиане от Рима Истории: все от смирения, тишины.

Безответных крепостных девушек часто звали в России Татьянами. Простонародно и скромно, Пушкин колебался, считал смелым назвать низким именем, чуть ли не рабским, Татьяну «Онегина». Но вот угадал. Прославил одинокую мечтательницу и жертву, с искаженною жизнью.

Татиана не для счастья, не для удач жизненных. Могли студенты в Москве веселиться в день св. Татианы, и Москва как-то улыбалась, прощала им в этот день их шумливость и глупости. А день-то ведь мученицы — но само имя Татьяны приходило не зря к тем младенцам российским, которые были крещены им: как бы обязывало. Точно на всех Татьянах лежал некий отсвет, особенный, но к России и тайной ее глубине так шедший: нечто есть от страдания, жертвы и высокого благородства в самом имени этом. Нигде, как в России не проявилось оно с такой силою. Никаких Татьян нет ни в Риме, ни в

Византии. А по нашим просторам разлилось оно — впитало в себя смиренный цвет девичества нашего, мужество, твердость и неколебимость матерей — Татьян: могло, конечно, быть иногда по-иному, но как редко! Татьяна прошла по России незамутненная.

НАШИ ДНИ

Вот Татиана, просто Татьяна в жизни, явившаяся в мир в конце прошлого века. Девочкой возрастала в глуши Жиздринского уезда, у родителей просвещенных. С детства была набожна. Десяти лет, молясь, видела Деву Марию. Позже училась в Петербурге, вступила в брак, родила сына. Брак оказался неудачен, но не расторгнут, хотя много жили врозь. Сын возрастал. Характером был в отца — труден, горяч, но благороден. Много душевных сил положила Татьяна на его воспитание — всю любовь и всю нежность. С мужем не была счастлива. Муж отходил, сын стал всем. С тем и жила, к началу войны основалась невдали от Москвы, в городе средней России. Завела школу, учила детей, отдавалась им вся. Сыну и детям. Сын попал, наконец, в Петербург, юношей вышел, во время войны, из училища в гвардию. В первый день революции назначен был на дежурство в полку. К воротам явилась толпа, он заградил ей дорогу. И тотчас же был заколот.

Татьяна узнала об этом через несколько дней. Тотчас выехала в Петербург. Нашла тело сына, вовсе нагое, истыканное штыками, замерзшее, в убогом сарайчике при помещении полка. С великим трудом, подвергаясь насмешкам и глумлению, похоронила его. Спокойствие, сила — в маленькой, худенькой женщине — не покидали ее. Вернувшись в свой город, сказала: «Значит, так Богу угодно. Могло быть и хуже». И с этого времени еще сильнее отдалась своему делу.

Позже трудилась в Москве — беззаветно, воспитывая обделенных Богом, убогих и слабоумных. Еще позже оказалась за рубежом и жила близ Парижа, при монастыре православном, такая же спокойная, худенькая, с огромными темными глазами. Дни и ночи вставали и проходили над Францией. Под благословением французского святого, в старинном аббатстве, населенном ныне русскими, трудилась вновь с детьми, ведя жизнь монашескую (хотя явного пострига не приняла). Муж находился в Польше, служил там.

Здоровье ее было уже надломлено. Болезнь истощала, она слабела, и в некий час ей пришлось все же бросить любимое дело и переехать в Польшу к мужу, в глушь: как некогда отец

ее, муж управлял заводом. Там провела она несколько лет, понемногу тая.

Вот как описывает ее брат конец Татьяны: «Вчера мне подали письмо ее, последнее. Как бы завещание. Была нездорова около месяца — «очень ослабело сердце, задыхаюсь. Временами становится лучше, а потом опять».

Пригласила священника. «Очень хорошо молился, причастил меня, и я прямо воскресла. И откуда силы взялись! Почти час стояла на коленях и ни сердца своего не чувствовала, ни голова не болела — понимаю мучеников». (Эти слова: «понимаю мучеников» в записи брата подчеркнуты.) «И вот сейчас, все еще в светлых и радостных чувствах и пишу тебе. Да, какая это радость причастие! Как все становится ясно, понятно, как все принимается!» И дальше: «Своим слугам Бог дает огромные, нечеловеческие силы, нечеловеческую радость, мир и любовь».

Брат вернулся с прогулки около 7 часов вечера, прочел и ему показалось, что это прощание. Так и вышло. Письмо пришло в те часы, когда в глуши Польши Татиана отходила.

Вот как описывает брат дальнейшее: «В Ментоне служили панихиду. Вечер был необычайной красоты и раздирательной печали. В пятницу Преображение — Таня очень любила этот праздник. Едем в Ментону к обедне, вынут частицу за Танюшу».

«На заре, когда я спал, жена проснулась и увидела Танечку — она прильнула с любовию к моему изголовью, была в беленьком платочке. Жена даже не испугалась. А потом, на другой день, мы проснулись утром, плакали и заговорили о Танюше — вдруг дверь тихо и бесшумно отворилась. Можно сказать — ветерок подул и отворил, но вот мы живем здесь два месяца и никогда не отворялась, а теперь отворилась, как только упомянули Танюшу».

«Таня ушла светло, так была готова, так созрела, полна была любви — и к Богу, и к нам, и ко всем вообще — особенно же страждущим, обиженным, униженным, несущим Крест. Помню, она говорила, что в молодости была слишком замкнута — в себе, своей вере, мистицизме. Мало замечала людей. Позже, с развитием углубленным, считала это своим грехом. И насколько знаю, в страданиях, неудачах и горестях жизни получила дар расширения души: открытие ее чужому горю. Ее уход теперь есть уход в высший мир из низшего».

Так заканчивает брат письмо об ушедшей Татиане, которая не была, собственно, мученицей. За Христа крови не проливала, в Церкви не отмечена — была просто скромным, светлым обликом русской Татианы, несшей, однако, в себе семена глубокого благочестия и мученичества.

ЖИТИЙНАЯ

Главная, родоначальница всех Татиан — третий век Рима. Императором был тогда Александр Север, юноша. Его мать и сама христианка. Будто бы научила его «почитать Христа». Но язычником он остался. Рядом с иконою Христа у него статуя Аполлона. Христиан сам не преследует, но наместники его не покладают рук. Все в том, чтобы заставить поклониться богам государственным, символам власти Рима. Если же почитаешь Христа, значит, не признаешь Рима.

Житие дает Татиану скромной и благочестивой девушкой, выделившейся в римской христианской общине — ее сделали диакониссой, т. е. ввели как бы во внутренний круг Церкви (ближайшая помощница духовенства). Это ее и погубило, и прославило. Была взята как выдающаяся христианка, не рядовая. По житию, «привели в храм Аполлона и требовали, чтобы она поклонилась идолам».

Отказ. Нет, у меня есть истинный Бог, Господь Иисус Христос, никаких других не знаю и знать не желаю — так можно определить поведение ее пред судьями и мучителями.

Мучения были разнообразны. Били по глазам, «строгали железными ногтями», «сосцы ее были оторваны» — все это перечисляется подробно. Татиана так и осталась Татианой — не поддалась. Решили, что ее сила в волосах. Остригли, измученную заключили на два дня «в храм Дия» (чтобы одумалась). Но как раньше не поклонилась ни Аполлону, ни Диане, так и теперь осталась все той же смиренной диакониссой с обезображенным телом и несокрушимым духом («понимаю мучеников»). Ей отрубили, наконец, голову. На всякий случай убили отца. А ее имя вышло в мир. По-новому засияло на неведомом ей диком востоке, где в то время и христианства-то не было, двигались стихийные орды кочевников.

Все, однако, сложилось так, как и надо.

В России нашла она окончательное свое пристанище.

БЛАГОСЛОВЛЯЮЩАЯ

Летом того года, когда погиб сын нынешней, русской Татианы, проходил однажды в Москве по Сухаревскому рынку брат ее. Среди всяких вещей, выставленных на продажу, увидал небольшую икону, без оклада, написанную на дереве, не весьма древнего, все же старинного письма — века 17-го. Подошел ближе, рассмотрел: св. Татиана, Ангел хранитель и св. Николай Мирликийский. Вероятно, семейная, заказная.

Его мать звали Татьяной, сестра Татьяна, имя с детства родное и любимое, не задумываясь, купил. Именно не задумывался, судеб своих не знал. И св. Татиана поселилась в его жилище. Когда через несколько лет пришлось ему с семьей покидать родину, среди малого вывезенного ушла на чужбину и св. Татиана: посреди Ангел Хранитель, с одной стороны св. Николай Мирликийский, с другой бывшая диакониса Татиана — ныне в нимбе святой.

Так что поселилась она и в новом его, не русском жилище. По его скромному мнению — не напрасно.

2. ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И СОФИЯ

Вчерашнее

17 сентября было в России днем радости, света, веселья: четыре именинницы! Но говорили: «Вера, Надежда и Любовь». Все Софии, разумеется, праздновали, но по-настоящему заполняли день три первые — дети Софии.

В Москве день этот даже внешне отличался. Праздником государственным не был, но и на другие дни не походил. Кондитерские завалены заказами — торты, пироги, коробки конфет. Цветы в магазинах нарасхват. Извозчики — лихачи особенно — тоже. По виду московских улиц, разных Моховых, Никитских, Пречистенок, сразу можно было сказать, что происходит нечто праздничное: катили лихачи, нарядные молодые люди везли букеты или сладкие изделия разных Флеев, Бартельсов, Филипповых.

Барышни именинницы принаряжались и душились. Ходили в церковь — не так уж, впрочем, усердно. Конечно, дамы, матери семейств с этими именами тоже праздновали, но оттенок юности и цветения некоего лежал на этом дне. Сами дамы моложе себя чувствовали.

С четырех часов до позднего вечера всё посетители и поздравители, цветы, конфеты, дома та веселая суматоха, что и есть день именин. Только в России было это — день мучениц обратился как бы в пасхальное нечто. И в пасхальности этой юные Вера, Надежда и Любовь затмевали Софию — основу удивительного дня.

Барышни наряжались, благодарили за подарки, или сласти, иногда вечером танцевали, молодые люди (да и не очень молодые) озабочены тем, чтобы успеть поздравить всех знакомых именинниц. В этот день было много улыбок, может быть, начинающихся сердечных склонностей, света, радостей краткой нашей земной жизни. Вера, Надежда, Любовь.

Как непохоже на страшный рассказ жития! А вот он именно и произвел все это. Трудно отделить действительность от легенды. Из туманов Рима — второй век, император Адриан (чьей виллой любовались мы в молодости под Римом) — восстаст прежде всего облик Софии, «италианки родом», матери трех девочек — Веры, Надежды и Любви. Она вдова. Воспитала детей строго-религиозно и в полном ссбе подчинснии. Дсвочки — уже молитвенницы, читают только божественное, «исполняют домашние работы, во всем повинуясь матери».

Как и Татиану, их погубила добрая слава. Слишком они выдавались из обыдсniности. Нсобыкновснная мать, нсобычныс девочки. «Наместник Антиох пожелал видеть их, наслышавшись, что они христианки». За ними послали. Конечно, они были подготовлены, и как бы зажжены матерью. Жили восторгом и любовию к Христу — разнствуют, однако, их характеры с матсрью. Как бы в соответствии с именами окружает их дух света и радости. Вера, Надсжда, Любовь! Все этим сказано.

Знают, что прислали не напрасно: христианская община в Риме видела уж достаточно мучеников. Много, конечно, об этом слышали. Но идут, взявшись за руки, неразрывные три сестры, великие качества души: Вера, Надежда, Любовь — вот идут с матерью и «весело» смотрят на «царя». По Житию, «царь», расспросив их, отправил к «благородной Палладии, для надзора». Мать все три дня провела с ними, укрепляя и поддерживая.

Наконец, суд. Как всегда, требуют поклониться «идолам». Если да — будут названы дочерьми императора. Обращаются с ними пока даже ласково.

Но девочки тверды.

— Мы имеем Отцом Бога Небесного и желаем страдать и терпеть за Иисуса Христа.

Софию спрашивают об именах и возрасте.

— Вере двенадцать, Надежде десять, Любви девять лет.

Вера первая идет на испытание. «Принеси жертвы великой Артемиде». Отказ. Тогда начинают ее мучить (обычный арсенал пыток): на глазах матери. Но мать, как и девочки, особенная. («Своим слугам Бог дает огромные, нечеловеческие силы».) Эти силы несли двенадцатилетнюю Веру и последовавших за нею Надежду и Любовь. В другом роде — и Софию.

По Житию, все девочки выдержали мучения, не подались, как и трагическая София: точно из металла она вылита. Девочкам отрубили, в конце концов, головы, София остается Софией:

нечто величественное есть в ней, даже и грозное. В житийном рассказе она напоминает скорее не просто «вдову италианку», а властную, неколебимую царицу, посылающую детей своих на гибель: для нее *тот* мир ближе и действительнее этого. В нем веселые Вера, Надежда и Любовь будут еще светлее и веселее — уже веселостью и светом неземным.

«Мать собрала их останки в ковчег, украсила их и на колеснице отвезла за город». Будто сама она и правит колесницей и конями, и эти кони, колесница — все туман мифа, как и сама она в эти минуты — небожительница, сошедшая в наш жалкий мир?

«Похоронила на высоком месте». Появляется, наконец, *мать:* похоронила «со слезами». И дальше все уже земное: не из одних нечеловеческих видений состоит земной человек: если Спаситель тосковал в Гефсиманском саду, то *что* сказать о «вдове италианке»?

И вот сидит она на могиле и молится, плачет. Ничего в жизни не осталось.

Не всё может вынести даже железное сердце. Три дня провела близ останков дочерей-мучениц. Наконец «сама уснула сном смерти». Там же и была погребена верующими, рядом с детьми.

Церковь причислила ее к мученицам не за телесное страдание, а за душевное.

ИМЕНА И СУДЬБЫ

«Вера» — имя белое, сияющее, даже слепительное (светом несколько нематериальным). «Надежда» более окрашена, скорее тепло-оранжевым. Цвет «Любви» трудно определить, но из трех самое мягкое и особенно женственное.

Все три имени очень приросли к России. С историей ее никак не связаны, с жизнию — весьма. В просвещенном кругу особенно были распространены. Все, конечно, забыли, что это девочки-мученицы. Даже на иконе Вера (с крестом в одной руке, в другой с пальмовой ветвию) изображена взрослой девушкой.

На иконе взгляд ее скорее грустный, обреченный: агнец, ведомый на заклание. Но в сознании русском преобразились все три страдалицы в символ света и радости — Вера, Надежда и Любовь несут радость: как земную, так и выше земной находящуюся.

Особое дело — София. София «Премудрость Божия» пришла в Россию давно, в знаменитых Соборах — Киевском, Новгородском — св. Софии. Это не София мать мучениц и сама

мученица, но имя то же. Судьба имени этого иная. Как в самих Соборах есть некая строгость, даже суровость куполов-шлемов, так вела путь свой София российская прямо из Византии: Иоанн III взял Софию Палеолог, греческую царевну, стала она русской царицей. Позже «царевна София» петровских времен — тоже история и уже в драматическом роде. Эти имена связаны с мученицей св. Софией, матерью девочек.

Имя прекрасное и глубокое, строгое и величественное. Несколько холодноватое. Ни в жизни русской, ни в литературе не привившееся.

3. НАТАЛИЯ

Горе и мученичество не совпадают. Но вот горе за страдание близкого, любимого, церковью приравнивается мученичеству. Облик Наталии родствен Софии. Сама же она другая: молодая, прекрасная. Жила в Никомодии — Малая Азия. Ее муж Адриан, «претороначальник», как раз занимался преследованием христиан. И вдруг, в один прекрасный день, заявил писцам:

— Запишите мое имя рядом с этими святыми. Я тоже христианин и рад умереть за Христа.

Это происходило в конце III или начале IV века. У «претороначальника» был уже знаменитый предшественник — Ап. Павел. Видение на пути в Дамаск известно, трехдневное ослепление Апостола блеском Христа, вдруг появившегося пред ним («Савл, Савл, чтó ты гонишь меня»), тоже известно. О св. Адриане ничего не знаем (было ли и ему видение? Что за перелом душевный? Поведение мучимых христиан?)

Действие больше переносится на Наталию, тайную христианку. Когда раб сообщает ей, что Адриан сам теперь в темнице, она сперва начинает рыдать. Но узнав, за чтó, впадает в восторг. Бежит к мужу. Тут-то и начинается. Оба молоды, красивы, любят друг друга. И все-таки:

Адриан. Иди домой, вечеряй, и когда я узнаю время наших мучений, приходи увидеть кончину нашу.

Наталия. Не пощади молодости своей и красоты тела.

Она могла бы тут же объявить себя христианкой, остаться с ними. Но вот отмечена иным Крестом.

Перед днем мучений Адриан отпросился из темницы — за него поручились оставшиеся — хотел известить Наталию. Тут произошло нечто странное, как бы недоразумение. Увидев его, Наталия подумала, что он отрекся от Христа и потому его выпустили. Она бросила работу и затворила пред ним дверь.

Наталия. Уходи от меня, отступник Божий!

Адриан. Отвори мне, госпожа, я не бежал, но пришел взять тебя, чтобы ты видела нашу кончину. За меня поручились мученики. Если я не вернусь, они примут муки и за меня.

«Наталия обрадовалась». Не мукам его предстоящим, а знаку Креста над ним, величию. Вместе пошли назад в тюрьму. И как прежде, Наталию не берут: ее дело помощь, сострадание — страдание за других.

Житие полно описанием всяческих мук, изощреннейших, Адриана и других. Мучают, потом лечат, чтобы снова мучить — затянуть пытку. И всегда соблазняют: «если поклонишься богам», то все будет по-другому.

Женщинам со стороны не позволяют помогать мученикам. Тогда Наталия остригает себе волосы, надевает мужское платье и проникает опять в тюрьму.

В некоем исступлении она будто и помогает мучителям: подымает ноги Адриана, кладет на наковальню. Ноги ему отбили молотом.

Наталия. Молю тебя, пока ты еще дышишь, протяни руку, чтобы ее отбили тебе, чтобы ты был равен с другими мучениками, они больше пострадали, чем ты.

Адриан протянул руку, ее тоже отбили. От боли он и скончался.

Наталию так и не тронули. Она даже унесла с собой руку мужа. («Своим слугам Господь даст огромные, нечеловеческие силы»). Эти-то силы и помогали ей класть на наковальню ноги мужа, которого она обожала.

Далее начинаются чудеса, вещие сны, житие выходит из пределов мира трехмерного, но приводит судьбу Наталии к тому же концу, что и Софию — только действие переносится в Византию. После сна, где явился ей покойный муж со словами утешения, Наталия засыпает уже сном вечным.

СЛЕД

У нас любили имя «Наталия», неизвестно почему. Нельзя сказать, чтобы оно определяло некий облик, тип, но слуху нравится это имя.

Толстой выбрал для одного из любимейших своих образов имя Наталии. Наташа Ростова ничего общего не имеет с мученичеством и наверно даже не знала жития св. Наталии (знал ли и сам Толстой?), все же очарование имени он чувствовал, даже не сознавая этого, и некоторые страницы, где появляется Наташа, даже волшебны — правда, все это земное, связано с земной любовью, никак не героической.

Но вот в истории России есть грозный день, именно жертвенно-героический — 26 августа 1812 г. В день Бородинского боя Церковь празднует память св. Наталии.

26 августа 1812 года русская армия являлась жертвой, загораживала грудью своей путь насильнику. Силы были неравные, как всегда в мученичестве. Но духовная сила несокрушима. В русской армии относились к этой борьбе религиозно. Накануне носили по войскам икону Божией Матери Смоленской, сам Кутузов ей земно поклонился и поцеловал Образ. Чувствовали, что идут на муку. Ополченцы надели белые чистые рубахи, готовясь к смерти. И полегли на другой день. Но не подались.

. . . .

Так идет мученичество из дальних веков, в разных обликах первохристианских — Татианы ли, Веры, Надежды, Любви и Софии, или прекрасной Наталии, Адриана — смысл один: противоборство злу, утверждение высшего ценой страдания. Горе ко всем приходит, рано ли, поздно ли. Мученичество к избранным. К тем, кто отмечен Крестом. Им и даются «нечеловеческие силы».

1958

СУДЬБА ТУРГЕНЕВА

Детство Толстого было прекрасно. В старости, среди мучений совести (за грехи взрослой жизни), о детстве он вспоминал как о рае. «Воспоминания», предсмертное его писание о детстве, полно любви и умиления, редких у Толстого.

В Тургеневе чувства покаяния не ощущаешь. Он другого склада. Аполлиническая его натура мало для этого подходяща. Но уж вспоминать о детстве, как о рае он не мог вовсе.

Оба — Толстой и Тургенев — возрастали в барских, раздольных условиях России помещичьей и деревенской, но Толстого окружала любовь, Тургенев в своем великолепном Спасском рос как маленький раб, крепостной собственной матери, полубезумной Варвары Петровны. К чему эти хоромы, парки Спасского, когда в любую минуту могут тебя высечь, неизвестно за что? Шепнет полоумная приживалка что-нибудь матери, та собственноручно его наказывает. Он не понимает, за что его бьют. На его мольбы мать отвечает: «Сам знаешь, сам знаешь, за что секу тебя».

Пусть на другой день он скажет, что все-таки не понял — его высекут вновь и заявят, что так и будут сечь ежедневно, пока не сознается в преступлении.

Привело это к тому, что он чуть не сбежал из родного дома.

«Я находился в таком страха, в таком ужасе, что ночью решил бежать. Я уже встал, потихоньку оделся и в потемках пробрался по коридору в сени...» Спас его благожелательный немец-гувернер, нечто вроде Карла Иваныча толстовского «Детства». (В те времена немцы вообще являлись в нашей литературе сентиментальными романтиками и мечтателями.)

Удивительно, что из такого детства Тургенев вышел не потрясенным, не психопатом. Напротив, явил себя миру гармонией и уравновешенностью. Пушкинскую линию в литературе нашей вел неукоснительно, всю жизнь, хоть из-под гармонии этой сочились — чем дальше, тем больше — таинственность и мистицизм. Во всяком же случае жизнь его взрослая была блестяща и пышна, грустна во многом, но во многом и с великим преуспеянием. О себе мог бы он сказать: «Я художник» — и довольно. Аполлон российский, творец «Записок охотника», «Первой любви», «Дворянского гнезда» и еще многого прекрасного, добрый барин с малыми грехами, русский европеец, меланхолический и изящный. (Леонтьев просто восторгался красотой и барственностью его.)

Он прошел через жизнь как спокойный, величественный корабль, несколько старомодный, неторопливый, оставляя за кормой серебряную струю. Этот след его в литературе нашей верный, долгий — струя не растекается.

Вкусил в жизни и славы, восторгался искусством, видел лучшие страны мира и лучшие их создания, знался со знаменитыми людьми, но гнезда своего не завел: все ходил вокруг да около, тихо пылал, замечательно писал о любви, замечательно тяготел к вечно-женственному и воспевал его, как Петрарка.

Куда вел этот блистательный путь? Горечь проходимости, летучести жизни ощущал Тургенев всегда. Меланхолия сопутствовала ему. «Любовь сильнее смерти» — это ему нравилось. Но было ли достаточным щитом против смерти? (И у кого, в *действительности,* не на словах только, такой щит существует? Святых-то, подвижников, разве уж так много?)

Мир потусторонний Тургенев чувствовал, думаю, больше, чем Толстой. Но скорее с магическим оттенком, не светлым, и это не давало утешения. (Колдовская, загробная сила любви в «Кларе Милич».)

Все же в писании его и душе были христианские ноты. «Живые мощи» и Лиза Калитина написаны *изнутри,* бессознательно. Разумом же своим был он от этого далек. Далек и от вопросов совести, нравственных потрясений, поисков и метаний Толстого. Художник и художник, ни больше, ни меньше, к людям расположенный, сколько мог добра им делавший, но

хорошо их знавший, несколько скептический и не без яду. Свободолюбец и сторонник «медленной культуры» (как и в созидании художника: все дается упорством, трудом над материалом, самопроверкой — неторопливым движением). Революции были ему чужды.

Казалось бы, тихо, мирно вплывать ему в вечность. Но вышло не так. В своем роде получилась симметрия: не мирно, мучительно входил он в детстве в жизнь, страдальчески и уходил из нее. Уходил в этом Буживале, так теперь застроенном... все же барский дом Виардо и рядом Châlet Тургенева существуют. (Но осматривать их нельзя. По случайности мне удалось войти в парк, бегло взглянуть на тургеневский мир, даже сорвать и унести листик березы — память о Тургеневе и о России).

Он заболел в апреле 1882 года. «Невралгические боли», определили врачи. Но, собственно, это было начало Голгофы. Почти полтора года томила и мучила его болезнь — рак спинного мозга — о чем не знали тогдашние знаменитые доктора — выдумывали ему разные болезни, утешали, лечили молоком, какими-то прижиганиями. Болезнь то усиливалась, то ослабевала. Внутренне Тургенев убедился — и довольно скоро — что ему не встать. (Есть хорошее русское выражение: «не топтать мне больше травы».) По характеру не был он мужествен, крепок, но писатель сидел в нем неистребимо, и среди всей горечи, ужаса положения, именно писатель сопротивлялся до конца. Во временном просвете болезни в октябре 1882 года написана «Клара Милич» — вещь таинственная и мрачная, но сильная, не скажешь, что это детище приговоренного и пригвожденного, физически страдающего человека.

Горько вспоминать о последних месяцах жизни Тургенева и его страданиях. Но он вел свою линию непреложно: выправлял мелочи в печатавшемся собрании сочинений, отбирал подходящие для «Вестн. Европы» «Стихотворения в прозе», отвечал Григоровичу, и т. п.— все литература.

За что посланы были этому благороднейшему человеку и высокому художнику такое тяжкое детство и страдальческая кончина? (Последние месяцы боли доводили его до крика, до мольбы прикончить. Даже морфий не помогал.)

Тут начинается уже «область тайн». Вопрос праведного Иова Богу: «За что?» Ветхозаветный Бог ответил грозно и величественно (смысл: не тебе понять Мои намерения). Иов смирился — «отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле».

С Тургеневым вовсе не так. Он не был столь близок к Богу и не мог дерзать на Него и мириться с Ним «в прахе и пепле». Но в его страданиях есть столь же непостижимое и не уклады-

вающееся в трехмерный разум, как и во всяком человеческом страдании. Не нам понять, почему и кому дается Крест. Можем мы только со-страдать, как сострадаем теперь Тургеневу. А в со-страдании уже — любовь.

1958

ТЕТУШКА ЁРГОЛЬСКАЯ И ТОЛСТОЙ

В 1902 г. Толстой был тяжело болен («...воспаление легкого, то самое воспаление, которое бывает у стариков обыкновенно перед смертью»,— писал Чехов Сергеенке. Толстой жил тогда в Крыму).

Но «старик» выжил. Смерть не взяла еще его, оставила ему несколько лет горькой жизни. Близость же ее как бы обострила в нем нечто. В начале 1903 года, в глубоко покаянном настроении, казня себя за многое содеянное, начал он свои «Воспоминания» — о детстве, о разных людях, окружавших его в то время, да и позже. Тут нет прослойки вымысла, как в ранних «Детстве», «Отрочестве», «Юности». Действительно — воспоминания, отчасти суд над собой. В других он видит теперь только хорошее, в себе — дурное. («Испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни и воспоминания эти не оставляют меня...»). Настроение человека высокой духовности, но проведшего бурную жизнь, наделенного стихиями неукротимыми и терзавшими («...служение честолюбию, тщеславию и, главное, похоти»). И человека одинокого.

Как греховную, вспоминает он свою взрослую жизнь. Но не детство. Детство-то как раз просвет, райский мир.

Перечитывая эти «Воспоминания», иной раз даже удивляешься: точно бы не такой Толстой, каким привыкли мы его знать. В великом и прославленном его художестве — «Войне и мире», «Анне Карениной» — мало света и умиления, есть могучая изобразительность, картинность, но совсем иное настроение, чем в скромных этих «Воспоминаниях». А сам он говорит в них (1903 г.) о своем художестве сурово (кажется, единственное сердито-несправедливое место во всем этом писании): «...художественная болтовня, которой наполнены мои двенадцать томов сочинений и которым люди нашего времени приписывают не заслуженное ими значение».

Суд, конечно, неправедный. Но истоки душевного настроения понятны: с той предсмертной высоты, на которой он стоял в 1903 году, духовный уровень раннего его художества, сколь бы блистательно оно ни было, мог казаться ему недостаточным.

* * *

Блаженны кроткие...

Мф. V, 5

Он не знал матери — она умерла, когда ему было полтора года. Не знал — и знал. Знал по рассказам о ней позднейшим, по письмам, воображал ее (княжна Марья из «Войны и мира»), создал даже миф некий: образ матери стал как бы иконой (не отсюда ли лучистые глаза кн. Марьи?). И вот он признается: «часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне».

Толстой остался Толстым: не ждал, пока будет она причислена к лику святых, сам причислил, обращался к ней как к святой, но как замечательно, что и в «средний период» мог он вот так выходить из обыденного, трехмерного, при всей своей «плотскости» стремиться к запредельному добру.

Немало фигур проходит в «Воспоминаниях» этих.

Является старший брат Николенька («никогда не осуждал никого»). С такою же любовью, как о матери, говорит о нем Толстой, но тут уже как о существе осязаемом — он его знал. Мелькает и учитель Карл Иваныч «Детства», проходят няни и дворовые, все в освещении благостном, тетушка Александра Ильинична (Остен-Сакен) — «денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у ней было». «Жила истинно христианской жизнью». «Умерла в Оптиной Пу́стыни».

Но главное место занимает другая «тетенька», Ергольская, Татьяна Александровна. Тут уже не только детство, она сопровождает жизнь его на долгий срок, она и умиляет его, и перед ее памятью он кается.

Фамилию «Ергольские» помню еще с детства: какие-то баре в окрестностях села Брыни, недалеко от нас. Знакомы мы с ними не были, но отец нередко называл имя Ергольских — все это то же дворянское гнездо, откуда была и Татьяна Александровна. Вот и радостно как-то знать, что недалеко от мест детства произрастала такая Татиана, смиренная, может быть, из непрославленных святых.

Она послана была в жизнь великого Льва как луч света и тишины — того, что всего труднее ему давалось. И любви — что ему тоже было нелегко.

Татьяна Александровна всю жизнь безответно и безнадежно любила отца Льва Николаевича. После смерти жены он предложил ей руку. Она записала: «16 августа 1836. Николай сделал

мне сегодня странное предложение — выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их не покидать. В первом предложении я отказала, второе я обещалась исполнять, пока я буду жива».

Так оно и вышло. По мнению Толстого, любовь к людям изливалась у нее из главного центра, из любви к отцу. И вот с ранних лет Льва Николаевича пронзила его эта Татьяна вспышками «восторженно-умиленной любви к ней». «Помню, как раз на диване в гостиной (мне было лет пять), я завалился за нее; она, лаская, тронула меня рукой. Я ухватил эту руку и стал целовать ее и плакать от умиленной любви к ней».

Толстой и «умиленная любовь!» — а вот, однако же, это было. Очевидно, и в ней был какой-то покорявший талисман — так овладевала она и детьми, и взрослыми, и барами, и простыми людьми — крестьянами, дворовыми, прислугой. Самого же Толстого покорила на всю жизнь. «Она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем существом заражала меня любовью» — обладала тем даром, которого не так-то много было у Толстого, но он жаждал его, мучительно к нему тянулся, и чем старше, тем больше.

Она прожила в их доме около двадцати лет, влияние на Толстого имела огромное и благодатное, но неприметное. В предсмертные его годы вызвала в нем и тягостное раскаяние: «Не могу забыть и без жестокого укора совести вспомнить, как я несколько раз отказывал ей в деньгах на эти лакомства» (винные ягоды, пряники, финики — а она преимущественно других угощала ими, и самого же Толстого) — «и как она, грустно вздыхая, умолкала. Правда, я был стеснен в деньгах, но теперь не могу вспомнить без ужаса, как отказывал ей». (Пред смелостью и прямотой, с какими говорит он о себе, просто преклоняешься.)

«Всеобщая доброта ко всем без исключения» — вот как он ее определяет. «Она выросла в понятиях, что есть господа и люди, но пользовалась своим господством только для того, чтобы служить людям».

Верила по-церковному, во все, кроме одного: не принимала вечных загробных мук (имея, впрочем, на своей стороне и некоторых Отцов Восточной Церкви).

Когда стало приближаться время ее отхода, она попросила, чтобы ее перевели из этой, особенно хорошей, комнаты, где она жила, в другую. Комната могла им понадобиться (Толстой был уже тогда женат). «А если я умру в ней,— сказала она дрожащим голосом,— вам будет неприятно воспоминание, так вы меня переведите, чтобы я не умерла здесь».

Ее и перевели. А пожалуй, можно было и не переводить? Но для этого надо было больше любить. И, возможно, сам Толстой позже с горечью вспоминал бы об этом. Но не много оставалось ему самому жить.

Умирала она тихо и смиренно, «постепенно засыпая». Почти никого не узнавала. «Меня она узнавала всегда, улыбаясь просиявала, как электрическая лампочка, когда нажмешь кнопку, и иногда шевелила губами, стараясь произнести Nicolas, перед смертью уже совсем нераздельно соединив меня с тем, кого она любила всю жизнь».

А что если просто вспомнила *того,* по поводу *этого*?

* * *

Когда несли ее гроб, не было двора из шестидесяти в Ясной Поляне, где бы не выходили люди, требуя остановки и панихиды. Смиренная Татьяна, мало вкусившая в жизни меду, в смерти получила бескорыстное народное прославление. «Добрая была барыня, никому зла не сделала» — это голос мира. Сам Толстой считал, что знал только одного человека, в котором не было ничего дурного. Человек этот был — Татьяна Александровна Ергольская.

Жизнь великого Льва несоизмерима с жизнью скромной «тетеньки» (так они ее называли, а в сущности, она даже довольно далекая была тетенька, сложно приходилась). «Он» отбрасывает свою тень не только уж на Россию, но и на весь мир. И его насупленные брови, седая борода учителя жизни стали мировым достоянием. Дары, ему отпущенные, огромны.

Но как кончается его жизнь... Умирать не только во вражде с церковью, но и со своей собственной подругой, после почти полувековой общей жизни, имея целый сонм детей! Бежать из своего дома, кончать дни у начальника станции среди раздора домашних гвельфов и гибеллинов, враждующих между собой партий. И быть зарытым в яснополянском парке, где можно было закопать и какую-нибудь любимую левретку.

Мало походит это на благоговейное шествование тетушки Ергольской среди крестьянских изб с требованием панихид у каждого дома.

Велика тайна человеческих судеб. Но в сопоставлении двух этих жизней и смертей — ясно видно, как победила в смерти незаметная Татьяна Ергольская всемирно знаменитого Льва Толстого.

25 октября 1958

ВЕЧНАЯ КНИГА

Передо мной небольшая книжка, в черном переплете, с золотым крестом посредине, над ним надпись, тоже золотом: «Евангелие». Это новый перевод с греческого, изд. Британского и Иностранного Библейского Общества. Перевод епископа Кассиана в сотрудничестве с комиссией из нескольких лиц (проф. Карташев, В. Н. Раевский, проф. А. П. Васильев, Н. А. Куломзин и др.).

Книжка получилась небольшая, издана очень изящно, облик православия в европейском виде (с указанием параллельных мест на полях, иной нумерацией стихов, чем в нашем синодальном издании, и т. п.).

Синодальному переводу Евангелия почти сто лет. Многое изменилось с тех пор и в языке нашем, и в изучении, пополнении древних рукописей, с которых перевод делался. Перевод времен митроп. Филарета был хорош, но во многом устарел.

Такая же картина повсюду теперь в Европе: рядом с прежними возникают новые переводы, разного достоинства и разного характера: более ученые и дословные, и более вольные литературные. На русском языке вот этот перевод есть первый, так сказать, «частный», неофициальный.

Некогда Вольтер говорил, что теперь уже никто не будет переводить Священное Писание. Прошло, мол, время предрассудков. «Просвещенный разум» все разъяснил, устроил. Прежнее пора в архив.

С тех пор Священное Писание было переведено столько раз, что Вольтер ужаснулся бы «темноте» нынешнего человека. Ныне Евангелие существует на 1800 языках (считая диалекты; конечно: в одной Индии их около 400). Надо сказать: главнейше потрудились тут протестанты, англичане особенно. (Но за последнее время и католики сильно взялись.) И куда только ни проникло Слово Божие — и к не дикарям в разных частях света, и к дикарям, разным зулусам, кафрам... Приходилось переводчикам-миссионерам чуть ли не создавать грамматику, иногда видоизменять текст, чтобы не вышло недоразумения (отец не даст сыну змею в снедь: для нас убедительно, а для чернокожего некиих племен змея — лакомство, он ничего не поймет из евангельского этого места, надо вместо змеи поставить что-то другое).

* * *

Перевод — дело трудное и неблагодарное. Может быть, на язык кафров и легче переводить, потому что и языка-то, вероятно,

никакого нет, первобытный лепет, без сложившихся форм речи, без синтаксиса и грамматики. Но наш язык не лепет. Даже на церковнославянский легче было переводить с греческого — меньше считались со строем языка, прямей всаживали греческое. У русского же языка уже установившийся склад, хотя и гибкий (гораздо гибче французского), все же склад. И переводчик должен с этим считаться. Всегдашняя трудность перевода: сохранить точность, но чтобы вышло по-русски, а не подстрочник. Все это работа кропотливая, требующая упорства, терпения, и времени, времени...— в итоге чаще всего вызывающая упреки и критику. Чего легче: выхватить отдельную фразу — «нет, *я* бы вот так сделал, по-другому»! И действительно, очень часто возможны разные варианты, какой выбирать? Давно Бианки, знаток и комментатор Данте, сказал о труде переводчика: «Molta è fatica, poca gloria»[1]. И это совершенно верно.

В данном переводе Евангелия главное бремя несет, разумеется, епископ Кассиан, переводчик, знаток греческого языка, знаток Нового Завета и богослов. Остальные были помощниками и советниками, кто по греческому языку, кто только по русскому.

Вспоминаю наши «бдения» в Сергиевом Подворье как нечто «давно прошедшее», plusquamperfectum и хорошее. Бдения над Святой Книгой. Пять лет сидели, каждую пятницу, по 4—5 часов, без конца перечитывали текст, сверяли, спорили, иногда волновались и чуть ли не сердились. Но надо правду сказать: над всем этим веяла благоговейная любовь к делу и великое поклонение неземной Книге. Галилейские рыбаки проходили перед нами, разные сети, уловы, чудеса, нищие и страждущие, одержимые исцелялись, бесы в свиньях летели в воду, голодные насыщались пятью хлебами и блудный сын возвращался. Свет фаворский сиял над горою Преображения, жены-мироносицы следовали за Учителем, и Он Сам всегда присутствовал. Высший Свет, всемогущий Агнец, идущий добровольно на заклание голгофское. «Вы от мира сего. Я не от сего мира».

В окнах сергиевской комнаты ветер колыхал деревья зеленой горки, листья каштанов падали на осеннюю землю, а сверху приплывали томы словарей и справочников: епископ Кассиан читал нам разные толкования такого какого-нибудь греческого глагола, какого и слышать никогда не приходилось. Время текло. Смиренно подавался чай.

Четверть часа отдыха и опять аористы, перфекты, страдательные залоги (не тем будь помянуты для русского языка...), запятые, точки.

---

[1] Много труда, мало славы *(ит.)*.

Был случай, что полчаса спорили из-за запятых в одном месте от Матфея. Приходилось и так: решили один оборот речи, через два года перерешили по-другому, а еще через год вернулись к прежнему. Что это значит? Откуда упорство? Из неравнодушия и любви. Если мне *все равно,* то спорить не о чем, пусть будет как попало, но если есть сознание, что можно и нужно что-то сделать как следует, тогда и является горячность. Назовем это рвением. У всякого настоящего писателя есть желание добиться наилучшего в своем труде. Но ведь здесь не просто роман, новелла, философская книга. Это Священное Писание. Приступали каждый раз с молитвой, кончали молитвой.

И вот пятилетний труд отлился в 234 небольших страницы — Четвероевангелие. Не мне судить об окончательном качестве перевода. Для этого надо быть посторонним человеком, затем богословом, знатоком греческого языка.

Все-таки для меня есть нечто волнующее в появлении этой Книги. Она особенная, ни на что не похожая. В церкви читают ее по-церковнославянски, для торжественности большей, хотя она как раз не громоподобна и торжественность ее — внутренняя, тихая. Смею даже думать, что простота русского языка более ей подходит, чем звон церковнославянский, хотя в музыкальном отношении по-церковнославянски выше.

Во всяком случае — Вечная Книга. Читали ее и читают, и будут читать, и простые люди, и книжные, и здоровые, и больные, и обездоленные, страждущие, в тюрьмах и ссылках находящиеся. Читала у Достоевского «блудница преступнику», читают какие-нибудь мальгаши и негры, японцы, индусы. В 1819 году старческим голосом читал на Валааме императору Александру игумен Иннокентий. («По окончании же литургии, на напутственном молебне преп. Сергию и Герману, когда вынесли Евангелие, государь стал на колени. Иннокентий положил ему на голову руку и, держа сверху Евангелие, читал те самые слова, за которыми и плыл сюда в бурную ночь Александр Благословенный, он же грешная и мятущаяся христианская душа, ищущая успокоения.— «Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим»).

* * *

Отказываясь от оценки научной, не отказываюсь от чувства непререкаемого: новый перевод — дело положительное. Наверно есть в нем мелкие промахи, кое с чем я сам не согласен, все-таки хорошо, что он вышел, в нем есть нечто освежительное и в европейском духе, не захолустное. Делалось в современном

вооружении научном, с любовью и тщанием, в глубокой серьезности. Читая теперь вслух главу за главою, больному человеку, вспоминая иногда мелочи трудов, сражений, перемен, перестановок, вижу цельное здание, убеждаюсь неизменно, что молились недаром и трудились не напрасно.

13 июня 1959

ДНИ (ЕПИСКОП КАССИАН)

Фотография времен рождения Сергиева Подворья: пред храмом сидит митрополит Евлогий, на коленях у него мальчик (Осоргин), кругом толпа нас грешных, более или менее близких Подворью. Молодой еще Вышеславцев, худенький, черноволосый С. Безобразов, священники и разные другие. Всему этому сорок лет. Большинство уже ушло, начиная с самого митрополита, основоположника этого удивительного дела.

Время давнее, и многое изменилось. Худенький Безобразов принял монашество. Несколько суровых лет провел на Афоне. В Париж вернулся, здесь трудился, в этом же Подворье (Богословском Институте), тут уже назывался Кассианом. В 47-м году другой митрополит, Владимир, возвел его в сан епископа — помню, в необычайно жаркий летний день, в той самой церкви Сергиева Подворья, пред которой некогда стоял он в нашей толпе. Ученейший епископ, но и закаленный Афоном, суровостью его зим, знаток Евангелия и Нового Завета вообще, «новозаветник» — среди ученых европейских имя.

Зимой читал лекции, писал, общался с иностранными богословами — католиками и протестантами, а летом уезжал, обычно в Испанию. Жил на побережье Тирренском, близ Валенсии, в скромной рыбацкой деревушке. Дети его очень любили. Из Парижа привозил он испанской этой голытьбе игрушечки, сласти, «obispo ruso»[1] звали его взрослые, рыбаки и рыбачки. И тоже весьма почитали: за простоту и доброту. Думаю, нечто евангельское было и в самой жизни obispo этого на нищем побережье.

В пятидесятых годах возглавлял он новый перевод Евангелия. Тут и пришлось ближе с ним встречаться. Каждую пятницу мы собирались, несколько человек «Комиссии по переводу», в скромной комнате дома близ храма, где над нами жили — архимандрит Киприан, А. В. Карташев, а еще выше, чуть не в чуланчике

[1] Русский епископ *(исп.)*.

под крышей, как в афонской келийке, и сам ректор Института Богословского епископ Кассиан.

Он спускался к нам с высот своих с грудою словарей и ученых немцев под мышкой, мы рассаживались вокруг стола и начиналось действо: чтение строка за строкой перевода (с греческого; его делал сам владыка), а мы, подсобные, вносили изменения, поправки, варианты. В окно глядела зелень православной горки, сверху спускались и еще фолианты, а за столом шли мирные, но иногда и упорные споры — было из-за чего спорить: Евангелие! Каждому хотелось, чтобы вышло получше. В пять часов смиренный служащий вносил на подносе чай — маленький отдых, а потом опять тексты, сличения, противоборства.

Главным трудником и энтузиастом предприятия был владыка — трогательный в чистоте и наивности своей, с детски-голубыми глазами, отрешенный от жизни и здравого смысла ее, но во многом упорный. (Странным образом, тяготел и к деятельности административной, но в этом, насколько знаю, не преуспевал.) Основное для него, конечно, наука. Среди книг, словарей, греческих глаголов он у себя дома. В храме тоже хорошо служил, и говорил хорошо с амвона — кратко, сжато, всегда своеобразно. Преодолевал даже небольшой недостаток (физический) речи: говоря в церкви на одну ноту, не заикался вовсе.

«Труды» же наши над переводом протекали вполне мирно, о них остались благодарные воспоминания — хотя спорили немало. Об одном таком споре вспоминаю теперь с улыбкой. Касался он запятых в стихе восьмом десятой главы от Матфея. Владыка отстаивал свои запятые, я свои. Через полчаса боя владыка сказал, слегка устало:

— Борис Константинович, отложим решение до следующего заседания.

Так и сделали. Решение о запятых вышло компромиссное, каждый немного уступил.

Сейчас, через десять лет, когда Евангелие наше давно уже продается, заглянул я в оба перевода — прежний синодальный и наш, где мы пролили столько поту и крови: запятые-то в десятой главе оказались и у Филарета, и у нас те же самые. Только слова немножко переставлены.

Над этим переводом сидели мы пять лет. Конечно, все то же Евангелие получилось, но мелочи некие изменены, и, при огромной эрудиции владыки Кассиана, приняты к сведению все достижения науки новозаветной (древние рукописи греческие и т. п.).

Перевод издало Библейское Британское Общество в 1958 году — это был год, когда я не мог уже больше участвовать в переводе «Деяний». Не знаю, доведены ли они до конца. Но и сам владыка Кассиан стал сдавать, болезнь его развивалась, и вот только что он скончался — мир праху его! Передо мною лежит извещение Богословского Института об упокоении владыки на кладбище St. Geneviève des Bois, нашем последнем эмигрантском приюте.

На похоронах его я не мог присутствовать. Но всегда помню и буду помнить этого одинокого, странного и особенного человека, иногда нелегкого, но глубоко и высоко преданного Высшему — «Кассиана, епископа Катанского, ректора Богословского Института св. Сергия, доктора Фессалоникийского Университета».

Удивительными евангельскими строками кончается извещение Института о его уходе: «Слово Мое слушающий и верящий Пославшему Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь» (Иоанна, 5, 24).

Так вот и сказано о владыке Кассиане: «На суд не приходит» (любимым его евангелистом был Иоанн).

То есть, все ясно и без суда. Достоин, аксиос. Раньше как-то не замечались эти слова, может быть, заслонялись дальнейшими, столько раз слышанными на отпеваниях. Но вот к одинокому епископу их применили.

18 марта 1965

ПАМЯТИ О. ГЕОРГИЯ СПАССКОГО

Спиридон — поворот
(По-народному)

О. Георгий Спасский, вождь, наставник, «златоуст», метеором пролетел сквозь нашу жизнь — блеснул, скрылся. Россия, Вильно, гром проповедей, посещение тюрем, война, революция, Севастополь, где Колчак предложил ему место главного священника Черноморского Флота, дальше Тунис, Бизерта, везде страждущие, и везде он, непоколебимый, с Крестом в руке и огненным словом. Докатывается и до Парижа, rue Daru.

Ныне никак не дата юбилейная, но вот является он вновь в душе, духовник и мой, и жены покойной, и дочери.

В январе 1934 года, на лекции в зале Плейель, внезапно остановился на слове «православие»... скончался. Кончина —

ему подходящая. С военными много трудился, как воин, и вообще жил, как и ушел,— сраженный в битве.

Таинственная его судьба, во многом и необычайна: ребенком был исцелен чуть не в одно мгновение от нервной болезни по молитве родительской у иконы Сурдегской Божией Матери. В конце жизни, за день до смерти, получил в алтаре откровение (в день св. Серафима Саровского) о близкой кончине, о чем и сообщил жене.

* * *

Через четыре года после его смерти вышла книга «О. Георгий Спасский»[1] — собрание воспоминаний и статей о нем — разнообразнейших лиц, от митрополитов и епископов, общественных деятелей, военных, писателей, художников, артистов (Рерих, Шаляпин, Германова), до скромных учениц, кому преподавал он, и вообще тех, кому духовно, светом своим и высоким строем души, помогал. (Собирание материалов для книги этой — долгое, бескорыстное — дело рук покойной княгини Ольги Дмитриевны Вяземской.)

Книга связана с целой полосой моей жизни, бережно у меня хранится. Недавно открыл ее, перечитал с волнением бесхитростный рассказ г-жи К. (мною некогда редактированный) о роли о. Георгия в жизни ее и ее семьи.

Приближается день св. Спиридона Тримифунтского (зимнее солнцестояние, поворот на весну: 25 дек. нов. ст.). Странным образом, книга эта, долго безмолвно у меня лежавшая, вдруг обратилась ко мне языком и ныне здравствующей г-жи К.

Дело было такое: муж, жена, девочка только что попали в Париж из Болгарии (20-е годы) — русские эмигранты. Декабрь, холодно, в кармане пусто. Жена полубольная, одиннадцатилетняя дочь плачет, нельзя продолжать учение в Лицее. Муж безработный.

25 декабря, в день св. Спиридона, выходят на улицу, бродят по незнакомому Парижу. Оказались случайно на rue Daru. Девочке холодно, она просит родителей «зайти в церковь погреться! — вот туда люди идут». Именно зашли «погреться». В нижнюю церковь. Там о. Георгий служил акафист св. Спиридону. Они жмутся робко в толпе. Последними подходят к Кресту. И тут встречают взгляд о. Георгия. Мгновенно что-то возникает.

---

[1] О. Георгий Спасский. 1877—1934. Париж, изд. Комитета памяти о. Георгия Спасского, 1938. В этой книге Б. К. Зайцев поместил два своих текста, посвященных о. Георгию.

Он просит их повременить, остаться. Остаются. Он расспрашивает, как и что. «Не могу точно передать его слова, говорила сама душа. Помню только мои слезы — уже радостные, и благословение в память св. Спиридона. Взято слово: чтить память Святителя и молиться ему. И вот совсем замечательно: сказано тут же, бесприютным странникам, что не только будет у них свой угол и дом, но что заложат они «вечный камень — храм св. Спиридона, епископа Тримифунтского».

Заложить храм, когда в кармане полный ветер! Будто бы и нелепо...

Возвращаются домой — на столе письмо: предлагают мужу работу. Он начинает простым рабочим. Через год оперились настолько, что удалось купить клочок земли под Парижем. Дальше — больше — свой домик выстроили, и уж совсем сказочно: собирают у себя соседей русских, сообща создают храм имени св. Спиридона.

Можно представить себе, каково теперь благоговение к о. Георгию! Благодарственный молебен. Г-жа К. все думала, что бы подарить ему? И вспомнила, что есть у нее земля с могилы св. Иоанна Рыльского, из Болгарии. (Ходила там в паломничество, в монастырь его, и получила горсточку.) Вот это самое дорогое и отдать.

«Конец молебна, страшно волнуюсь, целую Крест и прошу о. Георгия принять св. землю».— Тут все — еще выше: о. Георгий взволнован, просит сделать ладанку с этой землей. «Я никогда не сниму ее с груди».

Оказывается, он почти всю ночь эту не спал, читал житие св. Иоанна, и так хотелось получить реликвию Чудотворца! Решил даже писать в Болгарию, игумену монастыря.

Г-жа К. принесла ему через несколько времени ладанку с этой землей. Он надел ее и с ней лег в гроб, когда пришел час его.

* * *

Вот такой и был о. Георгий: не ученый богослов типа о. Сергия Булгакова, не устроитель церковный, как митрополит Евлогий (создатель Сергиева Подворья и Богословского Института, управитель и даже политик в своем деле) — о. Георгий Спасский был мужественный и воинственный, но и благой, полный любви носитель прямой духовной силы, власти над душами чрез эту любовь и силу, а частию и прозорливец. Из него просто истекало некое излучение светлое, прямо действовало на душу. Женские души и женственные особенно ему

отвечали, как более теплопроводные и светоприимные. Это и в книге о нем чувствуешь. Митрополиты и архиереи прохладнее, им видно более со стороны. Женщины, и не очень-то писать умеющие (для печати), жарче принимали свет и любовь. (Впрочем, и мужчины, и военные, с кем делил он страдания революции, кого утешал и поддерживал и в Крыму, и в Бизертах разных, очень его почитали.)

О. Георгий сказал г-же К., что это сам св. Иоанн Рыльский прислал ее со священной землей.

Кто подтолкнул мою руку взять давнюю книгу, вновь благоговейно, вне всяких юбилеев, помянуть о. Георгия, поддерживавшего в трудные времена и меня, и жену мою, благословившего мою дочь на жизнь жены и матери?

Св. Спиридон поворачивает зиму на весну, к свету.

25 декабря 1965

СЕРГИЕВО ПОДВОРЬЕ

У меня сохранилась давняя фотография, 1925 года: перед храмом св. Сергия на rue de Crimée, на фоне густо разросшихся деревьев, некое собрание людей церковных и мирян — в центре в первом ряду митрополит Евлогий, сидит, обнимая правой рукой мальчика, к нему прильнувшего. Дальше стоят разные, и духовные, и мы грешные. Это — самое начало замечательного православного дела: новый наш храм и тут же при нем возникающий Богословский Институт.

Смотришь на изображение и с радостью, и с печалью. Как все давно было! И сколько перемен!

Радость в том, что прекрасное предприятие, начатое митрополитом Евлогием со смелостью необычайной, не только не захирело, но и разрослось, десятилетиями утверждая стяг св. Сергия Радонежского на парижской дальней горке, излучая свет науки и православия из Богословского Института уже в размерах европейских.

Печаль — в том, что глядя на эту толпу духовенства и мирян, почти никого из знакомых и друзей, близких, никогда уже не увидишь. Неудивительно: сорок лет. Ребенок при митрополите — давно регент хора церковного здесь же. Духовенство, дамы Сестричества в черных головных уборах с белыми на лбу крестами, профессора, философы — все почти переселились на вечное упокоение. Не говоря уже о митрополите: он и тогда был немолод. Но Карташев — в расцвете сил, худенький Без-

образов в штатском (позже многобородый ректор Богословского Института епископ Кассиан, известный новозаветник).

Близ владыки знаменитый златоуст, духовник семьи моей о. Георгий Спасский, дальше быстрый, блестящий проф. Вышеславцев, его жена, моя жена...— чувство как бы неловкости: а вот ты все еще живешь...

Да, живем и уходим, все же отрадно видеть, что высокое начинание, под покровом св. Сергия, уцелело и благовестие его продолжается. Не только Европу, но и Ближний Восток, Америку заокеанскую захватывает — некий центр православного богословия и благочестия.

Когда митрополит Евлогий его основывал (на покупку «холма» с прежнею протестантской церковью выложил все, что имел,— в задаток: верил, что остальное, главнейшее, найдется. И нашлось. Где? Барон Гинсбург, патриот России, дал остальное это).

Митрополит Евлогий главным образом хотел создать рассадник новых пастырей для Франции, Парижа. Но получилась не семинария, а Академия, высшее духовное учебное заведение.

Много помогло и то, что в Париже оказались тогда крупные научные силы. О. Сергий Булгаков, А. В. Карташев, проф. В. Зеньковский, Г. П. Федотов, Л. А. Зандер. Позже присоединились и более молодые: худенький на фотографии Безобразов, принявший монашество (с 47 года епископ Кассиан), покойный архим. Киприан, прот. Афанасьев, Евдокимов, нынешний ректор прот. А. Князев, и еще более молодые.

Митрополит Евлогий, сам выросший в суровом синодальном православии, тут проявил себя по-другому. Несмотря на нападки на о. Сергия Булгакова за его «слишком смелое» богословствование, митроп. Евлогий его прикрывал (и дело доходило чуть не до обвинения в ереси — особенно старалось советское духовенство). Но митрополит читал и Мережковского, и Бердяева, а Бердяев хоть и не был профессором Богословского Института, но редактировал религиозно-философский журнал «Путь», где Булгаков соседствовал с самим Бердяевым, Франком, Шестовым, Федотовым и Вышеславцевым. Это в некоем смысле был «авангардный» православный журнал, зарубежное продолжение замечательного религиозно-философского возрождения начала века, когда бывшие «левые», даже марксисты, продолжая линию Владимира Соловьева, внесли свежую и даровитую струю в толкование высших вопросов духа.

Как раз этот не-провинциализм православный и позволил деятелям Богословского Института создать не захолустную бурсу, а учреждение, стоящее на высоте европейского богословского просвещения.

Последствия сказались скоро. В начале студенты были только (или почти) одни русские. Но чем дальше шло время, тем большее число иностранцев православных росло: греки, сербы, финны, поляки, немцы, швейцарцы, румыны, уроженцы Ливана! Подумать — один из бывших студентов института теперь митрополит на Ближнем Востоке. А своих, русских, сколько выпущено? Пятнадцать епископов, двести священников, пятнадцать профессоров богословия. Некоторых хорошо знали мы здесь еще — а теперь они: Никон (Греве) архиеп. Бруклинский, Иоанн (Шаховской) архиеп. Сан-Францисский и Западной Америки, Сильвестр (Харунс) архиеп. Монреальский — Канада. Мефодий (Кульман) еп. Кампанский — в Париже. Некоторые попали в московскую юрисдикцию — митрополит Николай (Еремин) на покое, близ Парижа, а есть и архиеп. Новосибирский! (Новосибирск этот в такой глуши Западной Сибири, что до него и не доберешься).

Еще при жизни покойного (ум. 1960 г.) архимандрита Киприана, выдающегося патролога и литургиста, начались летние международные съезды в Богословском Институте. Был о. Киприан главным вдохновителем и устроителем их. Вел бесконечную переписку с богословами Англии, Германии, Франции, Бельгии, условливался о темах выступлений, устраивал приезжим помещения в отельчиках близ Сергиева Подворья, трудился неустанно.

В июльские дни Сергиево Подворье обращалось в некий международный центр — среди зелени холма с храмом виднелись бритые физиономии англичан и немцев в стоячих крахмальных воротничках, сутаны католиков рядом с бородами наших епископов и архимандритов.

Научный труд русских «сергиевцев» очень обилен. В специальном издании по-английски перечислены труды ученых наших, книги, статьи. Их оказалось сотни. В пятидесятых годах научно-литературная комиссия в Сергиевом Подворье занималась новым переводом Нового Завета. Председателем был еп. Кассиан, он же и переводчик (с греческого). Остальные помогали, как умели. Бывали жаркие споры, иногда из-за мелочей, запятых, но ведь текст — священный, есть из-за чего постараться. Всем хотелось, чтобы вышло получше. Ссор не было, а любовь к делу, энтузиазм согревали.

Издатель — Библейское Общество в Лондоне. Может быть, это и был один из ранних проблесков экуменизма, так теперь, слава Богу, разросшегося. Издали Евангелие русское англикане, а один из участников труда был русский пастор — протестант Васильев, приезжал из Брюсселя каждую пятницу на Зе-

леную Горку, на бдения многочасовые над рукописью, словарями и пр.

Нечего и говорить — конечно, при институте есть библиотека, пятнадцать тысяч томов.

* * *

Тут вот и начинается другое — материальное. Не только библиотека, но и общежитие для студентов, и самый храм. Все помещения, как и земля, были, как сказано, приобретены еще митрополитом Евлогием сорок лет назад. Люди уходят, но и вещи слабеют. Даже самая земля святого места. Говорят, под Парижем много старых каменоломен (а частию и катакомб). Так ли, иначе, за сорок лет почва под храмом стала оседать, появились в стенах трещины. Надо чинить, и серьезно. Грустно и с общежитием, дортуарами студенческими — все ветшает. Для библиотеки места настоящего нет, она помещена в шкафах стенных тех же аудиторий и спален студенческих. Значит, работать в этой библиотеке нельзя, можно только книги *выдавать*. Нет и подходящего помещения для собраний международных. Одним словом, надо бороться и с действием времени, и с тем, что мешает расширению или даже поддержанию объема деятельности.

Богословский Институт как бы слился теперь с приходом Подворья (вторым в Париже по размеру), вместе они действуют, стараясь и поддержать храм, и упорядочить общежитие, библиотеку, создать лучшие условия и для трудов международного характера.

Международность вообще проявилась с первых же шагов Богословского Института. Тогда не было еще в таком размере экуменического, общехристианского духа во всем мире, как теперь. Но и в ранние годы институту помогали, кроме православных русских, и протестанты, и англикане. Всемирный Союз Церквей поддерживал Зеленый Холм. Новый перевод Евангелия выпущен Британским Библейским Обществом еще в 1959 г. (весь Новый Завет если еще не вышел, то вот-вот выходит тоже в Лондоне, на средства англичан). Да и содержание общежития, студенческие стипендии тоже поддерживались и поддерживаются не только русскими.

Но теперь, с течением времени, все усложняется и расширяется. Комиссия русских архитекторов выработала план укрепления храма. Насколько понимаю, под фундамент, в ослабевших местах, подведут какую-то бетонную «подошву», чтобы вернее дело было. Для студентов предполагается новое здание, внизу,

вдоль стены, выходящей на rue Meynadier. Прежние дортуары обращаются в помещение для библиотеки и какие-то раздвижные перегородки смогут устраивать большую залу для ежегодных международных собраний, докладов, защит диссертаций и т. д.

Расходы по укреплению храма предположено покрывать из русских источников, на новые здания — из иностранных. Тут ли, там ли, нужны средства. Цель прекрасная и высокая, дело теперь за отзывчивостью тех и других. Верим, что как была отзывчивость эта в прошлом, так сохранится и теперь. Кто ценит и любит Сергиево Подворье, тот и обращается, не только от своего имени, ко всем русским, а если дойдет голос слабый, то и к христианам иностранным:

— Поддержите Сергиево Подворье! Помогите делу высокому.

18 марта 1967

АФОН

«Светлые воды Архипелага»... да, светлыми водами этими встретил меня Афон, больше сорока лет назад. Афон греческо-русский, сербский, болгарский, румынский, всегда православный — для меня, конечно, прежде всего русский.

Я был путник, пилигрим, «поклонник», как там говорят. Жил в русском монастыре св. Пантелеймона, одном из крупнейших на Афоне. Оттуда совершили мы с незабвенным иеромонахом Пинуфрием объезд всего Афона — на лодке до южной оконечности полуострова и самой горы Афон, венчающей его, дальше пешком до Лавры св. Афанасия, опять на лодке вдоль берега на север до Ватопеда, затем на «осляти», переваливая через хребет лесистый, узкою тропинкой (на Афоне нет дорог), вновь в родные края русские — в монастырь кроткого Юноши-Целителя и мученика св. Пантелеймона.

Немало он претерпел при жизни, но не окончена его страда. Суждено мучиться ему — в творении своем — и ныне. Кому мешал, кого обидел безобидный Пантелеймон? Не нашего ума дело.

Вот и дошла до нас весть: старец в монастыре св. Пантелеймона затопил вечером печку. Все там ветхое, как и сами насельники. Накопилась ли в трубе сажа, труба ли попортилась, только загорелось где-то на чердаке во время утрени (начинается на Афоне в час ночи), заполыхало под крышей. Ночь осенняя, бурная, ветер ворвался, раздувает, куда справиться старикам с пламенем бушующим!

Пожар пожирал детище св. Пантелеймона. «Иеромонах Серафим от скорби внезапно заболел и его немедленно отправили в госпиталь в Салоники». А пожар не унимался. Надеюсь, не весь монастырь погиб,— все же дело серьезное, это чувствуется по вестям здешним и из Америки. Еще удар по православию русскому, и так уже многострадальному.

* * *

В 1927 г. на Афон отправился молодой поэт Дмитрий Шаховской, пробыл там сколько надо и вернулся монахом, там и принял постриг (ныне он архиепископ С.-Францисский Иоанн). По литературе, да и лично я его знал. Теперь встретились мы несколько необычно: это был не редактор литературного журнала «Благонамеренный», а инок в рясе, все для него — Афон. Вслед беглой встрече я захотел углубления. Он назначил встречу в Сергиевом Подворье, в $7^1/_2$ ч. утра. Я покорно встал в шесть, и в полуподвальном, полутемном закоулке Подворья он подробно рассказал мне об Афоне. Значит же, хорошо рассказал! Денег не было ни гроша, но они явились — знаменитое слово профессии нашей: аванс. В мае плыл я уже «по хребтам беспредельно-пустынного моря» к таинственному этому Афону.

В книге, вышедшей через год, путешествие мое описано. Событием оказалось оно для меня. Сейчас горе Афона всколыхнуло былое, столь незаслуженно прекрасное.

Как и что там теперь, на смиренном «Земном Уделе Богоматери»? Что погибло, что уцелело из тех зданий монастыря св. Пантелеймона, где я провел некогда «семнадцать незабываемых дней»?

Пешком входил в монастырь, поселился в гостинице монастырской — огромном корпусе, где бесконечными коридорами можно прямо пройти в церковь Успения Божией Матери (главный действующий храм обители). Гостиница чуть не на двести номеров. Мы жили в ней вдвоем, турист-немец да я.

Такой жизни я никогда не знал, ни до, ни после. Состояла она в чередовании служб церковных, чтений у себя в номере, беседах с монахами, небольших прогулках и пятидневном объезде других монастырей и скитов.

Службы на Афоне длинны. Утреня начинается в час ночи, до шести. Затем ранняя обедня, потом поздняя. Завтрак. Отдых. Вечерня...— и так далее.

Только несколько суток отдал я полному обороту богослужений (а другие дни — поздняя литургия и вечерня).

Не забыть мне таинственного хода по длиннейшим коридорам гостиницы, из моего номера прямо в церковь, в конце, мимо

уже монашеских келий. Выползают из них, как ветхие жучки, седенькие монахи, тоже бредут в храм, там смиренно будут полудремать в стасидиях своих, пока вычитывает бесконечно канонарх. Для «мирского» непривычно, да и нелегко. Но торжественность и величие есть в этом утреннем безмолвном стоянии слабых телом, полуголодных людей перед лицом Бога, ночью, на пустынном полуострове страны древней. Рассвет застает в церкви. Из окна смутно белеет серебристо-синеватое море. Помню, донесся гудок пароходный — голос «мира» — и иеромонах Иосиф возгласил как бы ответ из алтаря:

— Слава Тебе, показавшему нам свет!

На что хор, скромно-старческий, отвечает великими словами: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!»

Усталый, но и легкий возвращаешься к себе. Гостинник, о. Иоасаф, монах неразговорчивый, но умный и внимательный, подает чай. Движения его медлительны и музыкальны, точно выходит он из алтаря со св. Дарами. Так же торжественно и уносит свои чайники. Начинаешь читать.

Что читаешь? Не газету и не фельетон. «Мир» и его дела временно за бортом. А есть нечто и более интересное: например, о св. Ниле Мироточивом, из Афонского Патерика.

Был такой отшельник Нил, и за святую жизнь получил свойство, что когда умер, из тела его истекало целительное миро. Ручейками струилось оно в море. За этим миром приплывали издалека многие верующие на каиках, так что самое место под утесом получило название «корабостасион», стоянка кораблей.

«И при этом рассказывают, что ученик, оставшийся после св. Нила бывший очевидцем скромности и глубокого смирения своего старца при земной жизни, не вынося молвы от множества стекающихся мирян, тревоживших покой св. Горы, будто бы решил жаловаться своему прославленному старцу на него самого, что он, вопреки своим словам — не иметь и не искать славы на земле, а только на небесах — весь мир скоро наполнит славою своего имени и нарушит чрез то спокойствие св. Горы, когда во множестве станут приходить к нему для исцелений. И это так подействовало на св. мироточца, что тогда же миро иссякло».

Патерик не утверждает — («рассказывают») — передает как бы легенду. Типично в ней, однако, что Афон более созерцателен и молитвен, чем действен. Молитва за себя и за мир — выше реального врачевания. Прославление божества, в тишине благоговейной, как бы выше действий на пользу ближнему земному.

Но тогда, а афонской гостинице, я размышлениям не предавался. Владело мной очарованис поэзии, природы, надземного. Я вдыхал мир особснный и высокий. Над-жизненный, хоть проявлялся он будто в обычных, земных обликах.

* * *

Вдоль всего ряда наших комнат тянулся снаружи балкон, псрила сго увиты виноградным листом, какис-то цветы под окнами моими розовели и белели. По этому балкону я любил бродить, как бы по некоему воздушному мосту, с которого широко раскрывался волшебный мир афонский, мир Божий в лаские солнца майского. Нижс — купол собора (гостиница как-то выше расположена), здание библиотеки, где застенчивый и нервный иеромонах Виссарион разыскиваст для мсня книги. Вдали морс в дымно-синсватом туманс, соседний полуостров Лонгос, и еще дальше воздымается в небо полумистическая призрачнобслая глава Олимпа снегового — обиталище побежденных богов. Христос низверг Громовсржца. Терновый вснсц побсдил Силу.

Но и в Зевсе этом, и во всем сонме богов выражалось все же (предшественно) надземное тяготение человечества. И сейчас восстаст этот Олимп побсжденно-всчным призраком белоснсжным как-то не зря, как не напрасен этот сияющий и волшебный майский день. Он и «сам по себе», и выражает нечто высшее, чем просто полдень на афонском полуостровс.

Недалеко от мсня, на том жс уровне, приемная зала монастыря — для посетителей, в прежние времена не таких, как я: митрополитов, архисрсев, великих князсй, генералов и адмиралов.

После прогулки по балконам можно зайти и сюда, мне дали ключ от залы.

Тожс старина и пустынность. Но это недалекий вск — девятнадцатый (хотя кажется он теперь дальним, особенно его начало).

Портреты, диваны, крсела, ярко начищенный паркст, через него дорожка коврика, фикусы, напоминающие детство, сладковато-затхлый воздух нежилого помещения — и вот бредешь по коврику диагональному, среди призраков, сам, может быть, тоже призрак...

А внизу, недалеко отсюда, есть странное помещение, называется «гробница».

На Афонс такой обычай: хоронят как раз не в гробах, а обертывают тело пеленами и кладут в землю *временно*. Через несколько лст выкапывают, собирают скслет, отделяют черсп,

и все это складывается в некую как бы часовню: это и есть «гробница». Черепа на одних полках, кости отдельно. Есть и оценка: если рано освобождается кость от плоти — это хорошо. Если не совсем, кладут вновь в землю, «дозревать».

Хорошо, если кость светла, блестяща: признак высокой духовности усопшего.

Все это древность уже не девятнадцатого века. Ее истоки — нерусский восток. У нас так не хоронили.

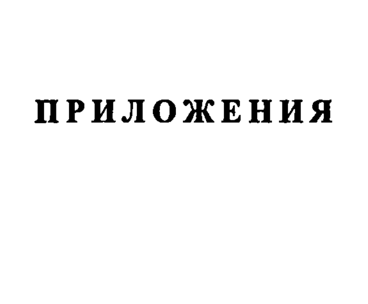
* * *

Может быть, старец, от скорби заболевший, был именно тот, кто затопил печку...— во всяком случае, горе невольного поджигателя разделяешь всемерно — не дай Бог оказаться в его положении. Он моих строк не прочтет, все равно, говорю, как по радио, в пространство, но и для него. Он ни при чем, он орудие. Значит, надо было еще пострадать делу духовному в земном облике. Все это область высшего Плана. Афон же был и есть, он существует, пожары и несчастия могут его уязвлять; как и всем, ему суждено страдание — тут выражено оно в форме резкой, отчасти и примитивной. Но Афон независим от пожаров, нашествий иноплеменных, иконоборцев и атомных бомб — мало ли что может придумать наши милый век...

Афон есть образ духовный, никаким бомбам неподсудный, а, как все живущее, бедам подверженный.

Беды проходят, вечное остается. Афон остается.

9 января 1969



ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С АРХИЕПИСКОПОМ ИОАННОМ

25/XII 1946

Дорогая Вера Алексеевна,

Спасибо Вам и Б. К. за приве{}ты Ваши. Хоть и живу за тридевять земель, как-то совсем не ощущаю расстояний; а так, как будто все мы на пятачке одном. И, хотя давно не видались мы, но и этого как-то не существует также («давности»). Видно клеточку земную мы преодолеваем — по всем направлениям из нее просовываемся, в ожидании и полного освобождения, которое придет (не замедлит). Я рад, что смог Вам послужить — мыслию,— «во вне клеточки» направленной; — хорошо все туда глядеть, в этом и вся соль жизни.

Удивительно, до чего здешние души похожи на... европейские, и на все вообще; а то так подумаешь, что «тридевять земель», это что-то особое. Но нет. Все один круг. Много, много дела для сеющих и жнущих... Пишу Вам из разнообразного местечка: Санта Барбара (2 с половиной часа к северу от Лос-Анжелеса),— эти дни тут окормляю малую группку православных. Маленькую часовню сделали из гаража... Хорошие души. А совсем недавно пришлось пересечь континент,— был на Церк. Соборе в Кливеленде, потом в Нью-Йорке, а обратно вернулся через Вашингтон и Новый Орлеан (где на старом французском наречии говорят)... Как скромен «Белый Дом» Вашингтонский,— очень мне понравилась эта скромность.

Борису Константиновичу понравилась бы долины реки Миссисипи и Мексиканская пустыня, чрез которую я и вернулся в Калифорнию. Как-то сдешь и не веришь глазам своим, что никто тут не живет, средь этих волнистых гор и чистых просторов, мягким светом озаренных... Глаз, хоть не верит, но отдыхает и удивляется очень,— привык, бедный, все к жилищам человеческим, к мельканию внешней, не сущностно воспринимаемой человеческой жизни. Но тут ему покой... И удивлялся

я еще, как вдруг вырастает в пустыне город,— и оттого что люди, только, потрудились, стали тут качать из глубины воду,— и все расцвело. Слишком явственное указание, *куда* направлять «кипящую энергию», канализирующуюся к войнам и революциям... Пустыня,— вот выход для всех народов,— и сколько ее еще в мире! А Европа страдает от недостатка пространства... Вся плодороднейшая Калифорния, на юге целый год цветущая,— все это — пустыня, возделанная трудами человека.

Будьте здравы, крепки,— помогите Жуковскому сказать свое бодрое и мягкое слово людям нашего времени.

Призывающий на Вас, на Б. К. и на тех, чьи имена Вы мне послали,

Милостивое Божье Благословение

С любовью о Христе
архим<андрит> Иоанн

* * *

10.I.52

С Праздником Рождества Христова, с Новым годом, дорогой Владыко!

Очень тронут был Вашим письмом-приветствием, столь своеобразным и глубоким. Сердечно благодарю.

На ближайших днях высылаю Вам из ИМКи «Жуковского» — «Богу содействующу», и дойдет.

Оба мы, я и Вера Алексеевна, пока еще живы и здоровы, оба шлем Вам лучшие пожелания на Новый год и просим Ваших св. молитв. Редко приходится с Вами встречаться, но у меня — еще со времен Афона, на который Вы меня натолкнули — сохранился особый оттенок отношения к Вам. Будто невидимая ниточка, а протянута, соединяет.

А с Буниными, к сожалению, все оборвалось. Владыко, помолитесь и о них. Они оба старые, больные... на все и всех раздражены. Мы не встречаемся. Но от уцелевших общих знакомых знаю, что И. А. предельно худ, измучен [болезнию и самим собой], Вера тоже. Жизнь их ужасная.

Господь Вас храни.

Ваш Бор. Зайцев

P. S. Очень благодарю за «За Церковь».

* * *

14-го октября, 1954 г.
Сан-Франциско

Дорогой Борис Константинович,

Недавно прочел я Вашу книгу о Чехове. Как бережно, заботливо «распутали» Вы его, «реставрировали», воссоздали

творение Художника Первого. Добрались до настоящего Чехова. Ничего, кажется, не пропустили, добираясь до его сути, которую он, может, и сам не до конца видел. Ваша книга есть извлечение «драгоценного и ничтожного», по слову Господню, сказанному пророку: «если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как Мои уста»...

Биография эта, конечно, не только «литературная», а стоит, в сущности, на грани литературы и того, что «сердце сердцу говорит в немом привете». Не все читатели расслышат этот «привет» Ваш, как Чехову, так и читателю его и своему. Но, «привет» Ваш все же коснется многих и заронит в сердца нечто, открывающееся за Чеховым, ради чего мы и живем тут. Это любовь к человеку. А отшелушить в нем все, ради чего не стоит жить и не живем мы тут... Что можно сделать большего в биографии? Тем более — литературной... Писатель-христианин не может быть празден от именно такой любви. Ее надо возвещать.

Вам, вероятно, покажется странным один пункт: но мне, как-то кажется, именно в «Архиерее» открылась узость горизонта Чехова. «Архиерей» сделаи как-то очень для меня чуждо. Ни одной черточки нет в нем близкой, в строе его переживаний... Это, конечно, не «старец» Толстого, не «Отец Сергий»; но, в чем-то подобен ему. Прямого опыта религиозного не раскрывается в нем. Он весь в плане «психологическом», «душевном». И неудача рассказа в том именно, что хороший человек выведен. Будь он не «положителен», как тип, была бы более оправдана его религиозная безхребетность духовная, безжизненность.

Как-то сердце мое не спокойно за Бунина... Пред самым моим отлетом в Англию [год назад, когда летел через весь мир], совсем поздно, от Струве, мы с сыном П. Б., доктором, заехали; и — посидел я последний раз с Иваном Алексеевичем, не то 1/2 часа, не то час. Он смог пройти в столовую, расположился за столом, и поговорили, не исключая темы и о том мире... Как-то захотелось ему с Мережковским заполемизировать, что, мол, чудак, думал что «с Лермонтовым» встретится там!.. Я все же сказал ему, что та жизнь несравненно реальнее этой. Уходя, крепко обнял его и благословил. Он с полным благоговением это принял и остался сидеть сгорбленный, такой несчастный с виду, словно загнанная мышка в самом последнем уголку подполья своего... И Чеховым, как раз, был занят, когда пришла минута переходить...

Ведь тайна в том, что количества талантов мы не знаем,— ни в себе, ни в других; и оттого никто, ни про себя, ни про

другого, не знает, сколько «дано», сколько «отдано» Богу, Кто дал... Талант же главный, разумеется не физический и не душевный [не искусство], но духовный,— талант духовных возможностей и сил... Это проблема неразрешаемая на земле. И оттого нельзя [не то, что не позволяется, но нельзя, по самоочевидности] судить другого: нет ни у кого меры, с которой можно сравнивать данный уровень человека. Но, есть и бывает какой-то «вздох несвершенного», который вьется за человеком. Вздох с непросветленности и непримиренности. О, если бы душа воспрянула, хотя бы в последний миг...

* * *

Великий Понедельник
11 апр. 1960

Дорогой Борис Константинович

Спасибо за строчки Ваши, столь ценные мне.

Рад сведению, что В. А. крепче. Это ведь любовь Ваша и крепость духа, веры. *Этим* она выживала и живет, в этом мире... И Вы сами *от этого* имеете новую силу... Это, как Евангелие Светлой Ночи: «благодать во благодати». Господь любит светло любящих.

В. Смоленскому, прекрасному поэту, имел возможность выслать (чрез одно лицо — с Дарю) 20 долларов. А здесь прилагаемой бумажкой прошу Вас порадовать чем-либо «пасхальным» Веру А. Буду Вам признателен за исполнение этого моего желания.

Как хорошо Вы написали об о. Киприане. Я помню его еще в Лицейском Саду,— он на 4 года был старше меня. Потом, по дороге на Афон (на постриг), встретился с ним в Сербии в 1926 и свершил паломничество во фрушкогорские монастыри. Монашество он вскоре принял, после меня. И был у нас с ним один и тот же духовник, несколько лет спустя в Югославии,— батюшка о. Алексей Нелюбов (туляк), духовник женского хоповского — б. Леснинского — монастыря.— Но позже, уже в Зап. Европе, как-то не наладился с ним братский контакт (как хотелось мне).— И здесь что-то было иррациональное, во что я не хотел вникать, а только жалко... А теперь, опять, все уже перешло в иное. Мы еще — на ниточке — тут; он — там уже. Вы хорошим словом его проводили.

Обнимаю Вас, дорогой Борис Константинович,
и призываю на Вас и близких Ваших
Милость Божью

Если приведется быть в Париже больше чем на день-два, надеюсь повидать вас обоих.

А разбить надвое стихи в «Р. М.» было, может быть, лучше (до меня еще не дошли эти №№).

P. S. Очень интересное явление: стали доходить до меня письма с разных концов России от... слушателей... (Перестали, оказывается, глушить там «Г. А.»). Задают всяческие вопросы... Кое-кто м. б. и по заказу. Но — сколь расширилась «аудитория». Через 40 лет странствий, вхожу в «Землю Обетованную», в образ Царствия Божия,— словом о Христовой Православной вере — родному народу. Вот милость Божья,— за которую ничем нельзя воздать...

* * *

2 июля, 1962 г.

Дорогой Владыко, вот произведение левой руки моей бедной Веры! — Ее лечат сейчас по-грубому [«reéducation»], результаты есть, если Богу угодно будет, последние ее и мои годы будут озарены.— Спасибо Вам великое за все — главное, за доброту и участие — мы чувствуем это на огромном расстоянии.

Лозинский у меня есть. Он — лишнее подтверждение того, что терцинами переводить почти невозможно. При всем его мастерстве, ему приходится прибегать к ужасным насилиям над русским языком — и это иначе быть не может. [Знаменитый перевод Мина, над которым он работал 25 лет, по-русски читать труднее, чем по-итальянски]. Вообще же, конечно, всякий перевод, мой в том числе — бледный снимок с оригинала. И чем оригинал выше, поэтически, тем перевести труднее. [Стихов Пушкина иностранцы не знают, и если читали, находят посредственными]. А вот Бердяев выходит отлично на всех языках.

Просим Ваших св. молитв, любим и ждем в Париже.

Ваш Бор. Зайцев

9.2.1963

Дорогой Борис Константинович,— приветствую Вас и Веру Алексеевну! Получил Ваше письмо. Какая хорошая мысль — издать «свято-русскую» серию Вашу. Если хотите, чтобы я над этим вопросом подумал, я постараюсь обдумать его, и м. б. найдутся какие-либо «координаты» здесь... Вполне понимаю Ваше отношение к «Humanities Fund». Если что можно будет по другим линиям сделать, я Вам сообщу (не знаю только,

связаны ли Вы «правами» с ИМКА-Пресс, на какую-либо из этих книг,— думаю, что тут не будет осложнений...).

Очень интересно, какова была Ваша встреча с Паустовским и о чсм говорили Вы и был ли тут какой-либо человечсский контакт (не говорю — с Вашей стороны, тут сомнсний нет, а — с его).

Е. по-видимому с *какой-то стороны* (либо с поэтической, либо с религиозно-философской, м. б. комбинацией сего) был затронут книжечкой «Странника», т. к. читал наизусть оттуда стихи (напр. стр. 62)... Я не думаю, что он «коммунист». Он ловко себя там «камуфлирует» в защитный цвет — «полосами», как парашютист — и действительно духовно там является некиим парашютистом, «прыгает» — с абстрактного коммунистического неба на простую русскую землю... Некий *освобожденный гуманизм* в нем есть. Эта черта выступает и у других. Любопытно, что тему восьмистишия «Тайнодействия» (стр. 23 «Странствий») он взял темой всей своей книги: «Взмах руки» (1962) и ее первого стихотворения (написанного в том же году, в начале которого вышли «Странствия»)... Я получил с приветствием авторским очень лирическую книгу стихов Л. О. Тоже тут преломляется гуманизм (коим преодолевается, думаю, тема «коммунизма» у многих)...

Трогательна все же эта «мистика» — «с чернилами пузырьков» — (как и романтика «поездов» у других там поэтов)... Я думаю все же, что накапливается под ледяной коркой какое-то подснежное царство, коим живут люди... И во все это, право, можно вкладывать то, что в форме церковной и богооткровенной еще недосягаемо...

С любовью призываю на Вас, Веру Алексеевну
и милую дочь Вашу, утешающую Вас
Божие благословение и укрепление
С любовью, Ваш
Арх<епископ> Иоанн

То, что хотелось бы Вере Алексеевне, прошу приобрести на прилагаемую бумажку цветную. Надеюсь, у Вас препятствий не будет ее реализовать.

Что надо еще издать и сейчас помышляю о сем: еще не изданную поэму Максим<илиана> Волошина:

«Святой Серафим»
(напис<ана> им в 1919 г.)

Я думал, что она сгорсла у меня в Берлинс, но нашлась там ее копия и мне прислали... Ценная поэма,— фактически

житие преп. Серафима в волошинских (полу-белых) стихах... Хочу и в Россию об этом передать...

* * *

6 марта, 1963 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Владыко, задумал я одно литературное предприятие, хочу обратиться к Вам за помощью или советом. Есть у меня книжечки «Преп<одобный> Сергий Радонежский», «Афон» [Вами вдохновленный] и «Валаам». Все это давно разошлось. Достать нигде ничего нельзя. Идейка такая: соединить все вместе, получится книга страниц в 300. Ее можно было бы назвать «Святая Русь», или что-нибудь в этом роде.

Тут Вы начинаете уже понимать, куда все это клонится. Конечно, к тому, чтобы поднять издание материально.

Мысль об этом давно во мне сидит, да все как-то не решался переходить к «действию». Но времени уж остается мало [мне 82 года], а ведь это направлено к прославлению духовной Руси, ныне на Родине заушенной. Кто знает, может быть, со временем книга попала бы и туда, и там кто-нибудь соприкоснулся бы с удивительным и высоким [а то и высочайшим], что было на земле нашей. «Толцыте и отверзится». Вот и пробую постучать.— Нельзя ли подтолкнуть какое-нибудь американское сообщество — православное или протестантское — на некий меценатский жест? — С Dante я тоже долго колебался, наконец, меня поддержал Humanities Fund, но второй раз обращаться туда неудобно ([тем более, что они несколько поддерживают меня и вообще — ведь Вы понимаете, дорогой Владыко, что заработком в «Русской Мысли» не проживешь и неделю].

Буду очень, очень признателен, если в той или другой форме окажете содействие.

Вера, приблизительно, в том же виде. Держит нас обоюдная любовь и милость Божия. Ваше посещение для нас незабываемо. Был у меня Паустовский. Хороший человек, но совсем из другого теста, чем Вы. А Евтушенко меня удивил: он сказал английскому Оболенскому, что очень ценит Ваши стихи. Я тоже ценю, но я не коммунист и не атеист. А ему как будто и не полагалось бы. Если это не кокетство с его стороны, то тем лучше. Он талантливый человек, но на опасном пути.— Зинаида Алекс. поместила обо мне изящную статью в «Revue des deux mondes» — дай Бог ей здоровья.

Оба мы шлем Вам лучшие пожелания. Помяните нас в Ваших св. молитвах.

С любовию *Борис Зайцев*

* * *

19 июля, 1965 г.

Дорогой, глубокоуважаемый Владыко, очень рад был получить от Вас светлую, как всегда, весть — Вы и раньше являлись в дом наш светлым лучем [незабываемым], теперь явились в дом осиротелый, но любовь к Вам в нем осталась прежняя. [Ваших молитв и благословений ни Вера покойная, ни я, никогда не забываем].

Несколько слов о ее земном конце: в четверг на Страстной, когда ей было уже плохо, но сознание еще не покинуло, я читал ей и Наташе Двенадцать Евангелий. К концу она устала, дослушала уже в полузабытьи. Но, когда я подошел к ней, на лице ее было блаженное выражение. Потом наступило беспамятство. Оно продолжалось всю пятницу и субботу.

Но представьте, на Первый День, 25 апреля, она проснулась, совсем почти как раньше, с улыбкой и нежностию ко мне и Наташеньке. В этот день к нам зашел давний друг наш итальянский, римский проф. Легатто, который всегда очень к ней хорошо относился — она к нему тоже. Он ее обнял, поцеловал, сказал по-русски: «Христос Воскресе!», она ответила совершенно явственно: «Воистину Воскресе». Весь день был веселый и радостный. Я пел ей «Христос Воскресе из мертвых...» и т. п. Это был последний день. С понедельника опять беспамятство. В четверг некий просвет, улыбнулась, прошептала мне «папа», Наташеньке «мама» [она так нас называла в болезни],— и опять прежнее. Ничего не ела, ничего не пила. Вливали питательную жидкость goutte a goutte, часами, но ничего нельзя было сделать. Почки совсем перестали действовать. 11-го мая в 4 ч. утра, не приходя в сознание, скончалась. Отпевание было на Daru, очень торжественное, море цветов, хор, полный храм. Погребение на St. Geneviève des Bois.

О Вашей болезни узнал, но довольно поздно, душой и сердцем с Вами, рад весьма, что Вы крепнете и вскоре, наверно, начнете свою благовестническую деятельность.

Низко кланяюсь Вам, люблю и посылаю всяческие благопожелания.

Ваш Борис Зайцев

P. S. Простой бандеролью посылаю Вам новую книгу свою «Далекое».

* * *

1 сентября, 1965 г.

Глубокоуважаемый, дорогой Владыко, надеюсь, Вы уже поправились, отошли от Вас докучные дела болезни. Дай Вам Бог сил.

Сердечно благодарю за письмо о Вере. Ваши посещения во время ее болезни и Ваше действие на нее и на меня незабываемы. Кланяюсь Вам земно за любовь и поддержку.

Сейчас чувство, что иду *к ней.* Как это произойдет, не знаю и не понимаю так же, как некогда в Калуге, шестнадцатилетним гимназистом, не мог ответить старушке-вдове Крич, у которой жил, на вопрос о покойном муже. [«Вот, Боря, ты умный человек, объясни мне, как я узнаю на том свете моего Жоржа?»]. Жизнь прошла с тех пор, а тайна такая же, но чувствую теперь больше, может быть, потому, что тогда я не был еще прикреплен нитью нерасторжимой ни к кому. [Просто был «Зайчик», первый ученик в классе, сидел на последней парте, откуда удобно было подсказывать].

«Книгу свидетельств» читаю медленно, по частям. Некоторые главы потрясают [«Плимутские братья»]. Вообще же, книга замечательная, и работа, «трудничество» Ваше замечательно, Владыко — это не «слова», не зря сказано.

Дай Вам Бог сил и для дальнейшего благовестия.

Всегда благодарный и всегда с любовию Ваш

Борис Зайцев

* * *

16-е сентября, 1965 г.
Сан-Франциско

Дорогой Борис Константинович,

Получил Вашу весточку от начала месяца. Радостную и грустную. И то, и другое — образы одного благословения, чувства неотмирности в мире этом... Для Вас настал, конечно, самый важный и драгоценный период жизни, не столько — «без Веры», сколько — «с Верой — там»... Вот и Федора Августовича Степуна более всего волновал духовно вопрос личной встречи там (когда беседовали мы с ним, совсем перед его смертью, в феврале этого года, в Штуттгарте). Нам, конечно, трудно земным умом себе представить зерно личности своей и близкого человека; мы видим себя и других лишь в душевно-телесных платьицах, в мякине, в шелухе смертной одежды. А там без этого всё. Представить трудно. Ведь Чистота

всесожигающая и есть смерть. Да будет она благословенна для всех уже славно прошедших ее воротами, и для нас... Спасибо Вам, дорогой, за ободрение в моем «трудничестве» словесном, благовествовательном. Большое счастье дано мне: «поить» истиной русских людей [миллионы, ведь, слушают[1])]. И мой опыт литературный «светский» [от юности идущий] помогает мне сейчас в этих простых словах, не условных, а прямых. Господь творит все Свое «из ничего». Помолитесь и Вы за меня. Господь Вам тоже дал молитву. И об общем молитесь. В мире «закручиваются вихри» — Вы видите: это особенно время тихих молитв, славословия Бога из всех углов земных — за все, за всех... Если будем в этом мире, надеюсь, повидаемся с Вами в начале следующего года. Предположена конференция церковная в Женеве.

Может быть, и от милого молодого своего читателя имели Вы какую-либо весть. Та, первая, очень ценна.

Обнимаю Вас, дорогой Борис Константинович.

Ваш Архиепископ Иоанн

* * *

10 мая, 1966 г.
Сан-Фр<анциско> Кал<ифорния>

Дорогого Бориса Константиновича пасхально обнимаю в день его 85-летия! Невероятно торопится время. И верю, что добрых людей торопят ангелы, и быстрота часов и минут переходит у них в интенсивность [во внутреннюю быстроту] добра... И вспоминается, как молодой, вдумчивый пред духовным миром, ветром афонским освеженный, приезжал Зайцев сорокасемилетний в гости к молодому пастырю-иноку в город, с названием столь символическим — Белая Церковь.

И вот, чрез всё это быстрое множество лет, которые были для Вас не только служением слову, но и словом Слову, чрез весь Американский Континент и чрез весь Атлантический океан и — чрез память о незабвенной, доброй рабе Божьей Вере,— протягиваю я свои руки к Вам, дорогой Борис Константинович, чтобы осенить Вас Честным Животворящим, благословляющим Крестом и — обнять Вас.

Иоанн,
Архиепископ Сан-Францисский

---

[1] Речь идет о моих «Воскресных беседах» по Голосу Америки, начатых в 1948 г. (продолжающихся доныне), обращенных к России. *(Примеч. автора.)*

5, Av. des Châlets, Paris (16)

19 мая, 1966 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Владыко, великое спасибо Вам за письмо-приветствие. На вечере оно было оглашено первым.

Я тоже очень хорошо помню Югославию, Белую Церковь, худенького иеромонаха одного... Но помню его еще и раньше, молодым поэтом Шаховским, у себя на rue Belloni в Париже — это уже более 40 лет назад. Тогда будущий архиепископ издавал и редактировал журнал «Благонамеренный» — и представьте, как раз комплект этого журнала сохранился у меня и доселе [правда, и вышло всего два номера, все же...].

Но особенно запомнилось раннее утро в Сергиевом Подворье, когда в полутьме осенней только что постриженный юный монах рассказывал мне об Афоне, переломившем его жизнь. Если бы утра этого не было, я никогда бы, наверное, на Афон не попал и в жизни моей не сохранилась бы одна из самых светлых и возвышенных ее страниц. Из дали времен кланяюсь Вам земно за то, что как-то заразили меня тогда этим Афоном, и я, не имея ни копейки денег и не отличаясь, вообще, расторопностью, вдруг проявил энергию и выпросил у «Последних Новостей» аванс в 5000 фр. на поездку. [Мне их не хватило, назад возвращался в трюме какого-то cargo греческого. Вера с Наташей сидели тоже без гроша, но все обошлось благополучно. Значит, была на все это не одна наша воля].

Последнее время нередко встречаю Зинаиду Алексеевну, от нее знал [да и из «Н. Р. Сл.»] о Вашей болезни. Разумеется, был душой с Вами, как и теперь [теперь считаю Вас уже здоровым].

Господь Вас храни на долгие еще годы — трудника высокого назначения, так нужного и здесь и на Родине, так подымающего всех нас своим неумолчным словом и делом.

С давнею и всегдашнею любовию

Борис Зайцев

* * *

5, Av. des Châlets, Paris (16)

20 июня, 1967 г.

Дорогой и глубокоуважаемый Владыко, сердечно благодарю за письмо, за передачу в Россию. Как ни странно, у меня самого некая связь с Россией растет: не только приходят книги писателей молодых оттуда с дружественно-почтительными надписями, но вот только что получил весть, что выходит мой перевод [и покойной Веры] книги «Ватек», английского писателя Бекфорда,

превосходно писавшего по-французски. Небольшая книжка, фантастич. арабская [скорее персидская] сказка — вещь редкостная по красоте мрачной и *никак* уж к Марксу неподходящая. Вступительная статья П. Муратова — не знаю, оставят они ее или постараются как-нибудь приспособить «Ватска» этого к своим надобностям. Но трудно! Никаких мостков.

Вышел этот «Ватек» в Москве у К. Ф. Некрасова в 1913 г. Корректуру я держал в Риме в 1912, 55 лет тому назад. Да, судьбы не угадаешь.

Вашу передачу и письмо Татьяне Марковне передал ей. Она была очень тронута Вашим вниманием и сказала, что сама Вам напишет и поблагодарит:

Будьте здоровы, дорогой Владыко, дай Вам Бог долгие годы звонить в свой колокол духовный.

С любовию и признательностью

Борис Зайцев

* * *

16 декабря, 1968 г.

Дорогой Борис Константинович,

Сердечно благодарю Вас за подарок — присылку книги Вашей,— некоей светлой радугой Вы ее протянули по небу, один конец поставив в Москве прошлого, а другой в Париже настоящего [тоже утекающего в прошлое уже]. В этих проблемах духовных и жизненных Христофорова русского есть уже, Вы показали какой-то «отлет» — какой-то это полусон-полуявь [все те персонажи предреволюционные московские]. И Вы их, конечно, подняли, немножко, над землей... А далее материя уплотняется и одухотворяется по-новому [по-лучшему]... Надо бы теперь переиздать всю Вашу серию литературных образов, больших образов России. Насколько это лучше многих монографий — как-то в них Вы, держась за реальную ткань жизни, делаете ее живой и теплой,— совсем без всякой желчи, без всяких сморщиваний лица, от того, или от другого, а как бы провожая писателя и его творчество и жизнь — на Суд Божий [в виде ангела-хранителя]. И это «отольется» Вам самому. Какой меркой меришь, и тебя такой будут мерить.

Многие дурачки-люди этого не понимают! Надо созидать Царство Божие, творить его и в другом человеке, даже — ушедшем с земли, из того, что он оставил. Творец творит из ничего и дает людям эту власть, как образу Своему,— из ничего, из пустяков, из мелочей [а что не «мелочь», из нашей внешней жизни?], творить новую ткань жизни,

расшифровывать вещи во благо. Это высший этаж творчества. И Вам он доступен. Это следствие веры.

Обнимаю Вас и ко дню Рождества Христова желаю Вам, рабе Божией Наталии, ее милому мужу и чадам — мира и радости благословенной.

С любовью

Архиеп<ископ> Иоанн

ЗИНАИДА ГИППИУС

<СВЯТИТЕЛЬ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ>

Борис Зайцев, Преподобный Сергий Радонежский. Париж, ИМКА-Пресс, 1925.

С какой любовью написана эта небольшая книжка. Чувствуется, что Зайцев не случайно выбрал именно этого русского святого. Из сонма угодников и подвижников, чтимых народом русским, не к буйному, деятельному Николе преданий и не к живому, настойчивому лесному «батюшке» Серафиму, такому сравнительно недавнему, влечется сердце художника: но к простоте далекого Сергия. Шесть веков пронеслось, и сквозь шесть веков сияет нам тихий, воистину неземной, свет его лика.

С нежным, тщательным вниманием ведет Зайцев жизнеописание отрока Варфоломея, преподобного старца Сергия, до его кончины. Как одна прямая линия — эта жизнь. Отрок Варфоломей до последнего дня не умирал в Преподобном, вот тот прозрачный мальчик с уздечками на руке, среди бледных трав лесной полянки, среди березок тонких,— на Нестеровской картине «Видение отрока Варфоломея». Уже тогда наполнены были его глаза небесным светом.

Таким и пребыл он до конца, протеплился, как свеча, неколеблющимся пламенем. Зайцев прав, подчеркивая: в нем не было экстаза, как у Франциска Ассизского; он не был блаженным, что на русской почве делается юродством: «именно юродство было ему чуждо». Подвиг его — «непрерывное, недраматическое восхождение». И далее: «как будто бы всегда он в сдержанной, кристально-разреженной и прохладной атмосфере».

Сергий и не проповедник. «Пятьдесят лет он спокойно провел в глубине лесов, уча самим собою, «тихим деланием» — и только. Скромный, неутомимый труженик, он убегал от малей-

ших почестей, как и зла, если оно настигало его в глухих лесах. Услышав, в храме, замечание брата, который позавидовал его настоятельству, он тотчас ушел из монастыря, сго руками построенного, чтобы основаться в другом месте, по слову: «удалися от зла, сотвори благо».

Он не был «делателсм», как говорит Зайцев в предисловии. И чтили его шесть веков действительно как «образ величайшего благообразия, простоты, правды и святости». Время, когда жил Ссргий, было не мирное время. Даже в церкви, если «был мир в идеях», зато была «действенность в политике». Но Сергий, хотя слава его пронеслась уже далеко и многис приезжали требовать сго помощи,— нс вступал ни во что. Он только утешитель, только миротворец. Также, когда приехал к нему Димитрий, прося благословения на бой с татарами, он, тихий отшсльник, плотник, святитель, стал перед трудным делом. Не особенно ценил он печальные дела земли. Сначала попытался уговорить князя еще раз пойти с покорностью к ордынскому царю: «если враги хотят от нас чести и славы — дадим им; если хотят золота и серебра — дадим им...». Князь отвечал, что уже пробовал, и теперь уж поздно. Лишь тогда Сергий благословил его на смертный бой.

Таков был «выход» Преподобного в область «государства».

Да, он никогда не был «орудием ни власти церковной, ни государствснной». И нс мог быть, он, чистейший, идсальнейший святитель русского православия. Это говорит и Зайцев: «Прохлада, выдержка и кроткое спокойствие... создали этот единственный образ. Сергий глубочайше русский и глубочайше православный». Любовная нсжность Зайцева к Сергию как будто хочет напомнить нам о православии, «ясности света прозрачного и ровного», шестьсот лет горящего одинаково, в трудные времена служившего утешением. Но были ли времена, труднее наших? Шесть веков пролетели: и неизменным остается идеал церкви-утешительницы, только утешительницы. В народе, после осквернсния Троицко-Сергиевской Лавры, родилась легснда: мощи Прсподобного ушли в зсмлю. «Удаляйся от зла, сотвори благо». Памятью о Сергии утешает нас Православная Церковь. Но в годины смертные, когда уж отдали мы ордынскому царю и честь, и славу, и ссрсбро, и золото, и дажс смотрим на поруганис имени Христова — будет ли дерзновением, если мы скажем: вcase великая это святость «нс ценить печальныс дсла зсмли». Но что будет с зсмлей, если святость «творит благо — убсгая» от земли с ее злом? Шестьсот лет Церковь-утешительница. В лице лучших сынов своих, отшельников и подвижников, достигла она неземной святости. А к миру шли, из далеких пустынь,

вместе с лучами тихого света, благословения терпеть и смиряться. Святители — венец русского православия, церкви — утешительницы. Но будет ли она когда-нибудь, может ли стать — и церковью-помощницей?

Впрочем, этот вопрос не нами решится. Я хочу только сказать, что в русском народном сердце, как ни чтило оно Преподобного Сергия, жили образы и другой святости. И если именно Сергий есть самый полный выразитель православия — то не шире ли православия сердце русского народа?

Я не могу ставить в упрек Зайцеву, что он, весь под очарованием своей темы, не вышел за ее пределы. Книжка, пожалуй, не была бы так гармонична, так... душевна и благостна. Есть в ней, впрочем, один недостаток, или что-то вроде недостатка, почти стилистического. Увлекшись «простотой, негромкостью» облика Сергия, главным образом простотой, автор, полуневольно, должно быть, но искусственно упрощает свой язык. Однако вместо «прохлады и сдержанности» получается местами сухость изложения и нарочитый примитив.

Это, впрочем, пустяк; и его следует отнести на счет искреннего и тщательного внимания к теме. Работа писателя, в наше время, когда так нужна всем нам благоговейная память о древней Руси,— хорошее дело, и книжка его — добрая книжка.

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

БОРИС ЗАЙЦЕВ

Первое мое впечатление от чтения Зайцева — очень давнее; если не ошибаюсь, был я тогда еще в гимназии. Вспоминаю об этом вовсе не для того, конечно, чтобы говорить о себе, а потому, что ранние впечатления кое в чем самые верные[1]. Отсутствие опыта, неизбежная общая наивность искупаются в них непосредственностью отклика, нерастраченной способностью восхищаться, любить, отзываться и даже «обливаться над вымыслом слезами».

Кажется, это был «Отец Кронид». Содержание? Но ведь у Зайцева содержание всегда неразрывно связано с тоном повествования и даже в нем наполовину и заключено. Содержания я точно не помню, а помню нечто иное: фразы, обрывающиеся там, где ждешь их продолжения; краски, светящиеся, почти

---

[1] Два слова по поводу местоимения «я».

Им, разумеется, не следует злоупотреблять, однако без него в литературной критике — да и не только в ней! — невозможно и обойтись. Между тем, по недоброжелательству или недобросовестности, люди нередко упрекают критика в «яканни», подчеркивая, что он больше занят собой, чем своим предметом. Что на это ответить? Прежде всего, пожалуй, то, что всякие стилистические уловки, имеющие целью «я» затушевать, смешны и нелепы. «Пишущий эти строки» — форма, вошедшая теперь у нас в моду: до чего это манерно и как никчемно! Некоторые писатели, одушевленные похвальной скромностью, предпочитают изменять строение фразы, лишь бы избежать «я»: не «я думаю», например, а неизменно «мне думается» — в расчете, что «мне» все-таки приемлемее, нежели «я». Но и это — ребячество и игра в прятки. Самого себя нельзя со своей дороги убрать, иначе как сквозь призму личных суждений ничего в критике нельзя высказать, и будем поэтому говорить «я» там, где оно необходимо, в уверенности, что естественный оборот речи по самой своей природе скромнее и проще всякого словесного жеманства.

прозрачные, акварельные, ни в коем случае не жирные, масляные; какой-то вздох, чудящийся во всем сказанном, что-то вполне земное, однако с оттенком «не от мира сего»...

С тех пор прошло много лет. Зайцев как художник вырос, окреп, изменился. Изменились и мы, его читатели. Но и теперь, принимаясь за любой зайцевский роман или рассказ, с первых же страниц чувствуешь то же самое: вздох, порыв, какое-то многоточие, подразумевающееся в конце... «И меланхолии печать была на нем...» Жизнь остается жизнью, представлена она у Зайцева с безупречной правдивостью, однако в освещении не совсем таком, какое видим мы вокруг себя. Люди как будто легче, ходят они по земле, а кажется вот-вот, как во сне, над ней бесшумно поднимутся.

Есть у Зайцева одна только повесть, где он как будто пожелал глубже и прочнее внедриться в жизнь, найти для ее изображения иные, более густые тона. Название ее — «Анна». Странная это вещь — с одной стороны, чуть ли не самое замечательное из всего Зайцевым написанного, с другой — несколько двоящаяся, распадающаяся на части. Кажется, все почувствовали, что это в творчестве Зайцева — поворот или по крайней мере стремление к нему. Покойный Муратов, помнится, даже воскликнул, что в литературной деятельности Зайцева открылась «дверь в будущее» и что на этой двери написано: «Анна». Действительно, Зайцев в этой повести впервые дал образы людей, вросших в самую гущу бытия, и образы эти удивительно правдивы, удивительно закончены: латыш Матвей Мартыныч, например, или хотя бы земская докторша, добрая, честная, неглупая, с «гуманитарной» душой и портретом Михайловского на стене. Но героиня, главное действующее лицо, сама Анна — не то что не ясна: ее как бы нет. Зайцев обстоятельно о ней рассказывает, а она в повести отсутствует. Есть чувства, которые Анна будто бы испытывает, но нет личности, человека. Не оттого ли произошло это, что в самом замысле, к личности относящемся, что-то осталось не согласовано и что здоровую, простую девушку, выросшую в глуши, обремененную хозяйственными заботами, Зайцев наделил чертами тончайшей, почти неврастенической духовности, очевидно слишком ему дорогими, чтобы даже и в этой повести совсем о них забыть? Анна любит соседа-барина — явление само по себе обычное. Но любит-то она его как-то «по-декадентски», то есть с городским, книжным оттенком в этой любви, едва ли так, как любить могла бы. (Зайцев пишет даже о «внеразумности» ее ощущений...) И умирает она неожиданно, без связи с содержанием повести, совсем случайно, будто автор не знал, что ему после смерти барина с

ней делать. А вся обстановка, фон, все, что Анну окружает,— все это, повторяю, удивительно в своей меткости, яркости и своеобразии.

И природа великолепна. Надо, однако, сказать, что и в ее картинах Зайцев себе и складу своему не очень изменил и «дверь», о которой писал Муратов, оказалась значительно призрачнее, чем почудилось на первый взгляд. Реализм остался по-прежнему зыбок, речь по-прежнему прерывается личными, отнюдь не реалистическими замечаниями и намеками. Едва ли, например, подлинный реалист отметил бы в воздухе «отрешенное благоухание», едва ли сказал бы, что «иной, прохладный и несколько грустный в нетленности своей мир сошел на землю». Едва ли отметил бы «бессмертный отсвет» снега... Правда, сам Толстой, при всей своей непоколебимой изобразительной трезвости, писал, например, о «счастливом белом запахе нарциссов». Но ведь это совсем не то, кто же этого не почувствует? Именно от упоения всем земным, всей земной прелестью Толстой наделял свои нарциссы чертами, в которых придирчивый разум мог бы им и отказать. «Бессмертный» же отсвет снега нас скорей от земли уводит, напоминает о том, чего на земле нет.

Несомненно, однако, в «Анне» был сделан Зайцевым шаг к жизни в ее плотском и физическом обличье. Не менее несомненно, что в целом повесть эта — большая удача писателя, восхитившая и даже взволновавшая людей, которых расшевелить бывает трудновато. Но самого Зайцева она, по-видимому, смутила или не дала ему подлинного творческого удовлетворения. Во всяком случае, задумчиво и неуверенно взглянув на «дверь», Зайцев от нее отошел и предпочел остаться на пути, избранном ранее.

«И меланхолии печать была на нем...» Вспомнились мне эти знаменитые — и чудесные — строки из «Сельского кладбища» не случайно. Жуковский, как известно, один из любимых писателей Зайцева, один из тех, с которым у него больше всего духовного родства.

Жуковский ведь то же самое: вздох, порыв, многоточие... Между Державиным, с одной стороны, и Пушкиным, с другой, бесконечно более мощными, чем он, Жуковский, прошел, как тень, да, но как тень, которую нельзя не заметить и нельзя до сих пор забыть. Он полностью был самим собой, голос его ни с каким другим не спутаешь. Пушкин, «ученик, победивший учителя», его ничуть не заслонил.

Зайцева тоже ни с одним из современных наших писателей не смешаешь. Он как писатель существует — в подлинном, углубленном смысле слова — потому, что существует как личность.

«Путешествие Глеба» и другие повести, в которых речь идет о том же герое, лишены формальных автобиографических признаков. Автор вправе утверждать, что в них все выдумано, сочинено, и нам на такое утверждение нечего было бы ему возразить. Но никакими доводами не убедит он нас, что в этих повестях ничего личного нет, как не убедил бы нас в том же самом и Бунин по отношению к «Жизни Арсеньева». Впрочем, в противоположность Бунину, автобиографичности своего произведения Зайцев, кажется, и не склонен отрицать. У читателя же нет на счет этого и сомнений. Выдает тон, выдает то волнение, которое чувствуется в описаниях, в воспроизведении бытовых мелочей, житейских повседневных пустяков, выдает, наконец, непринужденность погружения в мир, сотканный из бледных, хрупких, слабеющих воспоминаний... Тургенев однажды с насмешливой проницательностью заметил, что человек говорит с интересом о чем угодно, но «с аппетитом» — только о самом себе. Оставим иронию, к зайцевским рассказам о Глебе неприменимую, но отметим, что в рассказах этих чувствуется именно «аппетит». Каждому его детство представляется особым, в каком-то смысле особенно пленительным и важным, чем-то таким, что прельстило бы всех, если бы удалось как следует об этой поре рассказать. Зайцев вспоминает детство как видение: с сознанием, что дневной свет логической передачи убьет его таинственную и смутную поэзию.

Прошлое... Добрая половина всего того, что составляет эмигрантскую литературу, посвящена рассказам о прошлом. Несомненно, эмигрантская «тема» — если признать, что она существует и существовать должна,— в известной мере с воспоминаниями связана. Однако тема эта бывает искажена — или, во всяком случае, снижена, ослаблена — в тех писаниях, где возводятся в перл создания и на все лады воспеваются удобство и многообразная прелесть прежней жизни, вплоть до ее комфортабельности. Тут — надо в этом с горечью сознаться — более чем уместен «классовый подход» критического анализа: в самом деле, раз художник способен на несколько страниц расчувствоваться над незабываемым очарованием «горячих, пышных, золотистых филипповских пирожков», то нечего ему негодовать и обижаться, если зачисляют его в лагерь «выразителей буржуазных настроений». Пирожками, правда, мог бы насладиться и пролетарий, однако за гимнами в их честь для всех ясна тоска о благополучии, связанном с известными, пусть и весьма скромными, социальными привилегиями. Эмигрант-писатель, до пирожков опускающийся, сам, может быть, этого не сознавая, подставляет голову под враждебные удары — и по заслугам получает их.

Зайцев в прошлом ищет иного. Ему дорого не то, что людям известного круга жилось до революции приятно, сытно и спокойно, а то, что судьбы — те «судьбы», от которых, по Пушкину, «защиты нет»,— еще не угнетали тогда человека, не мешали дышать ему, наслаждаться жизненными благами, ни с какими социальными преимуществами не связанными. Основа и двигатель зайцевского лиризма — бескорыстие. Не думаю, чтобы ошибкой было сказать, что это вообще духовная основа и двигатель всякого истинного лиризма, и даже больше — всякого творчества. Эгоист, стяжатель всегда противопоэтичен, антидуховен, какие бы позы ни принимал,— правило, кажется, не допускающее исключений. Зайцев сострадателен к миру, пассивно-печален при виде его жестоких и кровавых неурядиц, но и грусть, и сострадание обращены у него именно к миру, а не к самому себе. Большей частью обращены к России.

Маленькому Глебу кажется, что отец и мать — любящие благодетельные силы, охраняющие его от всяких тревог и несчастий. Кажется это ему не случайно и не напрасно. Вокруг — такое устоявшееся спокойствие, что родители действительно в состоянии играть роль добрых божеств. Вот, например, Глеб на вступительном экзамене в калужскую гимназию отвечает на вопросы законоучителя о. Остромыслова. Отвечает довольно слабо. Священник поправляет мальчика, однако «без раздражения», пишет Зайцев.

— Зачем волноваться о. законоучителю? В мире все прочно, разумно, ясно. Вся эта гимназия, и город Калуга на реке Оке, и Российская империя, первая в мире православная страна,— все покоится на незыблемых основах и никогда с них не сдвинется. Что значит мелкая ошибка маленького Глеба? Все равно Дарвин давно опровергнут, вечером можно будет сыграть в преферанс, послезавтра именины Капырина, все вообще превосходно.

«Никогда не сдвинется...» Однако, если бы даже не знать о событиях, происшедших в последние десятилетия, можно было бы по рассказу Зайцева, обращенному к временам далеким, догадаться, что империя «сдвинулась», что она неизбежно должна была «сдвинуться». Иначе рассказчик по-другому о прежнем житье-бытье говорил бы, иначе его плавная речь не прерывалась бы многочисленными паузами. К отцу Глеба, провинциальному инженеру, приезжает на завод губернатор — олицетворение благосклонного величия и торжественного, незыблемого спокойствия. Зайцев мог бы, в сущности, и не добавлять, что «через тридцать лет вынесут его больного, полупаралича из родного дома в Рязанской губернии и на лужайке парка расстреляют». Если не в точности это, то нечто подобное читатель предвидит.

Глеб в детстве счастлив. Но читатель чувствует, что в будущем Глебу предстоит нечто значительно менее идиллическое: повествование напоминает реку, которая дрожит и пенится задолго до того, как переходит в водопад. У Зайцева вообще тон рассказа порой значительнее самой фабулы. Реалистичны ли его романы? Да, по-видимому, реалистичны. Но сущность их не совсем укладывается в понятие реалистического творчества, как впервые в русской литературе это случилось у Гоголя, о реализме или псевдореализме которого до сих пор длятся споры[1]. Вспоминаю давнюю драматическую сцену Зайцева, действие которой происходит в чистилище и где слышны речи, как будто еще согласованные с обычной земной, человеческой логикой, но уже освобожденные от груза земных, человеческих страстей: хотя в повествовании о Глебе перед нами — русская деревня, охотники, инженеры, капризные и взбалмошные барыни, обычный, знакомый провинциальный российский быт, все-таки порой кажется, что это только пелена, которая вот-вот прорвется, и, как сквозь облака, мелькнет за ней бесконечная, прозрачно-голубая, какая-то «астральная» даль. Особый поэтический колорит зайцевских писаний на этом и держится. О его реализме хочется сказать: то, да не то.

Однако люди у него вполне живые, и обрисованы они всегда со сжатой точностью и остротой. Зайцев не «выдумывает психологии» — упрек Толстого Максиму Горькому,— он ее воспроизводит, находит и передает, не позволяя себе никаких вольностей. Особенно хороша у него мать Глеба. Образ этот менее оригинален, чем глубок, менее нов, чем правдив: образ внутренне неисчерпаемо-жизненен и потому ни в новизне, ни в оригинальности не нуждается. Зайцев развивает в нем старую русскую тему, может быть и внося личные изменения в общее достояние, но не нарушая его очертаний. Эта женщина, со своим характерным обращением «сы́ночка», тихая, молчаливая, скромная, способная что угодно вынести, заранее испуганная мыслью о том неизвестном, куда от нее мало-помалу уходит подрастающий сын, как бы каждым словом старающаяся его оберечь, защитить, охранить,— это мать Некрасова, «русокудрая, голубоокая», это — мать из «Подростка», мучительно-растерян-

[1] Истина не всегда бывает посредине, но в данном случае ей иное место найти трудно. По-своему был прав Белинский, твердивший о «великом реалисте», по-своему был прав и Мережковский, признавший Гоголя писателем фантастическим. Каждый искал у Гоголя того, к чему сам был склонен, и каждый свое у него нашел. Белинский обратил внимание лишь на оболочку, Мережковский и его последователи оболочку отвергли: подлинный образ Гоголя оказался у обоих несколько искажен и одно другим следовало бы наконец дополнить.

ная в пансионе Тушара, отчасти мать Толстого. Может быть, слишком самонадеянно было бы сказать, что это образ именно наш, русский, как со справедливой иронией заметил Милюков в «Очерках по истории русской культуры», мы любим присваивать себе будто свое исключительное сокровище лучшие общечеловеческие черты. Образ страдающей матери, mater dolorosa, конечно, общечеловечен. Но есть в русском его истолковании, в русском преломлении особый оттенок — пожалуй, именно у Некрасова с наибольшей силой выраженный, от «Рыцаря на час» до предсмертных стихов, когда он «в муках мать вспоминал»,— и оттенок этот с безошибочной чуткостью схвачен и передан Зайцевым. Писатель бедный, малоодаренный побоялся бы, вероятно, раствориться в чужом достоянии, постарался бы сочинить что-либо иное, пусть и шаткое, но свое. Писатель подлинный не страшится за свою индивидуальность и знает, что она тем крепче, чем свободнее рискует собой. Это, конечно, трюизм, дважды два четыре, но по теперешним временам о таких истинах приходится иногда вспоминать и напоминать.

Зайцев — москвич и не раз подчеркивал свою духовную связь с Москвой, свою сыновнюю ей преданность. В предисловии к книге, так и озаглавленной: «Москва», он говорит, что если бы она, эта книга, «дала Москву почувствовать (а может быть, и полюбить), то и хорошо, цель достигнута».

Между тем внутренний его облик не совсем сходится с тем, что привыкли мы считать, чуть ли не с грибоедово-пушкинских времен, московским стилем, московским жизненным укладом и складом. В этом смысле Шмелев типичнее, характернее его, и знаменитые строки:

Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось,
Как много в нем отозвалось! —

строки эти, ко всему, что написано Шмелевым, гораздо естественнее отнести. Шмелев гуще, плотнее, тяжелее, «почвеннее», его патриотизм традиционнее и элементарнее, весь он гораздо ближе к таким выражениям, как «первопрестольная», «златоглавая», «белокаменная»... Вспомним карту России: Москва сидит спокойно в центре, распространяя спокойствие и вокруг, внушая мысль, что именно она все держит и, пока держит, все будет стоять на своих местах,— не то что Петербург, тревожный и рискованный даже географически. В Зайцеве мало этих московских черт. Съездил он однажды на о. Валаам и, кажется, почувствовал себя там больше дома, чем где бы то ни было: сосны, прохлада, зори, тишина — чего и желать другого? Или

Италия, страна ленивая и блаженная, вечно обаятельная для всех северян; Италия, как неизгладимое воспоминание, почти всегда присутствует в зайцевских писаниях, и от Арбата или каких-нибудь Крутицких ворот не так у него далеко до тосканских равнин. «Пятиглавые московские соборы с их итальянскою и русскою красой...» — сказано в стихотворении Осипа Мандельштама. В каждой зайцевской фразе есть отблеск этой двоящейся «красы».

Однако если уж вспоминать стихи, то следует вспомнить и Блока:

Славой золотеет заревою
Монастырский крест издалека.
Не свернуть ли к вечному покою?
Да и что за жизнь без клобука!

«Да и что за жизнь без клобука!» Ни в одной книге Зайцева нет намека на стремление к иночеству, и было бы досужим домыслом приписывать ему, как человеку, не как писателю, такие чувства или намерения. Но тот «вздох», который в его книгах слышится, блоковскому восклицанию не совсем чужд — вероятно потому, что Зайцев, как никто другой в нашей новейшей литературе, чувствителен к эстетической стороне монастырей, монашества, отшельничества. Ничуть не собираясь «бежать из мира», можно ведь признать, что есть у такого бегства своеобразная, неотразимая эстетическая прелестительность... Люди спорят о религиозной или моральной ценности монастырского уединения (кажется, Белинский охарактеризовал его как «чудовищный эгоизм» — с обычной своей нетерпимостью, мешавшей ему понять многое из того, что по природным своим данным он понять и должен был бы, и мог бы). Споры и разногласия неизбежны, пока умы и души не удалось еще никаким цензорам и опекунам наполнить одним содержанием. Бесспорно, однако, то, что, как поэзия, как поэтический стиль, как поэтический порыв,— это одно из чистейших созданий человеческого духа, в частности духа русского, и стоило, например, Нестерову, с его не Бог весть какими богатыми художественными средствами, на эту сокровищницу набрести, притом в чуждые ей времена, как в ответ возникло волнение глубокое и подлинное. Стоило ему изобразить лес, келью, подвижника и спящего у его ног медведя, как на полотно лег отблеск многовекового вдохновения.

Зайцев не случайно написал «Валаам», и написал не так, как мог бы написать записки о какой-либо другой своей поездке. Он сделал то же, что Нестеров, только, пожалуй, искуснее и вкрадчивее. К благолепию иночества, к древнему, незыблемому

складу его он подошел как будто с некоторой иронической небрежностью, с напускной рассеянностью, но, кажется, лишь затем, чтобы не отпугнуть читателя, чтобы прикинуться своим, мол, братом-интеллигентом, горожанином, скептиком. Войдя в доверие, «установив контакт», Зайцев развертывает свою панораму и знает, что не поддаться ее очарованию трудно.

Есть две линии, две тенденции в восприятии монашества, православия и даже всего христианства; в нашей литературе они отражены особенно отчетливо в спорах о том, какой из двух представленных в «Братьях Карамазовых» образов глубже и правдивее — благостный, всепрощающий, всепонимающий Зосима или суровый, полуюродивый Ферапонт. Константин Леонтьев, один из тех русских писателей, которые к эстетической стороне православия, к «поэзии» его, были наиболее чувствительны, страстно отстаивал правоту Ферапонта, отвергая, высмеивая, ненавидя — как он умел ненавидеть — «розовое» христианство зосимовского типа. Леонтьев даже как художник искал черных оттенков с примесью красного цвета — цвета огня и крови. Зайцев, разумеется, весь на стороне Зосимы, и как на подбор ему на Валааме и монахи встречались все такие: кроткие, тихие, примирившиеся, ничуть не «воинствующие». Если вовлечься в спор, хотелось бы сказать, что в целом зайцевская концепция чище леонтьевской, пусть и уступая ей в оригинальности и силе. Достоевский-то во всяком случае был за Зосимой, а не за Ферапонтом, и надо иметь такую фантастически-сложную, истерзанную психику, как у Леонтьева, чтобы искать света в проклятьях и анафемах вместо любви. Зайцев не боится показаться пресным. Но зато и не рискует оказаться тем духовным жонглером, которого никакой ум, никакая даровитость не спасет в конце концов от бесплодья. Его путь скромнее и вернее.

В борьбу он, впрочем, и не вмешивается. О том, как православие пришло к благолепию, миру и покою, он будто и не помнит: его влекут лишь выводы, результаты, итоги. Деревянная церковка, тихий летний вечер, тихий старичок, толкующий о душе и ее спасении, удар колокола как призыв или как упрек... Здесь, в этих картинах, от героики и мученичества христианства не осталось почти ничего, это не былое пламя его, а дотлевающие угольки. Если это и «рай», как, по-видимому, склонен признать Зайцев вместе с той старой француженкой, о которой рассказывает, то рай готовый, кем-то другим добытый, другим найденный и завоеванный. Но время завоеваний прошло. Благочестивый и мечтательный путешественник зовет нас насладиться покоем, полюбоваться древней прекрасной скудостью быта, по-

мыслить о вечном. Соблазн, скажу еще раз, эстетически неотразим: никогда никакой поэзии животных радостей, буйной, яркой и плотоядной, не совладать с этим безмолвием, с этими соснами и закатами, никогда перед ними не устоять! Зайцев хорошо это знает. Забывает он, кажется, только то, как много страданий и восторга таит в себе эта тишина, какой ценой она куплена, сколько за ней подавленных порывов и стремлений. Зайцевский «рай» — легкий рай (в противоположность Баратынскому с его молитвой: «...и на строгий твой рай силы сердцу подай!»). Нельзя быть уверенным в его прочности, если прельстится им человек с нерастраченным запасом страстей: как Тангейзера, может его с неодолимой силой потянуть обратно, к Венере в грот.

Рассказ о путешествии на Валаам формально не может быть отнесен к главнейшим произведениям Зайцева. Несомненно, однако, что это одна из тех книг, в которых есть к нему «ключ», одна из книг наиболее для него показательных. По самому характеру своего слога, по ритму своего творчества Зайцев в описании далекого, уединенного северного монастыря оказался в сфере, его вдохновляющей. Никто другой не нашел бы таких слов, таких эпитетов, создающих иллюзию, будто окружает человека не живой, крепкий сустный мир, а какой-то легчайший туман, вот-вот готовый рассеяться. В других своих книгах Зайцев скрепя сердце заставляет себя быть участником или по крайней мере наблюдателем обыкновенной повседневной житейской суеты. Здесь он весь в ожиданиях, в предчувствиях, и даже самая жизнь для него — лишь пересадочная станция, на которой бессмысленно, а главное, скучно было бы задерживаться. Замечательно, что «Валаам» значительно глубже и цельнее афонских записок Зайцева, хотя мог бы, казалось бы, вдохновить его и Афон. Не пришел ли Зайцеву на помощь север? Хотя отшельничество и возникло под знойным полуденным солнцем, в наши-то дни, после всех исторических превращений, им испытанных, трудно связать его с южной пестротой и роскошью природы. Противоречие слишком разительно. Если вокруг все сверкает и сияет, если все говорит о неистощимой земной мощи, то какие же тут вздохи, какие «бренность»! Южные обители должны, вероятно, быть местом ужасающих, безмолвных духовных битв, и вся летопись их должна быть отмечена трагизмом. Что делать в них Зайцеву, художнику-созерцателю, менее всего трагическому? То ли дело — остров на Ладожском озере с «невеселыми предвечериями севера», о которых так хорошо рассказывает путешественник-богомолец, с коротким и хрупким летом, с бесконечными зимами и ночами! Природа тут укрепляет

человека в его аскетическом лиризме, поддерживает его, а не искушает. Монахи спят в гробу, чтобы не забывать о смерти. На Афоне, у берегов синего теплого моря, вероятно, труднее лечь в гроб, чем на Валааме, где снежный саван держится больше полугода, а острый пронзительный холодок порой даже в июле напоминает о его близости. Все на севере располагает человека к мыслям, от которых до «бренности» — рукой подать. У Зайцева природа на поверхностный взгляд — лишь фон. Но в действительности она говорит у него о том же, чем озабочены иноки, и даже отвечает тайным помыслам автора.

«Дом в Пасси» — роман из современной эмигрантской жизни. Реализм в нем как будто не только уместен, но и необходим. Однако вот перечитываю его — и снова вспоминается тот давний драматический отрывок, о котором я уже говорил: действие — между землей и небом, тени движутся в голубоватом волшебном сумраке, не зная ни истинных страстей, ни страданья, ни счастья... А в романе ведь никаких теней нет! Какая, например, тень — Дора Львовна, деловитая, преуспевающая массажистка, или этот русский шофер, или старик-генерал, или барышни, типичные парижские барышни-эмигрантки — все они наши давние знакомые. Реализм внешне безупречен, в нем не к чему придраться. Но внутри что-то двоится, и никак не отделаться от мысли, что волнует обитателей дома в Пасси не жизнь, а лишь слабое меркнущее воспоминание о ней.

Крайне своеобразна и, конечно, связана с общим складом писаний Зайцева его манера: в одной фразе, порой в одном слове дать характеристику человека. Впечатление остроты и меткости, которое оставляют некоторые его страницы, выделяясь среди других, именно на одном штрихе порой и основано. Например:

«Лузин был настоящий русский интеллигент довоенного времени типа: «какой простор!».

Превосходно! Ярлык наклеен, Лузин ясен. Правда, Толстой или из новых писателей, скажем Бунин, ярлыком не удовлетворились бы, а взяли бы быка за рога, истерзали и измучили бы его вовсю, и «интеллигент типа какой простор», даже и без апелляции к Репину, превратился бы в нашего доброго знакомого. Но Зайцев — акварелист, и во всяком случае в живописи — прежде всего рисовальщик.

Дора Львовна беседует с подругой о некоей сумасбродной миллионерше и выражает сожаление, что та тратит деньги на нелепые затеи.

«Может быть, и удастся направить ее в разумное русло».

Настоящая находка, это «разумное русло»! Стиль — это

человек. Слышишь голос образованной массажистки, видишь ее лицо! Однако вспышка длится мгновение, а затем опять вступает в права тот прозрачный и легкий полумрак, в котором все тонет и сливается.

Откуда полумрак, т. е. для чего он автору нужен? что побуждает автора почти всегда его в свои писания вводить? Если позволительны насчет этого догадки, то скажем: для того, чтобы не так очевидна была жесткость и грубость существования, для того, чтобы горечь его не казалась безысходной. Капа — одно из действующих лиц «Дома в Пасси» — кончает самоубийством, у старика генерала умирает дочь, единственная его радость... Разве можно глядеть на это в упор, в беспощадно ярком дневном освещении? Капа сама в предсмертном своем дневнике против этого предостерегает. В согласии с ней Зайцев умышленно окутывает свой «дом» туманом, похожим на благовонный дымок кадила. Ни на что нельзя роптать, а если в сердце нет сил для благодарности, то должны бы найтись силы для молчания.

Этот «Дом в Пасси», то есть дом в одном из парижских кварталов, облюбованных эмигрантами, не просто французский дом, наполовину заселенный иностранцами,— это оазис в пустыне. Зайцев не склонен в чем-либо упрекать французов и не противопоставляет мнимой их узости и сухости нашу хваленую ширь и отзывчивость. Патриотически-хмельная обывательщина ему чужда. Но он с грустью признается, что Франция ему не вполне понятна, что среди французов он — чужой. Россия, воплощенная в обитателях парижского дома, пусть даже и беднее, но зато как-то духовнее, непосредственнее, сердечнее. Россия, может быть, скорее забывает, но зато она скорей и прощает... Трудно об этом говорить: без всякой заносчивости, так сказать, «снижающей» и искажающей тему, Зайцев касается тут того, что едва ли не все русские чувствуют и что ни на какие блага, ни на какой культурный блеск и лоск не хотели бы променять. Лично у Зайцева к этому примешивается и христианство, притом именно «розовое», противолеонтьевское, маловоинствующее. Конечно, для него христианство прежде всего — «мир», а не «меч», и, вероятно, даже по отношению к тем историческим драмам, свидетелями которых суждено нам было стать, его внутренняя позиция много сложнее и противоречивее, чем представляется на первый взгляд. Между «непротивлением злу» и «оком за око», он облюбовал особое, свое место.

С таким умонастроением можно спорить. Многие скажут, что надо с ним «бороться». Надо, однако, и помнить, что среди

писателей, покинувших родину ради свободы, Зайцев — один из тех, кому свобода действительно оказалась нужна, ибо никак, никакими способами, никакими уловками не мог бы он там выразить того, что говорит здесь. Не у всех есть это оправдание. Если мы вправе толковать о духовном творчестве в эмиграции, то лишь благодаря таким писателям, как он. Судить и взвешивать, каково это творчество, необходимо и важно. Но самое важное то, чтобы действительно было о чем судить и что взвешивать.

ПАВЕЛ ГРИБАНОВСКИЙ

БОРИС ЗАЙЦЕВ О МОНАСТЫРЯХ

В своей тетралогии «Путешествие Глеба», по существу автобиографической, Б. Зайцев говорит о равнодушии родителей к религии, ко всему, что связано с церковью. В семье искренне верили, что все эти богослужения и разные там требы нужны только простому народу, и мальчик Глеб, то есть сам автор, невольно воспринимал эти воззрения. Еще только гимназист калужский, он уже полон сомнений. Объяснения школьного законоучителя его уже не удовлетворяют, и он часто, не без колебаний, их отвергает[1].

Но сомнения, как они ни сильны, не мешают исканиям, и на этом пути уже для молодого писателя-интеллигента более убедительным окажется В. Соловьев, чьими работами молодой Зайцев будет зачитываться и затем будет полагать, что это чтение способствовало его религиозному развитию[2].

В ранних произведениях Б. Зайцева чувствуются и сомнения и поиски. Но эти поиски скорее религиозно-мечтательны и мечтательно-элегичны. Они еще очень далеки от Церкви. И когда в его зарисовках появляется церковь-храм, то она чаще всего лишь элегическое украшение пейзажа, перенесенное, казалось бы, с полотен любимого живописца — Нестерова.

Оглядываясь на свою молодость, Б. Зайцев был склонен видеть в себе пантеиста. Видели в нем пантеиста и многие критики. Однако более верным кажется мне взгляд Архим. Киприана Керна, который увидел в настроенности молодого Зайцева не пантеизм, а «скорее какое-то подсознательное, не-

---

[1] Борис Зайцев. Тишина // Возрождение. Париж, 1948. С. 118 и след.
[2] Борис Зайцев. О себе // Возрождение. № 70. Париж, 1957. С. 26.

уловимое ощущение божественной иконы мира, его неомраченных световых истоков»[1]. И вот это ощущение, неуловимое, видимо, и для самого Зайцева, не могло не бередить и обрекало на поиски, и Зайцев искал, и на этом пути исканий увлечение Соловьевым — лишь один из этапов.

Либерально настроенный, Б. Зайцев революцией не занимался и тихо шел стороной, занятый своим творчеством. Но революции суждено было разразиться, изломать жизнь, казалось бы нежданно-негаданно поразить жестокостью. Искалечив, исказив человеческий образ, она показала в нем зверя. Русская либеральная интеллигенция, никак не ожидавшая звериного лика, в ужасе отшатнулась. Многие их них в те годы пришли в Церковь. Ускорила революция вступление в Церковь и Б. Зайцева. Об этом входе-воцерковлении говорят почти все последующие произведения писателя, и чем далее, тем это воцерковление ощутительнее.

Связанное с этим внутреннее перерождение души от нас сокрыто. Об этом приходится только догадываться. Но Б. Зайцев утверждается на своем новом пути и как художник и видит теперь то, чего раньше не видел, или, видя, не так понимал. Из старого своего «хозяйства» он кое-что отбрасывает. Меркнут, скажем, краски эроса. Когда-то очень яркие, они постепенно сходят на нет. Неизбывная у Б. Зайцева тема вечности проясняется, становится уловимее. Отныне путь в эту вечность — не иначе, как через Церковь и в Церкви. Как человек Б. Зайцев ищет прикосновения к святости. Как художник он для своих зарисовок находит на этом пути новые краски, новые нужные ему оттенки. Однако художник по-прежнему независим. В своем творчестве он вполне свободен. Как и прежде, он ничего не проповедует.

«Как в России времен революции был я направлен к Италии, так из латинской страны (из Франции.— *П. Г.*) вот уже двадцать лет все пишу о России. Неслучайным считаю, что отсюда довелось совершить два дальних странствия — на Афон и на Валаам, на юге и на севере ощутить вновь родину и сказать о ней. В «Жизни Тургенева» — прикоснуться к литературе русской, а в «Преподобном Сергии Радонежском» — к русской святости»[2].

Поездка Бориса Зайцева на Афон состоялась в 1927 году. Писатель приехал туда «православным человеком» и «русским

---

[1] Архим. Киприан Керн. Литература и жизнь. Борис Зайцев // Возрождение. № 17. Париж, 1951. С. 160.

[2] Зайцев Б. О себе.— Там же.

художником»[1]. «Прикасаясь к святости», человек искал жизненных сил, а художник — нужных ему образов и красок. Создание живописцем картины требует множества предварительных набросков. Того же требует,— мы все это знаем,— и работа над романом. И не с этих ли афонских высот сходит на страницы романа «Дом в Пасси» (1934 г.) скромная фигура отца Мельхиседека, неустанного утешителя блуждающих по жизни русских парижан.

* * *

Но вот писатель на Святой Горе. Это «земной удел Богородицы». «Вторую тысячу лет не знает эта земля никого, кроме монахов. Около тысячи лет, постановлением монашеского Протата, не ступала на нее нога женщины» (с. 86).

Куда ни бросишь взгляд, всюду «Горы, ветры, леса, кое-где виноградники и оливки, уединенные монастыри с монахами, уединенный звон колоколов, кукушки в лесах, орлы над вершинами, ласточки, стаями отдыхающие по пути на север, серны и кабаны, молчание, тишина, море вокруг... и Господь надо всем,— это и есть Афон»... — «особый мир», где приходится, не задумываясь, подчиняться сложившемуся здесь укладу жизни и своему проводнику-монаху, где «все равно своей волей и соображениями ничего не прибавишь» (с. 86).

Следуя за писателем по монастырям, встречает читатель монахов греческих и русских, знакомится с историей Афона и его святых, слушает незатейливые рассказы о подвижниках нынешних. Попутно с этим может читатель вникать в богослужения, любоваться старыми храмами и афонской природою, может вдыхать ароматы, прислушиваться к шумам, радостно откликаться на «малиновый» перезвон колоколов русских. Не забывая о греческом, «русский художник» все же больше говорит о русском и, прикасаясь к святости, ищет он и отражений старой России, тех самых, что хранятся здесь и в обстановке пустующих ныне гостиниц, и в размеренно-строгом укладе монастырской повседневности, и в древнем ритме славянских богослужений.

Монахи, после привычного светского окружения, поражают смирением, искренностью, простотой. Всматриваясь, «русский художник» запоминает их черты. Вот попадается ему навстречу приятно загорелая голова «нашего калужского типа» (с. 86), а вот «создание и более высокой церковности» — «крепкий и

---

[1] Зайцев Б. Избранное. Нью-Йорк, 1973. Афон. С. 83. Далее при всех цитатах из Афона и Валаама указываются страницы этого издания.

чистый лесной русский тип, заквашенный на Византии, родивший своеобразную высоту древнего зодчества, русской иконописи»... Таким «мог быть посол российский время Иоанна Третьего, живописец Рублев или мастер Дионисий» (с. 127). Правда, запомнился и молодой монах-лодочник, с головой «поленовского Христа» (с. 124), но все же молодость — исключение, и чаще мы видим таких, как, скажем, отец Иосаф, «с седоватою бородою и старинно правильным лицом», какие часто можно было встретить «в русском семнадцатом веке» (с. 119).

Монашеский подвиг при скользящем взгляде извне — не заметен, ибо здесь «нет горя, нет острых радостей (вернее: наслаждений), особенно нет наркотического, опьяняющего и нервозного, что в миру считается острой приправой, без которой жизнь скучна» (с. 114). Однако, «православный человек» Зайцев чувствует напряжение монашеского подвига: «ночью люди молятся, днем работают, очень мало спят и очень дурно питаются — загадка, как они выдерживают?» (с. 108). Но загадочно это только для нас, прагматиков, а монахи смиренно несут этот подвиг вопреки всем тяготам, и какое в них «удивительное благочиние и сравнительно с миром большая незлобность и доброта», и хотя эти люди чаще всего «простого звания», «какая в них воспитанность в высшем смысле» (с. 109).

Вслушивается, вникает «православный человек» и в богослужение. Улавливает разницу с приходским; там оно как бы иное. В монастырской службе больше покоя, она здесь равномернее, отрешеннее. Нет в ней «чудесного хора», в песнопениях нет ни «рыдательности», ни «восторженности» (с. 96). Для монахов богослужение — это часть их внутренней жизни. Они идут в храм не отдыхать душой и, конечно уж, не слушать «чудесное пение». Богослужение для них — это «урок в битве за душу, за взращивание и воспитание высшего человека за счет низшего» (с. 98). Да, некоторые из монахов могут собирать редкостные книги, могут читать Плотина, но вот эта церковная служба — в их жизни самое главное.

* * *

Афонская природа с ее виноградниками и оливковыми рощами не позволяет забывать о Греции, а Греция — о Древней Элладе.

И не потому ли, когда тает ночь, замечает «русский художник», как «теплым кармином» трогает «Эос верхушку Святой Горы, церковку Преображения» (с. 143), а знойным днем на монастырской лодке,— «не в полдень ли Великого Пана», —

невольно видится ему «Афродита-Морфо», с покровом на голове, дремлющая в очередной приютившей путников бухточке. Приближаясь к воротам монастырским, «православный человек» настраивается на строгий лад. Серьезен и «русский художник». Влюбленный в Италию, в ее искусство, не может он не вспомнить о Данте, о том, как «пришел он раз, в изгнании, на заходе солнца со свитком первых песен «Ада» к монастырскому привратнику, постучал в дверь и на вопрос: чего надобно? — ответил: мира» (с. 93).

* * *

За этим же миром, можно думать, поехал в 1935 году на Валаам и сам Борис Зайцев, и задай ему кто-либо вопрос о цели поездки, он вероятно, повторил бы в ответ слова флорентийского поэта. На Валаам,— это ясно чувствуется,— Б. Зайцев ехал уже не «прикасаться» к святости, а, скорее, поклониться ей. И «православный человек» и «русский художник» — оба они неразделимы в русском паломнике, приехавшем в монастырь с женой и «с группой дам, туристов, молодежи» (с. 193). Женщинам вход на Валаам не заповедан, и нет им только доступа в некоторые отдаленные скиты.

Последний этап пути к Валааму — на монастырском пароходике. Отчаливают от Сердоболя и выходят на простор Ладожского озера. Небо хмуро. На воде «прохладно. Невеселое предвечерье севера». Впереди, еще очень «далеко, но уже белея Собором, сам знаменитый Валаам». «Возраст всего этого — сотни лет. Корень — Россия. Поле деятельности — огромный край» (с. 193). А первыми делателями и основателями монастыря — преподобные Сергий и Герман. В монастыре их можно видеть на многочисленных иконах. Сведений о их жизни сохранилось мало. Вглядываясь в историческую даль четырнадцатого века, только и ощущаешь их величие и уже легендарность (с. 195). А самый остров Валаам, что громоздится на гранитных глыбах над озером,— это уже не Афон с его солнечными виноградниками и нижней зеленью оливковых рощ. «Здесь бьют волны, зимой метели ревут, северные ветры валят площади леса. Все громко, сильно, могуче. Лес — так вековой. Скалы — гранит и луда. Монастырь — так на тысячу человек»... (с. 195).

Попутчик,— педагог из Таллина,— предупреждал, что «внутренняя, духовная и поэтическая» сторона Валаама раскрывается не сразу: К Валааму,— говорит он,— «нужно подходить молитвенно», «направляться к нему духовно» (с. 196). И сказано

это было очень кстати, ибо в первые моменты встречи Валаам расхолаживает: кроме чисто мирской, казалось бы, хозяйственности, слишком уж монументален Собор,— «огромный и роскошный, но какой холодный» (с. 195). Старый, построенный в начале прошлого века, был снесен при Александре Третьем, а новый, воздвигнутый на его месте, увы, отражает «бедную художнически эпоху» и убеждает лишь в том, что в его строителях иссякло «исконно православное художническое чутье» (с. 195).

Однако за монументальностью этого фасада, за всей хозяйственной суетой, открывается паломнику все та же милая его сердцу смиренно-молитвенная Русь. Ее жизнь — в скитах отшельников, в скромных часовенках и храмах, что уединенно прячутся в лесной гуще Валаама, в зеленых зарослях ближайших островков. И следуя за паломником по скитам, опять, как и на Афоне, мы наблюдаем все им увиденное и слышим все, что довелось ему услыхать. Опять те же монашеские лица и такие же тихие простые их речи.

Умиленный русский паломник об Италии как бы и забывает: слишком он поглощен своим, русским. Поэтому о Валааме все пишется в едином ключе, в одной настроенности. Здесь нет пряностей Востока, не чувствуется загадочности, нет тайн. Но, как и прежде, запечатлевая в памяти монашеские лица, вспоминает паломник-художник то любимые полотна Нестерова, то русское средневековье.

Первые, слишком суровые впечатления о природе Севера воспринимались как бы извне, с палубы пароходика. В монастыре, при взгляде «изнутри», они смягчаются и светлеют. Пробираясь с женой от скита к скиту, по тропинкам или проходя вдоль берега лодкою, паломник-Зайцев смотрит и не может насмотреться: «Какой мир, какой воздух, как прекрасно плыть мимо редких камышей, за которыми вековой бор — сосны, ели столетние. Кое-где береза. И сколько зелени, какие лужайки! Все светлое, очень тихое и нетронутое» (с. 196).

* * *

В 1936 году на книгу о Валааме откликнулся Г. Адамович и восстал против «гипертрофии нежности и сладости, по существу очень заразительной». В Борисе Зайцеве, как и в прошлом, он увидел больше мечтательности, чем действительного благочестия. Писатель де приезжал «насладиться покоем, полюбоваться древней скудостью быта, подумать о вечности. Отдохнуть, одним словом». «Зайцевский рай,— думает критик,— легкий

рай». Писатель де не отдает себе отчета в трудности подвига, о котором свидетельствует[1].

Как я ни ценю тонкости и глубины суждений покойного критика, в данном случае мне трудно с ним согласиться. Если человек может любоваться красивыми вещами, картинами, которых не способен создать, то почему же ему, как мне кажется, не любоваться красотою духовной, любоваться тем, что самому недоступно? И почему же не думать человеку о вечности? Не на ветер же было сказано — «помни последняя твоя и вовек не согрешишь». А ведь этой «скудостью быта» Б. Зайцев не только любуется. Видя этот подвиг, он и сам,— мы это чувствуем,— земно кланяется, просит молитв, готовится к исповеди и причастию. Он вмещает то, что может вместить, и с умилением склоняется перед теми, кто способен вместить большее. И при этом, почти ни слова о себе — все только о впечатлениях. И, разумеется, растроган он не только духовным подвигом, ибо довелось ему здесь увидеть чудом сохранившийся осколок утерянной когда-то им Руси и, увидев, испытать радость и душевно согреться. «Путь духовной жизни в том и состоит, что чем выше поднялся человек в развитии своем внутреннем, тем он кажется себе греховнее и ничтожнее, тем меньше сам в своих глазах рядом с миром Царствия Божия, открывающегося ему» (с. 249). Не зайцевские это слова. Это говорил игумен, постригавший одного из монахов в схиму. Но вот паломник Зайцев эти слова запомнил и записал, и значит, понял, проник мыслью и чувством в самую суть православного молитвенного подвига. Где же тут место зайцевскому «легкому раю»?

Однако, эта сосредоточенность мысли и чувства не мешает художнику оставаться, как всегда, объективным и вполне владеть своим материалом — всеми образами, картинами-сценами и той атмосферой, тем своеобразным «воздухом», который все это пронизывает и окружает. Не всякому доступная, эта атмосфера вызывает у писателя известную душевно-духовную настроенность, которая сказывается в особой тональности его стиля, языка. Это именно тональность, ибо, как мне кажется, этой настроенности и всех связанных с нею чувств никакими словами и метафорами не передать...

Проверить мои впечатления на цитатах — трудно. Проще «взять Зайцева» и углубиться в чтение, и тогда читающий,— вероятно, не всякий,— эту зайцевскую тональность «услышит», а за нею почувствует и его настроенность. И вот тут-то он

---

[1] Адамович Г. Валаам. Б. Зайцев // Последние новости. Париж. 14 окт. 1936.

увидит, что Г. Адамович прав: тональность книги, действительно, заразительна. Однако заразительность эта благотворна: она, то что говорят, очищает. Видимо, и Юлий Айхенвальд испытывал те же впечатления, когда говорил, что зайцевскому творчеству присущ «аристотельский катарсис»[1].

Надо еще добавить, что и у самого писателя эта его настроенность утончает восприятия и все более просветляет взгляд на жизнь, на людей. После «Валаама» она проступает особенно явственно,— все в той же тональности,— в тетралогии «Путешествие Глеба» (1937—1953), в новелле «Царь Давид» (1945), в книге о Чехове (1954). Особенно сильно ее проявление в очерках «Звезда над Булонью» (1958), и уже, действительно, светит она каким-то невидимо-немеркнущим светом в последнем рассказе — «Река времен» (1964).

Но при всей этой настроенности,— я еще раз это подчеркиваю,— Б. Зайцев по-прежнему объективен и ничто не мешает ему, когда надо и можно, весело улыбаться, добродушно посмеиваться, оживляя свои зарисовки искорками смеха. В данном случае,— я понимаю,— слово «юмор», да еще в сочетании с «умилением», многих могло бы смутить, а некоторых даже и покоробить, может быть — оскорбить. Поэтому, думаю, был так осторожен и Мих. Цетлин. Откликаясь на роман «Дом в Пасси», он улавливает эти же «искорки» в фигуре отца Мельхиседека и тут же, вполне справедливо, оговаривается, что они «без остатка поглощаются благоговением»[2].

* * *

В 1930 году, говоря в своих «Комментариях» о Борисе Зайцеве, Г. Адамович увидел в его сочинениях тему «возвращения», тему, скажем, того же лермонтовского «Ангела», присущую, как считает критик, всей русской литературе от Пушкина до Блока[3]. После же появления «Валаама», уже в 1937 году, может быть еще лучше сказал о зайцевском творчестве Юрий Мандельштам. Он почувствовал, что для Б. Зайцева в жизни существенно лишь то, что отражает «некое таинственное странствие человеческой души в мире»[4].

---

[1] Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. Т. 3 (новейшая литература). Берлин, 1953. Борис Зайцев. Наброски. С. 204.

[2] Цетлин Мих. Б. Зайцев. Дом в Пасси // Совр. записки. № 59. Париж, 1935.

[3] Адамович Г. Комментарии // Числа. № 1. Париж, 1930.

[4] Мандельштам Ю. Б. Зайцев. Путешествие Глеба // Возрождение, Париж. 27-7-37.

И вот на последнем этапе жизни писателя, когда связь с Церковью, видимо, особенно углубляется, все это «странствие-возвращение» становится особенно целеустремленным. Отсюда и впечатления проф. Л. Ржевского, который ощутил в этом странствии наличие «ведомости» — присутствие Чьей-то незримой, но явно ведущей руки[1].

В это же время и Г. Адамович, беседуя по радио с Россией, уже убедительно говорит о том, что Борис Зайцев «христианин и притом христианин церковно-послушный, смиренный, без всякого вольномыслия, без умственной гордыни, без поправок к Православию, которым на свой лад, вслед за бурей, поднятой Львом Толстым, предавались многие русские писатели»[2]. Эта беседа о писателе Борисе Зайцеве как нельзя лучше определяет всю тональность его книг и настроенность в ней отраженную. Если весь жизненный путь Бориса Зайцева был постепенным его воцерковлением, постепенным приобщением к богочеловеческому организму Церкви, то не следует ли нам думать, что АФОН и — еще в большей степени — ВАЛААМ были особенно значительными этапами на этом пути, этапами, плодотворными и для «художника русского» — Бориса Зайцева.

Вашингтонский Университет,
Сиэтл, Вашингтон.
Дек. 1975 г.

---

[1] Ржевский Л. Тема о непреходящем // Мосты. № 7. Мюнхен, 1961.
[2] Адамович Г. Текст радиобеседы (№ 28). Март 1960. Мюнхен.

НИКИТА СТРУВЕ

ПИСАТЕЛЬ-ПРАВЕДНИК

(29.I.1881—28.I.1972)
Памяти Б. К. Зайцева

Ушел последний видный участник блестящего русского ренессанса, последнее крупное имя доживающей русской эмиграции, всеми признанная ее литературная слава, а, главное, совесть. Всегда казалось, что редкое долголетие при неущербленном здоровье было дано Борису Константиновичу свыше неспроста, не только как личный дар, а в утешение эмиграции. Пока с ней Борис Константинович, ей есть чем гордиться, есть к кому прибегнуть, кем защититься. И вот дожил Борис Константинович до того времени, когда эмиграция не только подошла к последней черте, но и потеряла в каком-то смысле свою обособленную raison d'être[1]. Писатели, живущие в России, стали печататься за границей, как у себя, и среди них А. Солженицын стал совестью и славой не только русского народа, но и всего мира.

Голос Б. К. Зайцева был негромкий, но чистый. Когда-то в один из его юбилеев П. К. Паскаль назвал его «тишайшим». Прогреметь на весь мир Борис Константинович не мог. Но воплотить в себе лучшие качества русского человека и писателя, стать символом для русской эмиграции, это более скромное, но не малое призвание, было Борисом Константиновичем выполнено.

Он был примером честности и правдивости: за всю свою полувековую эмигрантскую жизнь Борис Константинович никогда ни на какие общественные компромиссы не шел, не запятнал себя никакими, столь характерными для эмиграций,

[1] причину, смысл существования *(фр.)*.

ненужными выпадами или партийными ссорами. Бесстрастие было в его характере, но коренилось оно глубже — в его постоянной устремленности к духовным ценностям. Религиозен Борис Константинович был без надрыва и пафоса, коренно, истово, и эта спокойная религиозность придавала его тихим речам вкус и вес.

Благословенная старость (если не считать долгой и мучительной болезни жены, которую Борис Константинович перенес как подвижник, без малейшего ропота): и седина его почти не коснулась, и память не сдала, и талант не угас. Восьмидесяти лет он написал прекрасную, едва ли не лучшую свою повесть «Река времен», достойную стать среди десяти самых удачных русских повестей XX века. Еще недавно он читал наизусть поразившее его предсмертное стихотворение Н. Гумилева (напечатанное в «Вестнике» № 98), о котором написал последнюю свою статью, несколько недель тому назад он справлял Рождество в движенческом Введенском храме и уже совсем близко к роковому дню возглавил (до двенадцати ночи) чествование Ф. Достоевского... Для большой речи у него уже не было сил. Он сказал несколько слов в простоте, но, как написал мне в письме, «преклоньше колени». Так у ног «гиганта» закончился литературный путь писателя-праведника, верно и честно служившего русскому слову ни больше ни меньше как семь десятков лет[1].

[1] Первый рассказ появился в 1901 г. в газете «Курьер».

ПРИМЕЧАНИЯ

Б. К. Зайцев уже на склоне лет задумывал издать книгу «Святая Русь» — как итоговую. Вот что писал он давнему другу архиепископу и поэту, публиковавшемуся под псевдонимом «Странник», Иоанну (в миру Дмитрию Алексеевичу Шаховскому) 6 марта 1963 г.: «Хочу обратиться к Вам за помощью или советом. Есть у меня книжечки «Преподобный Сергий Радонежский», «Афон» (Вами вдохновенный) и «Валаам». Все это давно разошлось. Достать нигде ничего нельзя. Идейка такая: соединить все вместе, получится книга страниц в 300. Ее можно бы назвать «Святая Русь»... Мысль об этом давно во мне сидит, да как-то не решился переходить к «действию». Но времени уже остается мало (мне 82 года), а ведь это направлено к прославлению духовной Руси, ныне на Родине заушенной. Кто знает, может быть, со временем книга попала бы и туда, и там кто-нибудь соприкоснулся бы с удивительным и высоким (а то и высочайшим), что было на земле нашей» (см. в этом томе Приложения: «Из переписки с архиепископом Иоанном»).

Книга, о которой Зайцев мечтал и которой так и не дождался, вышла в Нью-Йорке в 1973 г., через год после его кончины, и называлась не так, как хотел автор,— «Избранное». Но составили сборник как раз те произведения, которые Борис Константинович упоминает в письме владыке: «Преподобный Сергий Радонежский», «Афон» и «Валаам». Они легли в основу и нашей книги. Однако Зайцев надеялся на большее: на публикацию здесь же и других своих духовных произведений. Поэтому издательство и составитель — в полном согласии с неосуществленным пожеланием автора — сочли необходимым сделать это издание более представительным, включив в него религиозные повести, рассказы и мемуарно-публицистические очерки.

В огромном творческом наследии писателя трудно найти произведение, в котором бы он так или иначе не касался темы и проблемы духовности, веры, религии, церкви, их художественно-эстетического, философского, этико-нравственного рассмотрения. Но не только это объединяет, наделяет общими качествами-свойствами большие и малые творения замечательного русского писателя. Их роднит, сближает тот характерно зайцевский поэтический лиризм, та атмосфера светлой, раздумчивой печали и негромкой радости, которые свойственны всему тому, что выходило из-под пера поэта прозы,— будь то роман, рассказ или очерк, эссе, статья. Как раз об этом интересно размышляет выдающийся критик русского зарубежья Георгий Адамович в очерке о Зайцеве, публикуемом в Приложениях.

И еще одна особенность присуща всем книгам Зайцева (и прежде всего этой): в каждой видится, «вычитывается» вроде бы незримое, негласное, но явственно ощущаемое присутствие самого автора — человека несуетного, высоконравственного, религиозного, проповеднически-учительного и вместе с тем человека христиански терпимого к людским прегрешениям и слабостям. Человека, для которого идеалом стали аскетически подвижническая жизнь, исполненная высокого для всех нас урока, и замечательные деяния великого святителя земли русской преподобного Сергия Радонежского.

В том «Святая Русь» включены произведения, в основном мало известные — за редким исключением — российскому читателю. Они жанрово распределены по нескольким разделам: книги паломнических странствий «Афон» и «Валаам», духовная художественная проза во главе с житийной повестью «Преподобный Сергий Радонежский» (ею том открывается, как и в авторском посмертном издании), а также очерки, эссе, заметки из «Дневника писателя». Под этой и под другими рубриками («Странник», «Дни», «Далекое», «Из воспоминаний и размышлений» и др.) Зайцев печатал их в газетах и журналах русского зарубежья в течение всей своей жизни. В примечаниях указываются источники первых публикаций.

В тексте «Преподобного Сергия Радонежского» и «Афона» цифрами помечены отсылки к примечаниям автора, печатаемым в конце этих произведений.

Составитель выражает сердечную благодарность дочери писателя Наталье Борисовне Зайцевой-Соллогуб, приславшей из парижского семейного архива большинство газетно-журнальных публикаций писательского дневника, часть из которых включена в книгу «Святая Русь» (полный текст «Дневника писателя» также готовится к изданию дополнительным томом).

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

Одну из глав рождающейся книги Зайцев напечатал в парижской газете русских эмигрантов «Последние новости» 8 октября 1924 г., а в следующем году повесть о древнерусском патриоте и подвижнике вышла отдельным изданием; она стала первой книгой, выпущенной в Париже новым издательством Русского студенческого христианского движения в Европе (РСХД) — ИМКА-Пресс. Документальной основой для создания этого лирического житийного повествования Зайцеву послужило в первую очередь «Житие Сергия Радонежского», написанное в 1417—1418 гг. «замечательным русским писателем Епифанием Премудрым» (Д. С. Лихачев), но до нас дошедшее в переработке официального агиографа Пахомия Логофета. Этот литературный памятник русской орнаментной прозы переиздан Д. С. Лихачевым в четвертом выпуске серии «Памятники литературы Древней Руси» (М.: Худож. лит., 1981. С. 256—429).

Печатается по тексту 2-го, посмертного, издания, подготовленного Зайцевым (как указывается в выходных данных, «с небольшими, внесенными автором, поправками и изменениями»): Избранное. Нью-Йорк: книгоиздательство «Путь жизни», 1973. Повторяя здесь свое предисловие 1925 года, Зайцев после абзаца «Да, Сергий был не только созерцатель...» счел нужным снять (или это сделали за него издатели) следующий, на наш взгляд, важный текст:

«И естественно, что мерою отношения к Сергию мерили само общество, самый народ. Одних взволнует, умилит, другим отвратен облик неземной, идущий в жизнь и просветляющий ее. Им Сергий враг.

Он враг всем ненавистникам Христа, всем утверждающим себя и забывающим об Истине. Их очень много в наше время, когда «раздрание» мира зашло так далеко. Татары, может быть, не тронули бы Сергия, если бы и добрались до Лавры: у них было уважение к чужой религии. Митрополит Петр получил от Узбека охранительную грамоту для духовенства. Наш век в сознании полнейшей правоты разгромил Лавру, надругался над мощами Сергия — ибо поверхность века нашего есть ненависть ко Христу, мешающему быть преступником и торгашом.

Но не во власти века затемнить образ преподобного. Народ, в округе, создал уже легенду, что истинные его мощи ушли в землю — до поры до времени святой опять уединился, как уходил от мира грубого при жизни. Так это или нет, но несомненно, облик Сергия — теперь и в ореоле мученичества — светит еще чище, еще обаятельней. Ведь и Христос победил, быв распят».

Примечания, написаные Зайцевым к «Сергию» (как и его примечания к «Афону»), публикуются после основного текста повести.

В данной публикации сочтено возможным в отдельных случаях

унифицировать орфографию: вместо разновариантного написания слов в сокращенном и полном виде печатается их полная форма. Например: из встречающихся в тексте вариантов «Преподобный», «Преподобн.», «Препод.», «Преп.» и «Пр.» выбрано первое — полное — написание слова; вместо «митр.» и «митроп.» — «митрополит». Полной форме отдано предпочтение также в следующих написаниях: «патр.» — «патриарх», «арх.» — «архиепископ», «архим.» — «архимандрит», «ап.» — «апостол», «Вел. Кн.» — «великий князь», «Ив.» — «Иван», «Дм.» — «Дмитрий», «свв.» — «святые», «авг.» — «август», «от С. М.» — «от сотворения мира», «воскр.» — «воскресенье», «следов.» — «следовательно» и т. п.

С. 24. *Св. Сергий родился более шестисот лет назад...*— Годы жизни Сергия Радонежского — ок. 1321—1391.

С. 27. *В нем не было экстаза, как во Франциске Ассизском.*— Основатель нищенствующего ордена францисканцев Франциск Ассизский (наст. имя Джованни Бернардоне; 1181 или 1182—1226) был страстным проповедником учения о бедности как идеале «евангельского совершенства». Большую популярность и в Европе и в России завоевала книга рассказов о «народном святом Fioretti (в рус. пер. «Цветочки Франциска Ассизского». М., 1913; репринт — М., 1990).

С. 28. ...*«егда рать Ахмулова бысть», «великая рать Туралыкова»...* — Имеются в виду карательные экспедиции на Русь татарских предводителей Ахмыла в 1322 г. и Туралыка в 1327 г. (против восставшей Твери).

...*«собирали» русскую землицу Юрий и Иван (Калита) Даниловичи.*— Юрий Данилович (кон. 70-х — нач. 80-х гг. XIII в.— 1325) — князь московский (с 1303 г.), боровшийся с Тверью за великое княжение. Чтобы укрепить свою власть, женился на сестре хана Золотой Орды Узбека и был убит в Орде Дмитрием Тверским. Брат Юрия Иван I Калита (?—1340) — князь московский с 1325 г.; заложил основы политического и экономического могущества Московского княжества.

...*водили под ярмом... Михаила Тверского...*— Князь тверской и владимирский Михаил Ярославич (1271—1318), явившийся в Орду за ярлыком на великое княжение, был здесь закован в колодки, а через месяц убит слугами князя Юрия, также притязавшего на этот престол.

...*предательски губя Александра Михайловича.*— Князь тверской с 1326 г. и владимирский в 1326—1327 гг. Александр Михайлович (1301—1339) вступил в соперничество с Иваном Калитой за великокняжеский престол и был убит в Золотой Орде вместе с сыном Федором.

С. 30. ...*«глаголеть же древний...»* — Цитируется Софийская вторая летопись (в кн.: Полное собрание русских летописей. Т. VI. СПб., 1853. С. 120).

С. 31. *Митрополит Феогност* — митрополит московский в 1328—1353 гг.

С. 32. *Василий Великий* (329—379) — архиепископ Кесарийский, «вселенский отец и учитель церкви» (наряду с Григорием Богословом и Иоанном Богословом; церковь отмечает их общий праздник трех святителей).

С. 33. *Св. Антоний в Фиваиде мучился томлением сладострастья...*— Антоний Великий (250 — ок. 355) — основатель монашества, ведший жизнь отшельника в египетской пустыне; герой философской драмы Флобера «Искушение святого Антония», переведенной на русский язык Зайцевым.

С. 34. *...он не проповедовал, как Франциск, птицам, и не обращал волка из Губбио...* — см. «Цветочки Франциска Ассизского». М., 1990. Гл. XVI, XXI. С. 51—53 и 67—71.

...по Никоновской летописи...— Никоновская летопись XVI в. содержит одну из редакций «Жития Сергия» (Полн. собр. русских летописей. Т. X—XI).

Сильвестр Обнорский (ум. в 1379) — ученик Сергия Радонежского, поселившийся в келье в дремучем лесу, где вскоре основался монастырь отшельников, и Сильвестр стал его первым игуменом.

Мефодий Пешношский (ум. в 1392) — ученик Сергия Радонежского, основатель и первый игумен Пешношского монастыря (1361).

Андроник (ум. в 1395) — ученик Сергия Радонежского, строитель (по наставлению митрополита Алексия) и первый игумен Спасова монастыря в Москве, названного впоследствии Андрониковым.

С. 35. *Феодосий Печерский* (ум. в 1074) — игумен Киево-Печерского монастыря, первый учредитель иноческого общежития в русских обителях; автор поучений к инокам и ко всему народу, а также посланий к великому князю Изяславу.

Митрополит Алексий (между 1293 и 1298—1378) был поставлен во главе русской церкви в 1355 г.; один из самых чтимых русских угодников.

С. 36. *Был введен богослужебный устав Феодора Студита...*— Феодор Студит (759—826) — выдающийся церковный деятель, писатель и аскет; настоятель Студийского монастыря в Константинополе. Автор теоретического богословского труда в трех книгах «Опровержения», проповедей, собранных в Большом и Малом «Катехизисах», поэтических канонов, гимнов и эпиграмм, «Огласительных поучений», а также устава «Изображение установления обители Студийской», устроившего распорядок монашеского общежительства.

С. 37. *Пересвет* (?—1380) — инок Троице-Сергиевой лавры (до

пострижения брянский боярин Александр), ставший героем Куликовской битвы (1380) вместе с другим иноком — Ослябей (в миру Роман, в монашестве Родион, по другим данным Андрей; ? — после 1398). Поединок Пересвета с татарским богатырем Темир-мурзой, в котором оба погибли, стал началом сражения.

С. 41. *Путь Савла, вдруг почувствовавшего себя Павлом...*— Савл — имя апостола Павла до его обращения в христианство. О том, как гонитель христиан Савл стал учеником Христа и проповедником его веры, см. в Библии: Деяния Апостолов, гл. 9.

...чтобы Господь дал им воду, как некогда послал ее по молитве Моисея.— В Библии (Вторая книга Моисеева — Исход) рассказывается, как по усердному молению пророка Моисея дать воду умирающим от жажды его соплеменникам Бог сказал ему: «Вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве; и ты ударишь (жезлом) в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ» (гл. 17, ст. 6).

С. 42. *...паломничества в Оптину — от Гоголя, Толстого, Соловьева...*— Знаменитый монастырь Оптина Пустынь (ныне в Калужской обл.) основан в XIV в. бывшим разбойником Оптою (в иночестве Макарий). Н. В. Гоголь был здесь трижды: в июне 1850, в июне и сентябре 1851 г. Л. Н. Толстой посещал Оптину шесть раз (в том числе тогда, когда весной 1887 г. поселился в ней философ и писатель К. Н. Леонтьев; 1831—1891). Философ В. С. Соловьев (1853—1900) приезжал в знаменитый монастырь в июне 1878 г. вместе с Ф. М. Достоевским.

С. 43. *«Старцы» в православии явились... с Паисием Величковским.*— Старчество — древний монашеский институт христианства (возник в нач. IV в. в Египте); в его основе — духовное учительство старца, монаха-наставника. В России старчество получило широкое распространение в XVIII—XIX вв., благодаря подвижнической деятельности архимандрита и писателя Паисия Величковского (1722—1794), переведшего на русский язык энциклопедию аскетизма «Добротолюбие» и другие святоотеческие труды.

...учительный старец Филофей Псковский (ок. 1465—1542) — игумен Трехсвятительского Псковского Елеазарова монастыря и писатель; в своих посланиях к великому князю Василию Ивановичу и Ивану Грозному обстоятельно развивает известную теорию о Москве как о третьем Риме, последнем пристанище истинной христианской веры.

С. 45. *Есть улыбка — теплая и жизненная — у св. Серафима Саровского.*— Серафим Саровский (в миру Прохор Сидорович Мошнин; 1754—1833) — старец-пустынножитель и затворник, иеромонах Саровской пустыни, пользовавшийся среди верующих огромным авторитетом и доверием.

С. 45. *Антоний Печерский* (ум. в 1073) — основатель первого монастыря пещерного (печерского) в Киеве.

С. 46. *Патриарх Кир Филофей* — Филофей Коккин (ум. в 1379) занимал патриаршую кафедру дважды: в 1354—1355 и в 1362—1376 гг.

С. 47. *Одним из первых келарей Лавры был преподобный Никон...*— Никон (ум. после 1426) — ученик Сергия Радонежского, игумен Троицкой обители с 1398 г.

Савва Сторожевский (Звенигородский; ум. в 1406) — ученик Сергия Радонежского, в обители которого был игуменом. Близ горы Сторожевской основал монастырь, в котором настоятельствовал 30 лет.

С. 48. *«Поучения Аввы Дорофея»* — одно из сочинений монаха Дорофея из монастыря Сериды в Сирии, умершего в 620 г.

«Лествица» («Лествица райская») — главный труд отшельника Иоанна Лествичника (ок. 525 — после 600), ставшего в конце жизни настоятелем Синайского монастыря. В сочинеиии повествуется о тридцати ступенях лестницы («лествицы») самосовершенствования, ведущей к райской жизни.

С. 51. *Никон* (Никита Минов; 1605—1681) — седьмой патриарх Московский и всея Руси (1652—1666), одна из самых трагичных личностей в истории русского православия. Осуществив реформы церкви и рассорившись с царем Алексеем Михайловичем, Никон оставляет патриаршество в 1658 г. В 1666 г. Большой церковный собор лишает его патриаршего сана и отправляет в ссылку. Освобождение пришло незадолго до его смерти. Царь Федор Алексеевич лично хоронил Никона, воздавая ему почести патриарха (позже он добился разрешения вечно поминать его в этом сане).

Два митрополита... наполняют век: Петр и Алексий.— Митрополит всея Руси (с 1305 г.) Петр (2-я половина XIII в.— 1326) убедил Ивана Калиту перевести митрополию в Москву и возвести здесь кафедральный собор во имя Успения Богородицы (Успенский собор), чем способствовал возвышению Московского княжества. Митрополит Алексий прославился устройством монастырей Чудова, Спасова (Андрониковского), Алексеевского, Симонова в Москве, Владычного в Серпухове, Константинопольского близ Владимира и Благовещенского в Нижнем Новгороде. Алексий был мудрым советником великих князей Ивана I Калиты (?—1340), его сыновей Симеона Гордого (1316—1353) и Ивана II Красного (1326—1359), а также опекуном его малолетнего сына Димитрия (будущего Донского).

С. 52. *...Димитрий очень хотел возвести в митрополиты... Михаила...*— После смерти митрополита Алексия в 1378 г., называвшего своим преемником Сергия Радонежского, Дмитрий Донской поставил

распорядителем делами митрополии своего духовника священника Михаила (Митяя), но тот в 1379 г. внезапно скончался.

С. 53. *...один митрополит — Киприан — для Западной Руси уж был...*— Киприан (1330—1406) — митрополит Киевский и Литовский, ставший в 1389 г. после многолетних притязаний главой русской церкви.

С. 54. *Епископ Дионисий* (ум. 1385) — архиепископ Суздальский и Нижегородский, ставший митрополитом в 1384 г.

Архимандрит (Суздальский) *Пимен* (ум. 1389) был митрополитом Киевским с 1380 г. и всея Руси в 1380—1381 и 1383—1389 гг.

С. 55. *Битва при Сити* произошла в 1238 г. на берегу реки (в нынешней Тверской обл.); здесь татары нанесли поражение русским дружинам.

...Юрий удушил рязанского князя Константина...— Константин Романович в 1300 г. был взят в плен московским князем Даниилом, а в 1306 г. пленник был казнен по велению князя Георгия (Юрия) Данииловича.

...Димитрий Грозные Очи... убивает Юрия, убийцу своего отца,— сам погибает — Тверской князь Димитрий Михайлович в 1324 г. убил князя Георгия (Юрия) Данииловича, за что ордынский хан Узбек казнит его самого.

А другой тверской князь, знавший, что идет в Орду на гибель, и пошедший все же? — Имеется в виду сын Михаила Тверского князь Александр, убитый ордынцами 29 октября 1339 г.

С. 57. *...женатый на сестре Ольгерда Литовского...*— Ольгерд (1345—1377) — великий князь литовский; одержал победы над Тевтонским орденом и Золотой Ордой, но трижды потерпел поражение в походах на Москву.

...сговорился с... литовским князем Ягелло...— Ягайло (Ягелло) Владислав (ок. 1350—1434) — великий князь литовский в 1377—1392 гг., король польский с 1386 г.; основатель династии Ягеллонов.

С. 60. *...Димитрий отдал мантию великокняжескую Бренку, а сам дрался простым воином...*— Этот эпизод описан в «Сказании о Мамаевом побоище» (XV в.).

...известный, с Аннибала, маневр охвата фланга.— Карфагенский полководец Ганнибал (247 или 246—183 до н. э.) таким маневром в 216 г. до н. э. в битве при Каннах разгромил римлян.

С. 61. *...стали свидетелями ужасов: нагрянул Тохтамыш.*— Хан Золотой Орды Тохтамыш (?—1406) совершил кровавый поход в русские земли в 1380 г.

С. 62. *...Феодосия Печерского, не побоявшегося назвать князя Святослава, за убийство брата, Каином.*— В житии Феодосия Пе-

черского, написанного Нестором, приводятся слова святого из «эпистолии» к Святославу: «Глас крови брата твоего вопиет на тя Богу, яко Авелева на Каина». Сын Ярослава Мудрого Святослав II (1027—1076) отнял киевский престол у своего старшего брата Изяслава и отправил его в изгнание.

С. 62. ...*в 1385 г. Сергий крестит его сына*...— Сергий Радонежский крестил сыновей Дмитрия Донского Юрия в 1374 и Петра в 1385 г.

С. 64. *«Друг мой свет», «Друг мой пламень»*...— Обращения Франциска Ассизского к свету и огню.

...*«виденье, непостижное уму»*.— Из стихотворения А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829).

...*как св. Клара в жизненном пути Франциска*.— Святая Клара — ученица и последовательница Франциска Ассизского, настоятельница Сан-Дамианской обители.

С. 66. *Десятинная церковь в развалинах, Киево-Печерская Лавра пустынна, от Св. Софии — одни стены*.— Десятинная (Богородичная) церковь — главный собор Киева, построенный (впервые из камня) в 989—996 гг. князем Владимиром; собор разрушен Батыем. Киево-Печерская лавра — древнейший монастырь на Руси, основанный в 1051 г. при Ярославе Мудром. Софийский собор в Киеве — выдающийся памятник древнерусской архитектуры, заложенный в 1037 г.; неоднократно восстанавливался и перестраивался.

Авраамий Галицкий... верный рыцарь Святой Девы — крестьянин из Ростова, ставший учеником Сергия Радонежского и основателем монастырей вблизи Галича и Чухломы (см. о нем в этом томе рассказ «Сердце Авраамия»).

Прекрасно названа одна обитель: Пешношская...— Пешношская (Песношская) обитель основана Мефодием (ум. 1392) на берегу речки Песноши (Песнуши). В жизнеописаниях Сергия (в частности, у Никона), которыми пользовался Зайцев, название обители монастыря толкуется как производное от слов «пеш носил».

С. 67. ...*белый монастырь, вскормивший знаменитого Рублева, чей образ Троицы в Лаврском Соборе выше высшего*.— Андрей Рублев (ок. 1360—1370 — ум. 1427 или 1430) — один из основателей московской школы иконописи; в конце жизни принял монашеский постриг в Троице-Сергиевом монастыре (по другим сведениям — в Андрониковом). Шедевр Рублева «Троица» — ныне в Третьяковской галерее.

...*Павел Обнорский, Пахомий Нерехотский, Афанасий Железный Посох, Сергий Нуромский — все пионеры дела Сергиева*...— Павел Обнорский (Комельский; 1317—1427) основал в 1389 г. монастырь на р. Нурме в Обнорской волости (ныне Вологодская обл.) и написал

для него устав. Пахомий Нерехотский (Нерехтский, в миру Иаков; ум. 1384), игумен Константиновского монастыря во Владимире, удалился в костромские земли и около г. Нерехта поставил Троицкий монастырь. Афанасий («Железный Посох») вместе с Феодосием Череповецким основал Череповецкий Воскресенский монастырь. Сергий Нуромский (ум. 1412) построил на р. Нурма часовню и общежительную пустынь с храмом.

С. 68. *...образы старцев Оптиной Пустыни...*— Среди оптинских старцев особенно славился иеросхимонах Амвросий (в миру Александр Михайлович Гренков; 1812—1891) — духовный писатель, духовник философа, прозаика и публициста К. Н. Леонтьева, интересный собеседник Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.

...гениальный образ... написан Достоевским (Старец Зосима).— Старец Зосима — персонаж романа Достоевского «Братья Карамазовы»; одним из его прототипов является оптинский старец Амвросий.

АФОН

Газета «Последние новости». Париж, 1927. 16 июня — 2 окт. № 2276, 2283, 2290, 2304, 2321, 2332, 2349, 2363, 2384 (главы «Встреча», «Андреевский скит», «Монастырь святого Пантелеймона», «Монастырская жизнь», «Каруля», «Лавра и путешествие»). Вторая половина книги из-за разрыва сотрудничества Зайцева с «Последними новостями» печаталась в газете «Возрождение» с 11 октября по 11 декабря 1927 г., № 861, 879, 893—894, 908, 922. Первое книжное изд.: Париж: ИМКА-Пресс, 1928 (с посвящением митрополиту Евлогию). Печ. по изд.: Зайцев Б. Избранное.

Георгий Адамович едва ли не первым отметил самую характерную особенность религиозного сознания писателя: «...Зайцев, как никто другой в нашей новейшей литературе, чувствителен к эстетической стороне монастырей, монашества, отшельничества. Ничуть не собираясь «бежать из мира», можно ведь признать, что есть у такого бегства своеобразная, неотразимая эстетическая прельстительность» (Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955). О неслиянности религиозно-этического и эстетического начал в двоемирии «верующего интеллигента» Зайцева пишет и В. В. Зеньковский в статье «Религиозные темы в творчестве Б. К. Зайцева». А вот размышления Ф. А. Степуна о словосочетании «Святая Русь», избранном Зайцевым в качестве названия для своей последней книги: «Святая Русь» — термин славянофилов, еще в большей степени термин Достоевского, но у Зайцева он значит нечто иное. В зайцевском патриотизме нет ни политического

империализма, ни вероисповеднического шовинизма, ни пренебрежительного отношения к Европе. Его патриотизм носит чисто эротический характер, в нем нет ничего, кроме глубокой любви к России, даже нежной влюбленности в нее, тихую, ласковую, скромную и богоисполненную душу русской природы...» И далее: «...Нельзя причислять Зайцева и к славянофилам. В нем две души: поклонник древней Эллады, он одновременно и исповедик византийского православия... Паломник Зайцев повествует о ночных службах, о бессонном, голодном трудовом подвиге Афона, аскетически суровом, как встарь. А художник запоминает очарование фракийской ночи, горизонты моря, ароматы жасминов и желтого дрока, и ему сладко улавливать сквозь напевы заутрени звук мирской — дальний гудок парохода» (см. наше изд., т. 5. С. 5 и 8).

С. 77. *Афон* (Афонская гора, Святая гора) — монастырский комплекс (20 обителей, 12 скитов, около 700 келий) на живописном полуострове Халкидики в Греции; возник в X—XI вв. на месте древних греческих колоний. Афон — один из самых высокочтимых центров православия, ежегодно посещаемый тысячами богомольцев.

Хочешь видеть адамантовую скалу? — Адамантан (от греч. adamantos — алмаз) — бесцветные кристаллические породы, подобные алмазным.

...Симонопетр, воздымающихся на головокружительной скале...— Симонопетр — сооруженный на каменной скале (греч. petra — камень, скала) монастырь был основан отшельником Симоном в XIII в.

С. 78. *...кресты крупнейшей русской обители на Афоне — монастыря св. Пантелеймона...*— К началу XX в. монастырь св. Пантелеймона (Старый Нагорный Руссик) был действительно крупнейшей русской православной обителью иа Афоне: здесь жило более полутора тысяч русских монахов. Ныне это греческий общежительный монастырь. Основание Руссика относят по одним данным — к временам княжения Владимира Красное Солнышко (?—1015), по другим — Владимира II Мономаха (1053—1125), сумевшего договориться об этом с греческим императором Алексеем Комнином в 1080 г.

...вам пока на Карею надо...— Карея — центр Афона, резиденция всех 20 монастырей Святой горы. Здесь расположены также Главный собор Успения Богоматери и 9 храмов.

...у нас и митрополит Антоний на такой мулашке ездил.— Митрополит Киевский и Галицкий Антоний (в миру Алексей Павлович Храповицкий; 1863—1936) — выдающийся церковный реформатор, христианский философ, педагог и писатель. На Афоне он побывал летом 1920 г. В декабре этого же года Антоний возглавил Русскую зарубежную православную церковь.

С. 78. *«Молча, в одиночестве, без спутников...»* — Из «Божественной Комедии» Данте (Ад. Песнь 23, ст. 1—3. Перевод Б. Зайцева. Париж, 1961. С. 176). Братья минориты — монахи францисканского нищенствующего ордена, основанного в 1209 г. Франциском Ассизским. В своих примечаниях Зайцев приводит пояснение: «Среди братьев миноритов более, чем среди других братьев, принято, что когда двое идут по дороге, один, старший, идет впереди, другой следует за ним».

С. 79. *...мимо древнего греческого монастыря Ксиропотама...*— Второй по древности (после Кареи) афонский монастырь Ксиропотам (т. е. Сухоречный) основан в V в. греческой царицей Пульхерией; она построила здесь храм в честь сорока мучеников, погибших в Севастийском озере.

С. 82. *...нечто среднее между советом десяти в Венеции и Карфагенским сенатом...*— Наделенный неограниченной судебной властью Совет Десяти в Венеции был создан после раскрытия крупного заговора против республики в 1310 г. Такой же высший судебно-карательный орган из 104 представителей самых знатных фамилий существовал в Карфагене, древнем городе-государстве на севере Африки.

С. 83. *...подобно тому флорентийскому литератору...*— Имеется в виду Данте.

С. 84. *...подобно маяку Антиба...*— Антиб — портовый город-крепость с маяком на Средиземноморском побережье Франции.

С. 85. *...читает Шестопсалмие.*— Шестопсалмием называются читаемые в начале утрени шесть псалмов — молитв об избавлении от греховности.

...читали отрывок из Иоанна Лествичника.— Цитируется аскетический трактат игумена Синайской горы Иоанна Лествичника «Лествица. Слово 15. О настоящей чистоте и целомудрии, которое тленные приобретают трудами и потами».

С. 87. *...Плотина читаю...*— Плотин (ок. 204/205—269/270) — греческий философ, живший в Риме.

С. 89. *Фрески Панселина — XVI века.*— Мануил Панселин — греческий художник из г. Салоники (Фессалоники), расписывавший афонские храмы.

С. 91. *...св. Цецилия есть образ страдалицы-девы...*— Цецилия — святая католической церкви, жившая в III веке и принявшая мученическую смерть за христианскую веру; считается покровительницей духовной музыки.

С. 92. *...как и Николай Мирликийский.*— Николай Чудотворец (260—343), архиепископ Мирликийский (города Мир в Ликии) — великий христианский святой, прославившийся многими чудесами; считается покровителем плавающих и путешествующих, сельского хозяй-

ства, всех «сирых и убогих». Его память православная церковь отмечает дважды в год: 9 (22) мая («Никола вешний») и 6 (19) декабря («Никола зимний»).

С. 96. *...ему поют «Исполаэти деспота».*— «Исполаэти деспота» (греч. «На многая лета, господин») — молитвенное песнопение, исполняемое в честь архиерея.

С. 98. *...подобно Сергиеву Подворью...*— Сергиево Подворье в Париже основано в 1925 г. в честь Сергия Радонежского; здесь начали свою просветительскую деятельность Богословский институт и Русское студенческое христианское движение (РСХД).

С. 100. *...читаю в Афонском Патерике...*— «Афонский патерик, или Жизнеописание святых, на святой Афонской горе просиявших» впервые вышел в 1883 г. и в дальнейшем много раз переиздавался.

С. 102. *«Радуйся радосте наше...»* — Из «Акафиста Покрову Пресвятой Богородице».

С. 105. *«Христос Воскресе из ме-ерт-вых...»* — Пасхальное церковное песнопение (тропарь).

...юноша, напоминающий поленовского Христа...— Имеется в виду образ Иисуса Христа из евангельского цикла (68 полотен), созданного живописцем Василием Дмитриевичем Поленовым (1844—1927).

...евангельский пейзаж Генисаретского озера...— Многие события в жизни и проповеднической деятельности Иисуса Христа, о которых повествуется в Библии, Евангелиях, происходили в живописных окрестностях Генисаретского озера (Тивериадского моря) в Палестине.

...патриарх жил, Нифонт по имени.— Нифонт (в миру Николай) — Константинопольский патриарх в 1488—1490 и 1499—1500 гг. В 1504 г. ушел на Афон и здесь умер.

С. 114. *Дионисий* (ок. 1440 — после 1502) — русский иконописец.

С. 115. *...фресками XVI века (монаха Феофана)...*— Феофан Критянин — афонский монах-живописец, живший в XVI в.

...глава св. Василия Великого.— Василий Великий (ок. 330—379) — епископ Кесарии Каппадокийской, известный православный писатель; автор «Бесед на шестоднев», в которых излагается учение о христианской космологии, а также пастырских руководств, наставлений, проповедей и Литургии, исполняемой до сих пор.

С. 116. *«Тень Афона покрывает хребет Лимнийского вола»* — греч. поговорка.

Клитемнестра — жена древнегреческого царя Агамемнона.

...даков покоряли... Адрианы и Траяны.— Римские императоры Траян (53—117) и Адриан (76—138) покорили северофракийских даков в конце I—начале II в., захватив их территорию к северу от Дуная.

С. 117. *Афродита-Морфо была Афродитою дремлющей, с покровом на голове и ногами в цепях — такой видел ее в Спарте Павзаний.*— Греческий историк из Малой Азии Павзаний (Павсаний), живший во II в. н. э., рассказывает об Афродите-Морфо и ее святилище в десятитомном «Описании Эллады» (кн. 3. Лаконика).

С. 118. *...теплым кармином тронул «Эос» верхушку Святой горы...*— Эос — в греч. мифологии богиня утренней зари, родившая ветры и звезды.

С. 119. *«Дидактор теологии»* — учитель богословия (от греч. didaktikos — поучающий).

Не полдень ли это Великого Пана?..— Пан — в греч. мифологии бог стад, лесов, полей и стихийных сил природы, наводивший страх (панический) на людей, особенно в летние полдни, когда замирают леса и поля.

С. 120. *...Духовная Академия, основанная виднейшим богословом того времени.*— Имеется в виду Афонская академия, которую основал и преподавал в ней с 1753 по 1757 г. выдающийся богослов новой Греции Евгений Булгарис (1716—1806), принявший русское подданство. Екатерина II назначила его архиепископом Словенским и Херсонским.

...монастырь принял новый стиль.— Новый стиль в греческой церкви и в монастырях Афона ввел в 1923 г. Константинопольский патриарх Мелетий Метаксикатис, однако Руссик и другие славянские обители этому решению не подчинились.

С. 121. *Лавра св. Афанасия одно время отпала в «латинство» (при Михаиле Палеологе).*— Никейский император Михаил VIII Палеолог (1224—1282), чтобы сохранить отвоеванные у латинян Византию и Константинополь, вынужден был в 1274 г. формально принять унию (соединение православного и католического вероисповеданий), признав главенство папы римского.

Галла Плацидия (389—450) — дочь римского императора Феодосия I Великого и сестра императора Гонория, который отправил ее в ссылку в Византию. Очевидно, на пути в изгнание она побывала на Афоне. Впоследствии отвоевала римский трон для своего сына Валентиниана.

...оттенок некоего православного бенедиктинизма.— Бенедиктинцы — члены католического монашеского ордена, основанного в Италии ок. 530 г. Бенедиктом Нурсийским. Бенедикт впервые ввел строгий устав, детально регламентирующий монашескую жизнь.

С. 122. *...говорили о Рильке...*— Райнер Мария Рильке (1875—1926) — австрийский поэт; совершил две поездки в Россию, где встречался с Л. Н. Толстым. Особенно близкая Зайцеву религиозно-пантеистическая настроенность поэта выражена им в сборнике «Часослов», где автор выступает в образе страждущего русского монаха.

С. 123. *Никакие Комнены или Палеологи сюда не заглядывали.*— Комнсны (Комнины) и Палсологи — династии византийских импсраторов (первые правили в 1081—1185, вторые — в 1261—1453 гг.).

С. 126. *Иоанн Цимисхий* — импсратор Византии в 969—976 гг.

С. 127. *В семидесяти стадиях от обители...*— Стадия — греческая мера длины (от 150 до 185 м).

С. 128. *...канонизируя... за государственную деятельность: Константин Великий, св. Александр Невский.*— Римский император Константин I Великий (ок. 285—337) и великий князь Новгородский и Владимирский Алсксандр Нсвский (в схимс Алсксий; 1220 или 1221—1263) были канонизированы церковью в святые не только за выдающуюся государственную деятельность, но еще и за то, что они выступили самыми активными защитниками христианской веры.

С. 131. *...решающее слово о. Иоанна Кронштадтского...*— О нсм подробно см. в этом томе очерк «Иоанн Кронштадтский» и примеч. к нсму.

...лишь к сорока годам выкипает в нем «дядя Ерошка».— Ерошка — псрсонаж повести Л. Н. Толстого «Казаки» (1863).

С. 138. *Вот что прочел я в книжице смиренного о. Селевкия...*— Имсстся в виду «Рассказ святогорца, схимонаха Ссяевкия, о строс жизни и о странствовании по святым местам: Русским, Палестинским и Афонским...» (СПб., 1860).

С. 141. *Вот мягкий, тонкий архимандрит Макарий...*— Макарий (в миру Михаил Иванович Сушкин: 1821—1889) — архимандрит русского Пантелеймонова монастыря на Афоне, значительно поднявший духовно-нравствснный авторитст обитсли. Он устроил монастырскис подворья в России и других странах, открыл свою типографию, в которой было издано болсс ста книг и брошюр, разошедшихся тиражом в десятки миллионов экземпляров.

...не менее известного духовника обители о. Иеронима...— Исроним (в миру Иван Павлович Соломенцев, в монашестве Иоанникий; 1803—1883) — духовник монастыря св. Пантслеймона, учитсль и сподвижник Макария в его духовно-просветительской деятельности.

Я пытался найти след Леонтьева, жившего тут в семидесятых годах.— Константин Николаевич Леонтьев (1831—1891) — великий русский мыслитель, прозаик, публицист, дипломат, врач; по словам близко его знавшего Л. Н. Толстого, «Леонтьев стоял головой выше всех русских философов». В 1871 г. он, будучи консулом в Салониках, пережил глубокий душевный кризис, усиленный тяжелой, смертельно опасной, как он считал, болсзнью. Это вынудило его бросить консульство и отправиться 24 июля на Афон. Здесь, в Руссике, под духовным попсчитсльством о. Исронима и о. Макария, в долгих беседах с ни-

ми Леонтьев провел около года и готовился принять монашеский постриг, но, получив отказ старцев, возвратился в августе 1872 г. в Константинополь. Тайный постриг под именем Климента Леонтьев принял лишь незадолго до смерти, 23 августа 1891 г., в Оптиной Пустыни.

С. 141. *Леонтьевские впечатления об Афоне схематичны и односторонни.*— Опубликованы следующие статьи и мемуарные очерки К. Н. Леонтьева о Святой горе: «Четыре письма с Афона (1872 года)» (1912), «Панславизм на Афоне» (1873), «Пасха на Афонской горе» (1882), «Воспоминания об архимандрите Макарии, игумене русского монастыря св. Пантелеймона на горе Афонской» (1889), «Мое обращение и жизнь на Святой Афонской горе» (1900).

С. 142. *«Яко крин сельный, тако отцветет».*— Из Псалтири, псалом Давида 102-й, ст. 15: «Дни человека, как трава; как цвет полевой, так он отцветет».

С. 144. *...«по хребтам беспредельно-пустынного моря»...*— Из «Илиады» Гомера.

С. 145. *...как Никэ Самофракийская...*— Нике (Ника) Самофракийская — знаменитая древнегреческая скульптура богини, персонифицирующей победу; хранится в парижском художественном музее Лувр.

С. 146. *«В море далече».*— Из молитвы на всенощной: «Услыши ны, Боже, Спасителю наш, Упование всех концов земли и сущих в мори далече...»

ВАЛААМ

Газета «Возрождение». Париж, 1935. 20 окт.— 22 дек.; 1936. 26 янв.— 5 марта. № 3791, 3805, 3812, 3826, 3840, 3854, 3889, 3903, 3931 (под первоначальным заголовком «Финляндия»). Первое книжное издание «Валаама» (с посвящением Н. Г. Кауше): Таллин: Странник, 1936. Печ. по изд.: Зайцев Б. Избранное.

Г. Адамович (см. его очерк в этой книге), включив Зайцева в число тех писателей, которые к эстетической стороне православия, к его «поэзии» наиболее чувствительны, далее рассуждает: «Рассказ о путешествии на Валаам формально не может быть отнесен к главнейшим произведениям Зайцева. Несомненно, однако, что это одна из книг наиболее для него показательных. По самому характеру своего слога, по ритму своего творчества Зайцев в описании далекого, уединенного северного монастыря оказался в сфере, его вдохновляющей. Никто другой не нашел бы таких слов, таких эпитетов, создающих иллюзию, будто окружает человека не живой, крепкий суетный мир, а какой-то легчайший туман, вот-вот готовый рассеяться». И далее критик резю-

мирует: «Замечательно, что Валаам значительно глубже и цельнее афонских записок Зайцева... Не пришел ли Зайцеву на помощь север?.. Природа тут укрепляет человека в его аскетическом лиризме, поддерживает его, а не искушает». Предваряя нью-йоркское издание зайцевской трилогии о русской святости, Вяч. Завалишин отметил: эта его книга овеяна столь характерной для него «молитвенно одухотворенной поэзией» (в кн.: Зайцев Б. Избранное. Вступление. С. 6).

С. 155. *...белея Собором, сам знаменитый Валаам.*— Спасо-Преображенский мужской общежительный монастырь — главный храм Валаама — построен в конце XII в. В нем похоронены основатели монашества на Валаамском островном архипелаге Ладожского озера преподобные Сергий и Герман.

С. 156. *Был ведь Собор времен Александра I, его разрушили...*— Император России Александр I Павлович (Благословенный; 1777—1825) в конце жизни впал в крайнюю религиозность и мистицизм. В августе 1819 г. посетил Валаам. Соборная церковь его времен была разобрана в 1887 г., когда началось возведение нового собора.

...нечто связано и с игуменом Дамаскиным...— Дамаскин (в миру Дамиан; 1795—1881) был игуменом (и летописцем) монастыря на Валааме 42 года; за это время здесь построено много скитских церквей, часовен и церковных зданий, введен водопровод.

С. 162. *...прямым ходом к Гефсимании.*— Гефсимания — от названий Гефсиманская гора, Гефсиманский сад в Иерусалиме. Гефсиманский скит на Валааме имел две часовни, на месте которых впоследствии были построены Успенская и Вознесенская церкви.

...в нем «Кувуклия» с подобием Гроба Господня.— Кувуклия (от лат. cubiculum — пещера) — часовня в Иерусалиме с Гробом Господним, в который было положено тело Иисуса после мученической смерти на кресте; является величайшей святыней христианства. Кувуклии по типу иерусалимской создавались во многих храмах.

...Ангел отвалил некогда камень. — Об этом повествуется в Евангелии от Матфея (гл. 28, ст. 2): «И вот, сделалось великое землетрясение: ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем».

...пещеру св. Гроба, точную копию того иерусалимского, у которого... причащался Гоголь.— Паломничество в Иерусалим Н. В. Гоголь совершил в феврале 1848 г.

С. 163. *...с интересным... запрестольным образом...*— Запрестольный образ — выносная икона, помещаемая в алтаре храма, за престолом.

...творил Иисусову молитву.— Короткая молитва, многократно повторяемая молящимся: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».

С. 166. *Огромная икона-картина «Моление о чаше»...*— Икона изображает эпизод из Ветхого Завета — троекратно повторенное моление Иисуса о том, чтобы не подвергаться тем мукам из «чаши страданий», которые предуготованы Ему врагами: «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 39).

С. 172. *«Пустынька о. Назария»...*— Назарий (в миру Николай; 1735—1809) — игумен Валаамского монастыря в 1781—1801 гг.; умер в Саровской Пустыни.

С. 176. *...в пятнадцатом столетии там жил св. Александр Свирский...*— Александр Свирский (ум. 1533) — постриженник Валаамского монастыря; в 1487 г. основал близ Свири, на Новгородчине, монастырь, названный в его честь Александро-Свирским. Его имя также носит Святоостровский скит на Валааме, основанный в 1855 г.

С. 178. *...вышло как бы и по-евангельски: жених явился «во полунощи», а светильники их погасли.*— Имеется в виду евангельская притча о десяти девах — неразумных и мудрых. Мудрые, идя ночью встречать жениха, взяли с собой светильники и сосуды с маслом, а неразумные масла для светильников взять забыли и отправились за ним. В этот час явился жених, но неразумных к нему не пустили. Урок притчи: «Бодрствуйте; потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» (Евангелие от Матфея, гл. 25, ст. 1—13).

С. 180. *Мало это походило на Тильзит или на заседание Венского конгресса.*— Тильзит (ныне Советск в Калининградской обл.) — город в Восточной Пруссии, где Александр I и Наполеон в 1807 г. заключили Тильзитский мир. Венский конгресс держав — победительниц Наполеона проходил с сентября 1814 по июнь 1815 г.

С. 181. *«Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим».*— Из Евангелия от Матфея, гл. 11, ст. 29.

С. 182. *...через грех взошедший на престол...*— Имеется в виду причастность Александра I к убийству своего отца императора Павла в 1801 г.

Известная легенда говорит, что он ушел в заволжские леса под именем старца Федора Кузьмича.— Имеется в виду опровергнутая историками версия о том, что Александр I не умер в 1825 г. в Таганроге, а бежал отсюда под именем крестьянина Федора Кузьмича.

С. 188. *Тут тебе, в куполе Нерукотворный Спас, там Андрей Первозванный...*— Нерукотворный Спас — икона с ликом Иисуса Христа Спасителя на полотне. По преданию, лик Христа запечатлелся на плате, которым Он отер свое лицо. Андрей Первозванный —

святой Апостол, которого Иисус одним из первых призвал следовать за ним. Апостол, как и Христос, принял мученическую смерть — был распят на кресте ок. 67 г. Память его празднуется 30 ноября (13 декабря).

С. 189. *Там на Соборе Арий взбунтовался.*— Имеется в виду Первый Вселенский собор в Никее (325), на котором александрийский пресвитер Арий (256—336) подверг критике один из основных догматов веры, утверждая, что второе лицо Святой Троицы, Христос, «ни в чем не подобен Отцу», он — Сын Божий «не по существу, а по благодати». Арий был осужден (в том числе архиепископом Мирликийским Николаем Чудотворцем) и отправлен в изгнание, но арианство пользовалось немалым влиянием еще около трех столетий.

С. 190. *...судьбу знатного человека из Патары...* — Патара — упоминающийся в Библии (Деяния святых апостолов, гл. 21, ст. 1) древний приморский город в малоазийской провинции Ликии.

С. 192. *...напоминает беклиновский Остров мертвых.*— «Остров мертвых» — аллегорическая картина швейцарского живописца Арнольда Бёклина (1827—1901).

С. 194. *...часовню Константина и Елены знаете?* — Часовня в честь римского императора Константина I Великого (ок. 285—337), ревнителя христианства, первым среди государей названного святым и равноапостольным (приравненным к апостолам). Святая равноапостольная Елена (244—327) — мать Константина Великого, много способствовавшая распространению христианства. В 325 г. совершила путешествие в Палестину. Здесь ею был найден гроб Иисуса Христа, над которым она построила церковь и воздвигла крест (отсюда берет начало празднование Воздвижения Креста 14 (27) сентября). Православные отмечают память Константина и Елены 21 мая (3 июня).

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Священник Кронид

Ежемесячный литературно-общественный журнал «Вопросы жизни». СПб., 1905. № 8. Печ. по изд.: З а й ц е в Б. Избранные рассказы. 1904—1927. Белград, 1929.

«Содержание? — писал об этом рассказе Георгий Адамович.— Но ведь у Зайцева содержание всегда неразрывно связано с тоном повествования, и даже в нем наполовину и заключено. Содержания я точно не помню, а помню нечто иное: фразы, обрывающиеся там, где ждешь их продолжения; краски, светящиеся, почти прозрачные, акварельные,

ни в коем случае не жирные, масляные; какой-то вздох, чудящийся во всем сказанном, что-то вполне земное, однако с оттенком «не от мира сего» (Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 191—192).

С. 199. *...насаждал «поповку», где теперь причт и жены мироносицы.*— Поповка — дом священника. Причт — священнослужители и церковнослужители в христианских храмах. Жены мироносицы — здесь в значении: женщины, прислуживающие в храме.

С. 203. *В день Егория...*— День памяти одного из самых популярных христианских святых — великомученика Георгия (Егория) Победоносца церковь отмечает 23 апреля (6 мая).

Церковь

Литературно-художественный альманах современных писателей «Поток». М.: Типолитографическое товарищество Вл. Чичерина, 1913. Печ. по этому изд.

Люди Божии

Рассказы этого цикла впервые опубликованы: «Домашний лар» — в альм. «Стремнины». М., 1916. Кн. I; «Республиканец Кимка» — в сб.: Зайцев Б. Путники. Рассказы 1916—1918 гг. Кн. 7. М.: Т-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919; «Сережа» — в журнале литературы и искусства «Москва». М.: Творчество, 1919. № 2. Печ. по сб.: Зайцев Б. Река времен. Нью-Йорк: Русская книга, 1968.

Алексей Божий человек

Ежемесячный общественно-политический и литературный журнал «Современные записки». Париж, 1925. Кн. 26. Печ. по изд.: Зайцев Б. Странное путешествие. Париж: Возрождение, 1927.

«Один из лучших зарубежных рассказов Зайцева,— сказал об «Алексее Божием человеке» Глеб Струве и далее пояснил: — ...Своим «приходом» к религии и к Церкви он (Зайцев.— *Ред.*) из всех крупных русских писателей своего времени всех ближе разделил общую пореволюционную судьбу когда-то религиозно-равнодушной интеллигенции, явился выразителем характерных для нее новых настроений... И показательно, что, в отличие от Бунина, эмигрантских вещей Зайцева в СССР не издавали. Сам Зайцев оказался стоек в своем антибольшевизме и не поддался никаким соблазнам советского псевдопатриотизма, перед которым не устояли многие другие» (Струве Г. Русская литература

в изгнании. Париж: YMCA-Press; М.: Русский путь, 1996. С. 80). А вот мнение о рассказе протоиерея В. В. Зеньковского: «Поистине тайна церковности не окончательно утратилась для искусства слова, если возможны такие вещи» (Зеньковский В. В. Религиозные темы в творчестве Б. К. Зайцева. К пятидесятилетию литературной деятельности // Вестник РСХД. Париж, 1952. № 1. С. 23).

С. 226. *Алексей* (Алексий) *Божий человек* — святой, сын знатного римлянина, прославившийся добродетелями и самоуничижительным смирением (ум. 411). Его память церковь отмечает 17 (30) марта. История жизни Алексия послужила сюжетом для многих духовных стихов и поэм. Древнейшее описание его жития с греческого списка вошло в славянскую редакцию — в Макарьевские Четьи-Минеи.

С. 227. *...наша Беотия или Коринф...*— Беотия — область в Средней Греции со столицей Фивы; Коринф — греческий город-порт на полуострове Пелопоннес.

Так сказано и в вашей, христианской книге...— Предсказание о том, что «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным» падет, содержится в библейском «Откровении святого Иоанна Богослова» (гл. 17—19).

...темным уличкам у театра Марцелла...— Театр Марцелла — второе по величине (после театра Помпея) каменное зрелищное сооружение арочного типа в древнем Риме, вмещавшее 14 000 зрителей. Его возведение начал Юлий Цезарь (102 или 100—44 до н. э.), а завершил Октавиан Август (63 до н. э.— 14 н. э.), дав ему имя своего племянника.

С. 229. *...рассуждали бы о Порфирии, Плотине, Ямвлихе...*— Порфирий (ок. 233 — между 301 и 305) и Ямвлих (сер. III в.— ок. 330) — древнегреческие философы-неоплатоники, ученики Плотина.

С. 231. *...зашагал мимо Тестаччио и пирамиды Цестия.*— Тестаччио — холм из битой посуды, сбрасывавшейся с Хлебного рынка в Риме. Пирамида Цестия —мавзолей с мраморными гранями, встроенный в городскую стену у римских ворот Сан Себастьяно.

С. 234. *А со всеми гностиками — я же нищий...*— Гностики — приверженцы гностицизма, религиозного дуалистического учения поздней античности, вобравшего в себя некоторые черты христианского вероучения, греческой философии и восточных религий. Гностики считали, что только их знание о Боге является истинным.

С. 235. *...основем новое государство... лучше, чем Платоново.*— Древнегреческий философ Платон (428 или 427 до н. э.— 348 или 347 н. э.) в диалогах «Государство», «Политика» и др. разработал учение об идеальном государстве, представляющем собой иерархию трех сословий: правители-мудрецы, воины и чиновники, крестьяне и ремесленники.

С. 235. *...тяжкие триремы... входили они в порт на веслах.*— Трирема (лат.— имеющий три ряда весел) — боевое гребное судно в Древнем Риме.

С. 242. *...сам папа Иннокентий.*— Иннокентий I — папа римский с 401 или 402 до 417 г.; искусный политик, он высоко поднял авторитет папской власти.

...тело возложили в раку и перенесли в церковь св. Бонифация-мученика...— Впоследствии, в 1216 г., над могилой Алексия, человека Божия, на Авентинском холме в Риме выстроена церковь, носящая его имя.

Легкое бремя

Еженедельный литературно-художественный журнал «Перезвоны». Рига, 1926. № 19. Печ. по изд.: Зайцев Б. К. Голубая звезда. Повести и рассказы. Из воспоминаний / Сост. А. Романенко. М.: Моск. рабочий, 1989.

Сердце Авраамия

Сб.: Зайцев Б. Странное путешествие (под названием «Богородица Умиление Сердец»). Печ. по изд.: Зайцев Б. Тихие зори. Мюнхен: Издательство Товарищества зарубежных писателей, 1961.

С. 246. *Авраамий был крестьянином земли Ростовской.*— Преподобный Авраамий Чухломский (Галицкий) — ученик и постриженник Сергия Радонежского. Удалившись из Троице-Сергиевой обители для «подвигов веры» в земли Галицкого княжества (нынешней Костромской обл.), он основал здесь несколько монастырей (см. об этом ниже).

С. 249. *...там основал монастырь Богородицы Умиления Сердец.*— Авраамиев Новоезерский монастырь Успения Пресвятой Богородицы основан Авраамием в 1350 г.

...опять заложил монастырь имени Пресвятой Девы.— Имеется в виду Обитель Положения Пояса Богородицы — Великая Авраамиева Пустынь в 30 км от монастыря Успения.

...построил еще монастырь, все во славу Пречистой.— Авраамий построил в окрестностях Чухломы еще два монастыря: Собора Богоматери (Верхняя Авраамиева Пустынь) и Покрова Пресвятой Богородицы у Чухломского озера, где он и окончил свои дни 20 июля 1375 г.

Правитель

Литературно-политический ежемесячник «Русская мысль». Париж, 1927. № 1 и в сб. «Странное путешествие» (печ. по этому изд.).

С. 251. *На Михайлов день...*— День памяти Михаила Архангела, вождя небесного воинства, отмечается церковью 8 (21) ноября.

Странник

Печ. по первому и единственному изд. в сб.: Зайцев Б. Странное путешествие.

С. 256. *Notre Dame не дала отдыха.*— Нотр-Дам — Собор Парижской Богоматери, знаменитая достопримечательность столицы Франции.

С. 257. *...жарятся на решетке св. Лаврентия.*— Святой мученик Лаврентий — архидиакон епископа Римского св. Сикста II; оба они в 258 г. стали жертвами гонений на христиан при императоре Валериане. Лаврентий был сожжен на железной решетке.

С. 259. *...как за скачущим Филиппом у Веласкеса.*— Имеется в виду картина великого живописца Веласкеса (1599—1660) «Изгнание морисков из Испании в 1609 году», в центре которой — король Филипп III на коне.

С. 262. *...на панихиде по Мерсье.*— Дезире Мерсье (1851—1926) — бельгийский кардинал, религиозный философ-неотомист и церковный деятель.

С. 263. *И с отвращением читая жизнь мою...*— Из стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...»; 1828).

...разные Ставрогины и Свидригайловы... Власы...— Герои романов Достоевского «Бесы» (Ставрогин) и «Преступление и наказание» (Свидригайлов). Павел Власов — главный персонаж романа М. Горького «Мать».

С. 264. *Линялый мизерабль...*— Мизерабль (фр. misérable) — жалкий, ничтожный человек.

С. 267. *Клод Лоррен* (1600—1682) — французский живописец-пейзажист.

...призрачная жизнь за стенами — Филемона и Бавкиды.— Филемон и Бавкида — в греч. мифологии супружеская чета, благочестивая и любящая; боги наделили их долголетием и дали возможность умереть в один день.

С. 269. *...либертэ, эгалитэ, фратернитэ...* (фр. liberté, égalité, fraternité) — Свобода, Равенство, Братство; лозунг Великой французской революции 1789—1794 гг.

Царь Давид

Литературно-политическое издание «Новый журнал». Нью-Йорк, 1945. № 11. Печ. по этому изд. Републикация в газете «Русская мысль».

Париж, 1961. 6, 11, 13 авг. № 1666—1668. В книгах житийная повесть не издавалась.

С. 271. *Царь Давид* (конец XI в.— ок. 950 до н. э.) — второй царь Иудеи (после гибели Саула), основатель Израильско-Иудейского государства. История его жизни и деяний подробно излагается в Ветхом Завете Библии — в Книгах Царств и Книгах Паралипоменон, которые Зайцев цитирует в повести.

Царствует же Саул.— Саул в XI в. царствовал в Иудее сорок лет и погиб от собственного меча после неудачной битвы с филистимлянами при Гелвус («Тогда Саул взял меч и пал на него»). История его жизни и царствования описана в Первой Книге Царств (гл. 9—31).

Пророк Самуил — знаменитейший из судей израильских и народный герой, живший в XI в. до н. э.; основатель «пророческих школ» — религиозно-нравственных просветительских братств. Самуил тайно нарек Давида царем Иудеи еще при жизни царствовавшего Саула, превратившегося в самоуправного деспота. О деяниях судьи-преобразователя рассказывается в Первой Книге Царств; ему приписывается авторство библейской Книги Судей.

С. 272. *А над всем этим Господь Саваоф.*— Саваоф (евр.: сила, воинство) — одно из библейских имен Бога как всемогущего владыки всех сил неба и земли.

С. 273. *Голиаф в это время хвастал и вызывал на бой.*— Голиаф — в ветхозаветном предании великан-филистимлянин из Гефа, поверженный в единоборстве Давидом (Первая Книга Царств, гл. 17). Во Второй Книге Царств (гл. 21, ст. 19) победитель Голиафа назван Елхананом.

Орлеанская Дева — Жанна д'Арк (ок. 1412—1431), народная героиня Франции. Возглавив борьбу французского народа против английских захватчиков, она освободила Орлеан от осады; в 1430 г. попала в плен и была сожжена на костре как еретичка, а в 1920 г. канонизирована католической церковью.

С. 276. *Начинается время Псалмов...*— Далее Зайцев обращается к тексту Псалтири из Ветхого Завета Библии — цитирует псалмы Давида.

С. 277. *...за тысячу лет до Нагорной проповеди возгласивший: «Кроткие наследуют землю».*— В 36-м псалме Давида говорится: «А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». В Нагорной проповеди (Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 5), в которой выражена проповедь Иисуса Христа о блаженствах, эта же мысль повторяется в такой форме: «Блаженны кроткие ибо они наследуют землю». Между этими вариантами заповеди действительно не менее тысячи лет, ибо псалмы Давида создавались в X веке до н. э. (т. е. за тысячу лет до рождества Христова и, следовательно, до его Нагорной проповеди).

С. 280. *Соломон прославил Суламифь.*— Суламифь (Суламита) и ее любовь воспеты Соломоном в библейской книге Песнь Песней — шедевре лирической поэзии.

С. 281. *Сион... в котором чрез тысячу лет Спаситель взошел на Голгофу.*— Сион — гора в Иерусалиме с крепостью. Отвоевав ее у иевсуев, Давид построил здесь город, ставший его столицей. Через тысячу лет здесь поселится Иисус Христос и отсюда взойдет на Голгофу, где будет распят на кресте.

С. 282. *Но Ковчега Завета в Иерусалиме еще нет.*— Ковчег завета (Ковчег откровения) — обитый золотом ящик, в котором хранились скрижали с Десятословием, общеизвестными десятью заповедями (на самом деле их больше десяти). Бог поведал о них на Синае пророку и вождю израильского народа Моисею. Эти заповеди в Библии (в Книгах Моисеевых) приводятся трижды: Исход, гл. 20 и 34; Второзаконие, гл. 5.

...все плачет Фалтиил по своей любви...— Фалтиил (Фалтий) — сын Лаиша из Галлима, которому Саул беззаконно отдал в жены свою дочь Мелхолу, до этого выданную им за Давида.

С. 284. *Пророк Нафан послан Им к Давиду...*— Пророк Нафан своей знаменитой притчей об отце (Вторая Книга Царств, гл. 12) обличал Давида в грехе прелюбодеяния (в совращении Вирсавии). Впоследствии он же содействует в назначении Соломона преемником Давида (Третья Книга Царств, гл. 1).

С. 285. *Вирсавия и убийство Урии...*— О военачальнике Давидовом Урии Хаттеянине и его жене Вирсавии повествуется в гл. 11 Второй Книги Царств, именуемой «Грех Давида». Влюбившийся в Вирсавию и согрешивший с нею Давид отправил Урия на верную гибель, после чего взял его вдову в жены. От их брака родилось пятеро сыновей, один из которых был знаменитый Соломон, сменивший отца на престоле и прославившийся мудростью (ему приписывается авторство вошедших в Библию великих книг: Притчи Соломоновы, Екклесиаст, Песнь песней).

«Яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною есть выну».— «Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною» — здесь и далее цитируется знаменитый 50-й псалом Давида — его покаянная молитва после обличения пророком Нафаном в преступлении, совершенном им: совращении Вирсавии и убийстве ее мужа Урия.

С. 286. *Из сыновей Давида выдавался Авессалом.*— Третий сын Давида Авессалом, красавец и честолюбец, стал братоубийцей: он приказал своим слугам расправиться с братом Аммоном за то, что тот обесчестил их сестру. Впоследствии он совершил неудачную попытку

сместить с престола отца. История жизни и бесславной гибели Авессалома изложсна во Второй Книге Царств, из которой Зайцевым приводятся цитаты и эпизоды.

С. 286. ...*Масличная гора, Елеонская, та самая.*— Через Масличную (Елеонскую) гору Давид бежал от восставшего против него сына Авессалома. А через тысячу лет на Елеон удалялся Иисус Христос, чтобы совершать ночные молитвы. С этой горы Иисус также совершил свой торжественный вход в Иерусалим, на Елеоне провел ночь перед предательством Иуды Искариотского и отсюда вознесся на небо.

С. 287. *Яростный облик тех же иудеев, что Пилату кричали: «Распни его!»* — Понтий Пилат — римский прокуратор (наместник), управлявший Иудеей в 26—36 гг. и приговоривший Иисуса Христа к распятию на кресте.

С. 291. *«Из глубины воззвах к Тебе»...*— См. в Библии: Псалтирь. Псалом 129. Песнь восхождения — начальная ее фраза.

С. 292. *Не напрасно изобразил его Микель-Анджело юношей.*— Имеется в виду скульптурный шедевр итальянского скульптора, архитектора, живописца и поэта Микеланджело Буонарроти (1475—1564) «Давид».

Вандейский эпилог

Сб.: Зайцев Б. В пути. Париж: Возрождение, 1951. Печ. по этому изд.

С. 294. *Это Вандея... Некогда здесь бушевала борьба.*— Вандея — западный департамент Франции, который был центром антиреволюционных (роялистских) восстаний в годы Великой французской революции 1789—1794 гг. В этих разорительных междоусобных войнах погибло около 150 тыс. вандейцев.

...*день св. Владимира.*— Владимир Святославович (?—1015) — великий князь Новгородский и Киевский, введший в 988—989 гг. христианство как государственную религию. Память святого равноапостольного Владимира отмечается в годовщину его смерти 15 (28) июля.

Разговор с Зинаидой

Новый журнал. 1958. № 55. Печ. по изд.: Зайцев Б. Река времен.

С. 296. ...*бегство Карла Смелого после битвы при Нанси.*— Карл Смелый (1433—1477) — герцог Бургундии; возглавив «Лигу общественного блага», поднял мятеж знати против французского короля и погиб в битве при Нанси.

С. 297. *Святым Георгием отмечена за это твоя грудь.*— Имеется в виду Георгиевский крест, военный орден святого Георгия, учрежденный в России в 1769 г. для награждения за боевые подвиги; имел четыре степени отличия.

С. 300. *По словам Апостола: «Поглощена смерть победою».*— Из Первого послания Апостола Павла к Коринфянам (гл. 15, ст. 54).

Река времен

Новый журнал. 1965, № 78. Печ. по изд.: Зайцев Б. Река времен.

«Эта повесть,— писал Юрий Терапиано, выразивший общее мнение критиков,— является не только высокохудожественным произведением, но в ней Борис Зайцев достигает высшей точки своей внутренней прозорливости в области христианской любви» (Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924—1974). Воспоминания, статьи. Париж; Нью-Йорк, 1987. С. 288). А Павел Грибановский обратил внимание на то, что «зайцевскому творчеству присущ аристотелевский катарсис» (это же утверждал еще в 1926 г. Ю. Айхенвальд). «Не всякому доступная,— пишет литературовед,— эта атмосфера вызывает у писателя известную душевно-духовную настроенность, которая сказывается в особой тональности его стиля, языка. (...) После «Валаама» она проступает особенно явственно,— все в той же тональности,— в тетралогии «Путешествие Глеба» (1937—1953), в новелле «Царь Давид» (1945), в книге о Чехове (1954). Особенно сильно ее проявление в очерках «Звезда над Булонью» (1958), и уже, действительно, светит она каким-то невидимо-немеркнущим светом в последнем рассказе «Река времен» (Грибановский П. Борис Зайцев о монастырях. См. в этом томе: Приложения).

С. 301. *Это русский монастырь имени великого святого...*— Имеется в виду Сергиево Подворье в Париже (см. в этом томе очерк «Сергиево Подворье»).

Архимандрит Андроник, монах ученейший, автор трудов по Патрологии.— Прототипом Андроника является архимандрит Киприан (в миру Константин Эдуардович Керн; 1899—1960; см. о нем очерк в т. 6 нашего изд.).

С. 302. *В прямоугольнике окна голова Микель-Анджелова Вседержителя.*— Микеланджело изобразил Иисуса Христа (Вседержителя) на фреске «Страшный Суд» (1536—1541) в Сикстинской капелле Ватикана.

У Константинополя — неизменно называет он его Византией...— Столица Византийской империи Константинополь построен в 324—330 гг. на месте древнего города Византий (с 1453 г.— Стамбул).

С. 303. *Леон Блуа* (1846—1917) — французский прозаик и критик, творчество которого пронизано религиозными идеями.

С. 304. *«Воспоминание невольно предо мной...»* — Из стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...»; 1828). У Пушкина: «Воспоминание безмолвно предо мной...»

«...Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь неба и земли славы Твоея!» — Из Литургии верных — возглас хора после благодарственной молитвы священника.

С. 305. *...в Сербии блаженной памяти митрополиту Антонию сослужили?* — Митрополит Антоний, в миру Алексей Павлович Храповицкий (см. о нем в примеч. к «Афону»). В 1921 г. Антоний по приглашению Сербского патриарха Димитрия поселился в Белграде, где был избран председателем Архиерейского Синода Русской православной церкви за границей.

С. 306. *Вино веселит сердце человека, по слову Псалмопевца.*— См.: Псалтирь, псалом Давида 103-й, ст. 15.

С. 307. *Кукша... Был, действительно, такой святой...*— Кукша (ум. 1113) — инок Киево-Печерского монастыря, проповедовавший христианство вятичам, жившим на Оке, где был убит.

Зосима и Савватий Соловецкие.— Преподобный Зосима (ум. 1478) — основатель и игумен Соловецкой обители с храмом Преображения Господня. Преподобный Савватий (ум. 1435) — первый насельник Соловецких островов, где в 1429 г. поставил келью и водрузил крест, ставшие основанием будущего Соловецкого монастыря.

С. 308. *«Посмотрите на лилии...» Как в Евангелии-то сказано?* — Евангелие от Матфея, гл. 6, ст. 28—29: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них...»

С. 314. *Григорий Нисский, томы Миня...*— Григорий Нисский (ок. 335— ок. 394) — писатель, богослов и философ, епископ г. Ниса в Малой Азии. Брат Василия Великого (ок. 330—379), выдающегося церковного деятеля, теолога и философа, автора «Шестиднева», в котором изложены принципы христианской космологии. Жак Поль Минь (1800—1875) — французский аббат, знаменитый издатель творений отцов церкви (в частности, 220 тт. «Patrologiae cursus completus» и др.).

...сияла альфа Капеллы.— Капелла — одна из самых ярких звезд Северного полушария, являющаяся альфой (первой) в созвездии Возничего.

С. 315. *Знаете, как Апостол сказал: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите».*— Из Первого послания Апостола Павла к Фессалоникийцам, гл. 5, ст. 16—18.

С. 319. *«Вот наступает час...»* — Из Евангелия от Иоанна, гл. 16, ст. 32—33.

С. 320. *«Отче! пришел час: прославь Сына Твоего...»* — Из Евангелия от Иоанна, гл. 17, ст. 1.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Слово о Родине

Возрождение. Париж, 1938. 24 июня. № 4137. Печ. по рукописи из парижского семейного архива Б. К. Зайцева, присланной составителю дочерью писателя Н. Б. Зайцевой-Соллогуб.

С. 325. *А царь Федор Иоаннович — музыкант и композитор знаменных распевов.*— Сочинителем духовных распевов, их исполнителем и стихотворцем был ученик Симеона Полоцкого, ставший в 1676 г. царем, Федор Алексеевич (1661—1682), а не Федор Иоаннович.

С. 327. *«О, ты, Родина! О, широкие твои сени...»* — Зайцев цитирует свою повесть «Аграфена».

Оптина Пустынь

Возрождение. 1929. 27 окт. № 1608. Печ. по этому изд.

С. 328. *...рассказывали...— об удивительном старце Амвросии.*— Об Амвросии см. примеч. к «Преподобному Сергию Радонежскому».

С. 329. *О. Леонид* (в миру Лев Данилович Наголкин; 1769—1841) — схимник Оптиной Пустыни, один из зачинателей старчества.

...просвещенный о. Макарий, любитель духовной литературы и музыки, издающий совместно с Иваном Киреевским писания о. Паисия Величковского...— Бывший афонский монах, ставший архимандритом Нямецкого монастыря в Молдавии, Паисий Величковский (1722—1794) прославился как усерднейший переводчик с греческого святоотеческих творений, составивших многотомную библиотеку. Среди них — тома «Добротолюбия», «Огласительные слова» Феодора Студита (1853), «Главы о любви» Фалалия (1855), сборник «Восторгнутые классы» (1849), в который вошли сочинения Иоанна Златоуста, Мелетия, патриарха Фотия др. В этих и других посмертных изданиях переводов Паисия участвовали философ, один из основателей славянофильства Иван Васильевич Киреевский (1806—1856) и его духовник, знаменитый оптинский иеросхимонах Макарий (в миру Михаил Николаевич Иванов; 1788—1860).

Подробнее см.— В этой сноске Зайцев называет издания: Протоиерей

С. И. Четвериков (1867—1947). Оптина Пустынь. Париж, 1926. О. В. Ш. (Протоиерей В. В. Шустин). Запись об о. Иоанне Кронштадтском и об оптинских старцах. Белая Церковь, 1927.

С. 330. *«Кана Галилейская»* — так в романе Достоевского «Братья Карамазовы» называется гл. 4 седьмой книги. Как повествуется в Евангелии от Иоанна, в Кане Галилейской Иисус превратил воду в вино и исцелил заочно сына царедворца Капернаумского.

Я слышал рассказ одного близкого мне человека из артистического мира, прожившего в Оптиной довольно долго...— Имеется в виду режиссер, драматург и критик Петр Михайлович Ярцев, с которым дружил Зайцев (см. о нем главу в мемуарах «Москва», т. 6 нашего собрания).

Иоанн Кронштадтский — см. в этом томе очерк «Иоанн Кронштадтский» и примеч. к нему.

Старец Варсонофий (в миру Павел Иванович Плеханков; 1845—1913) — иеросхимонах.

С. 331. *«Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы»...*— Из Евангелия от Матфея, гл. 11, ст. 28.

С. 332. *В новой татарщине нет места Оптиной.*— В 1920 г. оптинский монастырь был закрыт. Оптина Пустынь возвращена церкви в 1987 г.

Иоанн Кронштадтский

Возрождение. 1929. 13 окт. № 1594. Печ. по этому изд.

С. 333. *Иоанн Кронштадтский* (в миру Иван Ильич Сергеев; 1828—1908) — выдающийся церковный проповедник, духовный писатель, протоиерей и настоятель Андреевского собора в Кронштадте; еще при жизни славился как «народный святой», но канонизирован был только в 1990 г.

Вспоминаю это по поводу книжечки, изданной в Югославии...— Имеется в виду упомянутая в очерке «Оптина Пустынь» книга отца В. Ш.— протоиерея Василия Васильевича Шустина (1886—1968) «Запись об о. Иоанне Кронштадтском и об оптинских старцах». Белая Церковь, 1927.

Счастье

Возрождение. 1930. 15 июня. № 1839. Печ. по этому изд.

С. 339. *...в мистической книге «Добротолюбие» указал у Симеона Нового Богослова наставление о молитве Иисусовой.*— Преподобный Симеон Богослов (ум. 1032) — подвижник и писатель-богослов; автор

книг «Сто пятьдесят две деятельные и богословские главы» (вошли в «Добротолюбие»), «Слово о вере», «Слово о трех образах молитвы» и др.

С. 341. *...отмечает проф. Б. Вышеславцев...*— Борис Петрович Вышеславцев (1877—1954) — философ, специалист по этике, социологии, религии, истории философии; профессор Московского университета. В 1922 г. выслан из Москвы.

С. 342. *...вроде волка из Губбио, встретившегося св. Франциску.*— См.: Цветочки Франциска Ассизского. Гл. XXI. Как святой Франциск обратил к Богу свирепейшего губбийского волка. М., 1990. С. 67—71.

С. 343. *...Лукерью из «Живых мощей» да Касьяна с Красивой Мечи.*— Герои рассказов И. С. Тургенева из «Записок охотника».

Волк не побоится Линдберга. Рокфеллер не поверит счастью нищего.— Чарльз Линдберг (1902—1974) — американский летчик, первым совершивший в 1927 г. беспосадочный полет через Атлантический океан. Рокфеллеры — финансовая группа в США, основанная Дж. Д. Рокфеллером-старшим (1839—1937).

Глас Ватикана

Возрождение. 1931. 28 июня. № 2217. Печ. по этому изд.

С. 343. *...продала мне Энциклику Пия XI «Quadragesimo anno»...*— Энциклика Пия XI (1857—1939) «Сорок лет» (1931).

...к сорокалетию знаменитой Энциклики Льва XIII «De rerum novarum» — Энциклика папы Льва XIII (1819—1903) «Rerum novarum...» («О новых вещах...», начальные слова послания), осудившая социализм и провозгласившая извечность частной собственности, появилась в 1891 г.

С. 344. *...этот летейский строй.*— Летейский — от Леты, персонифицирующей в греческой мифологии забвение. Именем этой богини названа река в царстве мертвых — испив ее воду, души умерших забывают свою земную жизнь.

...станцы Рафаэля с «Disputa», «Афинской школой»...— Станцы Рафаэля (1483—1520) — цикл его росписей парадных залов Ватиканского дворца. Зайцев имеет в виду «Станца делла Сеньятура» (1509—1511), на фресках которой великий живописец представил четыре области человеческой деятельности: богословие («Диспут»), философию («Афинская школа»), поэзию («Парнас») и юриспруденцию («Мудрость, Мера, Сила»).

С. 345. *...где когда-то выпивали Расин с Буало...*— Жан Расин (1639—1699) — французский драматург и поэт. Никола Буало (1636—1711) — французский поэт и теоретик классицизма (автор знаменитого стихотворного трактата «Поэтическое искусство»).

С. 345. *...похожий на Ивана Новикова...*— Иван Алексеевич Новиков (1877—1959) — поэт, прозаик, драматург, эссеист; автор широко известных романов «Пушкин в Михайловском» (1936), «Пушкин на юге» (1944), «Пушкин в изгнании» (1947). Давний друг Зайцева; прототип героя его лучшей повести «Голубая звезда» (1918) и рассказа «Странное путешествие» Христофорова.

С. 346. *...подошел французский Георгий Чулков...*— Георгий Иванович Чулков (1879—1939) — поэт, прозаик, драматург, философ; автор трактата «О мистическом анархизме», вызвавшего острую полемику. Друг и сподвижник Зайцева до 1922 г.

С. 348. *...как наш священник (довоенных времен) Григорий Петров, отделятся от христианства.*— Григорий Спиридонович Петров (1867—1925) — священник, публицист и проповедник; автор труда «Евангелие как основа жизни» (1898), выдержавшего около 20 изданий. В его учении было много общего с нравственной проповедью отлученного от церкви Л. Н. Толстого, что создало о. Григорию репутацию «неблагонадежного священника», отделившегося от христианства.

История русской души

Возрождение. 1931. 28 нояб. № 2370. Печ. по этому изд.

С. 349. *...Г. П. Федотов в «Святых древней Руси»...*— Георгий Петрович Федотов (1886—1951) — историк, культуролог, публицист; автор многих трудов, среди которых один из лучших — «Святые древней Руси» (Париж, 1931; М., 1990, с предисловиями Д. С. Лихачева и о. Александра Меня).

...марка американского издательства — YMCA-Press.— ИМКА-Пресс — издательство, созданное на американские деньги и прославившееся выпуском русских книг за рубежом. Основано в Праге в 1921 г. Джоном Моттом (1865—1955), видным американским протестантским деятелем и председателем Христианского союза молодых людей (Yung Men Christian Association — YMCA). В 1923 г. издательство было переведено в Берлин, а в 1925-м — в Париж.

С. 352. *...свв. Доминик или Фома Аквинский.*— Доминик (в миру Доминик де Гусман; 1170—1221) — основатель ордена высокообразованных странствующих проповедников — доминиканцев (символом ордена стало изображение собаки, бегущей с зажженным факелом во рту). Фома (Тома) Аквинский (1225—1274) — итальянский философ и богослов, основатель томизма, примиряющего веру и знание

С. 353. *...предпочитаю Сергия Василию Блаженному, запустившему камнем в икону Богоматери...*— Зайцев упоминает одну из легенд о знаменитом московском юродивом Василии Блаженном (1469—1557),

прославившемся предсказаниями, а также высоким нравственным примером своей подвижнической жизни. Его чтил и побаивался сам Иван Грозный. Когда юродивый чудотворец умер, его погребение на кладбище Троицкой церкви совершали сам царь и митрополит Макарий. Здесь, у Спасских ворот Кремля, Иван Грозный повелел выстроить Покровский собор в память покорения Казани (храм Василия Блаженного).

С. 353. *О последнем, удивительном явлении русской святости — Преп. Серафиме....*— Серафим Саровский (в миру Прохор Сидорович Мошнин; 1759—1833) — один из самых почитаемых старцев и затворников Саровской Пустыни. Федотов в книге пишет о нем так: «В пустынь к старцу, в хибарку к блаженному течет народное горе в жажде чуда, преображающего убогую жизнь. В век просвещенного неверия творится легенда древних веков. Не только легенда: творится живое чудо. Поразительно богатство духовных даров, излучаемых св. Серафимом. К нему уже находит путь не одна темная сермяжная Русь. Преподобный Серафим распечатал синодальную печать, положенную на русскую святость, и один взошел на икону среди святителей из числа новейших подвижников. Но наше поколение чтит в нем величайшего из святых Древней и Новой Руси» (Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 238).

День русской культуры

Возрождение. 1932. 16 июня. № 2567. Печ. по этому изд.

С. 355. *...Россия, над которой... прозвучал голос Апостола Андрея Первозванного...*— По русским летописям, Андрей Первозванный (см. о нем в примеч. к «Валааму») проповедовал христианство на территории будущей Руси, в Киеве он водрузил крест и дошел до Новгорода и Валаама. В России и Шотландии считается покровителем страны. По преданию, был распят в Греции на косом (в форме «Х») кресте, который стал знаком ордена Андрея Первозванного и военно-морского Андреевского флага.

С.-Жермер де Фли

Возрождение. 1932. 28 авг., 11 сент. № 2644, 2658. Печ. по этому изд.

С 357. *Гермер жил в седьмом веке, при Меровингах.*— Меровинги — первая королевская династия во Франкском государстве, правившая с конца V века до 751 г.

С. 359. *...читавшие с ними «Фигаро».*— «Фигаро» («Le Figaro») — старейшая французская ежедневная газета, выходящая в Париже с 1826 г.

С. 361. *...закрыта во время гонений на религию при Комбе (в начале нынешнего века).*— Луи Эмиль Комб (1835—?) — французский политический деятель; будучи с 1902 по 1905 г. министром-президентом, подготовил закон об отделении церкви от государства.

Около св. Серафима

Возрождение. 1933. 25 янв. № 2794. Печ. по этому изд.

С. 366. *...писатель В. Ладыженский...*— Владимир Николаевич Ладыженский (1859—1932) — прозаик, поэт, общественный деятель. С 1919 г. в эмиграции. Его памяти Зайцев посвятил очерк «Старый барин», напечатанный 30 января 1932 г. в парижской газете «Возрождение».

Нами владели Бёклины, Боттичелли...— Арнольд Бёклин (1827—1901) — швейцарский живописец-пейзажист. Сандро Боттичелли (1445—1510) — итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения.

С. 367. *Это не «Пир» Платона, с вином и юношами.*— Знаменитый диалог древнегреческого философа Платона (428 или 427—348 или 347 до н. э.) «Пир. Аполлодор и его друг» является рассказом о пире, устроенном учениками философа Сократа по случаю победы поэта-трагика Агафона в афинском театре. Славившийся изяществом и женской красотой, Агафон здесь декламировал и пел в женском наряде. Платоновский «Пир» славит высшее благо, заключающееся в идее небесной, возвышенной любви.

С. 369. *«Ибо Господь сказал: царство Божие внутри вас есть».*— Евангелие от Луки, гл. 17, ст. 21: «Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть», то есть между вами, в вашем кругу.

...читать «Моск. Ведомости» трудновато было: уж очень отзывало участком.— «Московские ведомости» (1756—1917) — старейшая (после «СПб. ведомостей») официозная газета в России. В 1863 г., когда редакцию возглавил известный публицист М. Н. Катков (1818—1887), издание стало органом реакционеров, а после 1905 г.— монархической партии.

Митрополит Евлогий

Русская мысль. 1948. 27 февр. № 46. Печ. по изд.: Зайцев Б. Дни. Париж: YMCA-Press; М.: Русский путь, 1995 (с исправлениями автора в гранках, не учтенными газетой). Первый очерк Зайцева «Митрополит Евлогий» был опубликован в год шестидесятилетия со дня рождения владыки (Возрождение. 1928. 22 янв. № 964) и в разгар второго, после 1921 г. (см. об этом ниже), раскола в русской зарубежной церкви, когда Евлогию «временно» пытались запретить совершать богослужения.

С. 370. *Митрополит Евлогий* (в миру Василий Семенович Георгиевский; 1868—1946) — выдающийся церковный деятель русской эмиграции, глава русской епархии в Париже, назначенный в 1922 г. патриархом Тихоном. Один из основателей Русского Богословского института в Париже (Сергиевской Духовной академии), объединивший вокруг церкви таких выдающихся деятелей русского религиозного возрождения, как С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, Н. О. Лосский, Г. П. Федотов, А. В. Карташёв, Г. В. Флоровский, В. В. Зеньковский, П. Б. Струве и др.

С. 371. *...огромный труд о нем — записи Т. И. Манухиной по рассказам владыки...*— Татьяна Ивановна Манухина, урожд. Крундышева (1886—1962) — журналист, прозаик, критик, мемуаристка; печаталась под псевдонимом Т. Таманин. Автор книги «Путь моей жизни. Воспоминания митрополита Евлогия, изложенные по его рассказам Т. Манухиной». Париж: YMCA-Press, 1947 (678 с.).

С. 372 *(Т. И. Манухину называл «писец Иеремии»).*— Иеремия — знаменитый библейский пророк. Посаженный в тюрьму при «нечестивом» царе Иоакиме, продиктовал в 603 г. до н. э. проповеднические речи своему ученику и сподвижнику Варуху. Автор «Книги пророка Иеремии», «Плача Иеремии» и «Послания Иеремии», вошедших в Ветхий Завет Библии.

С. 373. *...начались смуты и борьба. Сперва с Карловцами, потом с Москвой...*— Имеется в виду так называемый Карловацкий раскол, разделивший русскую церковь за границей, а затем отделивший ее от церкви патриаршей в России (в Сремских Карловцах, в Сербии, в 1921 г. были основаны Архиерейский Собор и Синод Русской Соборной зарубежной церкви). Раскол усилился после публикации в Москве в 1927 г. послания (Декларации) к пастырям и пастве митрополита Сергия (в миру Ивана Николаевича Страгородского; 1867—1944), в котором заявлена позиция лояльного отношения церкви к большевистскому правительству (уже начавшему палаческие репрессии против духовенства).

Россия

Русская мысль. 1949. 25 марта. № 122. Печ. по этому изд.

С. 376. *«Грани»* — журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли, основан Е. Р. Романовым в 1946 г. в Мюнхене (ФРГ). С 1991 г. печатается в Москве.

Выдвинулись и некоторые молодые писатели (Максимов, Елагин).— Владимир Емельянович Максимов (1932—1995) — прозаик, публицист, драматург, поэт, переводчик; оказавшись в эмиграции, возглавлял в Мюнхене в 1974—1992 гг. литературный, общественно-политический

и религиозный журнал «Континент», который с 1992 г. печатается в Москве под редакцией И. И. Виноградова. Иван Елагин (наст. имя Иван Венедиктович Матвеев; 1918—1987) — поэт, переводчик, литературовед; в эмиграции с 1943 г.

Русская слава

Русская мысль. 1949. 24 июня. № 148. Печ. по этому изд.

Чужбина

Русская мысль. 1956. 12 янв. № 846. Печ. по этому изд.

С. 381. *Тридцать лет назад... появился Париж.*— Зайцев с семьей в Париже поселился в начале 1924 г.

...мистицизмом в стиле Товянского.— Анджей Товянский (1799—1878) — знаменитый польский мистик, «чудесно» исцеливший в Париже жену Адама Мицкевича и объявивший себя новым мессией.

С. 382. *...вынесли из горевшей Трои наши святыни...*— Троя (Илион) — древний город в Малой Азии, в котором развернулось главное событие греческой мифологии — Троянская война (о ней повествуется в «Илиаде» Гомера и «Энеиде» Вергилия).

...завещано нам то же, что уже две тысячи лет назад сказано на берегах Тивериадского озера.— Об этом эпизоде из жизни Иисуса Христа рассказывают евангелисты Матфей, Марк, Иоанн и Лука. На берегах Галилейского моря (озера вблизи г. Тивериада) Иисус совершил чудо насыщения 5000 человек пятью хлебами, после чего обратился к народу с проповедью веры: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни: отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет» (Евангелие от Иоанна, гл. 6).

...отдаление от маммоны, рука милостивого Самарянина...— В Новом Завете маммоной именуется злой дух, покровительствующий богатству. Милостивый (добрый) Самарянин — так нарицательно говорится о людях бескорыстных и благодетельных (см. в Библии притчу Иисуса Христа о милосердном Самарянине. Евангелие от Луки, гл. 10, ст. 30—37).

Кана Галилейская

Русская мысль. 1956. 11 февр. № 859. Печ. по этому изд.

С. 383. *Кана Галилейская* — город в Галилее, в котором Христос совершил свое первое чудо: превратил воду в вино.

С. 383. *...бунтарство, приведшее к каторге...*— Трагический эпизод из жизни Ф. М. Достоевского: за чтение письма Белинского к Гоголю в литературно-философском кружке М. В. Буташевича-Петрашевского писатель был приговорен к смертной казни, замененной каторгой и ссылкой в Сибирь, где он провел десять лет.

...сверхчеловеческий вызов Раскольникова...— Имеется в виду убийство, совершенное Раскольниковым (роман «Преступление и наказание»). «В его образе,— поясняет Достоевский,— выражается в романе мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу. Его идея: взять во власть это общество» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972—1988. Т. 7. С. 155).

...тьма пола у Свидригайлова...— Похотливый, развратный циник Свидригайлов — персонаж романа «Преступление и наказание».

...человеческий опыт Кириллова... — В романе «Бесы» Кириллов — фанатичный проповедник философии человекобожества, пришедший к теории самоубийства. «Жизнь дается теперь за боль и страх, и тут обман,— рассуждает он.— Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек. Кто победит боль и страх, тот сам бог будет».

Достоевский и Оптина Пустынь

«Русская мысль». 1956. 21, 24 апр. № 889, 890. Печ. по этому изд.

С. 385. *Московский митрополит Платон* (в миру Петр Георгиевич Левшин; 1737—1812) — выдающийся церковный деятель и проповедник, философ, богослов, историк. Автор многих трудов (собрание его «Поучительных слов» вышло в начале XIX в. в 20 т.)...

...сын... Дуни Юшковой (в замужестве Киреевской)...— Авдотья Петровна Киреевская, урожденная Юшкова, во втором браке Елагина (1789—1878) — мать знаменитых славянофилов, братьев Ивана и Петра Киреевских (об И. В. Киреевском см. примеч. к очерку «Оптина Пустынь»).

С. 387. *В его апрельском «Письме к московским студентам» сквозит тема романа.*— Имеется в виду письмо Ф. М. Достоевского от 18 апреля 1878 г. студентам Московского университета. В нем он размышляет о необходимости поиска «правой дороги». В романе «Братья Карамазовы», работу над которым писатель только что начал, этим же озабочен Алеша Карамазов.

Так записала Анна Григорьевна.— Анна Григорьевна Достоевская, урожд. Сниткина (1846—1918) — жена Ф. М. Достоевского, автор книги «Воспоминания» (1925, 1981), которую Зайцев далее цитирует в очерке.

С. 389. *...Это древняя «Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет»...*— Достоевский неточно цитирует Книгу пророка Иеремии (гл. 31, ст. 15) и Евангелие от Матфея (гл. 2, ст. 18): «Глас в Раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».

С. 391. *Ему бы все подсушить, «подморозить».*— Отстаивая самобытность исторического пути развития России, К. Н. Леонтьев убеждал современников в том, что «надо подморозить хоть немного Россию, чтобы она не гнила» (Леонтьев К. Н. Передовые статьи Варшавского дневника 1880 года // Собр. соч. М., 1912. Т. 7. С. 124). Великий мыслитель страстно обличал (в скобках заметим: за полвека до большевистского переворота 1917 года), провидчески предостерегал и отвергал социалистический, уравнительский прогресс, усредняющий, обезличивающий человека. «О, ненавистное равенство! — восклицал он.— О, подлое своеобразие! О, треклятый прогресс! О, тучная, усыренная кровью, но живописная гора всемирной истории! С конца прошлого века ты мучаешься новыми родами. И из страдальческих недр твоих выползает мышь! Рождается самодовольная карикатура на прежних людей; *средний рациональный европеец,* в своей смешной одежде, *неизобразимой* даже в идеальном зеркале искусства; с умом мелким и самообольщенным, со своей ползучей по праху земному практической благонамеренностью! Нет! Никогда еще в истории до нашего времени не видал никто такого уродливого сочетания умственной гордости перед Богом и нравственного смирения перед идеалом однородного, серого рабочего, *только рабочего* и *безбожно-бесстрастного* всечеловечества! Возможно ли любить *такое человечество*?! Не следует ли ненавидеть не самих людей, заблудших и глупых, а такое *будущее* их всеми силами даже и христианской души?! Следует! Следует! Трижды следует!» (Там же. Плоды национальных движений на православном Востоке. Т. 6. С. 268—269).

С. 392. *«И не доставшу вину, глагола Мати Иисусова к Нему: вина не имут...»* — Евангелие от Иоанна, гл. 2, ст. 3: «И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему: вина нет у них».

...это Кана Галилейская, первое чудо...— Иисус Христос в Кане совершил первое чудо: на празднестве бракосочетания в знакомом семействе он превратил воду в вино.

С. 393. *Странник и изгнанник... с рукописью «Божественной Комедии» в мешке за спиной.*— В очерке о Данте Зайцев рассказывает: «Быть может, если бы с 15 июня по 15 августа 1300 г. не состоял Данте приором (один из шести высших магистров республики), если бы в апреле 1301 г. не был ему поручен надзор за городскими постройками, и 14 числа не высказался он в Совете Ста против папы

Бонифация VIII, то иначе повернулась бы его жизнь; может быть, его не выгнали бы из Флоренции, не бродил бы он по Италии нищим поэтом и философом, учителем поэзии и высокомерным приживальщиком. Но тогда, возможно, иной была бы и «Божественная Комедия» — мы не знаем, какой именно. Ибо слишком много гнева, тоски, скорбных раздумий дало ему как раз изгнание» (Зайцев Б. Данте и его поэма. М.: Вега, 1922. С. 19). Свой изгнаннический шедевр о странствиях человеческой души по Аду, Чистилищу и Раю Данте создавал между 1314—1321 гг.

Знак Креста

Русская мысль. 1958. 25 янв., 1 февр. № 1165, 1168. Печ. по этому изд.

С. 394. *...образ св. Татианы.*— Дочь знатного римлянина, диаконисса Татиана стала жертвой преследования христиан при малолетнем императоре Александре Севере (208—235): после жестоких пыток она была заколота мечом около 222 г. Ее память церковь отмечает 12 (25) января.

С. 395. *...просто Татьяна в жизни, явившаяся в мир в конце прошлого века.*— Зайцев рассказывает здесь о своей сестре Татьяне Константиновне Зайцевой, в замужестве Буйневич (1875—1936).

С. 396. *...Преображение — Таня очень любила этот праздник.*— День Преображения Господня (яблочный Спас) празднуется 6 (19) августа, когда в садах начинается уборка яблок. Установлен в честь Преображения Иисуса Христа во время моления Его с учениками. «И когда молился,— рассказывается в Евангелии от Луки,— вид лица Его изменился, и одежда сделалась белою, блистающею» (гл. 9, ст. 29); «И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте» (там же, ст. 35).

С. 397. *Его мать звали Татьяной...*— Мать писателя — Татьяна Васильевна Зайцева, урожденная Рыбалкина (1844—1927).

С. 399. *«Принеси жертвы великой Артемиде».*— Артемида — в греческой мифологии языческая богиня охоты, требовавшая жертвоприношений не только животных, но и человеческих.

С. 400. *...Спаситель тосковал в Гефсиманском саду...*— В Гефсиманском саду у подножия горы Елеон Иисус Христос уединился после Тайной Вечери, накануне дня своей смерти, испытывая томительную душевную муку.

С. 401. *...Иоанн III взял Софию Палеолог, греческую царевну, стала она русской царицей.*— Софья (Зоя) Палеолог (?—1503) — племянница последнего императора Византии Константина XI, ставшая в 1472 г. женой великого князя московского Ивана III (1440—1505).

С. 401. *Позже «царевна София» петровских времен...*— Софья Алексеевна (1657—1704) — русская царевна, правившая Русским государством в 1682—1689 гг. при своих малолетних братьях — царях Иване V и Петре I; была свергнута Петром и заключена в Новодевичий монастырь.

Жила в Никомедии... Ее муж Адриан, «преторoccupational»... — Тайно исповедовавшая христианство Наталия (ум. 304) — жена претора высшей римской магистратуры Адриана, который также принял христианство и был казнен в Никомидии императором Максимианом. Наталия перевезла мощи мученика Адриана в Византию.

Видение на пути в Дамаск известно, трехдневное ослепление Апостола блеском Христа...— Явление Христа Савлу (будущему Апостолу Павлу) на пути в Дамаск описано в Новом Завете Библии (Деяния святых Апостолов, гл. 9).

Судьба Тургенева

Русская мысль. 1958. 13 сент. № 1264. Печ. по этому изд.

С. 403. *«Воспоминания», предсмертное его писание о детстве...*— «Воспоминания» Л. Н. Толстой начал писать в 1903 г., а в 1906 г. работу над ними прервал.

С. 404. *Леонтьев просто восторгался красотой и барственностью его.*— «Росту он был почти огромного, широкоплечий,— вспоминал Леонтьев первую встречу с Тургеневым,— глаза глубокие, задумчивые, темно-серые; волосы у него были тогда темные, густые, как помнится, несколько курчавые, с небольшой проседью; улыбка обворожительная, профиль немного груб и резок, но резок барски и прекрасно. Руки *как следует* красивые, «des mains soignees», большие, мужские руки. Ему было тогда с небольшим 30 лет. Одет на нем был темно-малиновый шелковый шлафрок и белье прекрасное. Если бы он и дурно меня принял, то я бы за такую внешность полюбил бы его. Я ужасно был рад, что он гораздо *героичнее* своих героев» (Леонтьев К. Страницы воспоминаний. СПб.: Парфенон, 1922. С. 20—21).

(Колдовская загробная сила любви в «Кларе Милич»).— «Клара Милич (После смерти)» — трагическая повесть о любви, написанная Тургеневым в 1883 г., незадолго до смерти.

«Живые мощи» и Лиза Калитина...— «Живые мощи» — рассказ Тургенева, вошедший в 1874 г. в его «Записки охотника». Лиза Калитина — героиня романа «Дворянское гнездо».

С. 405. *Вопрос праведного Иова Богу: «За что?»* — Из ветхозаветной учительной Книги Иова, гл. 10, ст. 2: «Скажу Богу: не обвиняй меня; объяви мне, за что Ты со мной борешься?»

Тетушка Ёргольская и Толстой

Русская мысль. 1958. 25 окт. № 1282. Печ. по этому изд.

С. 406. *Тетушка Ергольская...*— Татьяна Александровна Ергольская (1792—1874) — троюродная тетка Л. Н. Толстого и его воспитательница.

...писал Чехов Сергеенке...— Петр Алексеевич Сергеенко (1854—1930) — литератор, близкий знакомый Л. Н. Толстого и А. П. Чехова; автор книги «Как живет и работает Л. Н. Толстой» (1898).

«Испытываю муки ада...» — Здесь и ниже цитаты из «Воспоминаний» Л. Н. Толстого (Собр. соч.: В 22 т. М., 1985. Т. 14. С. 378—435).

Вечная книга

Русская мысль. 1959. 13 июня. № 1381. Печ. по этому изд.

С. 410. *Перевод епископа Кассиана в сотрудничестве с комиссией из нескольких лиц (проф. Карташев... и др.)...*— Кассиан — в миру Сергей Сергеевич Безобразов (см. о нем очерк и примеч. к нему). Антон Владимирович Карташев (1875—1960) — епископ, богослов, историк церкви; в 1917 г.— обер-прокурор Синода. С января 1919 г. в эмиграции. Автор многих трудов, в том числе двухтомных «Очерков по истории Русской Церкви» (Париж, 1959).

Перевод времен митроп. Филарета был хорош...— Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов; 1782—1867) — митрополит Московский; инициатор перевода Библии, осуществленного в 1858—1868 гг. вопреки запрету Синода.

С. 413. *Читая теперь вслух главу за главою больному человеку...*— Зайцев имеет в виду свою жену Веру Алексеевну, которая последние почти восемь лет жизни была прикована к постели параличом. Чтение вслух больной любимой жене — одна из каждодневных обязанностей, которую на годы самопожертвенно возложил на себя писатель.

Дни (Епископ Кассиан)

Русская мысль. 1965. 18 марта. № 2283. Печ. по этому изд.

С. 413. *...худенький, черноволосый С. Безобразов...*— Сергей Сергеевич Безобразов (в монашестве Кассиан; 1892—1965) — церковный деятель и историк религии; с 1917 г. приват-доцент Петроградского университета. С 1922 г. в эмиграции. Участник первых съездов Русского студенческого христианского движения. С 1926 г.— профессор, с 1947 г.— ректор Сергиевского Богословского института в Париже и епископ Катанский. В начале 1950-х гг. выполнил новый перевод Нового Завета.

Памяти о. Георгия Спасского

Сб. «О. Георгий Спасский. 1877—1934». Париж: Издание Комитета по увековечению памяти о. Георгия Спасского, 1938; а также: Русская мысль. 1965. 25 дек. № 2404 (под рубрикой «Дни»). Печ. по этому изд.

С. 416. *...день св. Спиридона Тримифунтского...*— Святой Спиридон (ум. 348) — уроженец Кипра, епископ г. Тримифунт.

Через четыре года после его смерти вышла книга «О. Георгий Спасский. 1877—1934». Париж, 1938. В мемуарном сборнике Зайцев опубликовал два очерка о священнике, который был духовником его семьи.

Сергиево Подворье

Русская мысль. 1967. 18 марта. № 2596.

С. 419. *...крупные научные силы. О. Сергий Булгаков, А. В. Карташев, проф. В. Зеньковский, Г. П. Федотов, Л. А. Зандер...*— Сергей Николаевич Булгаков (1871—1944) — философ, экономист; с 1906 г. профессор Московского университета. В июне 1918 г. принял священнический сан. В декабре 1922 г. выслан из России. С 1925 г. и до конца дней — профессор догматики и декан Русского Богословского православного института в Париже. А. В. Карташев — см. примеч. к очерку «Вечная книга». Василий Васильевич Зеньковский (1881—1962) — религиозный философ, историк философии, психолог, церковно-общественный деятель. В эмиграции с января 1920 г. В 1924 г. избран председателем (и пожизненно им оставался) Русского студенческого христианского движения. С 1927 г. профессор Богословского института в Париже. В 1942 г. принял священство. Автор трудов: «История русской философии» (в 2 т.), «Основы христианской философии» (в 2 т.) и др., а также статьи «Религиозные темы в творчестве Бориса Зайцева». Г. П. Федотов — см. примеч. к очерку «История русской души». Лев Александрович Зандер — философ и церковный деятель, один из основателей Русского студенческого христианского движения (РСХД).

...Бердяев... редактировал религиозно-философский журнал «Путь».— Журнал «Путь» издавался в Париже с сентября 1925 по март 1940 г. под редакцией философа и публициста Николая Александровича Бердяева (1874—1948). Бердяев в августе 1922 г. был арестован и выслан из России. Автор острополемических трудов: «Крушение кумиров» (1924), «Философия свободного духа» (1927), «Судьба человека в современном мире» (1934), «Истоки и смысл русского

коммунизма» (1937), «Непостижимое» (1939), «Русская идея» (1934), «Самопознание» (1990), «Духовные основы общества» (1992) и др.

С. 419. *Франк Семен Людвигович* (1877—1950) — религиозный философ и психолог; соавтор известных сборников «Проблемы идеализма» (1902) и «Вехи» (1909).

Шестов Лев (наст. имя Лев Исаакович Шварцман; 1866—1938) — философ, литературовед, критик. С января 1920 г. в эмиграции.

С. 420. *Иоанн (Шаховской) архиеп. Сан-Францисский и Западной Америки* — Дмитрий Алексеевич Шаховской (в священстве Иоанн; 1902—1989) — видный церковный и общественный деятель, духовный писатель, поэт (печатался под псевдонимом Странник). В эмиграции с 1920 г. Монашеский постриг принял на Афоне в 1926 г. В Приложениях публикуется его переписка с семьей Зайцева.

Афон

Русская мысль. 1969. 9 янв. № 2720. Печ. по этому изд.

С. 424. *Отвечает великими словами: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!»* — Из Евангелия от Луки, гл. 2, ст. 14.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Из переписки с архиепископом Иоанном

Русский альманах. Париж: изд. З. Шаховской, Р. Герра, Е. Терновского, 1981. Печ. по этому изд.

С. 429. *Б. К.*— Борис Константинович Зайцев.

С. 430. *...помогите Жуковскому сказать свое бодрое и мягкое слово людям нашего времени.*— Слова ободрения Зайцеву, работавшему в это время над романом-биографией о В. А. Жуковском (публикация в «Новом журнале» началась в 1947 г., а книга вышла в 1951 г.).

А с Буниными, к сожалению, все оборвалось.— См. об этом в предисловии к т. 2 нашего собрания.

С. 431. *...от Струве, мы с сыном П. Б., доктором, заехали; и — посидел я последний раз с Иваном Алексеевичем...*— Из пятерых сыновей П. Б. (Петра Бернгардовича) Струве (1879—1944) — Глеба (1898—1985), Алексея (1899—1976), Льва (1902—1929), Константина (иеромонаха) и Аркадия о. Иоанн мог навестить И. А. Бунина, предположительно,

с Алексеем Петровичем, который многие годы «оставался единственным из всей семьи Струве парижским посредником в ее отношениях с Буниным» (Колеров М. А. Русские писатели и «Русская мысль» // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 19. М.; СПб., 1996. С. 242).

С. 432. *...что В. А. крепче.*— Речь идет о жене Зайцева Вере Алексеевне.

В. Смоленскому, прекрасному поэту...— Владимир Алексеевич Смоленский (1901—1962) — один из крупных поэтов русского зарубежья. Участник Белого движения в годы гражданской войны в России; эмигрировал в 1920 г.

Как хорошо Вы написали об о. Киприане.— Очерк Зайцева «Архимандрит Киприан», вошедший в его мемуарную книгу «Далекое» (см. т. 6 нашего собрания), архиепископ Иоанн прочитал в газете «Русская мысль» 5 марта 1960 г.

С. 433. *«Р. М.»* — еженедельная (с 1968 г.) газета «Русская мысль»; основана в 1947 г. как орган русских секций французской конфедерации дружинников-христиан. В этой газете Зайцев опубликовал около двухсот произведений.

Перестали, оказывается, глушить там «Г. А.» — «Г. А.» — радиостанция «Голос Америки».

Лозинский у меня есть.— Имеется в виду «Божественная Комедия» Данте в переводе Михаила Леонидовича Лозинского (1886—1955).

С. 434. *...какова была Ваша встреча с Паустовским...*— О встрече с Константином Георгиевичем Паустовским Зайцев рассказал в некрологной заметке «Паустовский» (с фотографией «К. Г. Паустовский в гостях у Б. К. Зайцева»), опубликованной 25 июля 1968 г. в «Русской мысли». «В 1962 г. он был в Париже,— вспоминает Зайцев.— Общие знакомые привезли его ко мне, мы сидели вечером в небольшой моей квартирке, под иконами моей жены мирно беседовали — и то же впечатление, что от писаний; сдержанный и умный, и глубокий человек. Никаких острых тем не трогали. Да если бы и тронули, вряд ли особая разница оказалась бы во взглядах. Расстались дружественно, обменялись книгами с автографами соответственными. Два года назад дочь моя с мужем, в странствии по России, была у него в Москве, нашла сильно ослабевшим и полубольным. Не знаю, писал ли он уже что-нибудь. Но что заступался за преследуемых молодых писателей, знаю. И это снова располагает к нему. А вот третьего дня вычитал, что он скончался. Если б мог, послал бы в Москву венок на могилу. Мир праху. Мир праху достойного, настоящего писателя».

Е. по-видимому... был затронут книжечкой «Странника»...— Е.— поэт Евгений Александрович Евтушенко. В 1960—1970-е годы Странник

(Шаховской) издал семь поэтических сборников, среди них — «Странствия. Лирический дневник», о котором в письме идет речь.

С. 434. *...еще не изданную поэму Максим. Волошина: «Святой Серафим» (написан им в 1919 г.).*— Поэму «Святой Серафим» Максимилиан Александрович Волошин (1877—1932) завершил 1 апреля 1929 г. «во время травли и процессов» (Купченко В. Странствие Максимилиана Волошина. СПб., 1997. С. 452—453).

С. 435. *...сказал английскому Оболенскому...*— Дмитрий Дмитриевич Оболенский — профессор Оксфордского университета.

Зинаида Алекс.— Зинаида Алексеевна Шаховская (род. 1906) — поэт, прозаик, критик, журналист. В эмиграции с 1920 г. Сестра архиепископа Иоанна. В 1968—1978 гг.—главный редактор газеты «Русская мысль». Автор мемуарных книг «Таков мой век» («Tel est mon siecle». В 4 т. на фр. яз.) и «Отражения» (с очерком о Зайцеве; Париж, 1975; М., 1991).

С. 436. *...зашел давний друг наш итальянский, римский проф. Легатто...*— Этторе Ло Гатто (1890—1983) — итальянский литературовед-славист, искусствовед, переводчик; автор семитомной «Истории русской литературы» (1927—1945) и двухтомной «Истории русской современной литературы» (1958), трехтомного труда «Итальянские мастера в России» (1827—1943), мемуаров «Мои встречи с Россией» (с главой о Зайцеве; 1978; русский перевод 1992) и др.

С. 437. *«Книгу свидетельств» читаю медленно...*— Епископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Книга свидетельств. Нью-Йорк, 1965. Главы из «Книги свидетельств» вошли также в его «Избранное» (Петрозаводск: Святой остров, 1992).

Федор Августович Степун (1884—1965) — философ, социолог, литературовед, историк, прозаик, критик, общественный деятель; автор двухтомных мемуаров «Бывшее и несбывшееся» (Лондон, 1990).

С. 439. *«Н. Р. Сл.»* — нью-йоркская ежедневная газета «Новое русское слово», издающаяся с 1920 г. (с 1910 до 1920 г. «Русское слово»).

...мой перевод (и покойной Веры) книги «Ватек»...— «Запретный» с 1922 г. Зайцев неожиданно и для него самого, и для советской литературной общественности был представлен переводом «арабской сказки» Уильяма Бекфорда «Ватек» в томе «Фантастические повести», изданном в академической серии «Литературные памятники» (Л.: Наука, 1967). Тогда же распространилась версия, что причастные к изданию перевода крамольного эмигранта были наказаны. «Виновник» же опубликовал 20 апреля 1968 г. в «Русской мысли» дневниковую заметку «Pro domo sua. Из давнего», в которой вспоминал:

«Однажды, больше полувека назад, в Москве, зашел ко мне «Патя» — так звали мы Павла Муратова, друга нашего — и говорит:

— Вот, Боря, замечательная книга «Ватек» Бекфорда. Такой был англичанин, XVIII века, чудак отчасти, фантазер... но какой писатель!.. Посмотри.

Я взял, прочел. Сказка! Так в подзаголовке указано, а это мрачная фантастическая история, восточная. Глубокого смысла. Погоня необузданного калифа Ватека за всемогуществом при помощи сил дьявольских. Гибель в царстве Эблиса, врага рода человеческого и самого Бога.

Как написано! Вещь замечательная, что говорить.

— Ну, видишь... Хм-м...— да, вот что: переведи ее на русский, я напишу предисловие, Константин Федорович (Некрасов.— *Т. П.*) издаст. Он уже согласился.

Некрасов дал аванс, подоспели другие авансы, мы закатили с женою в Рим, где зиму 1911—12 гг. и провели.

В незабываемом этом Риме, незабвенной зимой, получал я уже из Москвы корректуры «Ватека». Жили мы как птицы небесные, ни о чем не думая, ничего впереди не предчувствуя...

Пути жизни загадочны. Кто мог подумать, что через пятьдесят шесть лет после московского издания... вновь явится этот «Ватек»... не у букиниста набережного, а в Москве пятидесятитысячным тиражом. И как некогда в Рим корректурами, так теперь приплыл самотеком, уже в готовом виде (корректуру в Москве делали, к изданию этому я никак не причастен)».

С. 440 *...письмо Татьяне Марковне...*— жене прозаика Марка Александровича Алданова (1889—1957).

В этих проблемах духовных и жизненных Христофорова русского...— Христофоров — главный герой повести Зайцева «Голубая звезда».

3. Гиппиус. <Святитель русского православия>

Современные записки. Париж, 1925. Кн. 25.

Г. Адамович. Борис Зайцев

Печ. по изд.: Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955.

С. 450. *...это — мать из «Подростка»...*— «Подросток» — роман Ф. М. Достоевского.

С. 451. *Москва! Как много в этом звуке...*— Из гл. VII «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

С. 452. *«Пятиглавые московские соборы с их итальянскою и русскою* красой...» — Из стихотворения О. Э. Мандельштама «В разноголосице девического хора...» (1916). У Мандельштама: «русскою душой».

С. 452. *Славой золотеет заревою...*— Из стихотворения А. А. Блока «Встср стих, и слава заревая...» (1914).

С. 454. *...человек с нерастраченным запасом страстей: как Тангейзера...*— Тангейзер (ок. 1205—1270) — немецкий поэт-миннезингер, легенды о котором отражены в одноименной опере Рихарда Вагнера, в произведениях Э.-Т.-А. Гофмана, Г. Гейне.

П. Грибановский. Борис Зайцев о монастырях

Вестник РСХД. 1976. № 117.

Н. Струве. Писатель-праведник

Печ. по изд.: Струве Н. Православие и культура. М.: Христианское изд-во, 1992.

С. 467. *Паскаль* Петр Карлович (Pierre Pascal; 1890—1983) — русист, профессор славянских языков в Сорбонне; близкий друг А. М. Ремизова.

С. 468. *...поразившее его предсмертное стихотворение Н. Гумилева... о котором написал последнюю свою статью...*— В дневнике «Дни» мемуарный очерк «Судьбы» — предпоследняя публикация Зайцева в «Русской мысли» (23 сентября 1971 г.). «Считаю,— пишет он,— что стихи эти многим войдут в сердце», и приводит предсмертное, написанное перед расстрелом, стихотворение Николая Степановича Гумилева, которое только что прочитал в «Вестнике РСХД» (1971, № 98):

В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Проплывает Петроград.
И горит над рдяным диском
Ангел твой на обелиске,
Словно солнца младший брат.

Я не трушу, я спокоен,
Я моряк, поэт и воин,
Не поддамся палачу.
Пусть клеймит клеймом позорным,
Знаю — сгустком крови черным
За свободу я плачу.

За стихи и за отвагу,
За сонеты и за шпагу,
Знаю, строгий город мой
В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Отвезет меня домой.

«Стихотворение меня преследует,— исповедуется далее мемуарист.— В нем есть некое наваждение — оно сильней меня. Не я его властелин, оно мною владеет. Да и вообще это не совсем тот Гумилев, каким казался раньше. В комментариях Н. Струве (в том же «Вестнике») сказано, что в тюрьме Гумилев читал Евангелие и Гомера. Гомер не удивляет. Но Евангелие... Казалось бы, к облику Гумилева («я моряк, поэт и воин...») мало идет. Но вот, значит, было тяготение и сюда, хоть и подспудное. В последнюю, грозную минуту пришел Христос, раньше потаенный, ныне явный, и пронзил».

СЛОВАРЬ ЦЕРКОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Авва (арамейск. «отец») — молитвенное обращение к Богу Отцу. В восточных церквах аввами называют настоятелей монастырей и старцев-подвижников.

Акафист (греч. букв.: не сидящий) — цикл хвалебных песнопений и молитв в честь Иисуса Христа, Богородицы святых, которые исполняются стоя. Акафист состоит из 25 песнопений, из них 13 завершаются возгласом «Аллилуйя», а 12 обращенных к Богородице — возгласом «Радуйся».

Амвон (греч.: край горы) — возвышение перед иконостасом и Царскими вратами в церквах, с которого священники и диаконы (на амвон всходить разрешается только им) ведут богослужения.

Аналой, налой (греч.) — в православных храмах стол, на который во время богослужений кладутся Евангелие, крест и иконы (для поклонения верующих).

Антиминс (греч. вместопрестолье) — обязательная принадлежность богослужения: четырехугольный плат из льняной или шелковой материи, на котором изображено положение Иисуса Христа во гроб; по углам — лики евангелистов-благовестников Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а в центре плата помещаются частицы святых мощей.

Апостол (греч. посол, посланник) — в древности так называли странствующих проповедников веры. В Новом Завете апостолами названы двенадцать ближайших учеников Иисуса Христа: Симон (Петр), Андрей, Варфоломей, Иоанн, Матфей, Симон Зилот (по другой версии — Симон Кананит), Фаддей (или Иуда, сын Иакова), Филипп, Фома, Иаков — сын Алфея, Иаков — сын Зеведея и брат Иоанна, Иуда Искариот, предавший Христа. Апостолом называл себя и Павел, хотя учеником Иисуса он и не был.

Артос — «просфора всецелая»: квасной хлеб, освящаемый молитвой на Пасху; его хранят всю пасхальную неделю, а в субботу раздают верующим.

Архиепископ — старший епископ (см.).

Архимандрит — высший монашеский чин, присваиваемый настоятелям монастырей, а также монашествующим лицам, которые занимают в церкви высокие административные должности.

Вечерня — первая часть суточного богослужения (церковные сутки начинаются вечером). Суточный круг богослужений состоит из 9 служб, посвящаемых церковным событиям: вечерня, повечерие, полунощница, утреня, 1, 3, 6 и 9-й часы, литургия. Вечерняя посвящается воспоминаниям о сотворении мира Богом, грехопадении и раскаянии людей,

об их надеждах на Спасителя. В канун больших праздников служится Вечерня великая.

Владыко — одна из форм обращения паствы к иерархам православной церкви.

Власяница (вретище) — грубая, жесткая рубашка из козьей или иной шерсти, которая надевалась в знак скорби.

Диакон (дьякон; греч. «служитель») — в церковной иерархии служитель низшей (первой) степени священства; помощник священника. Старший дьякон именуется протодьяконом.

Дискос — священный сосуд (блюдо) для просфор, раздаваемых во время литургий в православных храмах.

Догматик — вид духовных песнопений в честь Пресвятой Богородицы, содержание которых — основные догматы христианского благочестия.

Дольмен (от бретон. tol — стол и men — камень) — древнее культовое сооружение в виде каменного ящика с плитой; гробница.

Дьяк — начальник или письмоводитель канцелярии в России до XVIII в.

Евангелисты (греч. «благовестники») — составители четырех Евангелий: Матфей, Марк, Лука, Иоанн; в древности — исполняющие должность проповедников Евангелия или слова Божия.

Евхаристия (греч. «благодарение»), причащение — одно из главных таинств христианской церкви, состоящее в том, что во время богослужения верующие вкушают хлеб и вино, пресуществленные в истинное тело и кровь Христа.

Ектения (греч. усердие) — название молитвенных прошений, входящих во все церковные богослужения; возглашаются дьяконом или священником. Главные виды ектений — великая, просительная, сугубая и малая.

Епископ (от греч. надзиратель, блюститель) — высшее духовное лицо в православной, католической и англиканской церквах, глава церковной администрации. С IV в. установлена иерархия епископов: патриархи, митрополиты (среди них имеющие титул архиепископов) и собственно епископы.

Епитимья — церковное наказание.

Жены мироносицы — святые жены, пришедшие к гробу Иисуса Христа, чтобы совершить обряд миропомазания — покрыть его тело благоуханными мазями (миро), церковь чествует их в третью неделю после Пасхи (мироносицкая неделя).

Жидовствующие — ересь, возникшая в 1470—1471 г. в Новгороде, когда в княжеской свите появился ученый еврей Схария, который, как пишет главный враг новой ереси преподобный Иосиф Волоколамский, «был научен всякому изобретению злодейства, чародейству и чернокнижию, звездозаконию и астрологии». По мнению Иосифа, жидовствующие отрицали троичность Бога, считали Христа обычным человеком, распятым иудеями, призывали не признавать ни святых, ни икон, ни крестов, ни христианских писаний, праздников и пр.

Заутреня — см. утреня.

Игумен (греч. ведущий, духовный руководитель) — духовный чин настоятелей монастырей.

Иеродиакон — диакон, принявший монашество.

Иеромонах — священник-монах.

Иподиакон — в православной автокефальной (независимой) церкви церковнослужитель, занимающий промежуточную ступень между чтецом и диаконом; заведует в храме священными сосудами и покровами, а также помогает архиерею во время богослужения.

Исихасты (гезихасты; греч.— отрешенность, безмолвие, покой) — безмолвники, принявшие обет молчания; последователи мистического учения византийцев и афонских монахов-отшельников, считавших, что они видят божественный свет, отвлекаясь от окружающего.

Камилавка — бархатный головной убор белого духовенства; с 1798 г. в русской православной церкви является для священников почетной наградой.

Канон — одна из форм богослужебного песнопения: диалог между чтецом и хором или между двумя хорами.

Канонарх (от греч. «начинаю») — руководитель канона, провозглашающий, что будет петься и каким голосом.

Кануны — дни, предшествующие церковным праздникам; для них предусматриваются особый чин богослужения и поведенческие обряды.

Кафизма (от греч. «сидение») — одна из двадцати частей (разделов), на которые поделен Псалтирь — сборник псалмов Ветхого Завета Библии.

Клирос (греч. «место на солее») — в русских православных храмах возвышение (солея) перед иконостасом, где во время богослужений находятся чтецы, певцы, священнослужители.

Клобук (тюрк.: колпак, шапка) — черный головной убор монашествующих в православной церкви; белые клобуки носят митрополиты и патриархи.

Крестное знамение — в христианстве — воспроизведение креста движением руки.

Куколь (лат. cucullus — капюшон) — монашеский головной убор.

Ладан — ароматическая смола из надрезов дерева босвеллия; в христианских богослужениях применяется для каждения.

Литургия (греч. богослужение) — главное христианское богослужение, на котором совершается таинство причащения. Разделяется на три части: проскомидию (см.), литургию оглашенных (см.) и литургию верных (причащение христиан).

Литургия оглашенных — вторая часть литургии, на которой могут присутствовать оглашенные, т. е. готовящиеся к причащению и кающиеся в грехах, отлученные от причащения.

Мантия — черная верхняя одежда без рукавов, которую носят монашествующие православной церкви. Цветная мантия — архиерейская.

Митра — головной убор в облачении высшего христианского духовенства; у православных — круглой формы, нередко из драгоценных металлов, украшенный жемчугом, драгоценными камнями, эмалью.

Митрополит (греч. metropolites — человек из главного города) — священнослужитель высшей (третьей) степени христианской церковной иерархии; титул присваивается за особые заслуги перед церковью.

Мощи — останки святых, обладающие, по церковному учению, способностью творить чудеса и служащие предметом почитания. Каждый храм имеет частицу мощей какого-либо святого, зашиваемую в антиминс (см.).

Омофор (греч. букв. «плечо ношу») — священническое облачение в виде широкой ленты (с изображениями креста), носимой на плечах; знак отличия архиерея.

Осанна (евр.: Помоги нам! Спаси!) — молитвенное восклицание на богослужениях. Этим криком народ приветствовал Иисуса Христа, когда Он торжественно въезжал в Иерусалим.

Панагия (греч. пресвятая, церковный эпитет Богородицы) — 1) в православии маленькая иконка с изображением Богородицы, нагрудный знак архиерейского достоинства; 2) просфора в честь Богоматери, которая употребляется в числе пяти служебных просфор на таинстве причащения.

Панихида (греч. всенощная) — заупокойная церковная служба,

богослужение, совершаемое над умершим, а также в годовщину его смерти.

Параклет (греч. утешитель) — в Евангелии от Иоанна эпитет Святого Духа, третьего лица Троицы.

Параман, аналав — принадлежность монашеского одеяния из двойных перевязей крестовидной формы (символизирует тот крест, который берет на себя инок, чтобы следовать за Христом).

Параэкклезиарх — находящийся при экклезиархе (см.), его помощник.

Патерик (лат. pater — отец) — отечник; в православной церковной литературе — сборник жизнеописаний подвижничества монахов.

Плащаница — полотнище с изображением Иисуса Христа после снятия его с креста. В Великую пятницу Страстной недели (перед Пасхой) плащаница торжественно выносится на середину храма для поклонения и возвращается в алтарь в пасхальную полночь.

Повечерие — богослужение, совершаемое после вечерни, перед отходом ко сну. В праздничные дни служится Великое повечерие.

Подрясник — повседневное нижнее одеяние духовенства.

Полунощница — часть суточного богослужения, посвящаемая воспоминаниям о молитве Иисуса Христа в полночь в Гефсиманском саду перед отшествием Его на страдания, а также о дне второго пришествия Христова, случившегося в полночь.

Постриг, пострижение — основной церковный обряд посвящения в монашество и его степени. При посвящении архиерей читает покаянные молитвы и крестовидно выстригает волосы на голове послушника в знак отделения его от общества простых верующих; затем постриженник облачается в рясу и камилавку. Отныне он раб Божий (в греко-римском мире стригли волосы у тех, кого отдавали в рабство).

Потир (чаша) — сосуд, в который вливается вино для причастия.

Пресвитер (греч. старец, старейшина) — священнослужитель средней (второй) степени в церковной иерархии; священник, иерей.

Придел — наряду с главным еще один алтарь; приделы предназначены для того, чтобы в один день совершать несколько литургий, поскольку на одном и том же престоле это делать запрещается.

Притвор — помещение в храме у его входа в западной части.

Причащение — см. Евхаристия.

Причт — священно- и церковнослужители какого-либо храма.

Промысл Божий, провидение — разъясняемая в Библии божественная деятельность, цель которой — утверждение добра, искоренение зла, возведение человека через веру к высшему нравственному совершенству.

Проскомидия — первая часть христианского богослужения, на котором совершается приготовление хлеба и вина и чудесное их пресу-

ществление (преобразование) в тело и кровь Иисуса Христа для таинства евхаристии (причащения).

Просфора, просвира (греч. приношение) — круглая булочка из пшеничного квасного теста, используемая для причащения.

Рака — гробница для святых мощей праведников.

Раскол — церковное движение, которое возникло после реформ, осуществленных патриархом Никоном в 1653—1656 гг.; он внес существенные исправления в богослужебные книги, изменил некоторые церковные ритуалы и обычаи. От никоновской церкви отделились противники нововведений — старообрядцы (см.).

Ризница — помещение при алтаре, где хранятся облачения священнослужителей и другое церковное имущество.

Ряса (от греч. rason — вытертая, поношенная) — повседневная верхняя одежда монашествующих и духовенства всех степеней с длинными рукавами.

Святки — 12 «святых дней» с 25 декабря (7 января) по 6 (19) января, установленных православной церковью в память рождения и крещения Христа.

Святые дары — даваемые священником во время причастия хлеб и вино, символизирующие плоть и кровь Христа.

Символ веры — изложение основных догматов христианской религии; читается каждым из тех, кто посвящается в сан церковнослужителя.

Служебник — богослужебная книга для православных священников с текстами церковных служб на каждый день, порядком их проведения и месяцесловом.

Старчество — монашеский институт, основанный на духовном водительстве старца, монаха-наставника. В Россию старчество пришло с Афона и распространилось в XVII—XIX вв., после издания энциклопедии аскетизма «Добротолюбия», переведенного Паисием Величковским.

Старообрядцы — сторонники старой веры, не принявшие церковную реформу патриарха Никона. В ответ на них обрушилась вся мощь власти. Десятки тысяч старообрядцев были после жестоких пыток казнены, отправлены в тюрьмы и ссылки. Многие тысячи, протестуя, подвергли себя самосожжению. Среди погибших в огне был и выдающийся идеолог старообрядчества, автор знаменитого «Жития» протопоп Аввакум (1620 или 1621—1682), около двадцати лет перед тем отсидевший в земляной тюрьме. Ныне старообрядцы имеют две церкви: Белокриницкую иерархию, возглавляемую архиепископией Московской

и всея Руси (центр — на Рогожском кладбище в Москве), а также Беглопоповскую архиепископию (в г. Новозыбков Брянской обл.).

Стигматы, стигмы (греч. stigmatos, stigma — укол, рубец, клеймо) — непроизвольное появление на теле знаков (кровоподтеков или язв), подобных тем, что были на теле Иисуса от креста, гвоздей, тернового венца.

Стихарь — надеваемая священником для богослужений белая рубаха до колен с крестом на спине.

Страстная неделя (Великая седмица) — последняя неделя Великого поста (перед Пасхой), посвящаемая воспоминаниям о страданиях и смерти Христа. Каждый день Страстной недели называется великим и отмечается торжественными богослужениями.

Страшный суд — в христианском вероучении второе пришествие Иисуса Христа для суда над всеми живыми и мертвыми как воздаяния по заслугам каждому. О судном дне повествуется в основном в Евангелиях от Матфея, от Иоанна и в Апокалипсисе.

Стригольничество — еретическое движение, распространившееся в новгородско-псковских землях в XIV в. Стригольники не признавали священников и патриархов, отказывались от почитания святых, икон и креста, истинной называли апостольскую церковь; каждый человек, считали они, должен быть сам учителем веры и ее проповедником.

Суйм, суём — мирской сход.

Схииеродиакон — иеродиакон, принявший схиму (см.).

Схима (от греч. образ, вид) — высшая ступень монашества, требующая выполнения самых строгих правил и ограничений.

Схоларий — ученый.

Троица Пресвятая — краеугольный догмат христианства, согласно которому Бог един по существу, но троичен в лицах — Отца, Сына и Святого Духа.

Тропарь (греч. обращаю) — церковное песнопение, молитвенная песнь, в содержании которой выражается сущность празднуемого или вспоминаемого священного события, прославляемого святого.

Утреня, заутреня — вседневная часть суточного богослужения (см. Вечерня), посвящаемая земной жизни Иисуса Христа.

Фелонь, риза — в облачении священнослужителей безрукавная накидка.

Фиал (греч.) — кубок.

Херувимская — название одного из церковных песнопений.

Хиротония (греч. cheirotonia — действие силой рук), рукоположение — христианский обряд возведсния в священнический сан (диакона, священника, епископа и др.).

Хоругви — священные церковные знамсна, которые украшаются изображениями святых и событий священной истории.

Хризовул — грамота, указ (греч.).

Часы — определяемый Часословом чин богослужений, совершаемых трижды в день: утром — первый час, днем — третий и шестой, вечером — девятый.

Черноризец — монах.

Экклезиарх (греч. начальник) — в древних монастырях так называли заведовавших охраной церковных зданий, а также следивших за исполнением устава в монастырских богослужениях.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ

Собрание сочинений

Том 7 (дополнительный)

СВЯТАЯ РУСЬ

Избранная духовная проза
Книги паломнических странствий
Повести и рассказы
Дневник писателя

Редактор **В. П. Шагалова**
Художественный редактор **Г. Л. Шацкий**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректоры **Н. Д. Бучарова, А. З. Лазуткина**

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23.10.96.
Подписано в печать 01.03.2000. Формат 84×108 1/32. Бумага писчая. На вкл.— мелов. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 27,83 (в т. ч. вкл. 0,11). Уч.-изд. л. 30,19 (в т. ч. вкл. 0,04). Тираж 5000 экз. С — 05. Зак. № 2628.
Изд. инд. ЛХ-180.

Издательство «Русская книга» Комитета Российской Федерации по печати.
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.

Набрано и отпечатано на издательско-полиграфическом предприятии «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.